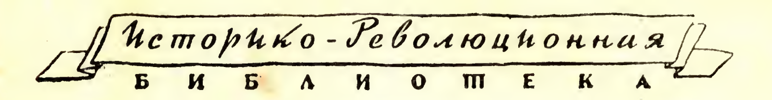


Л. ОСТРОВЕР

БУРЕВЕСТНИКИ







Л. ОСТРОВЕР

БУРЕВЕСТНИКИ



Государственное Издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства Просвещения РСФСР
Москва · 1961

9С(1)
077

Петр Алексеев и Мышкин, Виктор Обнорский и Халтурин, Моисеенко и Василий Шелгунов, Бабушкин и Алексей Ухтомский — все они стоят, как вехи, на революционном пути, пройденном русским рабочим классом до того дня, когда в России грянула буря.

Алексеев и Мышкин шли в рядах революционной народнической интеллигенции, но интуитивно чувствовали, что «ярмо деспотизма разлетится в прах», когда подымется «мускулистая рука миллионов рабочего люда».

Халтурин и Обнорский были их современниками и соратниками, но они уже стремились вырваться из общего потока революционной демократии и сплотить рабочий класс в единый союз с пролетарской программой борьбы. Они погибли, не успев завершить своих начинаний.

Моисеенко и Шелгунов продолжили дело, начатое их старшими товарищами.

Пролетариат креп, становился «классом для себя», овладевал марксизмом, сделался гегемоном в общенародной борьбе с царизмом. И, когда назрела первая русская народная революция 1905—1907 годов, он выдвинул из своих рядов таких замечательных руководителей, как Бабушкин, таких героев, как Ухтомский.

Про каждого из героев книги можно сказать словами М. Горького:

Это смелый Буревестник гордо реет между молний
над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..

Автор раскрывает перед читателем внутреннюю жизнь своих героев и прослеживает огромный, почти сорокалетний путь борьбы русского пролетариата.

И они, герои настоящей книги, шли на муки, погибали в казематах и на эшафотах, чтобы «сильнее грянула буря».



МУЖЕСТВО

Ночь. Московская окраина. Деревянные дома, хибарки, бесконечные заборы.

Перед одним из них, вдоль тротуара, выстроившись в затылок друг другу, стояли тюремные кареты. Лошади, низко опустив головы, дремали. Дремали и возницы.

На небе мигали звезды; влажный ветерок изредка набегал легкой волной.

Вдруг ожила темная улица. Послышались быстрые шаги, требовательные голоса. Наконец показались два человека: один — грузный, огромный, в генеральской шинели, другой — стройный, тонкий, в цилиндре и белых перчатках. А за ними ватага жандармов; они вели арестованных — девять человек: двух девушек и семь юношей.

— Подавай! — крикнул генерал.

Подъехала первая карета.

— Эту сажай! — распорядился генерал, показывая рукой на невысокую девушку в сером пуховом платке.

Распахнулась дверца кареты. Сначала сел жандармский офицер, за ним — девушка, за ней, захлопнув за собой дверцу, — жандармский унтер.

— С богом! Теперь эту!

Кареты подъезжали; генерал рукой показывал, кого усаживать.

На тротуаре остался последний арестованный, широкоплечий человек с черной курчавой бородой.

— А вы, Петр Алексеев, — обратился к нему генерал, — поедете со мной. — Повернувшись к господину в цилиндре, он хмуро закончил: — Побеседую с Петром Алексеевым.

Это было 4 апреля 1875 года.

1

Под Новый год Петрушу перевели в палильную мастерскую. Медные листы печи накаливались докрасна — на них палили ворс. Машина вертелась быстро, чтобы не горела ткань. Возле каждой печи работали четыре мальчика: двое расправляли кромки, двое палками укладывали мокрую материю. В палильной стояла духота и вонь. К ночи мальчики так уставали, что тут же падали и засыпали. Больше двух-трех месяцев никто из малышей не выдерживал этой каторги: заболевал или сбегал.

Петруша проработал полгода. Он похудел, лицо его удлинилось, и оспенные рябинки стали глубже. Изменились и глаза: они как бы стали больше, и вместо прежней детской доверчивости появлялась в них взрослая озабоченность, а порой и суровость.

Приказчик, видимо, сам приметил, что Петруша сдает. В субботу, выдавая мальчику получку, он сказал:

— С понедельника в сушилку!

Петруше было всего десять лет, и жизнь казалась ему несложной. Ему жилось трудно, но он считал, что иначе и быть не может: другой жизни Петруша не знал. Не зря дед постоянно твердил: «Худо было, худо будет». И поступки людей казались Петруше несложными: они делают то, что им выгодно. Когда приказчик сказал: «С понедельника в сушилку!» — Петруша подумал: «Почему?»

И мысленно ответил себе: «Приказчику выгодно». Он платит Петруше семьдесят одну копейку в неделю, а в сушилке мальчики таких денег не зарабатывают.

— Не пойду в сушилку!

Приказчик был толстый, дышал часто и поминутно вытирал платком жирную шею:

— Глупыш, там работа полегче.

— Тоже скажете — полегче! Знаю, денег вам жалко.

Приказчик задышал чаще:

— Глупыш, не денег мне жалко, а тебя. Запаришься в парильне.

— А сколько будете платить?

— Сколько получал, столько и будешь получать.

...Сушильня помещалась в каменном сарае. Был ли сарай тесен или так полагалось, но машины стояли так близко друг к дружке, что проходы между ними были едва заметны. Петруша, войдя в сушильню, остановился в недоумении: как тут будешь двигаться? Сушильные барабаны — огромные медные цилиндры, наполненные горячим паром,—вращались с большой скоростью. Между валами тянулись полотнища мокрого ситца. В сарае стоял смрад. У Петруши закружилась голова.

Мастер первым делом щелкнул Петрушу по лбу.

— Ты чего остановился? Невесту себе высматриваешь? Ступай к четвертому барабану. Только рубаху скинь, а то шестерня захватит.

Петруша не двинулся с места: его обуял страх. Но второй щелчок подбодрил его. Он скинул рубаху и шагнул в узкий проход между машинами. Он шел с опаской, скашивая глаза на урчащие валы, — так ходят мимо собаки — а вдруг она укусит.

...В июле 1861 года стояли знойные облачные дни. Дышать было нечем: воздух был влажный и горячий, люди чувствовали себя беспомощными, словно их закутали в мокрые простыни.

В сушильном сарае — невыносимая духота. От барабанов струится обжигающий зной. Люди работали в одних подштанниках, но и эта легкая одежда казалась им тягостно-тяжелой: со всех ручьями лил пот.

Около полудня, когда Петруша еле на ногах держался, мастер приказал ему:

— Становись к печи!

У печи работать легче, чем при барабанах. Не надо

поглядывать на шестерни, как бы не угодить им на зубья, не надо следить за ходом полотнища, чтобы края не завернулись, не надо водить пальцами по огромным валам, расправляя складки на ситце. У печи можно ни о чем не думать — знай подкладывай дровишки, да и только! Но в этот день, когда люди в сушильне чувствовали себя не лучше рыбы, выброшенной на берег, стоять возле раскаленной печи было просто не под силу двенадцатилетнему Петруше.

— Не пойду! — заявил он решительно, окинув мастера смелым взглядом.

— Ты что сказал?

— Не пойду к печи. Вот что я сказал.

Мастер считался «мучителем ребят». Он бил их за провинности и без провинностей, щелчки по лбу он раздавал походя, чтобы «сопляк под ногами не вертелся». А тут «сопляк» взбунтовался! Разъяренным быком накинулся мастер на Петрушу: пощечина за пощечиной! Сначала мальчик покорно сносил побои, но вдруг он изловчился и укусил мастеру руку. Когда же тот, ошеломленный внезапным отпором, отступил на шаг, Петруша, склонившись, нанес своему мучителю удар головой в живот.

Что было дальше, Петруша не знал: он выбежал из сушилки. В сарае, где были сложены вещи, захватил свою котомку и — вон из Москвы.

Петруша ушел домой, в далекую деревню. Он шел на Можайск, через Гжатск-город, берегом Вазузы-реки, питался лесной ягодой, отбивался от собак и на ночлегах — в овине ли, в копне ли сена или в лесной сторожке — видел один и тот же сон: семья сидит за столом, все умытые, в чистых рубахах, и перед каждым ложка, а бабушка достает из пышащей жаром печи большой чугун мясных щей.

Сон не был в руку. Когда мальчонка, усталый, появился на пороге родной избы, на него никто не обратил внимания, хотя вся семья была в сборе. В красном углу, под образами, сидел дед — худой, с лысым черепом и бородой цвета осенней травы. Он сидел в одном белье, со скрещенными на груди руками и был похож на покойника, которому еще не закрыли глаз.

Шесть сыновей и три дочери со своими мужьями стояли полукругом и всячески поносили старика.

Самый старший сын, Макар, уже сам дед и с такими же, как у отца, круглыми совиными глазами, зло выкрикивал, потрясая в воздухе кулаком:

— Федорка с царской службы возвернулся! Где ему семейство заводить? У гебя, что ли, за пазухой?

Случайно глянув в сторону двери, он увидел Петрушу. Это его не удивило. С бо́льшей яростью в голосе, ниже склонившись к отцу, он воскликнул:

— Посмотри! Щенок Алексея и тот прибег! Скажи ему, где его земля!

Все посмотрели на Петрушу, но тут же отвернулись, точно появление мальчика не было для них неожиданностью.

Наконец поднялся дед Игнат — торжественный, под глазами мертвенная синь. Он перекрестился, потом произнес размеренным голосом:

— Значится, вы пришли со мною лаяться. С царем лайтесь, а не со мною. Это он своей царской милостью лишил нас земли...

Поднялся шум. Громче всех шумел Макар.

Старик выждал, пока сыновья успокоятся, и тем же размеренным голосом продолжал:

— Было моего хозяйства две десятины. От отца, от деда. Да четыре десятины в аренде от мальвинского помещика держал. Дал царь мужикам волю. Дедовскую землю за нами оставили, а помещичьей аренды лишились. Продал он свою землю купцам — на что она ему, земля-то, без рабов? — Старик посмотрел на сыновей, потом прикрыл глаза и тихо закончил: — Значится, без землицы и остались. Было нам худо, стало хуже, а со мною лаяться не след, к царской милости я не причастен. Ищите в городе кусок хлеба...

И двинулась в Москву семья Игната. Алексей Игнатович вел трех сыновей: Игнатку, Власа и Петра. Самому старшему еще не было четырнадцати лет.

2

Петруше на этот раз повезло: он попал к «доброму» хозяину. Ткацкая была небольшая. Каменная, двухэтажная, она, как длинный комод, стояла против хозяйских палат.

Всех рабочих в ткацкой было сто шестьдесят, и все

они жили в казарме. Один только старший мастер был «приходящий». Хозяин — Конон Васильевич — был шумный, беспокойный, на язык приветливый. В ткацкой он бывал ежедневно: одного пожурит, другого похвалит, и все добродушно, весело; пожалуется на трудные времена, тут же расскажет что-то смешное и на полуслове оборвет: некогда, бежать надо!

Ткацкую фабрику Конона Васильевича звали в Москве «запойной». Это название родилось еще при Рябинкине, тесте Конона Васильевича. Был это купчина жадный, умный, но малоденежный. Конкурировать с замоскворецкими толстосумами Рябинкин не мог, и его фабрика чахла. Тогда Рябинкин, сам в прошлом ткач, объявил себя «благодетелем» ткачей, правда не всех, а только запойных пьяниц. «Беру горемычных на полный свой кошт», — пустил он слух по Москве. И «горемычные» потянулись к «благодетелю».

Рябинкин так повел дело, что самый горький пьяница вынужден был пить одну только воду. Запойный попадал в казарму и, словно арестант, переступивший тюремный порог, сразу лишался своего прошлого: высокий глухой забор и калмык у калитки напрочь отрезали от него внешний мир.

Казарма была низенькая, с маленькими окошками; каждый вновь приходящий получал койку, белье, а в случае необходимости и одежду. Правое крыло казармы занимали кухня и столовая. Утром, до работы, — чай и каша; в обед — щи и каша, на ужин — каша и чай. Хлеба — вволю. По воскресеньям — квас, в большие праздники — мясо. Готовила приветливая старушка, она же и прислуживала за столом. По праздничным дням столовая превращалась в домовую церковь: приходил попик с дьячком, службу правили. Все как в тюрьме: и койка, и бачок с кашей, и божье слово, только без прогулочного часа. После завтрака работа, после обеда работа, после ужина сон. Где тут горемычным о водке думать! Они ходили как в чаду, отупелые, одурманенные, едва на ногах держались.

И Петруша работал по семнадцать часов, зато по праздникам — гуляй душа! Летом он отправлялся с ватагой подростков в Сокольники; там они дотемна играли, боролись, плавали. Зимой можно было видеть Петрушу на Москве-реке. Он был широк в кости, крепок телом, а

кулаки — как камни. Взрослые приглашали его в свою «стенку», и кулаки Петруши не раз решали исход «боя».

Неделя унылого труда в пыльной ткацкой требовала разрядки, резких движений, острых переживаний.

Но вскоре поостыл Петруша: игры и драки ему надоели. Его начал интересовать мир, огромный мир с его тайнами. Живут ли люди на Луне? Где берут воду дождевые тучи? Почему падают с неба звезды? Почему у разных народов разные боги? Петруша знал, что на все эти вопросы можно найти ответы в книжках.

В один из праздничных дней Петруша подсел к ткачу, который слыл на фабрике грамотеем. Начал Петруша издалека: за окном дождь, в такую погоду никуда не пойдешь, а в казарме скучно...

— А ты поспи.

— Выспался уже... — И, решившись, выпалил: — Ты бы, Митрич, грамоте меня поучил. Книжки читать хочется.

— «Читать хочется», — удивленно повторил Митрич последние слова Петруши. — Вот ты какой... Давай приступим. — Он достал книгу из ящика, раскрыл ее и ткнул пальцем в одну из букв: — Вот это «а». Две палочки с перекладинкой посреди. А вот это «бе»...

Палочки, кружочки, клеточки — все это на первых порах показалось Петруше удивительным, даже загадочным. Буковки расплывались в его глазах, они теряли свои очертания. Но постепенно стали буковки приобретать устойчивость, а на пятом уроке Петруша уже уверенно разбирался в большом разнообразии палочек и кружочков, и ему даже удавалось складывать несложные слова; при этом Петруша улыбался стеснительно, сам не веря, что проник в великую тайну словорождения.

Уроки прекратились внезапно, прекратились тогда, когда слово из трех слогов еще казалось Петруше длинным и сложным. И в том, что уроки прекратились, виноват был сам Петруша.

В воскресенье, за обедом, приключился припадок с одним из запойных. Это был тихий, изможденный человек. Он работал из последних сил, плохо ел, плохо спал, ходил покачиваясь. Не человек, а отработанная ветошь. И эта ветошь вдруг взбунтовалась. Возможно, прорвалась предсмертная тоска, возможно, что это была последняя попытка протестовать против бессмысленно загубленной жизни. Заикаясь, захлебываясь в слезах, он стал

поносить Конона Васильевича, мастера, бога и какого-то помещика Ишкова. Он грохнулся на пол, извивался ужом, стонал, бил себя кулаком по голове, потом вскочил на ноги и... осатанел: расшвырял посуду на столе, бросался на товарищей, выкрикивая при этом: «Загубили!.. Загубили!..»

Его отнесли на койку, водой отпаивали, а он все свое: «загубили», то криком, то шепотом. Потом успокоился. Полежал минут двадцать. Вдруг поднялся, собрал свои пожитки в скудный узелок и виновато промолвил:

— Ухожу.

Ткачам стало не по себе. Сами они были не счастливее этого несчастного, но, видя перед собой человека, которого гонит с места смертная тоска, они поняли, что он никуда уже не прибьется, что он свалится, не дойдя до калитки...

Тут вступился Петруша:

— Надо Конона Васильевича потребовать! Пусть отдаст ему заработанное!

Действительно, как это они про деньги забыли! Человек восемь с лишним лет работал на фабрике и ни разу своего заработка не брал.

— А кто за ним пойдет?

— Я! — вызвался Петруша.

Явился Конон Васильевич, под хмельком. Он пришел, чтобы отчитать рабочих: что, мол, по святым дням беспокоите! Но, увидев ткача с мертвыми глазами, сразу подобрел:

— Это мы мигом сообразим. Петруша! Сбегай за конторой!

Явился старичок приказчик. Узнав, в чем дело, он принес толстую книгу, полистал ее, нашел нужную страницу и тут же, на глазах у ткачей, подвел итог: одиннадцать рублей семнадцать копеек.

Наступила такая тишина, что при закрытых окнах послышался шум осеннего ветра. Ткачей подавила цифра! Каждый из них думал в эту минуту о себе: сколько придется ему получить, когда и он станет ветошью?

Вдруг взбудоражил всех резкий голос пятнадцатилетнего Петруши:

— Это как понять? За восемь лет причитается одиннадцать рублей с этими копейками? Или за каждый год?

— Все про все, — объяснил старичок, показывая пальцем на последнюю строчку.

Ткачи верили «конторе», потому-то и в спор с ним не вступили. А Петруша понес, как разнузданный конь:

— Врешь, контора! Не может того быть! Он что, хуже моего работал? А я за один год получаю двенадцать рублей!

Конон Васильевич, схватив Петрушу за вихор, повернул его лицом к себе:

— Чего не в свое дело мешаешься?!

Петруша рубанул по хозяйской руке:

— Ты за вихры не таскай! Не для тебя отращивал! А ему заработанное отдай! Смотри, кончается человек, а ты его грабишь.

Слова Петруши как бы напомнили ткачам, что этот сытый, под хмельком купчик грабит и их. Поднялся шум; кое-кто уже в драку лез...

До драки не дошло. Конон Васильевич выбежал из казармы, кликнул калмыка, и через несколько минут Петруша оказался за калиткой. Вещички вынес ему один из подростков.

Свежий ветер гонял покоробленные листья. В воздухе был разлит густой осенний запах. Сквозь обнаженные деревья белели кремлевские башни.

Куда идти? Отец в деревне, Игнатка — ох, не любил его Петруша! — жадный, не примет бездомного брата, Влас в Серпухове работает... Беда, некуда идти.

Но ни разу у Петруши не зародилось мысли, что не следовало бы вмешиваться в чужое дело. Наоборот, парень чувствовал подъем, словно нечаянная радость его посетила. Даже сожаление, которое нет-нет покалывало: «А ведь уроки-то кончились», — и это не омрачало радости Петруши.

Закинув котомку за плечо, Петруша зашагал в село Преображенское, туда, где он начал путь ткача...

3

Стоял знойный июль 1871 года. Петр Алексеев засветло вернулся с фабрики. В комнатенке душно. Петр вышел во двор. Наполнив колоду водой, принялся умываться.

Из флигелька появился юноша в легком полотняном

костюме, с полотенцем через плечо. Постояв немного, он весело сказал Алексееву:

— На вашу фигуру воды в колодце не хватит.

— И вас бог фигурой не обидел, — ответил Петр, добродушно поглядывая на высокого и полного юношу.

Юноша подошел к Петру:

— Жить на реке — и купаться в колоде! Противоестественно, уважаемый сосед!

Петр Алексеевич знал, что его собеседник «из ученых», — так хозяин отрекомендовал Петру своего нового жильца, — но «ученый» уж очень смахивал на деревенского парня. Лицо в веснушках, нос картошкой, лохматые волосы.

— Пошли на Яузу! — согласился Петр.

Вода в Яузе прозрачная, светлая. Стройные ольхи подступают к самой реке.

Петр и студент Константин Шагин выкупались и легли на теплый песок. Далеко-далеко видны полоски дозревающей ржи, частые перелески, деревни. Тихий ветерок чуть шевелит листья на прибрежных кустах.

— Хорошо!.. — сказал Петр.

— А вас упрашивать надо было.

Петр повернулся лицом к своему соседу:

— Забыл, поверьте мне, я попросту забыл, что есть река, что можно выкупаться.

— Все работа да работа?

— Не в работе дело! Человеку трудиться полезно. Дело в том, где работать, как работать и сколько работать. Скажем, я. Работаю у купца Афанасия Трофимова. Фабрика это? Нет. Потолок на голове, станок впритык к станку. Дышать нечем.

— Почему не переходите на большую фабрику?

— Что я? Враг себе?

— Не понимаю.

— Это вы правильно сказали. Стороннему человеку трудно понять. Казалось бы, чего проще: нехорошо тебе на маленькой фабрике, переходи на большую. А переходить, оказывается, невыгодно.

— Почему?

— Попробую объяснить вам. На маленькой фабрике рабочих немного, они знают друг друга. Захотел, скажем, Трофимов сбавить расценок, мы сейчас во двор — да сговор: «Не будем работать, и всё!» А на большой фабрике

рабочих много. Доля у них одна, а думают врозь. У себя по квартирам артели шумят: «Грабеж! С голоду подыхаем!» А являются на фабрику — и молчок. Крюковская артель ждет, чтобы высказалась репинская, а репинцы поглядывают в сторону новинских. И кому это на пользу? Хозяину.

Петр приподнялся, внезапно оживился:

— Вот вы, говорят, человек образованный, объясните мне. Фабрик много. Значится, и фабрикантов много. Тут тебе и купцы, и богатеи мужики, и бывшие помещики. Но откуда это берется, что все фабриканты одинаково хозяйничают? Что у них, книги такие имеются? Или их кто обучает, как с нашего брата шкуру драть?

Если бы Петр Алексеев увидел, какая радость вспыхнула в глазах его собеседника, он был бы немало удивлен. Константин Шагин состоял в студенческом революционном кружке. И он, и его товарищи по кружку много толковали о том, что община — это нравственный уклад мужицкой души, что в деревне существует целая гармоническая, высоко гуманная система взаимной помощи. Они наивно верили, что община сама сумеет избегнуть буржуазного развития со всеми его бедствиями и пороками. Но он, Константин Шагин, не мог не видеть и того, что видел Петр Алексеев: фабрик много, и работают на этих фабриках мужики, обнищавшие, ограбленные мироедами, задавленные налогами и поборами, выброшенные из «общинного рая». Константин Шагин переселился в село Преображенское, чтобы сблизиться с «фабричными», и вот удача: сразу набрел на рабочего, который сам задумывается над социальными проблемами.

— Вы грамотный?

— Через пень-колоду.

— Но книжки читаете?

— Одна слава, что книжки. В них или целуются, или стреляются.

— Вы не очень домой торопитесь?

— Чего торопиться? Полежу еще.

— Расскажите о себе, — предложил Шагин. — У меня, видите, книг много, охотно буду снабжать вас, но какие книги вам полезны — не знаю. Поэтому расскажите о себе подробно: где работали, как работается, о чем думаете.

Петр Алексеев давно мечтал о человеке, с которым

можно было бы поделиться своими думами, у которого можно было бы спросить совета, который раскрыл бы перед ним тайны природы, те тайны, которые его волнуют с отроческих лет. У Петра Алексеева уже накопился и собственный жизненный опыт, но делать какие-либо выводы из своего опыта он не умел.

За свою короткую жизнь Петр Алексеев сталкивался со злом во многих проявлениях, но где истоки этого зла? Он понимал, что жизнь — штука сложная, что взаимоотношения между людьми строятся по каким-то ему неведомым законам, и он искал эти законы в книгах. Не его вина, что в двухкопеечных книжках, которые он покупал у офень, описывались выдуманные люди, выдуманная жизнь.

И на берегу Яузы, в теплую июльскую ночь, Петр Алексеев сам был поражен: какую пустую, какую бедную событиями жизнь он прожил! Ему идет двадцать второй год, из них он работал тринадцать, а рассказа об этих годах хватило меньше чем на полчаса.

Но именно то, что Петру Алексееву казалось незначительным, интересовало Шагина. За этим «незначительным» он разглядел мужественного юношу, готового в любую минуту ринуться в бой за то, что сам считает справедливым.

С этого вечера пошла у них дружба.

В первые дни Константин Шагин только беседовал с Петром — по большей части на людях, чтобы придать встречам случайный, соседский характер. Потом стал давать Петру книжки: «Антона-Горемыку», «Подлиповцев». Алексеев читал запоем, ночи напролет, и, прочитав эти книжки, он возмущенно спрашивал Константина:

— Как это возможно? Как это народ терпит?

Прочитал Петр «Сороку-воровку» Герцена. Книжка не вызвала у Петра такого волнения, как «Подлиповцы» или горемычный Антон, зато ему понравилось, что автор «Сороки-воровки», не таясь, указывает пальцем на подлецов. Герцен не только описывал жизнь, но и объяснял ее!

От Герцена Константин Шагин перешел к Гоголю, и не столько ради самого Гоголя, сколько ради того, чтобы самому прочитать Петру Алексееву письмо Белинского к Гоголю. От Белинского — к Чернышевскому...

Петру Алексееву казалось, что он поднимается на

крутую гору: с каждым шагом воздух делался все более разреженным — дыхания не хватает. Сердцем понимал Петр Алексеев, что он все ближе подходит к разгадке жизненных тайн, однако умом все еще был не в силах постичь эти тайны. И Петр Алексеев захотел учиться, учиться всему, что помогло бы ему разобраться в трудных вопросах.

В эти недели стал Петр Алексеев учиться письму. Он усаживался ночью за стол и тяжелой, усталой рукой начинал выводить печатные буквы, копируя их по книжке.

И тогда, когда Петру Алексееву уже казалось, что перед ним распахиваются ворота в чудесный мир познаний, жизнь опять нанесла ему удар.

Под вечер приехали на двух пролетках несколько полицейских. Они направились прямо во флигелек...

Петр знал, что там, во флигеле, совершается подлость, но он, силач, кулачный боец, был беспомощен, как ребенок.

Константина Шагина арестовали. Захлопнулись ворота в чудесный мир.

4

Петр Алексеев переехал в Петербург.

В центре города — порядок и чистота. Монументальные здания тянулись ровными шеренгами, блестя зеркальными стеклами и как жар сиявшими медными скобами парадных подъездов. На этих улицах, в этих домах жили фабриканты и царские чиновники — жили господа: сытно, привольно.

За пределами нарядного района царили нищета, запустение. Вместо тротуаров — мостки, которые при каждом шаге пешехода хлюпали, обдавая его фонтанами грязи. Домики были маленькие, выкрашенные в желтый, каторжный цвет.

Столица наша чудная
Богата через край,
Житье в ней нищим трудное,
Миллионерам — рай.

Фабрика Торнтона, куда поступил Петр Алексеев, была крупная: десятки прядильных машин, сотни ткацких станков, паровые установки, больше тысячи рабочих.

Петр Алексеев стал присматриваться к соседям по

ткацкой, прислушиваться к их разговорам, и из многих намеков он понял, что где-то тут, за Невской заставой, живут студенты, которые, подобно Косте Шагину, охотно дружат с рабочими.

В осенний вечер 1873 года Алексеев с двумя товарищами — Иваном Смирновым и Александровым — отправились к студенту Синегубу Сергею Силовичу.

Алексеев был удивлен: дощатые стены покрыты рваными обоями; грубый некрашеный пол пляшет под ногами; на столе — глиняный горшок и несколько кружек. Петр Алексеев не знал еще тогда, что

нужда друзьям казалася забавой,
и часто кровь их грела вместо дров...

— Небогато живете, — сказал он и тут же смутился, встретившись взглядом с женой Синегуба.

Она встала из-за стола, протянула руку:

— Присаживайтесь, товарищи, и будем чай пить!

Потом вышла на кухню и вскоре вернулась с большим пузатым чайником.

«Даже самовара у них нет», — мысленно отметил Алексеев.

За чаем и завязалась беседа. У Вани Смирнова были неодинакового цвета глаза. Эта странность смущала хозяйку. От поры до времени она украдкой поглядывала на Смирнова.

Сергей Силович, узнав, что его гости работают у Торнтона, сказал:

— Я был на вашей фабрике. Как вы только выдерживаете! Жара, духота, вонь! И в такой обстановке простоять на ногах двенадцать часов! Ужасно!.. Хотите, я прочитаю вам стихотворение, которое написал после посещения вашей фабрики?

Сергей Силович был высокий и ладно скроенный, только сутулился немного. Он шагал из угла в угол и певучим голосом, не торопясь, четко выговаривая слова, читал:

Мучит, терзает головушку буйную
Грохот машин и колес,
Свет застилается в оченьках крупными
Каплями пота и слез.

Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка;
Маслом прогорклым пахнет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка.
Кашель проклятый измучил всю грудь мою,
Также болят и бока,
Рученьки, ноженьки ноют, сердечные...
Стой целый день у станка.
Нитка прорвалась в основе, канальская.
Эх! Распроклятая снасть!
Сколько греха-то ты примешь здесь на душу,
Господи боже, так страсть.
Ах, да зачем, да зачем вы льетеся,
Горькие слезы, из глаз?
Делу помеха, основу портите —
Быть мне в ответе за вас.
Как не завидовать главному мастеру,
Что у окошка сидит,
Чай попивает да гладит бородушку —
Видно, душа не болит.
Ласков на взгляд, а пойди к нему вечером,
Станешь работу сдавать —
Он ту работу корит да ругается,
Все норовит браковать.
Все норовит, как бы меньше досталося
Нашему брату, ткачу.
Эх! Главный мастер, хозяин, надсмотрщики,
Жить ведь я тоже хочу!

Синегуб давно уже закончил чтение, а Петр Алексеев все еще чего-то ждал.

— Ну как? — спросила Софья Васильевна. — Верно описано?

Алексеев ответил резко:

— Верно! Но для кого ваш муж написал это? Скажите, Сергей Силович, для кого? Для ткачей? Тогда напрасно потрудились. Ткачам все это знакомо. А про слезы — просто чушь! Ткачи не плачут! Они знают, что слезами делу не поможешь... А еще хуже получилось у вас в конце! Вывели ткача на паперть, поставили его с протянутой рукой: «Подайте, Христа ради, жить ведь я тоже хочу!» Плохо это, Сергей Силович! Вы на меня не обижайтесь. Я человек малограмотный. Затем и пришел к вам, чтобы уму-разуму набраться. Чтобы вы меня всяким еографиям и еометриям обучили. И стихи хочу читать! Но какие стихи? Которые бы мне бодрости придали! Которые бы меня в бой звали! Сергей Силович, голубчик, я не хочу валяться в ногах у фабриканта! Не хочу ручку протягивать: «Родненькие, подайте ткачу, ведь

он тоже жить хочет». Сергей Силович, я хочу фабриканта за горло схватить: «Отдай, подлец, мою трудовую копейку! Я ее пóтом и кровью заработал!» Вот как я хочу! И ты научи меня, как к Торнтону подступиться!

Вдруг Алексеев спохватился: кому он это говорит? Студенту! Поэту! И ему неловко стало.

— Простите меня, Сергей Силович, и вы, Софья Васильевна. Разошелся, как в кабаке.

Но странное дело: Синегуб обнял Петра Алексеевича, прижал его к груди:

— Родной! И мне конец стихотворения не нравится! Но я не нашел... не нашел лучшей концовки! А теперь нашел! Знаешь, Сонюшка, как я закончу?

Эй, работники, несите
Топоры, ножи с собой!
Смело, братья, выходите
За свободу в честный бой!
Мы под звуки вольных песен
Уничтожим подлецов!

Может быть, не эти слова, — волнуясь, добавил он, — но что-то боевое, зовущее к борьбе!

...И опять не повезло Алексееву: после третьего занятия Сергей Силович заявил:

— Вы, товарищи, уж простите меня: некогда мне с вами заниматься. Во как зашился! Ежедневно хожу на Лиговку, в артель каменщиков. Артель большая, душ восемьдесят. Дышать некогда.

Синегуб все же позаботился о торнтоновцах. Рядом с Синегубом жила Софья Львовна Перовская — тоненькая девушка с небольшой русой косой, серыми глазами и по-детски округлым лицом. К ней и перешел Алексеев.

Сначала он был разочарован: чему может научить его такая барышня? Но, вслушиваясь в неторопливую речь своей новой учительницы, Алексеев поверил, что случай свел его с революционером, который навечно связал себя с народным делом. В кружке у Перовской читали «Анчутку беспятого» Майнова, «О земле и о небе» Иванова, читали о новгородском вече, о волжской вольнице, рассуждали о том, что порядки на Руси на неправде держатся...

И все же недоволен Петр Алексеев. Его учителя

говорят о крестьянском безземелье, о будущем России, а вот о фабричных делах молчат! Алексеев видит: рабочий класс крепнет, в силу входит. Текстильщики и металлисты Питера и Москвы устраивают стачки, волнуются горняки Урала, а народники считают, что капитализм в России — «случайное» явление, следовательно, и пролетариат — чистая «случайность»... «Не видят они нашей борьбы? Или не хотят видеть?» — думал Алексеев.

Не удовлетворяла Петра Алексеевича программа народников, но другой революционной организации в то время не было. Однажды он заспорил с народником Грачевским.

— Я тебя понимаю, Петр Алексеевич. Тебе невтерпеж. Но для того, чтобы свершилась социальная революция, одного народного отчаяния недостаточно. Нужно еще, чтобы у народа выработалось представление о своем праве. Для этого мы и должны идти в народ.

— «В народ»! — откликнулся Алексеев. — А мы кто? Вот ты, Михаил Федорович, когда говоришь о будущем социалистическом обществе, почему-то в этот рай только одних мужиков зовешь. А рабочие где? Без нас хочешь социализм утвердить? Одними мужиками думаешь управиться? Нет, Михаил Федорович, без рабочих ты социализм не добудешь, один мужик не победит царя и помещика! А ты, Михаил Федорович, хочешь из меня, фабричного рабочего, деревенского агитатора сделать. Не хочу я в деревню! Не хочу, Михаил Федорович! Мне среди рабочих агитировать надо...

После этого спора Алексеев ушел от Грачевского вместе с дружком своим — Ваней Смирновым. На синем небе четко вырисовывалась игла Петропавловской крепости, мосты изогнулись деревянными горбами, а вода под ними казалась подернутой ледяной коркой.

Петр Алексеевич взял товарища под локоть:

— Давай, Ванюша, кружок на заводе собьем. Свой, рабочий кружок! Понимаешь, Ваня, все они, учителя наши, — чудесные люди, жизнь готовы отдать за народное дело, а вот не понимают они чего-то. Все в деревню к мужику тянут, а мужик — он в город бежит, на фабрику.

И они организовали у себя на фабрике кружок. Обучали рабочих грамоте, сами читали им книжки. Когда Ваня Смирнов ушел от Торнтона, остался Петр Алексеевич один и организатором и руководителем кружка. И не

о «мужике» говорил Алексеев своим слушателям, а о своих, рабочих делах: о расценках и штрафах, о пыли в ткацкой, о длинном рабочем дне. Он говорил о том, о чем избегали говорить народники.

В начале 70-х годов обозначились в народничестве два главных течения: пропагандистское, идеологом которого был Лавров, и бунтарское, идеологом которого был Бакунин. Первые задались целью подготовить революцию пропагандой. Они хотели поднять народную массу до уровня своих собственных понятий и подготовить из народной среды ядро, которое смогло бы провести в жизнь социалистические идеи.

Бунтари же не только не думали учить народ, но считали, что им самим надо учиться у народа. Они верили, что народ вполне готов к социалистической революции, что в народе накопилось много горючего материала и достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар. Этой искрой и должна стать интеллигенция.

Даже лучшие из народников, с которыми сталкивался Алексеев, не видели процесса разложения крестьянства, не замечали образования мелкой крестьянской собственности. Они справедливо считали народ главной движущей силой общественного развития, но не видели, да и не могли еще видеть исторической роли рабочего класса, способного преобразовать общество. Они, народники, считали, что капитализм принесет России неисчислимые бедствия, и в качестве средства для спасения России от «ужасов капитализма» выдвигали крестьянскую общину, усматривая в ней «зародыш социализма».

Народники идеализировали крестьянина, неправильно понимали роль народных масс в истории. Их ошибочные взгляды на общину, как на источник социалистического развития страны, становились особенно вредными в новых исторических условиях, когда в России стал развиваться капитализм и появился промышленный пролетариат. Народники не понимали новых исторических условий. Они утверждали, что капитализм в России — «случайное явление», и в связи с этим отрицали передовую, революционную роль рабочего класса в развитии общества.

По своим взглядам революционные народники были

социалистами-утопистами. Они осуждали капитализм и мечтали о лучшем общественном строе, но не могли указать настоящего выхода из бедственного положения, ибо не видели той общественной силы, которая способна стать творцом нового общества, свободного от эксплуатации человека человеком.

И эти свои идеи проповедовали народники в то время, когда даже «верноподданные» газеты и журналы посвящали статьи Марксу и I Интернационалу. Правда, «верноподданные» журналисты писали о марксизме с целью опорочить учение Маркса, но, споря с Марксом, они все же были вынуждены излагать основы его учения. О работах Маркса и о I Интернационале писали «Отечественные записки», «Русский мир», «Киевлянин», «Русские ведомости», «Заря», «Беседа», «Московские ведомости», «Голос», «Русская летопись», «С.-Петербургские ведомости». Даже «Сельский пастырь» — журнал, издаваемый для сельских попов, — и тот в 1871 году поместил большую статью о I Интернационале и об его организаторе — «зловредном существе Карле Марксе».

Даже либералы, не приемля Маркса, все же соглашались с ним, что и Россия пойдет по пути капиталистического развития, а народники, заимствуя у Маркса революционную направленность, в то же время отрицали выдвинутые им экономические законы развития общества.

Не понимали народники учения Маркса. В мае 1870 года в Петербурге забастовала Невская бумагопрядильная фабрика; в 1872 году вспыхнула забастовка на Кренгольмской мануфактуре: требовали укорочения рабочего дня, повышения расценок, человеческого обращения. Буржуазия забила тревогу: она поняла, что рабочий класс выходит на линию огня, что в России завязываются первые классовые бои. А народники проглядели классовую сущность этих забастовок, они сделали для себя упрощенный вывод: народ бунтует! И стали искать более тесной связи с бунтующим народом.

Они, революционные народники, не собирались увязывать свою деятельность со стачечным движением пролетариата, отнюдь нет, они лишь хотели использовать рабочих, этих выходцев из деревни, для пропаганды среди крестьянства.

Лучшие из народников, главным образом учащаяся молодежь, селились в фабричных районах, знакомились с рабочими, обучали их грамоте, просвещали, и горячая проповедь этих честных, самоотверженных интеллигентов пробудила наиболее передовых рабочих.

5

Синегуба арестовали, за Перовской охотились жандармы, но все это не охладило влечения Петра Алексеева к революционерам. Он искал другие кружки, других людей, которые помогли бы ему добыть «свободу, свет и социальную справедливость».

И он нашел. Студенты Медико-хирургической академии устроили на Монетной улице коммуну. Заправлял ею Василий Семенович Ивановский, прозванный за свой огромный рост Василием Великим. Это был неугомонный организатор. Он устраивал в коммуне «чаепития» для рабочих, а за чаем члены коммуны читали вслух «Исторические письма» Лаврова, работу Берви-Флеровского «Положение рабочего класса в России», роман Чернышевского «Что делать?» и его статью «Русский человек на рандеву», обсуждали повесть Тургенева «Ася» и статью Добролюбова «Что такое обломовщина?», читали роман Герцена «Кто виноват?» и роман «Один в поле не воин» Шпильгагена. Читали «Гражданскую войну во Франции» Карла Маркса.

«Чаепития» были многолюдные, но Василий Великий мечтал о более обширной аудитории. И для этого он наметил текстильную фабрику Торнтона.

В декабре 1873 года Василий Великий вместе с Сердюковым и Рождественским устроили собрание в трактире, расположенном рядом с фабрикой Торнтона. На это собрание явилось около 50 рабочих и среди них — Петр Алексеев.

Алексеев стал завсегдатаем коммуны на Монетной. Сначала ему полюбились громкие читки, потом — библиотека, где он зачитывался Лассалем и Миллем, а потом...

Вышло это случайно. В воскресный день, направляясь в коммуну, Петр Алексеев увидел: на углу Монетной дерутся мальчик с девочкой. Им было лет по восемь-девять; оба грязные, в лохмотьях. У обоих текла кровь из

носа, у обоих струились слезы по лицу, но они, не обращая на это внимания, тузили друг друга с таким остервенением, точно поклялись биться до смерти.

Петр Алексеевич развел драчунов.

— Вы что? — спросил он. — Разве так можно? Убить друг друга хотите?

Мальчик вырывался из рук Алексеева:

— Пусти! Пусти!

— Из-за чего драка?

— Он у меня хлеб забрал, — сказала, плача, девочка.

Это заинтересовало Алексеева:

— Почему ты у нее забрал хлеб?

— А я что, не голодный?—тоже плача, ответил мальчик.

— Тетенька дала кусочек хлеба мне!

— А я что, не голодный? — упрямо повторил мальчик.

— Идемте со мной, — еле выжал из себя Алексеев.

До удушья перехватило горло, лоб покрылся холодной испариной.

Он повел их в коммуну. Оставив детей в коридоре, сам зашел к Ивановскому.

Василия Великого не было дома. За столом сидела девушка, читала.

— Дайте хлеба! Чего-нибудь поесть дайте!

Девушка поднялась. Статная, с веселыми глазами.

— В первую очередь, — сказала она, откинув за спину длинную косу, — надо поздороваться, когда входят в комнату. Во вторую очередь, скажите, кто вы. — Она протянула тонкую руку. — Я Прасковья Семеновна, сестра Василия Семеновича.

Петр Алексеевич вспылил:

— Все эти очереди оставьте до другого раза! Есть у вас еда или нет?

Грубый тон незнакомца озадачил Прасковью Семеновну. Она только вчера приехала в Петербург, и то немногое, что она видела в коммуне, показалось ей более чем странным.

— Однако вы не очень вежливы.

— Хлеба дайте!

Прасковья Семеновна почему-то захлопнула книгу и, подойдя к настольному шкафчику, стала доставать оттуда сверток за свертком.

Она стояла спиной к Алексееву, не видела, что он вышел из комнаты и тотчас вернулся с двумя оборвышами.

— Это что такое? — удивилась Прасковья Семеновна.

— Не что, а кто. Это голодные! Голодные дети, которые дерутся на улице из-за куска хлеба!

Прасковья Семеновна зарделась: только теперь поняла, что произошло. Она подошла к детям, обняла обоих за плечи и с материнской требовательностью предложила:

— Идемте сначала помоемся.

Проходя мимо Алексеева, она улыбнулась и насмешливо спросила:

— Успокоились, сударь?

Алексеев потупился: ему стыдно стало за свою вспыльчивость, за свою грубость.

Он ушел.

Это было первое воскресенье, которое Петр Алексеев провел в бесцельном шатании по улицам Петербурга.

В бесцельном? Не совсем! Странное чувство владело им. Думалось только о хорошем, приятном. Он казался сам себе богатым и в мыслях щедро раздаривал свои богатства. Вдруг он остановился: почему, спросил он себя, не собрать десяток голодных детей и не приютить их в коммуне? Кормить их, грамоте обучить. Отогреть, вернуть им детство...

В понедельник был в коммуне «академический день»: студенты готовились к своим институтским занятиям. На двери висел плакат: «Гостей не принимаем».

Петр Алексеев прочитал надпись и все же дернул за петлю колокольчика. Дверь открыл Василий Великий. Он всполошенно спросил:

— Что случилось?

— Ничего не случилось, — застенчиво улыбаясь, ответил Алексеев.—Я к тебе, Василий Семенович. По делу.

Ивановский ввел гостя в свою комнату.

— Садись, Петро, и говори, какое у тебя дело.

На столе — раскрытые книги. В стакане — пучок подснежников. Петр сел на краешек стула.

— Я тебе помешал? Занимался? Может, тебе некогда?

— Больше вопросов у тебя нет?

— Нет.

— Тогда говори, зачем пришел.

Петр мял в руке картуз и, внезапно рассердившись на что-то, резко спросил:

— Сколько будет стоить кормежка десяти детей?

— Какая кормежка?! Каких детей?!

Вопросы Ивановского как бы успокоили Петра Алексеевича. Он сказал мягко, чуть приглушенно:

— Ты не сердись, Василий Семенович. Выслушай меня. У нас есть столовка для холостых. Выйдешь оттуда сытый не сытый, но все же поевши, а к тебе на улице детские руки тянутся: «Дай, дяденька, хлебца». Голодные, что тут поделаешь. Вот я и пришел к тебе, Василий Семенович, с просьбой — возьми в коммуну десяток детей.

Василий Семенович распахнул дверь:

— Прасковья!

Быстрые и легкие шаги в коридоре.

В комнату вошла Прасковья Семеновна, в белом переднике, раскрасневшаяся. Увидев Алексеева, она протянула ему руку и насмешливо спросила:

— Кого вы сегодня привели?

— Вы, оказывается, уже знакомы?

— Знакомы, Вася. Этот товарищ был здесь вчера, и мы с ним очень приятно побеседовали.

— Он говорил тебе о приюте для подкидышей?

— Василий Семенович! — опять вспылил Алексеев.

— Формулировка не нравится? Уж ты, Петро, помолчал бы! Послушай, Прасковья, с чем он сегодня пришел.

— Догадываюсь.

— Нет, Прасковья, догадки у тебя не хватит.

— А я все же догадываюсь. — Она положила руку на плечо Алексеева. — Хотите каких-нибудь малышей накормить?

— Десяток! — выпалил Василий Семенович.

— И десяток накормим. Ведите их.

День был хмурый, но Алексееву казалось, что солнце бьет в глаза, и он был вынужден отвернуться. Его растрогала доброта Прасковьи, такая естественная, от сердца идущая, как у матери, которая, не задумываясь, отдаст своему ребенку последний кусок хлеба...

Он поднялся, поклонился и, волнуясь, сказал:

— Спасибо вам, Прасковья Семеновна.

— Погоди благодарить! Прасковья! Ты ничего не поняла! Он предлагает нам взять детей в коммуну.

— И ты, Вася, не согласен? — удивленно спросила Прасковья Семеновна.

— Не меня надо спрашивать! Не я буду решать, а совет. Но ты, Прасковья, уж очень легкомысленно относишься к предложению Петра Алексеевича. На тебе лежит теперь хозяйство коммуны. Обслужить четырнадцать человек или обслужить двадцать четыре — разница! Не справишься ты с этим! — Вдруг Василий Семенович рассмеялся. — Прасковья! Да посмотри ты на этого Илью Муромца! Стоит, как школьник, которого собираются сечь! — И тут же серьезно добавил: — Петро! Дело ты затеял доброе, но боюсь, что не ко времени.

— Не согласна с тобой, Вася. Доброе дело всегда ко времени. Верно я говорю, Петр Алексеевич?

— А вам, может, действительно трудно будет?—робко спросил Алексеев. — Об этом-то я и не подумал.

— И не надо об этом думать. Созывай, Вася, совет! Скажи товарищам, что в доме будет тишина, что дети никому мешать не будут.

...Как чудесны летние ночи в Петербурге! Светлые, ласковые. По Неве разбросаны золотые блики: окна в домах распахнуты, и оттуда слышатся веселые голоса; народ на тротуарах не спешит, не суетится; на лицах улыбки, словно каждый рад встрече с тобой. В такие ночи забываешь, что жизнь каторжная, что пути к счастью завалены буреломом, — в такие ночи звезды ярче, цель ближе.

И все, о чем говорит Прасковья, — светлое, ласковое. Как-то удивительно мягко слилось в ней детское и мужественное, тоска по светлому «завтра» и будничная забота о сегодняшнем дне. Она была сурова и нежна.

Петр полюбил ее с первого взгляда, но в его любви было больше восхищения, чем непосредственного чувства, когда не знаешь, за что любишь. Он восхищался ее добротой, ее умением просто, душевно, с милой насмешливостью подойти к человеку, ее готовностью взвалить на себя тяжелую работу, ее трезвыми предложениями, когда в коммуне разбирались серьезные вопросы. Прасковья не была наивной барышней, из тех, что судят о жизни по романам, но в тот вечер, когда Алексеев сказал ей о своей любви, она зарделась, растерялась.

И Прасковья полюбила его, но ее любовь при всей своей нежности была жесткой, требовательной. Она непрерывно как бы подталкивала Алексеева — от мысли к мысли, от книги к книге.

В первое время Петр Алексеев неловко себя чувствовал. Ему почудилось, что студенты в коммуне смотрят на него с укором: «Как это ты, мужичина, смеешь заглядываться на интеллигентную девушку?» Но вскоре Алексеев убедился, что все это ему только почудилось. Прасковья не скрывала ни перед братом, ни перед товарищами своей любви к Петру, и все в коммуне, решительно все, считали, что «они достойны друг друга», — в их характерах много общего, и неукротимый, вспыльчивый, но с очень нежным сердцем Алексеев нуждается именно в такой мягкой, ровной, умной подруге, как Прасковья Семеновна, которая к тому же предана революционному делу не менее, чем Петр Алексеев.

Днем были они оба заняты — он на фабрике, она в коммуне, вечера уходили на заседания, читки, совещания. Оставались ночи, петербургские ночи, когда, шагая бок о бок по гранитной набережной Невы, можно говорить о самом затаенном — о том большом счастье, что ждет их впереди.

...В эту ночь они не говорили о счастье; шли молча, и хотя оба думали об одном и том же, но думали по-разному.

Петр Алексеев и Прасковья Семеновна были народниками одного и того же толка, оба они были борцами за народное дело, только Прасковья Семеновна, когда говорила о «народе», думала о мужиках, а Петр Алексеев — о рабочих. И это различие, которое не мешало им в кружковой работе, вдруг выросло в горячий спор, который длился уже несколько дней и сегодня закончился тягостным молчанием, потому что договориться они все же не могли.

Шел 1874 год. Революционная молодежь вырвала из сердца мечты о науке, о личном счастье. Они покидали учебные заведения, спешили облечься в сермягу, чтобы жить жизнью народа, делить с ним горе и радость.

Одни, следуя заветам Бакунина, шли «в народ» организовывать бунты, твердо веря, что народ ждет только случая к восстанию. Эта молодежь, лишенная политического опыта, не задумывалась: а что же дальше? Вспых-

нет бунт, пусть он даже дойдет до вооруженного столкновения, а дальше? Жестокое усмирение, разгром?

Лавристы шли в деревню для мирной пропаганды. Они хотели осесть в деревнях волостными писарями, фельдшерами, кузнецами.

Петр Алексеев, сам мужик, хорошо знал деревню. Но к его доводам не прислушивались в коммуне, не прислушивалась сейчас и Прасковья.

А для Алексеева была Прасковья Семеновна больше чем любимая девушка: он безотчетно верил в ее ум, в ее знания, в ее умение разбираться в жизненных сложностях. Внутренне был он убежден, что «хождение в народ» не принесет пользы революционному делу, что все эти «ходоки» на первых же шагах своей работы в деревне вызовут подозрение у становых, у исправников и даже у мужиков. Хорошие, нужные люди погибнут!

Но Прасковья и это предвидела. Она знает: будут жертвы, но какая революция обошлась без жертв? Особенно убедительным был ее последний довод: «Скажи, Петр, какая польза народу от того, что мы в своих кружках читаем «Коммунистический манифест», если мы ничего не делаем, для того чтобы сорвать с народа цепи?»

И победила вера в ум Прасковьи: Петр Алексеевич убедил себя, что Прасковья видит что-то такое, чего он по малограмотности не постигает.

У Троицкого моста, после тягостного молчания, которое отдалось болью в сердце Алексеева, он приглушенно сказал:

— Хорошо. Я поеду.

6

Куда было деваться русской девушке, если она хотела получить высшее образование, чтобы в качестве врача или агронома зарабатывать на хлеб насущный, дабы не зависеть от мужа или семьи? Русские университеты женщин не принимали. Только за границу, главным образом в Цюрих, в швейцарский город, который почему-то казался русской молодежи «средоточием мысли и свободы».

Цюрих — город тихий, с узкими улицами, готическими башнями и крепостными стенами, оставшимися от средневековья.

Все в Цюрихе располагало к учебе — много книжных лавок, много библиотек, много свободного времени: после десяти вечера замирала уличная жизнь, и волей-неволей приходилось сидеть дома, за зелеными жалюзи.

Но жить в Цюрихе и не ощущать влияния политической эмиграции было так же невозможно, как не слышать запаха хвои в сосновом лесу. Там Лавров выпускал свой журнал «Вперед!», там Бакунин шумно воевал с марксистами, там неистовствовал якобинец Ткачев и в своем журнале «Набат» громил и Лаврова и Бакунина.

...В пансионе мадам Фриче жили десять девушек из России. Пансион считался чопорным и дорогим. Навощенные полы, бархатные портьеры, тяжелая мебель, горничные в белых наколках, да и сама мадам Фриче — длинная, тонкая — с утра до отхода ко сну была одета так, словно с минуты на минуту ждала визита президента республики: черное платье со шлейфом, черепаховый лорнет на золотой цепочке, белые волосы, ниспадающие на плечи искусно завитыми локонами.

Мадам Фриче долго присматривалась к своим жиличкам. Лидия Фигнер — куколка: крохотный ротик, синие глаза, ресницы длинные, фигурка гибкая. Александра Хоржевская — то озорная, как мальчишка, то вдруг сложит ручки и посмотрит на тебя загадочным взглядом Моны Лизы. Бетя Каминская — глаза грустные, рот скорбный; тяжелую обиду несет она в душе, а к людям добра: зимой отдала прачке свое единственное пальто! А Варвара Александрова! Беленькая, хохотунья, не ходит, а подпрыгивает и всем шоколадки предлагает. Софья Бардина. Лоб большой, глаза пронизывающие, строгие, а сколько материнской мягкости в голосе, в жестах. Три сестры Субботины — розовощекие, пышноволосые. Только вот сестры Любатович чуть резковаты.

Девушки богатые, из очень хорошего общества, а в их повадках есть что-то плебейское, что-то такое, что претит мадам Фриче. Одеваются они у дешевых портних, водятся с бородатыми, похожими на шиллеровских разбойников молодыми людьми и ведут с ними крикливые споры; два раза в неделю девушки работают в редакции какого-то никому не известного журнала «Впериоть!», и работают в качестве... наборщиц. Правда, бесплатно, из филантропических побуждений, но разве это занятие для хорошо воспитанных девушек? Цюрих славится искус-

ством своих вышивальщиц; кто бы ни приезжал в город, первым делом бросается покупать покрывала, занавески, а ее жилички, богатые и с тонким вкусом девушки, не купили за все время ни единой салфетки, ни одного метра кружев, они тратят свои деньги на книги. Добро бы на стоящие — покупали бы занятные книжонки Готфрида Келлера или большие в кожаных переплетах альбомы, в которых так трогательно рассказывается о святом житии Песталоцци или Цвингли, нет, ее жилички тратят деньги на какую-то дребедень! Мадам Фриче пробовала читать эти книжонки — тарабарщина! Томас Морус, Фурье, Сен-Симон, Кабэ, Луи Блан, Маркс, Прудон, Лассаль! Читаешь и не понимаешь, о чем они пишут, — о каких-то фалангах или призраках, которые бродят по Европе. Книги для меланхоликов, а не для хорошеньких девушек! И разве не плебейство самому чистить себе обувь? Платят за услуги, а сами чистят свои ботинки!

Нет, не понимала мадам Фриче своих жиличек!

...Если хочешь получить чистое зерно, нужно его долго перелопачивать, — так заявила Софья Бардина, и по этому принципу, то есть по принципу отбора и отсева, подобрались «фричи» — так звали в Цюрихе девушек из пансиона мадам Фриче. Они приехали в Цюрих учиться: Бардина — на сельскохозяйственный факультет, остальные на медицинский, но, кроме тяги к науке, они привезли в Цюрих и то ноющее чувство виноватости, которое в то время ощущал в России любой честный интеллигент, — виноватости перед униженным и оскорбленным народом. И у них, у «фричей», появилась потребность сблизиться с народом, подать ему руку, вытянуть его из беды.

Они выработали устав для своего кружка. Устав был почти копией с устава любой секции Интернационала, но от себя «фричи» внесли в свой устав пункт о... безбрачии.

...В 1873 году распался кружок «фричей»: одни девушки переехали в Париж, другие — в Берн. Но в июле 1874 года они опять собрались в Женеве.

Деревянный домик на Шмэн-де-Каруж. Окна выходят на озеро: виден широкий мост, восьмигранник острова Руссо с его высокими тополями, две стрельчатые башни ратуши, дальние горы...

На круглом столе стоит вазочка с печеньем, блюдо с аппетитно приготовленными бутербродами, в серебристой лодочке — маленькие шоколадки с коричневыми ко-

ровками на обертках, в черном лакированном ящичке — сигареты.

Вокруг стола расставлены стулья, но на них никто не сидит. Все девушки стоят у окна, смотрят на дорогу. Они одеты скромно: неизменные белые воротнички, легкие блузки. И все же чувствуется, что сегодня они хотели принарядиться: Варвара Александрова перехватила свои густые волосы широкой лентой, Евгения Субботина заколола воротничок розовой камеей, Александра Хоржевская как-то по-особому отгладила воротничок, и он загибается уголками, как у парижских художников, Вера Любатович — эта «монашка», как ее звали в кружке, — и та украсилась ниткой янтарных бус. Только Софья Бардина и Бетя Каминская, как бы нарочито, оделись в самое затрапезное.

Девушки ждали гостей — трех юношей, студентов из России. Они познакомились с ними в Париже на лекции профессора Клода Бернара. Сначала шли расспросы, поиски общих знакомых, потом недомолвки, намеки, наконец — откровенный разговор. В России трагично: провал за провалом, аресты косят революционеров, как град молодой колос. Нужна смена!

Оказалось — единомышленники!

Бардина пригласила их в Женеву: нельзя ли объединиться, нельзя ли работать рука об руку, нельзя ли слить кружок «фричей» с кружком «кавказцев», как юноши называли свой кружок, — ведь цель у них одна.

Юноши подошли к дому, ищут табличку с номером. Бардина громко сказала:

— Здесь! Входите!

В комнату они вошли гуськом: сначала Иван Джабадари, приземистый, очень подвижной юноша; за ним — Михаил Чикоидзе, крупный, по-военному подтянутый, с густой шапкой волос; последний — Александр Цицианов, стройный, с яркими губами и в дымчатых очках. Все трое были смуглы, черны.

Чикоидзе и Цицианов вошли в комнату стеснительно, даже растерянно, словно не ожидали встретить такое большое общество; Джабадари — преувеличенно шумно, как бы подчеркивая свои права старого знакомца.

И хорошо, что Джабадари оказался таким... немного развязным: девушек смущала солдатская выправка Чикоидзе (он был юнкером артиллерийского училища), сму-

щали его глаза — упрямо, неотвязно устремленные в лицо собеседника; девушек смущали дымчатые очки Цицианова и то, как он, понурив голову, уселся в угол.

Джабадари сразу завладел разговором. У него был приятный, густой голос. Он говорил быстро, склоняясь то к одному, то к другому, усиленно помогал себе руками и часто спрашивал: «Понятно?» — хотя говорил о понятных вещах. Он рассказал, каких трудов им стоило добраться до Парижа, как он и Чикоидзе по приезде в Париж нанялись на работу в небольшую кузницу, чтобы поближе познакомиться с французскими рабочими.

— Покажи, Миша, свои мозоли!

Чикоидзе нехотя протянул руки.

— А у меня, посмотрите, руки потомственного пролетария! Понятно?

Он рассказал, как ездил к Тургеневу и, к сожалению, не застал великого писателя дома, как он ездил к Бакунину и опять, к сожалению, неудачно, как ездил к Ткачеву...

Бардина с Каминской переглянулись: им не понравилось это «я ездил», «я говорил», но в их взглядах, кроме осуждения, было еще и другое: «попытаемся».

Незаметно перекинулся Джабадари в Россию. Опять замелькали фамилии профессоров — Грубер, Бородин, Цион, Венгеров, — и опять: «я ездил», «я говорил»...

И вдруг заговорил он о главном:

— Члены нашего кружка решили бросить университет! Решили отдаться целиком социалистической пропаганде! Понятно?

— Что вы считаете основой для будущей своей работы? — спросила Бардина. — Как вы мыслите свое руководство работой?

— Основа? Крестьянство — вот основа! Но работать сначала мы должны среди городских рабочих. Их-то мы должны широко вовлекать в нашу работу! Когда мы этих рабочих распропагандируем, они сами явятся проводниками социалистических и революционных идей среди крестьянства. Народ ждет призыва! Он готов к бунту! По всей России рассыпан порох! Нужна спичка, чтобы все это запылало! Теперь, как мы мыслим себе руководство всем этим делом? Мы создадим администрацию, но не постоянную, а сменную: каждый месяц будем выбирать в администрацию новых членов. И администрация не

должна сидеть в Москве или Петербурге! В провинции! Ближе к деревне! Ведь цель наша создать свободную федерацию свободных общин! — Тут он повернулся к Чикоидзе. — Миша! Я верно сформулировал? Я сказал основное?

— Да.

— А ты, Саша, как думаешь?

— Да.

Наступила тишина.

Джабадари обрушил на «фричей» лавину новых перспектив; и хотя эти перспективы были близки им, находились в ладу с их собственными планами, все же девушки чувствовали себя неловко: нет, не этой дорогой они намеревались идти.

Юноши это поняли. Первым встал Чикоидзе:

— Мы и не ждали немедленного ответа. У вас свой устав, свои планы. Подумайте. И, если разрешите, зайдем завтра.

Поднялась и Софья Бардина. Она сказала тихо, как бы нехотя:

— Видите, господа, мы о многом иначе думаем. Мы считаем, что народ к революции не подготовлен. Его еще надо готовить. Для этого нужна длительная пропаганда. Мы считаем, что мало спички, чтобы вызвать революцию. Бакунин ошибается. И вообще в споре Бакунина с Лавровым мы не на стороне Бакунина. Поймите, господа, я сейчас не вступаю с вами в спор, я говорю это только для того, чтобы и вы подумали, чтобы и вы могли подготовиться к завтрашнему разговору. Мы, например, считаем, что хождение в народ — затея бесцельная. Идти нужно к рабочим, на фабрики, нужно самому за станок становиться, жить одной жизнью с рабочими...

— Нужна организация! — подхватила Ольга Любатович.

— И организация нужна, — повторила Бардина. — Если не удастся создать всероссийскую организацию, то, во всяком случае, необходимо на первых порах охватить основные индустриальные центры.

— Господа! — взволновался Джабадари, вскакивая со своего стула. — И я не все сказал! Конечно, будут у нас разногласия! Но мы постараемся сблизить наши уставы, найти приемлемые для всех нас формулировки. Ведь цель у нас одна! Понятно? Только прошу вас,

пожалуйста, решайте поскорее! В России очень плохо, там ждут нас, ждут наших дел, а может быть, и... нашей жизни...

Последние слова, которые Джабадари произнес почти шепотом, убедили девушек больше, чем вся его длинная, напористо-страстная речь.

Тряхнув головой, как бы вырвавшись из глубокого раздумья, Софья Бардина сказала поспешно:

— Хорошо, господа, мы ждем вас завтра.

Юноши ушли.

Александра Хоржевская — эта хорошенькая девушка с повадками озорного мальчишки — глянула на стол и, хлопнув в ладоши, весело воскликнула:

— Ну и хозяюшки! Даже чаю гостям не предложили!

— Оскандалились, — буркнула Ольга Любатович.

— Нехорошо получилось, — грустно промолвила Каминская.

— Завтра поправим, — улыбнулась Бардина. — А теперь, девочки, давайте поговорим.

Юноши пришли завтра.

Обо всем договорились: решили объединиться.

Джабадари выехал в Россию — с деньгами, которые дала Евгения Субботина, и с транспортом революционной литературы.

«Фричи» приедут, скоро приедут.

7

Около месяца пробыл Алексеев в деревне.

Подъезжая к Петербургу, увидев издали золотой гвоздь Адмиралтейства и залитый солнцем купол Исаакия, Алексеев вдруг забеспокоился: в городе ли товарищи?

Он вышел на привокзальную площадь. Раннее утро. Тишина. Дворники подметают улицы. Редкие пешеходы. Городовой в белой рубахе стоит посреди площади неподвижный, как памятник.

Квартиры у Петра Алексеевича не было, к знакомым — далеко; надо дождаться линейки. Но ждать Алексеев не мог: его охватила потребность двигаться, действовать.

Он пустился пешком на Петроградскую сторону. Открываются магазины... Неожиданно для самого себя

Петр Алексеевич зашел в первый же магазин и купил белую рубаху с ярким шитьем по вороту, а к ней тонкий, из крученого шелка поясок.

Дальнейшие поступки он уже совершал обдуманно: вымылся в бане, постригся, укоротил немного бороду; там же, в бане, почистил платье, надел новую рубаху и с крохотным свертком, аккуратно перевязанным, отправился на Монетную улицу.

Коммуна помещалась на втором этаже. Подойдя к дому, как обычно с противоположного тротуара, Алексеев почувствовал недоброе. Все окна затянуты тяжелыми синими портьерами, а в крайнем окне, где жила Прасковья с братом, свисает с форточки черный плюшевый медвежонок. И портьеры, и плюшевый медвежонок, и даже закрытые на ночь окна убедили Петра Алексеевича, что квартира переменила хозяев.

Радостное возбуждение, которое жило в Алексееве от Новинского до Петербурга, то возбуждение, которое гнало его через весь город, сменилось тревогой: что с Прасковьей, куда она переехала? И, хотя Алексеев убеждал себя, что нет причин для тревоги, что неугомонный Василий Великий, по всей вероятности, подыскал лучшую квартиру для коммуны, все же сердце болезненно сжималось.

Самое простое было бы узнать у дворника, куда переехали прежние жильцы, но опыт конспиратора удерживал Петра Алексеевича от этого шага.

Он отправился на Лиговку, в Воздвиженскую артель. Артель была смешанная: там проживали рабочие и железнодорожники. Туда часто захаживал Василий Великий. Ходил туда и Петр Алексеев — для разговоров, для пропаганды. Среди «лиговцев» выделялся кузнец Василий Грязнов — толковый, любознательный, хорошо грамотный. И он, подобно Петру Алексееву, искал «правду жизни», и он, подобно Петру Алексееву, найдя эту правду в учении революционеров, целиком отдал себя пропаганде.

К нему и отправился Петр Алексеевич.

В артели было тихо, сонно: часть рабочих уже ушла на работу, остальные спали после ночной смены.

Спал и Грязнов.

Алексеев решил посидеть на кухне, дождаться пробуждения кузнеца, но посидеть спокойно ему не удалось:

болтливая стряпуха, обрадовавшись неожиданному слушателю, бросила свои дела и замогильным голосом приступила к длинному рассказу о своих печалях. Слушая ее, Алексеев еще острее почувствовал свою собственную беду и не усидел на месте. Он зашел к Грязнову, разбудил его и, не дожидаясь, чтобы тот пришел в себя после сна, огорошил его резким вопросом:

— Что с коммуной на Монетной?

— Это ты, Петруха? — Грязнов приподнялся, несколько раз провел руками по лицу, словно умывался. — Вернулся, значит. Что с коммуной, спрашиваешь? Нет больше коммуны. Нет ее.

— А народ где?

— Народ? Кто за решеткой, кто успел уйти.

— Василий Великий?

— Ушел. Говорят, за границу перебрался.

— А его сестра?!

— Прасковья Семеновна? За решеткой.

Петр Алексеевич схватил Грязнова за плечи, тряхнул его:

— Врешь!

Грязнов тоже был не из слабеньких: резким тычком в грудь он оттолкнул Алексеева от себя и зло сказал:

— Ты чего разбушевался? Выпил, что ли?

— Где Прасковья Семеновна?

— Сказал тебе: за решеткой.

Понял ли Грязнов, что произошло, или ему просто жаль стало товарища, как-то сразу поблекшего, притихшего, но он придвинулся к Алексееву, обнял его за плечи:

— Ты чего, Петруха, растревожился? Наше с тобой дело такое: сегодня спим на своей кровати, завтра на тюремных нарах.

— Когда арестовали?

— Прасковью-то Семеновну? На прошлой неделе. Сюда как раз шла. На улице и взяли. Что тут поделаешь? Лютуют жандармы. Только и слышишь: того забрали, этот скрывается.

В голове Алексеева сумбур: прошлое, настоящее — все спуталось. Перед глазами мельтешили лица, в ушах звучали слова, обрывки разговоров. И все это утомляло, причиняло боль. То пробивалась мысль: «Ты ее скоро увидишь», то с необычной ясностью проплывали перед глазами тюремные стены с зарешеченными окнами...

Петр Алексеевич прилег, не раздевшись, и проспал до обеда следующего дня. Грязнов ушел на работу. Петр умылся, привел себя в порядок и отправился в город: ходил из трактира в трактир — во все те места, где встречался со студентами, где встречался с рабочими-кружковцами. Знакомых не нашел.

Вернулся Петр Алексеевич на Лиговку, и там ему повезло: набрел сразу на двух приятелей — на Грачевского и на Ивана Жукова. Он кинулся к ним, жал им руки, обнимал, а слóва произнести не мог.

У Петра Алексеевича были сложные отношения с обоими. Он уважал интеллигентов, преклонялся перед ними и все же не всех любил. Он убедил себя, что некоторые интеллигенты в своей тяге к мужику преследуют отнюдь не революционную цель: они как бы милостыньку раздают, благотворительностью занимаются. Хитрят они с рабочими. Вместо того чтобы просто сказать рабочим: «Вот ваш враг, навалитесь на него», они ведут бесконечные разговоры об «естественном социализме» и уводят рабочих от фабричных дел.

Алексеев не был марксистом, об учении Маркса он знал очень мало, а то, что знал, еще не умел увязывать ни с политическим, ни с экономическим положением в стране. И все-таки в правду марксизма он крепко уверовал: ведь это они, марксисты, сказали, что пролетарию нечего терять, кроме своих цепей. И вот этой правды он не находил в рассуждениях многих интеллигентов.

На собраниях, на собеседованиях, когда интеллигенты на разные лады расхваливали свой «естественный социализм», Петр Алексеевич хмуро отмалчивался и только один-единственный раз не сдержался: грубо оборвал Грачевского и наговорил ему много дерзостей, высказал все, что его волновало.

Михаил Федорович Грачевский — этот ученый юноша с беспомощным взглядом близорукого человека — скорбно посмотрел на Алексеева и, как бы про себя, сказал:

— Я прощаю тебе эти оскорбления во имя того дела, которому отдаю свою жизнь.

Петра Алексеевича поразили эти слова, тесно стало в груди, из глаз брызнули слезы. Он хотел извиниться, попросить прощения, но горло словно канатом перехватило. Он подбежал к Грачевскому, обнял его...

И с тех пор, встречаясь с Михаилом Федоровичем,

Алексеев мягко пожимает ему руку и любовно заглядывает в глаза, как бы лишний раз подчеркивая, что все еще считает себя виноватым перед ним.

С Иваном Жуковым были у Алексеева более простые отношения. Жуков преподавал грамоту лиговцам. Это был серьезный, но какой-то скучный, скупой на слова интеллигент. Он делал свое дело буднично, холодно: то ли сам не придавал большого значения своим занятиям с рабочими, то ли убедил себя, что о серьезных вещах надо говорить с холодной сдержанностью.

И оба эти человека — пылкий Грачевский и суховатый Жуков — одинаково обрадовались Петру Алексееву.

— А я, дурак, — взволнованно сказал Алексеев, — вместо того чтобы сюда прийти, по городу рыскал! Где я не был! И хоть бы одного знакомого встретил!

— Кого ты искал? — спросил Жуков.

— Родную душу!

— Родные души теперь под замком сидят или по тайникам прячутся, — скорбно сказал Грачевский.

— Разгром, — уточнил Жуков. — Полный разгром.

После длительного молчания Грачевский спросил:

— Как у тебя с работой?

— Еще не знаю...

— К Торнтону тебе нельзя.

Не это интересовало Петра Алексеевича: он сам понимал, что обратно к Торнтону нельзя, что и там может оказаться какой-нибудь подлец — выдаст. Он обрадовался Грачевскому и Жукову не потому, что хотел с ними посоветоваться насчет работы, — работу он себе найдет. Его волновало другое: как дальше быть «с делом», неужели все погибло? Его волновало еще и свое, личное: нельзя ли увидеть Прасковью или хотя бы дать ей знать, что он тут, рядом.

— Это ты прав, Михаил Федорович, к Торнтону мне нельзя. Но не обо мне речь. Знаешь, как в деревне? Погорели озимые, мужик не плачет, а перепахивает полюшко и яровое сеет. Как мы будем? Плакать по горелому или примемся перепахивать?

— Конечно, перепахивать! — решительно сказал Грачевский.

— А ты, Жуков, как думаешь?

— Обождать надо.

— Чего?

— Чтобы улеглось немного. Еще дымит на пожарище. Надо дать жару остыть. Я понимаю, не все арестованы. Но народ разбежался. Вот придут в себя, выйдут из тайников, тогда...

— Нет, Жуков, ты не прав! Нас больше, чем тебе кажется. Примемся за работу, и народ появится...

Алексеев говорил горячо, страстно, постукивая кулаком по столу.

Грачевский вдруг улыбнулся, наивно, стеснительно. Он прижался плечом к Алексееву:

— Не слушай Ивана. Это он нарочно страхи выдумал, хочет тебя проверить.

— Меня? Проверить?! — вспылил Алексеев.

— Успокойся, бешеный, — мягко сказал Михаил Федорович. — Садись. Я неудачно выразился. Не проверить, а узнать, не испугался ли ты арестов. Ты долго отсутствовал. Обстановки не знаешь. А обстановка самая безрадостная. У нас тут полнейший разгром. Пустота образовалась. Мы с Иваном уже пятый раз сходимся, всё ждем — авось кто-нибудь подойдет. И никто не приходит. Вот ты первый явился. Что у тебя на душе, не знаем. Потому-то так глупо и начался наш разговор. — Грачевский поднялся, зашагал по комнате. — Ты прав, Петр, надо немедленно приняться за работу. Нас мало, верно, но народ появится. С чего мы должны начать? По-моему, со здешней артели...

Было уже темно, когда Петр Алексеевич с Грачевским вышли на улицу. Они шли молча: одна улица, другая. Вдруг Грачевский взял Петра Алексеевича под руку:

— Ты ни о чем не хотел меня спросить?

Алексеева обрадовала чуткость товарища: ведь именно он, Михаил Федорович, один из тех, кто знал об отношениях Алексеева с Прасковьей Семеновной.

— Хотел. Скажи мне, Михаил Федорович...

— Помолчи. Я тебе все скажу. Ей ничего не угрожает. Взяли ее на улице. У нее ничего, это я хорошо знаю, у нее ничего не было. Подержат месяц-другой и отпустят. Сидит она в Литейной части. Помнишь Васька́, мальчонку, который жил в коммуне?

— Помню.

— Я его разыскал. Два раза в неделю носит он ей передачи. Будто своей тетке.

— Я буду носить!

— Не надо этого делать. Ее-то ты не увидишь, а шпик за тобой увяжется. Согласен?

— Согласен, — покорно ответил Алексеев.

— Василий Семенович в Петербурге. Уляжется немного, мы с тобой к нему сходим. Он, кстати, только вчера спрашивал, не вернулся ли ты. И вот еще: будь осторожен, избегай тех рабочих, что бывали в коммуне. Среди них есть подлец, а кто — пока не знаем. — Он остановился, протянул руку. — Думаю, что больше вопросов у тебя нет.

— Спасибо тебе, Михаил Федорович.

— Будь осторожен, Петр. Кстати, как у тебя с квартирой?

— Буду жить у брата.

— Там надежно?

— Не хуже и не лучше, чем в другом месте.

Еще раз пожали друг другу руку, разошлись.

8

В эти дни жил Петр Алексеевич на Лиговке, в артели. Народ начал приходить в себя после полицейского разгрома, и многие уже искали связи с революционным подпольем.

Из пропагандистов Воздвиженской артели всего два человека тесно общались с рабочей массой: ткач Петр Алексеев и кузнец Василий Грязнов. Чтобы расширить круг своей деятельности, Алексеев и Грязнов часто меняли место работы. Поступят на фабрику, сблизятся с рабочими, отберут лучших, организуют кружок, наладят его работу и переходят на другое предприятие.

Работы все становилось больше и больше. Но... странное дело: чем больше Петр Алексеевич работал, тем светлее становилось на душе. В нем зародилось новое чувство: уверенность, что именно эта работа приближает его к Прасковье.

Листья на деревьях еще зелены, а уже по-осеннему порывистый ветер колышется в ветвях. Деревья словно силятся подняться на воздух. Ясно высокое небо.

Бодрой походкой шагает Петр Алексеевич. Он отработал ночную смену и не чувствует усталости. Его радует

ясное небо, его радует и ветер, который несет с моря влажную свежесть.

Он спустился в подвал, хотел уже направиться на кухню — там умывались артельные, — как увидел полоску розового света, выбивающуюся из-под двери его комнаты. Это озадачило и обеспокоило Петра Алексеевича: кто в комнате? Легким, бесшумным шагом он добрался до кухни. Дуняша, стряпуха, раскатывает на столе тесто.

— Кто у меня в комнате?

— Кто? — ворчливо ответила Дуняша. — Так мне и сказали — кто. За ночь, поди, три самовара выдули. Ни одной щепки не оставили.

Это успокоило Алексеева. Он направился в свою комнату.

Сизо от табачного дыма; солнечный свет с трудом пробивается сквозь дым и сквозь розовое сияние яркой лампы. За столом три человека: Грачевский, Жуков и незнакомый юноша, приземистый, очень подвижной.

— Петр! — обрадовался Грачевский. — Мы тебя ждем! Познакомься с Михайло Петровичем!

У юноши были живые черные глаза. В одно мгновение он успел осмотреть Алексеева с головы до ног. Он протянул руку и приятным, гортанным говором сказал:

— Богатырь! Илья Муромец! Понятно?

— Что «понятно»? — недовольно пробурчал Петр Алексеевич.

Он понял, что юноша с восточным обличьем и гортанным выговором вовсе не Михайло Петрович, и его обидело, рассердило то, что Грачевский не счел нужным назвать ему настоящую фамилию незнакомца.

Грачевский, прекрасно знавший Алексеева, сразу уловил его настроение.

— Петруха, — сказал он, — садись, и я тебе все объясню. Это Иван Джабадари. Он приехал из-за границы. Привез литературу. За границей слились два кружка. Людей в этих кружках очень много. Они все едут сюда. И вот что Джабадари предлагает...

Лампу потушили, заперли дверь на ключ, и Иван Джабадари приступил к пространному рассказу. Он говорил о прошлом и о будущем, он говорил о своих товарищах по кружку «кавказцев» и о каких-то чудесных девушках, «фричах», говорил об арестах и о целях революционной молодежи. Он говорил напористо, горячо,

наклоняясь то к одному, то к другому. Мелькали имена знаменитых людей, научные формулировки, но часто врывающееся в его страстную речь наивное словцо «понятно?» придавало его бурному повествованию какой-то теплый, интимный характер.

Алексеев слушал внимательно. Он понял не все, о чем говорил Джабадари, — чересчур стремительно лилась его речь, и слишком непоследовательно развивал он свои планы, — но Петру Алексеевичу было ясно: появилась наконец организация, которая намерена работать среди фабричных, появилась наконец такая организация, о которой он мечтал!

Петр Алексеевич внутренне ликовал: балует его судьба! Каждый раз, когда жизнь наносит ему удар, когда он лишается чего-то дорогого, судьба тут же, как бы в награду за муки, посылает ему утешение. В последний раз жизнь нанесла ему жестокий удар: Прасковья не была только любимой девушкой, она была осуществлением его гордой мечты, она была живым воплощением идеи свободы и счастья. И, похитив у него Прасковью, судьба тут же послала к нему Ивана Джабадари.

— Я пойду в эту организацию! В рабочую организацию! Я буду работать там, куда вы меня пошлете!

— Я знал, что ты пойдешь с нами, — сказал Грачевский.

А Жуков уточнил:

— Иначе и быть не могло.

Джабадари пожал руку Алексееву.

— Не здесь! Не в Петербурге! Мы переедем в Москву! Понятно? Здесь безлюдье, а в Москве сохранились Лукашевич, Союзов, Гамов! Люди, которые крепко связаны с фабричными! Понятно? Мой план таков: Михаил Федорович, Жуков, Грязнов и ты, Алексеев, переезжаете немедленно в Москву. Михаил Федорович и Жуков связываются там с Лукашевичем и Союзовым. Ты, Петр Алексеевич, — с фабричным миром, а Грязнов, как кузнец и слесарь, — с железнодорожниками. В начале декабря выеду я, Чикоидзе и Зданович, вслед за нами приедут Софья Бардина, Лидия Фигнер, Бетя Каминская, Евгения Субботина, а к рождеству съедутся остальные «фричи» и Цицианов. Понятно?

— Понятно! — восторженно ответил Петр Алексеев.

В ноябре Петр Алексеев переехал в Москву.

9

Петр Алексеевич поступил на небольшую шерстопрядильную фабрику Турне, в Садовниках. Рабочих на фабрике было немного, около сотни, но среди них — старый знакомец Николай Васильев. Рабочие звали его Голубь. Васильеву было лет тридцать, тридцать два, но выглядел он значительно старше. Высокий, сутулый, с длинным морщинистым лицом и круглой, купеческой бородой. Ничего примечательного во внешнем облике, а заговорит — заслушаешься. Голос мягкий, с бархатными переливами, — не говорит, а воркует, и все про «царство рабочих людей».

Васильев был ткачом, но свое ремесло он бросил и определился садовником к фабриканту Турне.

Петр Алексеевич отправился в гости к Голубю.

— Почему ты вдруг садовником заделался? — спросил Алексеев.

— Не единым хлебом жив человек. Нужно и с народом поговорить, о рабочей нужде потолковать, а, за станком маясь, свободного часа не найдешь.

— Заведут тебя эти разговоры в казенный дом! — неожиданно вмешалась в беседу жена Васильева, Дарья.

Алексеева удивили эти слова. Дарья, крупная, ловкая, с круглым лоснящимся лицом и влажными глазами, встретила его, как родного, хотя первый раз видела, усадила в красный угол, участливо расспрашивала об отце-матери, приготовила какую-то особую «яишенку» и, накормив его, уселась в сторонке, как бы давая понять: теперь можете поговорить о своих мужских делах. А когда заговорили, вдруг вмешалась.

— А разве плохо жить в казенном доме? — Алексеев хотел обернуть ее слова в шутку. — Генерал-губернатор в казенном доме живет и не жалуется.

Но Дарья шутки не приняла.

— То дворец, — ответила она серьезно. — А тех, что разговоры разговаривают, во дворцы не сажают. Вы человек новый, моего Николая не знаете. У него за всех голова болит. Будто они маленькие, не могут о себе позаботиться. — И вдруг расплакалась. — А я что буду делать без тебя? О всех ты заботишься, всех ты хочешь осчастливить, а обо мне не думаешь. Что я буду без тебя делать?

— Заладила, — не злобно ответил Васильев. — Тебе все казенный дом мерещится, а я туда и не собираюсь. На черта мне этот казенный дом! Чем мне тут плохо?

Васильевы жили в садовой сторожке, но ловкие руки Дарьи преобразили сторожку в уютную квартиру. Скатерка на столе, занавески на окнах, медный таз на полочке сияет, как луна в ясную ночь.

— Хорошо у вас тут, — сказал Петр Алексеевич. — И грешно вам, Дарья, думать о казенных домах.

— Все он виноват, — всхлипывая, ответила Дарья. — Живем, сами видите: и хлебушка вдосталь, и мясцо бывает, человек зайдет — голодным не отпустим, чего бога гневить? Так нет же, он все о людях думает, как они-то живут. А люди-то подумают о тебе, когда ты в беду попадешь? Я у людей белье стираю: слышу, о чем говорят. Теперь не так чихнешь — в кутузку потащат. А он все свое — голову под топор кладет.

Спутала Дарья расчеты Петра Алексеевича. Сторожка в саду — местечко укромное. Понравилась ему и Дарья: серьезная, работящая. Думал Алексеев договориться с Николаем Васильевым: под воскресенье собирать у него народ, почитать, побеседовать.

Не получилось, придется по-иному устроиться.

— А ведь твоя Дарья права, — обратился Алексеев к Голубю. — Охота тебе в чужие дела встревать. Голодных много — всех все равно не накормишь. А беду нажить недолго. Зачем тебе это?

Васильев понял маневр Петра Алексеевича: зубы заговаривает.

— Друг называется, — притворился он сердитым. — Пришел в гости, думал — расскажешь, как жил, чего видел, а ты с попреками. И хоть бы за дело. А то вишь какое преступление: с народом беседую! Когда за станком стоял, дышать некогда было, не то что разговоры разговаривать. А у садовника какая работа? Дорожки подмел, кусты подрезал. А дальше что? На печи лежать — не тот возраст, читать — не обучен. Дарьюшка или стирает, или к купцам на уборку ходит. С кем мне словцом перекинуться?

— А разве Дарья тебе запрещает? Беседуй сколько душе угодно. О боге, например, или о том, что зимою холодно. Мало ли о чем можно беседовать. Только о всяких там нуждах — ни-ни-ни. Так я говорю, Дарьюшка?

Верного, преданного друга приобрел Алексеев! Дарья предложила ему перейти к ним на житье:

— Уж как буду заботиться о тебе! И Николаю будет интересно дома сидеть, не станет он по трактирам да по чайным бегать!

— С дорогой бы душой, Дарьюшка, да тесно у вас. Стеснять буду.

— Тогда хоть захаживай ежедневно!

— Вот это с удовольствием.

Николай Васильев проводил Алексеева до калитки.

— Ловко ты это, — сказал он, смеясь, — купил мою Дарью.

— У меня на нее виды имеются. Вишь, Николай, народ съезжается, придется большую квартиру снимать. Вот твою Дарью за хозяйку и определим.

— Дело!

...«Большая квартира» нужна была Алексееву не только для того, чтобы поселить в ней съезжающихся товарищей. Его не удовлетворяли методы пропаганды народников. Как пропагандировали студенты? Соберут четыре-пять человек и почитают им книжку о «Правде и кривде», про «Четыре брата», «Хитрую механику», про «Емельку Пугачева», «Сказку о копейке»; и им, студентам-пропагандистам, казалось, что этого достаточно: мы, мол, дали народу бомбу, которая когда-нибудь взорвется. Это полдела, господа студенты! Нужно еще объяснить народу, как побороть эту самую кривду!

Алексеев отличался от своих товарищей-интеллигентов чем-то существенным, принципиальным. Первые его учителя — Синегуб, Перовская, Ивановский — верили, что стоит мужику «расправить свои богатырские плечи», как тут же из его среды выделятся Разины и Пугачевы, а те уж установят «социалистический рай».

Второе поколение народников, вот такие, как Джабадари, продолжают верить в социалистический инстинкт мужика, но воздействовать на мужика хотят через фабричных.

Софья Бардина и ее подруги пошли дальше Джабадари: они уже хотят создать организацию, большую, всероссийскую!

Петр же Алексеев видел силу рабочего класса, именно рабочий класс хотел он поднять на борьбу с фабрикантом и царем.

Но в то же время был Петр Алексеев вынужден пользоваться пропагандистским оружием народников: их литературой. Книжки народников ему не нравились: он считал, что они написаны не на живом, а на каком-то приторно-сладком языке; так говорит барин-дачник, снисходительно беседующий с мужичком.

«Чтой-то, братцы, так тяжко живется нашему брату на русской земле! Как он ни работает, как ни надрывается, а все не выходит из долгов да из недоимок, все перебивается кое-как через силушку с пуста брюха да на голодное; день-то-деньской маешься, маешься под зноем да под холодом ровно каторжный, а придешь домой — иной раз и пожевать нечего. Много нас, братцы, на святой Руси, велика наша сила мужицкая...»

Мысли правильные, но выражены они по-господски — слишком гладко и беззубо! Не нравились Петру Алексееву эти книжки, но другой литературы — зубастой, с острой социальной направленностью — в то время не было.

Решил Петр Алексеев по-новому пользоваться литературой народников. Не ограничиваться раздачей книжек, а обсуждать эти книжки, сделать из них как бы ступеньку к экономическим и политическим трудам: от «Хитрой механики» к Берви-Флеровскому и Миллю, от «Емельки Пугачева» к «Парижской Коммуне». А серьезно обсуждать прочитанную книжку можно только за столом, в квартире, а не в чайной, на народе.

И еще хотел Петр Алексеев укрупнить кружки: не четыре-пять человек, а собрать за столом человек двадцать—тридцать, чтобы все они могли впоследствии сами пропагандировать на своих фабриках.

Снял Петр Алексеев квартиру на Татарской улице, и квартира сразу превратилась в клуб. В квартире проживало всего четверо: Алексеев, Джабадари, Чикоидзе и студент Георгиевский, но бывали ежедневно десятки рабочих. Агитаторы были разбросаны по всей Москве: Грязнов привлекал рабочих в районе Покровки, односельчанин Алексеева — Пафнутий Николаев — в районе Лефортова, брат Петра Алексеева — Никифор — в районе Серпуховки, второй брат Алексеева — Влас, которого привлек к пропаганде Никифор, работал в районе Землянки, Николай Васильев — в Садовниках, студент Лукашевич, который нанялся чернорабочим на завод Дан-

гауэра, привлекал народ из района Владимирского шоссе.

В первые же недели Петру Алексееву удалось привлечь рабочих Филата Егорова, Семена Агапова и Ивана Баринова, и они вскоре проявили себя прекрасными пропагандистами и вербовщиками.

Метод «втягивания» в организацию был, если можно так выразиться, двухступенчатый. Сначала агитаторы беседовали с человеком на работе, в чайной, в трактире, потом давали книжку почитать. Если человек проявлял интерес к беседе или прочитанному и сам внушал доверие, его приглашали на Татарскую улицу. Там уж шел разговор начистоту — о целях революционной организации, о задачах ее членов, о методах борьбы.

Квартира на Татарской — две комнаты — уже была тесна для разросшейся организации. К тому же приехали в Москву «фричи».

Тогда вот решил Петр Алексеевич осуществить свой давнишний план: он уговорил Дарью снять большую квартиру и держать жильцов-нахлебников. Дарья охотно согласилась: больше простора для ее ловких рук и... Николаю незачем будет уходить из дома — собеседники будут под боком.

Петр Алексеевич сам нашел квартиру — в Сыромятниках, в доме Костомарова, сам же подобрал и нахлебников: Джабадари, Чикоидзе, Георгиевский, Лукашевич, Софья Бардина, Бетя Каминская, Ольга Любатович.

Семнадцатого января справили новоселье, и Дарьюшка, хотя и выпила только две кружки горячего чая, так расчувствовалась, слыша благородные и «невинные» разговоры за столом, что разревелась и с какой-то умильной восторженностью лепетала:

— Милые вы мои... Хорошие вы мои...

Народ подобрался в квартире веселый, общительный. Все работали: уходили рано, приходили поздно. Часто являлись гости — фабричные ребята. И им, гостям, также радовалась Дарья. Они спорили о чем-то, читали, но Дарье и недосуг прислушиваться к их разговорам: надо чаем поить гостей, об ужине заботиться.

А жилички, хоть и простые фабричные девчата, но какие умницы и душевные. Норовят все по хозяйству помогать, да разве Дарья позволит? Пусть отдыхают после трудного дня, пусть наберутся сил — уж очень они хруп-

кие. Наташа (Ольга Любатович) еще ничего, в теле, а вот Аннушка (Софья Бардина) или Маша (Бетя Каминская) — в чем только душа держится!

10

Всего два месяца прошло, а какие результаты! Кружки на 20 фабриках, кружки на Курско-Харьковской железной дороге, кружки в столярных, слесарных, кузнечных мастерских. Ежедневные встречи в чайных, в трактирах, ежедневные читки и беседы на квартире в Сыромятниках.

Петр Алексеевич вынужден был бросить работу у Турне — маленькая фабричка, каждый человек на виду, и к тому же Алексеев работал в артели, где один другого подгоняет. Зимний день короткий, а «настоящее дело» Петр Алексеев делал только после фабрики. Спешил в чайную, на свидание с новыми людьми, на занятие кружка в Лефортово или на Щипок, совещания на квартире в Сыромятниках. Домой возвращался Петр Алексеевич не раньше полуночи и то не всегда успевал все дела закончить.

Решил Алексеев перейти на большую фабрику и работать там сдельно, а не в артели. Зарабатывать он будет меньше, зато свободного времени будет у него больше.

Старый приятель Терентьев работал ткачом на фабрике Тимашева, туда же он устроил и Петра Алексеева. Ему отвели «стан» — закуток в общежитии; туда он перенес свою библиотечку и приступил к пропагандистской работе. Охотников послушать нового ткача было столько, что Петр Алексеевич забросил все свои дела в городе и изо дня в день занимался с тимашевцами. Только в субботу, после работы, отправлялся он на квартиру в Сыромятники.

Организация разрасталась, охватывая почти всю Москву, уже нужен был устав, четкая программа. Собрались в начале марта наиболее видные участники: Петр Алексеев, Николай Васильев, Иван Баринов, Филат Егоров, Василий Грязнов, Иван Джабадари, Михаил Чикоидзе, Лукашевич, Иван Жуков, Софья Бардина, Бетя Каминская, Ольга и Вера Любатович, Евгения Субботина, Лидия Фигнер, Александра Хоржевская, Варвара Александрова. Свою организацию они назвали «Всероссий-

ской социально-революционной». В проекте устава был пункт о свержении самодержавия, но какая политическая форма власти должна быть установлена после свержения царизма — не могли договориться. В выработке устава принимали участие люди не только разных социальных групп — рабочие и интеллигенты, — но еще и люди различных взглядов: лавристы, анархо-бакунинцы и такие, как Петр Алексеев, который уже понимал, что только «мускулистые руки миллионов рабочего люда» сорвут «ярмо деспотизма».

Столкновение разных мировоззрений привело к тому, что при кажущейся договоренности ни о чем не договорились: устав не был утвержден, не был размножен. Единственную копию обнаружили впоследствии у Здановича при обыске.

Но рабочих, участвовавших в обсуждении устава, и в первую очередь Петра Алексеева, привлекло желание интеллигентов перейти к пропаганде в провинции. Петр Алексеев должен был отправиться в крупнейший текстильный центр — в Иваново-Вознесенск, Николай Васильев и Иван Баринов — в Серпухов, Лукашевич — в Тулу, Варвара Александрова — в Шую, Александра Хоржевская — в Киев, Ольга Любатович — в Одессу, Чикоидзе и Цицианов — на Кавказ, Жуков — в Петербург.

В эти дни, в дни так называемого съезда, подметил Петр Алексеев, что Дарья начала проявлять интерес к застольным разговорам. Обычно она хлопотала по хозяйству и если заходила в комнату, где велись споры, то на несколько мгновений: поставит самовар на стол, проверит, есть ли сахар в сахарнице, достаточно ли хлеба в корзине, и тут же исчезает. А тут вдруг — внесет самовар, отойдет в сторонку и, блаженно улыбаясь, прислушивается к беседе.

В воскресенье вечером закончился «съезд», и, прежде чем отправиться на фабрику, Петр Алексеевич сказал Бардиной и Джабадари:

— Нужно немедленно менять квартиру. Поведение Дарьюшки мне не нравится.

— Что случилось?

— Пока ничего не случилось. Но может случиться.

— Петр Алексеевич, не говорите загадками.

— Хотите точнее, Софья Илларионовна, пожалуйста.

Дарья боится за своего Николая, и стоит ей догадаться, кто мы... А она, видимо, уже начинает догадываться...

— Немедленно на другую квартиру! Завтра же займусь этим! Понятно? — загорячился Джабадари.

— И без Дарьи.

— Понятно!

— А вы, Софья Илларионовна, не говорите ничего девушкам: нечего их волновать.

Бардина подняла широкую, тяжелую руку Алексеева и приложила ее к своей щеке.

— Какой вы надежный друг, — сказала она дрогнувшим голосом.

Если бы спросили Петра Алексеева: «Почему ты не любишь Ивана Жукова?», он, пожалуй, не мог бы ответить. Жуков работал много и преданно, но... был будничный, скучный.

Не было случая, когда бы Петр Алексеевич просто, по-товарищески, подошел к Жукову и спросил его: «Как здоровье?» или «Как ты относишься к такому-то?» Алексеева не интересовали ни его здоровье, ни его мнение о людях. И Жуков это знал: они встречались только на людях и говорили только о деле.

И поэтому так удивился Петр Алексеевич, когда поздно вечером Терентьев ввел к нему в закуток Жукова.

— Иван? Какими судьбами?

— Мне нужно поговорить с тобой.

В общежитии народ уже готовился ко сну. Стоял шум. Люди сновали взад-вперед. Где-то плакали дети. На кухне, видимо, стирали белье, и из коридора шел в спальню белый пар. В самом закуте, где за столиком читал Петр Алексеев, белобородый старик, сидя на полу, чинил рубаху.

Инстинктом конспиратора понял Алексеев, что нужно подавить любопытство, что неожиданному визиту Жукова необходимо придать деловой оттенок. Терентьева, старика на полу, ткачей, снующих по общежитию, — всех заинтересовал неожиданный гость.

— Ты, Ваня, чего такой убитый? — непринужденно, с нотками насмешливости в голосе спросил Алексеев. — Без места остался? Эка важность! Вот попросим Терентьева: он тебя у нас устроит.

— Ткач он? — заинтересовался Терентьев.

— Ткач, да еще какой! Мы с ним в Питере на пáру работали. Меня обскакивал.

— Тогда устрою.

— Слышишь, Ваня? Не горюй, все уладится. Савелий!

— Ась? — спросил старик, не поднимая головы.

— Вишь, гость явился. Чайком бы его напоить.

— Поздно, милок, кипяток кончился.

— Вишь, Ваня, какие у нас порядки строгие.

— А я чай пил. — Жуков обратился к Терентьеву: — Значит, устроите?

— Паспорт при тебе?

Жуков порылся в карманах:

— Не захватил.

— Зачем тебе паспорт, Терентьев? Ты сначала с Григорьевым поговори. Скажи ему — не ткач, а золотые руки. А ты, Ваня, завтра приходи с паспортом. Будь спокоен, Терентьев тебя пристроит. Верно говорю, Терентьев?

— Как будто верно.

Алексеев накинул тулуп, достал шапку:

— Пошли, Ваня, провожу тебя, а то у нас заблудишься.

Они вышли на улицу. Густая мартовская темень.

— Как это ты решился ко мне прийти?

Жуков протянул Алексееву письмо.

— От кого?

— От Прасковьи Семеновны.

— От кого?!

— Ты не кричи.

— От Прасковьи? — сразу перешел Алексеев на шепот. — От Прасковьи?.. Где она?

— Ты узнаешь все из письма. Только предупреждаю, письмо старое. Его должен был получить Грачевский, да не успел, а после его ареста оно два месяца пролежало у одного человека.

— Иван... Ваня... — бессмысленно повторял Петр Алексеев.

Что-то непонятное творилось с Алексеевым: мысли неслись скачками, сердце колотилось, тело покрылось испариной. Он чувствовал, что приключилось что-то важное, очень важное, и в то же время не понимал, что именно случилось. Его словно обухом хватили — оглушили, лишили сознания.

— Иван... Ваня...

— Ты в состоянии слушать? Или прекратим разговор.

— Иван...

— Так слушай, что тебе Иван скажет. Завтра я увижу этого человека. Приготовь письмо. Он обещал твое письмо доставить Прасковье Семеновне.

— Где она?

— Там, где была, — в тюрьме. Она скоро освобождается.

— Освобождается?

— Да. И спрашивает у тебя совета: остаться ей в Петербурге или сюда ехать.

— Сюда!

— Опять кричишь. Петр Алексеевич, не узнаю тебя.

— К черту Петра Алексеевича! Слышишь, Иван? К черту Петра Алексеевича! Я поеду в Питер! У ворот буду дежурить!

Жуков поднял воротник пальто и, уходя, сказал назидательно:

— Когда человек теряет разум, с ним бесполезно разговаривать.

— Иван!

Жуков исчез.

Алексеев вернулся в свой закуток. Савелий все еще чинил рубаху. В спальне продолжалась предночная возня. Из коридора все еще валил пар.

Успокоился ли Петр Алексеевич или конспиратор пересилил в нем внутреннее волнение, но он уже спокойно повесил тулуп на гвоздь, присел к столу, заботливым тоном сказал Савелию: «Ты бы спать ложился, поздно», незаметно для чужого глаза распластал на странице лежавшей перед ним книги коротенькую записку и прочитал ее.

Рука Прасковьи! Буковки аккуратные, круглые, и бегут они четкими строчками, держась одна за другую, как дети в хороводе.

«Родной!..»

Сколько месяцев, а разве был день, когда он не видел ее перед своими глазами, не говорил с ней, не думал о ней? Разве его удачи последних месяцев не связаны с нею? Разве мог он так и столько работать, если бы не уверенность, что скоро, очень скоро надо будет отчитаться перед ней?

«Родной! 10 апреля я свободна. Мне говорил об этом прокурор...»

Нет, Алексеев не мог усидеть на месте! Он оделся и пустился ночью, в мартовскую промозглую темь, на другой конец Москвы — на Пантелеевскую улицу, в дом «вдовы сенатского регистратора» Корсак, куда перевели конспиративную квартиру из дома Костомарова.

Его приход вызвал переполох — ночью не являются в гости! Все повскакали с кроватей. Но посмотрели на Алексеева и успокоились. Он стоял радостно растерянный, и с его лица не сходила застенчивая улыбка.

Софья Бардина первая поняла настроение Алексеева.

— Обрадуйте и нас, Петр Алексеевич, — сказала она, кутаясь в пуховый платок.

— Простите меня, великодушно простите. Я нехорошо сделал, очень нехорошо. Ночью вас поднял. Но, видите, положение такое: мне необходимо уехать.

— Куда?

— В Питер.

— А мне казалось, что ты должен поехать в Иваново-Вознесенск, — чуть-чуть резко сказал Джабадари.

— После, когда вернусь из Питера.

— Что случилось, Петр Алексеевич? — мягко спросила Бардина. — И садитесь, а то мы все стоим, словно ругаться собираемся. А вы, Иван Спиридонович, — обратилась она к Джабадари, — убавьте, пожалуйста, на несколько градусов точку кипения.

— Понятно, Софья Илларионовна.

— Господа и вы, девочки, отправляйтесь спать. Мы тут втроем поговорим и завтра обо всем доложим.

Остались Бардина, Алексеев и Джабадари.

— Теперь, Петр Алексеевич, рассказывайте. Заранее могу вас заверить, что мы сделаем так, как вы считаете нужным.

— Спасибо, Софья Илларионовна, но мне-то рассказывать нечего. Мне надо завтра же поехать в Питер.

— Можно узнать зачем? Ведь это не простое любопытство. Без вас мы беспомощны. Все связи с фабриками в ваших руках. И к тому же вы собирались в Иваново-Вознесенск.

Петр Алексеевич разжал кулак и протянул руку Бардиной. Она взяла записку, прочитала ее. И по-новому, душевно зазвучал ее голос.

— Петр Алексеевич, я вас понимаю. Нет, это не то слово. Я завидую и вам и Прасковье Семеновне. — Она протянула записку Джабадари. — Поезжайте и привезите ее к нам.

— Позвольте! — воскликнул Джабадари, прочитав записку. — Вы, друзья, увлеклись. Сегодня у нас восемнадцатое марта, а тут черным по белому написано: «десятого апреля»... Преждевременных освобождений не бывает! Понятно? Так разреши, Петруха, тебя спросить: зачем ты завтра поедешь? Убедиться, что тюрьма на месте? Я понимаю, что ты переживаешь, но можно ли, Петруха, действовать логике вопреки? Софья Илларионовна, я уверен, что вы согласитесь со мной. Петр Алексеевич в Иваново-Вознесенск пока не поедет, а если поедет, то с таким расчетом, чтобы вернуться оттуда не позже восьмого апреля. Девятого апреля он выедет в Питер. Понятно?

Софью Бардину убедили доводы Джабадари, но что-либо советовать Алексееву она не хотела, только вопросительно взглянула на него.

Лицо Алексеева постепенно светлело, словно с него сползала тень: после слов Джабадари он наконец полностью пришел в себя, он вновь получил возможность видеть вещи такими, какие они есть на самом деле.

— А ведь Иван прав, — сказал Алексеев виновато. — Только в Петербург поеду не девятого, а восьмого. И в Иваново поеду на три-четыре дня.

— Вот это мудро! Понятно?

— И мне кажется, что правильно. — Бардина поднялась. — А теперь, Петр Алексеевич, будем чай пить.

— Поздно, Софья Илларионовна, мне далеко шагать.

— Никуда вы не пойдете. Останетесь у нас.

11

Нет, тут весна ни при чем! Да и некогда было Петру Алексеевичу глазеть, как взволнованные грачи выписывают полукружья на лазурной голубизне, любоваться синеватыми тенями на снежных сугробах, прислушиваться к мягким шорохам пробуждающейся природы. Он сам был частью весны, он чувствовал, как в нем самом пробуждаются новые силы.

Надо было обладать богатырским здоровьем, чтобы

после тринадцати часов работы за станком изо дня в день отдавать революционному делу еще шесть—восемь часов: кружок у себя на фабрике, беседы с организаторами в разных частях города, совещания в доме на Пантелеевской. Организация разрасталась, и, чем дальше раскинулись ее ветви, тем больше обязанностей падало на плечи Петра Алексеевича.

Он все сносил, не чувствуя тяжести: эта работа была его жизнью.

...В красильном отделении ткацкой фабрики купца Носова сумрачно. Свет от десятка керосиновых ламп не может пробиться сквозь густой пар. Под покатым, низко нависшим потолком чернеют передаточные ремни. На больших валах растянуты ленты ситца. Валы вращаются с большой скоростью, и ситец, падая сверху в огромные бадьи, купается в краске.

Чуть подальше, за двойным рядом железных столбов, поддерживающих верхние этажи фабрики, стоят длинные каменные чаны с кипящей водой, пенящейся от соды. Ситец, пропитавшись краской в бадьях, бежит к чанам, погружается в щелочную воду и полощется в ней, разбрасывая вокруг хлопья мыльной пены.

Воздух пропитан резким запахом серы. Рабочие в одних штанах и босиком, с серыми лицами и потухшими глазами, передвигаются медленно, автоматически. Тележки — то с бочками свежей краски, то с кипами ситца — вкатываются и выкатываются из красильни.

У крайнего чана стоит Петр Алексеевич. Черные волосы оттеняют бледное лицо. Борода влажная. Горячие брызги, точно комары, впиваются в его обнаженные руки, но Алексеев не обращает на это внимания. Он ловко расправляет ленты ситца, погружая их в кипящую воду, вынимает, разглядывает и опять погружает. Время от времени бросает он в темноту:

— Соды!

Из тумана выплывает мальчонка лет десяти; он безмолвно ставит на пол ведерко с белым порошком и тут же пропадает, словно растаяв в тумане.

Алексеев едва держится на ногах, а мартовская ночь еще не скоро кончится. Сквозь густую мглу впереди, за стеклами наглухо, еще по-зимнему закрытых окон, чернеет беззвездное небо.

Алексеев подходит к водопроводному крану. Из

отверстий грязной раковины бьет в нос гнилостный запах; мыло, покрытое толстым слоем сала и краски, не мылится.

— Ты чего прохлаждаешься? — услышал он окрик мастера.

Петр Алексеевич ничего не ответил. Он освежил водой лицо и, вернувшись на свое место, принялся прополаскивать текущую с барабана ленту ситца.

Мастер, встав рядом с Алексеевым, расправил на ладони кусок мокрого ситца и, склонившись над чаном, разглядывал рисунок. Голубые цветочки выступали на красном фоне без тени, без заусениц.

— Работаешь ты хорошо, — сказал он, повернувшись к Алексееву, и строго закончил: — Только рожу часто полощешь! Если еще раз замечу, выкину к чертовой матери!

— Не выкинешь, Иван Никанорыч! — насмешливо ответил Алексеев.

— А это почему? — опешил мастер.

— Потому что к пасхе товар гоните, а красильщиков у вас нехватка.

Мастер посмотрел Алексееву в глаза.

— По штрафу соскучился? — спросил он тихо.

— А за что штрафовать, Иван Никанорыч? — добродушно спросил Алексеев. — Товар даю первого сорта.

— Рожу часто полощешь!

Алексеев вытер руки и шагнул к крюку, на котором висел его пиджак.

— Ты куда?

— Домой, Иван Никанорыч, — спокойно сказал Алексеев.

— Да я тебя... я...

— Пес ты, Иван Никанорыч! — оборвал его Алексеев. — Тринадцать часов я сегодня отстоял у Тимашева и пошел к тебе, чтобы за ночь тридцать копеек заработать, а ты хочешь их у меня штрафами забрать? Сам становись к лохани!

В другой раз за такие дерзкие слова мастер собственноручно спустил бы рабочего с лестницы, да и наградил бы еще несколькими пинками на дорогу, но сегодня Иван Никанорыч беспомощен, как ребенок: пасха на носу, ситец нужен фабриканту, а красильщиков нет! Сам он, Иван Никанорыч, еле упросил десяток ткачей —

вот таких, как Алексеев, знающих красильное дело, — «выручить его Христа ради».

— Черт с тобой, — промычал мастер, — полощись...

Из тумана вынырнуло несколько красильщиков. Они подходили к Алексееву, пристально смотрели на него и, постояв немного, уходили. Только один из них — скуластый, с острой бороденкой — вернулся и, подмигивая Петру Алексеевичу, загадочно промолвил:

— Ловко... это ты его... мастера...

...Кончилась наконец ночная смена. Алексеев, накинув пиджак на правое плечо, вышел в коридор: хотел отдышаться, прежде чем спуститься во двор. К нему подошел рабочий с острой бороденкой. Он поздоровался за руку и многозначительно заявил:

— Грибовские мы.

— Артелью работаете?

— Артелью, — подтвердил грибовец. — Второй год работаем у Носова.

— А в Грибове как? Землю бросили? Или семейство там осталось?

— Что бросать-то? — с горечью ответил грибовец. — Земли у каждого столько, что дубу негде тень раскинуть... А ты, парень, скажи, — оборвал он себя, — как ты душегуба-мастера унял?

Из красильни выходили рабочие, и каждый раз, когда распахивалась дверь, вырывался в коридор резкий запах красок и сырого ситца.

— Пойдем, грибовец, — предложил Алексеев, — на улице и поговорим.

Солнце стояло невысоко. На лужах блестели тонкие пленки льда. В небе неясно проступали луковки кремлевских церквей.

— Красильщик ты или ткач? — спросил Алексеев, когда они очутились в тихом переулке.

Грибовец не счел нужным ответить на вопрос. Он поднял с земли щепку и, играя ею, быстро заговорил:

— Ты, вижу, из тех, кто дорогу к правде знает. Научи, парень, как с фабрикантом воевать! Ткачи мы. Когда пришли к Носову, он нам платил за кусок плотного тика три рубля, бывало — и три сорок. А в этом году — рубль восемь гривен! За кусок карусета платил два рубля, а то и два с полтиной. А сегодня — шесть гривен!..

— А ты знаешь, почему Носов это делает? — мягко

оборвал Алексеев ткача. — Потому что он нашей рабочей силы не видит. По каморкам мы все плачемся, а друг с другом не договариваемся. Если не выйдем на работу, если стачку устроим, что тогда фабрикант? Раз фабрика не работает, не будет у него прибыли!

— Вот то-то и я своим говорю! — обрадовался грибовец. — Да народ-то... одним свяслом его не обхватишь!

— Ты-то где работаешь? В какой ткацкой?

— Во второй.

— Так ты Власа Алексеева должен знать!

— Как не знать, в одном ряду с ним работаем!.. Плохой он ткач, не уважает его народ... Вот раз дал он мне книжку почитать...

— И что ты из этой книжки вычитал?

Грибовец ответил сердито:

— Свиней пас я у помещика, а свинопасу, говорил наш барин, от грамоты только живот пучит.

Алексеев рассмеялся:

— А Влас тебе книжку дал? Молодец Влас, ничего не скажешь. Артель-то ваша большая? — спросил он неожиданно.

— Душ сорок.

Алексеев задумался. Сегодня воскресенье. У него назначены два свидания: одно — с Николаем Васильевым, второе — с Пафнутием Николаевым, своим односельчанином, который ведет пропаганду в ткацкой Соколова. И выспаться надо — ведь сутки проработал! А грибовцев жалко упустить: народ правду ищет...

— Далеко живете? — спросил он.

— Рядом, у Покровского моста.

— Пошли, товарищ, поговорим!

Жили грибовцы в подвале. Пол — каменный, потолок — низкий, сводчатый. Человек десять мужчин и женщин сидели за длинным столом: завтракали. На нарах возилась детвора. Один ребенок, голый, ползал по полу. Возле окошка сидел старик, сапог чинил.

— Гостя привел! — заявил грибовец.

Один из завтракающих, плечистый, с одутловатым лицом и курчавыми темными волосами, приветливо взглянул на Алексеева.

— Садитесь, — предложил он. — Гостям мы всегда рады.

Алексеев присел к столу. Молодуха, сероглазая, с

веселой пытливой улыбкой, налила кипяток в жестяную кружку, придвинула ее Алексееву.

— Из каких будете? — спросила она, нарезая хлеб. — В артели живете или сами по себе?

— Один живу.

— Знаете, кто он? — вмешался в разговор грибовец. Он в эту минуту умывался над ведром. — Герой! Вот кто он! Душегуба-мастера взнуздал!

Старик, тачавший сапог, подошел к Алексееву и строго спросил:

— А не вырвется мастер-то из узды?

— А это уж от нас зависит, — ответил Алексеев.

— Как так — от нас? — удивился старик. — Мастер — он мастер и есть. Пес он хозяйский. Тронь его — хозяин за него заступится.

— А за нас, думаешь, некому вступиться? — спросил Алексеев.

— Кому мы нужны? — горько улыбнулся старик.

— Мы-то очень нужны! — сказал Алексеев. — Все нашими руками создается. Мы фабрику построили, мы машины сделали, и мы же на этих машинах работаем... Мы — всё! Мы богатство создаем! Но силы своей не сознаем, в одиночку выступаем. Оттого и не страшны мы капиталистам. А если всем народом поднимемся... Подумай, дедушка: хозяев-то кучка, а нас, тружеников, сколько?

У грибовцев Алексеев задержался до полудня. Народ попался смышленый, любознательный. Они забросали Алексеева вопросами. Их все интересовало: и почему крестьян с земли согнали, и почему рабочему человеку живется так трудно, и почему царь защищает фабриканта. Не успевал Алексеев ответить на один вопрос, как тут же задавался следующий.

— Вот это настоящие слова! — подвел ткач в красной рубахе итог беседе. — Только ты, Петр Алексеевич, к нам почаще!

Приближаются сроки поездки в Петербург.

В среду 25 марта, с утра, Петр Алексеевич ушел с фабрики. Сторож Скляр, дежуривший у ворот, ехидно спросил:

— Что так вырядился? На свадьбу пригласили?

— Невесту иду смотреть,— шутливо ответил Петр Алексеевич, хотя ему было не до шуток: ведь рыжий Скляр донесет управляющему Григорьеву!

Алексеев пустился вниз по Большой Семеновской и переулками вышел на Немецкую улицу. На воротах пестрели записки: «сдается комната», «сдается квартира». Один домик ему понравился: приветливый, зеленый, с цепочкой старых берез по фасаду.

Хозяйка показала комнату: большую, с тремя окнами, с белыми кисейными занавесками и цветами на окнах, картинками на стенах, хорошей чистой постелью.

— Большая семья у вас? — спросила хозяйка, видя, что комната понравилась съемщику.

— Жена да я. А у вас как?

— Одна я. И родственников никаких.

Грустно звучала ее речь, грустны были и ее глаза.

— Давно тут живете?

— Я тут родилась, тут замуж вышла, тут и мужа похоронила.

Понравилась комната, понравилась и хозяйка. Петр Алексеевич положил на стол десять рублей.

— Снимите с ворот билетик!

— Сегодня переедете?

— Считать будем с сегодняшнего дня, но переедем только одиннадцатого апреля.

— А вашей супруге понравится? Может, с нею зайдете?

— Жена в деревню уехала. Она у меня не из капризных — было бы чисто, уютно и, главное, тихо. Шуму она не любит.

— Тогда ей у нас понравится.— Хозяйка подсела к столу, написала расписку.— А теперь пожалуйте чай пить.

— Некогда, Марья Константиновна.

Алексеев попрощался. Возле двери хозяйка спросила:

— Паспорта для полиции сейчас сдадите?

— Зачем сейчас? Когда переедем.

На улице было солнечно — вправду весна. У людей веселые лица; детишек много; звонко расхваливают лоточники свой товар.

Алексеев повернул в сторону Пантелеевской.

Внезапно хлынул дождь, крупный, частый; он с силой забил по земле, заволакивая ее мелкой водяной

пылью. Пешеходы спешили под укрытия. Дети стайками жались к заборам.

Дождь прекратился так же внезапно, как и начался. С крыш еще капало, но небо уже сияло весенней голубизной.

Обходя лужи, Алексеев нечаянно наступил ногой на куклу.

От забора отделилась девочка, худая, в плохоньком пальтишке. Подбежав, она из-под ноги прохожего выхватила свою куклу и расплакалась.

— Эх, незадача! — произнес Алексеев, опустившись на корточки перед девочкой. — Сломал... Что ты скажешь!.. Ну ничего, милая, купим новую!

Он взял девочку за руку. Отправились они к ларьку, где и выбрали куклу в цветистом сарафане.

— Одна ты у своей мамани? — спросил он, подавая девочке куклу.

— Братец еще есть у меня, — быстро откликнулась девочка. — Только он еще маленький.

Алексеев купил погремушку.

— Дай своему братцу. Скажи: дядя Петя подарил. — И, погладив девочку по голове, скорым шагом направился к двухэтажному деревянному дому с желтой, на весь фасад вывеской: «Трактир Н. П. Попова».

В трактире пахло кислым. На зеркальном окне была выведена желтой краской большая надпись: «Распивочная продажа пива и меда, а также крепкого». По стенам, выкрашенным в канареечный цвет, висело несколько лубочных картин. Самый видный предмет в заведении — буфет, уставленный множеством стаканов и стопок. За стойкой стоял хозяин — плотный мужчина с черной бородой, ласковой улыбкой и плутовскими глазами. Только один столик был занят. За ним сидели Николай Васильев и парень в чуйке.

Петр Алексеевич подсел к ним.

— Ты любишь детей, Николай? — спросил он.

Николай Васильев удивился:

— Что ты, Петр! Аль женишься?

Алексеев с горечью ответил:

— С малых лет они в грязи, босиком, тело еле прикрыто. А вырастут — что их ждет? Ярмо, фабричная вонь...

— Ты это к чему?

— Девочку встретил, вот и вспомнил. Сколько их таких, несчастных! — И, махнув рукой, словно отгоняя от себя мрачные мысли, спросил парня в чуйке: — А ты что такой скучный? Неудача у тебя?

— Откуда удаче быть? — тоскливо откликнулся парень. — Мастера по цеху шныряют, к каждому моему слову прислушиваются. Того гляди, еще полиции передадут.

— И ты испугался? — строго спросил Николай Васильев.

— Испугаешься! Давеча в нужнике книжку народу читал. Налетел мастер: «Ты, такой-сякой!» Хорошо, что книжка была разрешенная...

В трактир вошел Пафнутий Николаев. Он подошел к столику, поздоровался и, обращаясь к Петру Алексеевичу, неласково сказал:

— Опять без литературы меня оставили.

Алексеев заказал чай, потом обратился к Пафнутию:

— Во-первых, садись.

А когда тот присел, Алексеев продолжал:

— Скажи, Пафнутий, не раздаешь ли ты книжки таким, кто грамоте вовсе не обучен?

— Что ты, Петр Алексеевич!

— Ты не удивляйся. Есть у нас такой пропагандист — на раскурку книжки раздает. Да и ткач он плохой: не уважает его народ...

— Кто это?

Алексеев не ответил: он говорил о своем брате, Власе.

— Вот что, друзья, — сказал он. — У Носова, во второй ткацкой, работает артель грибовцев. Подзаняться надо с ними...

Официант подал на стол два чайника: один — большой, с кипятком, другой — маленький, с заваркой. Алексеев разлил чай по стаканам.

— Кого бы вы посоветовали на место нашего горе-пропагандиста? — спросил он, когда официант отошел от стола.

Николай Васильев взял со стола кусок хлеба и, разламывая его, тихо ответил:

— Есть у меня на примете толковый парень — Акулов. Он в Серпухове работал. А теперь он у Гучкова. Ему можно кружок поручить.

— И у меня есть один, — заявил Пафнутий Нико-

лаев. — Тюрин его фамилия. У меня в кружке занимается, а работает у Бабкина.

Алексеев откусил кусок сахару, сделал несколько глотков и размеренно сказал:

— Обоих приспособим. Ты, Николай, направь Акулова к грибовцам, пусть занимается с ними. Толк будет: народ хороший. А ты, Пафнутий, уговори своего Тюрина бросить работу у Бабкина — пусть нанимается к Носову, во вторую ткацкую.

Склонившись над столом, следя глазами за трактирщиком, Алексеев достал из бокового кармана пиджака сверток и быстро придвинул его к Пафнутию Николаеву:

— Тут найдешь тетрадку «Манифест Коммунистической партии», тот самый, про который я намедни говорил. Ты этот манифест сначала сам прочитай. Вникни в суть. А суть та, что рабочему человеку за свои права бороться надо, вырвать надо эти права из лап буржуазии. Вот в чем суть!.. Когда прочтешь манифест, Федору его передашь. И в кружках зачитаете... Теперь, Пафнутий, рассказывай, что на твоей фабрике делается.

Алексеев слушал внимательно, часто прерывал рассказчика:

— С грамоты начинайте, с грамоты! Рабочий сам должен читать. С голоса он не так много поймет. И побольше о стачках говорите...

Долго длилась беседа.

Пафнутий ушел.

Алексеев заказал еще «пару чаю», сам разлил по стаканам и неожиданно обратился к Николаю Васильеву:

— Чего наш Ваня так насупился? — И, повернув голову к парню в чуйке, спросил: — Чего надулся? Или обиделся?

— Не красна девица.

— То-то, — в тон ему произнес Николай Васильев. — Хотя теперь и девицы стали в делах разбираться.

— Студентки, — огрызнулся парень.

— Что ты все, как сом, под корягу прячешься! — с заметным раздражением повысил Николай Васильев голос. — Чем ты недоволен? Испугался чего? Скажи. Никто тебя силком держать не станет. Не понимаешь чего — спроси...

— Каверзные вопросы задают мне. А я что, студент, чтобы все знать?

— Опять про студентов! Студенты свое дело делают, но и ты... своим умом живи. А про каверзные вопросы выдумал.

— А про акционерные общества и почему их столько развелось — это не каверзные вопросы? — с отчаянием в голосе спросил парень.

Николай Васильев поклонился Ване:

— Здравствуй, кум! Ехали-ехали и никуда не приехали! Сколько раз мы с тобою об этом говорили!

— Не говорили.

— А говорил я тебе, что мужики от бескормицы в город бегут, на фабрики?

— Говорил.

— А кто фабрики строит? Помещик. Много денег он от царя за свои пустоши получил. Строит еще мироед, что на нашей с тобою нужде нажился. И из-за границы толстосумы налетели. Учуяли, что у нас можно на грош пятаков купить, что мужик наш с голодухи и камни на холке таскать будет... Говорил?

— Да разве все упомнишь, о чем ты говорил? Уволь меня, Васильев, не способен я к этому делу.

— Ты, Ванюша, парень грамотный, — мягко сказал Николай Васильев. — Прежде чем с народом говорить, ты книжечку сам почитай да чаще на квартиру к нам являйся. Народ теперь до правды хочет добраться, ты ему только дорогу укажи. Когда у тебя кружок соберется?

— В субботу.

— Я приду к тебе, помогу.

Парень сказал обрадованно:

— Вот это дело! А то, ей-богу, один не управлюсь.

— Слышал, Петр Алексеевич? Грамотный парень, а не справляется. Эх, Ванюша, счастливый ты человек! Зрячий, понимаешь, Ваня, ты зрячий! А я вот до тридцати лет дожил и читать не умею. Все со слуха повторяю. — И на лице Николая Васильева появилась горькая усмешка...

Когда Ваня ушел, Петр Алексеевич обнял за плечи Васильева:

— Ты не очень убивайся, Николай, из парня будет толк.

— В нашем деле смелость нужна, — как-то грустно ответил Васильев, — а он робкий. Мы с тобой по прово-

локе ходим. Пока ходится — опасности не замечаешь. А если поскользнемся? Петруха, если поскользнемся? Заберут в полицию такого Ванюшку, а он от робости давай все выкладывать. Погубит все дело.

— Не погубит, Николай. Назовет он пяток имен, ну, десяток. Больше сам не знает. А нас сколько? Много сотен. От дуба отрежь десяток ветвей, дуб дубом останется. Вот Грачевского арестовали, Союзова арестовали, что мы — слабее стали? Почитай, во много крат сильнее. Весну не остановишь, и народ арестами не запугаешь.

— Ну, раз ты спокоен, — помедлив, сказал Васильев, — то мне и подавно нечего беспокоиться. Я на фабриках не работаю, хожу по трактирам, бельишком поторговываю, никакая сволочь на меня и внимания не обратит.

12

В московском жандармском управлении было два генерала: генерал-лейтенант Слезкин и генерал-майор Воейков, начальник и заместитель. Роста они были одинакового — гвардейского, но Слезкин — тонкий, нервный, как скаковая лошадь, а Воейков — большой и грузный, как битюг. Слезкин в юности был гусаром и пошел в жандармы из выгоды, Воейков же окончил юридический факультет и стал жандармом по убеждению.

Два генерала — две школы. Слезкин — николаевской: посылай на казнь из милосердия к осужденному, Воейков — из школы шефа жандармов Потапова: хватай без разбора, потом разберешься.

Два генерала — два направления. Но Слезкин — начальник, и поэтому приходилось Воейкову действовать «в обход».

Еще в июне 1874 года Александр II поручил генералу Слезкину произвести «дознание о распространении в народе и разных местностях империи преступной пропаганды». Слезкин — с тремя адъютантами, тремя прокурорами и с молоденькой артисткой Баскаковой в качестве чтицы — объехал восемь губерний. В результате этой поездки появился труд на 24 082 листах. Писали адъютанты, писали прокуроры, писали чиновники для особых поручений при губернаторах, генерал Слезкин только редактировал: «да» он переделывал на «нет», вместо «28 или 36 человек» он писал: «2—8 или 3—6 человек», слово

«рабочий» он почти всюду переправлял на «недоучившийся семинарист». Вывод из доклада генерала Слезкина напрашивался сам собой: с преступной пропагандой покончено!

Доклад генерала Слезкина был готов в марте 1875 года, как раз в то время, когда на рабочей карте генерала Воейкова появились десятки новых красных точек: из донесений платных и добровольных шпионов стало известно, что почти на всех московских фабриках возникли революционные кружки. Генерал Воейков понял, что в Москве появилась новая организация — большая, неуловимая, появились новые люди — ловкие, опытные и осторожные. После ареста Грачевского генерал Воейков убедился, что народники, или часть народников, изменили тактику: они пошли на фабрики, к рабочим.

...По небу плыли белые облака со стальными подпалинами. Дождя не было, а воздух был пронизан сыростью.

И в такой кислый день генерал Слезкин сидел в коляске без шинели. Молодой жандармский офицер, спутник Слезкина, увлеченно о чем-то рассказывал, но генерал рассеянно смотрел на убегающие назад дома, на людей, снующих по тротуарам, и время от времени притрагивался большим пальцем левой руки к седым усам.

Серые рысаки быстро домчали коляску до дома генерал-губернатора; кучер остановил лошадей не перед парадным подъездом на Тверской, а свернул в переулок и въехал в широкие ворота. Офицер проворно выскочил из коляски и распахнул дверцу.

Слезкин выгрузился медленно, по-стариковски, но, очутившись на земле, приосанился и молодцеватым шагом, гремя волочащимся за ним палашом, направился в дом.

В коридоре было темно. Слезкин не видел охраны, хотя знал, что где-то тут дежурят его «молодцы».

— Есть тут живая душа?

Словно из-под земли выросли две «живые души».

— Григорий Иванович у себя? — спросил Слезкин, не ответив на приветствие охранников.

— В диванной, ваше превосходительство!

Слезкин, подобрав палаш, направился к белой двери, на которой смутно отсвечивало золото затейливого рисунка. Не постучав, Слезкин вошел в комнату.

На длинном столе стояли хрустальные вазы. Узкопле-

чий человек с большими пушистыми усами, держа на весу вазу, разглядывал в ней что-то. Это и был Григорий Иванович Вельтищев — не то камердинер, не то наперсник князя Долгорукова.

— Здравствуй, Григорий Иванович!

— Здравствуйте, — сдержанно, как бы нехотя, ответил камердинер. Он поставил вазу. — Когда изволили приехать?

— Только с вокзала. Как князь?

— Туча.

— По какому поводу?

— Вами недоволен. Говорит «караул» надо кричать, а вы поете «аллилуйя».

Слезкин улыбнулся: вон оно откуда ветер дует! Всю дорогу из Петербурга в Москву он думал о том, что, собственно, произошло. Четыре дня носились с ним в Петербурге, как с дорогим гостем: Потапов — шеф жандармов — возил его к графу Палену, министру юстиции, тот — к царю. Доклад прошел блестяще: царь поднялся из-за стола, чтобы поблагодарить Слезкина стоя. Из дворца увез его градоначальник Трепов — «откушать в семейном кругу». А на пятый день отшатнулись от него все. Когда он явился с визитом к графу Палену, тот его не принял, а непосредственный начальник, Потапов, увидев его вчера в приемной, удивленно взглянул на него и раздраженно спросил: «Вы еще в Петербурге?»

Слезкин понял, что кто-то «вымазал его дегтем». Но кто? И вот теперь он получил ответ: всесильный генерал-губернатор Долгоруков! Друг царя! Бывший шеф жандармов!

Начальник московского жандармского управления сразу почувствовал, что он стар, что ноги дрожат. Он заискивающе посмотрел на камердинера.

— Григорий Иванович, мне бы с князем поговорить.

— Нельзя. Убираются.

— Очень надо.

Камердинер пристальным взглядом умных глаз окинул Слезкина.

— Прижали, — сказал он участливо. — А вы, генерал, не горюйте, — добавил он добродушно. — Образуется. Посидите тут, а я посмотрю, как князь. Если вёдро — позову.

Григорий Иванович ушел. Слезкин прислонился

головой к спинке стула, закрыл глаза. В голове шумело. Наплывала дрема.

— Пожалуйте, ваше превосходительство!

Слезкин вскочил, подобрался и валкой кавалерийской походкой пошел в спальню князя.

В глубоком кресле, завернутый в белый балахон, сидел генерал-губернатор Долгоруков. Щегольски одетый француз Леон Эмбо прилаживал паричок на лысую голову князя.

— Поздравляю, генерал.

— С чем, ваше сиятельство?

— Тебя государь жалует бриллиантами к Александру Невскому.

— Спасибо, ваше сиятельство, за приятную новость.

Парикмахер приклеивал волосок к волоску. Григорий Иванович стоял в сторонке и подбадривающе смотрел на Слезкина.

— Тебе Потапов показывал мое письмо?

— Не показывал, ваше сиятельство.

— Странно... — В эту минуту парикмахер завивал колечком усики князя, и слово «странно» прозвучало плоско, без буквы «р».

— Воейкова видел?

— Нет еще, ваше сиятельство.

Парикмахер отступил на несколько шагов, поворачивая голову вправо и влево, проверял свою работу и, оставшись ею доволен, приблизился к креслу балетными па и осторожно, кончиками пальцев, снял с князя балахон.

Долгоруков оказался в одном белье, в туфлях на босу ногу.

— Ваше сиятельство... — начал парикмахер.

— Пошел, — отмахнулся от него князь. — Григорий, проводи господина Леона.

Парикмахер собрал свой инструмент и вышел из комнаты на цыпочках. За ним последовал и Григорий Иванович.

— Я недоволен тобой, генерал, — сказал князь, продолжая сидеть неподвижно, как при парикмахере. — В государственных делах нет пауз. Одно наплывает на другое. И то, что было хорошо сегодня, завтра уже может быть плохо. Государя надо было успокоить, потому и нужен был твой доклад. Но ты-то не первый год носишь

голубой мундир. Ты-то должен был знать, что преступная пропаганда вовсе не пошла на убыль, наоборот — усилилась. Успокоил государя, получил награду, закройся в кабинете с Потаповым и Паленом и доложи: «Плохо, ваши высокопревосходительства: мы готовимся к войне с турками, а у нас Парижской коммуной попахивает. Надо усилить корпус жандармов, нужны дополнительные ассигнования на охранные мероприятия». А ты сам поверил в свой доклад и на весь Петербург затрубил в победный рог!

— Ваше сиятельство! У нас нет больших дел!

— Ты хочешь сказать, что нет раскрытых больших дел. Согласен. Но это еще не значит, что нет преступной пропаганды. Она есть. Раскрой ее. Создавай большие дела. И пойми, генерал, что у нас не может быть спокойно. В шестьдесят первом мы повернули резко влево, в шестьдесят шестом — резко вправо. Карета и та после резких поворотов кренится набок, а мы поворачиваем такую махину, как Российская империя. Вот истоки преступной пропаганды. А ты в победный рог трубишь!

— Ваше сиятельство! Москва...

— Знаю, что ты скажешь, генерал. В Москве нет большой промышленности. И слава богу. Не так закоптили небо, как в Петербурге. Но ты, генерал, забываешь, что древнее слово «Москва» звучит весомее, чем нерусское словцо «Питербурх». Тут, в древней Москве, мы должны печься о святости монархии. А что получилось? В прошлом году Петербург разгромил наших доморощенных дантонов и маратов, а у тебя, в Москве, была тишь да гладь. Недоволен я тобой, генерал. — Долгоруков поднялся. Шаркая туфлями, он подошел к зеркалу. — Артист этот французишка! Посмотри, какие колечки! Усики, как у гусарского корнета! И куда это Григорий запропастился?

— Здесь я, ваше сиятельство.

Григорий Иванович вышел из-за ширмы.

— И как тебе не совестно, Григорий! Пожаловал к нам дорогой гость, а ты его даже чаем не напоил.

— Завтрак ждет в столовой.

— Слышал, генерал? Не человек, а лампа Аладдина. Давай, лампа Аладдина, одеваться, а ты, генерал, почитай пока циркулярное письмо князеньки Кропоткина. На ночном столике лежит. Любопытное письмецо. Одно

заглавие чего стоит! «Должны ли мы заняться распространением идеала будущего строя?» Скромный у этого князеньки идеал: насильственный социальный переворот. А ты, генерал, говоришь, что больших дел нет!

Долгоруков сказал это добродушным тоном, но в его маленьких, по-азиатски скошенных глазках виднелась такая откровенная насмешка, что генерал Слезкин сжался, сгорбился и упавшим голосом попросил:

— Разрешите откланяться, ваше сиятельство.

— Чего ты, голубчик, — засуетился Долгоруков. — Позавтракай со мной.

— Увольте, ваше сиятельство.

— Не уволю! Так хорошо начался день, а ты его хочешь испортить!

— Отпустите их, князь, — вступился Григорий Иванович. — Генерал ведь к вам прямо с поезда. Им отдохнуть надо.

— Ну, ты... лампа Аладдина!

— Действительно устал, ваше сиятельство.

— Что ж, — огорченно заявил Долгоруков. — Насильно мил не будешь. Только ты, генерал, непременно приезжай вечером. На концерт.

— Почту за честь, ваше сиятельство.

— Кстати, скажи Воейкову, что благословляю.

— На что, ваше сиятельство?

— Он знает.

Слезкин не поехал домой. Злой, подавленный, он зашел в свой служебный кабинет и, отбросив фуражку, крикнул адъютанту:

— Попроси ко мне генерала Воейкова!

Тяжелыми шагами, почти не отрывая ног от пола, вошел в кабинет генерал Воейков. Широкий, от плохого портного, мундир делал его фигуру громоздкой и неуклюжей. Брюки лежали на ботинках гармошкой.

— Поздравляю, ваше превосходительство, с монаршей милостью, — тепло сказал он, приветливо глядя на Слезкина из-под припухших век.

— Вы растроганы, генерал? — ехидно спросил Слезкин, которого сегодня раздражали и неуклюжая фигура Воейкова, и его мужицкое лицо с толстыми веками.

Воейков не заметил или не хотел заметить ехидной улыбки своего начальника — он ответил просто:

— Признаться, да.

— Точно так, как Щепкин?
— Какой Щепкин?
— Актер.
— Не понимаю, ваше превосходительство.
— Так и быть, генерал, поясню. Актеришка из провинции дебютировал в Малом театре и для своего дебюта выбрал роль городничего в «Ревизоре». Старик Михайло Семенович Щепкин явился на репетицию и уселся возле суфлера. Актеришка разошелся, играет с жаром, с надрывом. Режиссер видит: Щепкин плачет, слезы текут по лицу. «Что, Михайло Семенович, растрогались?» — «Да, батюшка, — отвечает Щепкин, — плачу об искусстве, как его этот молодой человек искажает».

Воейков понял намек. Он приподнял свои тяжелые веки и холодным взглядом окинул начальника:

— Вы несправедливы, ваше превосходительство. Я никогда, нигде и никому не говорил, что ваш доклад не полностью совпадает с действительностью.

— Действительность, генерал, понятие относительное, а не абсолютное. Я в своем докладе изобразил такую действительность, какую хотели видеть в Петербурге.

— Гарью пахнет, ваше превосходительство!

Слезкин — тонкий, ловкий — сделал несколько шагов по кабинету, выглянул на улицу: мокрый снег, слякотно. Он захлопнул форточку. На язык просились грубые слова, брань. Генерал с повадками ярыжки времен Ивана Грозного! Наябедничал князю, а тот — Потапову, Палену... В начальники хочет пролезть! Повремени, голубчик, Слезкин еще не выдохся: тебя, мужлана, я еще заставлю таскать из огня каштаны для Слезкина...

— Вот что, генерал, — сказал он спокойно, деловым тоном, — я видел князя, и мы с ним обо всем договорились. В Петербурге хотят видеть новую действительность. Вот вы, генерал, и создавайте ее. Хозяйничайте, как находите нужным. Заранее одобряю все ваши распоряжения.

Генерал Слезкин был мудрее генерала Воейкова: он знал, что грачи не делают весны. «Новую действительность» создадут в Петербурге, а князь Долгоруков и Воейков лишь суетятся и галдят, как грачи на талом снегу.

— Но, генерал, — продолжал Слезкин, шагая по кабинету, — новая действительность должна строиться

по-новому. Чернышевскому, когда он стоял на эшафоте, бросили букет цветов. Этого нельзя забыть, генерал. В новой действительности не должно быть ни эшафотов, ни цветов. Должен быть суд, со свидетелями и защитниками, но подсудимых должно быть так много, чтобы общество ужаснулось, чтобы общество увидело пропасть у своих ног, чтобы люди общества с благодарностью вспомнили тех, кто их охраняет.

Воейкова не смутил размах Слезкина. Он знал, что на московских фабриках ведется широкая пропаганда, так что подсудимых для большого процесса он добудет, но...

— Ваше превосходительство, в Москве тюрем не хватит.

— В России чтобы тюрем не хватило! — насмешливо ответил Слезкин.

— Я, ваше превосходительство, говорю о Москве. Князь предполагает очистить Москву.

— А мы с вами, генерал, Россию очистим. Кстати, генерал, вы князя не поняли. Князю важно, чтобы первое слово сказала Москва. Вот мы с вами первое слово и скажем. Мы начнем, а Петербург закончит.

...Перед Воейковым карта с красными кружочками; каждый кружочек — фабрика. Из каждой фабрики он вылавливал по нескольку человек. Многие арестованные называли друзей, товарищей, и вот генерал Воейков, закрывшись на ключ в своем кабинете, выбирает из протоколов те фамилии, которые встречаются по нескольку раз. Арестованный Платонов назвал Петра Алексеева: он-де давал ему запрещенные книжки; арестованный Влас Алексеев также назвал своего брата, Петра Алексеева: он дал ему на масленице два экземпляра «Хитрой механики».

Воейков написал на отдельном листе: «Петр Алексеев»...

Двадцать седьмого марта в отсутствие Петра Алексеева зашел в закуток управляющий фабрикой Григорьев. Старик Савелий сидел за столом и разглядывал картинки в большой книге.

— Картинками тешишься, — дружелюбно сказал Григорьев, похлопав старика по спине.

— Картинками, милок.

— А где твой сожитель?
— Нет его, милок, не приходил еще.
— Что-то он редко дома бывает.
— А чего ему тут делать? Молод он. Отработал, что полагается, и на воздух его тянет.
Григорьев уселся, обнял старика за плечи.
— Знаешь, Савелий, зачем я пришел? Хочу Алексеева в помощники мастера продвинуть. Как, по-твоему, не обидно будет старикам?
— Ты, милок, управитель, ты и распоряжаешься. А против твоей воли кто пойдет?
— Значит, советуешь? Старикам не будет обидно?
— Какая тут, милок, обида. Алексеев свое ремесло знает.
Григорьев поднялся:
— Значит, хозяину скажу, что старики одобряют, а ты, Савелий, скажи Алексееву, что завтра вечером приду, пусть никуда не уходит.
— Скажу, милок.
Петр Алексеев вернулся домой около полуночи. Савелий все еще сидел за раскрытой книгой.
— Почему не спишь?
— Тебя дожидаюсь. Не нравится мне что-то, Петр Алексеевич...
Савелий передал Алексееву разговор с Григорьевым.
— Чего ты забеспокоился, старик, дело житейское.
— Смотри, Петр Алексеевич, как бы худо не получилось.
— Не получится, Савелий. Давай свет тушить и спать.
А утром, позавтракав, Петр Алексеевич достал из своего сундучка белую рубаху с цветным шитьем по вороту — ту рубаху, которую он купил в день приезда из деревни и в которой хотел восьмого апреля поехать в Питер, аккуратно укутал ее носовым платком и спрятал за пазуху; потом кликнул Терентьева:
— Ухожу, брат, по делу, а если не вернусь, то возьми мои вещички и рассчитайся с Фроловым — я ему три рубля должен.
— Петр Алексеевич! — не сказал, а как бы ахнул Савелий.
Алексеев прижал старика к своей груди.
— Все в порядке, Савелий. Скоро свидимся.
— Дай бог.

Алексеев выбрался из фабрики не через калитку, где дежурил рыжий Скляр, а через окно в подвале.

Вечером нагрянул в общежитие генерал Воейков с восемью жандармами. Впереди семенил толстенький Григорьев.

В закутке светло. За столом сидит старик Савелий — разглядывает картинки.

— Где Алексеев?

— Нет его, милок. Не приходил еще.

Генерал Воейков — грузный, флегматичный — уселся за стол; курил папиросу за папиросой. Вскоре это ему наскучило.

— Приступай к обыску!

Жандармы перерыли сундучок Алексеева — ничего запретного не нашли. Сбили замок со шкафа: книги.

— Клади на стол!

Жандармы носили книги осторожно, на вытянутых руках, словно они были из стекла.

Воейков, пересмотрев книги, понял, что наконец-то напал на одного из самых главных: рядовой рабочий не читает таких книг! «Природа и ее явления», «Очерки из фабричной жизни», «Раскол и его значение в русской истории», «Беседы по русской истории», «Клод Ге» Гюго... Генерал так расчувствовался, что отрядил двух жандармов в ближайший трактир за ужином для Григорьева и для Савелия.

— Мы должны бодрствовать по службе, — сказал он, угощая управляющего и старика, — а вы, господа, страдать не должны.

И Григорьев, и старик Савелий приняли угощение с охотой. Григорьев предвкушал еще бо́льшую награду за выдачу «государева преступника», Савелий из озорства — с паршивой овцы хоть шерсти клок. Он-то знал, что бирюку генералу придется долго ждать Петра Алексеевича.

После полуночи Воейков начал нервничать. Сначала он молча поднимался с табуретки и вновь усаживался, потом стал придираться то к одному, то к другому жандарму; наконец около трех часов ночи он вдруг накинулся на Григорьева:

— Говорил тебе, стереги! А ты что? Упустил его!

— Ваше превосходительство! Все следили за ним, а он, видите, точно в воду канул!

...В шесть часов, когда первые робкие лучи заглянули в закуток, генерал Воейков надел шинель и лающим голосом бросил:

— Пошли!

13

Ткач с фабрики Шибаева Яков Яковлев получил в субботу двадцать восьмого марта получку — четыре рубля шестьдесят копеек — и прямо из конторы направился в трактир. Там он должен был встретиться со своим братом Трофимом — приказчиком на фабрике Тюляевых.

В трактире было людно: одни пили чай, другие — водку, и все разговаривали в полный голос.

За соседним столом сидели, сгрудившись, человек шесть, и из тарелок, что стояли перед ними, шел приятный парок.

Яков Яковлев был зол. Приближается пасха, надо детей приодеть, припас заготовить, а денег — чуть! Жулик этот Шибаев! Одних гарусных кушаков Яковлев сдал ему двести шестнадцать, а сколько бумажных? Наработал рублей на двенадцать, а получил — четыре рубля шестьдесят копеек. Что на них приобретешь? Все надежды на Трофима — если он не выручит, загрызет Варвара... Не Варвара, а чистый варвар! Знать ничего не желает — добывай денег на пасху! «Чем я хуже других!» Толкуй с бабой! У кого добыть? Добро бы у Гучковых работал — там народу больше тысячи: всегда найдется у кого десятку перехватить. А у Шибаева разве фабрика? Так, лабаз — три десятка работников и жулик хозяин! У кого тут разживешься? А Варваре все нипочем: добудь, и весь сказ!

Явился Трофим. Братья, а ничуть не похожи. Яков — длинный, с лицом постным, скучным и глубоко запавшими глазами, а Трофим — коротышка, с брюшком и круглым лоснящимся лицом.

— Сказывай, зачем я тебе понадобился.

Так сразу и не скажешь — еще сбежит, когда деньги попросишь.

— Давай раньше чаек закажем, за чаем и поговорим.

— Это для чая-то я пять верст отшагал?

— Можно и водочки заказать, — согласился Яков. — Человек! Два стакана!

— Закусочку прикажете?

Яков вопросительно взглянул на брата.

— Ты заказываешь, ты и выбирай. Хошь — воблу, хошь — поросенка. Ты хозяин, — добродушно промолвил Трофим.

Якову было тошно: не угостишь, Трофим и слушать его не станет, а угощение денег стоит. А вдруг Трофим откажет, как тогда перед Варварой отчитываться?

— Ты чего, Яков, задумался? Может, у тебя денег нет?

— Как так нет! Есть! Давай нам того, что у них в тарелках! — Он показал на соседний стол.

— Селяночку московскую?

— Вот-вот, селяночку эту самую.

Официант принес стаканы с водкой, две тарелки остро и приятно пахнущей селянки. Братья чокнулись, выпили.

Яков сразу охмелел, и ему вдруг обидно стало за свою извечную нужду, за свой страх перед Варварой...

— Может, еще водки хочешь? — обратился он к Трофиму.

— Можно и еще.

— Человек! Еще водки!

— Закусочку прикажете?

— Закусочку? А как же! Трофим! Какую прикажешь закусочку?

— Ты хозяин, ты и выбирай. По мне, хошь — воблу, хошь — поросенка.

— Тащи поросенка!

Выпили по второму стакану, заели поросенком.

Еще обиднее стало Якову: кого он угощает? Перед кем унижается? Перед младшим братом, которого всегда считал подлецом: доносчиком в полиции служит!

— Ты почему молчишь? — набросился он неожиданно на Трофима. — Напился, нажрался и молчишь!

— С чего это ты? — миролюбиво спросил Трофим. — Пригласил брата, угостил и вдруг лаешься.

— А ты почему молчишь? Почему не спрашиваешь: «Брат Яков, может, у тебя нужда какая?» Старший брат тебя водкой потчует, поросенком кормит, а ты молчишь! — Вдруг он вскочил. — Кто я тебе? Брат или не брат?!

— Яков... Яков...

— Сам знаю, что Яков! А ты, подлец, Якова не ува-

жаешь! — Он схватил со стола стакан, швырнул его на пол. — Видал? Так я вас всех!

— Кого это всех?

— И тебя! И Шибаева! И Варвару! Всех!

Прибежал хозяин.

— Чего, варнак, разошелся?

— Хочу, потому и разошелся!

— Плати и уходи, не то...

Трофим, крадучись, подобрался к двери и исчез.

...Яков явился домой поздно. Били ли его или он подрался с кем-то — не помнит. Тело ныло, лицо в кровоподтеках. Попало ему и от Варвары. Она его и за волосы таскала и по щекам хлестала, но он сносил побои молча, с обычной покорностью. Денег у него не оказалось: Варвара искала и по карманам, и за подкладкой пиджака, и даже в шапке.

Яков свалился на пол и тотчас же уснул.

Проснулся он рано. Жена, дети еще спали. Тихо, чтобы не потревожить семью, Яков вышел во двор, умылся у колодца, почистился и направился в губернское жандармское управление.

— По какому делу? — спросил у него дежурный.

— К их превосходительству.

«Их превосходительство» генерал Воейков явился к 9 часам.

— Важное сообщение имею сообщить.

— Говори!

— Могу указать вашему превосходительству на одного опасного смутьяна.

— Чем он так опасен?

— Он говорит, что скоро будет свобода, что все сословья сравняют.

— И ты ему поверил?

— Не поверил, ваше превосходительство.

— То-то, чего спьяну не сболтнешь.

— Он не был пьян, ваше превосходительство.

— Значит, дурак.

— Ваше превосходительство! Он еще сказал, что на фабриках живут студенты из господ. Они народ обучают и запретные книжки раздают.

Генерал подошел к Яковлеву:

— Ты где работаешь?

— У Шибаева, ваше превосходительство.

— А смутьян этот?

— Работал у Турне, теперь нигде не работает, ходит по трактирам и народ смущает.

— Звать его как?

— Николай Васильев.

— Где живет?

— Не знаю, ваше превосходительство. Но знаю, где его найти.

— Где?

— На Разгуляе. В трактире Куринского.

— Когда он там бывает?

— По воскресеньям, всегда с утра.

Генерал раскрыл дверь:

— Майора Нищенкова ко мне!

Быстрые шаги с серебряным призвоном. В кабинет вошел грузный офицер с пушистыми черными усами.

— Переоденьтесь, майор, вызовите двух агентов в штатском и отправляйтесь с... Как тебя зовут?

— Яковлев, ваше превосходительство!

— И отправляйтесь с Яковлевым на Разгуляй

— Сюда доставить?

— Сюда.

Офицер направился к двери, а Яковлев остался стоять на своем месте.

— Ты чего?

Лицо Яковлева стало сразу жалким, как у нищего, к которому приближается хорошо одетый человек.

Генерал хорошо знал свою клиентуру.

— Майор,— позвал он офицера.— Когда закончите, дадите Яковлеву трешку.

...Через час выводили Николая Васильева из трактира, и жандармский майор Нищенков, прежде чем сесть в пролетку, дал Якову Яковлеву зелененькую трехрублевую кредитку.

14

Столько народу было арестовано в последние дни, что Петр Алексеев сразу понял, зачем он вдруг понадобился управляющему Григорьеву. Он ушел с фабрики, чтобы больше туда не возвращаться. Жалко было вещей, но что поделать? И паспорт остался в конторе...

Начинается новая жизнь — нелегальная, и к этой

жизни надо готовиться. Квартира у него имеется: в домике, который скрывается за березами. Он скажет хозяйке, что надумал переехать раньше срока, — это не вызовет подозрений. С работой также уладится: день тут, день там — с голоду не умрет. Но как быть с народом? Где встречаться, где читки устраивать? Ведь нельзя терять связь с народом, особенно теперь, когда всех растревожили аресты.

Петр Алексеевич решил посоветоваться с товарищами.

Квартира на Пантелеевской улице помещалась в глубине двора, в отдельном флигеле. Низкий забор из ржавых листов кровельного железа отделял двор «жены сенатского регистратора Е. А. Корсак» от соседней, церковной усадьбы. Перед флигелем несколько черных грядок, кругом — кучи щебня.

Весна в этом году была ранняя, дружная: деревья уже зазеленели, из земли буйно шли травы.

Алексеев склонился, чтобы сорвать травинку, и украдкой глянул, на месте ли «сигнал» — ситцевый платок в крайнем окне. Все в порядке! Он поднялся на низенькое крылечко и без стука раскрыл дверь в кухню.

Ольга Любатович в цветистом халате стояла возле плиты и ножом переворачивала ломтики хлеба на шипящей сковородке.

— Петр Алексеевич! — обрадовалась она. — Хорошо, что вы пришли! — Она бросила нож. — Идемте в комнату!

— Зачем я так срочно понадобился?

— Беда, Петр Алексеевич! Васильева арестовали!

— Когда? Где?

— Только что, в трактире на Разгуляе.

Петр Алексеевич шагнул к двери, распахнул ее, и первое, что он увидел, — Дарья! Она стояла, прижавшись спиной к стене.

К дивану был придвинут стол. На диване сидят Софья Бардина и Бетя Каминская, с одинаковыми прическами — взбитые спереди и коротко остриженные сзади, — в одинаковых беленьких платьях.

На стульях, вокруг стола, — Семен Агапов, взлохмаченный, словно не успел сегодня причесаться, Пафнутий Николаев в белой рубахе без опояски и крупный, в обтянутой военной гимнастерке, Чикоидзе. Иван Джабадари — в длинном сером архалуке — шагает по комнате.

На столе — самовар и чайная посуда.

— Петр Алексеевич! — кинулась к вошедшему Дарья. — Милый ты мой... Хороший ты мой... Николая-то моего арестовали... Что я буду делать? Что я, несчастная, буду делать?

— Опять сначала! — сердито проговорил Джабадари. — Ведь мы с тобой уже договорились. Деньги я тебе дал. Купи хлеба, колбасы, папирос и отправляйся в жандармское управление. Отнеси Николаю передачу, попроси с ним свидания. Понятно?

— Милый ты мой... Хороший ты мой... Не пустят меня в это самое правление.

— Что ты, Дарья, — насмешливо сказал Пафнутий Николаев. — Такую красавицу и вдруг не пустят.

— А ты пореви, — вмешался Семен Агапов. — Слезы у тебя, как вижу, дешевые.

Дарья метнула злой взгляд в сторону Николаева и Агапова, но тут же расплылось ее жирное лицо в угодливую улыбку:

— Милые вы мои... Хорошие вы мои...

К Дарье подошла Бетя Каминская:

— Дарьюшка, сделай так, как Михаил тебе советует. И чего ты убиваешься? Подержат Николая несколько дней и отпустят.

— За вас он пострадал... За вас... Милые вы мои... Хорошие вы мои...

— Перестань реветь! — строго проговорил Петр Алексеевич. — Николай там без хлеба сидит, а ты тут ручьем разлилась. Нужен он им, твой Николай!

Подействовала ли строгость Алексеева или что-то иное, но Дарья сразу подобралась, вытерла лицо краешком платка, низко поклонилась:

— Пойду, милые вы мои... Пойду, хорошие вы мои...

Когда Дарья ушла, Алексеев спросил:

— Откуда она этот адрес знает?

— Была тут один раз с Николаем.

— Скверно! Надо немедленно переменить квартиру!

— Неужели... — начала Бардина.

— Да! — оборвал ее Алексеев. — От нее можно ожидать любую пакость! А нам, товарищи, необходимо во что бы то ни стало центр сохранить!

— Друзья, — мягко сказал Чикоидзе, — мне кажется, что нам не следует так поспешно уходить отсюда. У нас

имеются обязательства по отношению к рабочим. Они будут ходить сюда, встревоженные. Нам надо их ободрить, успокоить, а не скрываться от них. Мне кажется, что своим бегством мы возбудим в них недоверие, и вся наша полугодовая работа пойдет насмарку.

— Но для этого нет нужды всем оставаться! — настаивал Петр Алексеевич.

Бардина закуталась в шаль, словно ей внезапно стало холодно.

— Прав Петр Алексеевич, прав и Чикоидзе. Нам надо съехать с этой квартиры, и чем скорее, тем лучше. А я тут останусь для связи.

— И я с тобой!

— Нет, Бетя, я одна останусь. А ты вместе с Джабадари ищи новую квартиру. Грязнова и Жукова надо сегодня же отправить в Питер. Лидию Фигнер и Варвару Александрову — в Иваново-Вознесенск. А вы, Петр Алексеевич, как? В Питер или в Иваново-Вознесенск?

— В Питер мне еще рано. Поеду в Иваново. Как у нас с литературой? — обратился он к Джабадари.

— Все будет в порядке! Понятно? Собирай, Петруха, свою группу!

Джабадари нашел квартиру, правда не такую удобную и не такую просторную, как в доме Корсак, но для конспиративных целей вполне подходящую: также в одиноком флигеле, расположенном в глубине сада.

Третьего апреля было людно и весело во флигельке на Пантелеевской улице. Обстановку и пакеты с литературой уже отправили на новую квартиру. Восемь человек — Бардина, Каминская, Алексеев, Чикоидзе, Пафнутий Николаев, Семен Агапов, Лукашевич и Георгиевский — занимались укладкой посуды, упаковкой мягкой рухляди и, работая, потешались над тем, что работы на грош, а трудится «целый гвардейский полк». Джабадари, недовольный задержкой, поторапливал, подгонял и всем мешал.

Когда узлы были уложены и комнаты уже приняли неуютный, нежилой вид, явилась Дарья.

— Была, Дарьюшка, в управлении? — спросила Каминская.

— Была, милая, была, хорошая, но меня к Николаю не допустили.

— А ты как думала, — опять съязвил Пафнутий Ни-

колаев, — думала, тебя под ручку возьмут и скажут: «Пожалуйте, сударыня, ваш супруг уже дожидается вас»?

— Не думала я, милый мой, не думала, хороший мой. А вы уезжаете? Милые вы мои, хорошие вы мои, на кого вы меня, несчастную, оставляете?

Джабадари достал из кармана бумажник.

— Получай, Дарья, и не огорчайся. Я знаю, где ты живешь. Понятно? Дам тебе знать, когда понадобишься.

Дарья скомкала в руке десятирублевку.

— Спасибо, милый, спасибо, хороший. Дай бог всем вам счастья. — Она подошла к Бардиной, склонилась и неожиданно поцеловала ей руку.

— Что ты! — рассердилась Софья Илларионовна.

— Прости меня, темную, прости меня, глупую. От всего сердца я, милая, от всей души я, хорошая.

Распрощалась и медленным шагом ушла.

— Давайте чай пить на прощание,—предложила Бардина, чтобы покончить с тягостным молчанием: все как-то разом почувствовали, что случилось что-то очень неприятное.

День угасал; уже горели уличные фонари.

Дарья не шла по улице, а бежала: боялась опоздать. В жандармское управление она ввалилась как куль: большая, рыхлая, плюхнулась на скамью.

— Где тут начальник? — еле выговорила она.

Ее повели к генералу Воейкову.

— Скорее! Они сбегут!

— Кто?

— Самые главные! Те, что народ смущают! Они самые главные смутьяны! Студенты и ученые девицы! Скорее! Они сбегут!

— Мацкевича ко мне! — взревел генерал Воейков.

Жандарм, стоявший истуканом у двери, бросился вон.

На пролетках, в экипажах и каретах приехало человек сорок. Не доезжая дома Корсак, они соскочили на землю и, опережая генерала Воейкова, бросились во двор. Человек десять выстроились цепочкой вдоль низенького забора, человек десять охватили кольцом флигелек, остальные последовали за генералом Воейковым. Грузный, тяжелый, он подобрал полы шинели, словно ему предстояло перейти через речку, и вприпрыжку, по-маль-

чишески, пустился к крыльцу. На верхней ступеньке Воейков задержался на мгновение, отдышался и, рванувшись вперед, распахнул дверь.

За столом пили чай. Бардина держала чашку на весу. Петр Алексеев, видимо, рассказывал что-то смешное: широкая улыбка освещала его лицо. Чикоидзе смотрел на него смеющимися глазами. Семен Агапов сидел с раскрытым ртом. Каминская застенчиво улыбалась.

— Арестовать всех! — крикнул Воейков.

Вся жандармская банда, человек двадцать, гремя сапогами, окружила стол.

— Обыскать!

У Петра Алексеева в кармане подложный паспорт; у Чикоидзе важные конспиративные документы.

— А ордер на обыск имеется? — спокойно спросил Петр Алексеевич.

— Поручик Шишковский! Покажите ему ордер!

Алексеев взял ордер из рук офицера, прочитал его про себя.

— Тут нет подписи прокурора, — сказал он тем же спокойным голосом. — А без прокурора не разрешено обыска делать.

— Прокурора нет и не будет! — рассвирепел Воейков.

— Обыска без прокурора не имеете права делать, — твердо заявил Алексеев.

— Хорошо! — пролаял Воейков. — Будет вам прокурор! Штабс-капитан Мацкевич! Не давать им шагу ступить! На местах пусть сидят! Я поеду за прокурором!

Воейков ушел. Штабс-капитан Мацкевич отослал жандармов на кухню. В комнате остались одни офицеры.

— Может, чаю выпьете с нами? — предложила Бардина.

— Благодарствую.

— Вы простите нас, господа, не можем предложить вам стульев. Мы не ждали гостей, — продолжала Бардина.

— Ничего, посидим и на подоконниках.

Петр Алексеев протянул свой стакан Каминской:

— Налейте, пожалуйста, горяченького, и ему, — показал он взглядом на Чикоидзе.

— Я не хочу.

— Зря отказываетесь, — как-то загадочно промолвил

Петр Алексеевич. — Твердая закуска от горячего легче проходит.

Чикоидзе не понял, на что намекает Алексеев.

Петр Алексеевич сунул руку за пазуху и спустя мгновение вытащил ее обратно и поднес ко рту. Сделал глотательное движение и запил чаем. Опять руку за пазуху и опять что-то в рот. Чикоидзе понял!

— Пожалуйста, и мне горяченького! — попросил он.

Петр Алексеевич проглотил свой паспорт, даже твердую обложку; Чикоидзе — все свои документы. И, когда с этим было покончено, завязался общий разговор, правда тихий, полушепотом, о том, как себя держать на допросах, какие показания давать по поводу дома Корсак. Все говорили спокойно, хотя всех угнетало сознание, что сами виноваты во всем: нужно было вчера переехать на новую квартиру, не надо было затевать чаепития...

Воейков, видимо, увез прокурора Кларка с бала или из театра: он был во фраке, в белом галстуке бабочкой.

— Это вы хотели меня видеть? — спросил он Алексеева.

— Видеть вас я не хотел, — серьезно ответил Петр Алексеевич. — Но мне казалось, что даже при арестах надо соблюдать закон.

— Особа генерала достаточная гарантия.

— Ошибаетесь, господин прокурор. Генерал — исполнитель закона, но не закон.

— Неплохо разбираетесь в юридических тонкостях.

— Обыскать! — оборвал Воейков разговор.

Жандармы приступили к обыску.

Это было в ночь на 4 апреля 1875 года.

15

Из полицейского участка Алексеева перевели в Бутырки, в Пугачевскую башню.

Как медленно ползет время! В камеру заглядывает белесое летнее небо. Изредка появится тучка, потемнеет вокруг — и опять знойное солнце.

Петр Алексеевич шагает из угла в угол. Душно, скучно, и читать нечего. Вчера он не сдержался, поскандалил: требовал книг.

Его вызвали к прокурору. Августовский день, а проку-

рор, старенький и подслеповатый, сидит в драповом пальто.

— Чем вы, Алексеев, недовольны? — с наигранной вежливостью осведомился он.

— Книг не дают.

Прокурор окинул Алексеева добродушным взглядом:

— А ведь тебя можно было бы на все четыре стороны отпустить.

— Отпустите, господин прокурор.

Старика рассердил спокойный ответ Алексеева.

— Как тебя отпустить, когда в тебе искренности нет! — Он раскрыл дело и ткнул пальцем в исписанный лист. — Два раза я с тобою говорил, и до чего мы договорились? Что ты родился в году тысяча восемьсот сорок девятом, в деревне Новинской, уезда Сычевского, что в Смоленской губернии... И все!

— Не все, господин прокурор. Я еще сказал...

— Все! — оборвал его старик. — Что ты мне еще сказал? Что у твоих родителей земли мало, что они тебя девятилетним на фабрику отдали? — Он захлопнул папку. — Запирательство тебя до добра не доведет! Помни, Алексеев: законы у нас строгие, но если ты чистосердечно раскаешься, расскажешь мне про студентов, которые тебя совратили, раскроешь все их шашни, то, поверь мне, старому человеку, под снисхождение тебя подведу и выпущу на все четыре стороны... Что ты делал в доме Корсак?

— Квартиру искал. Увидел билет на воротах — вот и поднялся. Мальчонка один сказывал, что там дворник проживает.

Прокурор укоризненно покачал головой:

— Я с тобою, как отец с сыном, а ты со мной хитришь! Хочешь, я тебе скажу, что ты делал в доме Корсак? Ты там билет получал, чтобы поехать в Иваново-Вознесенск... Ты запираешься, а я про тебя все знаю. Ты из кожи лезешь, чтобы услужить студентам, а они нам все рассказали. Они отреклись от тебя, мужика сиволапого, а ты их щадишь! И до каторги себя доведешь. Понимаешь, Алексеев: до каторги! Что тебе, жизнь надоела? И за кого ты хочешь пострадать? За студентов, которые тебя же предали?

Подавляя улыбку, Алексеев смотрел в подслеповатые глаза прокурора. Ему был противен этот старик: третий

раз беседует он с ним—и каждый раз с подковырцей. Сейчас билетом пугает. Билет на столе остался: легко догадаться, что кто-то собирался в Иваново-Вознесенск.

— Ну, Алексеев? — резко окликнул прокурор. — Чего ты молчишь?

— Молчу, потому что сказать мне нечего. Я все уже сказал.

Опытный прокурор понял, что ему и на этот раз не совладать с Алексеевым.

— Иди. Я прикажу, чтобы тебе книги дали.

Действительно, книгу Алексееву дали. Петр Алексеевич было обрадовался, да, увидев золотой крест на переплете, понял: библия.

...Алексеев положил себе за правило ежедневно часа два по утрам делать гимнастику. А перед сном он «отправлялся на прогулку»: из одного угла в другой. Прогулка длилась также два часа, и за это время Алексеев вышагивал десять километров.

В одну из бессонных ночей (спать полагалось при свете) Алексеев увидел мышку, вылезшую из-под нижнего плинтуса. Он взволновался при виде живого существа и решил «подружиться» с мышкой. От каждого своего обеда Петр Алексеевич начал оставлять у стола кусочки мяса, хлеба и, ложась на постель, смотрел в тот угол, где была норка. В дырочке появлялась острая мордочка с маленькими черными глазками. Затем серенький зверек начинал свое путешествие по камере, обнюхивая все попадавшееся на пути. Наконец зверек достигал места у стола, где была для него приготовлена трапеза.

Когда выпадали дни, что мышка не показывалась в камере, Алексееву делалось тоскливо, точно друг, назначивший ему свидание, не явился на это свидание.

Наконец-то разрешили Алексееву пользоваться библиотекой. Он набросился на книги, читал все подряд: «Чрево Парижа» Золя и «Историю» Костомарова, разрозненные номера какого-то медицинского журнала и политическую экономию Милля. Он прочитал все, что нашлось в тюремной библиотеке: Соловьева, Сергеевича, Хлебникова, Бестужева и всю «Историю средних веков» Стасюлевича.

На воле он никогда столько не прочел бы, и, что важнее всего, прочитанное лучше усваивалось: этому способствовали тишина и отсутствие впечатлений.

...Ушел 1875 год, уже наступили свежие осенние рассветы 1876 года. Исхудал Петр Алексеевич. Борода стала клочковатой, лицо покрылось желтой сетью мелких морщин, но сила из тела не ушла: ноги по-прежнему крепкие, кулак тяжелый. Петр Алексеевич выглядит намного старше своих двадцати шести лет, но пожилым его не назовешь.

А папки разбухали: жандармы, прокуроры и сенаторы готовили «Дело о разных лицах, обвиняемых в государственном преступлении по составлению противозаконного сообщества и распространению преступных сочинений».

16

«Новая действительность» создана! Состряпан первый массовый политический процесс — «процесс 50-ти»!

Приближался день суда. В сентябре 1876 года Петра Алексеева отправили в Петербург — в «Дом предварительного заключения», что на Шпалерной улице.

Пока шло оформление вновь прибывшего арестанта, наступило утро, сизое и холодное. Петр Алексеевич вошел в камеру, лег на койку.

— Хлеб! — послышалась команда из коридора.

Открылась форточка, вырезанная в двери, и надзиратель сунул в окошко кусок черного хлеба.

— Кипяток!

Алексеев протянул железную кружку.

Хлеб оказался малосъедобным: сырой, вязкий, годный только для лепки.

Вдруг услышал Алексеев голос — он шел из-под пола:

— Товарищ!..

Кто-то звал сдавленным шепотом.

Петр Алексеевич бросился в тот угол, откуда слышался зов:

— Я тут, товарищ!

— Поскреби около трубы, там щель, — откликнулся голос из-под пола.

Алексеев принялся ногтями расширять щель. Голос нижнего товарища слышался уже яснее:

— Почему не отвечаешь на стуки?

— Я вашей азбуки не знаю.

— Сними икону в углу. На обратной стороне азбука записана.

В коридоре послышались шаги. Алексеев одним прыжком очутился возле стола. Когда затихли шаги, опять послышался голос из-под пола:

— Кто ты и откуда прибыл?

Алексеев назвал себя.

Пошел перестук по тюрьме. То затихая, то усиливаясь, перестук полз из камеры в камеру, с этажа на этаж.

«Народу сколько!» — подумал он.

Почти два года был Алексеев оторван от жизни. Все, что происходило на воле, казалось подчас таким далеким, точно это происходило в детстве. Фабрики в Петербурге, фабрики в Москве, кружки, товарищи...

Уже на второй день пребывания в «предварилке» Алексеев убедился, что она заключает в себе много такого, что делало ее неизмеримо ценнее Бутырок. Правда, камера была похожа на гроб, но в этом гробу Петр Алексеевич почувствовал себя более человеком, чем в московской тюрьме. Тут он сидел в своей одежде и в своем белье, а не в арестантском, имел свой чайник, свою кружку, свое маленькое хозяйство. Имел право не только читать книги, но и писать. А всего важнее была полная возможность сношения с товарищами.

На первой же прогулке Алексеев встретил друзей.

Джабадари и Чикоидзе бросились к нему с распростертыми объятиями. Алексеев хотел рассказать друзьям о себе, о том, что он пережил и передумал, но вместо этого вдруг предложил:

— Надо нам к суду готовиться. Дадут нам последнее слово, а что мы в этом последнем слове скажем?

— Ты ведь не знаешь, что прокурор скажет, — сказал Семен Агапов.

— Разве важно, что прокурор скажет? — спокойно откликнулся Петр Алексеевич. — Мы знаем, чего он добиваться станет. Мы свое сказать должны. Каждый по-своему должен сказать суду, за что он живот свой кладет.

— Петр дело говорит, — заторопился пылкий Джабадари. — Устроим так, чтобы завтра сюда пустили Софью. Вместе с нею и составим план наших речей. Понятно? Только, товарищи, условимся: не признавать устава, который они нашли у Здановича. Никоим образом не признавать! Понятно? Это отнимет у суда самый сильный

козырь к обвинению. Мы не организация! Мы революционеры, но не организация! Понятно?

— Хорошо, — согласился Алексеев и после паузы добавил: — Помните, товарищи, как в «Манифесте Коммунистической партии» сказано? «Пора уже коммунистам перед всем миром открыто изложить свои взгляды, свои цели, свои стремления...» Вот и изложим...

...Вернувшись в камеру, Петр Алексеевич приступил к работе над своей будущей речью. Работа не клеилась. Мыслей было много, но они разбегались — отвлекал топот солдатских ног в коридоре, перестук арестантов, звяканье ключей и частые вскрики. Петр Алексеевич не мог найти первой фразы, первого образа, который, подобно поводырю, повел бы за собою остальные мысли.

Дня через два зашел в камеру цирюльник с воли. Мальчишка лет восьми-девяти нес за ним ящичек с инструментами.

Алексеев присмотрелся к мальчику: худенький, сероглазый. Вот таким заморышем пришел он сам в Москву...

И в мыслях Петра Алексеевича сложилась первая фраза: образ мальчика, которого родители спровадили в город на заработки.

Написав первую фразу, Алексеев отложил перо. Он вспомнил спор, завязавшийся между Бардиной и Джабадари. «Россия, — говорил Иван Джабадари, — страна мужицкая, и поэтому Алексееву, обездоленному мужику, надо на суде говорить о мужиках, об их тяжелой доле». Софья Бардина предлагала другое. «Алексеев, — сказала она, — рабочий, и говорить он должен о положении рабочих».

«Софья права! — воскликнул тогда Семен Агапов. — Мы пролетарские пропагандисты и в первую очередь боремся за рабочее, пролетарское дело! Какая цель наших выступлений на суде? Мы должны показать господам судьям, что «призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!»

Петр Алексеевич знал, что ни Софья Бардина, ни Джабадари не будут защищаться на суде: окруженные жандармами, они будут пропагандировать свои идеи. Но какие идеи? Бардина и Джабадари — оба они народники, но уж не единомышленники. Когда Николай Васильев предложил поднять восстание и учинить в Кремле «суд всенародный», Джабадари проговорил возмущенно: «Ты

с ума сошел!» А Софья Бардина вся расцвела и каким-то радостным, мечтательным голосом сказала: «Но мы же к этому идем».

Двумя жирными линиями подчеркнул Алексеев выведенные им большими буквами слова: «Миллионы людей рабочего населения».

— Нас миллионы! — сказал он вслух. — Только слепые нас не видят.

Алексеев торопился — писал, переписывал. На прогулку он выходил не только для того, чтобы подышать морозным воздухом, но и для того, чтобы показать написанное товарищам.

Петра Алексеевича вызвали в контору. За столом сидел пожилой человек. Сухощавое лицо его было усталым, глаза смотрели озабоченно и приветливо.

— Давайте, Петр Алексеевич, знакомиться. Ольхин моя фамилия. Александр Александрович Ольхин. Я ваш защитник.

— Стоит ли меня защищать? — чуть-чуть пренебрежительно откликнулся Алексеев.

И слова и тон обидели адвоката:

— Жизнь вам надоела? Или тюремная похлебка показалась сладкой? Вы понимаете, что говорите? Или хотите, чтобы вас загнали куда Макар телят не гонял? Рабочий, не переодетый студент, а всамделишный рабочий — и против царя пошел! — Адвокат перелистал дело, прочитал: — «Петр Алексеев, придя к нему с каким-то неизвестным ему человеком, вызвал его в трактир и передал «Сказку о четырех братьях», советуя ее прочесть. Затем, по показанию рабочего Филиппа Иванова, тот же Петр Алексеев передал ему, Иванову, «Хитрую механику» и «Емельяна Пугачева». — Адвокат отложил дело, посмотрел на Алексеева. — И все же, Петр Алексеевич, дела ваши не плохи. Да, вы передавали вредные, как выражается следователь, книжки. Но кому вы их передавали? Своим друзьям. Не «распространяли», а давали своим друзьям читать свои книжки. Понятно, Петр Алексеевич? Вам надо на процессе держаться в тени. Спросят — скажите: «Да, давал книжки, но что я, малограмотный рабочий, в этих книжках понимаю!» Спросит судья: «Где вы брали эти книжки?» — «На фабрике, господин судья,

они на окне валялись». Судьи заинтересованы в том, чтобы вас вытолкнуть из процесса. Они хотят убедить общество, что у нас рабочие не бунтуют. А нам с вами это на руку.

Алексеев подвинулся к столу и, глядя в глаза адвокату, тихо спросил:

— И вы бы уважали человека, который бросает друзей, чтобы спасти свою шкуру?

— Кто вам предлагает бросать?

— А молчание разве не дезертирство? Мои друзья будут защищать не себя, а наше дело, а я, вместо того чтобы их поддержать, увильну?

Адвокат поднялся. Он подошел к окну, налил себе содовой воды из бутылки, стоявшей на подоконнике, выпил. Вернулся к столу, сказал устало:

— Вы, по всей вероятности, слышали, что Ольхин имеет кой-какое отношение к делу, за которое вы сидите в тюрьме. Так что толкать революционера на дезертирство я не стану. Но, Петр Алексеевич, сейчас идет спор о вашей голове! Тихо поведете себя на суде — отделаетесь легким наказанием. Поднимете голову — вас на каторге сгноят!

— А вы не знаете, кто из студентов будет выступать?

Алексеев задал этот вопрос с умыслом: он не только знал, кто будет выступать, но и участвовал в разработке плана всех речей, теперь же хотел проверить: верно ли все то хорошее, что говорят об Ольхине.

— Если вы забыли, — улыбнулся адвокат, — я вам напомню. Речь Бардиной вы читали, речь Здановича вы читали... — И не без ехидства добавил: — А вашу речь я тоже читал. Кстати, Петр Алексеевич, вы сами сочинили эту речь или друзья ее для вас написали?

Алексеев покраснел и, задыхаясь от волнения, еле выжал из себя:

— Нет! Этой чести я никому не уступлю!

Адвокату стало неловко. Он сказал сконфуженно:

— Простите, Петр Алексеевич. Но вы своей речью никому не поможете, а себя погубите.

Алексеев и сам знал, что ему, рабочему, не простят революционного выступления на суде; он понял еще и то, что человеку, сидящему сейчас против него, дороги люди, отдавшие свои силы революционному делу, поэтому решил Петр Алексеевич оправдать перед Ольхиным свое

упорство. Он положил свою огромную ладонь на руку адвоката и, от волнения немного заикаясь, промолвил:

— Уважаемый господин Ольхин, какой смысл имеет защита, когда всякому известно, что приговор суда составляется заранее. Царский суд — это комедия. Защищайся не защищайся — все равно.

— Верно, Алексеев, — подхватил адвокат. — К нашему стыду, к нашему горю, это непреложная истина. Но ваши слова относятся к тем, которых суд считает главными преступниками. А вы среди них, к счастью для нас с вами, не числитесь.

На лице Алексеева появилась горькая улыбка.

— Я не числюсь среди главных? Нет, уважаемый господин Ольхин! Именно я, рабочий, самый главный на этом процессе! Я должен сказать все, что к рабочему сердцу приросло. Я, ткач, должен крикнуть на всю Россию: рабочий класс пробуждается!

Адвокат понял: ему не уговорить Алексеева.

Ему, Ольхину, было больно: чудесный человек погибнет, и в то же время сжималось сердце от радости: несдобровать царю, если среди рабочих уже появились такие, как Петр Алексеев!

17

Подсудимых было пятьдесят. Их выстроили по двое. Между каждой парой поставили жандарма с обнаженной шашкой и под командой офицера повели подземными ходами, соединявшими «Дом предварительного заключения» с окружным судом.

Двухсветный зал. По-зимнему серо.

Подсудимые сидят на скамьях, расположенных уступами. В зал входят «почетные» гости — один другого дряхлее, все в золоте, с бриллиантовыми звездами. Они садятся позади кресел для суда.

Джабадари многих знал по фотографиям в журналах.

— Смотри, Петр Алексеевич, кто к нам пожаловал! Крайний, толстенький — князь Горчаков, канцлер. Рядом с ним министр юстиции граф Пален. Его отец принимал участие в убийстве царя Павла. Красноносого видишь? Это принц Ольденбургский.

На хорах затопали десятки ног: пустили публику.

Зажгли лампы.

— Встать! — раздалась громкая команда.—Суд идет!

Гуськом, соблюдая старшинство, потянулась к длинному столу судейская коллегия. У каждого своя особенность: один сутулится, другой на ногу припадает, третий семенит мелкими шажками, но, когда судьи опустились в кресла и придвинулись к столу, все стали на одно лицо: тусклые и равнодушные.

Высокое председательское кресло занял первоприсутствующий сенатор Петерс. Череп голый, лицо длинное, зубы большие, лошадиные, глаза колючие.

Секретарь суда читает обвинительный акт, читает долго и монотонно. Князья и графы презрительно рассматривают подсудимых.

Алексеев думал о своем. Народ собрался разный: внизу — сенаторы и министры, на хорах — мужчины в потертых пиджаках, женщины в простеньких платочках и стареньких шляпках. Сенаторы и министры смотрят нагло, а если заглянуть в их сердца — кошки скребут! Неспокойно на душе у всех этих титулованных и сановных холопов... Неспокойно в России: участились стачки на заводах, крестьяне все настойчивее требуют нового передела земли... Об этом часто говорили в тюрьме. А там, на хорах? Там — друзья...

Говорит прокурор Жуков. Волос к волосу приглажен, воротничок блестит, как снег на солнце. На животе тонко звенят золотые брелоки.

— Несмотря на значительное количество фабрик, на которых распространялись книги преступного содержания, в числе подсудимых находится вообще весьма мало крестьян...

Джабадари, зная, что прокурор под «крестьянами» подразумевает рабочих, склонился к Петру Алексеевичу:

— Подумай, Петр: может, не стоит тебе выступать? Прокурор тебя выгораживает.

— Подумаю, Иван, — глухо ответил Алексеев, бросив быстрый взгляд в сторону хоров.

...Девятое марта 1877 года — семнадцатый день суда, а конца еще не видно: обвиняемых пятьдесят, адвокатов пятнадцать, семьдесят три свидетеля да прокурор, и все говорят пространно, обстоятельно.

Петерс все чаще оглядывает ряды подсудимых.

«Какой необычный народ, — думает он. — Девушки миловидные, красивые, слушают внимательно и вдумчи-

во, словно слушают лекцию в университете... Какое одухотворенное лицо у Лидии Фигнер... Какая красивая головка у Медведевой... Какие очаровательные все три сестры Субботины... Только вот эта, Любатович Ольга, смотрит вызывающе из-под синих очков... У Каминской крупный рот, но глаза умные... А Бардина — прелесть: оригинальное личико и уютная материнская улыбка... Что общего у этих воспитанных, образованных девушек с такими, как Алексеев? Он сидит сыч сычом, дергает себя за бороду... Или вот этот мужичок—Иван Баринов: глазки маленькие, волосы взъерошены и усы свисают, как крысиные хвосты... Чем-то он похож на Джабадари... Только нос вот... картошкой...»

Петерс посмотрел в зал: почему вдруг так тихо стало? Адвокат, оказывается, закончил свою речь и протирает платком стекла очков.

— Подсудимый... Подсудимый... — начал Петерс.

На листке, лежавшем перед ним, значился на первом месте Петр Алексеев.

Петерс — опытный судья: в первый же день он понял, что именно Алексеев доставит суду большие неприятности. Он готовит что-то дерзкое.

Да, Петерс не ошибся: Петр Алексеев готовился к бою. В отличие от многих подсудимых на этом процессе, Алексеев решил вести упорную, последовательную антиправительственную борьбу с царским судом. Осведомитель III отделения, давая отчет царю о первом дне процесса, с тревогой писал: «Подсудимый крестьянин Алексеев... встал и объявил, что он отказывается как от защиты, так и от дачи каких бы то ни было показаний настоящему суду, который заранее составляет свой приговор».

Алексеев отказался от защиты, потому что хотел использовать свое последнее слово для изложения своей идейной программы, а своим нежеланием давать показания он хотел дискредитировать суд, показать, что он ему не верит, не считает его правомочным. На обычный вопрос председательствующего Петерса, признает ли он себя виновным в приписываемых ему преступлениях, Алексеев ответил:

— На предположения составителя обвинительного акта и на ваши я не желаю давать никаких ответов.

Многоопытный Петерс понял, какой бунтарский смысл

кроется в этой хорошо организованной фразе, и поэтому он тут же поспешил сгладить ее впечатление:

— Вы могли сказать просто, что не признаете себя виновным.

Алексеев насмешливо улыбнулся, и Петерс понял, что перед ним смелый и убежденный враг.

— Подсудимая Бардина, — сказал Петерс раздраженно.

Софья Бардина вышла не спеша. Движения плавные, спокойные.

— Не отрицая факта пропаганды на фабрике Лазарева, я никак не могу согласиться с обвинением... — Бардина говорила высоким и певучим голосом. — Если бы тот идеальный общественный строй, о котором мы мечтаем, мог быть осуществлен без всякого насильственного переворота, то, конечно, мы все были бы рады этому от души...

— Но эти рассуждения не идут к делу, — вежливо, наклонив голову, проговорил Петерс.

Что-то похожее на улыбку появилось на лице Бардиной и тут же исчезло.

— Я ли подрываю основы собственности или фабрикант, который платит рабочему за одну треть рабочего дня, а две трети берет себе? Или спекулянт, который, играя на бирже, обогащается, не производя ничего? — по-прежнему певуче откликнулась она. — Меня обвиняют в возбуждении к бунту, но я полагаю, что революция может быть только результатом целого ряда исторических условий, а не подстрекательством отдельных личностей...

Она говорила сдержанно, без громких фраз, без жестов, — она говорила так, как говорила у себя дома со своими подругами, объясняя им трудное место из книги.

— Если государства разрушаются, то это обыкновенно происходит оттого, что они сами в себе носят зародыши разрушения...

Слова Бардиной звучали с хрустальной ясностью. Сенаторы и министры зашипели.

— Я убеждена, — продолжала Бардина, чуть повысив голос, — еще в том, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами...

На хорах кто-то всплакнул. Петерс схватился за коло-

кольчик. Один из защитников выронил из рук книгу — она упала, гулко прогремев в притихшем зале, словно выстрел.

— За нами сила нравственная, — опять послышался певучий голос Софьи Бардиной, — сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, — добавила она, склонившись в сторону Петерса, — увы, на штыки не улавливаются...

Бардина уже закончила свою речь, но ее чистый голос еще звучал в зале. Сенаторы вросли в спинки своих кресел. Лошадиное лицо Петерса побагровело, на лысине выступила испарина.

— Агапов! Подсудимый Агапов! — выкрикнул он задыхаясь.

Поднялся Семен Иванович. В его ушах еще звучала речь Бардиной Может ли он что-нибудь добавить к этой речи? Да, он обязан! Во всей ее речи слышалось предупреждение: трепещите, царские слуги, на вас надвигается призрак коммунизма! Но о рабочих Бардина ничего не сказала:

— Господа судьи! Я рабочий! Я с малолетства жил на фабриках и на заводах. Я много думал о средствах улучшить быт рабочих и наконец сделался пропагандистом... Я исполнил свой долг, долг честного рабочего, искреннего, всей душой преданного интересам своих бедных, замученных собратий...

Рука Петерса сорвалась со стола. Его губы искривились в усмешке. Глядя мимо Агапова, он проворчал:

— Зданович! — Но, не дав ему произнести и десяти фраз, вызвал Алексеева.

Тяжело ступая, поднялся Петр Алексеевич к месту, отведенному для подсудимых. Мощная фигура в белой крестьянской рубахе навыпуск. Голова с шапкой черных волос, смуглое лицо, курчавая борода. Он повернулся лицом к залу и начал ровным, спокойным голосом с оттенком грусти:

— Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только станем сами ступать на ноги, бываем брошены отцами и матерями на произвол судьбы, не получая никакого воспитания за неимением школ и времени, от непосильного труда и скудного за это вознаграждения. Десяти лет — мальчишками — нас стараются проводить с хлеба долой на заработки. Что же нас там ожидает? По-

нятно, продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска черного хлеба; поступаем под присмотр взрослых, которые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду; питаемся кое-чем; задыхаемся от пыли и испорченного, зараженного разными нечистотами воздуха. Спим где попало, на полу, без всякой постели и подушки в головах, завернутые в какое-нибудь лохмотье и окруженные со всех сторон бесчисленным множеством разных паразитов... Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталистов в этот детский период! И какое мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти?..

Алексеев часто брал бороду в кулак. Он посылал свои слова то вверх, на хоры, то бросал их суду. Он торопился, точно не верил, что ему дадут закончить речь.

На хорах сидели в неловкой позе, свесившись за перила. Члены суда скучно смотрели в потолок, один только Ренненкампф злобно уставился на Алексеева, как бульдог, готовый вцепиться ему в икры.

Петерс, держа в руке колокольчик, с нетерпением следил за Алексеевым, готовый, как пожарный, забить тревогу при вспышке первой искры.

Алексеев все это видел. Он говорил не особенно громко, но с возмущением человека, вынужденного рассказывать о подлых деяниях подленьких людишек.

— Взрослому работнику заработную плату довели до минимума. Из этого заработка все капиталисты без зазрения совести стараются всевозможными способами отнимать у рабочих трудовую копейку и считают этот грабеж доходом... Рабочий отдается капиталисту на задельную работу, беспрекословно и с точностью исполняет все рабочие дни и работу, для которой поступил, не исключая и бесплатных хозяйских чередов. Рабочие склоняются перед капиталистом, когда им по праву или не по праву пишут штраф, боясь лишиться куска хлеба, который достается им семнадцатичасовым дневным трудом...

Петерс отнял пальцы от колокольчика и облегченно вздохнул: «Чем пугал меня прокурор? Мужичок свои обиды вспоминает. Пусть вспоминает».

Вздох Петерса долетел до Алексеева. Он склонился над столиком и спокойно продолжал:

— Впрочем, я не берусь описывать подробности всех злоупотреблений фабрикантов, потому что слова мои мо-

гут показаться неправдоподобными для тех, которые не хотят знать жизнь работников и не видали московских рабочих, живущих у знаменитых русских фабрикантов: Бабкина, Гучкова, Бутикова, Морозова и других...

Петерс оживился:

— Это все равно, вы можете этого не говорить.

Алексеев провел рукой по барьеру, выдвинулся немного вперед и после паузы сказал с горечью:

— Да, действительно, все равно — везде одинаково рабочие доведены до самого жалкого состояния. Семнадцатичасовой дневной труд — и едва можно заработать сорок копеек. Это ужасно! — выкрикнул он, но тут же, точно вспомнив что-то, опять успокоился. — При такой дороговизне съестных припасов приходится выделять из этого скудного заработка на поддержку семейного существования и уплату казенных податей. Нет! — стукнул Алексеев по столу, и глаза его, горячие, преследовали Петерса. — При настоящих условиях жизни работников невозможно удовлетворить самые необходимые потребности человека...

Алексеев вышел из клетки, повернулся к скамьям знати и угрожающе произнес:

— Пусть пока они умирают голодной, медленной смертью, а мы скрепя сердце будем смотреть на них до тех пор, пока освободим из-под ярма нашу усталую руку и свободно сможем тогда протянуть ее для помощи другим!

Он вернулся в клетку, задумался и тихо, словно отвечая на какие-то свои мысли, продолжал:

— Отчасти все это странно, все это непонятно, темно и отчасти как-то прискорбно, а в особенности сидеть на скамье подсудимых человеку, который чуть ли не с самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал семнадцатичасовым трудом кусок черного хлеба.

Задумчивость сразу спала; он повернул голову к сенаторам и с новой силой сказал:

— Разве у нас учат с малолетства чему-нибудь бедняка? Разве у нас есть полезные и доступные книги для работника? Где и чему они могут научиться? А взгляните на русскую народную литературу. Ничего не может быть разительнее того примера, что у нас издаются для народного чтения такие книги, как «Бова-королевич», «Еруслан Лазаревич», «Ванька Каин», «Жених в чернилах и неве-

ста во щах». Оттого-то в нашем рабочем народе и сложились такие понятия о чтении: одно — забавное, а другое — божественное. Я думаю, каждому известно, что у нас в России рабочие все еще не избавлены от преследований за чтение книг, а в особенности, если у него увидят книгу, в которой говорится о его положении, — тогда уж держись! Ему прямо говорят: «Ты, брат, не похож на рабочего, ты читаешь книги!» И страннее всего то, что и иронии незаметно в этих словах, что в России походить на рабочего — то же, что походить на животное.

Горькая улыбка, как тень, набежала на лицо Алексеева.

— Господа, неужели кто полагает, что мы, работники, ко всему настолько глухи, слепы, немы и глупы, что не слышим, как нас ругают дураками, лентяями, пьяницами? Что уж... как будто и на самом деле работники заслуживают слыть в таких пороках? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем сообразить и понять, почему это мы так дешево ценимся и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют, не трудясь, и откуда берется ихнее богатство?..

Алексеев повернулся к хорам — встретился с пристальным взором пожилой женщины.

— Рабочий же народ, хотя и остается в первобытном положении и до настоящего времени не получает никакого образования, смотрит на это как на временное зло, как и на самую правительственную власть, временно захваченную силой и только для одного разнообразия ворочающую все с лица да наизнанку...

Петр Алексеевич на мгновение запнулся. Пауза показалась Агапову вечностью — он приподнялся. Алексеев это заметил, улыбнулся и, тряхнув головой, продолжал:

— Мы, рабочие, желали и ждали от правительства, что оно не будет делать тягостных для нас нововведений, не станет поддерживать рутину и обеспечит материально крестьянина, выведет его из первобытного положения и пойдет скорыми шагами вперед.—Алексеев умолк, повернулся к хорам. — Но — увы! — если оглянемся назад, то получаем полное разочарование... Девятнадцатое февраля... И что же? И это для нас было одной мечтой и сном!.. Эта крестьянская реформа девятнадцатого февраля шестьдесят первого года — реформа «дарованная», хотя

и необходимая, но не вызванная самим народом. Мы попрежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда не годной земли и перешли в зависимость к капиталисту... — Голос Петра Алексеевича приобрел металлическую звонкость. — Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя и не от кого ожидать помощи, кроме от одной нашей интеллигентной молодежи...

Петерс положил кулаки на стол и строго сказал:

— Молчите! Замолчите!

Алексеев тряхнул правым плечом, как бы сбрасывая с него чужую руку.

— Она одна братски протянула к нам свою руку. Она одна откликнулась, подала свой голос на все слышанные крестьянские стоны Российской империи...

Петерс, растерянно оглядывая зал, выкрикивал:

— Замолчите! Я прикажу вас вывести!

Алексеев, не обращая внимания на крик сенатора, продолжал свою речь:

— Она одна, как добрый друг, братски протянула к нам свою руку и от искреннего сердца желает вытащить нас из затягивающей пучины на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна, не опуская руки, ведет нас, раскрывая все отрасли для выхода всех наших собратий из этой лукаво построенной ловушки, до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна неразлучно пойдет с нами до тех пор, пока... — Алексеев закинул голову, вытянул вперед руку и, отчеканивая каждое слово, закончил: — пока подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда...

Петерс приподнялся, стукнул по столу:

— Выведите его!

Но истошный крик Петерса не смутил Петра Алексеевича; наоборот, он сжал свой кулак и закончил ясным, звучным голосом:

— ...и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!

Мощный, как молот, кулак Петра Алексеева угрожающе протянулся к судьям.

После минутного затишья загрохотало в зале, как в горах во время обвала. Неистово аплодировали на скамьях подсудимых. Защитники, вскочив с мест, разра-

зились оглушительным «браво». На хорах топали ногами, кричали «ура».

Сенаторы и министры, прикрыв ладонями головы, точно внезапно закапало с потолка, бросились гурьбой к выходу. Вслед за ними, подталкивая друг друга, последовали и судьи. Князь Мингрельский, столкнувшись в дверях с Петерсом, любезно уступил ему дорогу и сокрушенно промолвил:

— Ваше высокопревосходительство забыли объявить заседание закрытым...

Петр Алексеевич все еще стоял с занесенной над судьями рукой. К нему ринулись товарищи, поздравляли его.

Алексеев не разглядел отдельных лиц — все слилось в его глазах. Только один раз ясно проступило тонкое лицо Бардиной: она плакала.

...Сенаторы и министры быстро справились со своим страхом. Они прогнали народ с хоров, усилили караулы, теснее сомкнули кольцо жандармов вокруг обвиняемых, и Петерс опять уселся в председательское кресло.

Суд продолжался.

Когда выносили приговор, Петерс тоненько, по-щенячьи, взвизгнул:

— «Крестьянина Петра Алексеевича Алексеева, двадцати восьми лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на десять лет, а затем, на основаниях статей Уложения о наказаниях, поселить в Сибири...»

Только двум подсудимым был вынесен такой суровый приговор: студенту Цицианову, оказавшему при аресте вооруженное сопротивление, и ткачу Петру Алексееву, против которого почти не было улик.

Адвокат Ольхин это и предвидел: судьи жестоко наказали рабочего, сумевшего из обвиняемого стать обвинителем.

Раскрылась дверь, и в камеру вошел начальник тюрьмы. Он положил на стол конторскую книгу, раскрыл ее и, подавая Алексееву карандаш, сказал:

— Тут нужно расписаться.

— В чем расписаться?

— В получении пакета.

Начальник достал из книги большой, продолговатый конверт из белой плотной бумаги. Бисерным женским почерком было написано:

Тюрьма, что на Шпалерной.
Господину
Алексееву Петру Алексеевичу
от Некрасова Николая Алексеевича

Алексеев, прочитав написанное, удивленно взглянул на начальника.

— Знакомец? — спросил тот.

Алексеев не ответил: он достал из конверта твердый, как картон, листок. Старческой или больной — неуверенной, дрожащей — рукой было написано:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие,
За несчастный народ вопиявшие,
Но разнузданы страсти жестокие.
Вихри злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!

— Расписаться надо!

— Чего? — оторопело спросил Алексеев.

— Говорю, расписаться надо! — И, помедлив, добавил: — А ведь говорят — умирает Николай Алексеевич.

— Умирает?! Некрасов?!

— Так говорят. — Он подошел к двери, крикнул в коридор: — Фролов! Скажи, чтобы носили!

Три надзирателя внесли три тяжелые корзины: фрукты, колбасы, торты, конфеты, папиросы, сигары, цветы. Казалось, кто-то скупил в Петербурге самое ценное, самое вкусное, чтобы показать Алексееву, чего он был лишен в прошлом и чего уже никогда не увидит в будущем.

Алексеев смотрел на груды соблазнительно-вкусной снеди; из глаз его текли слезы, а губы беззвучно шептали:

Смолкли честные, доблестно павшие,
Смолкли их голоса одинокие...

...Ночь провел Алексеев без сна. В отяжелевшей голове его несвязно всплывали обрывки мыслей, бесследно уносясь, как листья во время бури. Но на душе было покойно. Прошлое отошло, а будущее еще не наступило. Это была передышка, мертвый период между бурным, деятельным прошлым и грозным, мрачным будущим.

В камере было давно уже светло. Солнце прорвалось сквозь решетку.

Алексеев подошел к окну и жадно стал вдыхать утренний воздух.

Солнечная теплота, свежесть весеннего утра оживили Алексеева. Тело, так недавно казавшееся как бы разбитым тяжелой болезнью, теперь выпрямилось. И, когда в коридоре раздался клич: «Кипяток!» — в лице Петра Алексеевича уже трудно было подметить следы пережитого волнения.

...Нет, не смолкли голоса одинокие! Текст речи Петра Алексеева, тайно отпечатанный различными революционными группами, разошелся в тысячах экземпляров; и как камень, брошенный в воду, рождает все увеличивающиеся круги, так и эта речь рождала отзвуки в самых отдаленных местностях необъятной России.

Речь Петра Алексеева перестала быть «речью» — она стала знаменем, вокруг которого собираются бойцы для атаки, она стала набатом, зовущим в бой за правое дело, она стала программой для целого поколения молодежи — ее убедило мужество Петра Алексеева, она, молодежь, поверила, что «ярмо деспотизма разлетится в прах»!

Революционизирующее действие «речи» было так велико, что государственный канцлер князь Горчаков именно из-за речи Алексеева объявил «устройство публичного и гласного процесса» непростительной ошибкой.

18

Монотонно текла жизнь Петра Алексеева. Он читал, шагал вдоль стен своей узкой клетки. Когда его обостренный слух улавливал какие-нибудь новые звуки, он останавливался, ожидая чего-то, уставясь на оконце в двери. Но проходили минуты, звуки, вызвавшие его настороженность, замирали, и он опять принимался ходить прежними, мерными шагами. О чем он думал? Угар борьбы про-

шел, и теперь, в тиши тюремной камеры, он чувствовал непреодолимую потребность передумать свое прошлое.

Ему хотелось глубже поразмыслить над основами жизни. Он рано понял, что все жизненное зло проистекает от людской темноты и что темнота народа на руку угнетателям. Просветить народ, объяснить ему причину жизненного зла — вот задача, которую он поставил перед собой. А чего достиг? К сожалению, он рано попал под колеса царской машины, но и в короткий срок своей деятельности он кое-что сделал. Не в один десяток рабочих сердец он заронил ненависть к угнетателям.

Но это еще не все: громко, на всю страну, он сказал угнетателям, что они враги народа и что рано или поздно обрушится на их голову рабочий кулак. Он вселил в душу угнетателей страх, а товарищи, оставшиеся на воле, сумеют использовать этот страх для народного дела...

«Товарищи, оставшиеся на воле»... Каждый раз, когда он думает о них, встает перед глазами Прасковья — девушка с большими серыми глазами, тугой косой. Она была всем: кухаркой для «коммунаров», матерью для бездомных детей, а для него, для Петра Алексеева, бесконечной радостью. В те скупые недели их теплой дружбы ему казалось, что из-за горизонта уже проглядывает новая жизнь и что они с Прасковьей идут в этот новый мир, чтобы жить там, никогда не расставаясь.

До нового мира они не дошли: он ждет отправки на каторгу, а она...

Но это только остановка! Надо сохранить в сердце облик Прасковьи и ее теплоту! Надо готовиться к встрече с нею, чтобы при первом свидании не затуманились глаза, не дрогнул голос!

Приговор суда гласил: «...сослать в каторжные работы в рудниках...», но Александр II, из животного страха перед революцией, изменил приговор суда и 3 июня «лично» распорядился не отправлять Петра Алексеева в Сибирь, а упрятать его в самую строгую Ново-Белгородскую каторжную тюрьму «с содержанием в одиночном заключении».

В конце декабря 1877 года захлопнулись за Петром Алексеевым ворота Ново-Белгородской тюрьмы.

Узкая и низкая камера, вечный сумрак и тишина гроба. Книг не давали, на работы не посылали. В камере запрещалось петь, говорить вслух и даже греметь кандалами.

За долгие тюремные годы Алексеев успел свыкнуться с одиночеством. У него отняли живой мир с его красками, звуками, но не лишили способности мыслить. Для него создали своеобразную форму жизни, и он к ней приспособился.

В Пугачевской башне в московских Бутырках Алексеев много читал, горячо веря, что эти познания ему пригодятся в будущей деятельности. Перестук человеческих пальцев заменял ему в одиночной камере «предварилки» живое общение с товарищами. Там он готовился к выступлению на суде, там он жил жизнью своего политического героя, от имени которого предъявлял счет царскому правительству. А тут, в Ново-Белгородской каторжной тюрьме, Алексеев вдруг убедился, что для него, для живого трупа, самое опасное, самое страшное — думать. Мозг, работающий впустую, доводит до сумасшествия.

Алексеев знал, что за пропаганду революционных идей ему уготованы и цепи и муки, но его угнетало несоответствие между адовыми муками и ничтожными сроками его деятельности на воле. Он, в сущности, лишь готовился к работе, он только сжал руку в кулак, и за это его осудили с жестокостью азиатских тиранов. Вечный полумрак, неустанная тупая боль голодного желудка, мучительный сон на голых досках, скорченные, опухшие от цепей и одеревеневшие от холода ноги и руки и ни клочка соломы под ноющим телом. Когда ночью становилось невтерпеж от стужи, Алексеев вскакивал со своего жесткого ложа и пускался вприпрыжку по камере, поддерживая кандалы: греметь не полагалось!

В Ново-Белгородской каторжной тюрьме было так плохо, что даже один из самых свирепых жандармов, генерал-майор Квалинский, писал в своем донесении: «Я позволю себе доложить, что одиночное заключение, грубая, непитательная пища, отсутствие занятий и движений, видимо, уничтожают самое сильное здоровье заключенных».

Проходили недели, месяцы. Алексеев мало-помалу терял сознание времени — тянулись мертвые, беззвучные

сумерки. Лишь изредка, на какие-то минуты, врывались в сумерки бессвязные крики — это очередной узник сходил с ума. В такие минуты Алексеев до крови закусывал губу. Он не чувствовал злобы против своих тюремщиков: разве можно сердиться на клопа за то, что он сосет человеческую кровь, — такова его природа. Тюремщиков, как и клопов, можно только презирать. Но в эти минуты презирал Алексеев и себя: за беспомощность. Войти бы в камеру к товарищу, у которого ум начинает мутиться, сесть рядом с ним, прижать к себе: «Родной, мы с тобой еще молоды, пусть нас кусают клопы, но мы с тобой все же выйдем на волю. И ветерок нас обвеет, и солнышко пригреет, и любимая улыбнется. Бери себя в руки, родной, ты должен жить, ты должен выжить».

Но выйти из камеры нельзя. Чаще становится возня в соседних камерах: уже буйствуют справа и слева.

Ряды товарищей редели, и сам Алексеев чувствовал, что и на него надвигается какое-то отупение. Он становится апатичным, часами не отходит от окошка, хотя оно упирается в высокий забор. Смутные и мрачные мысли толпятся в голове...

И в такую минуту вывел его из задумчивости стук отворившейся форточки. Алексеев подошел к двери: в форточке добродушное лицо Хохла, единственного «человека» среди тюремщиков.

— Слышь, — зашептал он, — сегодня последний номер именинник. Я ему дал бумажки, немного махорочки, и он вам всем сделал по цигарочке. Покури за его здоровье...

Форточка закрылась. Алексеев быстро развернул цигарку. На клочке бумаги было нацарапано: «Нам два исхода: погибнуть медленной, но неизбежной смертью или спасти себя, рискуя умереть сейчас. Наша твердая решимость умереть, быть может, заставит их задуматься и обратить внимание на наше положение. Если нет, днем раньше, днем позже — все равно, в той или другой форме, близкой гибели не миновать. Начнем же все голодать с завтрашнего утра».

Алексеев зашатался, вынужден был присесть на койку.

— Не хочу, — сказал он шепотом, — не хочу умереть. Мертвые не борются, а я хочу жить, чтобы бороться. Самоубийство — это бегство, это выход для людей, которые потеряли веру в свои силы. Я же верю в свои силы. Кон-

чится каторга, и если она меня даже превратит в калеку, то я на карачках доберусь до Москвы, до Петербурга и хоть малость, но все же кое-что внесу в общее дело. Я бессилен против каменных стен, против железных дверей и решеток, против царских клопов, которые меня кусают, но над своей жизнью я властен... Я жить хочу и буду жить, чтобы разрушить каменные стены, чтобы сорвать железные решетки с окон, чтобы уничтожить клопов...

Алексеев бросился к двери — он хочет стучать, стучать, пока они не распахнутся, пока его не выпустят в коридор, чтобы до того, как его поволокут в карцер за буйство, успеть крикнуть во всю мощь своих легких: «Товарищи! Не убивайте себя! Мы должны жить, а не кончить самоубийством!»

Но Алексеев не стал буйствовать: он понял — раз товарищи решились на это крайнее средство, то уже никакая сила их не остановит. Видимо, мера человеческого терпения у них иссякла.

Ему было трудно, очень трудно примириться с мыслью о смерти. Всю ночь не спал: он мысленно беседовал с Прасковьей Семеновной, беседовал тихо, задушевно, стараясь убедить ее, что ему, Алексееву, иначе поступить нельзя. Он идет на самоубийство с жалостью к себе и с досадой на товарищей, но разве может он сорвать их протест, пусть с его точки зрения даже бессмысленный? Не всегда делаешь то, к чему лежит твое сердце.

«Помнишь, родная, наши беседы пять лет назад, когда ты уговаривала меня «идти в народ»? Не лежало мое сердце к этому делу, больше того, я всю эту затею считал бессмысленной, а ведь пошел... пошел, родная...»

Материнская ласка светилась в глазах Прасковьи Семеновны. Она его понимала, жалела...

...Утро. Раскрылась форточка в двери.

— Получай хлеб!

— Не надо.

— Не надо так не надо.

Наступило время обеда. Запах горячей пищи раздражает.

— Не надо.

— Ну, это твое дело.

Второй день. В коридоре тихо. Даже надзиратели стараются заглушить свои шаги.

Алексеев не пьет и воды: раз решившись умереть, он хочет ускорить неизбежный конец.

Тянется время. Третий, четвертый день. Надзиратель входит в камеру на цыпочках, молча ставит еду на краешек стола, спешно убирая вчерашнюю, нетронутую. Но Петр Алексеевич видит, что «клопа» бесит это глухое сопротивление арестанта.

— Ишь ты, дьявол, молчит, словно истукан.

К вечеру четвертого дня зашел к Алексееву смотритель. В камере стоит уксусно-терпкий, гнилостный запах — так пахнет в мертвецкой.

— Ну, каково живется? — спросил он, подойдя к койке.

Алексеев хочет ответить: «Хорошо живется», — но сухие, одеревенелые губы не могут разомкнуться.

— Я только сегодня узнал об этой голодовке.

Судорога прошла по губам Алексеева, смотритель принял ее за улыбку.

— Зачем доводить себя до самоистязания? Предъявили бы свои требования. Возможно, кое-что из этих требований можно удовлетворить. Но зачем мучить себя, убивать? Я обещаю исполнить все в пределах законности.

Алексеев долго лежал молча, с закрытыми глазами. Наконец сказал:

— Соберите нас всех вместе, подтвердите свои обещания...

— Всех вместе? Нельзя! Запрещено!

— Тогда уходите.

Прошло еще два дня.

...Александр II, этот «царь-освободитель», построил Ново-Белгородскую каторжную тюрьму специально для того, чтобы в ней заживо хоронить революционеров. Их там кормили, но впроголодь, над ними издевались, но не грубо, а в пределах законности, их там пытали, но без клещей и испанских сапогов. Когда мать узника Льва Дмоховского после упорных ходатайств добилась разрешения на выдачу книг заключенным, Петру Алексееву дали из тюремной библиотеки «Капитал» Маркса на... французском языке. Из этой книги Алексеев понял только одно: что французы пишут фамилию Маркса с буквой «х».

«Благородный» царь хотел, чтобы революционеры распадались заживо, чтобы они приближались к физиче-

ской смерти незаметно, но неумолимо, как домики на оползнях.

И вдруг взбунтовались мертвецы: воле царя они противопоставили свою волю, пусть волю к смерти, но не к такой, какая для них была уготована.

Из Петербурга пришел грозный окрик: «Не дать умереть!»

В коридоре топот. Эти невнятные звуки вызывают у больного Алексеева смутное беспокойство. Он напрягает все силы, чтобы повернуть голову к двери.

Дверь раскрывают, входит врач. Неимоверно высокий старик, он становится на колени, прикладывает ухо к груди больного. Седые волосы закрывают его лицо. Вдруг почувствовал Алексеев, как на его грудь начали падать слезы.

И теплые человеческие слезы согрели холодеющее тело Алексеева. Он притронулся к старческой руке врача и улыбнулся. В затуманенном мозгу родились слова: «Спасибо, друг. Теперь я умру спокойно». Но произнести эти слова не хватило сил у Петра Алексеевича.

Доктор ушел. С улыбкой на губах Алексеев впал в беспамятство.

Вырвал его из небытия резкий шум. В камере много людей. Один из них, в ярком мундире, кричит:

— Вяжите его! Клизму дайте! Через час другую!

У Алексеева нет сил ни сопротивляться, ни говорить. Его тормошат, перекладывают с боку на бок, вливают в него что-то горячее...

19

После «голодного бунта» Александр II разрешил заключенным переписываться с родными на воле, разрешил выдавать из библиотеки книги по выбору самих заключенных. Это не значит, что царь стал более человечен, нет, он был труслив по натуре, испугался «шума» и поэтому дал согласие на замедление темпов убийства.

Алексеев воспользовался неожиданным «человеколюбием» Александра II: он стал вести дневник. Сколько ухищрений, сколько ловкости, сколько ума надо было проявлять, чтобы добывать бумагу, перья, чернила. Четыре объемистые тетради он даже сумел передать на волю.

Прасковья Семеновна Ивановская пишет, что «события из жизни узников описывались так живо, волнующе ярко, что читателю казалось, будто он сам переживает вместе с заключенными все это».

Увы, дневники не дошли до нас, они были сожжены, но эти дневники, даже сожженные, ярче любых воспоминаний характеризуют их автора. Воскреснув после вынужденной голодовки, он скоро вновь обрел себя. Опять стал деятельным, завел дневник, куда он заносил не только подлости тюремщиков, но и свои мысли и чаяния: Алексеев готовился к другой жизни, к жизни на воле, когда страшная летопись тюремных дней сможет стать орудием в борьбе за социальную справедливость.

В осенний вечер 1880 года подъехала к воротам каторжной тюрьмы почтовая тройка.

Из ворот вышел Петр Алексеевич, несколько сгорбившись, с серебром в висках и бороде. С усилием передвигая ноги, он подошел к повозке, но вдруг, сорвав с головы арестантский колпак, остановился и широко раскрыл рот. Он пил холодный воздух и, глядя на яркие звезды, улыбался сдержанно, робко, как бы не веря, что звезды в самом деле сияют над его головой.

Ночевка в Харькове. Переезд по железной дороге до Мценска. Из Ново-Белгородской тюрьмы вышли полутрупы, и только два человека — Алексеев и Зданович — могли двигаться и что-то делать. Бессонная ночь в поезде; то тут, то там слышались стоны, истерические рыдания. Зданович присаживался к товарищам, уговаривал, успокаивал, а Петр Алексеев, словно нянька, кормил и поил больных, убирал за ними, переходил с места на место и всю ночь напролет, как сестра милосердия на трудном дежурстве, ни на минуту не присаживался.

Длительная остановка в Мценской тюрьме. Было это в те дни, когда диктатор Лорис-Меликов хотел казаться либеральным. Прикинулся либералом и начальник Мценской тюрьмы Побылевский. Камеры не запирались, в тюрьме шли собрания, читались лекции, устраивались диспуты.

Состав политических заключенных был крайне пестрым: «мирные пропагандисты» начала 70-х годов и фанатики террора, интеллигенты и рабочие.

Между рабочими и интеллигентами часто вспыхивали споры; они носили сначала принципиальный характер, но постепенно споры переходили в область личных переживаний. Интеллигенты идеализировали рабочих и потому относились к ним с какой-то мелочной предупредительностью, даже снисходительностью. Это обижало рабочих и вызывало с их стороны подозрительность, желание обособиться.

В этой пестрой массе выделялась фигура Петра Алексеевича. Рабочие гордились им, интеллигенты превозносили. Даже террористы говорили с ним уважительно, на все лады доказывая, что их программа является логическим оформлением слов самого Алексеева: «Поднимется мускулистая рука...»

Надо было обладать трезвым умом Алексеева, чтобы не казаться «зазнавшимся» для рабочих и «выскочкой» для интеллигентов. Он одинаково относился ко всем, был со всеми ровен и услужлив и при всей своей резкости всегда находил спокойные слова, чтобы любой спор вывести из тупика ущемленных самолюбий. Он был прост в поведении и обхождении, до того прост, что новички спрашивали: «Неужели это тот самый Петр Алексеев?»

Лишь в одном казался Петр Алексеев смешным. В Мценской тюрьме разрешались свидания, и заключенные широко пользовались этой привилегией. Приезжали жены, матери, дети, братья, сестры. К Петру Алексеевичу никто не приезжал. А он истосковался по родному лицу, по родной душе, по человеку «с воли», по человеку, у которого глаза блестят, голос взволнован. И этот здоровенный или, как говорят крестьяне, «корпусный» мужчина с темными лохматыми волосами и курчавой бородой, с синими, глубоко запавшими глазами, с тяжелой походкой кулачного бойца не пропускал ни одного чужого свидания. Как сирота, лишенный ласки, украдкой и с замиранием сердца глядит, как мать милуется со своим ребенком, так Петр Алексеев, притаившись в углу, впивался пристальным взглядом в чужие лица, вслушивался в чужие разговоры, радовался чужой радости, болел чужим горем. А вернувшись в камеру, он говорил о том, что происходило на свидании, так взволнованно, точно семейные новости чужого человека, семейные печали чужого человека были его новостями, его печалями.

Кончилось привольное мценское житье; партию каторжников отправили в Нижний Новгород, а там на баржу. Помещение полутемное, с крохотными окошками, через которые все же можно было любоваться волжскими и камскими берегами.

От Перми до Тюмени двигались на почтовых, а от Тюмени — снова баржа, снова водный путь по Туре, Иртышу, Оби... Реки многоводные, но печальные, пустынные, с плоскими болотистыми берегами, со скучной растительностью.

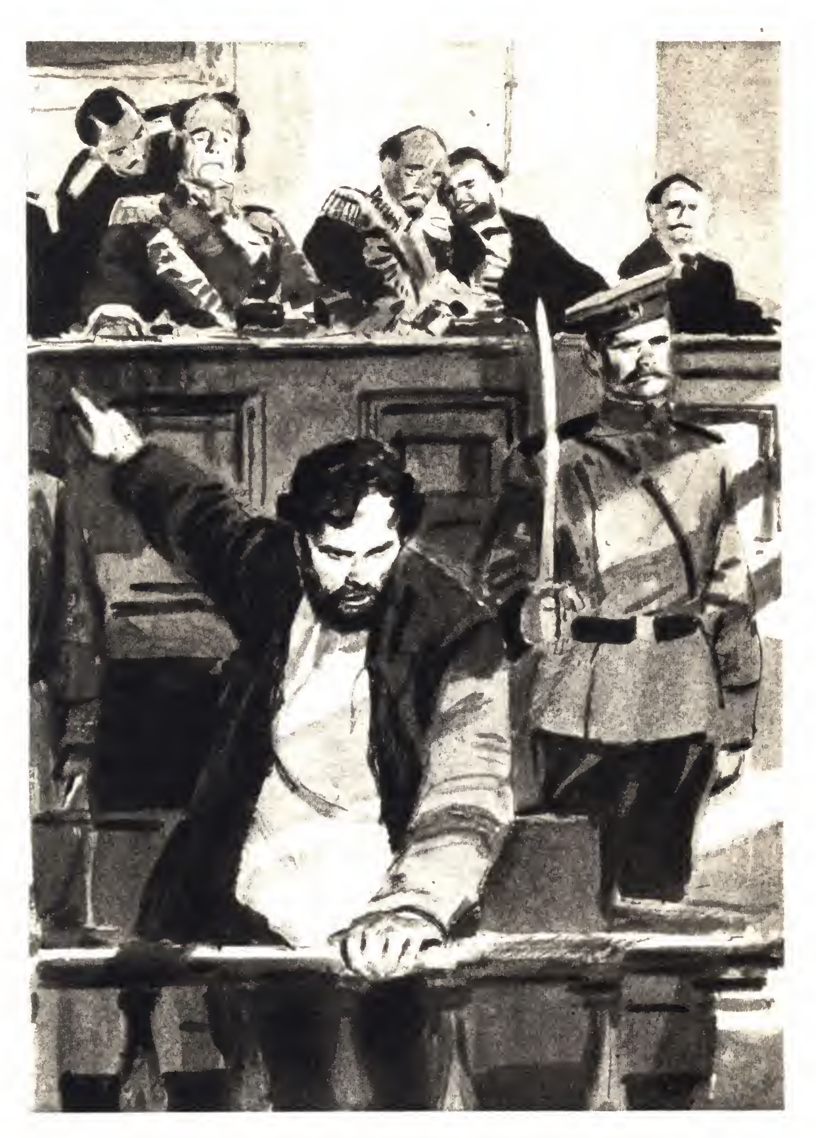
Больше месяца пришлось плыть по Оби в низких, тесных, наскоро сколоченных из досок баржах — паузках. Плыли целым караваном: впереди баржа с уголовниками, за ней двигался паузок с политическими, а в хвосте — небольшой паузок, в котором находились конвойный начальник, часть команды и продовольственный склад. Конвойный начальник был грубый, всегда пьяный офицер, и при этом мошенник. Он открыто торговал водкой и продуктами. Политических он ненавидел, говорил им «ты», при всяком случае угрожал «дать в морду» и ругался площадной бранью. Когда Алексеев ему однажды заметил: «Тут женщины», он ответил: «Пусть заткнут уши».

Среди женщин-политических находилась девушка — все ее звали Макка вместо Мария; она по своей воле ехала на каторгу к своему жениху-студенту. Жизнерадостная, веселая, Макка с такой легкостью переносила невзгоды, что вливала бодрость в сердца измученных людей. Большими, ясными глазами она освещала мрачный трюм паузка, а звучным голосом заглушала ногребальный звон кандалов.

И эта девушка приглянулась пьяному офицеру. В один из дней он завлек ее на свой паузок, но Макке удалось спастись от мерзавца: она бросилась в воду и вплавь вернулась к своим товарищам.

Политические приготовились к столкновению. Два дня прошли спокойно: офицер не появлялся. Политические успокоились.

Тяжелая баржа медленно продвигалась вперед. В первой паре греб Петр Алексеев. Он наслаждался свежим воздухом после ночи, проведенной в смрадном трюме. Изредка, словно вздох, доходил с берега стон кукушки.



Алексеев, не обращая внимания на крик сенатора, продолжал свою речь.

К стр. 100

Макка сидела на корме; она что-то рассказывала больному Буцинскому. Гребцы не слышали рассказа, но голос Макки, как колокольчик, вплетал высокую и певучую ноту в суровую гамму речных шумов.

Вдруг политические заметили необычайное оживление на командирском паузке, и вскоре оттуда отчалила лодка; в ней сидели офицер и два солдата. Ружья, блестя на солнце штыками, лежали на корме.

Политические решили уйти от пьяного офицера. Они налегли на весла. Гребли дружно и сильно. Баржа то поднималась высоко над рекой, то падала вниз, будто в яму. Огромные волны с пеной на хребте ходили, как живые, с сердитым шумом, и баржа прыгала по ним, словно скорлупа ореха. Вдали, на берегах, проплывали острые шпили пихт и лапчатых елей.

Офицер, стоя в лодке, махал руками, даже в воздух стрелял.

Политические следили за каждым его движением.

Неожиданно Буцинский сказал:

— Ни к чему эти гонки. Надо приготовиться к бою.

И все поняли: не уйти тяжелой барже от легкой лодки!

— Что ты предлагаешь? — спросил один из гребцов.

— У нас есть несколько финских ножей. Самые сильные из нас вооружатся ножами. А у женщин, — продолжал он дрогнувшим голосом, — имеется морфий. В случае чего... живыми не дадутся...

— Мне дайте нож! — воскликнула Макка. — Я убью его!

Алексеев глянул девушке в глаза: «Она сумеет это сделать!»

— В случае чего, — закончил Буцинский свою мысль, — можно будет поджечь паузок.

Предложение Буцинского было одобрено.

Женщины спустились в трюм, разделили морфий на равные части, потом разбросали на полу одежду и постельные принадлежности, приготовили бутылки с керосином и вышли на палубу.

Лодка приближалась.

Гребцы на паузке еле двигали веслами.

Когда лодка приблизилась настолько, что уже слышен был вой взбешенного офицера, поднялся Петр Алексеев.

— Я вас прошу ничего не предпринимать, — обратился он к своим товарищам.

— Петр Алексеевич... — тихо, но с укоризной в голосе произнес Буцинский.

— Я вас убедительно прошу, — повторил Алексеев. — Не бросайте весел, гребите. Все обойдется... А вы, — обратился он к Макке, — спуститесь в трюм...

В его голосе слышалась такая суровая уверенность, что все подчинились: мужчины опять начали грести, Макка спустилась в трюм.

Лодка подошла к паузку. Офицер взобрался на палубу. Он шел покачиваясь. За ним следовал солдат с ружьем. На мгновение офицер остановился, похабно выругался и почти бегом направился к группе женщин. Среди них не было Макки! Одним прыжком он очутился у входа в трюм и... остановился.

Перед ним, загораживая спуск в трюм, стоял Петр Алексеев — неподвижно, как изваяние. Белое лицо в рамке темных волос казалось каменным.

— Уходите, — произнес Петр Алексеев зловещим шепотом.

И офицер струсил. Он было повернулся спиной к Алексееву, но, испугавшись за свою шкуру, опять стал к нему лицом и, неожиданно расхохотавшись, воскликнул:

— Ну и рожа у вас, Алексеев!

Петушиным шагом обежал офицер палубу, остановился перед Буцинским:

— Что, старик, жив еще?

Не получив ответа, он скороговоркой закончил:

— Живи-живи, старик! Дотяни до Кары! Не порть мне счета... Пошли, Хвостов! — обратился он к солдату. — У них тут все в порядке.

Лодка отчалила.

Офицер больше не возобновлял своих гнусных попыток.

...Кончился наконец водный путь. Пристали к берегу. Солнце опускается к горизонту, обливая прощальными лучами кусты тальника и реку, которая словно притихла, притаилась в своих глинистых берегах.

— Выходи! — слышен оклик офицера.

Каторжники строятся в пары. Звенят кандалы. На спинах пропитанные водой пожитки.

Люди бредут в гору — бредут уныло, из последних сил. Начальник конвоя подгоняет. Туман и холодный ветер пронизывают до костей.

...Был поздний ноябрьский вечер. Дорога пролегала по узкой долине, окаймленной с обеих сторон высокими лесистыми горами.

На десятый день пути мигнул свет — первое человеческое жилье. И это жилье — каторжная тюрьма. Высокий деревянный забор, за забором — мертвая тишина.

Ворота, протяжно скрипнув, раскрылись...

...В тюрьме было пять камер: «синедрион», «харчевка», «дворянка», «якутка» и «волость». Петр Алексеев попал в «якутку».

Между нарами — узкий проход, шагать по камере мог только один человек, остальные оставались лежать на нарах. Нары стояли впритык. Ночью неспокойно спящий перекатывался к соседу.

Недели, месяцы изнывал Петр Алексеев в камере — душной, перенаселенной, где люди вслух мечтали о труде, о воле и о борьбе за эту волю, где заключенные прибегали к голодным бунтам, чтобы защитить себя от жестокости тюремщиков. Приходилось голодать по семи и даже тринадцати дней, чтобы добиться работы или книг. Ужасы таких голодовок не трогали тюремщиков. Умирающих, по заведенному порядку, связывали и кормили насильственно — так в старину откармливали гусей на убой. Многие политические сходили с ума, и их продолжали держать в общих камерах, где у людей и без того были напряжены нервы до предела.

С рассветом раскрывались камеры и приходили уголовники-уборщики. Зимой приносили они искрящиеся льдинки в бородах, летом — запах полей. Они двигались, дышали вольным воздухом, видели небо над головой, слышали пение птиц. Политические были всего этого лишены.

В тюрьме Алексеев столкнулся с новым типом интеллигента-революционера, и некоторые из них ему не понравились. Они говорили много о революции, но почти каждый из них в это понятие вкладывал какой-то свой смысл. Только в одном они были единодушны: в недооценке роли рабочих в революционном движении. И именно это обижало, возмущало Петра Алексеева. Он верил в «торжество рабочего класса в России», верил, что только рабочий класс сумеет повести страну по революционному пути, а идею народовольцев «делать историю бомбами» считал никчемной, вредной.

Подметил Петр Алексеевич еще и другое: некоторые из этих интеллигентов считали приятным развлечением разить своих оппонентов из рабочих тонкими, но очень обидными колкостями. Они щеголяли своей начитанностью, своими знаниями не для того, чтобы передать эти знания рабочим, а чтобы унизить их, уязвить, высмеять.

Однажды двое рабочих, сидя на нарах, говорили о том, что социалистический строй — вещь неминуемая. Все дело, рассуждали они, только в сроках.

Тут поднялся со своей койки один из деятелей нового поколения. Длинный, на тонких ногах, он уставился на рабочих таким изумленным взглядом, словно вдруг увидел перед собой ихтиозавров.

— Как вы, господа пролетарии, легко решаете мировые проблемы. Социалистический строй! А знаете вы, господа пролетарии, что, пока у нас не будет великой книги об этике, мы не будем в состоянии осуществить социалистический строй. Кстати, господа, а вы знаете, что такое этика?

Петра Алексеевича больно задел издевательский тон интеллигента, он хотел его оборвать, осадить, но вдруг его самого заинтересовал предмет спора. Он поднял голову с подушки и спокойно спросил:

— А научный социализм?

Интеллигент рассмеялся.

— Научный социализм? — повторил он, повернувшись к Алексееву. — Это лишь философия социального строя, в котором эксплуатация человека человеком не будет иметь места, в котором не будет классов, словом, философия материального устроения человека, материального его существования, но не духовного, во всей его глубине, полноте, красоте. Глубину, полноту, красоту может дать только этика, как венец философии, как высшее ее завершение. Творческие силы человека пока еще недостаточны, чтобы дать такое построение. Поэтому-то мы с вами и бродим в потемках...

— О какой этике вы говорите? — с прежним спокойствием спросил Алексеев. — Я знаю только одну этику — революционную. А революционная этика уже существует.

— Где?

— Вот где! — с жаром ответил Алексеев, стукнув себя в грудь.

— Это, Петр Алексеевич, ваша частная собственность, — иронически улыбаясь, промолвил интеллигент.

— Вы правы, у вас этой собственности нет, и мне вас от души жалко. Единственно, чем я могу помочь, — это пожертвовать вам свечку, чтобы вы не бродили в потемках.

Взрыв смеха оборвал спор: на всех нарах смеялись. И интеллигент, скорчив свирепое лицо, как-то сразу сжался и повалился на свою койку.

Все же веру в чистого сердцем интеллигента Петр Алексеевич не потерял. Он сузил круг своих привязанностей, близко сошелся только с тремя: Войнаральским, Ковaликом и Пекарским; эти трое, по убеждению Петра Алексеева, сохранили чистоту интеллигенции 70-х годов. Друзья обособились, вели отдельное хозяйство и даже завели собственную библиотеку.

Но однажды — а это было в то время, когда по каким-то техническим причинам задержалась присылка денег из России и политические заключенные терпели нужду, — Петр Алексеевич заявил своим друзьям, что ему по состоянию здоровья необходим добавочный паек.

Заявление Алексеева хотя и озадачило «маленькую коммуну», но не вызвало дискуссии. Ковалик отправился в «синедрион», к «старикам», ведающим распределением денег, присылаемых из России, и попросил сверх выдаваемых им 9 рублей на улучшение казенной пищи еще 3 рубля для покупки припасов специально для Петра Алексеева.

— Ему по состоянию здоровья требуется усиленное питание.

— Алексееву? Да он здоровее всех нас!

— Он сам попросил.

— Тут какое-то недоразумение! Идемте к Алексееву!

Отправились в «якутку». Алексеев читал, лежа на койке.

— Петр Алексеевич! Что с тобой? Ковалик говорит, что ты добавочный паек просишь!

— Прошу.

— А ты знаешь, что у нас с деньгами туго?

— Знаю.

«Синедрионцы» переглянулись. Вид у Алексеева, по тюремным условиям, здоровый. Но отказать Петру Алексееву?

С этого дня стали в камерах косо поглядывать на Петра Алексеевича. Одни говорили: «Гордый-то гордый, а когда до брюха дошло, вся гордость слетела»; другие: «Купоны со своей славы стрижет».

Алексеев слышал и отмалчивался.

И только много месяцев спустя выяснилось: не для себя брал Петр Алексеев добавочный паек. В «харчевке» сидел рабочий Данилов — парень рослый, широкий. Он попал на политическую каторгу случайно, не имея отношения к политике. Дело было в Воронеже. Около полуночи возвращался Данилов с работы. Светло, тепло, в кармане — недельная получка. Настроение хорошее. Вдруг видит Данилов: два дюжих молодца напали на щупленького человека — хватают его за шиворот, руки выворачивают. Данилов налетел на молодцов, смял, избил их. Щупленький убежал. Молодцы зашумели, засвистели. Появилась полиция. Данилова арестовали. Оказалось: шпики выследили революционера, захватили, повели в охранку...

— А если бы ты знал, что это политический, как тогда? — спросил Алексеев.

— Кабы знал? В том-то и суть, что я раньше делаю, а уж потом думаю. Вижу — двое лупят одного, когда тут думать? Ноги сами побежали.

И этот Данилов стал чахнуть: денег ниоткуда не получал, а тюремный паек был скудный. Из своего пайка Алексеев не мог его подкармливать: в коммуне ели из одного котелка, и то не досыта. Тогда решил Петр Алексеевич использовать свою славу: он знал, что ему-то не откажут в добавочном пайке.

Когда раскрылось это дело — Данилов проболтался, — началось паломничество в «якутку»: одни сочли необходимым извиниться перед Алексеевым, другие почувствовали потребность пожать ему руку. Но многие интеллигенты все же объявили «поступок» Петра Алексеева «недостойным». Алексеев-де использовал свой авторитет, чтобы «подкормить» человека, не имеющего отношения к революционному делу, и Алексеев-де это сделал только потому, что Данилов — рабочий.

В этом обвинении слышались отзвуки тех вечных споров, в которых Петр Алексеев упорно, подчас и грубо, отстаивал свою идею, что именно рабочий класс сделает революцию в России; в этом обвинении сказалось и раз-

дражение какой-то части народнической интеллигенции против огромного авторитета, который завоевал «типичнейший русский мужик», как они «величали» Алексеева.

Войнаральский предложил исключить Алексеева из коммуны, и дело не дошло до разрыва только благодаря Пекарскому. Для него, для Пекарского, был Алексеев идеалом революционера. Речь Петра Алексеева сыграла в его жизни решающую роль: прочитав речь, он бросил невесту, семью, университет и ушел «в стан Петра Алексеева». На каторге Пекарский привязался к Петру Алексеевичу, полюбил его, и Пекарскому было больно от сознания, что кто-то находит изъян в его «герое». Но Пекарский уважал и Войнаральского. Честный, принципиальный!

Тогда решил Пекарский поговорить с Петром Алексеевичем. Тот выслушал взволнованную речь своего друга и ничего не ответил. Только ночью Алексеев сказал шепотом:

— Эдуард, я видел Волгу у Камского устья. Текут рядом две полосы воды: одна — белая, камская, другая — зеленая, волжская. Текут и не сливаются, ясная граница между ними. Вот и в нашем революционном движении уже начинает проступать такая граница. Войнаральский, Ковалик, да и ты, родной, — одна окраска, я и много рабочих — другая окраска. Мы все пока еще в одном русле, окраски пока еще смешаны, но кое-где уже обозначилась граница. А знаешь, Эдуард, какая окраска основная? Отношение к рабочему классу. Вы и мы, рабочие, думаем на этот счет по-разному. И ничего удивительного, что многие интеллигенты недовольны мною. Тут дело принципиальное. Не кончится одним недовольством, до драки еще дойдет.

Ученый Пекарский, этот будущий академик, не понял рабочего Петра Алексеева:

— Почему должно дойти до драки между революционерами?

— Без рабочих не будет восстания. А эти интеллигенты что делают? Бомбы бросают и рабочих от себя отталкивают.

Перед коронацией Александра III приехал на Кару флигель-адъютант Норд — он собирал покаянные про-

шения, дабы дать возможность новому монарху проявить «милосердие».

— А вы? — обратился флигель-адъютант к Алексееву. — Где ваше прошение?

— Я разучился писать на каторге, — вежливо ответил Алексеев.

— Если только в этом дело, поможем. Напишут за вас прошение.

— Не стоит людей беспокоить.

И Алексеев не попал в число лиц, освобожденных по манифесту. Он вышел на поселение лишь в 1884 году. В бороде — белые нити, виски инеем припушены, но спина крутая, кулаки крепкие.

21

Первое письмо «с воли» Алексеев написал Прасковье Семеновне Ивановской:

«Помнится, в одном письме к вам из Иркутска я восклицал: «Тоскливо становится продолжать такой медленный путь в дороге и надоело шататься по разным тюрьмам и оставаться несколько месяцев на одном месте, сидеть в грязном клоповнике, ждать с нетерпением, ждать изо дня в день «достигнутой» свободы: хочется, хочется поскорей на волю! Хотя я еще и не пристроился, но тем не менее буду на месте своего поселения, в том самом наслеге, где должен буду жить». Мне тогда казалось... Да, я просто грезил, что вот я близко к вам — улыбнется жизнь.

Но, родная, вы, пожалуй, не можете поверить, теперь я воочию встретился с волей, теперь ясно и спокойно могу рассуждать о ней, теперь вижу, чтó мне сулит воля и какая перспектива впереди. С тоскливым чувством на душе сажусь за письмо и сознаю, что не в силах передать то тяжелое впечатление, которое произвела на меня Якутка. Еще не доехав до места назначения, чем дальше забирался в глушь, чем дальше знакомился с якутами, которых встречал на пути, со своими товарищами, поселенными среди них, — на душе становилось тяжелее, мрачные думы не покидали ни на одну минуту, а в голове роились такие вопросы, которые, право, передать боюсь. Силы меня покидали, энергия слабела, чем я был бодр — надежды рушены. Просто мне казалось, я дальше от воли,

дальше от жизни. Ни одной светлой мысли, ни единого просвета души. Все деревенело, безжалостно гнело меня. Приехал я в субботу; на следующий день праздник. Раннее утро, ясная, светлая погода. Солнце так весело играло. Принарядился во что мог и вышел из хижины своего товарища, у которого временно поселился. Походил кругом, посмотрел в ту и другую сторону: кругом дичь, тайга, ни единой живой души, даже якутских юрт поблизости нет. Это совершенно пустынное место, от которого ближе как на расстоянии нескольких верст нет ни одного жилья; но красивое, слишком красивое место. Вздумал было бродить, но показалось скучно. Я вернулся, хотел сесть за письмо, да слишком уж мрачно настроен — и отказался. Словом, не встретил отрадно волю первых дней, не встретил вместе с тем того светлого праздника, каким я его знал в дни своей беспечной юности...»

Якутия — царство дремучих хвойных лесов, тайги. Скалистые гребни гор и равнины покрыты глухими чащами, где все пустынно и дико, только ветер гудит в беспредельном лесном океане. Мохнатый кедр, сумрачная ель, стройная пирамида пихты, таежная красавица лиственница. Изредка мелькнет белый ствол березы, протянет к свету свою перистую ветвь рябина, притаится в ложбине задумчивая черемуха, и снова хвойные деревья. Кое-где раздвигается тайга, чтобы пропустить реку, раздастся, чтобы дать место какой-нибудь сотне человеческих жизней, и опять сомкнется тесным кольцом.

Петр Алексеевич выстроил себе юрту и, на удивление своим соседям, сложил настоящую русскую печь. В «хотоне» — в хлеве для скота — появилась корова, а потом и лохматая якутская лошадка.

В юрте уютно. Стены чисто вымыты, окна блестят. В красном углу, где полагается быть иконе, полка с книгами; выше полки, в березовой рамке, — стихи Боровиковского:

Мой тяжкий грех, мой замысел злодейский
Суди, судья, попроще, поскорей,
Без мишуры, без маски фарисейской,
Без защитительных речей.

Из одного окна видно озеро, из другого — убогая часовня.

Якуты поначалу настороженно присматривались к но-

вому поселенцу. Большой русский начальник, разъезжающий по улусу на тройке с бубенцами, сказал им: «Алексеев — плохой человек, не дружите с ним». А Алексеев этот оказался добрым человеком: и советом помогает и трудом, парней к мастерству приучает. Для детей вырезал он большие буквы и поет с детишками «Ба-ва-га», старикам рассказывает, как живет простой народ в России и как он с барами воюет. И еще уважали Петра Алексеевича за силу: на палках перетягивает самых сильных якутов; родового старшину, тучного тяжелого богатыря, Алексеев поднял за загривок и посадил на коня, а большую лодку он один вынес из сарая и на спине поволок к озеру. Нет, Алексеев вовсе не плохой человек!

Хорошо хозяйствовал Петр Алексеевич! Лето в Якутии короткое, но это короткое лето должно обеспечить сытую зиму. Уже в июле Алексеев писал Прасковье Семеновне:

«В первых своих письмах я вам писал, как у нас все дико, пустынно и жутко «свежему» человеку. Тогда действительно было так, потому что лес не оделся, равнина, кочковатая равнина и озеро были покрыты льдом и представляли из себя дикую, однообразную, голую, болотистую... сплошь невеселую картину. Другое дело теперь. Лес оделся, хотя не роскошно, но оделся. Зато трава, трава как по волшебству в один месяц поднялась и так вдруг выросла, что теперь уже косят. Но все-таки больно, как посмотришь кругом. Не видно человека, не белеет рубашка, не тащится гурьбой, веселой гурьбой толпа игривых ребят и девушек, как это можно постоянно видеть на нашей родине весной в лугах и полях. Тут все пусто; разве изредка увидишь, как полуголый якут или один-одинешенек плывет на своей убогой ветке по озеру, или собирает более чем убогую, маленькую-премаленькую рыбку, которой и питается всю весну. Не щемило бы, не болело бы сердце, если бы этот всю свою жизнь проводящий в заботах и тяжком труде народ жил хоть мало-мальски человеческою жизнью, хотя бы даже бросил то свинячье помещение, в котором, кроме грязи, вони, ничего нет, иль наедался бы, был бы сыт... А то выйдешь, и жутко станет: гол, грязен, голоден, тощ...

Теперь скажу кое-что о своем хозяйстве и вообще о себе. Первое, то есть хозяйство, находится в самом цветущем состоянии и ведется по всем правилам агрономи-

ческого искусства. Лишь просохла земля, я орудием, каким еще от сотворения мира никто не работал, раскопал маленькую долину черноземной земли и сделал две превосходные грядки, на которых теперь у меня растет семьдесят превосходных вилков капусты. Этого мало; я расчистил и другую долину, которую засеял горохом. Так что плоды моих трудов, как я думаю, выразятся осенью в довольно почтенном подспорье моему материальному благосостоянию. Гороху, без шутки, фунтов десять могу набрать, а о капусте можете сами судить...»

Алексеев начал получать письма из России. Там растет и крепнет рабочий класс! Прокладываются железные дороги, строятся новые фабрики, множатся революционные кружки, усиливается стачечная борьба. Стачка в Серпухове — на бумагопрядильной Коншина, стачка на ткацкой Зубкова в Иванове, забастовка на Мышкинском чугуноплавильном заводе, стачка на Долматовской мануфактуре, забастовка на Юзовском заводе, волнения и стачки на петербургских фабриках Шау, Максвелла, на Новой бумагопрядильной и у Кенига за Нарвской заставой...

И Петр Алексеевич задумал бежать:

Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней.

Три пути вели в широкий мир: на север — к Лене, на восток — к морю, на юг — в Китай. Петр Алексеевич стал готовиться к побегу на восток, к морю. У него были припасены и деньги: товарищи по Каре дали ему для этой цели двести рублей.

Из Баягонтайского улуса бежать было сложно: непроходимая тайга, безлюдье, но Алексеев упорно готовил запасы и снаряжение.

Бежать не удалось. Начальство гнало Алексеева из улуса в улус, не давая ему засиживаться на одном месте. Запротестовал Петр Алексеевич: «Хотите голодом меня задушить, не даете хозяйствовать!»

Наконец его поселили в Жулейском наслеге Бутурусского улуса. Двести километров до Якутска, восемнадцать километров до друга по карийской каторге Пекарского. Петр Алексеевич начал все сначала: юрта, покос, капуста. Обзавелся друзьями среди якутов, мастерил

мебель для дома, соседям помогал, принимал участие в мирских делах. У начальства создалось впечатление, что Алексеев решил обосноваться на веки вечные.

Алексеев же не оставлял мысли о побеге — он тщательно к нему готовился. Сшил себе сапоги, купил крепкий полушубок и даже раздобыл неплохой револьвер.

С Пекарским он видался часто: ездили друг к другу за новостями, чаще для того, чтобы «душу отвести».

Пекарский в то время увлекался якутским фольклором, а Петр Алексеевич задумал писать роман «Оторва» — роман о человеке, оторванном от жизни и дела. Явно биографического характера. Дни, а зачастую и ночи напролет говорили они о якутском фольклоре и о душевных переживаниях героя ненаписанного еще романа. Говорили и о людях, с которыми когда-то сталкивались, о людях, с которыми хотели бы вновь встретиться.

Пекарский относился к своему прошлому спокойно, философски. Он вспоминал свои прожитые годы, как вспоминают биографию героя из давно прочитанной книги. Петр же Алексеевич, рассказывая, волновался: он видел свое прошлое с такой ясностью, словно это было вчера-позавчера, и чувства, пережитые им много лет назад, сохранили всю свою свежесть, всю свою непосредственность. Синегуб, Перовская, Ивановский оживали в его воспоминаниях, как бы освещенные весенним солнцем.

О Прасковье Семеновне они почти не говорили: 10 апреля она вышла из тюрьмы, но ненадолго — ее вновь арестовали и осудили на восемь лет каторги. Срок подходит к концу, и близка встреча с ней. Счастье, связанное с этой встречей, казалось Алексееву таким огромным, что рассказывать о нем Пекарскому, человеку, уже ничего не ждущему от жизни, значило причинить боль другу. Алексеев был уверен в своем счастье: совершит ли он побег или дождется в Жулейском наслеге конца ссылки — безразлично: Прасковья, освободившись из тюрьмы, приедет к нему, где бы он ни находился. Жизнь — не замкнутый круг, без начала и без конца. Каждый день в человеческой жизни может стать началом большого счастья. И Петр Алексеевич знает, когда наступит его большой день.

...В знойное августовское утро 1891 года, когда Пекарский вместе с поденщиком татарином работали на покосе, приехал верхом Петр Алексеевич.

— Еще косишь? — удивился он, слезая с лошади. Огляделся кругом, улыбнулся: — У тебя, Эдуард, хозяйство на широкую ногу поставлено. Не то что у меня, мужика: один за всё.

— А ты уже откосился?

— А как же. Раз на себя надеешься, то приходится руками помахать. Дай-кось косу! — обратился он к татарину. — И смотри, как у нас в Расее косят!

И пошел Петр Алексеевич. Тело, словно на шарнирах: он поворачивается в ритме маятника то влево, то вправо; коса тоненько повизгивает; мигнет серебряный лучик, скроется в траве, и вот у ног Алексеева широкий зеленый веер.

Алексеев шел размеренным шагом: разлет плеч, тонкий свист — и трава падала полукружьем, да таким ровным, точно кто-то подбирал травинку к травинке.

Сбоку шел татарин. Он следил напряженно за руками косца, в его взгляде удивление и недоверие: он как бы хотел сказать: «Не может быть!»

— Да ты, Петруха, артист!

— Мужик, а не артист. Почитай, лет тысячу Алексеевы сено косили.

Скосив часть луга, Петр Алексеевич передал косу татарину:

— Видал, как в Расее косят?

— Видал.

— А теперь бери косу и коси по-моему. Не суетись. Стой спокойно, отнеси косу далеко назад и сразу, со всей силы — рраз!

Татарин попробовал сделать так, как учил Алексеев, но ничего не вышло. Его тело рванулось вперед вслед за взмахом руки, трава легла ступеньками.

— Хорошо, — похвалил Петр Алексеевич. — Человек ты с понятием. Только стоишь ты неверно. Крепче на пятку налегай.

Второй взмах получился лучше, шире, и трава легла ровнее.

— Вот теперь уж совсем хорошо!

И с каждым шагом получалось все лучше и лучше. Татарин сам это приметил: его лицо сияло.

— К вечеру и кончите, — сказал Алексеев, подтягивая подпругу у своей лошади. — Дня за два управишься со своим хозяйством?

— Думаю, управлюсь.

— Тогда приезжай ко мне, отпразднуем покос. Да и поговорить есть о чем!

— Приеду, Петруха.

Алексеев ловко вскочил в седло, подобрал повод и сразу пустил коня вскачь. Вдруг повернулся в седле и крикнул:

— Работайте! Работайте!

Пекарский помахал рукой.

Всадник скрылся в лесу.

...Пекарский управился только к концу недели и в воскресенье поехал к Алексееву. Уже подъезжая к Жулейскому наслегу, Пекарский издали увидел Федота Сидорова, якута, ближайшего соседа Петра Алексеева. Тот сначала рысил ему навстречу, но неожиданно свернул в сторону, погоняя плетью своего приземистого конька. Это удивило Пекарского: якут уклоняется от встречи! Странно! И двадцать верст для якута не крюк, чтобы встретиться со знакомцем, чтобы расспросить: «Как корова? Много копен накосили? Не собираешься ли в Якутск?» — а Федот Сидоров бежит от него! Пекарский пришпорил коня, нагнал якута:

— Ты куда так спешишь?

— У меня тоже дела, — холодно, совсем не по-якутскому обычаю, ответил Сидоров, смотря куда-то в сторону.

Это еще больше озадачило Пекарского. «Что-то случилось, — подумал он. — Федот Сидоров — старшина наслега, он как бы выражает настроение улусского начальства».

— Как Петр Алексеевич, здоров?

— Поезжай к нему, сам увидишь.

Дальше выпытывать не имело смысла.

— Поеду посмотрю, — сказал Пекарский и сам удивился: его слова прозвучали, как угроза.

Петра Алексеевича не было дома. На двери — замок. Пекарский заглянул в окно — в юрте беспорядок: чашка и чайник не убраны со стола, постель не застлана, на рабочем столе раскрытая газета, на ней — очки. Заглянул Пекарский в конюшню — пусто.

— Странно, — произнес Пекарский вслух. — И не похоже на Петруху. Пригласил в гости, а сам уехал... Нет, это не похоже на Петруху!

Пекарский написал записку: «Очень огорчен, что не застал дома. Видел участкового выборного Романа Большакова. Он сказал, что на твое имя получено разрешение на поездку в Якутск для покупки припасов на зиму. Перед отъездом в Якутск нам непременно нужно повидаться: в пятницу жди меня». Эту записку Пекарский вложил в дверной пробой и уехал.

В пятницу опять приехал: замок на двери, в пробое — записка. Его, Пекарского, записка! Значит, Петр Алексеевич с того времени не был дома!

Взволновался Пекарский: куда девался друг? Уехать в Якутск без разрешения он не мог; в ближней Чурапче его не видели; бежать из ссылки, не попрощавшись, не похоже на Алексеева.

Пекарский — в управу, в окружную полицию, в родовое управление, в Чурапчу. Всюду он выспрашивал, писал заявления, требовал немедленного расследования, поисков. Сердце Пекарского чуяло недоброе, хотя он сам и все взбудораженные им товарищи по ссылке были убеждены, что у Алексеева нет врагов, а вера в его богатырскую силу была так сильна, что ни Пекарский, ни его друзья и мысли не допускали о возможности покушения на Петра Алексеевича.

И все же нет Алексеева! Проходит неделя, месяц. Уже обыскали неводами озера, уже разворошили все копны сена, уже молодой и очень энергичный следователь Атласов опросил десятки людей и — ни следа, ни единой улики. Пропал человек! Даже не пропал, а растаял в воздухе, и никто не видел, когда это произошло. Следователь написал заключение, что «государственный преступник Петр Алексеевич Алексеев бежал из ссылки, елико никаких доказательств покушения на его особу не удалось обнаружить», и приказал продать с торгов скарб бежавшего.

А Пекарский не унимался, хотя начальство уже смотрело косо на него, подозревая его «в умышленном затемнении дела». Прокурор так и сказал: «Вы подняли шум, чтобы сбить нас со следа». Даже якуты, обремененные частыми наездами следователей и полицейских, перестали отвечать на его вопросы. Ничто не смущало Пекарского: он рыскал по округе, носился между Жулейским наслегом и Чурапчой, прислушивался к разговорам, присматривался к якутам, следил даже за тем, какие покупки они делают, какими деньгами расплачиваются.

Он был уверен, сердцем чувствовал, что его друг убит, и убит именно Федотом Сидоровым, старшиной наслега, который больше по внутренней потребности, чем по должности, принимал уж слишком деятельное участие в розысках. Но поймать, уличить Федота Сидорова Пекарскому все же не удалось: на все вопросы якут находил разумные ответы, в крайнем случае отвечал равнодушным «не знаю».

22

Исчезновение Петра Алексеева взволновало не одного только Пекарского: всполошились и в Петербурге. Департамент полиции разослал «господам губернаторам, градоначальникам, обер-полицмейстерам, начальникам губернских жандармских и железнодорожных полицейских управлений и на все пограничные пункты» совершенно секретный циркуляр:

«...государственный преступник Петр Алексеевич Алексеев 16 августа сего года бежал из места поселения и, несмотря на все принятые местными властями меры, остался до настоящего времени неразысканным.

Названный Алексеев... на суде произнес речь весьма возмутительного содержания, которая впоследствии была отлитографирована и напечатана за границей и даже до сего времени вращается в революционной среде, служа излюбленным орудием пропаганды.

При этом следует заметить, что Алексеев, происходя из простого звания, обладая природным умом и бесспорным даром слова, представляет собою вполне законченный тип революционера-рабочего, закоренелого и стойкого в своих убеждениях, и едва ли после побега удовольствуется пассивной ролью, а напротив, воспользуется обаянием своего имени в революционной среде и несомненно перейдет к активной деятельности, которая может оказаться, в особенности же в пределах Российской империи, весьма вредною для общественного порядка и безопасности...»

Зря беспокоился директор департамента полиции господин Дурново! Петр Алексеев уже не угрожал общественному порядку и безопасности!

...К якуту Егору Абрамову, как к «городчику», то есть к человеку, только что приехавшему из города, собрались

родичи. Он их угощал — таков обычай — водкой и городскими лакомствами. Конечно, хозяин и себя не забывал. Якут, опьянев, поет. Пел и Егор Абрамов:

— Жил в одном улусе русский богатырь, силы необыкновенной: быка на бегу останавливал, лошадь на спину поднимал, медведя в тайге встретит, медведь с дороги сворачивает, тигра встретил бы, и с тигром справится. И был он очень богатый: в хотоне коров, что яблок на яблоне, лошадей было у него столько, что он сам не знал им числа, а книг было у него еще больше. Но нашлись богатыри-якуты и победили русского богатыря и богатство его себе забрали. Лежит теперь русский богатырь бездыханный в дремучем лесу и никогда больше не встанет. Не увидят его никогда ни конного, ни пешего, ни один человек не увидит, чтобы из трубы его юрты выходил дым. — И, неожиданно расплакавшись, пьяный Егор Абрамов перешел на другой ритм и на похоронный напев: — Вы слышите стук телег с коваными колесами? Это едут к нам люди с блестящими пуговицами. Не в гости едут они к нам, они едут к нам спрашивать-допрашивать, куда делся русский богатырь.

Егор Абрамов пустился в пляс, метался по юрте, вдруг остановился и опять запел с каким-то петушиным задором:

— Якуты ничего не скажут людям с блестящими пуговицами. Якуты не знают, где русский богатырь. А кто они, эти якуты-богатыри, не наше дело... Наше дело молчать... молчать... молчать!

Слух о песне разнесся по округе: отдельные строки, отдельные образы передавались при встречах в лесу, на рыбалке.

Слух дошел и до Пекарского.

С прежней неугомонностью он начал ездить по начальству: просил, требовал, торопил, сам вызывал свидетелей, строил догадки, присутствовал на допросах. И наконец ему удалось уговорить Егора Абрамова «чистосердечно сознаться».

...Старшина наслега — этот якут с недобрыми глазами — Федот Сидоров, сидя на корточках и попыхивая трубочкой, сказал ему, Егору Абрамову:

— Много денег у Петро Алексеича. Очень много. Я смотрел в окно, я видел, как Алексеев раскладывал на столе бумажки. Много-много бумажек. Три тысячи руб-

лей будет. Еще больше — пять тысяч рублей будет. Он сказал мне, что в Якутск-город едет припас купить. Мы убьем Петро Алексеича, деньги отберем и поровну разделим.

— А большой начальник приедет и меня в тюрьму посадит, — ответил Абрамов.

— Не посадит, Егорка, — успокоил его старшина. — Большой начальник не любит Петро Алексеича. Большой начальник мне сказал: «Ты, Федотка Сидоров, не дружи с Алексеевым. Алексеев мой враг». Вот что сказал большой начальник!

— Хорошо, — согласился Абрамов. — Убьем Петро Алексеича.

...В погожее утро 16 августа 1891 года явился старшина к Петру Алексеевичу:

— Ты хочешь в Якутск ехать. Я теперь свободен, поедем, я тебе короткую дорогу до Чурапчи покажу. Не по вешеной поедем. Полдороги заработаешь. Раньше в Якутск приедешь. Только едем сейчас. Пока я свободен. До обеда вернемся. Скорее седлай.

Алексеев согласился.

Выехали. Лошади шли бодрым шагом. Над тайгой стлался туман.

— Петро Алексеич, если поедешь в Якутск, то ты скоро вернешься?

— Скоро, Федот. Печь сложить надо. По утрам уже холодно.

— Холодно, Петро Алексеич, — подтвердил Сидоров. — В тайге человеку плохо будет, замерзнет человек. Бежит-бежит человек и замерзнет.

— А зачем ему бежать? — заинтересовался Алексеев, весело поглядывая на попутчика.

— Зачем, говоришь, бежать? Сам не знаю, зачем бежать. Холодно в тайге, замерзнет человек в тайге. А дома тепло. В печке огонь горит, молоко пьешь... Посмотри, Петро Алексеич, Егорка Абрамов тут косить собирается.

Егор Абрамов вышел из леса. Он бросил косу в остожье, подошел к всадникам — поговорить, как водится.

— На этой елани думаешь косить? — спросил Алексеев.

— Хотел бы, да вот что-то голова болит.

— А ты поспи немного, пройдет головная боль.

— И то, надо будет так сделать, — сказал Абрамов.

Сидоров, молчавший все время, взял Алексеева за руку:

— Подпруга у тебя ослабла. Ты спешил и плохо седлал. Нехорошо седлал.

Алексеев сошел на землю, затянул подпругу. Егор Абрамов держал его коня под уздцы.

— Хорошо затянул, — одобрил Егор.

В эту минуту Алексеев почувствовал резкую боль в спине. Обернулся — в руках Сидорова окровавленный нож. Превозмогая боль, Алексеев хватил Сидорова по скуле.

— Ты что... — начал Алексеев, но фразы не закончил: Егор Абрамов нанес ему ножом удар сбоку.

Алексеев свалился.

Убийцы опустились на корточки, караулили свою жертву. Алексеев сказал что-то шепотом, приподнял голову, посмотрел вокруг и — замер.

Но на этом рассказе не успокоился Пекарский. Ему было тяжело: революционер, закаленный царской каторгой, рыдал навзрыд, слушая из-за перегородки показания Егора Абрамова. Были мгновения, когда он хотел выскочить из-за перегородки, наброситься на Абрамова, на убийцу, который то и дело прерывал свой жуткий рассказ вопросом: «А мне за это ничего не сделаете?» Только огромным напряжением сил Пекарский заставил себя выслушать до конца скорбную повесть о гибели чудесного человека, с которым судьба обошлась жестоко, подло, нанося ему удары именно тогда, когда в сердце закрадывалась надежда на крупицу счастья.

Пекарский хотел увидеть труп своего друга, хотел еще раз поговорить с ним, хотя бы мысленно, прежде чем навечно предать его земле.

И Егор Абрамов повел следственную комиссию.

Небольшая прогалина на пригорке. Налево — тайга. непроходимая, густо поросшая лиственницами. Много бурелома. Яма, закиданная валежником.

Пекарский один спустился в яму — никого не хотел он пустить на это святое дело. Он отвалил гнилье, обломки тяжелых ветвей — и наткнулся руками на лед, а во льду... белое лицо Алексеева.

Подвело сердце, подвели нервы: Пекарский свалился в обмороке.

...Труп вырубили железными ломами. Извлекли громадную ледяную глыбу. Глыбу несли убийцы: Егор Абрамов и старшина Федот Сидоров.

Сохранился документ:

«1894 года, марта 9 дня, я, нижеподписавшийся якут Жулейского наслега, Бутурускаго улуса, Николай Софронов, дал сие подписку государственному преступнику Эдуарду Пекарскому в том, что я обязуюсь на собственном своим кочтом сделать памятника государств. преступника Петра Алексеева»...

Недолговечный памятник соорудил Николай Софронов! Когда Прасковья Семеновна приехала в 1895 году в Жулейский наслег, памятника на месте уже не оказалось. Больше того: самой могилы не разыскала. Старшина наслега подвел Прасковью Семеновну к ограде часовенки, ковырнул носком сапога землю и скучно промолвил:

— Кажись, тут его похоронили... А может, немного подальше.





СОЛДАТСКИЙ СЫН

1

Всполошенно позванивая поддужными колокольцами, неслась по тракту фельдъегерская тройка. Рослый унтер-офицер в высоком кивере стоял в санях неподвижно и строго, словно в дворцовом карауле, и лишь порой тыкал кулаком в спину ямщика. За санями, отливая жемчужной рябью, тянулся снежный шлейф.

Было солнечное утро 19 февраля 1855 года. На полях, на крышах придорожных изб — всюду весело играл пушистый снег: то развернется голубым ковром, то заискрится алмазной россыпью, то вдруг блеснет розовым озерцом. Но рослого унтер-офицера ничто не трогало: он смотрел только вперед, туда, где на взгорье уже золотились луковки псковского Троицкого собора.

Не сбавляя скорости, фельдъегерская тройка ворвалась в город. Промелькнула полуразрушенная звонница Богоявленья, исчезли за поворотом угрюмые, с маленькими оконцами Поганкины палаты, блеснул острый шпиль Успенья в Бутырках — и вот он, дворец губернатора.

Псковитяне, которых в тот час было много на улице, сначала удивились, потом ужаснулись: на левом рукаве фельдъегеря они увидели широкий траурный бант!

Заторопились пешеходы, будто ясное зимнее небо должно разразиться внезапным ливнем, купцы бросились закрывать лабазы, матери сзывали детей, игравших на воле, захлопали ставни в домах, даже будочник, тащивший пьяного, кинул свою ношу и беглым шагом пустился в казарму — как полагалось по уставу в случае боевой тревоги.

Фельдъегерская тройка подкатила к губернаторскому дворцу. Унтер-офицер, не сходя с саней, крикнул в сторону широкого подъезда:

— Гофкульер!

Из дворца выбежал солдат. «Гофкульер» рывком подал ему большой плотный пакет и, толкнув кулаком ямщика в спину, укатил.

Опять скрип полозьев, жемчужный шлейф; тройка подскакала к штабу гарнизона, оттуда к обители архиерея — опять истошный возглас: «Гофкульер!» — опять сдача пакета с черными сургучными печатями — и тройка вынеслась из города.

В Пскове нарастала тревога. Улицы обезлюдели. В окнах встревоженные лица: «Кто умер? Что несет эта смерть?»

Вдруг снова ожили улицы: скачут офицеры с вестовыми, несутся саночки с чиновниками, едут в неуклюжих рыдванах, поставленных на полозья, дородные попы.

В школе кантонистов гудит, как в улье ранней весной. Воспитатели и «дядьки» собрались в полутемном коридоре и ждут выхода своего начальника. Больше часа как он вернулся из штаба гарнизона. Лицо его мрачно и торжественно. На вопрос одного из воспитателей: «Какую весть привез фельдъегерь?» — начальник ничего не ответил, строго взглянул на спросившего и молча прошел в свою квартиру, а деревянная нога его выстукивала: «ох... ох...»

Шестьсот учеников в школе, и все солдатского корня: от отцов, поседевших в походах и израненных в боях, от отцов, пытаных и сеченых, от отцов, рожденных в рабстве и умирающих «смертью героя на поле чести», от отцов, что оставляют своим детям в наследство нищенскую суму и ненависть, великую ненависть к своим мучителям.

Шестьсот учеников — от семи до пятнадцати лет — в рвани, голодные, задерганные солдатской муштрой, но все до краев налитые той удивительной живучестью, которая и в растительном царстве дает молодому деревцу силу выстоять при урагане, эти ученики вдруг почувствовали себя детьми, не презренными кантонистами, а обыкновенными детьми. Они не знали, что произошло за стенами школы, но обостренным чутьем мучеников уловили они растерянность своих мучителей, и это их радовало.

Шестьсот учеников, загнанные с утра в классы — без воспитателей и без дядек, — кричат, поют, прыгают, лают, кукарекают, стараясь как можно полнее насладиться свободой, ибо в каждом детском сердце живет уверенность: «Ненадолго эта свобода!»

Вдруг послышался резкий окрик:

— Все во двор!

Окрик шел издали, с нижнего коридора. Шестьсот учеников мгновенно замерли: они узнали голос «живодера» — воспитателя Бутякова.

— Во двор выходи!

Бутяков шел по коридору, отдавая команду на ходу, но страх перед ним был так велик, что каждый из шестисот школяров будто через стены класса видел маленькие глазки Бутякова, его багровое лицо с синюшным носом и его длинные руки с костистыми пальцами.

— Строиться поротно!

С опаской, стараясь не шаркать ногами, выходили кантонисты из классов. Они подвигались вперед цепочкой, в затылок друг другу, прижимаясь к стене.

Во дворе — все начальство. И школяры сразу заметили, что произошло что-то необычное. У офицеров на левом рукаве черная повязка, а у дядек черная ленточка на левом погоне. Начальник — в белых лосинах, это значит, что начальник прицепил «парадную ногу», которая надевается вместе с лосинами и ботфортами. Школяры заметили, что и лица у начальства сегодня необычные, растерянные.

— Поротно!

Кантонисты построились в виде буквы «Г». Солнце, снег, бодрая свежесть.

Офицеры и дядьки остались стоять на месте. Выступил вперед один начальник.

— Воспитанники, — начал он тихим и мягким голосом, — его величество всемилостивейший наш государь император Николай Павлович соблаговолил переселиться в Елисейские поля...

Школьники не поняли, куда «соблаговолил переселиться» всемилостивейший император Николай Павлович, но по растроганному голосу своего начальника они догадывались, что «Елисейские поля» — место хорошее, и, чтобы высказать свою радость по поводу царского «переселения», все четыре роты, точно сговорившись, одновременно гаркнули:

— Ура!

Офицеры и дядьки бросились вперед, но их остановила взметнувшаяся вверх рука начальника.

— Поручик Бутяков! — позвал он лающим голосом.— Высечь! Всех! — И легко, словно на шарнирах, повернулся и строевым шагом ушел со двора. Он шел так четко, будто обе его ноги были живые.

...«Кобыла», на которой секли кантонистов, стояла тут же во дворе. Дядьки сами, без команды, принесли большую бадью с розгами.

— Первая рота, подходи! Федулов! Отсчитывай по десять горяченьких! Правофланговый первой роты, вперед!

Правофланговым в первой роте был Григорий Мышкин. Долговязый, худой. Он принялся суматошливо расстегивать ремень.

— Живей! — поторапливал его Бутяков. — Правофланговому честь: я сам тебя высеку!

Наконец-то упали штаны. Григорий Мышкин лег на «кобылу»...

В четвертой роте в первом ряду стоял мальчуган — худенький, смуглый, с горящими глазами. Он переминался с ноги на ногу. Когда поручик Бутяков медленно и с издевкой отсчитывал «шесть... семь...» и на коже Григория Мышкина прорезалась после каждого удара новая кровяная полоса, смуглый мальчуган вырвался из строя, подбежал к «кобыле» и, уставясь на поручика, прокричал:

— Не бей с оттяжкой! Не приказано с оттяжкой!

— Ах ты, клоп, — рассмеялся Бутяков, — в приказах уже разбираешься. Восемь!

— Не имеешь права с оттяжкой! — со злым упорством выкрикивал мальчуган.

— Девять!.. Десять! — спокойно закончил свое дело поручик. — Слезай, правофланговый. А теперь, Федулов, клади этого щенка. Выпорю его не в очередь.

Мальчуган не давался, бился в руках Федулова, кусался, но здоровенный дядька легко его осилил и уложил на «кобылу».

Поручик Бутяков «выпорол не в очередь» восьмилетнего Ипполита Мышкина, брата правофлангового первой роты Григория Мышкина, выпорол жестоко, с оттяжкой, приговаривая:

— Вот твое право, щенок! Вот твое право, щенок!

2

26 августа 1856 года, в день коронования нового царя, были упразднены кантонистские школы, они переформировались в военные училища для подготовки фельдшеров, деловодов и аптекарских помощников.

Кнут, розги, оплеухи, тычки — все это, правда, осталось, но экзекуции уже проводились без «душегубства». Поручик Бутяков ушел из училища: одни говорили, что он перешел в полицию, другие — что постригся в монахи. Новый начальник обращался к старшеклассникам на «вы», а некоторые преподаватели вели со слушателями беседы на «вольные» темы.

Как деревцо, вдруг открытое солнцу, идет в буйный рост, так и Ипполит Мышкин в новых, почти человеческих условиях из подавленного и озлобленного мальчугана быстро преобразился в сердечного и жадного до знаний юношу. Он хорошо учился, много читал и много думал.

В 1860 году Ипполит окончил школу, и его как одного из лучших учеников направили в Петербург, в военное училище, которое готовило учителей и военных топографов.

Был то год небывалого общественного подъема, когда вся Россия ждала решительных перемен, был то год шумных собраний, съездов, резких дискуссий.

XVIII век, уходя в небытие, завещал человечеству три

слова: «Свобода, Равенство, Братство», и эти три слова, занесенные из Франции в лоскутные королевства, княжества, герцогства феодальной Европы, порождали бунты и восстания против догм и авторитетов, против векового гнета, против монархов и церкви, державших народ в нищете и страхе.

В те годы, когда река истории меняла свое русло, на российский престол вступил Николай I, вступил на престол под свист снарядов на Сенатской площади. Это было 14 декабря 1825 года, в тот знаменательный день, когда декабристы попытались штыками нескольких полков добыть «зарю свободы». Николай I подавил восстание декабристов картечью, виселицами и каторжными приговорами.

Тридцать лет правил Россией Николай I, и все эти годы он с настойчивостью муравья и свирепостью хищника уничтожал все живое, светлое, смелое. В своей стране он пулей, кнутами, палками и шпицрутенами душил малейшее проявление свободной мысли. Это он подвел Пушкина под дуло наемного убийцы, послал Лермонтова на убой, обездолил поэта Полежаева, отдал в солдаты Шевченко, отправил в ссылку Герцена и Салтыкова-Щедрина, сослал на каторгу петрашевцев и даже петербургских шарманщиков упрятал в тюрьму, когда один из них, по ложному доносу жандарма Дубельта, будто бы играл на своей шарманке «Марсельезу».

Вне своей страны Николай деньгами, окриком и войсками поддерживал старое, отжившее, реакционное.

Однако политические страсти в Европе бурлили, взрывались. Франция, Испания, Италия, Австрия, немецкие княжества, Дания — всюду вспыхивали бунты, назревали восстания, и чем беспокойнее становилось на Западе, тем больше свирепствовал Николай в России.

Историк Грановский писал: «Положение наше становится нестерпимее день ото дня. Всякое движение на Западе отзывается у нас стеснительной мерой... Но что значит личная опасность в сравнении с общим страданием и гнетом!»

Однако именно благодаря «страданию и гнету» было неспокойно и в России. То тут, то там вспыхивали крестьянские волнения, то в одном университете, то в другом разгорались искры бунта.

Передовые писатели и журналисты во главе с рево-

люционным демократом Чернышевским все чаще и смелее начали описывать беспросветную жизнь русского народа (в первую очередь — крестьянства) и настойчиво проводили мысль, что так дальше продолжаться не может. Своей горячей и последовательной проповедью идеи социальной справедливости Чернышевский и его соратники завоевывали симпатию учащейся молодежи и той части русского общества, которая также не могла мириться с режимом Николая I.

И вдруг рушилось дело, которому Николай посвятил тридцать лет свирепой борьбы! Против России выступила Турция, ей на помощь поспешили Франция и Англия, Австрия выжидала, Пруссия, любимое детище Николая, отделывалась нотами сочувствия. Россия одна. Ее войска двигаются по бездорожью. В интендантстве хозяйничают казнокрады, генералы враждуют между собой. В результате — военное поражение в Крыму.

Россия бурлит. Кнутами и шпицрутенами уже нельзя держать народ в узде. Того гляди, государственный котел взорвется! Нужны новые люди, новые методы.

И Николай в бозе почил.

Новый царь, Александр II, не сорвал крышки с котла, а только чуточку ее приподнял: «даровал» волю крестьянам — он понял, что лучше освободить крестьян сверху, нежели ждать, пока они сами освободят себя снизу.

19 февраля 1861 года было уничтожено крепостное право.

Ипполит Мышкин не забыл прошлого. Правда, рубцы на его теле давно зажили, но боль от беспрерывных порок и унижений осталась: так у человека, лишившегося ног, еще долго ноют отрезанные пальцы. И поэтому он, юноша, не разбирающийся в политических сложностях, воспринял крестьянскую реформу как огромное благодеяние: ведь его мать была крепостной, все родичи — рабы, да и он сам, «солдатский сын»—отец, унтер-офицер 85-го Выборгского полка, погиб в 1848 году на берегу какой-то безымянной речушки в Венгрии, — был от рождения наделен рабьей долей.

Как после коронационного манифеста изменился облик школы кантонистов, так и после реформы 19 февраля вошло что-то новое в военное училище. Одни ученики ликовали, у других было такое настроение, словно их обманули, словно вдруг среди лета наступила осен-

няя нудь. Одни звали в деревню, чтобы в качестве межевых техников способствовать реформе, другие издевались над реформой и звали в деревню на защиту мужика от алчных помещиков. Были и такие, что звали к забастовке, к братанию с университетскими студентами.

Ипполит Мышкин прислушивался к спорам. «Деревня», «мужик», «передел земли» — все это не будило в нем никаких воспоминаний, всего этого не было в его жизни. Но многое его смущало. Крестьян «освободили», «облагодетельствовали», так почему взбунтовались крестьяне в Казанской губернии? 12 апреля собралось 5 тысяч крестьян в селе Бездна, и они потребовали: всю землю мужику, никакого оброка барину... И за это, за одну только мечту, высказанную вслух, солдаты убили пятьдесят крестьян и больше трехсот ранили... «Крестьяне бунтуют и в других губерниях, и всюду их расстреливают, так почему же, — спрашивал себя Мышкин, — пишут в газетах, что «добродушный русский народ встретил свободу с умилением сердца, кротко и благодарно»?»

И бунтуют не только крестьяне. Весь сентябрь бунтовали студенты Петербургского университета. Мышкин видел, как городовые и жандармы окружили на Бассейной студентов и избивали их. Многих из них разослали по тюрьмам, отдавали в солдаты.

Шли недели, месяцы, и юному Мышкину приходилось все больше недоумевать, все чаще задумываться. События следовали одно за другим. 2 марта 1862 года состоялся литературный вечер. Выступал профессор П. В. Павлов. Он сказал, что основная масса населения всегда стояла вне правового порядка и положение этой части населения настолько ухудшилось, что можно ожидать страшного взрыва... За эти слова профессора Павлова сослали в захолустный городишко.

На пасхе 1862 года город заговорил о прокламации, которую министр двора граф Адлерберг нашел у себя в кармане шинели. Прокламация призывала офицерство обдумать, проверить «свои и чужие убеждения теперь же», так как «в минуту столкновения рассуждать будет поздно».

В мае 1862 года всех потрясла весть о пожарах. Выгорели Большая и Малая Охта, вся Ямская, уничтожен Апраксин двор... В правительственных газетах писали, что поджогом занимаются... студенты.

«Зачем, — спрашивал себя Мышкин, — станут студенты дома поджигать?»

24 сентября воспитанники Корпуса путей сообщения послали своему директору требование «сменить самого себя за негодностью в службе в новых условиях».

В октябре кадеты I Кадетского корпуса избили своего батальонного командира только за то, что он сказал: «Эх, если бы шпицрутены не были отменены...»

Юный, неопытный Мышкин не разбирался в исторических сложностях тех лет, но хотел разобраться. Он много читал, беседовал с товарищами, и отдельные события, которые до этого ему казались случайными, постепенно укладывались в стройную цепь причин и следствий.

Эта «стройная цепь причин и следствий» вскоре сказалась на судьбе самого Мышкина. Реформы, «дарованные» Александром II, не принесли умиротворения. «Освобожденные» крестьяне не могли и не хотели примириться со своим новым положением. Помещики отвели им худшие земли и за эти пустоши требовали громадные выкупные суммы. Непосильным бременем легли на крестьянские плечи царские подати и всяческие повинности.

Опять прокатилась по России волна крестьянских беспорядков. Давление в котле нарастало: назревала революция. Деятельность Чернышевского и его соратников и последователей не пропала даром.

И, чтобы спастись от революции, правительство решило вернуться к свирепым методам Николая I.

Пошли аресты, ссылки, каторжные приговоры, и, конечно, среди арестованных находился Чернышевский — человек, которого царское правительство ненавидело и боялось.

Реакция проникла во все поры общественной жизни, она ворвалась и в военное училище. По распоряжению свыше, подлежали удалению из учительского класса все слушатели низшего сословия, потому, мол, что, не получив хорошего домашнего воспитания, они не смогут стать хорошими учителями. Был удален и солдатский сын Ипполит Мышкин. Его, правда, не выкинули из училища (все-таки первый ученик в учительском классе), но перевели в топографическое отделение — специальность, которая никак не влекла Мышкина.

Этот наглый произвол царских сатрапов возмутил, огорчил и обидел Мышкина. Он впоследствии писал: «Вдруг видеть себя изгнанным, опозоренным только потому, что я солдатский сын, видеть разбитыми самые лучшие надежды, быть оскорбленным в самых святых чувствах — нелегко было перенести это!»

В новом, топографическом классе Мышкина точно подменили: он, правда, и тут числился первым учеником, но уже далеко не... образцовым. Не ограничивался бездумными «так точно» и «никак нет», а вступал в пререкания с офицерами и вслух, на народе, протестовал против любой их несправедливости.

«За грубое отношение к начальству» Мышкина лишили звания вице-фельдфебеля — очередное беззаконие, ибо звание вице-фельдфебеля автоматически присваивалось первым ученикам.

Межевое дело не увлекало. Все свои способности, всю свою настойчивость и усидчивость Мышкин отдавал стенографии и в течение одного года достиг того, что поспевал со своей записью за самым быстроговорящим человеком. Многим это казалось чудом, да и сам изобретатель новой системы стенографии, подполковник Артоболевский, аттестовал своего ученика как «явление необычное и диву достойное».

Стенография — дело новое. Александр II хотел лично убедиться в ее быстроте и точности: поможет ли ему эта стенография знать, о чем говорят в стране.

17 мая 1864 года подполковника Артоболевского с приказанием «иметь при себе лучшего стенографа» вызвал начальник академии.

Конечно, подполковник взял с собой Мышкина.

Начальник академии генерал Иванов принял их стоя и, держа руки по швам, заявил с официальной торжественностью:

— Государь император соизволил заинтересоваться стенографией, — и неожиданно закончил начальствующим тоном: — А ты, Мышкин, не подведешь? Понимаешь, кому тебе придется показать свое уменье? Самому государю императору!

— В нем я уверен, ваше превосходительство, — успокоил генерала Артоболевский. — Мышкин хорошо подготовлен.

— Тогда с богом, подполковник. Девятнадцатого ров-

но в семь утра будьте оба у Иорданского подъезда. Форма одежды — парадная, при всех регалиях. А у тебя, Мышкин, есть медали?

— Никак нет, ваше превосходительство!

— Скверно! Государь император не любит пустой груди! — Он быстро направился к двери и позвал: — Захар!

На зов явился пожилой, но с молодцеватой выправкой фельдфебель. Грудь в крестах и медалях. Генерал Иванов, с лицом сосредоточенным, перебрал Захаровы регалии, а самую крайнюю медаль, золотую, с выписанными на ней славянской вязью словами «За усердие», он отстегнул и, подавая ее Мышкину, сказал:

— Прицепишь девятнадцатого, только ленточку приобрети новую, государь император любит, чтобы все блестело. — И, повернувшись к Захару, добавил: — Молодой еще, не заслужил отличий, а девятнадцатого представляется его величеству, сам понимаешь. Представится и медаль тебе вернет.

— Понятно, ваше превосход!.. — молодцевато отрапортовал Захар.

Мышкин принял медаль и благодарно кивнул головой «заслуженному» фельдфебелю — он не знал, что этими медалями «За усердие» награждались при Николае I особо ретивые жандармы.

3

До Зимнего, до резиденции царя, можно добраться многими способами. Генерала Иванова доставила туда дворцовая карета с форейтором впереди и лакеем на запятках; подполковник Артоболевский приехал на извозчике, а Мышкин прибыл пешком и раньше своих начальников, несмотря на то что на пути ему пришлось раз тридцать сходить с тротуара и становиться во фронт перед встречными генералами.

Дежурный в Иорданском подъезде поздоровался с генералом Ивановым и, кивнув в сторону Артоболевского и Мышкина, коротко спросил:

— С вами?

Их ввели в кабинет царя и поставили спиной к камину.

Мышкин огляделся: на стенах картины, в поставцах —

фарфоровые пастушки, деревянные солдатики. Пола не видно: он прикрыт молочно-белым ковром. Возле письменного стола, на круглом цоколе, мраморный бюст Николая I — лицо злое, надменное.

Кабинет огромный, но его величина не подавляет. Вещи были с какой-то умной находчивостью подобраны друг к другу. Высокие белые двери с написанными на них яркими птицами незаметно сливались со светлым гобеленом, на котором причудливые деревья склонялись в сторону двери будто для того, чтобы уставшие от полета птицы могли отдохнуть на ветвях. За гобеленом — полочки, но не прямые, а изогнутые, и поэтому казалось Мышкину, что фарфоровые пастушки и деревянные солдатики бегут от гобелена, бегут от ветра, покачивающего деревья, и бегут к картине, на которой раскинулось голубое озеро и уютные, под красной черепицей домики...

И он, солдатский сын Ипполит Мышкин, видит всю эту красоту, он, бывший кантонист, стоит перед письменным столом, за которым решается судьба России, и к нему, поротому и битому, сейчас выйдет сам царь!

Ипполиту Мышкину было тогда мало лет, всего шестнадцать, но ему пришлось столько претерпеть, что частенько сам себе задавал вопрос: как я выжил? Жизнь в его сознании упростилась: прошлое — темное, жестокое; будущее — ясное, радостное. И это будущее — ясное, радостное — стало возможным только благодаря царю Александру-освободителю, тому, что войдет сейчас через белые двери — добрый, чуткий, милостивый...

Сами собой распахнулись белые двери. Шаги, звон шпор. Впереди царь. Он весь сияет, голубая лента через плечо, словно полоска вешнего неба, тонет в сиянье золотого шитья на мундире; от царя исходит нежный звон, точно стеклянные бусы перекатываются по стеклянному блюду, — это звякают ордена, кончики аксельбантов, шпоры...

— Будем заниматься стено-гра-фией, — сказал он, как показалось Мышкину, с иронией в голосе. — Кто будет писать?

— Ефрейтор Мышкин, ваше величество, — ответил генерал Иванов — маленький, кругленький, с лицом, багровым от счастья, а может быть, и от того, что подпирал высокий воротник парадного мундира.

Царь посмотрел на Мышкина — сначала на сапоги,

потом на медаль, затем в лицо — быстрым, цепким взглядом и повернулся к военному министру Милютину, стоявшему впереди свиты.

— Молодой, а уже отличился.

И Мышкину опять послышалась ирония в словах царя.

Многоопытный и умный Милютин понял, что юный ефрейтор не служил в жандармах, что медаль на его груди — плод холопского усердия Иванова, желавшего угодить царю, зная его слабость к побрякушкам, поэтому улыбнулся и, склонившись, произнес своим мяукающим голосом:

— На службе вашего величества каждый верноподданный старается выказать свое усердие.

Генерал Иванов уловил двусмысленность в ответе военного министра и еще гуще побагровел.

Царь и вся его свита двинулись к письменному столу.

— Садись за стол, Мышкин, — предложил царь, — покажи свое искусство. — И, повернув голову к Иванову, добавил: — Вы, генерал, объясните нам эту самую стено-гра-фию, а он будет записывать.

У Мышкина в голове туман. Все произошло так, как он себе представлял: нарядный царь, блестящая свита, вежливый разговор. И все же произошло что-то такое, что ударило в голову. Царь не такой молодой, каким он видится на портретах; лицо обрюзглое, возле глаз — стрелки. Но не это поразило Мышкина. Поразили глаза царя: холодные, мертвые, точь-в-точь как на мраморном бюсте Николая. Неужели он, этот человек с мертвыми глазами, освободил народ от рабства, уничтожил кабалу в школе кантонистов, дал ему, Ипполиту Мышкину, новую судьбу?

— Садись! — сурово повторил царь.

Мышкин уселся, достал из кармана тетрадку, карандаши, а в мыслях бился вопрос: «Неужели он?»

Генерал Иванов докладывал:

— Наша новая система стенографии состоит в том...

Мышкин сразу обрел покой, развеялся туман, в голове стало ясно, и его рука с обычной ловкостью стала выписывать крючки, палочки, кружочки.

Генерал Иванов закончил свой доклад.

— Читай, что написано, — обратился царь к Мышкину, глядя поверх его головы.

Мышкин поднялся. Молодым, звонким голосом он повторил доклад генерала Иванова.

— Молодец! Положительно молодец! — похвалил царь, но глаза по-прежнему холодные, безучастные. — Оставь мне свою тетрадь! Спасибо, генерал, — он пожал руку Иванову, — и вам, подполковник, спасибо. Вы, кажется, тоже причастны к новой системе?

— Причастен, ваше величество.

— Одобряю, — сказал он, пожимая руку Артоболевскому. — А тебе, Мышкин, за ловкость, — он посмотрел в сторону белой двери, где стоял дежурный флигель-адъютант: — Дай ефрейтору двадцать пять рублей. — И, даже не кивнув головой, направился к двери.

Звеня шпорами и орденами, последовала за царем свита.

4

Генерала Иванова ждала у подъезда дворцовая карета; подполковник Артоболевский уехал на извозчике; ефрейтор Мышкин пошел пешком. Он шел по набережной, смотрел на широкую, расцвеченную солнечными бликами Неву, смотрел на величественные здания, которые отгородились от внешнего мира колоннами и решетками, смотрел на приземистую церковь Петропавловской крепости, которая на острие своей колокольни подняла к небу золотого ангела, и... ни о чем не думал, — вернее, думал о многом, но мысли неслись таким вихрем, что ни одна из них не успевала закрепиться в сознании. Всем своим существом сознавал Мышкин, что с ним произошло что-то большое, решающее: он, солдатский сын, сидел в царском кресле, за царским письменным столом, а царь, сам царь, стоял рядом с ним и любовался его уменьем. Ведь о таком счастье он и мечтать не смел, а между тем нет радости, что-то мешает ей пробиться. Что? Вот в этом, основном, не мог разобраться Ипполит Мышкин, и поэтому текли его мысли, как вода на песок, не освежая и не оставляя следа.

Вспоминался иронический тон царя, его глаза, равнодушные, холодные, надменные; его рот с брезгливо оттопыренной нижней губой, как у человека, который вместо вина хлебнул воду. Ничем, решительно ничем не был похож Александр на того царя, которого он так

часто видел в мечтах. Но ведь именно этот Александр освободил народ от неволи, ведь именно этот Александр дал ему, кантонисту, новую, человеческую судьбу.

Неужели он, Мышкин, по молодости не разбирается в людях? Или там, в царском кабинете, был он так ошеломлен необычной для него обстановкой, что потерял способность видеть людей такими, какие они есть на самом деле?

Он прерывал размышления, чтобы отдать честь офицерам, стать во фронт перед генералами; но после каждого перерыва мысли Ипполита Мышкина возвращались к какому-то началу, которое, развиваясь, не шло к логическому завершению, а растекалось на отдельные ручейки, все дальше и дальше уходя от главного: кто он, царь Александр?

На одной из улиц до слуха донесся барабанный бой. Мышкин машинально одернул на себе мундир и зашагал четким шагом. Барабаны били на Мытнинской площади. Мышкин не видел барабанщиков, издали проступали лишь кивера конных жандармов, а в их кольце — бородатый, в очках человек.

Мышкин удивлен: какого роста, подумал он, должен быть человек, чтобы его было видно поверх конников, поверх городовых?

Мышкин вышел на площадь. Что это? Посреди площади — эшафот, выкрашенный в густой черный цвет. На эшафоте — черный столб, а на нем железная цепь. Возле столба — невысокий человек, бородатый, с виду суровый, но из-за стекол овальных очков проглядывают приветливые глаза. На нем длинное пальто, на голове круглая шапка.

За спиной невысокого человека — два палача: оба в черном, под цвет столба. Немного в стороне — чиновник в треуголке, в вицмундире.

А вокруг эшафота охрана, да какая! Три шеренги солдат с ружьями; за ними кольцо конных жандармов; за жандармами цепь из пеших городовых!

Кто этот человек с приветливым лицом? И зачем такая усиленная охрана?

На солнце набегали свинцовые тучи, день начал хмуриться.

Народу на площади становилось все больше и больше. Подходили офицеры и студенты, подходили пожилые

люди в широкополых шляпах и крылатках, целыми группами прибывала молодежь в «русских» костюмах, подходили девицы — стриженые, в черных платьях и черных башлыках. За спинами городовых скопилось несколько тысяч человек.

Многое удивило Мышкина: на эшафоте преступник и палачи, а попа нет. Какая казнь без попа?! И почему преступник не в арестантской робе?

Чиновник в вицмундире читал что-то с листа, читал торопливо, невнятно — ничего не разобрать! Правда, преступника вовсе не интересовало чтение: он беспрерывно обводил близорукими глазами толпу, по-видимому искал кого-то. А возможно, подумал Мышкин, он и не ищет никого: ведь прежде чем попасть на эшафот, этот несчастный должен был долго просидеть в тюрьме, отвык от людей, не слышал шума толпы... И вот теперь она перед ним...

Неожиданно послышались из толпы окрики:

— Позор!

— Шапки долой!

Чиновник закончил чтение.

Один из палачей, детина с волосатым лицом, до того смотревший на все с тупым безразличием, сразу оживился; он достал откуда-то обнаженную шпагу и театральным жестом показал ее народу.

Второй палач сказал что-то хриплым голосом, и человек возле черного столба опустился на колени.

Обнаженная шпага блеснула в воздухе.

Замерла толпа, замерли солдаты. Это продолжалось несколько мгновений. Вдруг, точно озверев, первый палач смахнул шапку с головы осужденного и, поднявшись на носки, переломил шпагу над его головой.

Барабаны отбивали тревожную дробь.

Первый палач, подбоченившись, стоял у края помоста, как актер в ожидании аплодисментов.

Второй палач поднял осужденного, вдел его руки в кольца свисавшей со столба цепи, а затем повесил ему на грудь черную доску с надписью: «Государственный преступник».

Тут заголосила толпа:

— Опричники!

— Позор!

— Негодяи!

Гражданин в кумачовой рубахе и плисовых шароварах прорвался сквозь кольцо охраны.

— Хочу проститься с ним! — кричал он, озлобленно отбиваясь от наседавших на него городовых.

И в то время, когда городовые боролись с гражданином в кумачовой рубахе, выдвинулась из толпы девушка в длинной черной накидке и, замахнувшись, ловко бросила на эшафот букет алых роз.

Послужило это сигналом или вышло случайно, но вслед за розами полетели к эшафоту венки, букеты и охапки белой сирени.

Осужденный улыбался, кивал головой, кланялся во все стороны.

Городовые рассыпались. Одни пытались ловить людей, бросавших цветы, другие оттесняли толпу, рвущуюся к эшафоту...

Палачи подхватили осужденного под руки, уволокли его с помоста.

Молодой офицер, помахивая фуражкой, кричал:

— Прощай, Чернышевский!

Толпа подхватила:

— До свидания!

...Мышкин выбрался из толпы. Его не увлек общий порыв: он был недоволен собой. «Есть люди, — думал он, — которые за какую-то правду идут на казнь. А за какую правду, ты не знаешь, не знаешь, Ипполит! Ты не знаешь, почему Чернышевский так дорог девушке в длинной накидке, почему он так дорог молодому офицеру, тому, который восторженно кричал: «Прощай, Чернышевский!»

И что ты, Ипполит, вообще знаешь о жизни? Ходишь гоголем с чужой медалью на груди и считаешь, что мир прекрасно устроен. А в этом прекрасно устроенном мире люди с улыбкой на лице идут на му́ки!

Ты сидел сегодня за царским столом, и в твоем сердце не было радости! Тебя поразил холодный и надменный взгляд Александра. А ведь ты, Ипполит, не разглядел, что за этой холодной надменностью скрывается трусливая озабоченность. Ведь он, Александр, в это время думал: «Как сойдет казнь Чернышевского?» Он, царь, конечно, догадывался, что народ будет тянуться к Чернышевскому через забор из штыков... И, чтобы не допустить до этого, нагнал солдат, жандармов, городовых...

Помогло это царю? Нет! Чернышевский улыбался, к его ногам летели цветы, а те, что выполняли царскую волю, трусливо спешили, даже не посмели обрядить «государственного преступника» в арестантскую одежду!

Есть, видать, сила посильнее царя!

И за что поставил царь Чернышевского к позорному столбу? Ведь только за то, что он рассказывал, как плохо живется русскому народу! Разве Чернышевский выдумал все эти ужасы? Разве я, мои товарищи по рабской судьбе, моя семья, мои родичи — разве все мы живем человеческой жизнью?»

— Нет, — сказал Мышкин вслух, — не цветы надо кидать! Надо мстить... Отомстить за себя, за товарищей, за народ!

5

Опять лекции, муштра, чертежи, стенография. К занятиям прибавилось чтение. Он читал жадно, неуемно, как человек, который должен в короткий срок нагнать упущенные годы.

В школе была приличная библиотека, но не все книги выдавались ученикам. Мышкину повезло: его соседом по койке оказался книголюб — парень, друживший с библиотекарем; тот доставал для Мышкина книги из так называемого «преподавательского шкафа».

Что читать, Мышкин не знал и поэтому читал все, что добывал для него товарищ.

Во многом юный Мышкин не разбирался: сегодня он соглашался с Белинским, завтра убеждала его логика Писарева. Только один Чернышевский казался ему безгрешным во всех своих высказываниях. Каждая страница Чернышевского напоена ненавистью к крепостному праву, к самодержавию. Его, Мышкина, увлекли герои романа «Что делать?» — волевые, талантливые люди, готовые в любую минуту на муки, чтобы своими муками и даже своей смертью очистить народу путь к счастливой жизни.

...В августе 1864 года Мышкин был выпущен из училища «топографом унтер-офицерского звания 2-го класса». По существовавшему тогда положению полагалось отработать четыре года в войсковых частях. Сначала Мышкина направили в штаб войск гвардии Петербург-

ского военного округа, а осенью 1865 года перевели в Николаевскую академию генерального штаба.

Осеннее солнце заливает город. На мостовых — кареты, дрожки, верховые; на тротуарах — толпы, толпы; в небе — золотой ангел, ангел, взлетевший на иглу Петропавловской крепости. Ангел простирает крест к Мышкину: не то благословляет, не то дорогу указывает.

Мышкин остановился перед зданием Главного штаба, что полукругом охватывает просторную Дворцовую площадь. Рядом — Зимний дворец. Там сидел Мышкин в царском кресле, за царским письменным столом...

Мышкин поднялся на четвертый этаж, в геодезическое отделение. Он нашел комнату № 216, постучал и, не дождавшись отклика, открыл дверь.

В комнате всего два офицера: капитан и подпоручик. Оба удивленно взглянули на вошедшего.

— Тебе кого? — строго спросил капитан, поднявшись из-за стола.

У капитана светлые, соломенного цвета бакенбарды — они мягко сливаются с серебряным шитьем воротника.

— Унтер-офицер Мышкин, назначенный в службу в геодезическое отделение!

Отрапортовав, Мышкин протянул капитану свои документы.

Капитан сначала просмотрел документы, потом исподлобья взглянул на Мышкина, затем, прикрыв свой нос мышкинским пакетом, спросил:

— Воняешь?

Мышкин вопроса не понял:

— Как вы сказали?

Капитан отступил на один шаг и, не повышая голоса, сказал:

— Пошел вон. Службы не знаешь.

Мышкин вышел в коридор, длинный, унылый коридор с цепочкой белых дверей и синими песочными ящиками возле каждой двери.

Сколько надежд он связывал с новой службой! Ему чудилось, что именно здесь он начнет восхождение к тем высотам, о которых столько мечтал. Он будет служить и учиться, учиться, чтобы стать похожим на тех героев, которые ему полюбились, из романа «Что делать?». И вдруг — «Пошел вон!»

Дверь № 216 раскрылась, показался капитан.

Мышкин решительно шагнул к нему:

— Ваше высокоблагородие! С семи лет я на военной службе, с семилетнего возраста я знаю, что солдату полагается отвечать «так точно» и «никак нет». А на ваш вопрос я не мог ответить ни «так точно», ни «никак нет»: я вопроса не понял.

Капитан опять посмотрел на Мышкина исподлобья, но на этот раз посмотрел заинтересованно: ему понравился ладно скроенный юноша с живыми глазами и серьезной речью.

— Вопроса не понял? А в твоей характеристике сказано, что ты по-нят-ли-вый, — закончил он издевательски. Повернулся спиной к Мышкину, сделал несколько быстрых шагов, вдруг остановился и добавил: — Ступай к господину подпоручику.

Мышкин опять в комнате № 216. Подпоручик что-то вычерчивает на большом листе плотной бумаги. Перед ним угольники, линейки. От окна тянется солнечный луч, и он веером растекается по чертежной доске.

— Разрешите, ваше благородие!

Подпоручик поднял голову. Круглое лицо, тонкие усики, улыбающиеся глаза.

— Садитесь, унтер-офицер, — сказал он приветливо. — Как вас величать по имени-отчеству?

— Ипполит Никитич.

— А меня Михаил Сергеич. Сидите, Ипполит Никитич, не вскакивайте, забудьте, что вы нижний чин, мы с вами сослуживцы. Ошарашил вас капитан...

— Я его вопроса не понял.

— Его подчас и я не понимаю: с придурью он. Он убежден, что все солдаты грязные, что от них дурно пахнет. И, кроме того, обиделся: как это ему, сиятельному графу, придется сидеть в одной комнате с солдатом! Но не огорчайтесь, Ипполит Никитич, все устроится. Для карьеры наш сиятельный капитан поступится своим графским гонором.

И действительно, все устроилось.

Жизнь была однообразна и в то же время очень сложна. Мышкин работал и жил в центре города, а на котловом довольствии состоял при телеграфной роте, что квартировала за Невской заставой. Ходить туда завтракать, обедать и ужинать не было возможности, пришлось

Мышкину тратиться на питание из своего жалованья. А жалованье было воробьиное: 4 рубля 20 копеек! Жил Мышкин на хлебе и воде, а сытым бывал только по праздничным дням, когда, свободный от службы, мог отправляться в телеграфную роту.

И так жил он четыре года, и если выжил, то только благодаря своему крепкому организму да тем крохам, которые могли ему уделить брат Григорий из своего нищенского жалованья кондуктора и мать из своего заработка поденщицы.

...На службе быстро наладились отношения. Капитан убедился в двух вещах: «от солдата не пахнет», и «солдат чертовски трудоспособен». Капитан был вздорным человеком, но достаточно умным, чтобы понять: на солдата можно свалить всю чертежную работу.

Мышкин работал безотказно: с утра дотемна вычерчивал он топографические карты и до того набил себе руку в этом трудном деле, что частенько удостаивался похвалы начальства.

С Михаилом Сергеичем установились иные отношения. Подпоручик явно симпатизировал Мышкину. Правда, в присутствии капитана он обращался к Мышкину на «ты», зато когда оставались наедине, они беседовали непринужденно, даже дружески. Михаил Сергеич рассказывал Мышкину о своих семейных делах, говорил с ним о книгах, которые читал, интересовался планами Мышкина на будущее.

Мышкин был благодарен подпоручику за человеческое отношение, и в то же время был он крайне сдержан: голодный и униженный, Мышкин не мог преодолеть внутренней неприязни к сытому барчуку.

Как-то в субботу, на исходе рабочего дня, подпоручик сказал:

— Ипполит Никитич, вы жаловались, что живете не так, как хочется, что вам надоели карты, бессмысленные разговоры, что хорошей книги негде вам достать. Пришли бы завтра ко мне, народ кое-какой соберется, побеседуем...

...Михаил Сергеич жил на Охте, в деревянном домике.

Старушка, открывшая дверь, поклонилась Мышкину и тепло сказала:

— Разденься, дружочек, самовар уже на столе.

Она проводила Мышкина по низеньким, но светлым

комнатам. Желтые навощенные полы, на стенах — расписные тарелки.

В просторном кабинете человек шесть-семь — студенты и военные. На столе — самовар, блюда со снедью.

Михаил Сергеич поднялся с дивана:

— Ипполит Никитич Мышкин, мой сослуживец. Прошу любить и жаловать!

Мышкин чувствовал себя неловко. Он пожимал руки, улыбался, но не мог отделаться от назойливой мысли: почему эти барчуки так обрадовались солдатскому сыну?

Артиллерийский юнкер, чернявый человек громадного роста, обняв его и захлебываясь, промолвил:

— Наконец-то среди нас человек из народа!

Саперный подпоручик сказал церемонно:

— Рад пожать вашу руку.

А студент Военно-медицинской академии, длинноволосый, в дымчатых очках, резко потянул Мышкина за рукав:

— Тамбовский? — спросил он.

— Псковский.

— Почти соседи. Садись со мной, поговорить надо.

— Парфен! — оборвал студента хозяин. — Разговоры после. Давайте завтракать!

Все ели с большим аппетитом, перекидываясь при этом шутками, а Мышкин сидел словно замороженный. К еде не прикасался. Был уверен: барчуки знают, что он голодный, и пригласили его только для того, чтобы накормить голодного солдата!

— Ипполит Никитич! А вы что? Поститесь сегодня?

— Не хочется, Михаил Сергеич. Я дома плотно поел.

Как-то незаметно перешли от шуток к серьезному разговору. Юнкер достал из кармана книгу и, прежде чем приступить к чтению, сказал:

— Господа! Мы разобрались в споре Сент-Илера с Кювье. Мы проштудировали бюхнеровскую «Материю и силу». Проштудировали Дарвина и Молешотта. Мы убедились, что «природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». Мы убедились, что все живое на земле совершенствуется в результате борьбы за существование. И вот теперь, господа, перед нами вторая задача: проштудировать труды, которые преследуют цель усовершенствовать человеческое общество. Таких трудов немало, и мы все их добудем. Сегодня начнем с Фурье, с его

труда «Принципы ассоциаций». — Он протянул книгу через стол. — Прошу...

Подпоручик, юноша с грустными, а может быть, усталыми глазами, принял книгу из рук юнкера, откашлялся и приступил к чтению...

Мышкин закрыл глаза. Размеренное чтение убаюкивало. Ему почудилось: он на Мытнинской площади, Чернышевский, прижавшись спиной к черному столбу, говорит тихим, задушевным голосом... «Люди-братья, вы рождены свободными, а вас держат в рабстве. Вы рождены, чтобы быть счастливыми, а вас угнетают несчастья. Вы сильны, а вас ломают, как ветер сухие ветви... Объединяйтесь... Объединяйтесь, люди-братья...»

...Жизнь в Петербурге приобрела для Мышкина новый смысл. Он стал постоянным участником «воскресных чтений».

Кружок Михаила Сергеича не преследовал политических целей (хотя впоследствии почти все участники кружка стали активными революционерами), да и сам Мышкин в то время таких целей не искал. Он учился, чтобы достойно спорить с товарищами, которые были значительно образованнее его, он учился, понимая, что только знания дают ему возможность считать себя полноправным членом «барского» кружка, он учился, предугадывая классовым своим чутьем, что именно на путях Фурье, Сен-Симона, Герцена, Лассаля и Маркса (хотя пути эти разные, и в этой разности нужно еще разобраться!) человечество должно искать спасение от нищеты и унижений.

Но как «искать спасение для человечества», когда тебя самого за человека не считают, когда живешь в обстановке грубого произвола, когда любой офицер может тебя унизить, уничтожить!

И Мышкин решил вырваться из зачумленного круга: в августовский день 1869 года он не явился на службу — хотел бежать. Но... его задержали, посадили на гауптвахту.

В арестантской камере, наблюдая жизнь обездоленных солдат и сам страдая от мелких придирок и незаслуженных оскорблений, Мышкин остро почувствовал, что надо, непременно надо что-то предпринять — что-то такое, дабы покончить с бесправием народа. Надо делать то, пришел он к убеждению, что делал Чернышевский:

писать о произволе властей, об издевательствах, о бессмысленной, отупляющей муштре в царской армии...

...Летом 1870 года, после окончания обязательного срока пребывания на военной службе, Мышкин вышел в отставку.

Солдатский сын очутился на свободе! Мир велик и богат всем, чего просит душа, — умей только взять то, чего желает твое сердце. Но что выберет он, безродный кантонист, выживший только благодаря своей сильной природе? Он выберет все, что могут взять ясная голова и здоровые руки!

В первую очередь он осуществил свою давнюю мечту: сдал экзамен на звание домашнего учителя и с дипломом в кармане отправился осенью 1871 года в Москву.

Должность правительственного стенографа была почетная и прибыльная. Точный, исполнительный, трудолюбивый, Мышкин был нарасхват. Он стенографировал на заседаниях Окружного суда, вел отчеты земских собраний, ездил в Пензу, в Херсон...

Новая жизнь, новые отношения! Переход от подневольного состояния и нужды к свободе и полному благополучию был так внезапен, что первые месяцы в Москве Мышкин все еще чувствовал себя солдатом: при встрече с офицерами рука сама поднималась к козырьку, хотя на голове вместо военной фуражки сидела шляпа; уже питаясь в ресторанах, Мышкин набивал ящики своего стола всяческой снедью, словно не верил, что действительно кончилась петербургская голодуха. Новая жизнь была чересчур необычна для «правительственного стенографа», чтобы он мог сразу поверить в ее реальность. Трудясь в Окружном суде, стенографируя на съездах, собраниях и в ученых обществах, Мышкин зарабатывал больше двухсот рублей. Он мог разрешить себе все! Одевался у хорошего портного; жил в гостинице на Тверской; обедал у Соколова, и не в «низке», а на втором этаже, где обедала «чистая» публика; посещал театры, покупал книги, задаривал мать и брата Григория. Источник дохода был неиссякаем! При трудолюбии Мышкина, при его усидчивости он мог, если бы ему понадобилось, удвоить и утроить свои заработки: стенографов было мало, особенно правительственных, чьи стенограммы считались официальными документами.

...Прошел угар первых месяцев «свободы», наступили трудовые будни. Мышкин свыкся и с работой и со своим положением. Новое окружение — земские деятели, либеральные интеллигенты — убедили его, что народу нельзя ждать от них спасения. Крестьяне голодают, недороды стали хроническими, а земские краснобаи болтают о «племенных быках и тонкорунных овцах». В Херсоне, где Мышкину довелось стенографировать заседание земцев, обнаружилось, что «благородные опекуны» расхитили во время голода десятки тысяч рублей!

...Мышкин взялся за перо. Почти каждая земская сессия, на которой он присутствовал в качестве стенографа, давала ему материал для статьи и заметки. Газеты охотно помещали эти «корреспонденции с мест»: они были обильно оснащены фактами и цифрами. Но, кроме фактов и цифр, все яснее стало проступать в корреспонденциях критическое отношение автора к земским управам, этим «большим охотницам до утешительных фраз». Корреспонденции Мышкина откликались на самые острые вопросы того времени: голод в деревне, школы для крестьян... А так как в каждой корреспонденции умело доказывалось, что земства не умеют и не желают покончить с бедственным положением крестьян, царское правительство к тому же еще мешает земствам проводить в жизнь даже те крохи полезного, на которые они способны, то, естественно, у читателя возникал вопрос: в чем же спасение? И Мышкин отвечал на этот вопрос: спасение в самодеятельности самих народных масс.

Конечно, царская цензура обратила внимание на автора критических заметок: по всяческим — благовидным и неблаговидным — поводам не допускали их к печати. Тогда Мышкин задумал издать книгу, дешевую, массовую, о значении земства. Книгу запретили. Решил Мышкин опубликовать книгу о положении солдат в царской армии — материалы для этой книги он долго собирал по военно-судным делам. Цензура запретила и эту книгу...

В 1872 году Мышкин встретился с Войнаральским, и эта встреча еще больше утвердила его в желании «работать на пользу народа».

Встреча произошла в Пензе. На собрании земцев Мышкин познакомился с мировым судьей Порфирием Ивановичем Войнаральским, местным богатым помещи-

ком. Мышкин волновался, стенографируя его речь: в деревнях голод, мор, и Войнаральский закончил свою речь страстным предупреждением: «Народ не стерпит, народ поднимется!»

Войнаральскому было лет двадцать пять, но говорил он сурово и веско, как умудренный жизненным опытом старец.

В сознании Мышкина всплыло прошлое, тяжелое и горькое. В смелой речи Войнаральского он услышал и отзвуки каких-то своих мыслей, каких-то своих сомнений.

После заседания Мышкин подошел к Войнаральскому:

— Вы привели ужасные факты. Но что, по-вашему, нужно делать сегодня, завтра?

Войнаральский отвел Мышкина в сторону.

— Друг мой, разрешите задать вам два вопроса.

— Пожалуйста.

— Вот на вас хорошо сшитый фрак. Скажите, друг мой, если вам предложат снять с себя фрак и обрядиться в рубище, вы очень будете страдать?

Мышкин рассмеялся:

— Тринадцать лет я носил солдатскую рубаху!

Войнаральский удивился: перед ним стоял юноша с тонким, породистым лицом, с высоким лбом мыслителя, из-под которого смотрели пытливые карие глаза.

— Вы носили солдатскую рубаху? И целых тринадцать лет?

— Да я же бывший кантонист, я солдатский сын. Мой фрак — случайность!

— Тогда, друг мой, я второго вопроса вам не задам. Я не носил солдатской рубахи, фрак на мне не случайность, но для блага народа я готов сменить фрак на арестантский халат.

— Порфирий Иванович! — опять рассмеялся Мышкин. — Сменой фрака народу не поможете! — И закончил серьезно: — Я вас спрашиваю, какие выводы вы делаете для себя из фактов?

Войнаральский склонился к уху Мышкина:

— Такие, как я, должны сделать все, чтобы народ скорее поднялся. Вот мой вывод из фактов, которые вы изволили назвать ужасными. И если, друг мой, эти факты и вас тревожат, буду рад поговорить с вами в любое время.

И Мышкин узнал от Войнаральского, что в Пензе есть люди, которые уже работают для «блага народа», что эти люди связаны с кружками в Москве, Петербурге...

С одним из таких кружков, по указанию Войнаральского, Мышкин и связался по возвращении из Пензы. Но кружок этот чем-то напоминал Мышкину воскресные чтения у подпоручика Михаила Сергеича: участники кружка занимались самообразованием, самоподготовкой к «подвигу», не зная еще, в чем выразится их подвиг.

6

Весной 1873 года редактор «Московских ведомостей» предложил Мышкину дать отчет о «Нечаевском деле», которое должно было разбираться в Судебной палате.

Ипполиту Никитичу шел уже двадцать пятый год, а своего места в жизни он еще не нашел. Он много зарабатывал, но мир сытых, благополучных, мир «уважаемых и почтенных общественных деятелей» его не прельщал. Не увлекали его и читки в кружке: Мышкин был человеком дела, а в кружке только говорили о деле. Мышкин видел, что в русском обществе идет брожение, но он хорошо помнил слова Марата: «Если в эти моменты общественного брожения не найдется смельчака, который стал бы во главе недовольных, чтобы сплотить их против притеснителя, не найдется сильной личности, которая подчинила бы все умы, то восстание обратится в бесплодную вспышку, которую очень легко подавить». Этой сильной личности не видел Мышкин.

«Нечаевское дело» произвело на Мышкина ошеломляющее впечатление: из выступлений Успенского и Прыжова, которые даже на скамье подсудимых говорили о своем страстном желании помочь народу, просветить его, добиться для него счастливой доли, — перед Мышкиным все яснее вырисовывался «его путь». Горячее отношение Успенского и Прыжова к тому, во что они верили, и их самопожертвование звало к подражанию. Успенский прямо заявил суду, что всякий честный человек должен работать на пользу народа.

«Что я, — спрашивал себя Мышкин, — способен на такой подвиг?»

На суде были названы книги, которые распространя-

ли участники нечаевского кружка: «Политическая экономия» Милля, «Исторические письма» Миртова (Лаврова) и первый том Лассаля. Мышкин знал эти книги, он их опять добыл, вторично прочитал и... по-новому понял. Его поразила мысль, высказанная вскользь Лассалем, что всякий рабочий, отдавшись борьбе за интересы своего класса, совершает этим высоконравственный акт, ибо служит делу общественного прогресса... Вот почему, решил Мышкин, публика в зале суда чувствовала симпатию к обвиняемым: от них, словно от солнца, шли яркие лучи необыкновенной моральной чистоты — они принесли себя в жертву общественному прогрессу.

Обрабатывая свои заметки из зала суда, Мышкин обратил внимание на одну деталь: нечаевцы намеревались освободить Чернышевского из тюрьмы. Привлекавшийся по делу нечаевцев Кунтушов собирал уже деньги для этой цели.

Образ Чернышевского навечно вошел в сознание Мышкина: это был первый революционер, который поразил его воображение, это был первый человек, который вселил в него тоску по свободе. Но может ли быть человек таким многогранным? Студенты, протестовавшие в 61-м году против произвола министра просвещения Путятина, считали своим вождем Чернышевского. Каракозов, стрелявший в 66-м году в Александра II, преклонялся перед Чернышевским. Нечаевцы — и те хотят освободить Чернышевского!

«Где истинный Чернышевский? — спрашивал себя Мышкин. — Не может он одновременно быть учителем Каракозова и нечаевцев! Разные они, и разные у них пути!»

Как зародились у Мышкина первые революционные мысли? На это можно ответить с уверенностью: они зародились под влиянием всего виденного, пережитого и прочитанного. То из одной книги, то из другой, то из одного спора, то из другого оседали отдельные мысли, фразы, и они давали мозгу пищу для размышлений.

После Крымской войны появилась масса книг, преимущественно переводных, по естествознанию. На этих книгах воспитывались шестидесятники с их верой в человеческий разум. Вера эта не ослабела и в семидесятых годах, но питалась уже из других источников. Семиде-

сятники накинулись главным образом на социальные науки. В 1872 году появился в русском переводе первый том «Капитала». Стройностью системы и глубиной критики Маркс произвел на молодежь большое впечатление. Другие, более ранние произведения Маркса оставались неизвестными широкому кругу — их, семидесятников, интересовало экономическое учение Маркса и Маркс как руководитель Интернационала. Далее этого их интерес не простирался: они проходили мимо и его философских и исторических взглядов. Молодежь продолжала оставаться на точке зрения утопического социализма и признавала своими учителями Чернышевского, а вслед за ним — Лаврова и Бакунина.

Мышкин, может быть, дольше, чем многие из его товарищей, задержался на Чернышевском. Возможно, читая его работы, перед глазами Мышкина стоял живой Чернышевский, стоял таким, каким он его видел в памятный майский день на эшафоте. Эти личные переживания сблизили, сроднили Мышкина не только с автором, но и с героями его романа: мозг Мышкина без какого-либо сопротивления принимал все доводы автора — так обычно безраздельно верят любимому человеку.

Мышкина увлекла фигура Рахметова: его физическая сила, волевой характер, его умение сочетать теорию с практикой, его высокие, благородные цели, его готовность отдать себя целиком делу революции.

«Что сделал бы я на его месте?» — спрашивал себя Мышкин.

Две-три фразы, мельком брошенные автором, как Рахметов «тянул лямку» с бурлаками — это первый намек на близкое общение с народом, — возродили в душе Мышкина целый мир детских и юношеских воспоминаний, когда он сам на своей шкуре испытывал рабью долю народа.

И неужели он, часто рассуждал сам с собой Мышкин, ничего не может сделать для этого народа?

Нам только кажется, что деревья зазеленели вдруг, в одно утро, что именно прошумевший дождь вызвал к жизни листву.

Деревья не зеленеют вдруг — мы видим завершенное, но процесс свершения скрыт от наших глаз. Нужна долгая и кропотливая работа корней, воды, солей, бактерий

и солнца, чтобы дерево после зимней оголенности вновь убралось зеленью. Прошумевший дождь был только последним звеном в длинной творческой цепи.

Ипполит Никитич Мышкин давно искал пути к подвигу, весь творческий процесс был в нем самом уже завершен, но нужен был еще толчок, последний живительный дождь, чтобы тоненькие трубочки развернулись узорчатым листом.

И этим толчком, этим последним живительным дождем была для Мышкина встреча с мужественными и благородными юношами на процессе нечаевцев.

Но что? Что делать?

Лавров на этот вопрос отвечает: критически мыслящая личность, взвесив свои силы, должна решиться на борьбу с установившимися историческими формами общества. Какая цель этой борьбы по Лаврову? Уплатить долг народу за полученное образование, за привилегию носить глаженый воротничок!

На вопрос «что делать?» Бакунин отвечает более решительно: установить безвластье!

Лавров и Бакунин, считал Мышкин, не видят того, что Чернышевский видел еще в начале шестидесятых годов: Россия пойдет по пути капиталистического развития, а ведь только это должно предопределить ответ на вопрос «что делать?».

Но... можно ли остановиться на этом? Что проповедовал бы сегодня Чернышевский, будь он на воле? Ведь не удовлетворился бы одним лишь утверждением, что Россия вступила на путь капиталистического развития! Он предложил бы новые методы борьбы применительно к новым условиям!

Какие методы? Какие? Те ли, о которых говорит Лассаль? Те ли, что предлагает Бакунин?

На какой путь встать ему, Мышкину? И как встать на этот путь, чтобы принести больше пользы делу, чем принесли Каракозов и Ишутин, Успенский и Прыжов?

Револьвер Каракозова Мышкин отверг решительно: новые общественные отношения не создаются выстрелами одиночек! Ему претил и лозунг Нечаева: «Все средства хороши». В этих словах Мышкину чудилось что-то безнравственное.

И Мышкин решил: революцию делает народ, а русский народ нуждается в просвещении, в хороших книгах,

в таких книгах, которые рассказывали бы ему, кто накинул ярмо на его шею и как, какими действиями народ может освободиться от ярма. А когда народ это поймет, он сам поднимется против угнетателей.

Дать народу книги? А где их добыть? В обращении находятся одни листовки, брошюрки, а ими ограничиться нельзя, нужна массовая серьезная книга!

И Мышкин решил оборудовать типографию, чтобы в ней печатать серьезные книги.

А дальше? Как попадут его книги в руки народа?

Вспомнил Мышкин о Войнаральском.

После первых же слов Порфирий Иванович одобрил затею Мышкина. Они разработали подробный план распространения продукции мышкинской типографии.

Денег у Мышкина было много, но все же недостаточно, чтобы купить целую типографию.

Помог случай: некий Вильде, владелец типографии на Тверском бульваре, искал компаньона. Этим компаньоном и стал Ипполит Никитич. На воротах длинного приземистого двухэтажного дома по Тверскому бульвару, 24 появилась новая, писанная золотом вывеска:

ТИПОГРАФИЯ ВИЛЬДЕ И МЫШКИН

принимает заказы
на печатание книг,
каталогов, афиш, бланков
и визитных карточек

Компаньоны поделили между собой обязанности: Мышкин распоряжается в книжном отделении, все остальное находится в ведении Вильде.

7

В сентябрьское утро 1873 года, когда по Тверскому бульвару шумел ветер и звонницы Страстного монастыря отзывались мелодичным гудом, стояли в воротах дома № 24 пять девушек. Они были легко одеты: в круглых соломенных шляпках, в клетчатых юбках и тонких коротких пелеринках. Их подвела погода: когда они выходили из дома, сияло солнце.

На двери, обитой черной клеенкой, белела табличка: «Вход в типографию».

Девушки прислушивались: тишина, ни шума машин, ни шелеста человеческих голосов.

— Не рано ли мы пришли? — вслух подумала одна из девушек и, как бы наперекор своим мыслям, взялась за скобу и решительно распахнула дверь.

Остальные молча и настороженно последовали за ней.

Девушки сначала попали в полутемный коридор, а оттуда в небольшую светлую комнату, пустую, без мебели. Один только столик на толстых ножках стоял вдоль окна, а на нем, поверх синей бумаги, лежала верстатка; на стене висел большой треугольник; на подоконнике — две бутыли не то с чернилами, не то с краской.

Девушки переглянулись — в их взглядах недоумение, разочарование.

— А вывеска у этого господина Мышкина солидная, с золотом, — с издевкой сказала самая молодая из девушек — белокурая, с нежным цветом лица.

В коридоре послышались гулкие шаги, дверь распахнулась от толчка. Не вошел, а влетел грузный мужчина, с головой курчавой, как у негра. Увидев девушек, он остановился и вежливо спросил: «Чем могу служить?» — хотя по пятнам на его лице и злому взгляду можно было угадать безошибочно, что ему хочется ругаться.

— Мы наборщицы, — сказала высокая золотоволосая девушка. — Мы хотели предложить свои услуги.

— Вы? Наборщицы? Боже мой! Так вас сам Николай угодник послал! Вы знаете, что такое понедельник? Нет, барышни, вы не знаете, что такое понедельник! Понедельник — это враг рабочего человека! Если он пьет во вторник, то в среду выходит на работу. А вот если рабочий человек пьет в воскресенье, то в понедельник у него ноги не ходят и голова не варит. А я вас спрашиваю: какой рабочий человек не пьет в воскресенье? Барышни! Что же мне делать? Хозяин требует работы, а какая может быть работа в понедельник, если все рабочие пили в воскресенье?

Этот монолог рассмешил и обрадовал девушек.

— Мы можем сейчас же приняться за работу.

— Где вы работали?

— В Архангельске.

— Где? В Архангельске? Это там, где белые медведи? Какие там типографии? Вы что: текстовики или акцидентщики?

— И текст набирали, и акцидентные работы выполняли.

— Все пять?

— Все.

Человек с курчавой головой устало опустился на табурет. Казалось, что он исчерпал себя длинным монологом. Наконец сказал:

— Наборщицы. Все пять. А зачем мне столько? Я вас спрашиваю, барышни, зачем мне столько? Ведь завтра все наши пьяницы явятся. Что прикажете: гнать их в шею? — Он поднялся и бодро закончил: — Одну из вас я оставлю!

— Нет, — решительно заявила золотоволосая. — Или всех, или никого!

— Ультимату́м! — рассмеялся курчавый, сделав ударение на втором «у».

— Нет, просьба: мы не хотим разлучаться. К тому же о нас писали господину Мышкину.

Девушки были красивые, вежливые — с такими приятно работать.

— Знаете что, барышни, пойдем к хозяину. Он у нас с головой, что-нибудь да придумает. Одну оставит, других где-нибудь пристроит.

Они поднялись на второй этаж. За столом сидел молодой человек, читал гранки.

— Ипполит Никитич, вот наборщицы. И знаете откуда? Из Архангельска!

Ипполит Никитич встал, стройный, крепкий. Под черными вьющимися волосами высокий белый лоб, тонкий нос. Бородка короткая, тщательно подстриженная. Отложной воротничок был подвязан ниточкой черного галстука.

Мышкин видел, что перед ним барышни, решившие жить трудом, — таких было много в то время. Но почему Войнаральский так горячо их рекомендует? И особенно ту, золотоволосую! Со странным именем — Ефрузина! Ефрузина Супинская!

— Наборщицы? — спросил он весело. — Из Архангельска?

Мышкин встретился с зелеными глазами «золотово-

лосой». Они поминутно менялись: то они горячие, и из них струит не обещание счастья, а само счастье; то они как вода в роднике — холодные, строгие; то вдруг обретают фиалковый оттенок — шаловливые, зовущие к радости.

— Ипполит Никитич! — вмешался курчавый. — Одну мы оставим у себя, а остальных вы где-нибудь пристроите.

— Всех оставим у себя!

— Ипполит Никитич! Нам столько не нужно!

— Нужно, Николай Абрамович, — сказал, улыбаясь, Мышкин. — Больше книг будем печатать. — Он придвинул к столу стулья: — Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе, а вы, Николай Абрамович, занимайтесь, пожалуйста, своим делом.

Вела беседу Ефрузина. Да, они дворянки. Хотят работать, зарабатывать, не зависеть от родителей. «Идейные соображения?» — «Нет, пожалуй, веяние времени. Читать? Да, они читали, но Архангельск глубокая провинция, хорошая книга редко туда попадает. Что мы считаем хорошей книгой? Это дело вкуса. Лариса Зарубнева, например, любит Тургенева, а вот Елена Прушакевич предпочитает статьи Елисеева». — «А вы?» — «Как бы вам на это ответить? Я люблю и Тургенева и Елисеева». — «А еще кого?» — «Это что, Ипполит Никитич, любопытство или вы всех своих наборщиков подвергаете такому экзамену?» — «Какой же это экзамен? Хочу выяснить, какую работу вам поручить». — «Любую, Ипполит Никитич, мы любую работу будем выполнять добросовестно».

Говорили о пустяках. Мышкин знал, кто эти девушки, знал, что привело их в Москву, но Ефрузина Супинская, самая серьезная в девичьей пятерке, ни словом, ни тоном не выдала истинной цели их приезда. Да, они хотят работать — вот в чем она убеждала Мышкина, а для кого и во имя чего, об этом даже намека не было в ее словах.

8

Усложнилась жизнь Ипполита Никитича. Типография оказалась первой ступенькой к той мечте, которая жила в нем много лет.

73-й и первая половина 74-го года были годами

революционного половодья, когда народники, ломая все преграды, густыми потоками двинулись «в народ», то есть в деревню, к мужику, чтобы его «просветить», «готовить к всероссийскому восстанию». Пензенский кружок, с которым Мышкин был тесно связан, почти полностью разбрелся по деревням. Друзья Войнаральского — бывший мировой судья Ковалик и бывшие офицеры Рогачев, Кравчинский, Шишко — уже отправились кто на Волгу, кто в Ярославскую губернию. На Волгу собирался и Порфирий Иванович. Члены трех московских кружков, с которыми Мышкин поддерживал постоянную связь, также разъехались кто куда. В типографию приезжали посланцы многих городов за книгами, за литературой...

Мышкин был подхвачен этим порывом, но в отличие от своих товарищей он не стремился «в народ», а все свои силы тратил на то, чтобы печатать больше и скорее. Он ездил по делам типографии в Пензу, Рязань, Смоленск и Калугу и, знакомясь с огромным кругом революционеров, присматриваясь к их деятельности, все больше и больше убеждался, что работа разрозненных кружков не даст ни скорых, ни обильных всходов. Каждый кружок действовал самостоятельно, лишь одно было у них общее: готовность принести себя в жертву во имя народного блага.

Усложнилась и личная жизнь Мышкина: он полюбил «девушку из Архангельска», Ефрузину Супинскую. «Но, — спорил он сам с собой, — имею ли я право на ее любовь? Свою дорогу я сам выбрал, все, что ждет меня впереди, — моя судьба, но честно ли увлечь на этот тернистый путь любимую девушку? Не честнее ли отстранить Фрузю и от тех небольших дел, которые она делает, оградить ее от опасностей, так щедро разбросанных на пути русского революционера? Не в ограждении ли дорогого существа, не в отказе ли от личного счастья должна проявиться любовь революционера?»

В 1873 году Мышкину приходилось много разъезжать в качестве «земского стенографа». Он был в Самаре, и в результате этой поездки появилась в газете корреспонденция: «Положение крестьян Самарской губернии день ото дня становится хуже и хуже». Был в Оренбурге, и в газете остался след от его посещения: «Тысячи крестьян-

бедняков, повесив на грудь холщовые сумки, покидали свои дома и отправлялись скитаться в поисках «кусочков», стараясь прокормиться подаянием». Был в Херсоне — та же мрачная картина.

Всюду в деревнях нищета, перемолотые желуди вместо муки — значит, решил Мышкин, «реформа 19 февраля в том виде, в каком она совершена, является сделкой, выгодной только для помещиков и казны».

Вывод из этих размышлений напрашивался сам собой: «Коль скоро самая сущность государственного строя нисколько не изменяется, реформы служат только побрякушками, могущими забавлять неразумную публику... а народ, на счет которого устраиваются все эти побрякушки, страдает по-прежнему».

Вот с этим и надо бороться! Надо изменить «сущность государственного строя»!

Вернется из поездки — прямо с вокзала в типографию. Займется недолго с Николаем Абрамовичем и — в наборную, к Фрузе. О чем они говорили? О людях, которых он видел, о книге, которую читал в пути, о работе типографии...

Шли дни, недели. Сквозь деловой тон Ипполита Никитича стали прорываться теплые нотки. Ефрузина понимала, что он хочет высказаться, раскрыться перед ней, но что-то удерживает его от решительного разговора.

В один из вечеров, когда они остались вдвоем в наборной и Ипполит Никитич, без связи с их разговором, вдруг стал рассказывать о своем детстве, Ефрузина убедилась, что этот человек ей близок, дорог и что волнение, которое охватывает ее при каждой встрече с ним, не что иное, как проявление любви, первой девичьей любви.

Ефрузина сначала сопротивлялась этому чувству, не давала ему проявиться: в сознании Ефрузины образ любимого человека жил слитно, неотрывно от образа соратника, товарища по борьбе. Но постепенно, от беседы к беседе, стал все явственнее прорываться второй облик Мышкина — облик соратника, товарища.

Однажды, когда он оборвал рассказ на полуслове, она не сдержалась, провела рукой по его мягким волосам:

— Почему вы не продолжаете?

Ипполит Никитич не ответил: говорить о главном, о своей любви, он не мог, а отделаться пустыми фразами

не хотел. Да и вообще ему трудно говорить: хочется спрятать лицо в золотой кипени ее волос или долго-долго молча смотреть ей в глаза.

И Ефрузина, увлеченная тем же чувством, сама потянулась к Ипполиту Никитичу, припала к его плечу...

Все тяготы, выпавшие на его долю в последние недели, вдруг повернулись к нему своей светлой стороной. Трудное, повседневное отступило, осталась лишь одна конечная цель. А конечная цель для Мышкина — революция, то яркое видение, которое неотступно стоит перед его мысленным взором. И в этом видении, в этом новом мире, населенном счастливыми людьми, немного возвышаясь над другими, точно на пригорке, стояла Ефрузина, озаренная солнцем, — она призывно улыбалась ему, протягивала к нему руки...

Одно это видение придавало Мышкину силу трудиться сверх меры и в месяцы делать работу, на которую надо затрачивать годы.

...Был поздний вечер. Мышкин, сидя за столом, расшифровывал стенограмму. В комнате стоял полумрак, лампа под густым синим абажуром освещала только листы бумаги и руки Мышкина.

Без стука вошел в комнату странный человек. В ярком пледе, накинутом на плечи в виде римской тоги, на голове шляпа с широченными полями, из-под которой ниспадали длинные волосы, на носу дымчатые очки.

— Вам что угодно?

— Если ты Мышкин, то мне угодно, а если не Мышкин...

Мышкин обрадовался: по голосу узнал он гостя. Поднялся ему навстречу:

— Парфен! Какими судьбами?

— Не судьбами, а ногами. Прямо с вокзала. А ты, земляк, неплохо устроился. Наследство от тетушки получил?

— Не наследство, а своими руками добыл, — в тон ответил Мышкин. — Разоблачайся. Будем чай пить. А за чаем и поговорим.

— Погоди, земляк, с чаем, — хмуро сказал Парфен. — Нам сначала надо кой о чем договориться. Михаил Сергеич дал твой адрес и предупредил...

— Как поживает Михаил Сергеич?

— Ничего. Ждет производства в штабс-капитаны. На

примете невеста. Богатенькая. В общем кандидат в либеральные помпадуры.

— Ты не изменился, Парфен!

— А чего мне меняться? Ведь жизнь не изменилась. Но не в этом дело. Можно будет у тебя прожить недели две? Знай, земляк, жилец я не из спокойных: народ будет ходить, а возможно, и голубой мундир заглянет. Подумай, земляк, не повредит ли это твоей чистенькой репутации.

— Живи сколько хочешь и принимай кого хочешь!

Парфен сбросил плед с плеч. Какой убогий вид! Серые холщовые брюки, заправленные в высокие сапоги, синяя ситцевая рубаха, перехваченная тесьмой.

Мышкин достал из шкафа полотенце, тонкое белье и новый черный костюм.

— Бери, Парфен, и шагай в ванную. Помойся с дороги, переоденься, и будем чай пить.

Гость сделал так, как предложил ему Мышкин,— щедрость товарища его не удивила.

За чаем разговорились: Парфен приехал в Москву, чтобы набрать «группу».

— Зачем?

Парфен прилег на диван, закрыл глаза.

— Вот что, земляк. Вместо того чтобы отвечать тебе на всякие «зачем?» и «почему?», я тебе скажу главное. Не всех россиян прельщает производство в штабс-капитаны или тихая жизнь в уютных гостиницах. Есть чудаки, которые не могут мириться с тем, что где-то в Тамбовской губернии народ мрет от голода и тифа.

— А в Пензенской он не мрет?

— И в Пензенской мрет, и в Рязанской, и в остальных губерниях святой Руси. Но наша группа поедет в Тамбовскую.— Он вдруг раскрыл глаза, пристально посмотрел на Мышкина.— А знаешь, земляк, такое положение вещей предопределено законами природы. Птицы летают, гады ползают, хищники пожирают...

Мышкин тряхнул гостя за плечи:

— Ты, летающий, ты слеп, как сова днем!

— Задело? — спокойно спросил Парфен.

— Не твои прописные истины! Все вы говорите о народе, о его нужде, страданиях. Один хочет снять с себя фрак и обрядиться в арестантский халат, ты бросил медицинскую академию и вырядился в холщовые штаны.

И все для блага народа. Один мой знакомый, тот самый, который тоскует по арестантскому халату, устроил в своей деревне что-то вроде кассы взаимопомощи для мужиков и считает, что облагодетельствовал народ. Ты вот со своей группой едешь в Тамбовскую губернию, чтобы объяснить мужичкам: «Не пейте, милые, болотную водичку, в ней, проклятой, тиф водится», — и тоже считаешь, что облагодетельствовал народ. Чепуха! Слышишь, Парфен? Чепуха!

Парфен присел, заинтересованно взглянул на Мышкина.

— Валяй, земляк. Ты начал дело говорить.

— Начал и кончил! Всё!

— Обиделся?

Мышкин достал из ящика стола сверстанные листы, пахнущие типографской краской, и протянул эту еще не оформленную книгу гостю.

Парфен, прочитав титульный лист, ехидно сказал:

— Так эта книжица напечатана в типографии господина И. Н. Мышкина! Поздравляю, господин И. Н. Мышкин, вы, оказывается, капиталистом стали. Тогда понятно.

— Что понятно?

— А то, что вас в Москве удерживает.

— А ты уверен, что самое революционное, на что способен русский интеллигент, это обрядиться в холщовые портки?

— Портки тут ни при чем! — резко ответил Парфен. — Болеющий за народ должен быть с народом!

— Не быть с народом, — спокойно ответил Мышкин, — а работать для народа. Ты бы поинтересовался, о чем книга и почему ее издает «господин Мышкин».

— Вижу о чем. «Об отношении господ к прислуге и о мировом институте». А меня отношение господ к прислуге не интересует!

— А меня интересует, — жестко промолвил Мышкин. — На этом примере хочу доказать, как варварски и подло хозяева относятся к наемным рабочим.

— На каком примере?

Мышкин рассказал. Некая Енкина изругала, избила и выгнала в зимний вечер на улицу не угодившую ей в чем-то горничную Ульянову, к тому еще не уплатив ей за прожитое время. Горничная подала жалобу в суд на свою

бывшую хозяйку, и судья — по тому времени сердобольный — приговорил Енкину к десятидневному аресту. Реакционная пресса подняла вой. «Московские ведомости» писали: «Подобное решение должно расшатывать общественный порядок... Не всякое слово, не всякое действие, которое должно быть признано обидным относительно постороннего лица, может быть признано обидным в отношении прислуги». Это значило: ругай, избивай — прислуга обязана все стерпеть!

В шуме, поднятом вокруг «дела Енкин», Мышкин усмотрел прекрасный агитационный материал против царского строя. Верный своей идее использовать каждую легальную возможность для борьбы с социальным гнетом, он собрал все напечатанные по этому делу статьи — и либеральные и реакционные, — дабы показать простому человеку, что думают о его правах представители «образованного общества».

Парфен, выслушав рассказ Мышкина, поднялся, прошелся по комнате, говоря на ходу:

— Каждый выбирает оружие по руке, по способности. Ты выбрал для себя тяжелое оружие, и оно, видно, тебе по руке и по способности...

Парфен оценил агитационное значение мышкинского сборника, но и царские чиновники заметили его остроту. Отпечатанный тираж был конфискован и сожжен: цензура усмотрела в книге «пропаганду враждебности низших классов к высшим».

9

В Москву прилетели жаворонки и принесли с собой тепло.

Воскресенье. Ипполит и Ефрузина сидели на берегу реки. Пригревало апрельское солнце. От башен Новодевичьего монастыря тянулись к реке острые тени.

Ефрузина смотрела в воду: мелкая рыбешка, встревоженная чем-то, суетливо металась из стороны в сторону.

Вот так же — суетливо и тревожно — на душе Ефрузины. Они вышли из дому на рассвете — им стало тесно среди стен, давил потолок, раздражали городские шумы, что врывались в распахнутое окно. Им захотелось в мир — широкий, свободный.

В их жизнь вошло что-то новое, и, хотя это новое не вклинилось чем-то чужеродным, а, наоборот, обогащало,

делало их жизнь более яркой, все же Ефрузина чувствовала, что в сердце ее Ипполита закралась тревога.

Может быть, ей не следовало накануне начинать разговора о скучных делах?

Она заставила себя говорить. И Войнаральский и Ковалик жаловались ей, что типография дает мало книг, что именно сейчас, весной надо готовиться к летней страде: сотни кружков отправляют своих членов в деревню, и их необходимо снабжать литературой. Неужели ее Ипполит остановится на полпути?

«Ип, милый, книги нужны, много-много книг. Нужны листовки, песенники. Надо во что бы то ни стало расширить типографию!»

Ефрузина не ошибалась: в сердце Мышкина действительно закралась тревога. Он шел по жизни твердым, но не поспешным шагом; завтрашний день он основательно подготавливал сегодня. Любовь не ускорила его шагов, наоборот, делала его более осмотрительным: он слишком любил Фрузю, чтобы рисковать ее счастьем!

«Народу надо дать короткую, ясную и занимательную книжку, а не научные трактаты, в которых он еще не может разобраться. Ип, милый, мы должны дать народу эти книжки!»

Мышкин был удивлен, и не предложение Фрузи его удивило. Он подумал: неужто она не видит пропасти, к которой приближается? Он скрывал от нее свои далекие цели, считая, что этим оберегает их любовь, а она, оказывается, считает свою цель — служение революции — чем-то высшим, чем-то таким, чему должна подчиниться и любовь!

Да, Ипполита Никитича охватила тревога. Глядя в глаза Фрузи, которые в полумраке наборной отсвечивали лунным блеском, он почувствовал тревогу за ее счастье, за ее жизнь, словно в мгновенном озарении привиделась ему судьба этой удивительной девушки.

Но сказать ей об этом? Ипполит предложил пойти за город, в утреннюю свежесть. Они шли по тихим улицам ранней Москвы. Он вел ее под руку — бережно и крепко, точно боялся, что она сбежит от него.

И сейчас, на берегу Москвы-реки, он также не находил слов.

— Как тут хорошо, — сказала она дрогнувшим голосом.

— А ты хочешь всего это лишиться.

— Лишиться? Почему? Это утро никогда не изгладится из моей памяти.

Она прижалась к его плечу, заглянула ему в глаза:

— Ведь ты всегда будешь со мной?

— Фрузя, нас могут разлучить...

— Не надо! Прошу тебя, не надо! Ты со мной, и мне не страшно ни за тебя, ни за себя. Ты умный, ты мудрый, ты сумеешь обойти любые опасности. И меня поведешь. С тобой ничего не страшно! Ип! Какое счастье любить, быть любимой и бороться за счастье других! В ненастный день грустно, и можем ли мы быть счастливыми, когда кругом ненастье?

Тревога ушла из сердца Ипполита Никитича: с таким товарищем можно и море переплыть!

...Только человек, безгранично верящий в дело, которое он делает, и к тому еще окрыленный любовью, может сделать то, что сделал Мышкин. Разговор на берегу Москвы-реки произошел 27 апреля, а 4 мая уже появилась у ворот дома № 5 по Арбату, в доме Орлова, новая вывеска:

ТИПОГРАФИЯ И. Н. МЫШКИНА

Дом Орлова Мышкин выбрал не случайно. По фасаду, с улицы, дом небольшой, всего восемь окон в длину, зато во дворе, где и помещалась типография Мышкина, понастроено столько флигелей и народу в них столько проживает, что чужой человек, направляющийся в типографию, никому не бросится в глаза. Дом имеет запасный выход в Филипповский переулок, а для конспиративных дел это большое достоинство. К тому еще сам владелец дома, Орлов, действительно передовой человек — это он сдавал жене Чернышевского, Ольге Сократовне, помещение для устройства в нем «кооперативной пекарни».

Новую типографию Мышкин так распланировал, что из одной он получил две. Одна выполняла заказы управы и статистического бюро, в другой набиралась и печаталась революционная литература. В первой типографии хозяйничал курчавый Николай Абрамович, во второй — Ефрузина.

«Толстых» книг оставил Мышкин немного: два тома Лассаля, три книги Чернышевского, «Очерки фабричной

жизни» Голицынского, «Книгу для чтения рабочим», «Государственность и анархия», «Историческое развитие Интернационала», «Исторические письма», «Сборник новых песен» и «Историю французского крестьянина» Эркмана-Шатриана, переработанную Мышкиным и названную им же «Историей одного из многострадальных». Зато очень расширил отдел, где печатались хлесткие брошюры по списку Ефрузины: «Сказка о четырех братьях», «Речь Лаврова цюрихским студентам», «Дедушка Егор», «Степан Разин», «Крестьянские выборы».

Когда типография заработала в полную силу, выяснилось, что переплетное отделение не справляется с потоком готовых листов. Тогда решили тонкие книжки отправлять для брошюровки в Пензу, к Рогачеву, а для толстых, многолистных книг организовать «мастерскую» в Саратове, где тогда работал крепкий революционный кружок. Для этой цели Войнаральский послал туда своего товарища по Пензе Алексея Кулябко и специалиста по переплетному делу Пельконена. Посланцы сняли в Саратове на тихой Царицынской улице домик с просторным мезонином и открыли в нем «Башмачную мастерскую». Для работы в «мастерской» отправились сестры Юлия и Елена Прушакевич, Рогачев и Ковалик.

Дело быстро разрасталось: с почты везли в «башмачную» ящики, ящички, и каждый раз после получения из Москвы новой партии «товара» в витрине появлялись то узорчатые казанские сапожки, то мехом отороченные кавказские чувяки.

«Башмачная мастерская» приобрела широкую клиентуру — за «сапожками» и «чувяками» являлись не только местные товарищи, но приезжали и из дальних городов.

10

Войнаральский, вернувшись из ссылки, также поселился в доме Орлова, но с Мышкиным и Ефрузиной встречался не часто. Каждое их свидание требовало уйму предосторожностей. А 20 мая, днем, явился Порфирий Иванович в типографию будто за тем, чтобы заказать визитные карточки, и, улучив удобную минуту, шепнул Мышкину:

— Прошу вечером ко мне. Часов в семь.

С Мышкиным пошла и Ефрузина.

На столе — самовар, бутерброды. Возле окна, в нише, Войнаральский что-то говорил своим гостям.

Увидев Мышкина, Порфирий Иванович пошел ему навстречу:

— Вы, Ипполит Никитич, точны, как всегда, а вы, крестница, как всегда, прекрасны.

— Случилось что? — обеспокоенно спросила Ефрузина.

— Ничего, дорогая, не случилось. Друзья приехали из Питера. Из тюрьмы хорошего человека хотят вызволить.

Мышкин понял, что до его прихода уже состоялся неприятный разговор. Сергей Кравчинский раздраженно ерошил свои черные курчавые волосы. Дмитрий Рогачев — с тонким, барственным лицом и кулаками молотобойца — уселся чересчур решительно и хмуро принялся за бутерброды. Ковалик, этот живчик и балагур, сидел словно замороженный. Шишко — чистенький, аккуратненький — присел на краешек стула и, застенчиво улыбаясь, рассматривал свои ногти.

И действительно, как только расселись, Кравчинский вспылил:

— Вы беспечны, Порфирий Иванович! Раз идут аресты, то надо на время притаиться.

— Сергей, — сказал Войнаральский певуче, — не нужно прежде времени бить тревогу. За саратовскую «мастерскую» я спокоен: там Кулябко, на которого полагаюсь как на каменную гору, и, наконец, туда поехал Иван Селиванов — уж этот осторожный человек ничего не проморгает...

— Разве дело только в Саратове? — оборвал его Кравчинский. — Тревожный сигнал из Саратова только подтверждает, что жандармские мальбруки опять в поход собрались!

— И, по-моему, — вмешался Шишко, — прав Сергей Михайлович.

— Други мои, что-то сегодня нашло на вас, — все еще спокойно сказал Порфирий Иванович. — Ваши выводы не соответствуют фактам. Давайте разберемся. Я верю осторожному Ивану Во́йне, я верю, что за нашей «мастерской» в Саратове началась слежка, но Иван Война все же преувеличивает: от слежки до ареста проходит не один день.

— Вы слишком оптимистичны, — мягко, с едва заметным укором в голосе возразил Шишко.

— Почему вы так полагаете? — насторожился Войнаральский.

— Потому что слишком много глаз привлекаем! Тюки из Москвы, тюки в Пензу и из Пензы, тюки в Саратов и из Саратова. Где-нибудь сорвется, и... катастрофа. Ведь жандармы на каблуки нам наступают. Сугубая осторожность нужна. А вы, Порфирий Иванович? Месяца два назад Мышкин убеждал вас, что полезнее для дела выпускать две-три книги с уверенностью, что они дойдут до народа, чем выпускать десяток с риском, что они попадут в лапы полиции. Вы отмахнулись от дельного совета! А ведь мы рискуем слишком многим.

— А вы слышали про революцию без риска? — язвительно спросил Ковалик, склонившись к Шишко.

— Но рисковать не значит поступать опрометчиво! — горячо ответила Ефрузина.

Войнаральский, сделав несколько глотков из своего стакана, начал с прежним добродушием:

— Нас за столом шестеро мужчин, из них три бывшие офицеры, один бывший унтер-офицер и двое штатских — это мы с Коваликом. И вот эти двое штатских, я и мой друг Ковалик, пытаются быть храбрее «господ военных». Ничего еще не случилось, а вы, господа военные, уже готовите ретираду. Нужно ли это? Вы, други мои, переоцениваете умственные способности нашей полиции. Расскажу один случай, который убедит вас, что не так страшен черт, как его малюют. Я жил тогда в Петрозаводске. Находился там и Тельсиев, сосланный туда по нечаевскому делу. Приезжает однажды в Петрозаводск некий капитан Штурм, проездом в Финляндию, где ему поручили произвести какие-то геологические изыскания. Как полагается, капитан Штурм нанес визит губернатору, исправнику и остальным сильным мира сего. Капитан Штурм очаровал всех. Ему устраивали приемы, в его честь давались обеды, без него не начинался ни один бал. Пролетела шумная неделя, и капитан Штурм отбыл в Финляндию. Но в этот же день, други мои, исчез из Петрозаводска и политический ссыльный Тельсиев. Случайность? Совпадение? Во всяком случае, никому из власть имущих и в голову не пришло, чтобы милейший капитан Штурм имел отношение к исчезновению опасного государственного пре-

ступника. А что, други мои, оказалось? Капитан Штурм вовсе не был капитаном и вовсе не был Штурмом. Это был наш товарищ Дмитрий Клеменц, который приехал в Петрозаводск специально за тем, чтобы увезти Тельсиева. Вот вам, други, хваленая жандармская осведомленность. Смелость нужна и хладнокровие!

Рассказ не убедил слушателей. Кравчинский сказал:

— Не просто смелость нужна, а благоразумная смелость. План, который мы с вами тут разработали для освобождения Кропоткина, тоже смелый, но мы с вами учли все случайности.

Рогачев, более резкий на язык, пробасил:

— Дважды два все еще четыре!

А Шишко, играя ложечкой, поддержал:

— Когда идет дождь, то, выходя из дома, надо брать с собой зонтик.

— Сдаюсь! — Войнаральский поднял руки кверху. — Кстати, вы, Ипполит Никитич, даже рта не раскрыли! С кем вы? С господами военными или с нами, штатскими?

Мышкин ответил не сразу. Ефрузина заметила, что в его глазах появился беспокойный блеск, что его пальцы тянутся к ленточке галстука. Ип раздражен! Она прижалась к нему плечом, шепнула ему что-то на ухо, но Ипполит Никитич, ничего не слыша и никого не видя, начал:

— С кем я? — И вдруг, окинув Войнаральского быстрым взглядом, резко спросил: — А разве это важно? Мы должны задать себе другой вопрос: кто мы?

— Любопытно, — сказал Ковалик, придвинувшись со своим стулом ближе к Войнаральскому.

— Не любопытно, а трагично! — подхватил Мышкин. — Мы всё твердим «мужик да мужик», а вот из Цюриха приехали студентки. В Швейцарии они работали с Лавровым, а приехали в Москву, куда кинулись? Спросите Ефрузину Викентьевну, она встречается с ними.

— На фабрики! — подтвердила Фрузя.

— Слышите, товарищи? На фабрики! Они работают вместе с рабочими, живут жизнью рабочих и агитируют среди рабочих. Они понимают, что законы общественного развития одинаковы как для России, так и для Западной Европы. Один мужик не сделает революции!

Дмитрий Рогачев так стукнул по столу, что ложки звякнули в стаканах:

— Мышкин прав! Стократ прав! У нас концы с кон-

цами не сходятся. Наша теория отстает от практики... Задумывались вы над тем, почему это мужик не валит к нам валом? Ведь мы ему предлагаем хлеб, волю и человеческое достоинство! Ведь мы ему предлагаем все, чего он лишен!

— Друг мой, — сказал Войнаральский, — у русского мужика вековые традиции, но и вековые предрассудки. Тяга к общинному строю...

— Отрыжка славянофильства! — воскликнул Рогачев. — Правительство в шестьдесят первом году оставило общину с землей. Но теперь правительство стремится к уничтожению общины. Само правительство подчеркивает, что у нас нет никаких специфически славянских вековых укладов! Мы носим калоши, а не мокроступы!

— Вы затеяли спор не ко времени, — решительно заявил Кравчинский. — Сегодня не важно, «кто мы», а важно, что́ мы должны делать завтра. Для теоретических споров соберемся в другой раз.

— Не решив вопроса «кто мы?», трудно будет найти ответ на вопрос «что делать?», — жестко сказал Мышкин.

— Что ж, товарищи, — после общего молчания продолжал Мышкин, как-то сразу успокоившись, — будем считать мой вопрос «кто мы?» несвоевременным, вернее, преждевременным и приступим к делу, для которого собрались.

...Оказались все же правы «господа военные», а не Войнаральский.

Готовился первый массовый политический процесс. Начальник Московского жандармского управления генерал Слезкин делал свое дело с обычной для него гусарской лихостью и свойственной ему подлой беспринципностью. Он действовал по методу хищника-рыболова, который глушит гранатой тысячи рыб, дабы воспользоваться десятком. По его распоряжению жандармы таскали в кутузку любого юношу или девушку, если они чем-либо выделялись из общей среды или числились «на заметке» у полиции.

Вскоре оказалось под замком — в Киеве и Одессе, в Казани и Петербурге, в Ростове и Москве — около полутора тысяч человек. Жандармствующая прокуратура обставила следствие самыми возмутительными условиями. Арестованных заставляли выдавать своих товарищей: го-

лодом, надеванием кандалов на голое тело, строгим одиночным заключением. Для опорочения действительных революционеров собирались сплетни и лживые доносы провокаторов.

Шпики Слезкина рыскали по городам и селам. Они хватали, арестовывали, и вскоре оказалось, что для одного процесса собрали слишком много обвиняемых. Поэтому, выделив «москвичей» для «процесса 50-ти», жандармы стали готовить «материал» для нового, еще большего процесса.

2 июня Ефрузина получила депешу от Елены Прушакевич из Саратова: «Потрудитесь передать Пудикову (то есть Мышкину), чтобы он приготовился к принятию наших давно ожидаемых знакомых, которые только что посетили нас в Саратове и, вероятно, посетят вас вскоре».

«Ожидаемые знакомые» — конечно, жандармы. Они произвели обыск в Саратове, в «башмачной мастерской», нашли там листы отпечатанных книг: «История одного из многострадальных», «Историческое развитие Интернационала», два тома Лассаля, «Очерки фабричной жизни»; нашли сфальцованные брошюры «Сказки о четырех братьях», нашли листовки «Чтой-то, братцы» и бланки паспортов.

«Сапожников» арестовали.

Мышкин подготовился к «посещению»: все, что возможно было вывезти, вывезено, все, что можно было уничтожить, уничтожено.

6 июня жандармы явились в дом Орлова. Обыск они сделали поверхностный и... ничего не нашли. Но, когда генерал Слезкин получил из Саратова более обстоятельный рапорт, он тут же направил на Арбат своих молодцов с приказом: «Взять!»

Арестовали всех, кто в то время находился в типографии.

Жандармский офицер закончил протокол и отдал команду своим подручным: «Ведите!» Тогда Ефрузина обратилась к стоявшему рядом с ней полицейскому чину:

— Принесите мне из моей комнаты белый зонтик. Он висит на вешалке.

— Зачем он вам?

— От солнца.

Полицейский хмыкнул и принес зонт. Ефрузина рас-

крыла его, как бы проверяя, в порядке ли он, потом закрыла и строго сказала:

— Я готова.

Вдруг она рассмеялась:

— А ведь вы правы! Зачем мне зонтик?

— То-то! — ухмыльнулся полицейский.

Ефрузина поставила зонт на подоконник.

Арестованных увели.

И белый зонт спас Ипполита Никитича Мышкина. Под вечер, приехав из Саратова, он вошел во двор дома Орлова и увидел в окне белый зонт. Сигнал: полиция, уходи!

Мышкин мгновенно ушел; на бульваре опустился на скамью.

Там он просидел всю ночь. То сердце рвалось из груди, причиняя ему неимоверную боль, то оно замирало, и Мышкин погружался в блаженное небытие, то нападало на него оцепенение, и мысли в голове лишь мелькали, не задевая сознания, то вдруг наступала ясность, и он получал возможность думать связно. И это были самые тяжелые минуты — Мышкин задыхался от тоски. Он, Ипполит Мышкин, взобрался на высокую гору: ведь, шагая рядом с Фрузей, ему казалось, что голова упирается в небо, и... в одно мгновение его столкнули с горы, обездолили, осиротили...

Перед глазами Мышкина прошла вся его короткая жизнь. По камешкам возводил он гору, чтобы на нее взобраться.

«Почему я ускорил шаг? Знал же я, что торопливость не кончится добром!»

Эта мысль блеснула и потухла, как огонек спички на ветру, но она ужаснула Ипполита Никитича: как может он думать о каком-то благополучии, когда Фрузя в тюрьме, Фрузя, которая даже в лапах жандармов помнила о нем, выставила в окно условный знак: «Скройся... Скройся...»

Бывали минуты, когда Мышкин срывался с места, хотел бежать в участок, в жандармское управление. Только огромным напряжением воли он заставлял себя оставаться на месте: ничто не спасет уже Фрузю.

Наступило утро. Озолотились деревья, появились люди, начали трезвонить колокола.

И Мышкина вдруг охватила надежда: все разрешится! И звон колоколов, и блеск в окнах домов, и пронизанные

солнцем верхушки лип — все такое бодрое и привычное, все звало к жизни, к радости...

У Мышкина в кармане был подложный паспорт на имя Павловича, «надежный» паспорт: его сделал сам Порфирий Иванович Войнаральский — художник этого дела. Были у Мышкина и деньги — 426 рублей. Он занял номер в гостинице, помылся, почистился и отправился по полицейским участкам искать Фрузю.

И нашел ее в Пятницкой части. Толкаясь в участке меж людей, он услышал, что помощника пристава зовут «Виктор Александрович Артоболевский».

Знакомая фамилия и знакомое отчество! А вдруг это брат подполковника Алексея Александровича Артоболевского, его школьного учителя, переведенного недавно в Москву?

Через двадцать минут был уже Мышкин на квартире подполковника.

— Мышкин! Рад тебя видеть! — встретил его подполковник с протянутыми вперед руками. — Слышал про твои успехи! Капиталистом стал!

— Маленьким, Алексей Александрович.

— И Москва не в один год построена. Ты молодец. Я всегда говорил, что ты далеко пойдешь. Чем тебя поить: чаем или водкой?

— Спасибо, Алексей Александрович. Водки не потребляю, а чай только что пил. Я к вам, Алексей Александрович, с просьбой.

— Какой?

— Алексей Александрович, у вас есть брат Виктор?

— Есть брат Виктор. Служит в полиции. А тебе зачем понадобился?

— Очень нужен, Алексей Александрович. Одна моя знакомая содержится у него в участке. Она без денег. О чем я прошу? Передать ей двести рублей.

— И только?

— Только всего, Алексей Александрович. И пусть Виктор Александрович не знает, кто деньги передает. А то еще проговорится моей знакомой, а от меня она денег не примет. Скажите своему брату, что деньги от господина Пудикова.

— Любовь без взаимности?

— К сожалению, да.

— Такого красавца да не любить!

— Бывает, Алексей Александрович.

— А кто этот господин Пудиков?

— Это и есть тот господин, которого моя знакомая любит.

— Твой соперник счастливый! Не знал, Мышкин, что ты такой рыцарь. Глупо, но... похвально. И я бы так поступил. А теперь, Мышкин, расскажи, как ты живешь.

— Живу хорошо, очень хорошо, и благодаря вам, Алексей Александрович. Ваша наука мне впрок пошла.

— Моя наука? К моей науке нужна была еще твоя голова и твое упорство. Вот что дало тебе хорошую жизнь. И я рад за тебя. От души рад за тебя, Мышкин.

Ипполит Никитич поднялся, достал из кармана две сторублевые кредитки, положил их на стол.

— Это срочно?

— В узилище без денег, сами понимаете, Алексей Александрович...

— Ты прав, Мышкин, я не подумал об этом. В два часа я буду у Виктора.

— И полагаете, что он вам не откажет?

— Виктор мне откажет? Нет, батенька, такого случая еще не бывало.

...Виктор действительно не отказал брату. Ефрузина обрадовалась не деньгам, а тому, что эти деньги передал «господин Пудиков»: ее Ип на свободе!

Мышкин в тот же день уехал за границу.

11

В Женеве он сразу очутился среди политических эмигрантов. Интернационал к тому времени уже распался на два враждебных лагеря: социал-демократический и анархистский.

Русская колония, которая делилась на лавристов и бакунистов, также враждовала между собой.

В каждом из двух народнических течений Мышкин находил что-то созвучное своим мыслям, своим чаяниям, но полностью ни одно из этих течений его не удовлетворяло. Правда, в Москве он действовал как лаврист: он печатал книги, которые должны были подготовить народную массу к социальному перевороту. И все же связать свою революционную судьбу с лавристами ему мешала «философская осторожность» Лаврова.

В своей программе Лавров писал: «Лишь тогда, когда течение исторических событий укажет само минуту переворота и готовность к нему русского народа, можно считать себя в *праве* призвать народ к осуществлению этого переворота». Чересчур много «если»!

В бунтовской путь Бакунина он также не вполне верил. Из рассказов Порфирия Ивановича Войнаральского, Ковалика и Дмитрия Рогачева — «ходивших в народ» — Мышкин понял, что день «всенародного восстания» не так близок, как кажется Бакунину. Да и основное утверждение Бакунина, что «свобода в государстве есть ложь», казалось Мышкину крайне спорным.

Было еще одно течение — якобинское, хотя и незначительное, но очень шумное. Возглавлял это течение нервный, весь дергающийся Ткачев. В этом течении Мышкин усмотрел много противоречий. Лозунг «Революционер не подготовляет, а *делает* революцию» казался Мышкину верным, действенным, но утверждение Ткачева о «необходимости изменения самой природы человека, его перевоспитание», по мысли Ипполита Никитича, уводило революционеров в область философии, в сторону от живой жизни.

В эмигрантских кругах многие знали Мышкина по Москве, Пензе, Рязани, многие слышали о нем, но не всем он был приятен. Эмигранты — почти сплошь интеллигенты, то есть люди, которые хотят «облагодетельствовать» народ, и вдруг является кантонист, вчерашний раб, и поучает их, интеллигентов, спорит, укоряет. Он зачеркивает все, что они считают незыблемым. Нет социализма в общине, уверяет он; после крестьянской реформы, говорит он, Россия вступила на путь капитализма; капиталистические отношения коснутся и деревни. Ересь! Он требует организации партии, и не просто партии, а партии с двумя программами: с программой-максимум и программой-минимум! Он требует немедленной перестройки всей революционной работы — для рабочих-де должны быть выработаны одни методы пропаганды, для деревни — другие! И какими доводами оперирует этот солдатский сын! Не из русского общинного уклада черпает он доказательства, а из практики западноевропейских социалистических партий, из протоколов I Интернационала; даже в поступках деятелей Парижской коммуны находит он ошибки! И он требует вождя — мыслителя и практика,

который мог бы возглавить революционную борьбу в России! А Лавров? А Бакунин? Нет! В каждом из них Мышкин находит изъяны!

Да, многих раздражал Ипполит Мышкин, но многих убеждала его логика, его страстность.

Деятельная натура Мышкина не могла удовлетвориться одними диспутами. Не для них он приехал в Женеву! И не для того, чтобы любоваться снеговым куполом Монблана или разгуливать по прекрасным набережным бирюзового озера или вдоль быстрой Роны и бешеной Арвы, — нет, не для этого он приехал в Женеву!

Он стал посещать «вольную русскую типографию», помогая Лазарю Гольденбергу и Куприянову при печатании «Истории французского крестьянина», — конечно, за свой труд он денег не брал, — этой работой Ипполит Никитич как бы продолжал свою московскую деятельность: ведь эту же книгу он печатал всего два месяца тому назад в своей московской типографии.

Потом, когда «вольная типография» закончила печатание «Истории», Мышкин и студент Донецкий отправились к Сен-Готардскому перевалу: там прорывали туннель и, конечно, нужны были рабочие руки.

Дорога шла вдоль реки Рейс. Со всех сторон нависали горы — угрюмые, острые, голые.

— Отдохнем, — предложил Мышкин, а когда они устроились, он вдруг сказал: — Скучно здесь. Август месяц. У нас в это время солнце светит золотыми лучами. Осины и березы уже тронуты желтизной. Листья трепещут, и их сухой шелест сливается с треском кузнечиков. Тихо посвистывает синичка. Хорошо, покойно...

— Ты не влюблен?

Мышкин удивленно взглянул на своего спутника.

— Какая связь?

— Самая что ни на есть прямая. Только влюбленные да поэты видят эти золотые лучики.

Мышкин ответил серьезно:

— А ведь ты прав. Я жил в одном из самых поэтических городов России — в Пскове, а города не видел. Ходил по берегу Великой или Псковы и не видел серебристой глади рек, ходил по улицам и не видел ни чудесных ворот Мирожского монастыря, ни причудливой арки «солодежни». И знаешь, когда все это мне открылось? На двадцать шестом году жизни. Я поехал в Псков всего на

один день. Я поехал к матушке, чтобы сказать ей, что я счастлив, и, когда мы с ней, с моей старушкой, прошлись по Пскову, город вдруг раскрылся предо мной во всей своей чудесной красоте.

— Где она?

— Матушка?

— Нет, та, что сделала тебя счастливым.

Мышкин поднялся рывком:

— Пошли!

Они шли молча меж хмурых гор.

— Ты, Ипполит, зря обиделся, — сказал вдруг Донецкий, смотря себе под ноги. — И у меня осталась там девушка, которую я люблю и которая меня любит... Она в тюрьме...

— И моя Фрузя в тюрьме! — выкрикнул Мышкин, и в этом выкрике было столько боли, что вся фраза прозвучала как протяжный стон.

Они пришли в деревушку, разыскали отель.

Чистенькая комната, мягкая постель. Поужинали, легли. В раскрытое окно впархивали ночные шумы; порой слышались дальние взрывы: там рвали гору для тунneля.

— Ипполит, едем в Россию.

— Что там будем делать?

— Бороться!

Мышкин приподнялся в постели:

— А кто возглавит борьбу? Донецкий! Ты никогда не задумывался над тем, что мы партизаним, что мы наступаем маленькими отрядами, и потому нас бьют. Ты никогда не задумывался над тем, что нам нужен единый центр, единое руководство и что во главе этого центра должен стоять человек, которому верит, которого уважает вся прогрессивная Россия?

— Где ты найдешь такого человека?

— Подумай.

— Думал, Ипполит. Все мы думаем об этом, а все же такого человека не находим.

— Есть.

— Кто?

— Чернышевский. Тот, о котором Маркс писал: «Политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы».

Донецкий, помолчав немного, сказал:

— Ты прав. Это глубокий мыслитель, ученый, едкий полемист, тонкий конспиратор и с характером. Он мог бы возглавить движение. Но, видишь ли, Ипполит, царское правительство так крепко упрятало Чернышевского, что оттуда никакая сила его не добудет.

«А ты знаешь, как Клеменц увез из Петрозаводска политического ссыльного Тельсиева?» — хотел спросить Мышкин. Но этот вопрос показался ему самому несерьезным. Он повернулся лицом к стенке, накрылся одеялом и раздраженно сказал:

— Давай спать.

Утром они отправились к Сен-Готарду, и там им заявили: «Своих рабочих больше, чем нужно».

Донецкий поехал в Россию, а Мышкин вернулся в Женеву. Он также собирался на родину, но перед отъездом в Россию хотел поговорить с Бакуниным. Эта фигура его очень интересовала: Бакунин участвовал в революции 1848 года в Дрездене, за что был приговорен саксонским правительством к смерти. Его не казнили, потому что австрийское правительство потребовало его выдачи и, в свою очередь, хотело его повесить за участие в пражском восстании. Бакунина не повесили и в Австрии, так как Николай потребовал его выдачи. Царь продержал его несколько лет в Шлиссельбургской крепости и сослал в Сибирь, откуда Бакунин бежал за границу. Явившись в Европу, Бакунин принимает горячее участие в революционных делах. Мышкин слыхал о борьбе Бакунина с Марксом, и многое было ему неясно в этой борьбе.

В Женеве, еще до отъезда на Сен-Готард, Мышкин встретился с эмигрантом Дебагорием-Мокриевичем — тот был ярым поклонником Бакунина.

— Поедемте к нему, в Локарно, — предложил однажды Дебагорий, — сами убедитесь, что это за гигант.

— А вы бывали у него?

— Один раз... Было солнечное утро, и после яркого света снаружи меня поразила темнота в комнате Бакунина. И окна выходили в темноту — не то в сад, не то упирались в стену. В углу стояла низкая кровать, на которой лежал Бакунин. Он лежа пожал мне руку, сопя, приподнялся и стал медленно одеваться.

Глаза мои приспособились к темноте. Я увидел стол, заваленный газетами, простые деревянные полки, загроможденные книгами и бумагами, самовар на круглом

столе, там же стаканы, табак, куски сахара, ложки — все вперемешку.

Бакунин необычайно высок и грузен. Огромная голова, высокий лоб, редкие полуседые волосы. Он одевался с трудом — задыхался и часто отдыхал, курил, — много курил.

Наконец мы вышли в сад, в беседку, где уже ждал нас завтрак.

Говорили о восстании в Барселоне.

«Сами революционеры виноваты в неудаче восстания», — заявил Бакунин.

«В чем была их ошибка?»

«Надо было сжечь правительственные здания! Это первый шаг в момент восстания, а они этого не сделали! — с жаром проговорил Бакунин. — Каждый народ в момент восстания раньше всего набрасывается на правительственные учреждения — канцелярии, суды, архивы. Народ инстинктивно понимает зло «бумажного царства» и стремится его уничтожить... Вспомните, товарищи, Пугачева. Но то, что знал Пугачев, того не знали барселонские повстанцы. А это меня удивляет. Ведь испанцы, как и итальянцы, прекрасные конспираторы. Это тебе не немцы, — добавил он с презрительной усмешкой. — Впрочем, такие же плохие конспираторы и русские! Болтуны!»

Я сказал что-то в защиту русских, но меня прервал раздраженный Бакунин:

«Что русские! Всегда они отличались стадными свойствами! Теперь они все анархисты! На анархию мода пошла. А пройдет несколько лет — и, может быть, ни одного анархиста среди них не будет!..»

Мышкин прислушивался к рассказу Дебагория-Мокриевича, и, как ни пытался мысленно представить себе этого поседелого в боях гиганта во главе русского революционного движения — ему это не удалось: настойчиво маячила перед глазами брезгливая улыбка Бакунина. Он даже слышал брюзжащий тон старика, чувствующего близкий закат; раздражало Мышкина и барски-пренебрежительное неверие в стойкость русского характера.

«Маркс иного мнения о русских», — хотел сказать Мышкин, но не сказал. А от поездки в Локарно наотрез отказался.

12

Мышкин добрался до Петербурга. В городе шли аресты, но Мышкин не входил в дела революционного подполья: получив на «явке» документы на имя Михаила Петровича Титова и немного денег, он тут же уехал в Москву.

В Москве он прожил несколько дней: хотел узнать, где Фрузя.

Но безуспешно.

Дальше! Дальше!

Какой тяжелый крест взвалил Ипполит Мышкин на свои плечи! Добраться до Вилюйска и, подобно капитану Штурму, увезти с собой Чернышевского! И этот дерзкий подвиг хочет он совершить один, один против всей полицейско-жандармской своры!

Мы, люди второй половины XX века, и вообразить себе не можем, каких физических и нервных усилий стоило человеку 70-х годов прошлого столетия добраться до Вилюйска, до географической точки, затерявшейся в сибирском первозданном лесном хаосе, и к тому же человеку, за которым охотится полиция!

Железная дорога доходила тогда только до Волги, а остальные тысячи верст? Через реки, горы, таежное бездорожье. В ямщицких кибитках с ночевками на заклопленных станциях; на баржах и лодках, где сами пассажиры грузили и гребли; пешком со случайными попутчиками, которые делали привалы на каждой речке и на каждой заимке.

Но никакие трудности не пугали Мышкина. Он проехал Нижний, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень...

Ипполит Никитич присматривался к людям, беседовал с ними, и после двух месяцев пути он понял, почему у Войнаральского, Рогачева и Ковалика так горят глаза, когда они рассказывают о своем «хождении в народ». В народе, с народом легче дышит грудь, яснее видят глаза, спокойнее работает сердце. Сколько горя разлито вокруг! Но народ знает, кто причина этому горю, народ верит, что скоро наступит перемена, и эта вера дает ему стойкость, дает ему силу выстоять в беде...

Наконец-то Мышкин добрался до Иркутска!

«Капитан Штурм» стал для Мышкина символом, но отнюдь не образцом для повтора. «Капитан Штурм» действовал в городе, где жили не только люди, могущие помешать увозу Тельсиева, но и люди, желающие способствовать этому увозу. А в Вилюйске одни тюремщики! Тельсиев жил в Петрозаводске на свободе, с ним можно было общаться, с ним можно было договариваться, а Чернышевский под замком: с ним не посоветуешься, с ним не договоришься.

В мышкинском плане увоза Чернышевского должна остаться идея, метод «капитана Штурма», но сам план должен быть разработан применительно к Вилюйску и к такой крупной фигуре, какой является Чернышевский даже для своих тюремщиков.

Кто может получить доступ в тюрьму к Чернышевскому? Кто может сказать вилюйскому тюремщику: «Отпустите со мной Чернышевского»? Только власть имущий или представитель власти имущего! Чернышевский находится во власти жандармов. Следовательно, самое высокое в Восточной Сибири жандармское управление — Иркутское — может послать в Вилюйск своего представителя с предписанием: «Выдать такому-то государственного преступника Чернышевского». Кого в таком случае послало бы Иркутское жандармское управление? Конечно, жандармского офицера.

Переодеться в форму жандармского офицера несложно: мундир, шашку, побрякушки можно приобрести, а унтер-офицер Мышкин сумеет носить военную форму с такой гвардейской лихостью, что провинциальные офицеры ему позавидуют. Но где достать удостоверение личности и предписание о выдаче Чернышевского? Только в Иркутском жандармском управлении! Документы должны быть подлинные, на подлинных бланках, с настоящими печатями, и написаны должны быть документы тем канцелярским языком, в котором обороты, обращения и расстановка слов незыблемы, как в молитве.

Мышкин приступил к выполнению своего плана.

Начал он издалека, со знакомства с людьми, которые к его замыслу никакого отношения не имели: с инженерами, со строительными подрядчиками, со служащими городского архитектурного управления.

В этих кругах скоро оценили чертежно-топографические способности Мышкина — его завалили работой и даже приглашали на штатную должность.

«Михаил Петрович Титов» стал много зарабатывать, к нему привыкли, его считали своим.

К тому же Михаил Петрович оказался широкой натурой: с компанией в трактир пойдет — сам платит, к себе зазовет — угостит на славу.

Круг знакомства постепенно расширялся: уже попадались чиновники, гарнизонные писаря и даже офицеры.

Был среди новых знакомых и старший писарь жандармского управления Непейцин — высокий, сухой, со строгим взглядом пожилой человек, но в подпитии — весельчак и циник.

Мышкин не пил, даже чувствовал отвращение к водке, но с пьянчужкой Непейциным он сразу «подружился». Провозился с ним всю масленицу — ходил с ним по трактирам, устраивал вечеринки у себя за Ушаковкой.

И Непейцин привязался к Мышкину: к концу масленицы он уже отказывался от приглашений в знакомые дома, если одновременно с ним не приглашали его дружка Титова.

От Непейцина шел какой-то сложный и неприятный запах: не то чеснока, не то гниющей картошки. Ипполита Никитича тошнило при встречах с «Вонючкой», как он про себя звал жандармского писаря, но, если посмотреть со стороны, как они, подвыпившие (Мышкин после первой же рюмки прикидывался пьяным), обнимаются или песни орут, можно было подумать: настоящие друзья!

И вот однажды, когда Непейцин жаловался своему другу на «паршивую жизнь»: «И в рожу тебе плюют, и денег нет», Мышкин решился:

— Хочешь, Костя, заработать красненькую?

— Какой чудак откажется! Только за что, спрашивается?

— За пустяк. У нас в архитектурном управлении служит инженер Соколовский. На него донос подан. Старик он очень хороший, и мне его жалко: затаскают человека. Донос, наверно, чепуховый: ведь Соколовский — старик смирный, безобидный. Сними, Костя, копию с этого доноса, пусть старик знает, какие грехи ему приписывают.

Непейцин ничего не ответил — вечер они провели,

как всегда: «песни орали», говорили о пустяках. А через день пьянчужка принес копию с доноса.

Ипполит Никитич прочитал аккуратно переписанную копию, тут же разорвал ее и, передавая Непейцину десятирублевую кредитку, тепло сказал:

— Ну его с жалостью. Соколовский может еще шум поднять, начнут искать виновных и до тебя доберутся. Будут у тебя неприятности. А я, Костя, не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты мне друг! Ты мне дороже всяких там инженеров Соколовских!

Непейцин принял деньги, но поступок Мышкина его растрогал: в этот вечер он больше пил, больше плакался на «паршивую жизнь» и чаще, чем обычно, клялся: «За тя, друг Миша...»

Мышкин действовал осторожно: сначала он поручал своему «другу» пустяковые, безобидные дела и за эти пустяки платил выпивкой или мелочью; потом, когда он убедился, что «Вонючка» жаден не только к водке, но и к деньгам, Мышкин попросил принести несколько бланков жандармского управления непременно с печатями.

— Зачем тебе? — удивлялся Непейцин.

— На всякий случай. Знаешь ведь, Костя, все мы под богом ходим. Авось при нужде выручат.

Непейцин принес бланки, и больше, чем нужно было Мышкину: ведь за каждый бланк с печатью Ипполит Никитич платил ему по рублю.

Пьянчужка привык к новому источнику дохода и поэтому был крайне разочарован, когда его друг и от бланков стал отказываться и поручения перестал давать.

— Жадный стал ты, Миша, — жаловался он. — Зарабатываешь сотни, а для друга десятки жалко.

— Эх, Костя, не понимаешь ты меня! К чему мне твои бланки? — Он достал из ящика стола несколько бланков, разорвал их. — Вот твои бланки! На кой ляд они мне? Спросишь, а зачем я их у тебя брал? От доброты сердечной, от любви к тебе. Вижу, тебе трудно живется, давай, думаю, помогу другу. Человек ты благородный, подачки от меня не примешь, вот я и затеял всякие там поручения да бланки. Ну, а теперь, Костя, что можно выдумать? Ничего не выдумаешь. Хочешь, я тебе трешку подарю?

— Мне подачка не нужна.

Мышкин налил водку в стакан Непейцина.

— Вот и я говорю, что ты человек благородный, что ты подачки не примешь. Но что можно... — Он вдруг обнял писаря и сказал обрадованно: — Костя! Учи меня писарскому делу! Будет и тебе и мне польза! Сегодня у меня есть чертежная работа, а завтра может ее не быть! Правда, Костя? Тогда в писаря подамся! А за уроки я тебе платить буду! По целковому за урок!

И две недели Непейцин учил Ипполита Никитича писарскому делу: как писать предписание на арест, предписание на выдачу арестанта, предписание на перевод арестанта из одной тюрьмы в другую, объяснял, кто какую бумагу должен подписывать, как эту бумагу оформить и кто кому подчинен.

Непейцин оказался докой в этом деле, а Мышкин — способным учеником. Оба они остались довольны: Мышкин — потому что получил, наконец, возможность замкнуть утомительно длинную цепь подготовительных работ, а пьянчужка Непейцин — тем, что за каждый урок получал, кроме выпивки, еще и рубль серебром.

14

Если в последние месяцы иногда закрадывалось в сердце Мышкина сомнение: «Удастся ли?» — то сегодня, садясь в кибитку, Ипполит Никитич был уверен в успехе. Он предусмотрел все: в кармане документы на подлинных бланках, дорогу он изучил по лучшим картам, в офицерском мундире будет себя чувствовать не хуже любого старослужащего, а со всякими там урядниками да исправниками он найдет нужный тон.

Тройка сытых и крепких лошадей вынеслась на тракт. Сияло солнце, в небе курлыкали журавли. На сердце радостно.

В Качуге Мышкин пересел на паузок, груженный мукой, солью, салом.

Они плыли по Лене: над рекой нависли высокие утесы и скалы из красного песчаника. По правую руку темнели лиственницы, пихты и кедры.

Минули Жигалово, Усть-Куту, и река Лена развернулась во всю свою ширь.

Народ на паузке попался неинтересный, но назойливо любопытный. Многих интересовал пассажир, который, лежа на мешках, пристально всматривается в бере-

га, словно ищет что-то, и от поры до времени заполняет страницы своей записной книжки закорючками и загогулинками.

Одни подходили к Мышкину и спрашивали в лоб: «Откуда? Куда? Зачем?» Другие нудно рассказывали о своих делах, чтобы получить право на те же вопросы. Мышкин отвечал всем обстоятельно, хотя в ответах его все было выдумано.

Проехали около тысячи верст, проплыли мимо Киренска, прошли знаменитое скалистое ущелье с известковыми утесами.

Паузок пристал у селенья. Мышкин сошел на берег. За ночлег потребовали с него три рубля. Вместо чая предложили ему водку. Здесь край золотопромышленников, край скорой наживы и угарного пьянства.

Мышкин решил немедленно выбраться из этого вертепа!

До Олекмы около семисот верст; ждать попутчиков в поселке было накладно. Мышкин решил купить лодку и ехать один.

Это граничило с безумием: один в лодке на реке в полторы версты шириной; кругом безлюдье, царство комаров, мошкары. Если заболеет? Если «белые ночи» лишат его сна, как это бывало в свое время в Петербурге, и он выбьется из сил среди дикой природы?

Но Мышкин не думал об опасности: он чувствовал необычайный подъем, он считал себя у порога цели, и никакие силы не могли уже остановить его! Перед его глазами неотступно стоял Чернышевский — вот такой, какой виделся ему на эшафоте: мудрый и улыбающийся...

Светлой лентой извивалась река меж темных берегов. Стояла первозданная тишина, и лишь легкий шорох перелетающих с места на место комариных полчищ нарушал иногда эту тишину. Что-то загадочное, таинственное чувствовалось в бесконечном строе могучих деревьев, выстроившихся дозором по обоим берегам. В тихие вечера казалось Мышкину, будто он очутился в храме, суровом и мрачном, где подавляют высокие стены и торжественная тишина. Сильный аромат пихт, словно фимиам, стоит в воздухе; как бледные светильники, мерцают красные жарки и желтые лишаи. Только храм пуст и безмолвен, разве изредка печально затоскует вдали ку-

кушка, точно там, в глубине храма, одинокий голос повторяет все одну и ту же наивную молитву.

Ночью приставал Мышкин к берегу. От зверя и мошкары он раскладывал огромный костер. Над лесом стелется багровое зарево; на реке пляшут огненные языки. И первозданная тишина.

У Мышкина был запас муки, сала, сухарей, кирпичного чая, и из этих запасов он готовил себе несложную еду. Поест, вытянется у костра и думает.

Казалось бы, все уже обдумано, все взвешено, все проверено, а беспокойная мысль, пользуясь любым случаем, толкает Мышкина к началу: нужно ли было?

Ипполит Никитич уже давно убедил себя, что революционное движение в России терпит беды от многомыслия, от отсутствия единой сильной воли, от отсутствия человека, который мог бы направить в одно русло усилия таких смелых, но разных по темпераменту людей, как Войнаральский и Кравчинский, Рогачев и Ковалик, таких смелых, но разных по мироощущению деятелей: петербургских «чайковцев», украинских «бунтарей» или «цюрихцев», обосновавшихся в Москве. Мышкин считал, что перед русскими революционерами стоит одна задача: перестройка общества, но многомыслие усложняет эту задачу, приводит к излишним жертвам. Только острый ум великого человека может подавить многомыслие среди революционеров и из сплава всех течений создать теорию и практику для скорейшего достижения цели.

И этим великим человеком может быть один только Николай Гаврилович Чернышевский — человек сильной воли и острого ума! Другого нет! И не пытаться освободить Чернышевского из неволи равносильно отказу от торжества революции!

Вглядываясь в темноту, смотря на огненные языки на реке, Мышкин в тысячный раз проверял свой план и не находил в нем изъяна. Он мысленно советовался с Фрузей, с Войнаральским, с Коваликом и Рогачевым, со всеми, кому он верил и доверял, и ни у кого из его воображаемых советчиков план увоза Чернышевского не вызывал возражений.

Белые ночи изнуряли, мошкара ела поедом, подавляло величие суровой природы, угнетала девственная ти-

шина. Время как бы остановилось: вода, лес, небо; вода, лес, небо. Только по все усиливающейся усталости чувствовал Мышкин, что он движется — вперед, к цели.

Наконец-то причалил Мышкин к Олекминску. Здесь — кордон, заградительный пункт по вылавливанию «подозрительных лиц». Но личность и поведение «Титова» ни у кого из начальства не вызывали подозрений.

Отдохнув после изнурительного путешествия, Мышкин стал заниматься «торговыми делами». Встречался с прасолами, договаривался с ними о покупке больших гуртов скота, надеясь через этих богатеев завязать связи с крупным золотопромышленником, тем самым, который был известен в революционных кругах как щедрый поклонник Чернышевского: это на его деньги Ольга Сократовна Чернышевская совершила свою первую поездку в Сибирь, к мужу.

Но щедрого золотопромышленника не оказалось в Олекминске.

Мышкин отправился в дальнейший путь.

Жгло июньское солнце, из леса несло палом, а Мышкин верхом на маленькой якутской лошадке весело рысил к Сунтарскому улусу.

15

В улус Мышкин прибыл под вечер, и, чтобы не попасться на глаза улусному начальству, он повернул к юрте, стоявшей особняком в перелеске.

Старик якут — сутулый, с ушедшей в плечи головой, с длинными волосами, что падали ему на плечи, — неохотно принял путника:

— Коровы нет, молока нет, чая нет, у Федотки Большакова корова есть, молоко есть, чай есть, поезжай к Федотке Большакову.

Ипполит Никитич ответил на это:

— Не нужен мне твой Федотка Большаков. У меня есть чай, у меня есть хлеб. Мы с тобой поужинаем, а утром я уеду.

Эти приветливые слова еще больше насторожили старика: путник со своим припасом редко встречается в Якутии. Он вскипятил воду, хозяйничал и исподлобья следил

за гостем, добывающим из своего баула хлеб, чай, колбасу и даже сахар. Все это путник выложил на стол, но к еде не приступал: ждал хозяина. Кто он, этот странный гость? На беглого каторжника не похож: его слова, его движения уж очень спокойны. На «начальство» тоже не похож: не кричит, не лается и ничего не требует, наоборот, сам еду предлагает.

Они поужинали и легли спать, но оба не спали.

Ипполит Никитич был возбужден: он у цели! Как встретит его Чернышевский, как дать ему понять, что за ним приехал друг, а не жандарм, что его ждет свобода, а не новая тюрьма? А вдруг он болен или откажется ехать по какой-либо иной причине? Что тогда? Как поступить?

А якут не спал из-за страха перед необычным гостем: всю ночь он следил за ним.

Когда первые солнечные лучи проникли в юрту, старик тихонечко поднялся и выскользнул из юрты: он хотел бежать к улусному начальнику.

Но его остановил мягкий окрик:

— Ты куда, отец?

Якут вернулся:

— Водичку надо, дровишек надо...

— Подожди, оденусь и помогу тебе.

Гость оделся, и... старый якут обмер: перед ним офицер! На плечах — серебро, пуговицы сияют, на груди бренчит, сапоги звенят.

— Давай, отец, завтракать.

Хотя офицер был так же прост в обращении, как и накануне, но старику не лез кусок в рот: превращение подозрительного путника в блестящего офицера казалось ему колдовством.

И еще больше поверил якут в колдовство, когда офицер, накинув на блестящую форму серый плащ с черным воротником, протянул руку и тепло, как сын, отправляющийся в далекий путь, сказал:

— Прощай, отец. Живи счастливо, — и направился к двери.

— Ваше благородия, — еле пролепетал старик, показывая на продукты, оставшиеся на столе.

— Ешь на здоровье, отец.

Якут долго следил за отъезжающим офицером. Тот сидел в седле как батырь: свободно, ловко, с гордо откинутой головой.

...Мышкин заехал в Сунтарскую инородную управу и там потребовал коня в Вилюйск, потребовал сухо, высокомерно, как человек, имеющий право распоряжаться казенным добром.

Вот он, Вилюйск! По названию — город, но в действительности даже не село, даже не деревня, это «нечто пустынное и мелкое». Русские избы и якутские юрты, лачужки и хибарки, беспорядочно разбросанные, образовали четыре улицы: Малую, Глухую, Набережную и Загородную. Кругом серо и утомительно однообразно. Несколько в стороне, на песчаном бугре, — мрачный тюремный замок, окруженный высокими па́лями.

Там Чернышевский!

12 июля, жаркий день, а Мышкин кутается в плащ: его знобит, холодные волны перекатываются по спине, лоб горит, и под фуражкой накапливается пот.

Конь рвется вперед, но Мышкин его сдерживает. Поворот, еще один поворот... Мышкин заставляет себя сидеть в седле прямо, с чуть выдвинутым вперед правым плечом. Ноги дрожат, ком перекатывается в горле, а глаза смотрят на пешеходов холодно, высокомерно.

Наконец — тюрьма! Забор, за забором дом с крутой тесовой крышей.

Там Чернышевский!

Мышкин подъехал к караулке, крикнул:

— Выходи, кто живой!

В окошке караулки показалась голова в казачьей фуражке:

— Чего изволите, ваше благородие?

— Зови начальника!

— Нету начальника.

— Зови помощника!

— Не приказано звать. И пущать никого не приказано. К господину исправнику езжайте. — И голова исчезла.

«Вот как стерегут Николая Гавриловича, — подумал Мышкин. — Жандармского офицера не пропускают к жандармскому унтеру!»

— А где унтер-офицер Фомин?

— К исправнику езжайте, — ответил казак.

Мышкин поднял коня в галоп. «Что ж,—подумал он,— поедем к исправнику».

А на душе все же неспокойно, во рту горько, перед глазами туман. Но возле дома исправника Мышкин овла-

дел собой, и по ступенькам крыльца уже поднимался надменный жандармский офицер.

Строгим взглядом окинул он казака, отдававшего ему честь, и властным голосом спросил:

— У себя исправник?

— Так точно, ваше благородие! — И казак бросился открывать дверь.

Просторная комната. Из-за стола поднялся пожилой человек в расстегнутом мундире, толстый и безмятежный, с густыми бровями, густыми усами, с большими зрачками, плававшими, казалось, в молочной жиже. Он говорил медленно, слегка задыхаясь:

— Исполняющий должность помощника вилюйского окружного исправника Жирков.

— Поручик корпуса жандармов Мещеринов по секретному поручению, — сухо проговорил Мышкин.

— Чем могу служить, господин поручик?

Мышкин сел и, не торопясь, достал из кармана три документа.

Первый

Телеграмма из Благовещенска от 3 июня за № 317: «Иркутское жандармское управление Вилюйскому исправнику. Предписываю оказать необходимое содействие поручику корпуса жандармов Мещеринову, командированному сопровождать Чернышевского в Благовещенск.

Барон *Фредерикс*
Верно: *Пекко*».

Второй

«Препровождая при сем телеграмму, полученную в управлении на Ваше имя от генерал-губернатора Восточной Сибири, управление с своей стороны покорнейше просит Вас не отказать в содействии поручику Мещеринову по исполнению возложенного на него поручения.

4 июня 1875 г. № 419.

И. д. Начальник Управления
Капитан *Соколов*
Адъютант Управления
Поручик *Бурлей*».

Третий

Предписание Иркутского губернского жандармского управления от 4 июня 1875 г. за № 418 унтер-офицеру Аггею Фомину: «Предписываю исполнить в точности и без малейшего замедления все приказы поручика корпуса жандармов Мещеринова, относящиеся до перевода посаженного в г. Вилюйске Николая Чернышевского во вновь назначенное местожительство.

И. д. Начальник Управления
Капитан *Соколов*
Адъютант Управления
Поручик *Бурлей*».

Жирков читал документы долго и внимательно, но, как показалось Ипполиту Никитичу, с какой-то нарочитой неторопливостью.

— Распорядитесь! — резко сказал Мышкин.

Толстый исправник достал из кармана носовой платок, вытер им лицо и рассмеялся:

— Ать-два — и распорядитесь. Торопыга вы, господин поручик. Легко сказать «распорядитесь». Ведь вы требуете Чернышевского, Чер-ны-шевского, господин поручик.

Мышкин вскочил на ноги: звякнули шпоры, звякнули наконечники аксельбантов.

— Господин исправник! — сказал он строгим, командирским голосом. — Вы службы не знаете или... пьяны! Приказы подписаны генерал-губернатором Восточной Сибири и жандармским управлением, а вы какую-то чушь несете! Извольте немедленно выполнять!

— Эх, душа моя, — ответил полицейский тем же веселым тоном. — «Извольте немедленно выполнять!» Чье приказание, уважаемый поручик? Генерал-губернатора Восточной Сибири и начальника жандармского управления? Маловато, душа моя, маловато. Они Чернышевским не распоряжаются. Имеется секретный циркулярец не допускать к Чернышевскому никого, никого, душа моя, даже самого господа бога, если у него не окажется разрешения от господина якутского губернатора. А его у вас нет. Вон оно, душа моя, как обстоит дело. А его сиятельство барон Фредерикс, а тем более начальник Иркутского жандармского управления должны были знать об этом

циркулярчике. А то, душа моя, что получилось? Сколько верст вы отмахали, сколько лошадей вы загнали и... зря, зря, господин поручик Мещеринов! — Он поднялся, застегнул верхнюю пуговицу мундира, подошел к Мышкину. — Идемте, душа моя, ко мне в юрту, водочки выпьем, медвежатинки поедим, благоверная нам постельку приготовит, храповицкого зададим в два голоса, а мои орлы в это время запросят Якутск...

Неужели все рухнуло? Эта мысль не вспыхнула в голове, а как бы свалилась на Мышкина с высоты: он еле удержался на ногах.

В самом начале разговора с толстым Жирковым ему почудилось, что полицейский говорит с наигранной веселостью, даже в его угодливости Мышкин уловил издевательские нотки. Но с издевкой полицейского справился бы Мышкин, он сумел бы внушить ему уважение к себе и к своим документам. А вот когда Жирков заговорил о секретном циркуляре, тут понял Ипполит Никитич, что почва ушла из-под его ног.

Тюремщики Чернышевского его перехитрили! Он обезвредил себя от всех нормальных препятствий, он предусмотрел все нормальные задержки и заминки, но предвидеть, что из-за Чернышевского правительство изменит установленный веками иерархический порядок — это не дано человеческому уму! Для входа в острог к Чернышевскому недостаточно разрешения начальника края и жандармского управления! Дьявольская осторожность! Или, вернее, животный страх перед Чернышевским!

...Надо спасать то, что еще можно спасти: себя!

— Циркуляр, о котором вы говорите, уже отменен, — сказал он спокойно, — но вас, видать, еще не поставили в известность. Потрудитесь достать мне лошадей. Еду в Якутск!

Это предложение устраивало полицейского: он подозревал, что перед ним именно тот самозванец, о котором ему писали, но... вполне уверен в этом все же не был: уж очень «жандармистый» вид у поручика Мещеринова! Арестуешь его, а потом хлопот не оберешься. Спокойнее будет переправить его под надежной охраной в Якутск, а там пусть разберутся.

— Пожалуйста, господин поручик. Лошадок я вам дам резвых, скоком домчат вас до Якутска. Бубякин! — позвал он.

В комнату вошел казак, тот самый, который встретил Мышкина на крыльце. Рыжий, волосатый, скуластый.

— Чего изволите?

— Маршинцев уехал в Сунтарское?

— Никак нет, здесь он.

— Хорошо. Пусть не ездит в Сунтарское. В Якутск поедет вместе с тобой. Вы будете сопровождать их благородие господина поручика Мещеринова.

— Мне и одного казака достаточно.

— Что вы, господин поручик! Вы нашего края не знаете. До Якутска семьсот верст, и каких верст — глухих, неспокойных. На хайлаков напоретесь — одним казаком не управитесь.

Мышкин горько улыбнулся: «Почетная свита или арестантский конвой? Хотя какая разница, — решил он, — ведь что-либо иное предпринять уже невозможно. Семьсот верст — длинный путь, вот в пути и подумаю».

...Два-три современника, оставившие нам скупые воспоминания о Мышкине, утверждают, что Ипполит Никитич сам себя разоблачил перед вилюйским исправником и разоблачил себя тем, что аксельбанты были у него пропущены не через тот погон, какой полагается.

Эти современники измыслили красочную деталь, чтобы ею оправдать провал мышкинского плана. Они забыли о том, что Мышкин рос в военной семье, что он учился в двух военных училищах, что он служил в академии, где чуть ли не все офицеры носили аксельбанты.

Нет, не аксельбанты подвели Мышкина! Его подвел дьявольский режим, который III отделение создало специально для Чернышевского.

Подвел Мышкина и донос. Какой-то негодяй сообщил жандармам из-за границы, что в Россию отправляется революционер для увоза Чернышевского из места ссылки. III отделение подготовилось к встрече. На сотни верст вокруг Вилюйска были расставлены капканы, за новым человеком следили в тысячу глаз и о каждом его шаге сообщали в Вилюйск.

Накануне приезда Мышкина Жирков получил два письма: одно от письмоводителя Сунтарской инородной управы, другое от помощника исправника Поротова. Первый сообщал, что «г. Мещеринов прибыл в Сунтарскую инородную управу из Олекминска на лошадях наемных, не имея при себе ни казака и никакого человека, и из слов

его можно заключить, что он был в Олекминске и его там никто не знал».

Поротов, который встретил Мышкина в десяти верстах от Верхневилюйской инородной управы, сообщил, что поручик Мещеринов расспрашивал его, «когда должна быть почта из Якутска в Вилюйск, и объяснил, что не знает о том, когда он возвратится и каким путем из Вилюйска, через Сунтар или Якутск, и, может быть, не один».

Все это показалось Жиркову подозрительным: не тот ли это революционер, которого ждут?

16

Пустынный, унылый тракт: мхи, болота, комариные тучи.

Мышкин смотрел по сторонам и думал о своем, нерадостном. Что ждет его в Якутске? Губернатор задержит его под каким-нибудь благовидным предлогом и снесется с Иркутском...

Стоит ли пытаться спасать то, чего уже нельзя спасти? Не лучше ли отступиться сейчас, чтобы на досуге разработать новый план?

А можно ли отступиться? Не поздно ли? Может он свернуть с тракта, чтобы затеряться в бескрайных просторах? Сопровождают его казаки или они «везут» его, чтобы сдать в Якутске «под расписку»?

Четверо суток Мышкин присматривался к казакам. Они были вежливы, услужливы. На станциях заботились о чае, о ночлеге. Но три ночи подряд, когда Ипполит Никитич выходил во двор будто за надобностью, он наталкивался или на Маршинцева, или на Бубякина — они разгуливали по двору или сидели на ступеньках крыльца, и всегда при оружии.

Сомнения рассеялись: казаки стерегут его!

И Мышкин решил бежать.

Под вечер он пустил коня крупной рысью. Казаки едва поспевали за ним.

— Господин поручик! Потише! — требовал Бубякин.

Мышкин не сбавлял шага. Расстояние между ним и казаками все увеличивалось.

Бубякин поднял своего коня в галоп.

— Господин поручик!

Мышкин откинулся в седле и на ходу выстрелил в Бу-

бякина. Раз, еще раз. Казак вскрикнул, схватился за ногу и повернул коня.

Но Маршинцев не отставал.

Тогда Мышкин на мгновение остановился, перезарядил револьвер и выпустил несколько пуль в сторону Маршинцева. Ни одна из них не задела казака, но он струсил и также отстал.

Мышкин в тайге — густой и надежной. Проскакав больше часа, он слез с коня.

Баул был приторочен к седлу. Развязывать узлы Мышкин не мог: руки дрожали. Он перерезал ремни, снял баул и, прежде чем достать из него штатское платье, прилег и... уснул.

Сказалась усталость, накопленная в течение нескольких месяцев, сказалось нервное напряжение последних дней, сказалось потрясение в связи с неудачей.

Утром, проснувшись, Мышкин окаменел от неожиданности: конь, оторвав повод, ушел.

Наспех переодевшись, Ипполит Никитич бросился искать коня.

Весь день он рыскал по тайге, посвистывал, звал, но тщетно: конь исчез. После стольких волнений, после невероятных, нечеловеческих усилий, после того, как он благополучно ушел от казаков, оказаться пленником тайги!

Четыре дня Мышкин плутал по тайге. Бывали минуты, когда он валился на землю с твердым намерением: «Ни шагу дальше!» Но опять вскакивал и шел дальше, к Лене: там он добудет лодку...

Сквозь поредевшую тайгу блеснула излучина реки!

Точно пьяный, шатаясь, Мышкин добрел до берега. Упал на песок. Устало смотрел в небо, в холодное, бездонное. Широкая, как море, река мягко рокотала.

Переправиться на другой берег Мышкину не удалось: из-за деревьев показались верховые. Они кричали, махали руками, но к Мышкину боялись приблизиться. Когда же он, желая покончить с дурацкой сценой, отбросил револьвер, верховые вмиг соскочили с лошадей, накинулись на него и стали вязать припасенными для этой цели веревками.

Тут прискакал казак Маршинцев.

— Вези меня в город!—проговорил Мышкин строго.— И немедленно развяжи руки!

Маршинцев сначала разразился упреками и руганью, потом, как бы укрощенный строгим взглядом Мышкина, сказал что-то якуту.

Тот развязал Мышкину руки.

...После допроса на ямщицкой станции Мышкина отправили в Якутск, в тюрьму. Камера небольшая: оконце, кровать — жить можно, хотя воздуха мало, а может быть, Мышкину только показалось: ведь последние месяцы он провел в лесах и на реках! А вот кандалы, надетые на голое тело, действительно угнетали: больно и неудобно.

Любое несчастье осложняется последующим горьким раздумьем. Вспыхивают вопросы: «Если бы я этого не сделал? Если бы я так поступил?» Мышкина же не мучили сомнения. Во время следствия он открыто заявил, что «сочувствовать Чернышевскому он считает обязанностью всякого порядочного человека», а его освобождение — святым долгом революционера.

Мышкина не мучили сомнения: он поступал так, как должен был поступать!

Попытка спасти Чернышевского не удалась — все это в прошлом, теперь надо думать о будущем. С 20 июля, со дня ареста, Мышкин настаивал на допросах, что он «Михаил Петрович Титов», сын священника из Вологды, а 10 августа он неожиданно для прокурора назвал себя своим настоящим именем.

Почему он это сделал? Мышкин понял, что за «действия» Титова будут его судить сибирские жандармы, а «дело о типографии Мышкина» будет слушаться в Москве. Там, в судебных заседаниях, он сможет заявить во всеуслышание, за что борются революционеры, там, на гласном суде, расскажет он народу, какой подлый режим создали жандармы для Чернышевского!

И расчет Мышкина оправдался. Якутские жандармы снеслись с Иркутском, Иркутск с Петербургом, и оттуда последовало распоряжение: «Государственного преступника Мышкина немедленно препроводить в Петербург».

Для якутских жандармов Мышкин сразу стал «фигурой»: с него сняли ручные кандалы, перевели в светлую камеру, начали лучше кормить, и сам губернатор разрешил Мышкину написать письмо своему брату.

Этим разрешением Ипполит Никитич воспользовался тут же, в тюремной канцелярии:

«Григорий!

Вот уже более года, как я не писал тебе ни единой строки. Ты, вероятно, думал, что я, убравшись подобру-поздорову из России, поселился навсегда за границей, и, конечно, весьма удивился, получив от меня письмо с пометкою из Якутска. Да, я давно уже в России, и вот ровно месяц, как очутился в месте, где люди, аки птицы небесные, не имеют надобности заботиться о завтрашнем дне, ибо казна питает их, и откуда для меня «одна дорога торная» открыта... сам догадаешься куда. Попросту сказать, я арестован; с 22 июля содержусь в якутской тюрьме, в секретной одиночной камере, облачен в серый арестантский халат с бубновым тузом на спине и закован в кандалы. Судьба, как видно, подшутила надо мною: я, враг всяких привилегий, очутился в привилегированном положении: кроме меня, нет в тюрьме никого в кандалах, я один кандальник. Но ты не поддавайся тяжелому впечатлению, которое могут произвести только что написанные мною строки. Ведь я знал, на что иду, я давно уже примирился с мыслию о неизбежности того положения, в каком я нахожусь в настоящее время и какое еще ждет меня впереди. Поэтому я хладнокровно переношу свое тюремное заключение и, надеюсь, не менее хладнокровно отправлюсь в путь по той длинной-длинной, давно уже проторенной дорожке, по которой ежегодно шествуют тысячи бедного русского люда. Я желал бы также, чтобы и ты и в особенности маменька не представляли себе моего положения в слишком мрачном свете. Стоит только сравнить мое настоящее не с моим же прошлым, а с судьбою большинства российских граждан, чтобы убедиться, что я не имею никакого особенного права слишком хныкать, слишком жаловаться на свою долю. Не знаю, что будет дальше, а теперь у меня есть квартира, теплая одежда, кусок хлеба, порция горячих щей и даже несколько старых №№ журналов министерства юстиции. А велико ли количество россиян, которые могут похвастаться лучшею материальною обстановкою; и, напротив, сколько есть людей, у которых не только щей, но и хлеба-то порядочного не всегда найдется. Ты спросишь: а лишение свободы, а нравственные страдания? Но и вне тюремной ограды закон отмежевал для свободы такой незначительный надел, лишение которого не может составлять слишком существенной потери. А что касается до иных

нравственных страданий, то хотя я и желал бы поговорить с тобой об этом вполне откровенно, не становясь на ходули и не сгибаясь под тяжестью того или другого давления, но ты знаешь, что полная откровенность не всегда возможна в присутствии совершенно посторонних лиц.

Тебя, конечно, интересует вопрос: каким образом я очутился в якутской тюрьме. Но я сомневаюсь, чтобы следственная комиссия, с разрешения которой я пишу настоящее письмо, дозволила мне отвечать на этот вопрос, и потому я обойду его лучше молчанием.

По окончании следствия по преступлению, совершенному мною в Якутской области, я буду отправлен в Иркутск, но где именно будут судить меня: в Питере или в Сибири — не знаю. Постарайся подготовить маменьку, чтобы судебный приговор, который будет произведен надо мною, не произвел на нее слишком тяжелого впечатления. О настоящем же моем положении лучше до поры до времени вовсе не говорить ей: пусть лучше думает, что я еще благодушествую в какой-либо неизвестной стране...

Твой брат

И. Мышкин».

Но губернатор обманул Мышкина: письмо никуда не ушло!

17

Мышкина повезли в Петербург. 14 февраля 1876 года он уже находился в Петропавловской крепости.

— Разденься!

Мышкин начал снимать с себя платье; жандармы подбирали и откладывали все в сторону. Потом обыскали Мышкина, затем обрядили его в арестантское.

Офицер подал жандармам знак «уходите» и сам тоже направился к двери, но вдруг обернулся и угрожающе сказал:

— Главное дело, ни слова, ни полслова. Кто ты, как тебя зовут, знать мне нет надобности. Вот и все. Я здесь смотритель. Со всякими своими желаниями должен обращаться ко мне. Законно — исполню, нелепо — так и скажу. Свистать, петь, говорить нельзя. Лампу тушить нельзя. Смотрителя звать ни в каком случае. Стуков чтобы не

было никаких! — И его мощная рука, вооруженная ключом, сделала по воздуху энергичное и выразительное движение.

Мышкин стал вертеть головой во все стороны.

— Ты чего ищешь?

— Ищу, кому это все говорит смотритель, — ответил Мышкин спокойным голосом, подтягивая штаны.—Я подследственный, я сдан сюда на хранение, как сдают летом шубу в ломбард, и с директора ломбарда, то бишь со смотрителя тюрьмы, крепко взыщется, если с меня хотя бы один волос с головы упадет. Вот о чем забыл господин смотритель.

Жандарм рванулся к Мышкину и занес руку с ключом, но Мышкин даже не вздрогнул: он прямо смотрел в глаза смотрителя и даже чуть-чуть улыбался.

Это уж было слишком! Гремя шпорами, жандарм выбежал из камеры.

Вскоре он вернулся, подал Мышкину лист бумаги:

— Читай правила!

Мышкин читал параграф за параграфом. Все запрещается: свидания, переписка, чтение книг, курение, расходование собственных денег, а наказания — от наложения кандалов и карцера до пятисот розог и четырех тысяч шпицрутенов.

— Прекрасные правила, — сказал Мышкин, — очень хорошо составлены. Но смотритель забыл, что эти прекрасные правила не имеют отношения ко мне. Тут сказано «ссыльно-каторжные, временно оставленные в Трубецком бастионе», а я не ссыльно-каторжный, я подследственный.

— Ты у меня... — Жандарм не знал, чем закончить эту фразу. Он вырвал правила из рук Мышкина и вышел из камеры.

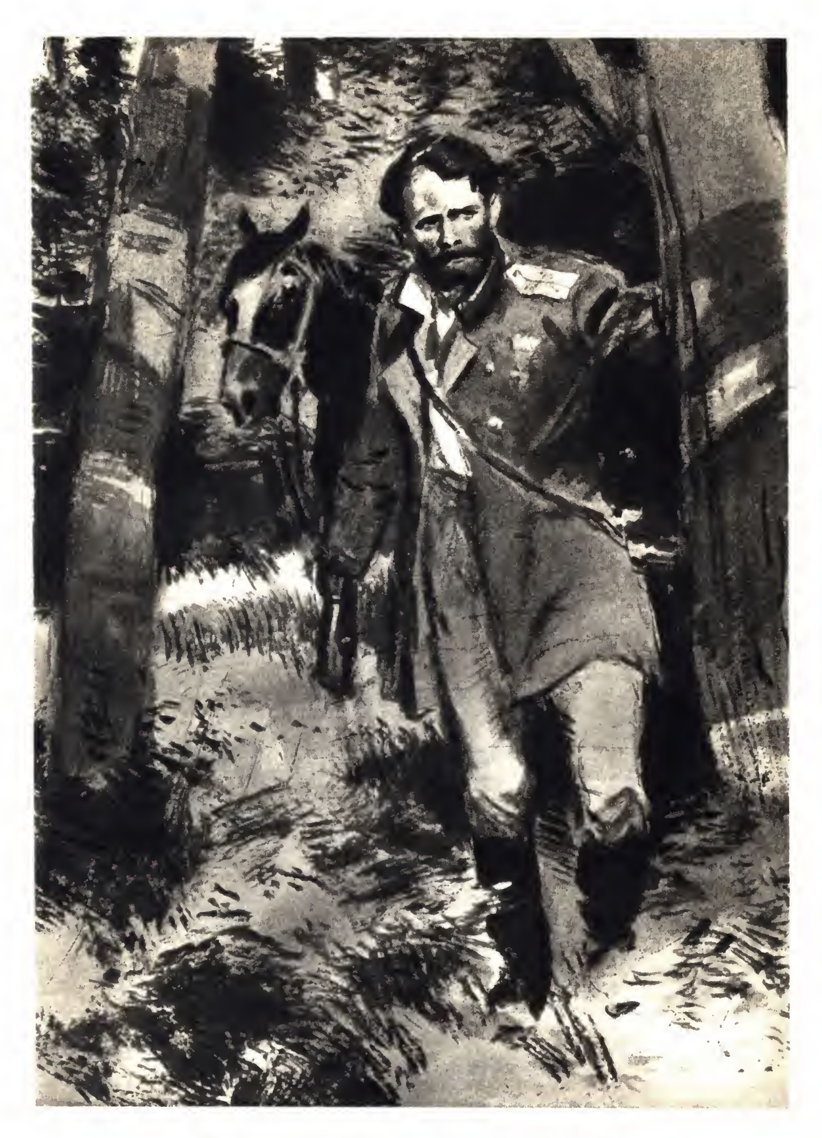
— В оба гляди!—сказал он часовому, закрывая дверь.

«Первая атака отбита, — подумал Мышкин, — но сколько таких атак впереди?»

...Наутро Мышкин проснулся от стука при открывании двери. В камеру вошел смотритель с двумя унтерами и двумя жандармами. Не снимая фуражки, смотритель уставил на Мышкина свои стеклянные глаза, следя за каждым его движением.

Мышкин одевался.

— Как здесь насчет чаю? — спросил он.



Мышкин в тайге — густой и надежной.

К стр. 204

Смотритель указал на стол, где лежал хлеб, оловянная тарелка с кашей-размазней и кружка с водой. Отчеканивая каждое слово, он сказал:

— Два с половиной фунта хлеба, щи, каша, вода. Больше ничего не полагается.

— Спасибо и на этом, — язвительно проговорил Мышкин.

Он умылся и, принимая из рук унтера полотенце, улыбнулся. Мышкину пришла в голову дерзкая мысль: а нет ли среди этих унтеров человека, которого можно будет использовать для связи с городом, с товарищами на воле?

Ободренный этой мыслью, Ипполит Никитич принялся за размазню. Увы, размазня была отвратительна на вкус.

Мышкин вспомнил изречение Гуфелянда: «Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле». «Но как быть, — подумал он, — когда голову ломит от холода, брюхо щемит от голода, а ноги преют в суконных портянках? Видимо, ученый гигиенист Гуфелянд, изрекая истины, не думал о том, что и в Петропавловской крепости живут люди!»

Унтеры убрали таз с водой, полотенце, посуду. Смотритель, стоявший все время напряженно, как злобный пес, ждущий сигнала хозяина «пиль», повернулся. За ним последовала вся жандармская орава.

После завтрака Мышкин отправился «на прогулку» по камере: из угла в угол.

Послышался легкий стук в стену.

«Кто вы... кто вы...» — выстукивала барабанная дробь.

Хорошо, что Мышкин изучил в Якутске тюремную азбуку! Он простучал в ответ:

«Я Мышкин, а вы?»

«Костюрин».

Завязалась беседа, нервная, торопливая, чтобы успеть сказать как можно больше, прежде чем перестук будет услышан кем-нибудь из охраны. После первых приветственных фраз, после пожеланий бодрости и здоровья Костюрин простучал:

«Наши войска перешли турецкую границу. Объявлена война за свободу болгар».

Мышкин ответил:

«А мы будем воевать с царем за русскую свободу».

Костюрин простучал быстро:

«Россия охвачена энтузиазмом. Народная совесть за войну. Молодежь идет в волонтеры. Пахнет свободой».

«Где? Нас душили и душат. Вы увлеклись».

Сосед замолчал.

Прошло лето, на дворе уже осень.

Через своего соседа Костюрина Ипполит Никитич завязал деятельный перестук со всей тюрьмой. Мышкин доказывал товарищам, что на воле осталось достаточно людей, чтобы продолжать революционное дело, что революцию, как смерч, как землетрясение, приостановить нельзя.

Одни соглашались с Мышкиным, другие спорили. С этими товарищами Мышкин возился, как нянька с капризными ребятами: убеждал, доказывал, уговаривал...

Тянется время. Вечный сумрак.

Все чаще и чаще стали раздаваться по ночам внезапные крики, вслед за криками — короткая возня, и слышно было, как что-то тяжелое проносят по коридору.

Бьют кого? Сошел кто с ума?

У Мышкина появилась обостренная, жгучая боязнь за жизнь всех своих невидимых друзей. В каждом шорохе, в каждом необычном звуке чудилось ему насилие.

Сама смерть не казалась страшной, однако какой смысл умирать ему или товарищам, если они своей смертью не облегчат участи других мучеников?

Не умирать надо, а бороться, бороться со своими мучителями!

Мышкин убедился, что большинство тюремщиков — мерзавцы, но в то же время и трусы: они донимают своими придирками только людей с подорванным здоровьем, с пониженной стойкостью. Тогда решил Ипполит Никитич подставить себя под подлый огонь смотрителя, чтобы тем самым отвлечь его от своих ослабленных товарищей.

Он стал изводить унтеров и жандармов колкими насмешками, а смотрителя доводил до бешенства.

Тот являлся ежедневно в сопровождении своей оравы. Мышкин как сидел спиной к двери, так и оставался сидеть.

— Встать!

Мышкин поворачивался и, улыбаясь, говорил приветливым голосом:

— А, директор ломбарда сегодня не в духе.

— Молчать!

— Вещи, сданные в ломбард на хранение, действительно молчат, но люди, сданные на хранение в тюрьму, обладают умением говорить. Это умение дано им от бога, и никакой тюремный смотритель не в силах спорить с богом.

— Немедленно упрячу...

— В карцер? Пожалуйста, господин директор ломбарда! Место знакомое, обжитое... Нашли чем пугать. Кстати, как бы мне там не простудиться, ведь за это взыщется с директора ломбарда.

Это повторялось изо дня в день, и смотритель всю свою злобу, всю черствость своего холодного сердца сберегал для ежедневных встреч с дерзким, неукротимым Мышкиным. Сажал его в карцер и выпускал, то топал на него ногами, то льстил ему, дошло даже до того, что стал ему говорить «вы», но... Мышкин был неистощим в своих издевательских выдумках.

Он стал писать пространные заявления — то сатирические, то негодующие — коменданту крепости и обер-прокурору сената. На успех своих заявлений он сам не рассчитывал: Мышкин развлекался самим процессом поддразнивания сатрапов, которых он презирал, и развлекал товарищей по горькой судьбе, которым посылал копии своих заявлений. Прокурора сената он просил указать ту статью закона, которая определяет размеры письменного заявления заключенного, так как комендант крепости поставил ему на вид, что он, Мышкин, пишет «слишком много и долго». Совсем иронически звучит заявление Мышкина к обер-прокурору сената, что-де в Петропавловской крепости «извращают христианское учение, ибо плох тот рай, в который гонят на цепи с жандармами». И каждое свое заявление он заканчивал: «Требую прокурора!»

Через три месяца явился прокурор. Он явился в сопровождении смотрителя, жандармов, надзирателей. Прокурор был осанистый, важный. Несколько минут он задержался возле двери, ожидая поклона, но узник не только не поклонился, но даже не повернул головы в его сторону.

— Господин Мышкин, что вы имеете сказать представителю правосудия?

Мышкин ответил твердо:

— У меня к представителю правосудия одно заявление и одна просьба.

— Какое заявление? — насторожился прокурор.

— Вот какое, господин прокурор. Мы, я и мои товарищи, не каторжники, а только люди, находящиеся под следствием. Мы даже не привлечены к суду...

— Но, несомненно, будете, — вставил прокурор.

— Даже если будем, — еще жестче продолжал Мышкин, — то до приговора не должны нести наказания. А между тем нас держат как осужденных уже на каторгу.

— Заключение в крепость, — заторопился прокурор, стремясь как можно скорее закончить опасный разговор, — есть мера пресечения, а всякая мера пресечения ограничивает права.

— Но это не значит, чтобы нас морили голодом, развивали чахотку. Притом еще, что это за мера пресечения, которая длится вот уже второй год? Это равносильно наказанию.

— Следствие, господин Мышкин, почти закончено. В скором времени вам пришлют обвинительный акт. А какая у вас еще просьба?

— Просьба незначительная: разъясните, пожалуйста, своим коллегам, что по законам Российской империи мы, я и мои товарищи, не лишены ни гражданских, ни просто прав человека.

Прокурор вспыхнул:

— Мои коллеги не нуждаются в разъяснениях! Они свои обязанности хорошо знают!

— Тогда простите, господин прокурор, — склонив голову, вежливо сказал Мышкин. — Простите меня за то, что я жандарма принял за представителя правосудия.

— Что?! — взревел прокурор.

— Именно то, что вы слышали. — И повернулся к прокурору спиной.

...В летний день уже 1877 года смотритель вошел в камеру и, прежде чем Мышкин успел произнести свое ироническое приветствие, сказал:

— Надо идти в канцелярию.

Он это сказал таким тоном, словно в канцелярии Мышкина ждет что-то очень приятное. Мышкин вмиг собрался.

Во дворике он сначала замедлил шаг, потом остановился; четыре чахлых деревца, поникшие травинки, забор... Это уже стало его миром, и сердце защемило: опять куда-то переводят...

— Надо поскорее, — напомнил смотритель, — там ждут.

Слышен мягкий шорох Невы, бойкие гудки пароходов, гул города.

— Надо поскорее!

Смотритель взял Мышкина под руку, увел в канцелярию.

Серые своды, длинные столы — на них сплошными грудами лежали синие папки.

За столами четыре человека с изможденными лицами, горящими глазами.

«Товарищи», — понял Мышкин.

В комнате стояли часовые; в сторонке, стараясь не попадаться на глаза, жандармский офицер.

— Садитесь, — предложил офицер. — Читайте обвинительный акт. — Он указал на груды папок. — Найдите свое дело.

— Здравствуйте, товарищи! — громко сказал Ипполит Никитич, приветствуя сидящих за столом. — Я — Мышкин.

Пошли рукопожатия, объятия, взволнованные слова.

— Прошу заключенных не разговаривать, — сухо заметил жандармский офицер.

Но Мышкин продолжал говорить что-то теплое, дружеское: ведь эти люди ему дороги, он с ними давно знаком, хотя видит их впервые.

— Прошу прекратить!

— Вот я пожал руку товарищам и прекращаю, — бодро ответил Мышкин.

Он сел, потянулся к папкам и выбрал из общей груды объемистую тетрадь: «Особое присутствие правительственного сената. Предварительное следствие по делу о домашнем учителе Ипполите Мышкине и других по Москве, произведенное Членом Московской судебной палаты Крахт, Высочайше назначенным для произведения следствия по государственным преступлениям, 1874 г.».

Мышкин подумал: «Для того чтобы заполнить такую тетрадь, нужно было три года...»

Он углубился в изучение дела.

В канцелярии стояла тишина, лишь изредка шелестели переворачиваемые страницы...

Вдруг — звон шпор, легкие шаги.

Мышкин обернулся.

— Фрузя!—воскликнул он, стремительно бросившись к девушке...

Это произошло так неожиданно, что и смотритель и жандармский офицер, растерявшись, обалдело смотрели на взволнованную пару.

— Фрузя? Ты в Петропавловке?

— Уже второй месяц...

— И я, осел, не знал этого...

Смотритель взял за руку Мышкина, жандарм — Фрузю, и вежливо оттянули их друг от друга.

— Господа, — сказал жандармский офицер. — Буду вынужден прекратить групповую читку.

— Это моя жена! — воскликнул Ипполит Никитич. — Понимаете человеческий язык? Это моя жена!

— Понимаю, господин Мышкин. Но мы с вами находимся в тюрьме, а не в гостиной.

— Ип, милый, не стоит спорить.

— Ты права, Фрузя. Им чужд человеческий язык. Они действуют по инструкции.

— Именно, господин Мышкин, по инструкции. Прошу вас садиться и знакомиться с делом. В вашем распоряжении немного времени.

Мышкин и Фрузя сели, но ни она, ни он дела не читали: они смотрели друг другу в глаза. О чем они думали? Пожалуй, об одном и том же: как ты изменился, но ты и такой мне дорог.

— Время истекло! — заявил жандармский офицер.

Звякнули ружья часовых.

— Увидимся в суде, Фрузя.

— Увидимся, Ип. Теперь у меня хватит сил ждать... Даже годы!

Мышкин сделал шаг в сторону Фрузи, но его задержал смотритель.

— Пошли! Время истекло!

Его вывели из канцелярии первым: он обернулся и крикнул:

— Фрузя! До скорого свидания!

— До скорого, Ип!

18

Жандармы и министерство юстиции из полутора тысяч арестованных отобрали двести шестьдесят восемь человек и, продержав их по тюремным одиночкам больше трех лет, завершили свое гнусное дело «Большим процессом»—процесс этот вошел в историю под названием «процесса 193-х».

А куда девались семьдесят пять человек? Ведь жандармы отобрали для вящей своей славы двести шестьдесят восемь юношей и девушек.

Семьдесят пять из отобранных умерли, покончили самоубийством или сошли с ума, не выдержав каторжного режима, созданного для них просвещенным министром графом Паленом.

«Большой процесс» даже для того сурового времени был подлым: все обвинительное заключение было основано на явной лжи и на подтасовках.

Но разве министра Палена или жандарма Потапова интересовала истина? Достаточно препроводить две сотни молодых людей в суд, а уж там, в суде, холопствующие сенаторы найдут статьи для отправки на каторгу невиновных!

Правда, холопствующим сенаторам на сей раз пришлось очень туго: из ста девяноста трех обвиняемых они были вынуждены оправдать девяносто четырех!

Юношей и девушек, намеченных к «убою», жандармы собрали в одном месте— в петербургском «Доме предварительного заключения», что на Шпалерной улице. Туда свезли молодежь со всех концов России — из тридцати семи губерний.

17 октября перевели туда и Мышкина.

Первого, кого он встретил, поднимаясь по железной лестнице в свою камеру, был студент Донецкий — близорукий приятель по Женеве.

— И вы тут? — удивился он.

— Я всегда там, где мои друзья, — ответил Мышкин, пожимая протянутую руку.

— Откуда?

— Из Петропавловки.

— Вот куда залетели!

— А вы думали!

— Господа, — поторапливал надзиратель, — успеете наговориться.

Мышкин взобрался на четвертый этаж, вошел в камеру — слышит, сосед стучит.

— Мышкин, приветствую. Откройте окно, вам хотят передать записку.

Мышкин распахнул окно, тут же с пятого этажа спустили ему записку на веревочке:

«Ип, милый, мы опять вместе. Если ты не очень устал, просись сейчас на прогулку. Буду ждать тебя у забора. Ип, милый, осень, а день какой чудесный!»

Мышкин потребовал смотрителя.

— Знаю зачем, — сказал он, не дожидаясь даже первого слова Мышкина. — Хотите на прогулку.

— Откуда знаете?

— Нашему брату положено все знать. — Он вызвал надзирателя. — Проводите господина Мышкина на прогулку. Полчаса разрешаю.

У Мышкина потекли слезы из глаз: как все это не похоже на Петропавловку!

Смотритель понял состояние заключенного.

— Туда, знаешь, — повернулся он к надзирателю, — к забору поведешь господина Мышкина, а сам уходи в сторону.

«Свидание» с Фрузей все же было испорчено, и испортили его друзья. Не успел Ипполит Никитич сказать Фрузе и частицы того, что теснилось в его сердце, как с одной стороны забора налетели мужчины, с другой — женщины, и все наперебой, вразрез друг другу заговорили о процессе. «Свидание» превратилось в многолюдное совещание. Посыпались предложения, делались торжественные заявления, вспыхивали споры.

Споры, видимо, велись уже давно: одни были за то, чтобы не подчиняться суду, чтобы вслух заявить: «Считаем царский суд гнусной комедией», другие — за подчинение суду.

Мышкин сразу вступил в спор:

— Товарищи, я тоже признаю, что никакие доводы и доказательства не проймут царских чиновников. Но поскольку суд все же состоится, мы должны воспользоваться им, чтобы через головы судей поговорить со своим народом. Мы не должны на суде ни оправдываться, ни защищаться, но мы должны сказать своему народу, за что

мы боремся и с каким подлым, развращенным режимом мы боремся. Мы должны подбросить в костер революции свежую охапку хвороста. — Вдруг Мышкин перешел на шепот. — Товарищи, у меня к вам огромная просьба: доверьте мне произнести на суде краткую речь...

— Этих патентованных трусов, карьеристов и негодяев ничем не удивишь, — сказал Войнаральский.

— Верно, Порфирий Иванович, но я буду говорить не для них, а для народа, для пользы нашего дела.

— Пусть говорит Мышкин! — предложил Ковалик.

— А я ему набросок своей речи дам, — восторженно откликнулся незнакомый Мышкину молодой голос.

— Значит, согласны? — спросил Ипполит Никитич.

Его голос дрожал, в глазах всплеск радости, как у человека, который наконец-то достиг давно желанного.

И молодежь, стоявшая по обеим сторонам забора, поняла, что именно он, Мышкин, сумеет донести до суда всю их боль, все их чаяния, все, что они передумали и перечувствовали в мрачных одиночках.

— Пусть говорит Мышкин!

Доверие товарищей растрогало Мышкина: он хотел поблагодарить их, сказать им, что речь уже давно сложилась у него в уме, он хотел тут же прочесть начало своей речи, но горло словно веревкой перетянуто.

Пришла на помощь Фрузя:

— Ипполит, напишите свою речь и передайте ее...

— Ковалику! — подхватил Войнаральский.

— Муравскому! Отцу Митрофану! — предложила одна из девушек.

— Рогачеву! — воскликнул Ковалик.

Послышался мощный бас Рогачева:

— Я предлагаю такую очередность. Мышкин передаст свою речь Муравскому, или, как его тут называют, «отцу Митрофану». Он автор «Безвыходного Положения», и его замечания будут ценны для Мышкина. Затем Муравский передаст речь со своими замечаниями по цепочке остальным.

На этом закончилось тюремное собрание.

Мышкину дали бумагу, карандаши, и он приступил к работе. Правда, отвлекали стуки справа и слева, и на эти стуки надо было отвечать. Весь корпус принимал участие в составлении речи: каждый вносил в нее что-то свое. Получил Мышкин и труд Муравского, его «Безвы-

ходное Положение». Это была толстая, хорошо сброшюрованная тетрадь. Убедительно и остроумно Муравский доказывал, что прокурор Желиховский, автор обвинительного акта, — шулер, что все его обвинение основано на лжи и клевете.

Работа Муравского привела Мышкина в восторг. Каждая строка «Безвыходного Положения», каждая фраза восстанавливали правду относительно событий и лиц, и это было очень важно, ибо Мышкин все же боялся, что личные испытания могут толкнуть его на путь преувеличений.

18 октября 1877 года повели сто девяносто три человека в суд. Чуть ли не целый дивизион жандармов с шашками наголо окружил измученных, изнуренных юношей и девушек, из которых многие передвигались на костылях, многие еле ноги волочили, многие кашляли надрывно. Но все были возбуждены, взволнованны.

Приветственные оклики, объятия, всхлипывания, слезы...

Странное шествие докатилось до здания суда и бурным потоком хлынуло в зал заседаний.

Суетятся приставы, нервничают жандармы, покрикивает толстый полковник.

Наконец разместили обвиняемых. Тридцать семь женщин усадили на скамьях для адвокатов; Мышкина, Войнаральского, Рогачева, Ковалика и Муравского устроили на особом возвышении, окруженном перилами, — эту клетку тут же прозвали «Голгофой»; остальные — на скамьях, предназначенных для публики.

— Суд идет! Встать!

Сияют звезды на шитых золотом мундирах, сверкают муаровые ленты, бренчат ордена. Сенаторы опустились в кресла, настороженно осмотрелись.

Кресла — глубокие, мягкие, а господам сенаторам неуютно. Совсем недавно они судили в этом же зале пятьдесят человек, и один из них, бородатый мужик Петр Алексеев, занес над ними свой увесистый кулак и предрек им близкую кончину... «Ярмо деспотизма разлетится в прах...»

А эти подсудимые? Что готовят они? Сколько среди них Алексеевых? Неведомое беспокоит, угнетает, страх

заползает в сердце... Потому-то так вежлив Ренненкампф, этот мордастый первоприсутствующий сенатор!

Первоприсутствующий приступил к опросу подсудимых о звании, вероисповедании, занятиях, летах...

— Ваше вероисповедание, обвиняемый Мышкин?

Прозвенел гибкий, бархатистый голос Мышкина:

— Я крещен без моего ведома по обрядам православной церкви.

На опросы ушло все утро. Председатель был сдержан, терпелив, а обвиняемые отвечали кратко, сухо.

Мышкин неотрывно следил за поведением судей, он видел, что они растеряны.

— Смотрите, — обратился он к Войнаральскому и Ковалику, — эти гордые павлины растеряли перья.

Скандал вспыхнул неожиданно. Когда формальный опрос был закончен, подсудимые потребовали перенести судебное заседание в более просторное помещение.

— Здесь нет публики! Вы устроили закрытое заседание! Вы лишаете нас гласности! Отказываемся приходить на ваш шемякин суд! — выкрикивал Рогачев.

— Удалить его! — распорядился первоприсутствующий.

Но, когда пристав хотел привести в исполнение это приказание, понеслись возгласы:

— Пусть выводят всех!

— Все разделяют это мнение!

Стоял шум, рокот сотен голосов.

И этот шум помог Ренненкампфу выйти из неловкого положения: удалить всех он не мог и не мог также оставить свой приказ невыполненным.

— Объявляю заседание закрытым!

Опять жандармы с шашками наголо, опять кольцо, и обвиняемых повели в... столовую.

Столы, накрытые белыми скатертями; салфетки, сложенные в виде митры католического епископа.

Мышкин уселся рядом с Фрузей. Она в белой блузке. Два золотых локона выбились из прически.

— Ип, какая роскошь!

— Улыбка палача.

— Но я благодарна палачу за эту улыбку! Я с тобой, близко-близко! Ип, милый, сколько раз я мечтала о таком счастье! Помню, однажды в камере было сумрачно, за окном лил дождь, на душе было очень скверно, и вдруг...

ты зашел в камеру, взял меня за руку. Ип, это не была галлюцинация, я ощущала тепло твоей руки, я слышала твое дыхание, я видела, как блестят твои глаза... Милый, мне было так хорошо, как... тогда... помнишь... на берегу Москвы-реки... в то утро...

— Господа! — раздался взволнованный голос у двери. — Принес вам неприятную новость!

Это был один из адвокатов.

Все вскочили с мест.

— Какая еще новость?!

— Сенаторы решили разбить всех обвиняемых на группы и каждую группу судить отдельно. Они утверждают, что судить всех скопом невозможно. Что вас слишком много для нормального процесса.

— Новая гнусность! — воскликнул Войнаральский.

— Ведь все привлечены по одному делу! — возвысил голос Мышкин. — Такое решение несогласно даже с их собственными законами!

Поднялся шум.

Второй день процесса. Подсудимые сидят мрачные, озлобленные. Прокурор — маленький, юркий, ехидный — приступил к чтению обвинительного акта. Одна ложь подгоняет другую. Часто, когда от прокурорского вымысла било в нос, как от навозной кучи, слышались выкрики из зала:

— Это позор для суда! Прокурор бесстыдно лжет!

Подсудимые вскоре потеряли всяческий интерес к обвинительному акту. Они стали меняться местами, перелезать через скамьи. Начавшие разговаривать вполголоса мало-помалу перешли на громкий говор, и зал превратился в громадный улей.

Пискливый голос прокурора утопал в общем шуме, а звонок председателя выбивался из сил, но никто не обращал на него внимания. В зале гудело: тут два товарища горячо заканчивали теоретический спор, начатый ими еще перестукиванием в крепости; там жених и невеста уславливались, как им быть после приговора, который, несомненно, разлучит их на долгие годы; здесь друзья юности спешили передать друг другу пережитое ими за годы одиночества. Бледные, исхудалые «кандидаты на смерть» грустно смотрели на тех, кто был еще в состоянии радоваться.

Чтение обвинительного акта закончено. Встал председатель, злой и суматошливый. Его бульдожье лицо поминутно менялось: то оно белое, то багровое. Он зачитал постановление суда: разделить всех подсудимых на семнадцать групп для отдельного суда над каждой группой.

Поднялся шум:

— Не имеете права! Произвол!

Нарастала буря. И, как удар раскатистого грома, голос Мышкина покрыл собой весь хор негодующих:

— Позор и стыд! Вы лицемерно взываете к правосудию, кричите о законности. Мы ясно и откровенно не признаем ваших законов, но вы, обвиняя нас в их нарушении, творите беззакония на каждом шагу!

С грозной отвагой глядя на врагов своих, отчеканивая каждое слово, бывший кантонист Мышкин бросал сенаторам в лицо одно обвинение за другим.

Все поднялись с мест, и зал точно сотрясался от взрыва негодования. Люди, просидевшие в одиночках по три-четыре года, ругали, поносили сановных судей.

Сенаторы почувствовали себя беспомощными: на них обрушился шквал. Они, сенаторы, знали, что творят неправое дело, но... такова воля царя!

И судьи сбежали, трусливо втягивая головы в плечи.

Но грозный голос Мышкина преследовал их:

— Вы позорно составили обвинительный акт, в котором нет ни смысла, ни правды, в котором вы хотите перед лицом населения выставить нас мальчишками, недоучками, людьми без принципов, без совести, без мысли! Наглость лжи и трусости — вот характеристика ваших действий!

Ворвались в зал жандармы. Они разъединяли обвиняемых, сбивали их в мелкие группы и среди общего шума и криков выталкивали в коридор.

19

Тюрьма бурлит: идет перестук, «веревочная почта» работает всю ночь, из раскрытых форточек слышатся целые речи.

«Протестовать! Протестовать!» — это слово бежит с этажа на этаж, из камеры в камеру.

Первая группа не пошла на суд—их потащили силой,

но и там, в зале суда, они вели себя так дерзко, что первоприсутствующий был вынужден отправить их обратно в тюрьму.

То же случилось и со второй группой, третьей, четвертой...

15 ноября наступила очередь московской группы, двенадцатой по порядку.

— Иду на суд, — заявил Мышкин смотрителю, явившемуся к нему в камеру с четырьмя надзирателями, чтобы силой отправить его в зал заседаний.

— Вот не ожидал, — искренне обрадовался смотритель. — И в самом деле, господин Мышкин, какой смысл вам бунтовать: плетью обуха не перешибешь.

— Вы правы, господин смотритель, плетью обуха не перешибешь, но зато можно этот самый обух вырвать из рук палача!

— Уж вы скажете, господин Мышкин. Палач — он не всегда палач, бывают палачи и по принуждению.

— Это еще хуже! — оборвал его Мышкин. — Идемте, господин смотритель. О палачах поговорим с вами в другой раз.

Вся двенадцатая группа явилась на суд. Торжественный стол с красным сукном и золотыми кистями, судьи в бриллиантовых звездах. На «Голгофе» — Мышкин, Войнаральский, Рогачев, Ковалик; на скамьях — человек тридцать.

— Подсудимый Мышкин! Вы обвиняетесь в том, что принимали участие в противозаконном обществе, имевшем целью ниспровержение и изменение порядка государственного устройства. Признаете ли вы себя виновным?

Много лет ждал Мышкин этой минуты! Все тюрьмы, все тюремщики промелькнули перед ним, ожили мысли, продуманные им в гробовой тишине Петропавловки.

Но Мышкин не дал горечи подступить к горлу, он не дал сердцу захлебнуться в боли — поднялся, строго посмотрел на раззолоченных сенаторов и отчетливым голосом произнес:

— Я признаю себя членом не сообщества, а социально-революционной партии... Основная задача социально-революционной партии — установить на развалинах теперешнего государственно-буржуазного порядка такой общественный строй, который удовлетворял бы требова-

ниям народа в том виде, как они выразились в крупных и мелких движениях народных... Осуществлен он может быть только путем социальной революции....

Судьи переглянулись: неужели и этот занесет кулак?

Ренненкампф перехватил улыбку более опытного сенатора Петерса, поднял руку и мягким голосом сказал:

— То, что относится к вопросу о вашей виновности, вы уже достаточно выяснили. Остальное вы можете сказать впоследствии.

Наступила тишина. Все головы обернулись к Мышкину. Он стоял на «Голгофе» прямо, четко, как часовой на посту. Бледное лицо, шапка черных волос, высокий лоб; глаза смотрят сурово и смело. Он было рванулся вперед, но тут же сам себя одернул, мысленно сказав себе: «Я должен быть так же спокоен, как этот мордастый сенатор».

Не повышая голоса, Мышкин сказал:

— Я полагаю, что для суда весьма важно знать, как мы относимся к революции. Ближайшая наша задача заключается не в том, чтобы вызвать, создать революцию, а в том, чтобы только гарантировать успешный исход ее, потому что не нужно быть пророком, чтобы при нынешнем отчаянно бедственном положении народа предвидеть как неизбежный результат этого положения всеобщее народное восстание. Ввиду неизбежности этого восстания нужно только позаботиться, чтобы оно было возможно более продуктивно для народа, а главное — предостеречь его от всех фокусов, которыми западноевропейская буржуазия обманывала тамошнюю народную массу и одна извлекла для себя выгоды из народной крови, пролитой на баррикадах...

Сенаторы опять переглянулись: перед ними стоял бледный, изнуренный человек. Он говорил спокойно, не разрешая себе ни единого резкого выпада против суда. Остановить его, оборвать не было причины.

— Первое движение интеллигенции в начале шестидесятых годов было отголоском того сильного народного волнения, которое было во время крестьянской реформы вследствие того, что народ не удовлетворялся этим мнимым своим освобождением. В наши дни обеднение народа, истощаемого непомерными платежами и поборами, дошло до того, что нужно быть совершенно глухим, чтобы не слышать громкого ропота народа. Этот ропот и вы-

звал движение семьдесят третьего — семьдесят пятого годов... Движения интеллигенции не созданы искусственно, а составляют только отголоски народных волнений...

Ренненкампфа возмущало спокойствие Мышкина. Казаться несправедливым он не хотел, но повода для «зажатия Мышкину рта» также не находил. А он видел, как солдаты охраны жадно слушают оратора.

И Ренненкампф решился:

— Я вам задал вопрос о том, признаете ли вы себя виновным. Вы себя признали принадлежащим к незаконному обществу. Я не вижу, что может еще остаться для выслушивания суду по этому вопросу.

— Я не сказал, что признаю себя виновным, и не мог сказать этого, потому что, напротив, считал и считаю своею обязанностью, долгом чести стоять в рядах социально-революционной партии! — Мышкин впервые повысил голос.

В зале стало так тихо, что слышно было шамканье престарелого Лукьянова — волостного старшины, представляющего «народ» в судебной коллегии.

— Ну да, — уже раздраженно промолвил Ренненкампф, — вы признали себя членом партии и достаточно разъяснили свое преступление.

— Но для суда необходимо еще знать причины! — оборвал его Мышкин. — Возникновение социально-революционной партии совершилось благодаря, во-первых, влиянию на интеллигенцию передовой западноевропейской социалистической мысли и крупнейшего практического применения этой мысли — образования Международного общества рабочих, и, во-вторых, благодаря уничтожению крепостного права, потому что после крестьянской реформы в среде неподатных классов образовалась целая фракция, испытавшая на самой себе всю силу гнета государственного экономического строя, готовая откликнуться на зов народа и послужившая ядром социально-революционной партии. Фракция эта — умственный пролетариат. Кроме того, крестьянская реформа оказала три важные услуги социально-революционному делу. Первое — с девятнадцатого февраля 1861 года начинается развитие капиталистического производства с его неизбежным спутником — борьбой между капиталом и трудом. Второе — крестьянская реформа, вместе с другими реформами, послужила для нас наглядным доказа-

тельством... полной несостоятельности политических реформ в деле коренного улучшения народного быта... Народ доведен до отчаянно бедственного положения, до небывалых хронических голодовок... Третье — крестьянин, освобожденный от помещика, стал лицом к лицу с представителями губернской власти, увидел, что ему нечего надеяться на эту власть, нечего ждать от нее, увидел, что он жестоко обманывался, веря в царскую правду...

Председатель, нервно постукивая пальцами по столу, промычал:

— Вы достаточно уже выяснили свою мысль!

При ветре трава клонится к земле, молодое деревце качается, а кряжистый дуб и не шелохнется. Таким кряжистым дубом стоял сейчас Мышкин перед своими судьями. Он видел злобу в их глазах, он слышал их змеиное шипение, но все это действовало на него, как ветер на ствол дуба.

Мышкин не получил «слова», он вырвал у суда право говорить, и этим добытым в бою правом он хотел воспользоваться до конца. Пусть шипят сенаторы, пусть бросают злобные взгляды, а он выскажет все, что созрело в месяцы странствий по сибирским рекам, в бессонные тюремные ночи, в спорах с товарищами, а зачастую в спорах и с самим собой.

— Мне необходимо выяснить эту сторону вопроса, почему я, сын крепостной крестьянки и солдата, видевший собственными глазами уничтожение крепостного права, не только не благословляю правительство, совершившее эту реформу, но стою в рядах отъявленных врагов его. Когда крестьяне увидели, что их наделяют песками да болотами, да такими клочками земли, на которых немыслимо ведение хозяйства, а между тем за эти клочки наложили громаднейшие платежи, превышающие в несколько раз доходность наделов... Рядом с этим крестьяне, превратившиеся в орудие капиталистического производства, поняли всю прелесть так называемого свободного договора между голодным тружеником и сытым капиталистом... Поняли также, что в спорах между капиталистом и рабочим правительство всегда становится на сторону первого... Поняли это и не могли не отнестись с еще большей ненавистью к угнетающей их государственной власти...

— Я не могу позволить вам порицать правительство!

Мышкин улыбнулся:

— Господин первоприсутствующий! Человек, совершающий политическое преступление, самим этим фактом порицает уже правительство. Если мое мнение ошибочно, то оно повредит только мне. А если в нем есть правда, то тем менее оснований зажимать мне рот.

— Я не зажимаю вам рот, я говорю только, что не могу допустить порицать правительство.

— Не должно быть такой власти, которая принуждала бы под страхом наказания лгать, лицемерить.

— Вас и теперь никто не принуждает лгать, лицемерить!

— По вашим законам...

Ренненкампф вскочил, зарычал:

— Вы не можете порицать законов!

На эту злобную реплику Мышкин спокойно ответил:

— В желанном нам строе не должно быть такой силы, которая бы заставила людей насильно, под конвоем жандармов, шествовать в христианский или иной рай.

— Я не могу дозволить таких выражений! Я не могу дозволить!

Мышкин несколько наклонился вперед — в облике и в позе его достоинство:

— Я высказываю свои убеждения.

— Нам нет дела до ваших убеждений!

— А за что же я сижу, как не за убеждения?

— Не за убеждения, а за действия!

— За действия, которые служат только выражением моих убеждений, — вежливо, склонив при этом голову, ответил Мышкин.

И это еще больше разъярило сенатора Ренненкампфа: он решил прекратить выступление Мышкина, выступление, которое превратилось в поединок между ним и подсудимым, а по выражению лиц адвокатов и своих товарищей по судейской коллегии Ренненкампф видел, что поединок закончился не в его пользу.

— Вы признаете себя виновным?

— Могу ли я говорить о причинах преступления? — ответил Мышкин вопросом на вопрос.

— После! Я спрашиваю: вы признаете себя виновным?

— Я не буду отвечать ни на какие ваши вопросы,

прежде чем успею дать необходимые разъяснения. — Суровым стало лицо Мышкина, гневом зажглись глаза, на лице застыла судорога негодования.

— Так, садитесь! Вызвать свидетеля Николая Абрамовича Гольдмана!

В зал ввели свидетеля Гольдмана. Высокий, грузный, он шел неуклюже, точно со спутанными ногами. В глазах — недоумение, любопытство, страх. Проходя мимо Ефрузины Супинской, он на мгновение остановился, и лицо его озарилось улыбкой.

— Скажите, свидетель Гольдман...

Маленький и юркий, как болонка, прокурор забросал Гольдмана ехидными вопросами: не родственник он Мышкину? Если обвиняемый Мышкин не родственник, то не родня ли свидетелю еврей Гольдман, часовщик на Лиговке? А Ренненкампф уставился на робкого Гольдмана, как бульдог, готовый в любую минуту вцепиться ему в горло.

Как изменился Гольдман! Побелел, исхудал, руки дрожат. Говорит тихим и хриплым голосом. Он смотрит на прокурора, как замухрышка-мальчонка смотрит на великовозрастного драчуна. Отвечает на вопросы несмело: боится подвоха, говорит о каких-то мелких денежных расчетах...

Мышкин решил выручить свидетеля. Он поднялся и решительным голосом сказал:

— Прошу сообщить мне о тех наиболее важных частях судебного следствия, которые имеют непосредственное отношение ко мне... Я настаиваю, потому что мне ясна лживость прокурорских выводов.

Ренненкампф крикнул:

— Прошу не употреблять подобных оскорбительных выражений!

Крик сенатора не смущает Мышкина.

— Значит, прокурору можно говорить и писать что ему угодно, а мы все должны молчать. — Он повернулся к своим товарищам по «Голгофе», повел плечами и, снова повернувшись к суду, продолжал: — Перехожу к другому предмету. Хочу заявить о тех незаконных, насильственных мерах, которые были приняты против меня во время предварительного ареста. После первого же допроса я... был закован сначала в ножные кандалы, а спустя некоторое время еще и в наручники. Одновремен-

но с этим я был лишен права пользоваться не только чаем, но даже просто кипяченой водой.

— Ваше заявление совершенно голословно!

— О заковке в кандалы имеется протокол в деле. До какой мелочности доходит мстительность властей по отношению к политическому преступнику, в котором они видят личного врага, лучше всего говорит следующий, правда мелкий, но очень характерный факт. Когда я унизился до ничтожной просьбы о дозволении носить под кандалами чулки, потому что на ногах образовались язвы от кандалов, то даже на эту ничтожную просьбу я получил отказ...

— Особому присутствию не подлежит рассмотрение действий лиц, принимавших эти меры, — монотонно, скучно произнес Ренненкампф.

Мышкин в первый раз разрешил себе резкий жест: он стукнул кулаком по барьеру и сказал возмущенно:

— Итак, нас могут пытать, мучить, а мы не только не можем искать правды — конечно, я не настолько наивен, чтобы ожидать правды от суда и различных властей, — но нас лишают даже возможности довести до сведения общества, что на Руси обращаются с политическими преступниками хуже, чем турки с христианами!.. Можно ли удивляться, что в нашей среде оказался такой громадный процент смертности и сумасшествия! — И сразу погрустнел его голос: — Да, многие, очень многие из наших товарищей сошли в могилу, не дождавшись суда.

— Теперь не время и незачем заявлять об этом.

Сказав это, Ренненкампф поднялся: он хотел выйти из зала, чтобы не слышать дерзостей Мышкина, чтобы не видеть его презрительной улыбки.

Председательство перенял сенатор Петерс. Голый череп, острый длинный нос, выдвинутая нижняя челюсть, большие, лошадиные желтые зубы и пустые глаза. Петерс в отличие от Ренненкампфа не чувствовал личной злобы к обвиняемым, он даже не видел в них живых людей — для него это были субъекты, которые дают возможность ему, сенатору Петерсу, доказать царю свое холопское усердие. Он, сенатор Петерс, должен осудить этих субъектов, ибо такова воля царя, и важно ли, что говорят или будут говорить эти субъекты? Разве мужику Петру Алексееву помог занесенный кулак? Пусть... пусть...

Но Ренненкампф не успел выйти из зала: Мышкин обратился к нему, именно к нему:

— Господин первоприсутствующий! Неужели мы ценой продолжительной каторги, которая ждет нас, не купили себе даже право заявить на суде о тех насилиях, физических и нравственных, которым подвергли нас? На каждом слове об этом нам зажимают рот.

— И тем не менее вы высказали все, что хотели, — отрывисто ответил Ренненкампф, направляясь к двери.

— Нет! Это еще не все! Если позволите...

Ренненкампф повернулся. Петерс, взяв в руки колокольчик, сухо промолвил:

— Нет, теперь этого не могу дозволить.

Мышкин быстрым взглядом окинул товарищей, сидящих на скамьях сбоку от него, встретился глазами с Фрузей, задержался на мгновение, выпрямившись, вскинув голову, сказал властным голосом человека, привыкшего отдавать приказания:

— Теперь я могу, я имею право сказать, что это не суд, а простая комедия или нечто худшее, более отвратительное, позорное, более позорное...

Петерс сразу взволновался: вот он — новый Петр Алексеев! И, вспомнив свой позор на «процессе 50-ти», истошно заорал:

— Уведите его! Уведите!

К Мышкину бросился жандармский офицер, но подсудимый Рабинович загородил собой дорогу на «Голгофу». Завязалась борьба. Одолев Рабиновича и оттолкнув подоспевшего на помощь Рабиновичу подсудимого Стопани, офицер ворвался в клетку, одной рукой прижал к себе Мышкина, другой стал зажимать ему рот. Мышкин изворачивался, отталкивал от себя жандармскую руку и продолжал все громче и громче начатую им фразу:

— ...более позорное, чем дом терпимости: там женщина из-за нужды торгует своим телом, а здесь сенаторы из подлости, из холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют чужой жизнью, истиной и справедливостью, торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!

На помощь офицеру бросились жандармы. Началось побоище. Мышкина смяли, скрутили, потащили из зала. Вслед за ним волокли Рабиновича, Стопани...

Поднялся шум, раздавались стоны, слышался истерический хохот.

Старушка одна, из публики, забралась на скамью и кричала:

— Варвары! Что вы делаете? Живодеры проклятые!

Со всех сторон неслось:

— Мерзавцы!

— Негодяи! Холопы!

— Это не суд!

Защитники, приставы, публика, жандармы — все двигалось, волновалось.

В бой вступали даже те из подсудимых, кто еле на ногах держались, — они хотели опять стоять плечом к плечу со своими товарищами по борьбе.

Но жандармов было чересчур много: бунт обвиняемых был подавлен, задушен.

Их выволокли из зала, окружили кольцом...

Судьи сбежали.

Сенатор Петерс опять оскандалился: и на этот раз, как после речи Петра Алексеева, он забыл объявить заседание закрытым.

...В этот же день перевели Мышкина в Петропавловскую крепость: для него суд кончился, хотя Особое присутствие заседало до 23 января 1878 года.

20

В речь на суде Мышкин вложил всю свою ненависть, все свое презрение к существующему порядку; он сознательно останавливался на мелких подлостях царских приспешников, чтобы показать народу, с каким врагом борются русские революционеры.

Суд ушел в прошлое, уже стал историей. А каково будущее?

Прошлым Мышкин недоволен: зачастую чувства довлели над разумом и не только у него, но и у всех его товарищей. Они боролись во имя «неосмысленной ненависти к существующему порядку и неосмысленной любви к народу». Надо покончить с «неосмысленностью»! Надо трезво, последовательно идти к большой цели, не давая себя увлечь эффективными фейерверками.

На суде Мышкин узнал от Сони Перовской (также привлеченной по «делу 193-х», но до суда отданной род-

ственникам «на поруки»), что некоторые его товарищи создали, наконец, организацию — разветвленную, гибкую, со строго продуманной системой конспирации, с тайной типографией. Сообщение обрадовало Мышкина, однако его смущало, что товарищи из новой организации слишком много говорят о выстреле Веры Засулич. «Как бы они не увлеклись выстрелами!»

...В первую же ночь Мышкин убедился, что не его одного водворили обратно в Петропавловскую крепость. Рядом в камере — Рогачев, дальше — Войнаральский, Ковалик, Муравский...

— «Я буду вкладывать записки,—простучал Мышкин Рогачеву, — в мякиш черного хлеба и прикреплять к водосточной трубе, мимо которой ходим на прогулку».

Завязалась переписка. Мышкин издевался над теми, которые наивно верили, что «сам народ создаст после революции лучшую форму правления».

В одной записке он писал:

«Революционеры должны теперь же выработать форму правления! Я не верю, чтобы весь народ, как единый человек, был проникнут одним ясно осознанным идеалом. Я не верю, чтобы масса русского народа в настоящую минуту обладала несравненно большим политическим смыслом и умением противостоять влиянию мнимых друзей, чем у французов в 1789, 1830, 1848 и в 1871 годах. Я знаю, что из среды одного и того же народа могут выходить и вандейцы, и жирондисты, и поклонники Марата, и национальная гвардия Коммуны, и версальские войска».

В другой записке:

«Предположим, что совершается революция. Польша отделяется и организует республику. Финляндия провозглашает свою независимость. Остзейские бароны умоляют Бисмарка принять их под свое покровительство. «Хохлы» стараются порвать связь с «москалями». В Петербурге либералы созывают земский собор и толкуют, кому вручить конституционную корону. Жандармы и попы и словом и оружием пропагандируют безусловную покорность «предержащим властям». Ну, а мы что будем делать?

Мы должны заняться политической борьбой. Мы знаем, что хотя Парижский отдел Интернационала и исключал сначала из своей программы всякое участие в поли-

тической борьбе, но, лишь только разразилась революция, члены его волей-неволей должны были примкнуть к одной из политических партий. Мне кажется, что первоначальное игнорирование политических вопросов и было причиной того, что у французских членов Интернационала, разошедшихся в этом отношении с Марксом, не оказалось определенной программы деятельности при начале последнего переворота во Франции».

Он выступил и против Бакунина: революция не рождается из пепла, ее надо подготовить, и подготовкой должна руководить партия с четкой политической программой, вернее, с двумя программами: максимум и минимум...

Поднялась буря! Бакунинцы и лавристы вступили в яростный спор. На стороне Мышкина оказался один Рогачев. Они возражали страстно: перестуком, записками.

Сколько труда вложил Мышкин в этот спор! Не все его записки доходили до адресатов: тюремщики, словно гончие, шли по его пятам, и не одна искусно заделанная в мякиш записка попадала в лапы жандармов. Приходилось Мышкину стуком дублировать записку: он — Рогачеву, тот — Ковалику и так далее.

«Наиболее пригодной формой представляется мне федерация областей с возможно полной самостоятельностью городских и сельских общин. В случае революции первым шагом должно быть разложение государства на составляющие его области и предоставление каждой области самостоятельного устройства своих дел. Они должны быть связаны обязательствами помогать друг другу».

Передав «по сухому телеграфу» эту «записку», Мышкин, не дожидаясь ответа от товарищей, дополнял, разъяснял, что при полной самостоятельности областей у них должен быть единый центральный орган для руководства внешней политикой, обороной, путями сообщения, телеграфом и почтой.

Мышкина поддерживал Рогачев. Его записки были категоричны и так же хорошо аргументированы, как и записки Мышкина.

«Пора нам понять, что крестьянская реформа — это переход от рабского строя к капиталистическому. Я так же, как и Мышкин, убежден, что в недалеком будущем у нас образуется пролетариат. Мы в России повторим то,

что совершается на Западе. Я не согласен с теми, кто говорит, что теперь возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен, потому что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Давайте организуем народную партию, партию, которая работала бы среди фабричных и среди сельских. Я согласен с Мышкиным и в том, что наши книжки неудовлетворительны, потому что народу не нужны книжки, в которых говорится о его нужде и о каких-то давно прошедших восстаниях, народу нужны книжки, в которых описывался бы подлый наш строй и давались бы программы, с чего начать и чего требовать».

...Тянулись дни, недели...

В последних числах января нового, 1878 года сенаторы собрали обвиняемых по «процессу 193-х» для объявления им приговора. Друзья встретились вновь! Объятия, взволнованные речи.

Чиновник читал:

«По указу его императорского величества, Правительственный Сенат в Особом присутствии для суждения дел о государственных преступлениях...»

Рядом с Мышкиным стояла Фрузя — тонкая, гибкая, она прижималась к нему плечом.

— Ип, как я горжусь тобой!

Мышкин смотрел на багровые пятна, что рдели на ее щеках, и его сердце сжималось от боли. Вместо слов — тех значительных слов, что остаются в памяти на всю жизнь, — из его груди вырвался протяжный стон.

— Ип, милый, где бы ты ни был и что бы с тобой ни случилось, никогда не забывай, что у тебя есть преданный и любящий друг.

К ним подошла Софья Перовская. Ее за недостатком улик оправдали по процессу.

— Ипполит, какие поручения? На волю и для вас лично.

— Матери напишите, что я здоров. А мне лично ничего не нужно: меня благодарное правительство взяло на свое полное иждивение.

А чиновник все читал, читал...

Мышкина приговорили к ссылке «в каторжные работы в крепостях на десять лет», Ефрузину Супинскую «сослать на жилье в отдаленных губерниях на четыре года...».

Мышкин почувствовал, как задрожало плечо Фрузи, как вся она, словно отяжелев вдруг, повисла на его руке. Он обнял ее за талию, привлек к себе:

— Фрузя, жена, когда тебе будет очень плохо, позови меня, и я приду, приду сквозь стены, сквозь решетки... приду...

— Ип, не о себе я... Как ты? Десять лет... — Она вскинула голову, улыбаясь, заглянула ему в глаза: — Я приеду к тебе! Четыре года не очень большой срок. Освобожусь и... сейчас же к тебе! Ты жди меня. Вместе нам будет хорошо. Правда, Ип? Нам хорошо будет вместе?

В это мгновение они оба увидели серебристую гладь Москвы-реки, острую тень от монастырской башни, в лицо дохнуло свежестью летнего утра, и им действительно стало хорошо...

Приговор вынесен.

В зале — ни выкрика, ни стона: могильная тишина.

«Все, что есть высокого и благородного в природе человека, казалось, было сосредоточено в этой горсточке молодежи. Преданные своей идее, они хотели принести себя в жертву целиком, без остатка... Социализм был их верой, народ — их божеством».

Они, революционеры 70-х годов, плохо разбирались в законах общественного развития: они не учитывали расстановки классовых сил в стране. Веря в громадные потенциальные силы крестьянства, они не понимали, что эти силы могут полностью проявиться лишь в союзе с нарастающим и изо дня в день крепнущим рабочим классом. Даже в яркой речи Мышкина на суде, несмотря на местами глубокий и верный анализ социальных явлений, проглядывают недостатки, присущие взглядам народников. Будущий общественный строй Мышкин рисовал себе как «союз независимых производственных общин»; основной силой в будущей революции он считал крестьянство — правда, в содружестве с рабочими и «умственным пролетариатом». Но эта молодежь искренне верила, что самоотверженность, доходящая до полного самоотречения, способна сделать массы восприимчивыми к освободительным идеям, способна разбудить дремлющие силы народа и поднять его на борьбу с царем.

И эту горсточку героической молодежи смяли, уничтожили, столкнули с исторической арены, а на их место уже выдвигалась более активная фигура террориста.

21

После объявления приговора Мышкина отвезли обратно в крепость. Он был приятно удивлен: камера с изразцовой печью, с большим окном. Кровать с волосяным матрацем, покрытым тонкой простыней и одеялом, с подушкой в белой наволочке. Стол с лампочкой, деревянный со спинкой стул. Нательное белье дали чистое, тонкое; халат точно по мерке сшит; теплые туфли.

Мышкин переоделся, бросился на кровать и мгновенно уснул.

Настало утро. Явился смотритель с двумя жандармами и двумя унтерами. Они принесли таз, мыло, воду, полотенце.

Потом завтрак: чай, белая булка...

Мысли кружились вокруг одной точки, и кружились так стремительно, что не давали Мышкину сосредоточиться на одном, на самом важном, хотя, если бы сейчас спросили Ипполита Никитича, что он считает «самым важным», он не мог бы ответить. Чересчур много навалилось на его человеческий мозг! Все кончилось, а в разгоряченном сознании цепко держится мысль: «Нет, это не конец... надо еще что-то предпринять... надо сделать что-то такое, чтобы по-своему повернуть приговор...»

Куда повернуть? В любую сторону! Даже к могиле! Но тот короткий путь, от камеры до могилы, должен быть прожит с достоинством! Приговор лишил его любви, свободы, света, воздуха, но судьи не могут отнять у него гордости борца. Эту гордость надо давать чувствовать тюремщикам...

«Надо ли? — возникло тут же сомнение. — Ведь десять лет не такой уж большой срок. Фрузя освободится через четыре года, приедет к нему на каторгу, а вдвоем они уж найдут выход... Убегут! Опять — свобода, работа...»

«Но десять лет? Ничего, что десять лет! Он все стерпит: голод, холод, спертый воздух. А если тюремщики захотят склонить долу его голову? Если захотят его сделать безответным, как раба? Стерпит ли он? Нет! Но враги не заметят его боли — он сбежит прежде, чем палачи восторжествуют над ним. Он найдет возможность вырваться из тюрьмы — во всяком случае, будет беспрерывно пытаться!»

Принесли обед: щи с мясом, жаркое, сладкое. Дали салфетку и серебряную ложку.

Обед был такой обильный, что Мышкин не мог его одолеть.

— Прошу сохранить жаркое на ужин, — обратился он к смотрителю, не глядя на него.

— Хорошо, — серьезно ответил тот, — будем давать на ужин.

Смотритель держался скромно, жандармы были услужливы. На сердце Мышкина стало покойнее.

Отдыхая после обильного обеда, он думал о Фрузе, о матери, о том, какие книги выписать из библиотеки.

Бодро он встретил следующий день. Сделал гимнастику, умылся, совершил обычную «утреннюю прогулку», подсел к столу — вдруг слышит резкий окрик:

— Раздеться!

Оглядывается: жандармы уносят тонкое постельное белье; на кровати лежит куча старого, серого хлама.

«Нашли чем огорчить», — пришла мысль.

Мышкин разделся. Жандармы подхватили снятую одежду.

— Кончился ломбард! — решительно заявил смотритель и, описав ключом в воздухе что-то похожее на вопросительный знак, звякнул шпорами и вышел из камеры. За ним — жандармы, унтеры.

Ипполит Никитич принялся осматривать новое приданое — настоящее каторжное тряпье: дерюга-рубаха, грязные порты с разрезами для кандалов, серые штаны, холщовая куртка.

Кончилось облачение, Мышкин идет к столу.

Кружка чистой воды, краюха плохого ржаного хлеба...

Случайность? Или издевательство?

Раздраженный, уже не в силах сосредоточиться на чем-либо, ждал Мышкин обеда.

Несут. Оловянная миска с чем-то мутным, в тарелке каша-размазня без масла. Деревянная ложка.

«Это система, давление на психику, — убедил себя Ипполит Никитич, — не стоит обращать на это внимание».

— Дайте книгу! — сказал он грубо.

— Не полагается, — с ехидной улыбкой промолвил смотритель. — Особенно таким, как ты.

— Ну и шут с тобой!

Мышкин принялся за обед.

Наступила ночь, теплая и тихая, такая тихая, что на открытом воздухе, казалось, пламя свечи не шелохнется.

Стучать, говорить с товарищами не хотелось. Мышкин прижался лбом к стене... Простоял всю ночь.

Звезды меркли, потянуло предрассветным холодом. Внизу, под окном, прошла смена, послышалось бряцанье ружей.

Опять все стихло.

Мышкин отошел от окна, прилег, впал в полузабытье.

Ипполита Никитича Мышкина правительство решило отправить в селение Печенеги, Харьковской губернии, в строгую, мертвую Ново-Белгородскую каторжную тюрьму.

22

Софья Перовская была оправдана по суду. Жандармам не удалось добыть улик для ее осуждения. Но, зная подлые повадки царских судей, Софья Львовна скрылась немедленно после вынесения приговора и занялась подготовкой к освобождению Мышкина.

Для Софьи Перовской Мышкин был не только ярким выразителем дорогих ей идей, это был друг, какие бывали в то время только в революционных кружках, поглощавших человека целиком, со всеми его симпатиями и помыслами, где чувство дружбы являлось воплощением не только сердечного влечения, но и идейного созвучья.

Перовская организовала наблюдение за Петропавловской крепостью, в которой содержался Мышкин, и за доро́гой, по которой его повезут, и за вокзалом, с которого его должны будут отправить в Ново-Белгородскую тюрьму. Она составила несколько боевых групп с таким расчетом, чтобы каждая группа могла справиться с конвоем.

Но проведали жандармы о затеянном или только догадывались о нем — как бы то ни было, жандармы произвели несколько фальшивых маневров, ввели боевиков в заблуждение и, вопреки обычаю, посадили Мышкина в поезд не на «арестантской платформе», а на товарной станции.

23

Грацилевский — смотритель Ново-Белгородской каторжной центральной тюрьмы — был приятно поражен: «страшный» Мышкин, о котором его предупредили специальным секретным письмом, оказался совсем нестрашным.

Грацилевский человек опытный, с наметанным глазом. При первой же встрече он безошибочно определяет характер вновь прибывшего политического арестанта.

При «приемке» сталкиваются две враждебные стихии: благородство и хамство. Юноша, мечтавший осчастливить человечество, попадает в окружение людей, которым по инструкции полагается быть грубыми, даже жестокими...

Юноша лишился всего: свободы, любви, мечты, у него осталось лишь одно — человеческое достоинство, и именно это человеческое достоинство норовят унизить тюремщики. Хамоватые окрики, презрительное «ты», понукания и тычки — все это рассчитано на взрыв, на бунт уязвленной гордости, чтобы этим бунтом оправдать более жестокие поступки.

А «страшный» Мышкин не взрывался, не бунтовал. Он решил, что в тюрьме нужно или, сохраняя полное хладнокровие, спокойно покоряться своей участи, или же, если вступать в борьбу, то только с тем, чтобы не остаться в живых. Ничем, убедился он, нельзя так порадовать тюремщиков, как доставить им случай надругаться над тобой, и ничто не может так сильно злить их, как ясность духа и спокойствие, которых не могут сломить все измышленные ими пытки.

Мышкин сам выложил из карманов все, вплоть до носового платка, поднял руки кверху и вежливо предложил: «Обыщите».

Когда же надзиратель, совсем без нужды, лишь затем, чтобы подчеркнуть бесправность каторжника, зачастил: «Повернись направо», «Повернись налево», Мышкин, в отличие от остальных арестантов, не только не протестовал против нарочитой грубости, а выполнял все распоряжения с солдатской четкостью. Только в глазах его, чуть-чуть сощуренных, и в уголках крепко сжатых губ по временам появлялась такая презрительная ухмылка, что смотритель Грацилевский, безмолвно наблюдавший эту

сцену, счел нужным одернуть слишком ретивого надзирателя:

— Чего возишься? Кончай обыск!

Мышкин действительно заставил себя быть «нестрашным». Он знал, что в каждой тюрьме своя система унижений, но, чтобы успешно бороться с этой системой, нужно в первую очередь видеть ее в действии.

Хотя не только это интересовало сейчас Ипполита Никитича: он хотел поскорее, без осложнений, без инцидентов очутиться в камере, на месте своего «постоянного жительства».

В Петербурге его переводили из тюрьмы в тюрьму, всюду он был «временным жильцом», и как человек, переехавший в гостиницу на несколько часов, не распаковывает своих чемоданов, так и Ипполит Никитич, кочуя с места на место, не считал нужным вырабатывать «план дальнейших действий». Он знал: жить — значит бороться, а бороться можно только на свободе. Десять лет каторги — это вечность. Надо эту «вечность» сократить до минимума.

Следовательно — побег! Скорее в камеру, чтобы осмотреться, прикинуть, взвесить...

Камера смутила Мышкина: сумрак, малюсенькое оконце где-то под потолком; кровать без тюфяка, без подушки: жестяная кружка на столике, и... тишина, глухая, пустая, без единого шороха.

...Время идет, тянутся дни, похожие один на другой.

Вечер. Тишина. Вдруг из 7-й камеры раздается громкий голос, резко отчеканивающий каждый слог:

— Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да! Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да!

Надзиратель подбегает к двери.

— Чего орешь? Замолчи, не то я на тебя наручни надену!

Мышкин не обращает внимания на угрозу:

— Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да! Я тре-бу-ю...

Утром после завтрака голос Мышкина опять взбудоражил тюрьму:

— Я тре-бу-ю...

В коридоре беготня, шум, борьба — Мышкина волокут в карцер.

Это был погреб со сводчатым потолком. При запертых дверях в нем водворялась абсолютная темнота: не оста-

валось ни одной светлой точки, на которой мог бы остановиться глаз. Ни сидеть, ни лежать не было на чем. Стоять также нельзя было: холод и сырость были настолько велики, что Мышкин принужден был непрерывно двигаться, ощупывая каждый свой шаг, чтобы не разбить голову о низкие каменные своды.

...Мышкина ведут из карцера. Он не идет, а висит на руках у надзирателей. Голова поникла; глаза закрыты, ноги как плети.

Но, очутившись в общем тюремном корпусе, Мышкин оживает: он отталкивает от себя надзирателей и в полный голос бросает в мертвую тишину:

— Я тре-бу-ю фи-зи-чес-ко-го тру-да! Я тре-бу-ю физи-чес-ко-го...

В камерах заволновались, раздались выкрики:

— Смотрителя!

— Смотрителя!

Только теперь понял Грацилевский, что с Мышкиным ему будет нелегко.

— Хорошо, — сказал он, чтобы прекратить шум. — Я распоряжусь.

В этот же день было разрешено «политическим» пилить и колоть дрова на свежем воздухе!

Потекли недели, месяцы — пустые, мертвые, и в эту мертвую пустоту лишь изредка врывались шумы живой жизни... Где-то слышалось перестукивание, кто-то меряет шагами свою келью, и кандалы лязгают, лязгают, вот раздается в одной из камер протяжный стон...

Но были и шумы, которые до слез угнетали Мышкина. Студент Боголюбов, тот, кто в Петербурге на тюремном дворе не снял шапки перед градоначальником Треповым, за что обиженный сатрап приказал его высечь, а скромная провинциальная девушка Вера Засулич, возмущенная бесчеловечностью Трепова, поехала в Петербург специально для того, чтобы всадить две пули в генеральскую грудь, — этот Боголюбов не выдержал мертвой пустоты Ново-Белгородской тюрьмы: его разум помутился.

Сумасшествие Боголюбова сказалось в том, что он беспрерывно говорил, шагал по своей камере днем, вышагивал ночи напролет и говорил, говорил, а кандалы, точ-

но живые собеседники, на разные голоса поддерживали безумолчный «разговор» сумасшедшего: то они грохотали, как бы угрожая кому-то, то тоненько вызванивали, как бы жалуясь кому-то, то суматошливо лязгали, как бы возмущаясь чем-то...

Смеркается. Сумерки становятся все гуще. Гулявшие возвратились в свои камеры.

Заиграйте, гусли-мысли,
Я вам песенку спою, —

слышится вдруг нежный запев. Но с каждой строчкой, с каждым слогом тон песни становился страстней:

Я вам песенку спою
Про женитьбу про свою...

В голосе уже слышались подавленные рыдания, слышатся слезы:

Как женила молодца
Чужедальня сторона...

И стон переходит в вопль, в настоящее рыдание. Узник плачет о гибнущей молодости, о пропадающей жизни, об угасающем рассудке.

— Эх! Варвары! За что вы меня мучаете?

Острую боль вызывают эти рыдания в сердце Мышкина. Его душой овладевает отчаяние при мелькнувшей мысли: а ведь каждого из нас ждет такое будущее. Вот Бочаров из 4-й камеры, юноша-студент, был на Казанской площади во время демонстрации. Дни напролет сидит он за столом и мутным взором смотрит в пространство. Или Соколовский, поляк, кричит, буянит, бьет табуреткой в дверь. Или Донецкий, хилый юноша, с которым Мышкин сдружился в Женеве. Вчера ночью он простучал Мышкину целое послание:

«Я открыл, что я центр мира. Все важнейшие мировые события связаны невидимой нитью с моим существованием. Я родился 29 числа, по моим вычислениям, мир сотворен 29-го, Уложение Алексея Михайловича издано 29-го, Жуковский родился 29-го, Пушкин умер 29-го, начало осады Троицкой лавры 29-го, взятие Варны 29-го, усекновение главы Иоанна Предтечи 29-го...»

Больно было Мышкину и за Льва Дмоховского, за юношу с восторженными глазами, немного рассеянного, немного суматошливого, но с таким чистым сердцем, что после разговора с ним жизнь казалась не такой уж горькой. Лев Дмоховский был ученым-астрономом, и не видеть неба с его звездными мирами было для него горше средневековой пытки. И он, этот благородный юноша, захандрил, затосковал, и даже заботы матери и сестры — поселившихся за воротами тюрьмы, чтобы быть рядом со своим любимцем, — не могли вырвать молодого ученого из умственной дремы.

Основной вопрос Мышкин решил: он нашел выход из безвыходного положения, он нашел способ выбраться из тюрьмы, он изобрел, именно изобрел, путь к свободе. Но, увы, только для себя одного, и это мучило Ипполита Никитича.

Ночью на жестком ложе он вел мысленный спор с самим собой:

«Я выйду на свободу... буду бороться, со мной будет Фрузя, а мои товарищи по борьбе будут в это время томиться здесь, в этих гробах, где самые сильные уже начинают сдавать. Имею ли я моральное право воспользоваться своим случайным преимуществом, которое принесет свободу только одному мне?

В борьбе мы стояли плечом к плечу, перед царскими судьями мы были едины, а в беде я их брошу? Ведь товарищи на воле голов своих не пожалели, чтобы освободить нас из лап жандармов, а я, когда представилась возможность бежать из тюрьмы, поспешил воспользоваться этой возможностью, бросив товарищей. И каких товарищей! Долгушин, Дмоховский, Петр Алексеев, Зданович — ведь каждый из них, не раздумывая, пошел бы на смерть только для того, чтобы хоть чуточку облегчить участь любого из нас! А я, Ипполит Мышкин, для которого все мученики этой тюрьмы дороже, чем кровные братья, радуюсь близкой своей свободе, как молодой бычок радуется первой травке, хотя знаю, что мои друзья еще долгие годы — пока не сойдут с ума или не умрут от чахотки — будут лязгать кандалами в этих тесных гробах...

Но будет ли легче Долгушину, Дмоховскому, Петру Алексееву, Здановичу, Донецкому или Боголюбову, если и у меня помутится разум? Ведь тот способ, который я

изобрел для побега, годится только для меня, никто другой не сможет им воспользоваться.

Беда в том, что я не могу раскрыть товарищам своего секрета, ибо тайное может стать явным. Но скажи я Долгушину или Петру Алексееву: «Я могу выйти на свободу, но не выйду отсюда потому, что всех вас вывести не могу, а один уходить не хочу». И Долгушин, и Петр Алексеев, и любой из товарищей скажет: «Уходи один, на воле нужны борцы, и нам ты больше пользы принесешь, находясь на свободе, чем мучаясь здесь вместе с нами».

Споры закончились тем, чем должны были кончиться, — торжеством логики. В самом деле, какой чистоплюй мог осудить Мышкина за то, что он воспользовался ему одному представившейся возможностью вырваться из страшной каторжной тюрьмы?

Но судьба Боголюбова, Бочарова, Донецкого, Соколовского волновала, угнетала, мучила... Несчастным юношам Мышкин уже ничем не мог помочь — все свои помыслы он направил на поиски средства, могущего отвлечь здоровых от мрачных мыслей: ведь даже «крепчайший» Дмитрий Рогачев уже перестал отвечать на перестук, ушел в себя. Отсутствие свежего воздуха, расслабленный организм, развинченные нервы, расшатанная душевная деятельность — все это преддверие сумасшествия.

И Мышкин нашел средство!

Несмотря на жестокую изоляцию, арестованные находились в постоянном общении друг с другом. Ближние перестукивались, дальние — переписывались. Записки клали в условленные места в уборной или заделывали в корешки книг. Тема — новости дня, стихи, эпизоды из прошлой жизни. Эти темы отвлекали, но не волновали, они не требовали душевной собранности, они, эти темы, словно лучи осеннего солнца, сияли, но не согревали. После перестука или после прочтения записки арестант возвращался к своим мыслям, к своей созерцательной жизни, одурманенной мечтаниями.

Ипполит Никитич предложил завязать переписку дискуссионного характера: о путях революции.

Разгорелись страсти — участники дискуссии почувствовали себя бойцами на линии огня; каждый вносил в спор весь свой опыт, весь жар нерастраченного сердца, все свои мысли и все свои мечты. Дискуссия влила новое

содержание в тюремную жизнь — каждый готовил свое письмо с таким напряжением духовных сил, словно оно должно стать историческим документом. Отослав послание, узник не переставал думать о нем — появлялись разъяснения, дополнения, уточнения.

Первая тема, которую предложил Мышкин, вызвала жестокий спор. Мышкин предложил обосновать — философски и политически — такие понятия, как власть «милостью божьей», «волей народа» и «по захвату». В ответах на эти вопросы сказался не только темперамент и личный революционный опыт каждого из участников дискуссии, но и их социальные устремления. Так, Петр Алексеев и Зданович, одинаково ратуя за власть «волей народа», вкладывали в это понятие различное содержание. Петр Алексеев считал, что власть «волей народа» означает: народ управляет, а Зданович доказывал, что от «имени» народа должны управлять люди образованные, умные, честные.

Эта дискуссия, как лакмусовая бумажка, безошибочно определяла мировоззрение каждого из участников. Все они считали себя народниками, но среди них уже выявлялись такие теоретические разногласия, которые на воле привели бы к жестокой борьбе. На одном полюсе спора стояли Мышкин и Рогачев, на другом — Зданович, Петр Алексеев и Джабадари, причем Петр Алексеев ближе к Мышкину и Рогачеву, а Джабадари почти впритык к Здановичу. Мышкин и Рогачев считали, что крестьянская реформа 61-го года означала переход «от рабского строя к капиталистическому», что «в недалеком будущем община уничтожится и у нас образуется пролетариат — одним словом, мы повторим то же, что совершается теперь в западноевропейских государствах».

Мышкин и Рогачев считали, что главная цель революционеров — это организация народной партии с программами минимум и максимум и что деятельность революционеров среди народа должна распадаться на деятельности среди фабричных и сельских. У фабричных, утверждал Мышкин, имеется в руках острое оружие — стачка. Мышкин ратовал еще за республику, так как только республика «поможет нам достичь конечной цели».

Капитализм в России, программы максимум и минимум, республика — все это казалось народникам Здановичу и Джабадари таким далеким от их скромных по-

мыслов, что, не находя веских аргументов для отпора, они обвиняли Мышкина в «насиловании истории».

Но свою цель Мышкин достиг: дискуссия как бы сорвала тюремные запоры, заключенные шагнули в широкий мир идей, в тот чудесный мир, где физические неудобства только оттеняют величие человеческого гения.

Что «изобрел» Мышкин для своего побега из тюрьмы?

В первые же дни он заметил: в камере, чуть вправо от двери, шатается одна половица. Мгновенно созрела мысль: подкоп во двор, там низенький забор...

Но работать в камере под неусыпным глазом надзирателя, поминутно заглядывающего через «волчок», невозможно. Надо, чтобы надзиратель свыкся с мыслью, что Мышкин трудится где-то сбоку, вне поля его зрения.

И тут «изобрел» Мышкин действенное средство. Он обратился к новому смотрителю Копнину с просьбой разрешить ему, как топографу и чертежнику, изготовлять географические карты и наклеивать их на холст. Копнин отнесся к просьбе сочувственно. Камера Мышкина наполнилась калькой, бумагой, холстом, линейками, карандашами, красками, кистями. Рисовал Мышкин почему-то лежа на полу — говорил, что так ему более удобно, что и на воле он так работал. Карты Мышкина имели успех, их охотно покупали школы и земские учреждения. Из отрезков холста и надерганных из него ниток он сшил себе «вольный» летний костюм и спрятал его в подполье.

Всю зиму и первые два весенних месяца работал Ипполит Никитич. Шаг, еще шаг — свобода все ближе, ближе. Правда, с каждым шагом становилось все труднее: землю он выносил в шапке, ползком и прятал эту землю в параше, которую сам же выносил по утрам. Чем дальше удалялся от камеры конец подкопа, тем меньше земли он успевал выгрести за ночь.

Но и эти трудности уже позади — подкоп почти готов! Несколько шагов вверх — и свобода!

Ночь. Мерно похрапывает в коридоре дежурный.

Мышкин делает, как обычно, из своего платья подобие чучела, накрывает его одеялом, а сам, приподняв половицу, опускается под пол. Обломком гвоздя, а то и голыми пальцами ковыряет он последние вершки мерзлой земли. Спину ломит, пот градом катится по лицу. Как крот, роется он в темноте...

24

Проснулся Ипполит Никитич свежий, бодрый. Подошел к окну, задрал голову вверх: с правого угла рамы выглянул клочок неба, синего, высокого.

Повернулся ключ в замке, тяжело раскрылась дверь, и в камеру вошел надзиратель. Подозрительным взглядом охватил он камеру и буркнул:

— Выноси парашу.

Мышкин вспыхнул: с его языка готово было сорваться дерзкое слово — ведь ему уже давно не говорили «ты»!

Но Мышкин ничего не сказал: он подошел вплотную к надзирателю, посмотрел ему в глаза и, укоризненно качнув головой, спокойно взялся за ушко параши.

Мышкин понял, что в тюрьме что-то произошло. Работая без устали под землей, он сам себя выключил в последние недели из общей жизни — не перестукивался, не писал и не получал записок.

Надзиратель пропустил вперед Мышкина, запер дверь и опять буркнул:

— Неси!

Мышкин отнес парашу в уборную.

Записку он заметил сразу: она была приклеена к трубе комком черного хлеба. Только наметанный глаз мог найти этот комок в изобилии ржавых пятен.

Мгновение — и записка в руках Ипполита Никитича.

— Живее! — поторапливал надзиратель.

Параша опорожнена, прополоскана, вымыта.

Мышкин вернулся в камеру.

Надзиратель запер дверь.

В записке несколько слов:

«Сегодня начинаем голодовку насмерть».

Мышкин обмер: сегодня? Сегодня, когда он даже не обрадовался клочку синего неба, зная, что через двадцать-тридцать часов будет сиять над его головой весь небосвод? Сегодня, когда перед ним раскрылась возможность вступить в жизнь, предлагают ему начать голодовку насмерть? Сегодня, когда в нем уже зреют планы борьбы за широкие цели, снизиться до мелкой войны с тюремщиками?

Мышкин лег на койку. Он лежал разбитый, надломленный, с тяжелой головой, а там, где полагается быть

сердцу, лежал камень. Ум бодрствовал, но жизнь в теле едва теплилась.

Принесли завтрак: Мышкин не притронулся к нему.

Ипполит Никитич не принимал участия в решении вопроса о голодовке, но... вопрос все же решен. Спорить с товарищами уже поздно, а идти против них невозможно.

Принесли обед — Мышкин к нему не притронулся.

Мысли разорваны. Это даже не мысли, а какие-то клочки мыслей: тусклые, серые. Словно снежинки, кружатся они в голове.

Мышкину грезилось: он стоит у выхода из подкопа, в лицо дует свежий ночной ветерок; надо сделать последний шаг, а кто-то вцепился в его ногу и не дает ему уйти из тюрьмы...

Прошли первые дни голодовки. Исчезло ощущение голода. Во рту пересохло, да и вкус отвратительный, тошнотворный.

Мышкин лежал с открытыми глазами. Перед ним проходили странные люди: высокие и худые, как столбы, или маленькие и пухленькие, как котята. Одни подпрыгивали, другие вертелись волчком, а когда подходили вплотную к койке, все они превращались в медные самовары.

Седьмой день. Из мрака выступают, как всегда, странные фигуры. Они колышутся в воздухе, подвигаются к койке.

Мышкин ясно видит: похоронная процессия. Впереди поп, седой, с окладистой бородой и смешной маленькой косичкой; за ним — два дьячка, народ. Процессия торжественно проходит...

На какое-то мгновение вернулось сознание, и Мышкин узнает смотрителя тюрьмы, врача, двух надзирателей. Они тормошили его, вливали в него что-то горячее...

Из Петербурга приказали «оборвать голодовку», а режим немного ослабить.

...Долго и трудно поправлялся Ипполит Никитич Мышкин, а когда окреп настолько, что мог уже выходить на прогулку, опять приступил к «подземным работам».

Страстная пятница. После обеда спустился Мышкин в свое подземелье, чтобы к спрятанным там запасам прибавить розанчик и кусок колбасы, полученные сегодня от неожиданно расщедрившейся казны.

Ходивший по коридору дежурный случайно заглянул в камеру как раз в тот момент, когда Мышкин вылезал из-под пола: видна была одна голова. Волосы всклокочены, лицо грязное, глаза горящие. Надзиратель испугался: ему почудилось, что из-под пола лезет какая-то нежить. Он вскрикнул. Поднялся переполох. Прибежал смотритель.

Мышкина перевели в карцер.

Надежда на свободу исчезла.

«Нет, — все же решил Мышкин, — это еще не конец, выход должен быть найден!»

В темноте, в вони, в холодном карцере усиленно работает мозг.

«Убьют, задушат... Надо умереть так, чтобы и смертью своей принести пользу товарищам...»

Мышкин нашел способ умереть «с пользой для товарищей». Он нанесет оскорбление начальнику тюрьмы, а после пощечины «подобреет» подлец!

Когда Ипполита Никитича снова вернули в камеру, он вдруг обернулся верующим христианином. В камере и на прогулке он распевал псалмы, с надзирателями говорил елейным голосом, стал усердно посещать тюремную церковь.

Наступил какой-то царский день. Мышкин направился в церковь: по его расчетам, сегодня там обязательно будет начальник тюрьмы Копнин, и можно будет привести в исполнение задуманное.

Мышкин не ошибся. В парадном мундире, при орденах слушает Копнин обедню, солидно крестится. Перед многолетием Копнин подошел к кресту. Следом за начальником идет Мышкин.

Копнин перекрестился с достоинством, приложился к кресту. Но не успел он выпрямиться, как Мышкин отпускает ему звонкую пощечину.

— Вот тебе, подлец! — прозвучал на всю церковь торжествующий голос Мышкина.

Копнин взвыл. Набалдашником палки бьет он по бритой голове Мышкина, ругаясь при этом похабными словами. Наскочившие надзиратели помогают своему начальнику — и перед алтарем бога всепрощения и любви началось зверское избиение.

Мышкин в обмороке. Его сразил первый удар тяже-

лым набалдашником. А Копнин и его подручные бьют, бьют — кулаками, ногами, ножнами шашек.

Окровавленного, потерявшего сознание Мышкина волокут за ноги в контору, а оттуда — в карцер.

Мышкин не добился своей цели.

Шел 1880 год, знаменательный год, который по революционному накалу был схож с 1860. Россия бурлила. Усилилась стачечная борьба; возникли первые рабочие союзы, активизировались земские деятели; террористические акты следовали один за другим. Надвигалась революция! Александр II передал власть в руки Лорис-Меликову, все достоинство которого состояло в том, что он умел «ловко обманывать». Бойкие газетчики завопили о «медовом месяце либерализма», о «весне». Добившись роли диктатора, Лорис сумел так ловко вести свою хитрую политику, что одной рукой принимал щедро сыпавшиеся на него либеральные венки, а другой — сеял гнет и притеснения, особенно там, где его подлые дела оставались тайными для света.

Эта «весна» и сказалась на Мышкине. Диктатор Лорис-Меликов, страшась за свою шкуру, не решился предать военному суду известного революционера: он, Лорис-Меликов, знал, что речь Мышкина на суде вихрем пронеслась по России, он знал, что слова Мышкина стали программой для тысяч юношей и девушек, решивших посвятить себя народному делу, он знал, что после 1878 года жандармы находили речь Мышкина почти при всех обысках, он знал, что смелое выступление Мышкина встретило горячий отклик в самых широких массах...

Мышкин произнес свою речь в годы революционного подъема, когда вся честная Россия живо откликалась на каждое смелое слово. В те годы поведение подсудимого на суде имело такое же общественное значение, а часто даже и несравненно большее, чем сама его деятельность.

За Мышкина отомстит не одна Вера Засулич!

И трусливый диктатор, который «лисьим хвостом прикрывал волчью свою морду», приказал объявить поступок Мышкина «выпадом отчаявшегося в жизни человека», и его, Мышкина, не наказывая, перевели в Ново-Борисоглебскую тюрьму.

25

В промозглое серое утро вывели Мышкина из камеры. Лязгая кандалами и пошатываясь от слабости, шел он по затихшему коридору.

Надзиратель распахнул последнюю, наружную дверь.

Мышкин выглянул в мир, в вольный мир и... увидел столб с качающимся на нем трупом.

Обман зрения! Это только дерево. Черное дерево. Голый осенний скелет дерева!

Мценская пересыльная тюрьма. Все необычно. Камеры без запоров, надзиратели без оружия, смотритель — сама вежливость, и, если бы не караулы у ворот да парные наряды вокруг забора, можно было подумать, что тюрьма превращена в гостиницу.

В Мценск были свезены полутрупы, живые мощи, но условия, созданные для них внутри тюрьмы, быстро вернули мучеников к жизни — и убитая зноем земля оживает после первого обильного дождя.

Пришел в себя и Мышкин. В первое время был он излишне возбужден, нервно-взвинчен, и его язвительные реплики раздражали слушателей, независимо от того, какие идеи он отстаивал. А впоследствии, когда товарищи узнали, почему Мышкин нервничает, дискуссии приняли более спокойный и деловой характер, хотя все, что высказывал Мышкин, опять же независимо от формы способно было вызвать бурю в душе любого народника.

Мышкин резко осуждал тактику революционеров, тактику, которая привела к изоляции революционных групп от общества. Он требовал коренной перестройки: не отрываться от общества, а, наоборот, слиться с ним, стать его активными членами, воспользоваться возможностью легально работать в рядах общества, принимать участие в земской деятельности, баллотируясь в земские, служа в управах...

Эти свои мысли Мышкин впоследствии более подробно изложил на каторге в подпольном журнале «Кара».

Могли ли народники понять, а тем более согласиться с Мышкиным? У людей, для которых высшая форма революционной деятельности умещалась в расплывчатом лозунге «Все через народ», кружилась голова от смелого полета мышкинских идей.

Кроме того, среди заключенных уже находились и террористы — люди, мечтавшие бомбой и кинжалом ускорить ход истории.

А Мышкин все больше и больше нервничал.

В первый же день, устроившись в своей камере, он написал письмо матери. О себе сообщил немного: здоров, люблю, жду, но все письмо было пронизано тревогой: где Фрузя, что с ней, почему не откликается?

К Мышкину на свидание приехала мать, Авдотья Терентьевна. Ее ввели в просторную и светлую комнату. У стола сидел офицер. Немного поодаль — круглый столик и два мягких кресла.

— Кладите все на стол, — предложил офицер.

Авдотья Терентьевна положила на стол цветы, пакеты, свертки и недоуменно взглянула на офицера. Он разворачивал свертки, открывал пакеты и даже заглядывал внутрь цветов...

Откуда-то сверху послышались шаги. Ближе, ближе...

Авдотья Терентьевна рванулась вперед, но, когда дверь распахнулась и показалось бледное, одутловатое лицо Ипполита, она, словно пригвожденная к полу, не смогла двинуться с места.

— Мама!

Авдотья Терентьевна уронила на пол сумку, обняла сына и долго, не выпуская из объятий, смотрела в его лицо.

Офицер, стараясь ступать бесшумно, подобрал сумку, положил ее на столик.

— Сыночек...

Много вопросов хотел Ипполит Никитич задать своей матери, первому родному человеку за многие годы неволи, но все вопросы улетучились. В объятиях матери к нему вдруг вернулось ощущение свободы, той полной свободы, когда небо, птицы, люди — все кажется естественным. Он ощутил во рту вкус щей, которые мать только что достала из печи, он слышал терпкий запах свежевыстиранного белья... Ему было радостно, и не той внезапной радостью, что иногда беспричинно налетает на человека и беспричинно же отлетает, — ему было радостно, как в далеком детстве, когда, вдоволь наигравшись, он засыпал под материнскую сказку. Все отступило: тюрьмы, кандалы, он вернулся к истокам счастья — тихого,

ласкового и такого безмятежного, что сердце замирает от умиления.

— Время истекает, — напомнил офицер.

Авдотья Терентьевна заторопилась. Она говорила быстро, захлебываясь и бодро. О том, что она здорова, что Григорий по-прежнему служит в кондукторах...

Ипполит Никитич вырвался из сладкого забытья и стал прислушиваться к стремительной речи матери. Он ждал, когда же мать дойдет до самого главного, до того, что его угнетало, что делало его несчастнейшим среди несчастных...

— Свидание кончилось, — тихо заявил офицер.

Авдотья Терентьевна засуетилась:

— Сыночек, я послезавтра опять приду. Мне разрешили свидания три раза в неделю. Послезавтра опять приду. Ты мне только скажи, чего бы ты хотел...

— Ничего мне не надо.

— Свидание кончилось.

Авдотья Терентьевна обняла сына: целовала в губы, глаза. И эти порывистые ласки болью отозвались в сердце Мышкина: почему она уходит, ничего не сказав о самом важном?

— Что с Фрузей?!

— С Фрузиночкой? — спросила она удивленно. — Ничего не знаю, сыночек, ничего не знаю... Послезавтра опять приду, авось что-нибудь узнаю, тогда поговорим, сыночек... — Спотыкаясь, пошла она к двери, обернулась, показала улыбающееся лицо и... исчезла.

Ипполит Никитич опустился на стул. Подозрение перешло в уверенность: с Фрузей приключилась беда! Мать знает и не решилась сказать!

— Не огорчайтесь, господин Мышкин, — сказал офицер участливо. — Все утрясется.

Смысл слов не дошел до сознания Мышкина, он поднялся и неуверенными шагами направился к двери.

В коридоре нагнал его Петр Алексеев — этот деятельный и всегда бодрый крепыш был взволнован.

— Слышал, Мышкин? Царя убили.

Это сообщение сразу вывело Мышкина из оцепенения.

— Когда?

— Вчера. Бомбой его разорвало. И зря! Мышкин! Ведь зря!

Мышкин почему-то рассердился:

— Тебе Александра жаль?! — И сразу же успокоился. — Пойми, Алексеев, не в Александре дело. Одного подлеца заменит другой. Но сколько хороших людей погибнет из-за подлеца Александра! А разве мы так богаты, чтобы тратить на мерзавцев свои лучшие силы?

— Ты что, мне лекцию читаешь?! — оборвал его Алексеев. — Не выслушал меня до конца и туда же с лекцией!

— А ты что хотел сказать?

— Хотел тебе сказать, что убийство это бесполезно, не нужно, ошибочно и принесет прямой вред социальной революции. Царь-то в народе еще помазанник божий, его трогать не надо было. Надо сначала убедить народ, что царь-то подлец, что не божий он помазанник, а главный палач для трудового люда, вот тогда сам народ с ним расправился бы...

Петр Алексеев принадлежал к числу тех революционных народников, которые призывали народ к социальной революции. В отличие от большинства своих товарищей по борьбе Алексеев расширил понятие «народ», включив в него, а подчас и ставя на первое место, рабочий класс. Террористы же, правильно считал Петр Алексеев, не расширяют, а суживают революционное предполье, замыкаются в рамках небольшой группки.

Петр Алексеев не понимал тогда, что какая-то часть народников, разочаровавшись в прежних методах борьбы или, вернее, убедившись, что нельзя поднять крестьянство на социальную революцию, отбросила половину лозунга «Все через народ», удовлетворившись более расплывчатой, зато более емкой концовкой: «Все для народа» — через борьбу одиночек, сплоченных железной дисциплиной.

Мышкин обнял Алексеева за плечи:

— Вы подходите к проблеме чересчур прямолинейно. Я согласен с вами, что народовольцы не способны вызвать революцию, но их смелые действия бесспорно поляризируют революционное дело. И, кроме того, народовольцы делают два очень больших, одинаково нужных и одинаково полезных дела: первое — они наносят правительству такие тяжелые, такие звонкие удары, что эхо разносится по всему земному шару; второе — сами ложатся костьми за дело народного освобождения. А это, дорогой Алексеев, роднит нас с ними.

— А я вижу вред, который причиняет их пальба на-

родному делу. Без народа они свободы не добьются. Бастилию брал народ, а не смелые одиночки.

— И смелые одиночки!

— Среди народа — да, но не вместо народа.

Что с Фрузей?

Авдотья Терентьевна действительно не решилась сказать сыну, что Фрузи уже нет в живых, что она простудилась, когда ее зимой везли в ссылку, что она умерла на каком-то глухом полустанке в Малоземельной тундре.

26

1 марта 1881 года бомба народовольца Гриневицкого разорвала на куски царя Александра II. Правительство испугалось, растерялось, начало искать связи с революционным подпольем, чтобы договориться о перемирии. Но... вслед за бомбой Гриневицкого не последовали выступления народных масс — революционный прибой конца 70-х годов заметно убывал, и правительство, осмелев, перешло в наступление.

...В мае 1881 года повезли Мышкина и его товарищей в Сибирь.

Июнь... Июль... Август... Сентябрь...

Со дня на день делалось холоднее: по ночам — заморозки, по утрам — иней на деревьях.

А партия каторжников все шла... Звенели кандалы, скрипели телеги, на которых лежали больные. Тут слышится песня или острота, вызвавшая взрыв хохота, там ведется спор между «террористом» и «антитеррористом», а рядом, с телеги, доносится стон Льва Дмоховского. Он лежит на спине, смотрит в небо и тихо, сдержанно стонет.

Рядом с телегой шагает его сестра, рослая девушка, которая стойко переносит тяготы добровольного каторжного пути. Она, точно наседка, отдавала все свое тепло единственному птенцу, хотя птенец этот, брат ее Левушка, старше своей покровительницы, но такой хрупкий и беззащитный, что ему, словно былинке, дуновение ветерка кажется ураганом...

В иркутской тюрьме было холодно, тесно, сыро. Люди зябли, задыхались.

На третий день умер Лев Дмоховский. Его отпевали

в тюремной часовне. Вокруг гроба — друзья по Ново-Белгородской каторге, по трудному колесному пути.

В длинном, не по росту, гробу, сколоченном из шершавых горбылей, лежал юноша с восковым лицом. Глаза были полузакрыты. Казалось, юноша устал, смертельно устал, и вздремнул, только вздремнул.

Мышкина поразила эта смерть. Он подошел к гробу, посмотрел в мертвое лицо товарища. Мышкину больно: вот он, путь русского революционера. Гроб из шершавых горбылей, три свечки и равнодушные морды тюремщиков. Товарищи, не таясь, плачут. «Неужели они не видят, — подумал Мышкин, — что из таких смертей рождается жизнь?» И он решил сказать об этом. Начал он тихим, прерывистым голосом. Он говорил о юноше, который глазом ученого проникал в звездные миры и с бесстрашием революционера вмешивался в судьбы людей на своей планете. И тут, на грешной земле, и там, в заоблачных мирах, он искал гармонии...

— Этого благородного юношу, эту чистую, светлую душу замучили, задушили...

Голос Мышкина возвысился до крика: его слова загудели в тиши часовни, как всполох набатного колокола:

— Но на почве, удобренной кровью таких борцов, как ты, дорогой товарищ, расцветет дерево свободы!

Тюремный поп — огромный детина с большой черной окладистой бородой — взмахнул кадилом и рыком прорычал:

— Врешь! Не расцветет!

И за эту краткую речь, за этот крик, вырвавшийся из наболевшей души, Мышкину надбавили еще пять лет к его десятилетнему каторжному сроку.

Вот она, наконец, Карийская каторга — тюрьма среди сопок и лесов.

Камер в тюрьме было всего пять: «волость», «харчевка», «якутка», «дворянка» и «синедрион», — так прозвали камеры политические ссыльные. Мышкин попал в «синедрион», к Войнаральскому и Рогачеву.

Камеры перенаселены. Разговоры обычные: о прошлом; и споры обычные: о путях революции.

В тюрьме было много ярких, талантливых людей, но и среди них выделялись, как старые сосны в мелколесье, две фигуры: Мышкин и Петр Алексеев. Мышкин сразу

«врос» в каторжную жизнь, взвихрил все вокруг себя, устраивал диспуты, вызывал на споры — он словно камень, брошенный в тихую заводь и вызвавший бурное движение вод. А Петр Алексеев хотя и не был зачинщиком споров и диспутов, зато каждому спору или диспуту умел придавать деловое направление. Своим авторитетом он охлаждал страсти, особенно у той части «террористической молодежи», для которой революция была не повседневной и длительной «работой», а вспышкой, взрывом.

После одного из таких споров, когда Петр Алексеев трогательно и проникновенно говорил о благородной роли интеллигенции в русском революционном движении и этим своим выступлением сгладил острые углы теоретических расхождений, Мышкин, очутившись наедине с Алексеевым, недовольно сказал:

— Странно, Петр. Ты мужик, ты рабочий, а вся твоя деятельность слилась с борьбой интеллигенции.

— А с тобой как получилось? Твои дружки Войнаральский, Ковалик или Рогачев, они что, кантонисты? И тебе пришлось связаться с интеллигентами. И ничего тут странного нет: рабочий класс еще не почувствовал своей силы.

— Это, Петр, верно. И частично в этом виноваты народники. Как они относились к рабочим? С одной стороны, не отводили им самостоятельной политической роли, а с другой — считали нужным привлекать их к работе. Сколько раз я говорил об этом Войнаральскому и Ковалику, Кравчинскому и Шишко.

— Опять прибедняешься, Ипполит. Нас с тобой рабочие поддержали. Не сотни тысяч, так тысячи. И вообще, Ипполит, у истории свои сроки. Сколько рабочих было на «процессе пятидесяти»? Горсточка. А когда мы с тобой по тюрьмам мыкались, в Петербурге организовался чисто рабочий союз. С программой, со своей рабочей газетой. Чуешь? Ты, Ипполит, торопыга: вчера бросил зерно в землю, а сегодня уже ждешь урожая. Так не бывает.

27

Зазеленели луга, на сопках зацвел багульник. Голубое небо было пронизано солнечными лучами.

Тюрьма радостно загудела; на лицах появились улыб-

ки, на дворе зазвучали песни, кухня превратилась в настоящий клуб.

Арестанты собирались кучками, группами, и в каждой группе — один разговор: о побеге. Одна из этих групп уже много месяцев рыла подкоп: они готовились к побегу основательно, с дотошностью людей, наивно верящих, что можно предусмотреть решительно все.

В свой план они посвятили Мышкина. Он внимательно выслушал и равнодушно сказал:

— Да, товарищи, подкоп всегда считался классическим способом побега. Желаю вам удачи.

— А вы, Мышкин?

— Для меня этот классический способ устарел. Долго, товарищи, и, увы, классический способ не всегда самый надежный.

— А какой способ вы предлагаете?

— Или пан, или пропал!

— Непонятно!

— А я вам, товарищи, объясню...

Мышкин с первого дня присматривался к тюремному распорядку. Высидеть на каторге пятнадцать лет он не собирался: во что бы то ни стало бежать!

И он нашел в тюрьме уязвимое место. Мастерские помещались за оградой тюрьмы, в деревянной избе, не обнесенной ни па́лями, ни какой-либо другой загородкой. Работали в мастерских только днем, а на ночь изба запиралась.

Мышкин зачастил в мастерские. Днем, во время работы, снаружи у двери стоял часовой. Арестант, желавший отправиться в мастерские, подходил к запертым воротам тюрьмы и «ревел» часовому:

— Конвойного в мастерскую!

Часовой, в свою очередь, «ревел» эту фразу в сторону караулки, находящейся поблизости. Оттуда выходил казак, провожал заключенного в мастерскую и возвращался в караулку. Уйти из мастерской можно было также в любое время, стоило только попросить часового у дверей «взреветь» конвойному.

Арестованные часто пользовались правом ходить взад-вперед, и часовые почти весь день «ревели».

По окончании работ часовой, отправив всех арестантов, заглядывал в мастерские и, убедившись, что все

ушли, запирал избу на замок. После этого мастерские на всю ночь оставались без всякого надзора.

План побега был ясен.

— Просто и гениально! — похвалил Рогачев. — Ипполит, вы удивительный человек!

— Потому-то и упрятали меня за решетку: чтобы смотрели на меня и удивлялись, — мрачно отшучивался Мышкин.

— Давайте не отвлекаться, — предложил Войнаральский. — План Ипполита Никитича настолько прост, что его даже обсуждать не стоит. Его надо принять. Никто не возражает? Никто. Тогда вот что, други мои. План Ипполита Никитича не требует никаких подготовительных работ. Его можно привести в исполнение хоть завтра. Но... Это вечное «но». Всем сразу бежать нельзя. Придется отправлять попарно. Кого выберем в первую пару?

— Мышкина!

— Мышкина! Он автор плана, ему и честь!

Войнаральский поднял руку:

— Други мои! Вы забыли, что вы в тюрьме, а не в университете на сходке. Прошу соблюдать тишину. Дмитрий! — обратился он к Рогачеву. — Достань лист бумаги, нарежь лоскутки и раздай товарищам, пусть каждый напишет две фамилии, и мы установим очередность побега по количеству голосов.

В первую пару попали Мышкин и медник Коля Хрущев — коренастый юноша с вьющимися светло-каштановыми волосами и синими глубокими глазами. Его любили за веселый нрав, за умелые руки, за преданность революционному делу.

— Итак, — сказал Рогачев, когда была названа первая пара, — бежать вам завтра.

— А вы успеете пропилить отверстие в потолке? — спросил Мышкин. — И не услышит часовой звука пилы?

— Не услышит! — решительно заявил Рогачев. — Мы наладим такой концерт, что чертям будет тошно! Это дело я беру на себя!

На другой день было шумно и весело в мастерских. Работали на всех станках.

— Наяривай вовсю, — распоряжался Рогачев. — Пилите, рубите, строгайте! А вы, кузнецы, бей, не жалей лаптей!

И, установив ритмичный шум в мастерской, Рогачев полез на печку с ножовкой в руке.

Потолка у избы не было — крыша служила потолком.

Поставив на всякий случай дозорного возле двери, Рогачев приступил к делу. Напевая в полный голос свою любимую песню «Куплю Дуне новый сарафан», он пропилил отверстие в потолке-крыше и выпиленный четырехугольник обратно приладил на место.

А в это время Мышкин и Хрущев собирались в дорогу. Все политические принимали в этом живое участие. Приносили деньги, вещи, продукты, помогали укладывать, упаковывать. С увлечением школьников они готовили чучела людей.

Эти чучела должны будут изображать спящих на нарах Мышкина и Хрущева. Одни заключенные поздно вставали, другие рано ложились спать, так что на утренней и вечерней поверках тюремщики привыкли всегда видеть спящих.

Общее одобрение вызвало чучело «шахматиста» — его соорудил Михаил Попов. Сдержанный Войнаральский хохотал до икоты.

В дальнем углу камеры сидит за столом человек, повернувшись спиной к двери. На голове — шапка с опущенными наушниками, на плечах — халат. Перед ним — шахматная доска с расставленными на ней фигурами. Видно, что человек задумался над каким-то ходом. Против этого «шахматиста» сидит живой партнер, тоже углубленный в игру, сидит лицом к двери. Подле стоят два товарища, наблюдающие за игрой. Ни одному казаку и в голову не придет, что за шахматной доской сидит чучело!

Смеялись, дурачились и весело снаряжали товарищей в дорогу. Войнаральский принес четыре рубашки и заставил Мышкина и Хрущева тут же надеть их одну поверх другой.

— Ехать вам, други мои, не одну неделю, а прачечных в тайге не построили.

Попов принес несколько носовых платков.

— В тайге сыро, — сказал он, — еще, чего доброго, насморк схватите.

Костюрин, бывший сосед Мышкина по Петропавловской крепости, положил в карман Мышкина маленький томик Некрасова:

— Простите, Ипполит, Маркса у меня нет, удовлетворитесь Некрасовым. Говорят, вы любите хорошие стихи. А у Некрасова их много.

А молоденький студент Чернавский робко протянул Мышкину небольшой медальон и, зардевшись, тихо сказал:

— Пожалуйста, Ипполит Никитич, примите... на счастье... Это мне... мать подарила.

Мышкин обнял юношу, поцеловал его в губы.

— Спасибо, дорогой!

Поступок Чернавского всех растрогал.

— Однако к делу! — нарочито сухо, чтобы скрыть волнение, заметил Войнаральский. — Уже поздно. Надо, други, подумать о том, как запутать караульных. Ведь в мастерскую и из мастерской пускают по счету.

Хрущев весело ответил:

— Эка невидаль! По счету принимают! А мы их счета путать не будем!

— А как ты в мастерскую попадешь? — удивился Мышкин. — По воздуху, что ли?

— Зачем по воздуху? Мы с тобой не великаны. Посмотри! — Он указал на кровать. — Легко уместимся в ящиках!

— Вон ты какой! — обрадовался Мышкин. — С тобой не пропадешь!

Затея Хрущева была проста и «гениальна», как и план Мышкина. В деревянных кроватях во всю их длину помещались внизу меж ножек деревянные же ящики для вещей.

Предложение Хрущева одобрили и остальные товарищи. Войнаральский тут же вытащил два ящика.

— Вы готовы? — спросил он.

— Готовы!

— Прощайтесь, други, и полезайте в ящики.

Прощание получилось грустное: рукопожатия были крепкие, а в глазах у всех стояли слезы.

И, когда Мышкин уже лежал в ящике, к нему склонился Петр Алексеев:

— Ипполит, послушайся меня. Доберешься до Швейцарии, сиди там, не езди в Россию. С кружками в России управятся и без тебя, а ты теорией занимайся. Запутались мы в трех соснах. Нужно ясное слово. А ты, Ипполит, можешь это ясное слово сказать. — Он пожал обе

руки Мышкина и выпрямился. — А теперь, товарищи, понесем их!

Хлопнули крышки.

Мышкина и Хрущева понесли в мастерские.

— Чего кровати тащите? — услышал Мышкин окрик часового.

— В починку несем!

Ящик покачивается. Пахнет смолистой сосной.

«Как в гробу... Как в гробу», — пришла мысль, но эта мысль не огорчала, а, наоборот, веселила Мышкина.

Вдруг он услышал грохот и лязг железа, визг пил и рубанков, и из хаоса звуков выделялся залихватский голос Рогачева:

Куплю Дуне новый сарафан...

В мастерской, выбравшись из ящиков, Мышкин и Хрущев тотчас же ушли за печку и улеглись на поделочных досках.

— С приездом, Ипполит Никитич, — смеясь, проговорил Хрущев.

— Поезд еще не отошел, а ты уже «с приездом», — в тон ему ответил Мышкин.

— Лиха беда начало, а там уж будет от нас зависеть.

— И от случая, — нахмурился Мышкин и замолк.

...Постепенно жизнь замирала в мастерской. То один, то другой забегал за печку, наспех пожимал руки: «Ни пуха ни пера». Попрощался и Рогачев. Загремел железный болт, прозвенела пружина замка.

Стало совсем тихо, лишь изредка доносились мерные шаги часового.

Мышкин и Хрущев лежали затаив дыхание: ждали темноты. Шепотком обменивались короткими фразами: они изучали маршрут часового.

— До пáлей он делает тридцать шагов...

— И пятьдесят шагов вдоль палей...

— Может, через окно, а? — предложил Хрущев.

— С крыши вернее. Часовой видит только переднюю стену, когда идет вправо или влево. Но задней стены, где нет окон, не видит. Вылезем через потолок, ляжем на крышу, скатимся к задней стене и... в тайгу.

Солнце ушло за горизонт, потухли последние багряные отсветы на полу. В мастерскую влилась тьма. Четче стали звуки.

Мышкину привиделась камера, чучело на кровати, чучело за шахматным столиком... Там идет сейчас проверка! Сошло ли все благополучно? Обманулись ли казаки? Или уже загудела тюрьма? Бегут за смотрителем? Снаряжают поиск?

С громким говором и шутками вышли тюремщики на двор. Загремела цепь калитки.

— Все благополучно, — радостно прошептал Хрущев. — Надзиратели идут домой.

Мышкин вздохнул долгим прерывистым вздохом.

Даже в минуты величайшего напряжения Мышкин не мог отделаться от какой-то тяжести — она давила на сердце и угнетала. Мышкин рвался на свободу, он высматривал щель, через которую можно было бы вырваться из тюрьмы, однако прошлые неудачи, словно тень, волочились за ним. Неудача под Вилюйском, неудачный подкоп в Ново-Белгородской тюрьме — все это жило в подсознании и всплывало всякий раз, когда Мышкин обдумывал план нового побега. Он верил в себя, но эта вера уже была затуманена страхом перед всесильным случаем.

И сейчас, слыша веселую болтовню надзирателей, он не мог отделаться от тягостной мысли: сойдет ли все благополучно?

Шаги затихли. Часовой ушел за пали по другую сторону тюрьмы.

— Пора, — шепнул он Хрущеву.

Мышкин осторожно вынул пропиленный в потолке четырехугольник и высунул голову. Пахнуло в лицо ночной свежестью, блеснули звезды.

Они вылезли на крышу, распластались на ней и замерли. Шаги часового приближались.

Вот часовой прошел между мастерской и палями. Идет обычным, мерным шагом: ничего подозрительного не обнаружил.

Шаги удалились.

— Спускайся.

Хрущев скатился с крыши. Он уже на земле, протягивает руки, подхватывает падающего Мышкина.

Они поползли, как ящерицы, вжимаясь в землю всем телом.

Сердце билось сильней, дыхания не хватало, а они ползли и ползли...

28

Беглецы углублялись в тайгу. Хотя майское солнце сияло по-летнему, но в тайге было сумрачно, а кое-где еще лежал снег.

Мышкин шел впереди. Он смотрел на подернутые золотом сосны, на разлапистые ели, прятавшие в пазах слитки зимнего серебра, смотрел на березы, что опускают к земле свои длинные ветви, точно собираются переходить на другое место, и ловил себя на том, что все это не вызывает в нем того трепетного волнения, которое охватывало его в тюрьме, когда он мысленно рисовал себе первые минуты на воле.

И это противоречие в своих ощущениях беспокоило Ипполита Никитича; он задумался над тем, что ему мешает наслаждаться своей свободой. Он шагал, прислушиваясь к разнообразным шумам весенней тайги, и доискался причины своего неожиданного бесчувствия.

«Нет, — подсказала ему мысль, — ты еще не свободен. Это только начало, а каков будет конец?»

Мышкин быстро проходил мимо берез, елей и сосен, не останавливаясь, не отдаваясь настоящему, — все его помыслы были устремлены в будущее, в то будущее, которое сулило полную волю и борьбу за эту волю.

Наступили сумерки. Беглецы вышли к деревне.

— Пойдем к той избенке, — предложил Хрущев, — вишь как она набок кренится. Бедняки там живут. А в бедной избушке хозяева добрее.

Ипполит Никитич согласился. Зашли. Хозяин, старик лет семидесяти, встретил их настороженным взглядом. Мышкин и Хрущев перекрестились, как того требовал сибирский обычай, поздоровались.

— Здравствуйте, парни, — строго ответил старик.

— Нельзя ли хлеба купить?

— Можно.

— А ночевать, дедушка, не пустишь?

— Нет, парни, нельзя. Бумаги, поди, нету? Строгости у нас теперича: коли пустишь кого без пачпорта — штраф.

— Ты что, дедушка, — с обидой в голосе ответил Мышкин, — за бродяг нас считаешь?

— А то нет?

Мышкин достал из кармана свой паспорт:

— Глянь!

Старик взял паспорт, повертел его в руке, не раскрывая, вернул его Мышкину и, лукаво улыбаясь, сказал.

— Пачпорт, бог его знает, может, и хороший, ан лицо выдает: желтое оно у вас да томное, из-под замка, видать, вырвались. Уж вы, парни, того, хлебушка возьмите да в баньке ночуйте. И вам будет тепло: сегодня баньку топил, и мне бесхлопотно.

Хрущев хотел вступить в спор, но Ипполит Никитич его удержал:

— Пойдем, дружище, зачем дедушку беспокоить.

Взяли краюху хлеба и пошли в баньку.

Небо было безоблачно; светились звезды. Тихо, так тихо, что слышен был скрип двери в какой-то дальней избе. Беглецы разделись, поели и, забравшись на верхнюю полку, улеглись.

— Как по-твоему, — спросил Хрущев, — хватились уже нас?

— Это не имеет для нас никакого значения. Нам надо поскорее добраться до Шилки, там купим лодку и... вниз до Албазина.

Хрущев сиял: о чем бы ни говорил, улыбка не сходила с лица. Он пьянел от свободы.

— Ипполит, поверишь, голова все время кружится. Вот ты говоришь, купим лодку, пойдем до Албазина, а мне слышится: «Сядем в поезд, поедем в Киев». Ипполит, так хочется домой, одним глазом только посмотреть на мать, на невесту...

Растревожил Мышкина этот разговор.

— Давай спать, завтра поговорим.

День еще не начинался, когда Мышкин проснулся от холода. Баня остыла.

— Вставай! В путь пора!

Они быстро оделись и направились в тайгу.

Добрались до Шилки. План, который они разработали, заключался в том, чтобы под видом золотоискателей, едущих по Амуру в Албазин, проплыть на лодке до Благовещенска, оттуда на пароходе в Хабаровск. Из Хабаровска опять же на пароходе до Владивостока, а там рукой подать — Америка. Мышкин достаточно владел английским языком, чтобы в Америке заработать себе на пропитание, а про Хрущева и говорить нечего: золотые руки всюду работу найдут!

К вечеру они зашли в большую казачью станицу. Впервые за много лет они ходили свободными среди свободных людей, но оба они — и Мышкин и Хрущев — не чувствовали радости. Казаки смотрели на них недоверчивыми, а то и враждебными глазами.

— Ипполит, давай обратный ход, лучше в поле заночуем.

— И мне они не нравятся. Но лодку купить надо.

На них налетел дородный казак, бородатый, с глазами узкими и косыми, как у монгола. Атаман станицы.

— Расейские будете? — спросил он сурово.

— Да, из России.

— Куда едете-то?

— В Албазин, на прииск.

— А паспорт есть?

— А как же.

— Ну-ка покажь.

Долго разглядывал атаман паспорта на имя Казанова и Миронова, потом отдал их обратно и, испытующе оглядев чужаков, все еще строго спросил:

— По контракту едете?

— Никак нет, — по-солдатски отчеканил Мышкин, — так что приятели там, и письмо приславши. Езжайте, пишут...

Атаману понравился молодецкий вид Мышкина.

— Что ж, — сказал он доброжелательно, — поезжайте, место хорошее, давай бог...

«Благосклонность» атамана сказалась тут же: «чужаков» пригласили в дом, накормили, напоили, продали за божескую цену хорошую лодку, снабдили продуктами на неделю.

Наутро хозяин с сыновьями проводили путешественников до реки, посоветовали, где и как ехать, оттолкнули лодку и, сняв шапки, пожелали:

— Давай бог! Давай бог!

Хрущев сиял. Он радовался, ликовал: свобода... свобода.

В сердце же Мышкина угнездилась тревога: почему он захватил из тюрьмы только по одному паспорту? В случае розыска станичный атаман наведет на их след!

Однако о своих сомнениях Мышкин не сказал Хрущеву: ему жаль было замутить его непосредственное, почти детское упоение свободой.

29

Плыли по Шилке, потом по Амуру. Горы, поросшие лесом, медленно уходили назад. Тихо кругом, и тишина эта успокаивала, убаюкивала, хотя в ней и не было той торжественности, которая так радовала Мышкина во время плавания по Лене. Людей и поселков не было видно: вода, горы, леса да луга.

После Албазина начали попадаться деревни, на реке стали все чаще встречаться лодки, плоты, пароходы.

Плыли без весел, вниз по течению. На корме — Мышкин, на скамье против него — Хрущев. Мышкин смотрел в воду, лицо мрачное.

— О чем задумался, Ипполит?

— Чепуха какая-то, Николай. Я хотел вспомнить, что я делал в последний день, в день побега, и... не могу вспомнить. Пустота, понимаешь, Николай, пустота.

— И это тебя огорчает?

— Больше, чем огорчает. Память — это высшее благо человека, и вдруг я лишаюсь этого блага.

— Брось, Ипполит! Ничего ты не лишаешься! Денек был очень хлопотливый, ярмарка какая-то. И ничего примечательного тогда не было. Ходили, носили всякую чепуху, и уложили нас в ящики. Вспоминать-то и нечего! Лучше поговорим о будущем! Вот мы с тобой во Владивосток приедем и сейчас же в порт. Кораблей там, говорят, до черта. Выберем кораблик средненький, не очень нарядный и не слишком грязный. Ты сейчас к капитану: «Ай-ду-ю-ду!» Он тебе: «Ай-ду-ю-ду!» — и... поплывем мы с тобой в Америку! — Вдруг он рассмеялся, по-детски захлебываясь: — Умора! Колька Хрущев по океану плывет! У нас в деревне и паршивенькой речушки не было, а Кольке Хрущеву океан подавай! — И так же неожиданно перешел на серьезный тон: — Понимаешь, Ипполит, на воле я убеждал товарищей по кружку, что скоро наступит время, когда мы, россияне, будем жить по-человечески. А частенько брало сомнение: скоро ли? Ведь кругом стена! Пока мы эту стену разрушим! А может, и не мы ее разрушим, а только наши внуки или правнуки? И вот попал я в тюрьму, пожил вот с такими, как ты, и понял: еще Колька Хрущев будет по океану плавать! Не внуки его или правнуки, а он сам, Колька Хрущев, будет еще жить по-человечески!

— Верно, Николай. Именно мы, а не наши внуки или правнуки должны разрушить эту стену. Только... Вот ты, я и все наши народники, за что мы воевали? Вспомнишь и диву даешься: какая была у нас цель? «Все для народа и все через народ». Что это? Акафист. Всё! Значит, и обманы Нечаева, и бомбы террористов — все для народа! Вот мой друг Кравчинский заколол на улице кинжалом самого главного жандарма Мезенцова. Какую пользу принес он этим народу? Вместо Мезенцова назначили другого жандарма. Или такая чистая душа, как Соня Перовская, или такой умнейший человек, как Желябов, за что они погибли? Какую пользу принесли они народу своей смертью? Цифру переменили: вместо Александр два появился Александр три... Ты не подумай, Коля, что я порицаю Перовскую или Желябова. Я преклоняюсь перед ними. Но... после цареубийства революционная волна пошла на убыль. Видишь, Коля, акафист не помог, не помогли и бомбы. Знаешь, что мне сказал на прощание Петр Алексеев? «Народ ждет ясного слова». А знаешь, Коля, какого ясного слова? Партия! Вот слово, которое нужно Петру Алексееву, нужно тебе, мне. Партия с такой программой, за которую любой рабочий, любой мужик-немироед, любой честный интеллигент пошли бы на плаху...

— Ну вот и договорились, — просто, буднично сказал Хрущев. — Давай не задержимся в Америке, скорее вернемся в Россию. Ты будешь партию собирать, а я, вот тебе моя голова, сотни рабочих к партии привлеку.

И Петр Алексеев и Ипполит Мышкин чувствовали потребность в такой партии, но, увы, «ясного слова» ни тот, ни другой сказать еще не могли. В. И. Ленин объясняет, почему народники не могли сказать этого «ясного слова»: «...в общем потоке народничества пролетарски-демократическая струя не могла выделиться. Выделение ее стало возможно лишь после того, как идейно определилось направление русского марксизма (группа «Освобождение труда», 1883 г.) и началось непрерывное рабочее движение в связи с социал-демократией...»

...В Благовещенске беглецы пересели на пароход.

Все сходило гладко, никто ими не интересовался, но в сердце Мышкина притаилась тревога. Он понимал, что в тюрьме уже давно их хватились, что уже полетели во все стороны розыскные листы, что решающим является теперь, кто раньше дойдет до Владивостока: они или листы.

Но своими сомнениями Мышкин не делился с Николаем: ему не хотелось тревожить покой этого чудесного парня, который уже видел себя в Киеве, в гуще рабочей массы. Плыли меж берегов, поросших лесом и густым острецом, проплывали мимо богатых деревень с каменными церквами, проплывали мимо одиноких хижин, проплывали мимо плотов, на которых бегали голые детишки.

Пароход хлопал плицами по воде, часто гудел — низко, тоскливо, словно жаловался на что-то.

Миновали Хабаровск. Пароход поднялся вверх по Уссури.

Мышкин беседовал с попутчиками: он выпытывал, как живут, чем зарабатывают на хлеб.

Хрущев не принимал участия в этих беседах — прислушивался и восхищался умением своего товарища незаметно переводить любой разговор на «высокую политику».

Однажды он спросил Мышкина:

— К чему ты такие беседы ведешь?

— Какие — такие?

— Все вглубь да вглубь. Будто что-то проверяешь.

Мышкин похлопал Хрущева по колену:

— Молодец, Коля. Умеешь слушать и умеешь делать выводы. Да, я проверяю, что ждет завтра тебя, меня и всех наших товарищей.

— Это что? — удивился Хрущев. — Вроде на кофейной гуще гадаешь?

— Вроде, — улыбнулся Мышкин. — Только не на кофейной гуще. Ты вот — деревенский, у вас в деревне, поди, астрономов не было, а погоду на завтрашний день мужики безошибочно угадывали. Посмотрят, как солнце садится, высоко или низко порхают ласточки на закате, и заявят: «Завтра вёдро», или: «Завтра дождь». И в большой политике можно по мелочам угадывать погоду на завтра. Можно было предвидеть реформы шестьдесят первого года? Можно было. По каким приметам? В деревнях бунты, в городах волнения, на заводах брожение. Тут не надо быть астрономом, чтобы предсказать бурю. А любое правительство бури боится и... отпускает гайку. Облегчение дает народу. Надолго? Нет, Коля, не надолго. Уляжется буря, правительство сейчас же гайку обратно. В шестьдесят первом отпустили, а уже в шестьдесят четвертом снова завинтили. Надолго? Нет, Коля. К концу

семидесятых годов опять волнения в деревнях, опять студенческие беспорядки, стачки на заводах. За эти годы, Николай, прибавилось еще и кое-что новое: в Одессе и Петербурге появились рабочие союзы; рабочие вместе со студентами устроили манифестацию перед Казанским собором; рабочие послали в Париж адрес в связи с празднованием годовщины Парижской коммуны; два больших политических процесса: «пятидесяти» и «ста девяноста трех»... Опять поднялась революционная волна, опять, значит, приближается буря. Что делает правительство? То же самое, что сделало в шестьдесят первом году: отпускает гайку, обманывает народ посулами. Прошла гроза — опять аресты, тюрьмы, каторжные приговоры. Надолго? Вот это, Коля, я и проверяю. Проверяю, идет ли третья волна. И знай, Николай, если третья волна подымется, то уж никакие лисицы лорис-меликовы не спасут царизм: грянет революция!

— И к какому выводу ты пришел? — сдержанно спросил Хрущев. — На что указывают приметы? На вёдро или дождь?

— Не вижу третьей волны. — И, сказав это, Ипполит Никитич медленным шагом направился на нос парохода.

Растительность на берегах стала богаче, красочнее. Среди садов мелькали белые куртки корейцев.

Но все, что видел Мышкин, просеивалось в его сознании, как песок сквозь сито. Чем ближе к Владивостоку, тем гуще становилась тень от прошлых неудач. Тревожила и история со станичным атаманом: «Он узнает нас по приметам розыскного листа и направит поиск во Владивосток!»

И Мышкин решил сойти с парохода в Раздольной, верст шестьдесят не доезжая Владивостока.

— Лишняя осторожность не помешает, — согласился Хрущев, не понимая, что для них это не «лишняя осторожность», а единственный путь к спасению.

В Раздольной они наняли лошадей и поздно вечером приехали во Владивосток.

Остановились в плохоньком трактире, заночевали, а на другой день, позавтракав, пошли к Золотому Рогу.

На рейде много кораблей. Флаги — разноцветные, с крестами и с полосами. На берегу толчея: грузят на корабли, выгружают с кораблей, возят тюки из города, отвозят тюки в город. Грохочут цепи, гудят гудки, скреже-

щут лебедки. Около кабаков шумят пьяные матросы; китайцы стоят кучками и многозначительно молчат. Таможенные стражники и городовые шныряют во все стороны — прислушиваются, присматриваются.

Разговорившись с пожилым матросом, Мышкин узнал, что завтра в полдень уходит в Америку японский грузовой пароход.

— Берет пассажиров, — заверил матрос. — Для богатых у него кают нет, а вот для таких, как вы, найдется уголок.

И из сердца Мышкина ушла тревога: они заночуют у себя в трактире, притаятся, а завтра...

Хрущев купил два апельсина.

— Сроду не ел, — оправдывался он перед Мышкиным за трату из общего капитала. — Хочу попробовать, что это за фрукт. — Один апельсин он протянул Мышкину. — Получай свою долю.

Мышкин улыбнулся: ребенок.

— Можешь и мою долю съесть, я не люблю апельсинов. Вот приедем в Америку, я тебя там ананасом попотчую, вот это фрукт!

— Неужели вкуснее апельсина?

— Во сто крат!

— Чудеса!

Они вышли из бухты и переулками, где меньше народу, вернулись в трактир.

Мышкин распахнул дверь... и знакомое чувство опасности холодом влилось в сердце. Перехватило дыхание, потемнело в глазах: на стуле, поставив шашку меж ног, сидел жандарм.

— Пожалуйте в управление, — сказал он.

Случилось то, чего Мышкин опасался: их опередили розыскные листы! Их ждали, за ними следили!

Вышли на улицу.

Мышкин заметил: шпики и городовые уже обхватили дом полукольцом.

Бежать было бесполезно, бессмысленно.

Шпиков и городовых увидел и Хрущев. Он взял Мышкина под руку, прижался к нему плечом и от всего сердца, с радостной дрожью в голосе сказал:

— А все же, Ипполит, больше месяца подышали мы с тобой свежим воздухом.

В тяжелых кандалах — ножных и ручных — прибыл Мышкин обратно на Кару.

Его поразила тюрьма: охрана усилена, камеры перегорожены, всюду замки, запоры; товарищи угнетены, подавлены. Когда он вошел в камеру, его поразило: заключенные вповалку лежали на голых нарах. Один из них бился в припадке падучей, другие, хотя и здоровые, но до такой степени исхудали и пожелтели, что были похожи на мертвецов.

— Из-за меня, — сказал Мышкин.

Но товарищи, особенно Рогачев и молоденький Чернавский, его разубеждали:

— Не из-за вас, Ипполит Никитич. Это после одиннадцатого мая. Восемь человек бежало благополучно, а вот пятая пара нарвалась на часового... Все из-за Минакова, уж очень он горячий человек...

Мышкин ушел в себя. Бежать не удалось. Однако значит ли это, что он должен примириться со своим положением? Все в нем возмущалось, бунтовало.

А жизнь в тюрьме все усложнялась: тюремщики злобствовали. Выносить такой гнет, гнить заживо, без надежды увидеть свет было бы противоестественно: все думали о протесте, дело было лишь в том, в какую форму облечь этот протест и каким образом придать ему массовый характер.

Объявили голодовку.

На шестой день тюрьма представляла мрачное зрелище. Люди лежали молчаливые, неподвижные, с руками, сложенными на груди, с ногами, свисающими с досок под тяжестью кандалов. Глаза одних холодно блестели, как светляки темной ночью, потускневшие зрачки других, казалось, угасли навеки. Некоторые совсем обессилели, трупной синевой отливали их лица, другие же, побеждая усилием воли собственную слабость, старались словами утешения подбодрить менее стойких.

Произвело ли это зрелище впечатление на смотрителя тюрьмы, или он опасался выговора «за недосмотр», но на шестой день голодовки он предложил заключенным выбрать из своей среды двух делегатов с целью выяснить причины, вызвавшие голодовку. Выбрали Мышкина и Ковалика.

Шатаясь от слабости и зловеще бренча кандалами, направились два скелета к смотрителю тюрьмы. Говорить пришлось одному Мышкину: у Ковалика язык от голода одеревенел. Смотритель выслушал Мышкина и обещал доложить обо всем губернатору.

Прошел день, два — никаких результатов. Тогда Мышкин, почти не владея рукой, заставил себя написать:

«Господину коменданту тюрьмы
государственных преступников

Государственного преступника Ипполита Мышкина от лица 54 человек, голодающих восьмые сутки в тюрьме,

заявление.

К тем стеснениям, каким мы подвергались и прежде, вроде, например, запрещения переписки с самыми близкими родными и высылки отсюда матери одного из нас за то только, что она, поддавшись вполне естественному чувству, послала через подлежащих властей, а не каким-либо запретным путем, письмо, написанное одним из заключенных, после 11 мая, ознаменованного беспримерно вызывающим и невыносимым отношением к нам местного начальства и казаков и избиением некоторых из нас, привлеченных за это же избиение к судебной ответственности, начали совершаться все новые и новые стеснения и оскорбления: нам брили головы, несмотря на то что на многих из нас, особенно страдающих нервным расстройством и головною болью, операция эта действует очень вредно и предохраняющим от побегов средством она служить не может (Павел Иванов бежал из Красноярска с бритою головою); некоторых из нас заковали в наручники, чему не подвергался до сих пор никто из нас в тех местах, где мы содержались на каторжном положении...»

Тринадцать дней продолжалась голодовка.

Как и предполагал Мышкин, заключенным вернули книги, чуть улучшили пищу, но какое это имеет значение для людей, мечтающих о борьбе за большую правду, а не о лишней крупинке в супе?

Об этом Мышкин и сказал товарищам:

— Нас будут душить постепенно, будут годами стягивать петлю, пока всех не передушат. Поймите, друзья, ко-

гда вы убедились, что нет никакого выхода, нужно бороться с самой безвыходностью. Мы должны быть морально неуязвимы для врагов. Несмотря ни на что, мы должны иметь волю к победе, и мы победим!

И опять, как и в Ново-Белгородской тюрьме, вокруг Мышкина забурлила жизнь: пошли споры, диспуты, на лицах уже виделись улыбки, с губ уже срывались шутки.

В знойный июль 1883 года Ипполита Никитича Мышкина вызвали в контору, заковали, усадили в повозку и увезли в Иркутск, а оттуда в Петербург, в более надежную тюрьму.

Опять Петропавловская крепость. Но на этот раз не Трубецкой бастион, а мертвый, гиблый Алексеевский равелин.

— Разденься! — услышал Мышкин резкий голос.

Перед Мышкиным стоял жандармский офицер — коренастый, с молодецки выпяченной грудью и широкими ручищами. Донельзя было противно его бритое мясистое лицо, толстые губы и выражение тупого самодовольства. Личность, которая может оскорбить, истязать, тиранить, может свести с ума, загнать в могилу.

— Разденься, говорю!

Мышкин понял, что перед ним наглый, бесчувственный, жестокий жандармский ротмистр Соколов, известный среди политических под кличкой «Ирод».

Мышкин невольно опустил руки. Ему стало ясно, что наступил предел его странствований. Теперь-то уж ничего худшего с ним не случится! Но... это худое было так скверно, что всякое утешение потеряло свою ценность.

«А ведь не один я в равелине, — подумал Мышкин, — сообща найдем управу и на иродов».

Эта мысль его успокоила.

— Надеюсь, не будем ссориться, — тоном выговора промолвил Ирод.

— Поведение заключенного зависит от такта смотрителя, — смело, даже дерзко промолвил Мышкин.

— Такта еще захотел! Я тебе такой такт пропишу!..

Сколько злорадства, сколько бульдожьей свирепости отображено на лице Ирода!

31

Мышкин не мог заснуть. Может, оттого что было холодно, а более всего от тревожных мыслей.

Алексеевский равелин! Он не успел не только испытать, но даже познакомиться со всеми его прелестями, однако и того, что он уже испытал, было вполне достаточно, чтобы чувствовать ужас при одной мысли, что впереди ждут годы, долгие годы — четверть века (за побег ему еще надбавили десять лет) — таких страданий и унижений. Так не лучше ли предупредить неизбежную развязку и избавиться от бесполезных страданий?

Мышкин сел на кровать. Сумрак. Перед окном возвышается стена. В камере сыро, на стенах пятна.

Тихой чередой потекли мысли. В этой камере или в камере рядом, такой же мрачной и грязной, сидел Чернышевский! За таким же столиком писал он свой роман «Что делать?». Он не видел пятен на стенах.

«Золотистым отливом сияет нива; покрыто цветами поле, развертываются сотни, тысячи цветов на кустарнике, опоясывающем поле, зеленеет и шепчет подымающийся за кустарником лес...»

Вот что видел Чернышевский в этой грязной камере!

Когда затихло в коридоре, Мышкин ногой постучал соседу справа:

3—2, 6—1, 5—4, 2—5, 2—4, 3—3.

Это означало: Мышкин.

Раздался в ответ тихий, едва уловимый стук:

2—5, 3—4, 3—1, 3—4, 1—5, 2—5, 2—1, 1—3, 2—4, 5—3.

«Колодкевич», — обрадовался Мышкин.

Одиночество отступило: рядом друг, товарищ по борьбе. Они проговорили до утра, до того часа, когда в коридоре начали грохотать солдатские шаги.

После завтрака Мышкин остановился возле другой стенки, стоял недвижимо, словно задумавшись, а ногой тихо выстукивал:

— Я — Мышкин.

— Я — Арончик, — ответила ему стена.

Тоже народоволец!

Мышкин прилег на койку:

— Во всем равелине, — сказал он вслух, — всего четырнадцать камер, но сколько людей тут перебывало? Сколько глаз поднималось к этому запыленному своду?

Сколько взоров блуждало по этим угрюмым стенам? Сколько было в этих камерах продумано, выстрадано? Сколько здесь загублено молодых сил, сколько жизней разбито?

...Пошел пятый месяц. Ни прогулок, ни книг. Когда при утренней уборке отворялась дверь и через коридорное окно виднелось небо, облака, иногда птицы, свободно порхающие в синеве,—так манило, так тянуло на свежий воздух!..

Сырость в камере увеличивалась с наступлением дождливой погоды. Соль таяла, спички сырели, матрац прогнил...

Холодно. Сначала Мышкин отогревался беспрерывной ходьбой, но постепенно приходилось ему сокращать «прогулки»: уставал и на подошвах стала ощущаться боль.

«Надо чаще отдыхать», — решил Ипполит Никитич.

Новая беда! Посидит на стуле — ноги отекают. Лучше лежать. Лег, не помогает — под лодыжками появились опухоли.

Наконец повели на первую прогулку.

— Ходить можно прямо, — указал Ирод на дорожку, имевшую вид траншеи, проложенной в снегу.

Было еще темно, и Мышкин спугнул ворону, примостившуюся на ночлег в густых ветвях липы. С глухим карканьем, тяжело хлопая широкими крыльями, взлетела потревоженная птица, стряхивая с ветвей хлопья снега.

Мышкин не питал особой любви к вороньему роду, но тут он почувствовал, что к его сердцу прихлынуло что-то теплое: не потому ли, что на вороне не было голубого жандармского мундира?

Проводив ворону завистливым взглядом, Мышкин стал оглядываться: снег, узкая дорожка, высокая стена.

Мышкин хотел пройтись, но и пяти шагов не осилил: голова кружилась, сделалось дурно, а ноги словно из ваты — подгибались.

— Набегался? — издевательски спросил Ирод.

Мышкин не ответил, вернулся в камеру и лег на койку.

Чтобы отвлечься от грустных мыслей, он вздумал заняться гимнастикой: стал подбрасывать кверху ноги. Раз, два... и чуть не закричал от боли. Глянул под колено — чернота.

Болезнь с каждым днем усиливалась. От лодыжек опухоль поднялась до колен. Ноги превратились в два

обрубка; цвет их менялся от красного к серому. Боль в икрах была ужасна...

Но Мышкин заставлял себя ходить. Походит несколько минут и как сноп валится на койку. Сознания он не терял, однако впадал в сумеречное состояние: ему казалось, что не он страдает, а Фрузя, что она смотрит на него умоляющими глазами: «Ип, помоги...»

На соборной колокольне начинается перезвон колоколов, и Мышкин открывает глаза. Он встает, но ходить не может...

Надо! Надо! Пройдется раз-другой вдоль койки, держась за нее...

И вот тогда, когда он, словно ребенок, неуверенно вышагивал, сосед справа простучал:

«Знаете, Ипполит, о чем я все утро думаю? О картине».

Превозмогая боль, Мышкин простучал ногой:

«О какой картине?»

«В Москве, на выставке, я видел удивительную картину. Стрельцов ведут на казнь. Картина меня поразила. На ней ничего страшного не было: художник не показал, как вешают стрельцов, а показал только людей, которых собираются вешать».

Мышкин простучал:

«Предчувствие большой человеческой трагедии производит более сильное впечатление, чем показ самой трагедии. Подробнее поговорим ночью: я устал».

Ночью Колодкевич предложил:

«Давайте продолжим разговор о картине».

Но Мышкин не ответил: он был не в силах шевельнуть ногой.

Мышкин слабел день ото дня, ноги распухли, из язв сочилась вонючая бурая гадость. Несколько зубов вывалилось, остальные расшатались. Глаза болят, слезятся, словно в них дунули табачную пыль. Мышкин чувствовал, что он с каждым днем разрушается не только физически, но и духовно. Его ум, точно придавленный тяжестью, работает вяло, скоро утомляется.

«Неужели конец? — спрашивал себя Мышкин. — И какой будничный! Добро бы на баррикаде, в опьянении борьбы, или на эшафоте на глазах друзей и врагов, но здесь, в четырех стенах...»

Однажды послышалось ему: скрипнула дверь, в каме-

ре раздались легкие, осторожные шаги. Но он не мог преодолеть дремоты и раскрыть глаза. Шаги замерли у койки, и Мышкин почувствовал на своем лице чье-то горячее дыхание: кто-то над ним наклонился, и к его лбу прикоснулись теплые губы.

Он раскрыл глаза и увидел Фрузю. Одета она была в дорожное платье, с сумочкой через плечо. Она стояла на коленях, нагнувшись над ним, и шептала, улыбаясь сквозь слезы:

«Ипушка, как ты похудел...»

Что это? Сновидение? Нет! Она здесь, она с ним. На ее губах — улыбка, а на длинных ресницах — слезы.

Мышкин встрепенулся и протянул руки: пустота...

32

По коридору разнесся топот ног, загремел замок, щелкнул ключ, дверь отворилась.

Сначала два жандарма, за ними Ирод с двумя унтерами, позади всех доктор — высокий худощавый старик с длинной седой бородой и с очками на носу. Заложив одну руку за борт пальто и опираясь другой на палку, он вошел в камеру, не снимая фуражки, сделал несколько шагов и вдруг обратился к Ироду:

— Еще жив! Что, братец, плохи дела?

Мышкин молча взглянул на старика и, не отвечая на вопрос, закрыл глаза. Деревянные лица унтеров, змеиный взгляд Ирода и его тупая морда, доктор, неприязненно смотревший из-под нависших серых бровей, — все они произвели на Мышкина тяжелое впечатление: его сердце болезненно сжалось.

Доктор грузно опустился на табурет, не спеша распахнул пальто и, положив часы на стол, стал щупать пульс больного.

— Плохо, плохо, — пробормотал он. — А ну, покажика ноги.

— Да оставьте вы меня, — раздраженно сказал Мышкин.

— Капризничать нечего, — наставительно заметил Ирод, — ведь это о тебе же заботятся.

У Мышкина не было охоты, а может быть, и сил ответить Ироду.

— А ну-ка, покажи рот! — приказал доктор.

Не открывая глаз, Мышкин молча раскрыл рот.

Доктор покачал головой и, помолчав несколько мгновений, встал, застегнул пальто:

— Что делать, — сказал он, снимая очки и протирая их платком, — ведь когда-нибудь надо умирать. Ну, — обратился он к Ироду, — нам еще в десятый номер.

Взявши палку, доктор кашлянул и направился к выходу. Вдруг повернулся:

— Да, вот что, дайте ему молочка, побалуйте его перед смертью.

Все вышли, дверь захлопнулась.

Мышкин остался лежать с закрытыми глазами. В последние дни он часто думал о смерти, но ужаса смерти не ощущал. Смерть — это покой, отдохновение. Он, правда, не закончил, не завершил дела своей жизни, но разве можно его упрекать за это? Как сказал Коля Хрущев? Кругом стена. Да, стена... Один солдат выбыл из строя, другой станет на его место... Стену разрушат... Непременно разрушат. Не может стена загородить дорогу новой жизни...

Но хотелось бы умереть на открытом воздухе, под шелест листьев и щебетанье птиц, смотря в ясное солнечное небо!

Последние слова доктора, сказанные не без ехидства, спасли Мышкина.

С цингой дело улучшилось, появилась новая беда. Стоило Мышкину встать на ноги или начать ходить, как в подошву вонзались сотни гвоздей. Выносить такую боль у Ипполита Никитича уже не хватало сил, но он заставил себя ходить... ходить.

Беседы с Колодкевичем его утомляли. Колодкевич как бы ушел из реального мира. Он говорил только о совести, о долге, о гартмановской философии бессознательного.

«Неужели у этого сильного человека туманится ум?»

Мышкин, превозмогая боль в ноге, выстукивал соседу рассказы из своей жизни: как он ездил в Вилюйск, как они с Колей Хрущевым пробирались во Владивосток. Ему, Мышкину, хотелось кричать от боли, а он вел рассказ в шутливом тоне, чтобы развлечь, чтобы отвлечь Колодкевича от грустных мыслей.

И это ему часто удавалось.

Сосед слева, Арончик, радовал Мышкина своей детской непосредственностью: он чем-то напоминал ему Колю Хрущева.

Особенно трогателен был один из рассказов Арончика: семья снаряжает его в дальний путь, в Петербург. На Гомельском вокзале, когда обо всем уже было уговорено, матушка Арончика вдруг забеспокоилась: «А калошки ты не забыл взять с собой? Не дай бог, можешь еще простудиться! В Петербурге ведь сыро!»

— Смешно, Мышкин, правда? Мне уже тогда грозил арест, а дорогая моя матушка беспокоилась, захватил ли я калошки.

Теплое отношение студента Арончика к своей матери вызывало встречную теплоту со стороны Мышкина. Устав от беседы с Колодкевичем, он отдыхал в перестуке с Арончиком.

...Мышкин стал выходить на прогулку. Он физически окреп, и вместе со здоровьем вернулась неугомонность, жажда деятельности. Он стал писать записки и прикреплять их ниточкой к лопате — заключенные пользовались ею для отгребания снега на прогулках.

Опять разгорелся спор. Многие упрекали Мышкина в... донкихотстве. Он-де собирает полки для будущих атак и не желает видеть, что мы заживо гнием в своих гробах. Вместо того чтобы разрабатывать партийные программы для завтрашнего дня, он подумал бы о сегодняшнем.

Михаил Попов, товарищ по Каре, прислал Мышкину записку:

«Надо решиться. Надо протестовать. Товарищи предлагают начать голодовку».

Мышкин ответил Попову:

«Дорогой друг, протест голодовкой вроде протеста некрасовского «Якова верного, холопа примерного»: казнись, мол, моими страданиями! Нашим палачам и особенно здесь, в равелине, наша тихая и спокойная смерть будет только на руку. Они со строгим соблюдением тайны в этом застенке могут с удобствами выдать нашу гибель за смерть от естественных причин.

Нет, я согласен голодать, но вместе с тем будем бросать чем попало в наших палачей, будем кричать, бить стекла — короче, делать все возможное в этой обстановке, чтобы наш протест стал известен вне стен этого застенка. Пусть нас перебьют! Во всяком случае, такой протест

тем удобен, что не останется без следа для жизни, перебьют нас или уступят нам, то есть дадут нам книги, свидания с товарищами и переписку с родными».

...В знойный июльский день Мышкин лежал на койке и мысленно видел себя в маленькой швейцарской гостинице: окно распахнуто, горный живительный воздух вливается в комнату щедрой струей...

Вдруг — стук. Мышкин подошел к стене.

«Ты не Мышкин, — выстукивал Арончик, — ты червонный валет. Богданович шпион. Он хочет выведать у меня мои тайны. А я не Арончик, я английский лорд. Не желаю водить знакомство с такими субъектами. Больше вам писать не буду».

Мышкин пытался успокоить товарища, находил для этого трогательные слова, но безуспешно.

Арончик сошел с ума. Стена слева замолкла.

А через несколько дней приключилась беда и в камере справа. Ночью услышал Мышкин возню в камере Колодкевича: входили, выходили, громко разговаривали. Вдруг все оборвалось — установилась мертвая тишина.

Заглохла и правая стена.

И это было трагично. Вечная тишина, вечные сумерки, вечно один и тот же злобствующий Ирод и его унтеры.

День за днем одно и то же и в том же убийственно монотонном порядке. Одиночество. Молчание: стучать некому, говорить не с кем.

Охватывало отчаяние.

33

Измотанный нервным напряжением и бессонными ночами в карцере, Мышкин лег спать 4 августа 1884 года раньше обыкновенного. Однако выспаться не успел.

— Встань и оденься, — услышал он ночью мерзкий голос Ирода.

Куранты Петропавловского собора пробили три четверти второго.

— Никуда не пойду ночью!

Мышкин видел за спиной Ирода двух унтеров, он знал, что его заставят подчиниться приказу, но не протестовать против ночного вторжения Мышкин не мог.

— Царева тюрьма, — сказал он, — а хуже кабака, по ночам всякая сволочь шляется. Спать человеку не дают.

— Я сказал, встать и одеться,— угрожающе повторил Ирод.

— А я не встану и не оденусь. Неси меня, мерзавец, на руках, если я тебе ночью понадобился!

По знаку Ирода на Мышкина набросились унтеры, стащили его с койки и силком одели. Потом поволокли в контору. Там Мышкина заковали в кандалы и бегом погнали к воротам равелина.

У ворот ждала карета.

На козлах, кроме кучера, сидел жандарм. От ворот, уходя в темноту, стеной стояла шеренга голубых мундиров.

Мышкина втолкнули в карету. Там уже находились два жандарма. Они схватили Мышкина за руки и сжали точно в тисках.

В карету влез Ирод:

— Пошел!

Карета покатилась.

За крепостной стеной было совершенно темно. Мышкин не мог разобрать, куда они едут. В тумане мерцали уличные фонари.

Карета остановилась. Первым вышел из нее Ирод, потом жандармы, подтягивая за собой Мышкина.

Блеснула Нева — синяя, с редкими огоньками. На том берегу высились здания, темные, мрачные. Только Зимний дворец сиял всеми своими окнами.

Баржа. Мышкина волокут по сходням.

На палубе стоял жандарм. Он схватил Мышкина в обхват и отнес его в крохотную каюту. Поставив Мышкина на пол, жандарм одернул на себе белую рубаху, подкрутил усы и ушел. Закрылась дверь, звякнул засов, и Мышкин остался один.

В передней стене было прорезано окошко, против него стоял часовой с саблей наголо.

Мимо окошка вели других заключенных: девять раз слышал Мышкин кандальный звон.

«Куда?» — спрашивал себя Мышкин.

На рассвете провели мимо мышкинского чулана последнего кандальника, и все затихло. Слышался только сдержанный шепот жандармов, звяканье шпор, грузные шаги Ирода.

На Неве началась речная жизнь: то свист парохода, то всплески весел, то переклик с баржи на баржу.

«Куда нас повезут? В Сибирь или в Свеаборг? Туда, где Николай I прятал политических заключенных? А вдруг в Шлиссельбург?»

Мышкин решил наблюдать: поедут они по течению реки или против?

Наконец тронулись. Поехали против течения.

Мышкин высунулся в окошко, чтобы обезопасить себя от часового, и ногой простучал вправо и влево:

«Везут в Шлиссельбург. Везут в Шлиссельбург».

Баржа остановилась. На палубе и в коридоре началась суетня. Скрежет засова, скрип двери и... кандальный звон.

— Одного вывели, — считал Мышкин.

Скрежет засова, скрип двери и... кандальный звон.

— Второго вывели.

Скрежет засова, скрип двери, и... вдруг крик:

— Я английский лорд! Не желаю водить знакомство с такими субъектами!

«Бедный Арончик», — подумал Мышкин, и тут же наперерез этой мысли вынырнула другая: «Не счастливый ли Арончик? Ведь он не сознает, какие ужасы ждут его в Шлиссельбурге».

Скрежет засова, распахнулась дверь, и Мышкина вывели на палубу.

Прямо перед пристанью высилась мрачная башня. Над воротами, широко распластав крылья, чернел двуглавый орел. Под ним надпись: «Государева».

Мышкин глубоко вдыхал свежий воздух. Он на мгновение забыл, где он: смотрел вдаль, на спокойную гладь Ладожского озера, на берег, поросший густой зеленью, на белые дымки, что столбиками поднимались к небу из дымоходов.

— Смотри, смотри, — услышал он шипящий голос Ирода, — не скоро вновь увидишь небо.

Мышкин понял: Ирод будет и тут его начальством.

— Сгинь, негодяй! — сказал он нарочито громко, чтобы и жандармы слышали.

— Отвести! — коротко распорядился Ирод.

Жандармы подхватили Мышкина, потащили.

Огромные крепостные стены, круглые и квадратные бастионы, красные крыши. Стены высились почти у самой воды..

Пройдя несколько метров, жандармы ввели Мышкина в ворота башни. Мышкин увидел деревянные створки, вделанные в каменную арку, и раскрашенные, точно верстовые столбы, в черную и белую краски.

Дальше — двор, кордегардия и опять маленький дворик. Двухэтажное здание одиноко стоит среди крутых крепостных стен.

Мышкина поволокли в подъезд этого здания. Там уже ждал его Ирод с ключами в руках. На толстых губах злорадная улыбка.

— Ну теперь ты ко мне навеки. Отсюда, брат, не выходят.

Мышкин подошел к Ироду, посмотрел ему в глаза и пренебрежительно, точно лакею, сказал:

— Распорядись, чтобы мне есть дали, я проголодался.

Ирод зашипел, зазвенел ключами.

— Ведите! — раскричался он вдруг.

Мышкина повели по чугунной лестнице.

Длинный коридор, еле освещенный керосиновыми лампами. По углам жандармы. Одна за другой тянутся глубокие темные ниши плотно запертых дверей с огромными засовами и замками. Тишина.

Ирод раскрыл дверь, на которой было написано: № 30.

Пропуская мимо себя Мышкина, Ирод шепотом сказал:

— Ты меня будешь помнить.

— И ты меня не забудешь, — спокойно, но с угрозой в голосе ответил Мышкин.

Дверь захлопнулась.

Стол, табурет, умывальник, параша и железная койка. Окно высоко, с матовыми стеклами.

— Навечно, — сказал Мышкин.

Он сел на койку. В голове ясно: «Это конец. Круг замкнулся. Прав Ирод: отсюда не выходят, отсюда только выносят.

А Нечаев? Ведь он и в Алексеевском равелине сумел найти друзей среди надзирателей. Если попытаться? К тому же нет такой тюрьмы, откуда нельзя бежать. Надо только найти уязвимое место. Времени у меня достаточно... Когда-нибудь дадут мне прогулку — осмотрюсь, авось и уязвимое место обнаружу...»

Мышкин вздрогнул: чутким слухом тюремного ветерана уловил он тихий стук: «Кто? Кто?»

Он подошел к стене, ответил:

«Мышкин».

Стена ответила:

«Попов».

«Давай говорить по ночам. Научись стучать ногой...»

Потянулись тусклые дни и ночи. Отлетело лето, ушла грустная осень, наступила зима. Сквозь слепое окно вливался в камеру лиловатый, трупный свет.

Стояла гнетущая тишина. Чувство общности, которое устанавливалось по ночам во время «беседы» с Поповым, сменялось днем тягостным одиночеством.

Мышкин искал спасения в чтении, но безуспешно. Устает голова, рябит в глазах. Он пускался шагать по камере. Нет! Не шагать, а бегать, как зверь в клетке.

Уходили недели, а с ними капля по капле — и силы, телесные и душевные.

Мышкин стал замечать, что с ним творится что-то неладное. Он читает много, с интересом, а в голове ничего не остается, точно прочитанное просеивалось через решето. Однажды он даже не мог вспомнить название книги, которую только что прочитал.

— Врешь! — сказал Мышкин вслух. — Меня не одолеешь! Не одолеешь!

Он тут же постучал Попову:

«Родионыч, надо что-то предпринять. Голодовку, бунт, тюрьму поджечь. Что хочешь, лишь бы бороться, лишь бы дать знать на волю, что мы не умерли, что мы не покорились».

«Нас уничтожат».

«Пусть, но мы погибнем в борьбе, умрем как революционеры в бою с врагом.

Все же мы уляжемся в могилы
С надеждой на будущность земли,
С сознанием, что есть в народе силы
Создать все то, чего мы не могли.

Родионыч, постучи Поливанову, Морозову, скажи им: без борьбы мы трупы».

«Ипполит, дума...»

Стук вдруг оборвался.

Мышкин услышал топот бежавших унтеров, услышал рев Ирода:

— Опять стучишь!

Мышкин прильнул к глазку. Попова волокут по коридору.

— Кнутом отстегаю! — надрывается Ирод.

— Я стучал! Я стучал! — воскликнул Мышкин. — Ирод! Мерзавец! Ко мне ты не смеешь! Я стучал! Меня ты боишься! Трус!

Ирод не обращал внимания на выкрики Мышкина.

Попова уволокли.

Мышкин забегал по камере из угла в угол:

— За кнуты уже взялись... За кнуты...

...Гадко. Мерзко. И никакой помощи извне! Не поднимается третья волна... Неужели там, на воле, в огромной стране, все замерло — иссякла, обмелела революционная река?

Ночью, лежа на койке с открытыми глазами, Мышкин в тысячный раз видел одну и ту же картину художника Верещагина: на вершине утеса, в снежную бурю, стоит часовой. Он ждет смены. Но смена медлит, не приходит, а снежный буран крутит, вьет и понемногу накрывает часового... по колени... по грудь... с головой. И только штык виднеется из-под сугроба...

«Ведь это нас изобразил художник, — убеждал себя Мышкин. — Тюремные ужасы, словно снегом, покрывают наши надежды. Мы ждем смены, ждем новых товарищей, новых бойцов, ждем весточки, что за мертвыми стенами Шлиссельбурга идут революционные бои! Но тщетны наши ожидания. Тишина. Одиночество».

И Мышкин решил подтолкнуть застоявшуюся на воле жизнь, разбудить молодежь, взбудоражить ее. Ведь процессы «50-ти» и «193-х» вызвали на линию огня тысячи чистых сердец! Почему не создать третий процесс, процесс Мышкина, чтобы и он, мышкинский процесс, призвал новую молодежь на борьбу с вековечной несправедливостью?

Эта мысль так овладела Ипполитом Никитичем, что он, как и в Ново-Белгородской тюрьме в пору подкопа, всю силу своего ума отдал разработке деталей для подготовки будущего процесса.

И в бессонные ночи ему уже виделся суд, скамьи, полные народа... Он, Мышкин, произносит речь. Всплывают ужасы Ново-Белгородской тюрьмы, из гроба встает чудесный юноша-ученый Лев Дмоховский, слышны истош-

ные крики поляка Соколовского, мечется по камере Боголюбов; словно у позорного столба, высится топорная фигура Ирода.

— Посмотрите, — говорит Мышкин, указывая пальцем на Ирода, — это человекоподобное животное является олицетворением царской власти. Это он умертвил Колодкевича, это он довел до сумасшествия Арончика...

И в этих условиях, когда нервы Мышкина были напряжены до предела, когда «тюрьма была мертва, как могила, мертва день и ночь», когда узник в своей одиночке с матовыми стеклами видел одно только белесое пятно вместо неба, когда даже прогулочный дворик был так устроен, чтобы солнечный луч не мог проникнуть за высокие стены, когда участились обыски и Ирод отбирал даже щепочку, служившую зубочисткой, когда за перестук, — а ведь перестукивание единственный способ поделиться мыслью с товарищем, единственная возможность ощущать себя в кругу живых людей, — когда за этот перестук Ирод уже стал таскать в карцер и угрожать кнутом, в этих условиях потряс тюрьму случай с Минаковым.

Егор Минаков, студент, товарищ Мышкина по Карийской каторге, был сильный, волевой человек. Первые дни в Шлиссельбурге он шагал по камере и во весь голос пел одну и ту же песню:

Я вынести могу разлуку,
Грусть по родному очагу,
Я вынести могу и муку —
Жить в вечной праздной тишине,
Но прозябать с живой душой,
Колодой гнить, упавшей в ил,
Имея ум, расти травой, —
Нет, это выше моих сил!

Надоело ли Минакову пение или по другой причине, но он неожиданно заявил Ироду, что объявит голодовку, если ему не дадут книг для чтения и если ему не разрешат курить.

Восемь дней голодал Минаков, а Ирод не дал ему ни книг, ни табаку.

Тогда Егор Минаков решил «допеть свою песню до конца». 24 августа он ударил по лицу тюремного доктора, а утром 21 сентября раздался в коридоре возглас Минакова:

— Прощайте, товарищи! Меня ведут казнить!

Тюрьма молчала: узники в своих камерах не поверили в возможность такого злодеяния.

...Прошло почти три месяца после казни Минакова: тюрьма жила кошмарами этой преждевременной смерти. Никто из узников не мог простить себе того, что не ответил Минакову на его прощальный крик. Тяжело быть свидетелем расставания человека с жизнью, но во сто крат тяжелее, когда ты без протеста, без проклятия палачам, как бы безучастно отпустил товарища в последний путь.

Больше всех переживал Мышкин. Не дружба связывала его с Егором Минаковым — их связывала тягостная цепь мучений, которая тянулась за ними после неудачного побега с Карийской каторги. Но Егор Минаков был товарищ верный, надежный, и он ушел из жизни, чтобы не прозябать с живой душой, и ушел без дружеского «прощай!».

Однако, думал Мышкин, смерть Егора не принесла облегчения ни одному из его товарищей. Минаков ушел, а тюрьма с ее ужасами осталась. А разве смерть не может стать оружием в руках революционера? Разве нельзя своей смертью, словно внезапным выстрелом, отогнать волков от добычи?

Мышкина вернул к действительности грубый окрик надзирателя:

— Лампа коптит!

Мысли Мышкина получили иное направление. Сколько жандармов, надзирателей! И где только набрали такую сволочь? У всех выражение глубокой злобы, ненависти. Почему? Может ли человек по долгу службы так сильно ненавидеть своего ближнего, да еще за пятнадцать — двадцать рублей в месяц? В их взгляде личное ожесточение, как будто именно он, Мышкин, причинил им нечто такое, что до гроба забыть нельзя. С такими и Нечаев не смог бы договориться!

«Только суд, — возвращался Мышкин к заветной своей мысли. — Только на суде можно рассказать обо всех этих мерзавцах, и только рассказ об ужасах, которые они творят, всколыхнет мыслящую Россию».

Будет суд! И на этом суде Мышкин произнесет свою последнюю речь!

Его уничтожат: палачи не прощают тому, кто на них пальцем показывает, но весть о его гибели набатом про-

несется по России, разбудит спящих, приободрит колеблющихся, ускорит сбор боевых когорт. И палачи в страхе перед новым революционным взрывом хоть на время перестанут терзать свои жертвы.

В томике Некрасова, в том томике, который Костюрин подарил ему в день побега с Кары, Мышкина поразили две строчки:

Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других.

Его, Мышкина, лишили «мира», хотя и в «мире» он не мог бы жить только для себя, зато умереть для других он сможет!

План Мышкина был сложен по замыслу, но прост по выполнению. Каждый шаг узника был регламентирован, его мир был ограничен стенами и крепко огражден замками, и в этом тесном мире узник видел только своих тюремщиков. Они были свирепы, как одичалые псы, но... в намордниках — на самую обидную брань узника они отвечали злобным молчанием. Один только Ирод, с вечной наглой ухмылкой на толстых губах, считал себя неуязвимым, ибо покушение на его особу каралось смертью, словно покушение на царя. Вот это и решил Мышкин использовать: покушение на Ирода даст ему возможность произнести на суде последнюю речь.

А если палачи скроют от общества суд над Мышкиным? Осудят за закрытой дверью и повесят в сером рассвете — принесет ли его «тихая» смерть пользу общему делу? Принесет! Мир ничего не знает об узниках Шлиссельбурга: ни им, ни они не имеют права писать. Живые трупы! Но ему, Мышкину, перед казнью обязаны разрешить послать прощальное письмо матери! И живой голос шлиссельбургских мертвецов вырвется в мир!

25 декабря — рождество, праздник любви и всепрощения!

Идут к его камере, защелкали запоры. Раскрылась дверь. Перед Мышкиным выросла грузная фигура Ирода.

Мышкин вскочил с табурета, схватил со стола тяжелую медную тарелку и бросил ее в мерзкую, ненавистную, самодовольную рожу «царского двойника»!

— Палач! — крикнул он вслед.

Все горести, все страдания слились воедино в этом единственном слове.

На Мышкина бросился Ирод, нанося удары ключами. За ним — дежурные унтеры. Они били по лицу, по голове, а когда Мышкин упал на пол, топтали его ногами.

— Разбойники! Душегубы!

Загомонила тюрьма. Из всех камер несутся крики, визги, истерические вопли:

— Подлецы! Изверги!

И тюремный грохот испугал Ирода. Он кивнул жандармам.

Ушли.

Лязгнули запоры.

Мышкин остался на полу без сознания.

Из его раскрытого рта текла алая струйка.

Палачи устроили суд, но не такой, какой виделся Мышкину.

В самой крепости, в мрачном каземате, ночью собралось пять тюремщиков, они задали Мышкину несколько вопросов и... вынесли приговор:

«Подсудимого Мышкина за преступление его, на основании пункта «б» 2-й части 98 ст. и 278 ст. XII С. В. П. 1869 года, § 5, высочайше утвержденного 19 июля 1884 года Положения о Шлиссельбургской тюрьме, как лишенного уже всех прав состояния, подвергнуть смертной казни расстрелянием...»

После «суда» Мышкина перевели в другую камеру. Он бросился на койку и до крови закусил губу от бессильного гнева. Враги не дали ему говорить с народом через их головы.

...Давила тоска.

Ничего неожиданного, внезапного не случилось: он знал, что его умертвят, но... так подло, так трусливо, не дав ему высказать всего, что огнем горит в сердце!

В новой камере было окно с незакрашенными стеклами. На синевато-зеленом небе трепещут крупные звезды. Крепостная стена покрыта инеем, а в инее также мерцают крохотные звездочки. На земле синеватый снег.

Вот и весь мир!

Мышкин подошел к двери, постучал.

— Что тебе? — грубо и громко спросил Ирод.

— Дай мне бумагу. Прощальные письма напишу.

И Ирод принес бумагу, ручку, чернила.

«Мамаша...»

Как падение небольшого камня иногда вызывает губительный обвал в горах, так одно-единственное слово «мамаша», возникшее перед глазами, вызвало наплыв таких жгучих чувств, что у Мышкина закружилась голова и он был принужден лечь на койку.

На него обрушилось все прошлое, вся прожитая в муках жизнь. Он корчился от боли, словно бесчисленные палачи — и в школе кантонистов, и по разным тюрьмам — все еще секли его и били. Ему было горько от сознания, что навсегда лишился того упоительного счастья, которое ощущал в Мценской тюрьме при первом свидании с матерью. Его душили слезы, когда он опять, как это было в Петропавловке во время болезни, вдруг услышал шепот Фрузи: «Ипушка, как ты похудел».

Но Мышкин заставил себя взяться за перо. Ему горько, невыносимо тяжело, но и ей, дорогой старушке, будет нелегко. Нужно хоть словом умерить ее горе.

«Мамаша.

Вы мне дороже всех людей на свете. Простите за великое горе, причиненное Вам, так как знаю всем сердцем своим, как любим Вами. Смерть для меня теперь большое облегчение, ибо не могу я больше так страдать и мучиться, как это было до сих пор. Гибнем мы все тут за правое, за святое дело...

Дорогая моя, был я на исповеди и приобщался. Происходило это в тюремной церкви. Все сделал по-Вашему. Умираю спокойно, единственно, о чем жалею, что не могу Вас прижать к своей груди, целовать Ваши руки, Ваше лицо...

Мамаша, все мы должны умереть, разница только в сроках. Когда же становится жить невозможно, то смерть — спасение и благо. Ради Вас я не наложил на себя руки сам, как это сделали некоторые из замученных. У меня же сами мучители отнимают жизнь, и я рад этому — это лучше, чем медленно задыхаться в их когтях. Да и не страшно это: один момент, и все кончено.

Мамочка дорогая, горько Вам, тяжело Вам будет, но верьте, что для меня легче умереть, чем гнить здесь долгие годы. Прощайте, мысленно обнимаю и целую Вас, дорогая моя. Умру я с мыслью о Вас...

Ипполит».

Мышкин вскочил, схватил себя за голову.

— Что я написал? Если письмо попадет в руки мыслящему человеку? «Мышкин был на исповеди!» У кого причащался? У тюремщика в рясе! У попа, который в Иркутской тюрьме замахнулся на него кадилом и рыкнул: «Врешь! Не расцветет!» Товарищи! Это очень сложно, сложнее, чем многим кажется.

Он опять взялся за перо.

«Дорогой брат Григорий!

Пишу последнее, предсмертное письмо. Прощай, дорогой брат, но знай, что я ни на шаг не отступил от своего пути. Были моменты, когда я слабел духом и делал ошибки, но я сто крат искупил это непрерывной борьбой и страданиями, доводившими меня почти до безумия. Теперь, если я остался виновен перед товарищами, страдавшими вместе со мной, смертной казнью искуплю все эти невольные мои прегрешения.

Я чист перед собой и людьми, я всю жизнь отдал на борьбу за счастье трудового угнетенного народа, из которого мы сами с тобой вышли. Верю, новые поколения выполнят то, за что мы безуспешно боролись и гибли.

Дорогой брат, пусть тебя не смущает то, что я пишу матери. Да, я исповедовался и причащался, но своих взглядов на вещи я не изменил. Почему же я это сделал? По следующим причинам: 1) Ты знаешь, как я люблю мать, а она взяла с меня слово, чтоб перед смертью я причастился. Разве я мог отказать ей? 2) Не сделать этого, а написать ей, что сделал, я тоже не мог. Нельзя лгать перед смертью, лгать притом матери. 3) Для меня все это пустая комедия, а мать легче помирится с ужасной для нее утратой, если будет знать, что я умер «как христианин».

Верю, что ты поймешь меня, поймут и другие, когда узнают всё. Ах, как бы я хотел обнять всех вас, моих дорогих: тебя, маму и Володю. Прощай. Помоги матери перенести горе.

Ипполит Мышкин»

Два письма! Они уйдут в живую жизнь...

«А дела? Неужели они хоть чуточку не приблизили к цели будущие поколения? Неужели меня, мертвого, народ не поставит в свои ряды, когда он выйдет на улицу в праздник победы?»

Меркла ночь, уже стала пробиваться предрассветная серость. А Мышкин все шагал по камере, говорил сам с собой.

Вдруг — грохот в коридоре.

Шаги приближаются к его камере.

Мышкин понял, угадал. Он схватил перо, обмакнул его в чернильницу и написал на крышке стола:

«26 января я, Мышкин, казнен».

Дверь растворилась. В камеру вошел Ирод; вслед за ним — четыре солдата с винтовками в руках.

Мышкин выпрямился и, окинув Ирода быстрым, раздраженным взглядом (так смотрят на лужу, в которую нечаянно ступила нога в начищенном ботинке), молча направился к выходу.

Установилась традиция: палач, делая свое грязное дело, не смеет улыбаться. По отношению же к Мышкину царские палачи не посчитались с этой традицией. Министр внутренних дел, направляя в Новгородское жандармское управление прощальное письмо Мышкина к матери, написал: «Объявить ей осторожно о последовавшей смерти ее сына».

Какая заботливость о несчастной матери! Господин министр предлагает «осторожно» осведомить ее о «смерти» сына, которого подручные этого самого господина министра убивали изо дня в день. Как отвратительна эта улыбка палача!





ЛЮДИ ОДНОЙ МЕЧТЫ

1

Вите Обнорскому было четырнадцать лет, когда мать решительно заявила ему:

— Хватит учиться! Уже выучился! Отправляйся к Ивану Никитичу. Он тебе товарец отпустит.

— Какой товарец?

— Как — какой! — рассердилась мать. — Торговать будешь. Пора на свой кошт переходить.

Виктор по-взрослому отнесся к этой перемене. Он понял, что мать не внесет платы за учение и что двери школы уже закрыты перед ним, все же приготовил уроки и в девять часов вечера, как обычно, отправился гулять.

В этот день он вернулся домой поздно. Мать, подавая ему кружку яблочного кваса и ломоть хлеба, спросила:

— Был у благодетеля?

— Не нужен мне ваш благодетель. Я уже устроился.

— Где? — не то обрадовалась, не то всполошилась мать.

— В дорожных мастерских. В слесарню.

Виктор, не торопясь, ел свой хлеб, запивал его квасом. Мать возмущенно воскликнула:

— Память отца позоришь! Отец унтер-офицер, а ты в мастеровщину идешь! На черную жизнь! Как братец твой непутевый!

— Не хочу квасом торговать.

— А чем плохо? При удаче в купцы выйдешь!

— И купцом не хочу быть. Мастерству обучусь и в Питер поеду.

— А там что? Братан твой не пухнет с голоду?

— А я не буду! — убежденно ответил Виктор.

Мать хорошо знала характерец своего сына: его не переспоришь. На все ответ найдет.

— Жизнь твоя, тебе и отвечать, — проговорила она уныло.

— И отвечу!

В дорожных мастерских было большое слесарное отделение. Ведал им поляк из ссыльных — в мастерских его почему-то звали Конфедератом Иванычем. Это был невысокого роста узкоплечий старик с живыми черными глазами. Рабочие любили его за кроткий нрав и за умелые руки.

Однажды, проверяя работы подростков, Конфедерат Иваныч залюбовался гаечным ключом:

— Кто сделал этот ключ?

— Я! — откликнулся Витя Обнорский.

— Ты будешь настоящим слесарем! — похвалил старик. — Ты душу материала понимаешь!

С этого дня он начал посвящать Витю в тайны мастерства: обучал черчению, математике и тем секретным приемам, которые, в сущности, создали славу Конфедерату Иванычу.

Витя был способным учеником: через два года дошел он до такого совершенства, что сам начальник мастерских советовался с ним по сложным работам.

Случилось: Конфедерат Иваныч целую неделю не появлялся в мастерских. Одни говорили: «Помирает поляк», другие: «Запил старик». Обнорский решил проведать мастера.

Он спустился в полуподвальное помещение и длинным коридором, во тьме, добрался до двери.

Комната маленькая. Низенькое оконце занавешено тулупом. В углу мерцает лампадка, и ее колеблющийся свет дрожит на лицах двух стариков, сидящих за круглым столиком. Конфедерат Иваныч, попыхивая трубочкой, внимательно слушает своего собеседника — кряжистого мужика с молочно-белой окладистой бородой.

— Нет, милок, ты России не понимаешь. Корень у нас один — мужик. Он правду жизни в сердце хранит. Он Разина выставил, он Пугача родил. А пролетариат твой — одна видимость.

— Через маленькое окошечко глядишь ты на свет, — промолвил Конфедерат Иваныч, выколачивая пепел из своей трубочки. — Кроме мужика, ты никого не видишь. А вот на Витьку посмотри. Он рабочий, он никогда под паном не был, а ты его спроси, чи ему сладко живется?

— Плохо! — вырвалось у Обнорского.

— Слышишь, Василий Лукич? А знаешь, почему ему плохо живется? Потому что твои холопские руки покупает пан помещик, а его пролетарские руки покупает пан фабрикант. И ты и он живете только для того, чтобы увеличивать капитал. Ты еще этого не понимаешь, потому и мечты твои, як песчиночки, маленькие. Тебе лишь бы коровенку дали да десятину землицы. А ему, пролетарию, этого мало — ему весь мир нужен!

Василий Лукич, ткнув пальцем в сторону Вити, проговорил с усмешкой:

— Это ему-то весь мир нужен? Фабричному-то человеку? Да он и корней-то в жизни никаких не имеет! Ни кола, ни двора, один дым из трубы, и то чужой! — и ушел, хлопнув дверью.

Конфедерат Иваныч, будто ничего не случилось, принялся готовить чай.

— А в мастерской говорят, что вы больны.

— Нет, Витя, здоровье мое хорошее.

— Так почему вы в мастерскую не ходите?

— Прогнали меня из мастерской. Прогнали, Витя!

— За что?

— За политику.
— Это что такое, Конфедерат Иваныч?
Старик поставил на стол две чашки, нарезал хлеба:
— Молод ты, Витя, не знаешь, что кругом делается.
— А что делается? — допытывался Витя, и в его карих глазах зажглись беспокойные огоньки.
— Плохо делается. На земле богатств много, так много, что все люди могли бы жить хорошо, а вот богачи захватили хорошую жизнь и крепко ее держат.
— А вырвать ее нельзя? — запальчиво спросил Витя.
— Можно, Витя. Надо только сильно захотеть.
Витя всю ночь просидел у Конфедерата Иваныча. Он узнал, что старик пытался «вырвать» хорошую жизнь из лап богатеев. Много рабочих боролось вместе с ним, но сил у них все же было недостаточно, чтобы победить.
— Когда весь рабочий люд объединится, тогда царя и богатеев уже ничто не спасет, — закончил Конфедерат Иваныч.
Витя Обнорский стал частым гостем в доме мастера. Ходил он не один, а со своим другом Пашей Решетниковым. Поляк много знает: и как борются рабочие в Европе, и какие партии существуют, и как нужно уходить от полицейских ищеек.
Эти беседы произвели сильное впечатление на юношей. Решетников решил сколотить революционный кружок, первый в Вологде. Витя Обнорский помогал своему другу, но на людях вел себя так, точно решетниковская затея его не интересует.

2

Однажды, провожая Конфедерата Иваныча домой, Витя заметил в глубине темного коридора красный огонек от цигарки и тут же, при очередной вспышке, узнал большие усы городового Шило.
— Проходите, господа хорошие! — предложил Шило, направляясь навстречу хозяину и его гостю.
Мастер и Витя Обнорский зашли в комнату. Там кто-то рылся в сундучке.
— А я тут без вас к обыску приступил, — сказал этот «кто-то», приподнявшись. Он протянул мастеру ордер на арест и с издевкой добавил: — Вещей у вас немного, господин социалист! Можем отправиться.

Конфедерата Иваныча увели.

Ночь. Мигают редкие фонари. Витя смотрит вслед удаляющимся громоздким фигурам полицейских, среди которых шагает маленький Конфедерат Иваныч. Вите грустно. Он издали следует за своим учителем. Ему хочется еще раз увидеть его доброе лицо, ему хочется дойти до полицейского участка, чтобы там, на ступеньках, ободрить старика прощальной улыбкой. Но Витя вдруг поворачивается и бежит домой. В сенях он опрокидывает ведро с водой, не обращает на это внимания, врывается в свою светелку, хватает со стола книги и брошюрки и крадучись направляется со своей ношей во двор, в уборную...

Покончив с этим, он бежит к Решетникову:

— Сожги все, что тебе давал читать Конфедерат Иваныч: старика арестовали!

Полиция явилась и к Обнорскому и к Решетникову, но ничего не нашла.

Шел 1869 год. Виктору было семнадцать лет. Он взял расчет в мастерской. Паше Решетникову он сказал:

— В Ростов-Дон еду. Там у меня тетка проживает. Зовет к себе.

А поехал Виктор в Петербург.

Город ошеломил юношу. Величественные дворцы, потоки людей и экипажей, гвардейские караулы, торговый шум — все это вызывало удивление, тревогу, страх.

Обнорский спешил выбраться из центра. К вечеру он очутился в Галерной гавани. По внешнему виду гавань напоминала тихую Вологду. Одноэтажные и двухэтажные домики с деревянными крышами, на которых зеленел мох, тумбы по обеим сторонам улицы, открытые канавы, поросшие травой, садики перед домами, скамьи у ворот, деревянные мостки.

Здесь и обосновался Обнорский. У вдовы-хозяйки было пять сыновей, и все они работали на Патронном заводе. На этот завод они устроили и Обнорского. Первое время Виктор дружил с сыновьями вдовы, но скоро охладел к ним, стал пропадать где-то в городе, а дома, закрывшись на ключ в своей каморке, просиживал над книгами.

На Патронном заводе было в то время несколько кружков, и ими руководили народники. Одни называли себя лавристами, другие — бакунинцами, третьи — сине-

губовцами, или чайковцами. Между ними шли споры, порой очень острые, но в одном были они все согласны, а именно в том, что капитализм не найдет у нас благоприятной почвы для своего развития. А раз не будет капитализма, то и пролетариата не будет. «Человеком будущего», следовательно, является мужик, а отнюдь не рабочий.

Синегубовцы показались Виктору более деятельными, более революционными, и к ним примкнул семнадцатилетний юноша из Вологды.

...Прошло больше двух лет. Обнорский привык к Петербургу, и в его жизни уже установился твердый порядок. Он регулярно посещал кружок; там читали «Манифест Коммунистической партии», «Гражданскую войну во Франции» Маркса, стихи Некрасова, рассказы Глеба Успенского, статьи Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Герцена, «Примечания к Миллю» Чернышевского и его роман «Что делать?», «Историю одного крестьянина» Эркмана Шатриана. Ни одной читки не пропускал Обнорский; мало того: он брал книги на дом и готовил по ним рефераты для своего кружка.

В 1872 году он уже сам руководил двумя кружками, не бросая все же занятий у синегубовцев. Учеба давалась ему нелегко. Над трудом Маркса «Капитал» (тогда был напечатан один только первый том) он просиживал ночи. Но, чем дальше Обнорский углублялся в это гениальное творение, тем яснее выступал его сокровенный смысл. С каждой главой Обнорский ощущал, что он поднимается все выше и ясно, как с горы, обозревает обширный мир социальных явлений...

Однажды слесарь Петр Кудров собрал у себя на квартире несколько рабочих, руководителей кружков. Говорили о безработице, о голоде в рабочих кварталах, и Петр Кудров предложил повысить с двух до трех процентов взносы в кассу взаимопомощи, чтобы обслужить большее количество нуждающихся.

Когда беседа уже клонилась к концу, выступил Обнорский.

— Бороться надо, — сказал он, — с капитализмом, который порождает голод. Кассы взаимопомощи — нужное дело, но не они разрешат рабочую проблему. Рабочее сословие в России выросло во внушительную силу, и если мы объединим эту силу, то капиталистам придется счи-

таться с нею. Вот с чего надо начать... Рабочий союз надо создавать! Почти на всех питерских заводах имеются революционные кружки. Вот эти кружки и станут первыми ячейками рабочего союза! После Питера перекинемся в Москву! Из Москвы — в другие фабричные города!

Рабочие засиделись допоздна, они забыли о цели собрания — так увлекли их слова Обнорского.

Через несколько дней на собрании одного из кружков подошел к Обнорскому литейщик с завода Нобеля — Николай Рейнштейн. Это был не по летам грузный человек с аккуратно подстриженной бородкой и в темных стальных овальных очках. Черты лица его были очень мелки, нос крошечный, вздернутый, придававший солидному Рейнштейну задорный и в то же время комический вид.

Обнорский часто встречал Рейнштейна на собраниях, и Рейнштейн нравился ему своей скромностью и знанием рабочей нужды.

— Мне хотелось бы с вами поговорить, — сказал Рейнштейн.

Обнорский отвел литейщика в сторону. Толково, хотя и скупыми словами, рассказал Рейнштейн о делах на своем заводе, о настроениях среди рабочих и попросил Обнорского провести несколько бесед с его кружковцами. Обнорский согласился.

С этого дня стали они часто встречаться, и, следя за пропагандистской работой литейщика, Виктор Павлович убедился, что его новый знакомый обладает незаурядными организаторскими способностями.

В один из дней Николай Рейнштейн пригласил Обнорского «на чаек». Это было кстати: Виктор Павлович промерз в сарае, где проводил двухчасовое собрание.

Они поднялись на второй этаж, раскрыли дверь. В центре просторной и чистой комнаты стоял стол; на нем призывно посвистывал самовар. На белой скатерти — посуда, колбаса, булки.

За столом сидела жена Рейнштейна — Татьяна Алексеевна. Пышные золотистые косы, красивое лицо, тонкие губы, приветливая улыбка.

Она поднялась навстречу гостю:

— Пожалуйста! Как я рада! Мне Николай столько хорошего про вас рассказывал... Но какой вы молодой! —

закончила она неожиданно, протягивая Обнорскому обе руки.

Голос приятный, грудной, руки теплые, дружеские.

Сели ужинать. Татьяна Алексеевна глядела на гостя как-то застенчиво.

Рейнштейн рассказывал о рабочем, который сегодня утром попал в чан с серной кислотой.

— И погиб? — вскрикнула Татьяна Алексеевна.

— Да, Таня, он сгорел.

Татьяна Алексеевна вздрогнула; ее глаза, большие, грустные, остановились на Обнорском.

— Какой ужас!.. Какой ужас!.. — Она поднялась с места. Косы развились и двумя золотыми жгутами упали на плечи. — Какой ужас! — повторила она. — И почему рабочие терпят? Почему они не борются?

И Обнорский поверил гневным словам Татьяны Алексеевны — стал часто бывать у Рейнштейнов.

3

В августе 1873 года Виктор Павлович Обнорский уехал в Одессу и там устроился на небольшом литейном заводе Фалька. На заводе он познакомился со слесарями Кравченко и Рыбецким. Оба — рослые, веселые — пользовались доброй славой среди товарищей. Прислушиваясь к разговорам в цехе, Обнорский понял, что Кравченко и Рыбецкий ведут пропаганду за создание рабочего союза.

— А программу вы уже выработали? — спросил однажды Виктор Павлович у Кравченко.

Кравченко промолчал.

На третий день, уходя с завода, Обнорский на улице столкнулся с Рыбецким.

— Пойдем ко мне, — предложил Рыбецкий.

Рыбецкий жил в деревянной пристройке. Комната была обставлена убого.

— Почему ты программой интересуешься? — спросил хозяин, доставая из шкафчика припасы.

— Раз собираетесь союз организовать, то нужна будет программа, — охотно ответил Виктор Павлович.

Рыбецкий вышел из комнаты и через несколько минут вернулся, держа в руке небольшую книгу.

— Это ты знаешь? — спросил он, раскрывая страницу

с «Уставом Международного товарищества рабочих». — Вот наша программа! Бери. Прочитай. А завтра мы с тобой пойдем к Заславскому и там поговорим.

— На кружок я приду, с Заславским поговорю, только, чур, я не Обнорский, а Козлов, и не из Петербурга, а из Харькова. Так всем и говори...

Обнорский виделся с Заславским, изредка посещал его кружок, знакомил товарищей с рабочим движением в Петербурге, но к самостоятельной революционной работе не приступал. Не для этого приехал Обнорский в Одессу: он держал путь на Запад, чтобы там познакомиться с работами Маркса, чтобы изучить там программы рабочих партий. Для этого он бросил Петербург, налаженную кружковую работу, товарищей...

Все свободное время Обнорский проводил в одесской городской библиотеке: обложив себя пособиями, изучал он французский язык.

Двадцать первого декабря, сказавшись больным, Виктор Павлович ушел с работы, отправился в порт, нанялся смазчиком на пароход, который стоял под парами, и через неделю был уже в Лондоне.

Эмигранты в то время не задерживались на туманных берегах Темзы — Обнорский проследовал в Женеву. Там он поступил слесарем на завод Ваннера и засел за книги. Изучал документы I Интернационала, программы европейских социал-демократических партий, следил за их газетами, за возникающими внутрипартийными дискуссиями. Его интересовал опыт рабочего движения. Он хорошо понимал, что этот опыт должен ему пригодиться для союза, который он задумал создать в Петербурге.

Книги и журналы добывал для Обнорского его квартирный хозяин — токарь с того же завода Ваннера, член женевской социал-демократической организации. С виду это был угрюмый пожилой человек, вечно сосущий коротенькую трубку, а на самом деле — жизнерадостный, увлекающийся, любитель поговорить и поспорить. Часто под вечер навещал он своего постояльца, усаживался в сторонке и, попыхивая трубкой, следил, как Обнорский делает выписки из книг или журналов. Так он мог сидеть час, два...

— Не хватит ли на сегодня? — спрашивает он наконец.

— Пожалуй, хватит, — соглашается Обнорский.

Они выходят на балкон, усаживаются.

Улица упирается в озеро. Стремительные чайки кружат над водной гладью. Белые паруса уходят в межгорье. Крохотный островок утопает в густой зелени. Виноградники подходят вплотную к белым стенам домов. На горах лежат алые полосы заката. Маленький ослик в упряжке, горбясь, взбирается по крутой дороге. Золотая стрелка на часах островерхого здания поминутно вздрагивает...

— Хорошо у вас тут! — говорит Виктор Павлович.

— Оставайтесь, товарищ Виктор! — оживляется токарь. — Большим человеком станете в нашей партии... В самом деле, товарищ Виктор, оставайтесь у нас! И зачем вам возвращаться в эту дикую Россию? Там у вас царь, свободного слова нельзя произнести. А у нас можете социалистические речи произносить, в газетах писать...

— Нет, товарищ Готфрид, — отвечает Обнорский, — Россия — не дикая страна. И ученых у нас много, и больших писателей много. А главное, очень много людей, которые хотят переделать нашу жизнь.

— А царь их вешает!

— Да, товарищ Готфрид, царь их вешает. Но мы уничтожим и царя и царский строй! Какая у нас жизнь будет тогда! Страна богатая, народ талантливый...

— Но когда это будет? — торопится Готфрид со своим возражением. — Когда, спрашиваю? У вашего царя много, очень много казаков!

— А рабочих еще больше! Когда они объединятся, получится такая сила, которую никакой царь не одолеет!

Готфрид прячет трубку в карман, придвигается со своим стулом ближе к Обнорскому:

— Товарищ Виктор! Социальный процесс — это как подводный ручей: когда он еще пробьется на поверхность? Я верю, что и у вас когда-нибудь будет республика. Но когда, товарищ Виктор? Через сотни лет! Ваш рабочий уж очень отсталый.

— А вот Маркс иного мнения о русском рабочем! — быстро отвечает Виктор Павлович. — Маркс не случайно согласился быть представителем русской секции в Генеральном совете Интернационала. Да, товарищ Готфрид, Маркс иного мнения о русском рабочем классе!

Так обычно кончались их беседы: не понимал швейцарский социал-демократ Готфрид своего русского квар-

тиранта. Но и Обнорский делал для себя выводы из этих бесед: учиться, учиться и как можно скорее передать свои знания русскому рабочему!

Третьего февраля 1875 года Обнорский спускался со ступенек Николаевского вокзала в Петербурге.

Возле трактира, который помещался против Казанского собора, Виктор Павлович встретил студента Левашова. Увидев Обнорского, Левашов опешил:

— Ты еще здесь?

— А где мне быть? — равнодушно откликнулся Обнорский.

— Уехать надо. Полиция лютует. Хватают направо и налево.

— К тебе можно дня на три? — спокойно спросил Обнорский, точно петербургские новости были ему уже известны.

— На три можно. Но не больше. Хочу удирать.

Левашов дал адрес и поспешно удалился.

Виктор Павлович зашел в трактир — хотел собраться с мыслями. Об организации союза теперь и разговора быть не может: люди разбрелись. Зря он поторопился выехать из Женевы.

Расплатился, встал.

«Куда? — подумал он. — К Рейнштейну или к Левашову?» Остаться в Питере, попасть в лапы полиции сейчас, когда все уже обдумано, приведено в ясность? И на свободе ли Николай? Если уезжает Левашов, случайный человек в кружке, то такой видный организатор, как Рейнштейн, давно арестован или скрылся...

В эту минуту Обнорский почувствовал толчок в плечо:

— Дружище! Ты еще здесь?

Перед ним стоял Монаков, кузнец с завода Нобеля.

— И ты еще здесь?

Монаков заговорил шепотом:

— Уезжаю. В Архангельскую губернию. Ищу только денег, чтобы кузницу купить. — И, удивив Обнорского резким переходом, расхохотался: — Иди ищи ветра в поле!

— Молотобойцы тебе нужны? — весело спросил Обнорский.

Монаков вскинул на товарища удивленный взгляд:

— На кой они мне ляд? — Но, подумав, серьезно до-

бавил: — Верно, дружище, и тебе надо подальше от полиции.

Отправились к Левашову. Тот был дома. И ему пришелся по сердцу план Монакова.

Через три дня они втроем выехали из Питера в деревню Фехтольму, Архангельской губернии. Деньги — шестьдесят рублей — на покупку кузницы добыл Левашов.

Но в Фехтольме Обнорский не засиделся — потянуло обратно в Петербург.

...Обнорский смотрит в окно вагона.

Как изменилось все кругом! Зимой, когда он ехал в Фехтольму, природа лежала мертвая, скованная стужей, и казалось, что ничто не в состоянии ее оживить. А сегодня — буйные травы в бликах жаркого солнца, зеркальная гладь воды...

Обнорский приехал в Петербург вечером и прямо с вокзала направился к Рейнштейнам.

После ужина хозяин отвел гостя к окну:

— Народ уже начал в себя приходить, и вот опять большой провал в Москве. Я тебе писал в Женеву. Ты получил мое письмо? Больше ста человек в Москве арестовано. Помнишь ткача Алексеева? Тоже арестован.

Виктор Павлович привык к рубленой речи Рейнштейна, но на этот раз ему послышались какие-то новые нотки в голосе хозяина, чуть ли не злорадство. Взгляд Рейнштейна также не понравился Виктору Павловичу: вороватый, трусливый взгляд. И это насторожило Обнорского.

— Ты уехал за границу в семьдесят третьем, — продолжал Рейнштейн, — полтора года назад. А за это время три волны арестов. Но... — он сделал длительную паузу и решительно закончил: — работать все же можно!

Виктор Павлович присмотрелся к Рейнштейну. Еще больше пополнел, отрастил солидную бороду.

Обнорский подумал: время для работы сейчас самое подходящее. Был разгром в позапрошлом году, в прошлом году прошла волна арестов, теперь будет кратковременное затишье, и упустить это затишье — преступление! Надо разыскать старых товарищей, связаться с работающими кружками, надо собрать уцелевших от разгрома руководителей — и за дело! Союз строить! Рабочий союз!

Виктор Павлович подошел к столу, бросил в пепель-

ницу недокуренную папиросу и, подхватив свой крохотный чемоданчик, заторопился:

— У меня ведь билет в кармане. Ехать мне надо.

— Куда?

— В Москву еду. На работу. — Видя недовольное выражение на лице Николая, мягко добавил: — Что делать, люди мы рабочие, без труда не проживем.

Но Виктор Павлович остался в Петербурге. Опять мастерская, кружки, собрания. Рейнштейна избегал — пусть думает, что он в Москве.

4

В кружке, работавшем на Патронном заводе, Обнорский долго присматривался к нескольким рабочим — они привлекли его внимание своей начитанностью и своим настороженным отношением к народникам. Люди они были разные: угрюмый, скупой на слова Карлуша Иванайнен, слесарь с Патронного; живые, порывистые братья Петя и Алеша Петерсоны, тоже рабочие с Патронного; подвижной и восторженный Сережа Виноградов; мягкий и немного суматошливый Петя Кудров; не по летам серьезный Дмитрий Смирнов. Но особенно привлекал к себе красавец краснодеревец Степан Халтурин.

После одного собрания Виктор Павлович пригласил к себе Халтурина. Сели чай пить. Хозяин поведал гостю, как трудно ему давался «Капитал». Халтурин, держа стакан на весу, проговорил:

— Да, Виктор, книжица нелегкая. Не тебе одному она давалась с трудом. — Халтурин сделал несколько шагов по комнате. — Зато, Виктор, когда осилишь ее, как ясно становится в голове! Ведь, в сущности, формы обмена товаров надо понимать не отвлеченно — понимать надо исторически, как ступени, по коим обмен товаров проходил в человеческом обществе...

После этого, без всякого перехода, Халтурин стал говорить о кружках, о лавристах и бакунинцах.

— Скажи, Виктор, неужели они не понимают, что мы не должны отрываться от рабочего класса? Они думают, что капитализм у нас случайно выскочил, как прыщ на носу, и поэтому, говорят они, в России пролетариата не будет. Но ведь он уже есть, пролетариат этот! И с каждым днем его все больше становится! — Степан Николае-

вич закурил и, неожиданно повернувшись лицом к Обнорскому, закончил: — Свое общество создавать надо, рабочее!

— Степан! — обрадовался Обнорский. — Ты мои мысли подслушал! Милый, ведь это то, о чем я хотел с тобой поговорить! Выросло рабочее сословие! — Он увлек Халтурина к окну. — Посмотри, сколько труб взметнулось к небу, сколько заводских крыш раскинулось! Под каждой такой крышей — тысячи рабочих... Только народники сослепу этого не видят. Вырастают фабрики, растет и наше сословие. Но кто они, эти рабочие? Одиночки!

— Ты, Виктор, меня не убеждай, — застенчиво, со вспыхнувшим на щеках румянцем откликнулся Халтурин. — Если и ты к этой мысли пришел, то давай примемся за дело.

Осторожный и замкнутый Обнорский привязался сердцем к Халтурину, к человеку одной с ним мечты.

...В 1874 году, семнадцатилетним юношей, прибыл Степан Халтурин в Петербург. В родных Верхних Журавлях, деревушке, затерявшейся в вятских лесах, он мечтал о городе. Степан был уверен, что в городах люди живут без исправников, отбирающих у крестьян за недоимки последнюю скотинку.

Очутившись в Вятке, в ремесленном училище, он мечтал о Петербурге, Москве, где люди будто бы живут вольготнее и чище.

В Верхних Журавлях, еще мальчиком, он возмущался несправедливостью богатых и покорностью бедняков. В Вятке, посещая кружок ссыльного народовольца Трощанского, Халтурин начал понимать «хитрую механику» российских толстосумов. Он решил бежать в Америку, чтобы там, в «свободной» заокеанской державе, строить «идеальную жизнь».

Но в Америку Степан не попал: его попутчик, оказавшийся жуликом, обобрал легковерного юношу и бросил его в Москве — без денег и без паспорта.

Степан поехал в Петербург, в столицу, чтобы там собраться с силами и оттуда уехать за океан.

Он грузил бочки в порту, работал камнетесом на стройках, перевозил на ялике пассажиров через Неву и, хотя ютился по ночлежкам, где было шумно и грязно, много читал и твердо уверовал, что теперешнее его житье — только ступенька на пути к свободной жизни.

Через некоторое время Степан поступил в железнодорожные мастерские. Вышло это случайно. На Литейном проспекте торговали старыми книгами. Книги лежали на земле, навалом, и покупатели рылись в них, выискивая нужное. Каждое воскресенье Степан приходил на Литейный, часами рылся в книжной куче и всегда уносил с собой несколько книг. Хранить книги в ночлежках было трудно, и Степану приходилось брать на Неву, в ялик, всю свою библиотеку.

В январское воскресенье 1875 года, когда снег крупными хлопьями ложился на тротуар, букинист, грея руки над печуркой, со скукой в глазах наблюдал, как сидящий на корточках Халтурин роется в книгах, читает заглавия, листает страницы, но никак не может ничего выбрать.

— Вам, молодой человек, — спросил он, — какую книгу надо? По балету или по живописи? — Букинист был уверен, что молодой человек с тонким лицом и волнистой шевелюрой — художник или танцор.

— Мне бы по экономии.

— Политические? — перешел букинист на шепот.

— Можно, — в тон откликнулся Халтурин.

Букинист поднялся и из ящика, на котором сидел, достал две книги. Передавая их Халтурину, он быстро промолвил:

— Заплатите полтинник и уходите. А книги спрячьте.

Степан прочел надписи на обложках: Чернышевский — «Что делать?», Лассаль — «Программа работника».

Он отдал букинисту полтинник, спрятал книги под пальто и чуть ли не бегом пустился по Литейному, чтобы поскорее приняться за чтение.

Но Халтурина кто-то окликнул по имени. Обернувшись, он увидел улыбающееся лицо Котельникова, своего бывшего учителя по вятскому ремесленному училищу.

— Андрей Григорьевич! Вы давно из Вятки? — обрадовался Халтурин.

— Ты о себе расскажи, — предложил Котельников. — Книжки, вижу, покупаешь. Это хорошо. Покажи, что купил.

Халтурин замялся:

— Так, книжки...

— Покажи. Книжки разные бывают.

Степан Халтурин достал из-под пальто книги.

— Вот оно что! — весело сказал Котельников. — Я так и думал... Ты где живешь? В ночлежке? Куда это годится? Молодой, здоровый парень да в ночлежке! А где ты работаешь? Пассажиров возишь? Лучшего занятия не мог себе приискать? Ведь тебя ремеслу обучили! И руки у тебя не архиерейские! Не мог на завод поступить! Полюбилось тебе взад-вперед по реке кататься? Куда девалась твоя гордость? Эх, Степа-Степан! Разочаровал ты меня!

Строгая отповедь любимого учителя встряхнула Халтурина: он понял, что мечта о «свободной Америке» — это детская мечта о жар-птице, что «идеальную жизнь» надо строить тут, в Петербурге, и строить эту «идеальную жизнь» надо не одному, а с товарищами...

Халтурин поступил на завод. Общительный, деятельный, любознательный, он быстро сошелся с такими же деятельными, любознательными товарищами по работе, и вскоре сбился революционный кружок. Этим кружком руководил лаврист, студент Мурашкинцев.

Лавристы пришлись по душе Халтурину: в их журнале часто писалось о Марксе, давались большие статьи о I Интернационале, помещалась хроника рабочего движения, печатались материалы о стачечной борьбе в России... А рабочие дела стали интересовать Халтурина, очень интересовать, и именно дела русских рабочих.

Степан Николаевич Халтурин почти одновременно и независимо от Виктора Павловича Обнорского пришел к убеждению, что недостаточно заниматься теорией рабочего движения, а приспело время для создания рабочего союза. Эта мысль сблизила краснодеревца Халтурина со слесарем Обнорским, связала их дружбой, вызвала потребность в длительных беседах, спорах.

Они поставили перед собой две задачи. Первая — пропагандистская: убедить рабочих, участников кружков, что выросло новое, рабочее сословие и что рабочие имеют свои особые цели. Вторая задача — организационная: для борьбы с царизмом нужна сила, а этой силой может стать рабочая организация с четкой программой.

5

В зимний солнечный день на Загородном проспекте, недалеко от дома, где собирался кружок лавристов, Обнорский увидел впереди себя длинного и тонкого, как

телеграфный столб, студента Мурашкинцева — руководителя кружка. Обнорский недолюбливал лавристов и теперь, заметив жердеобразного студента, направлявшегося на конспиративную квартиру, с досадой подумал: «Вцепились вы, господа хорошие, в моего Степана, а ты ищи его, когда он по рабочему делу понадобился!»

Вдруг заметил Обнорский, что за студентом, неуклюже таясь, следует шпик. Он продрог в своем куцем пальтишке: прячет подбородок и нос под воротник пальто и каждый раз, точно спросонья, вскидывает голову, уставясь в спину медленно шагающего Мурашкинцева.

Обнорский бросился к студенту.

— Петр Петрович! — воскликнул он, протягивая руку. — Как хорошо, что я вас встретил!

Мурашкинцев опешил, но, узнав Обнорского, сообразил, что тот не зря перекрестил его из Александра Андреевича в Петра Петровича.

Шпик сначала остановился, потом отошел к воротам. Обнорский говорил громко:

— Петр Петрович, хочу пальто купить. Кажись, не ломовой, а в чуйке щеголяю! Помогите мне подходящее пальтецо выбрать, сделайте милость!

— Идемте, голубчик. Отчего не помочь человеку!

На Загородном было много магазинов готового платья, но Обнорский выбрал самый неказистый из них. И для этого у него были свои соображения. Обнорский видел на улице все: среди сотен физиономий моментально различал подозрительные и умел устроить так, что его самого трудно было заметить. Для этого у него всегда был целый запас заранее намеченных магазинов, проходных дворов. Он всегда умел куда-нибудь мгновенно исчезнуть, как сквозь землю провалиться.

— Дайте мне хорошее пальто! — потребовал Обнорский, войдя в магазин.

Он скинул с себя чуйку и бросил ее на прилавок. Шпик, проникший в магазин вслед за Обнорским, отошел в сторону и следил за чуйкой, лежавшей на прилавке.

Продавец снял с вешалки пальто.

— Пожалуйте в примерочную!

Это только и нужно было Обнорскому: из примерочной был выход на черную лестницу.

Виктор Павлович схватил Мурашкинцева за руку, вы-

вел его во двор, а оттуда, опять-таки каким-то черным ходом, увлек его к Пяти углам.

— Сумасшедший! Простудитесь! — воскликнул Мурашкинцев, когда они остановились, чтобы дух перевести.

— Ничего, Александр Андреевич, от простуды наш брат не умирает. А вы, господин хороший, не ходите на собрание с хвостом — народ подведете...

Только вечером разыскал Обнорский своего друга Халтурина.

Халтурин и Обнорский верили, что аресты в обеих столицах и возня полиции вокруг раздуваемого ею «процесса 50-ти» всколыхнут передовую рабочую массу и все революционное, все боевое среди рабочих ждет сигнала, смелого действия, чтобы с новыми силами опять ринуться в наступление.

И они решили ускорить рождение союза.

6

Полиция шла по следу Обнорского; шпики следовали за ним из квартиры в квартиру. Полиция была у Алеши Петерсона; дважды приходила к Петру Моисеенко — и оба раза после того, как Обнорский там ночевал; жандармы явились к Смирнову, но на Обнорского не обратили внимания: он был переодет трубочистом. К Иванайнену жандармы вошли через кухню, и Обнорский успел выскочить в окно столовой.

Проходили недели, месяцы. В Петербурге опять работало много кружков. Ими руководили и старые, уцелевшие от полицейского разгрома товарищи и молодежь, делавшая первые шаги в рабочем движении. Раз в месяц созывались расширенные сходки руководителей.

По инициативе Халтурина и Обнорского восстанавливались библиотеки и кассы взаимопомощи, сливались мелкие кружки, укрупнялись, и руководители этих кружков входили в правление районной ветви.

В рабочей среде крепло сознание общности интересов, во многих выступлениях уже слышалась тоска по центру, по единой направляющей руке.

— Ты уж больно горяч! — сказал однажды Виктор Павлович, когда они вдвоем со Степаном Николаевичем обсуждали программу будущего союза.

Спокойный Обнорский был раздражен: слова и фор-

мулировки, которые он вынашивал годами, теряли свою стройность под напором темпераментного Халтурина.

Уже много лет был рабочий Петербург поделен на секторы; каждый сектор имел свои кружки. У сектора были библиотека, касса и конспиративная квартира. Халтурин же и Обнорский внесли в старую схему больше четкости, больше гибкости.

Правление сектора собиралось два раза в неделю. Представители секторов — по воскресеньям.

— Нельзя! — горячился Халтурин. — Между двумя воскресеньями может такое произойти...

— Что ты предлагаешь?

— Предлагаю выбрать комитет из трех человек, не больше. Этот комитет имеет право в особо важных случаях действовать самостоятельно, не дожидаясь очередного собрания представителей секторов.

— Ты прав, — быстро согласился Обнорский, полагая, что они наконец-то закончили обсуждение программы.

Обнорский, умевший работать по двадцати часов без отдыха, на этот раз чувствовал себя разбитым, но деятельная натура Халтурина не знала усталости. Каждый пункт программы, каждая фраза будили у него вихрь мыслей, возбуждали его фантазию и тотчас рождали новые планы, проекты.

— Меня не удовлетворяет и вступление к программе.

— Какое еще вступление? — удивился Обнорский.

— А вот какое! Ты начинаешь прямо с Запада. Ты пишешь, что наши западные братья уже подняли знамя для освобождения миллионов. А мы что? Мы не подняли знамени? Какая будущность раскрывается перед нашими русскими рабочими! — горячился Халтурин, шагая по комнате.

Обнорский вскинул на товарища усталые глаза:

— Странный ты человек, Степан! Сколько раз мы с тобой об этом говорили, и каждый раз ты вспыхиваешь как порох.

— Да! — откликнулся Халтурин. — Настоящую революцию сделает русский рабочий! Революционные идеи, как весенний дождь, падают у нас на благодатную почву.

— А я разве спорю против этого? — сказал Обнорский, не скрывая горькой усмешки. — Думаешь, что перед тобой твои приятели-студенты?.. Постой, постой! —

подхватил он живо, когда заметил, что Халтурин принялся теребить бороду, а это он делал всегда в минуты волнения. — Постой, Степан. Ты знаешь, что будет, когда мы напечатаем свою программу? В первую очередь на нас накинутся господа бакунинцы и лавристы.

Халтурин не мог сдержаться:

— А тебе очень важно, что интеллигенты скажут? Важно, что скажет рабочий класс! А наш рабочий-то как вырос, разбираться стал! — Он достал из кармана пальто добытый им с большим трудом секретный баланс Новой бумагопрядильной фабрики. — Вот, Виктор, с чем надо идти к нашему рабочему!

Обнорский просмотрел баланс:

— Что тебя тут поразило?

— Не видишь? — ответил Халтурин. — Каждый рабочий вырабатывает в месяц продукции на четыреста шестьдесят один рубль двадцать шесть копеек, а сам получает в месяц двенадцать рублей двадцать копеек! За триста тридцать шесть часов каторжного труда!

— Капиталистический грабеж.

— Верно, Виктор, капиталистический разбой. Вот с этими цифрами мы должны идти на заводы. Наш рабочий не желает гнуть спину за двенадцать целковых в месяц! Программу надо начать с нашего рабочего движения. Мы должны сказать, что в России уже идет великая социальная борьба!

Обнорский поднялся:

— Отдохнем немного.

Халтурин только сейчас заметил, что наступает утро: в комнату просачивалась предрассветная серая зыбь.

— Виктор, — сказал он, зардевшись, — прости ты меня! Характер у меня отчаянный, жить тороплюсь.

Обнорский прилег на кровать, закрыл глаза и спустя несколько минут промолвил:

— Трудная штука — жизнь!

— Прекрасная, Виктор! — восторженно подхватил Халтурин.

— Не для нас с тобой... — в раздумье продолжал Виктор Павлович.

Халтурин в эту минуту зажигал папиросу. Слова Обнорского его ошеломили: он бросил и спичку и папиросу, прилег рядом с товарищем, обнял его за плечи.

— Виктор, ты утомился, отдохнуть тебе надо... По-

смотри, — показал он в окно, — рассветает. Скоро взойдет солнце — яркое, живое...

— Зачем ты с Александром Михайловым дружбу водишь? — спросил Обнорский неожиданно. — Ты ведь против террора.

Халтурин присмотрелся к товарищу: тонкие губы и мелкие, почти девичьи черты лица, а глаза — тяжелые, осуждающие.

— Михайлов — умный человек. Люблю его, — произнес Халтурин улыбаясь.

Голос Виктора Павловича стал суровым:

— А жандармы, думаешь, не знают, что он умный? За ним, поди, жандармы в тысячу глаз следят, а заодно и тебя приметят. И союз погибнет! Слышишь, Степан? Наш союз может из-за этого погибнуть!

— Виктор, — весело откликнулся Халтурин, — а за нами с тобой не следят?

— Следят, Степан, — с горечью подтвердил Обнорский. — Поэтому-то я и затеял этот разговор. Ты ходишь по Питеру, точно по трактиру, с ненужными людьми встречаешься... И откуда в тебе эта ярославская бойкость?

— Не могу, Виктор, без людей. Люблю людей! Вот мы тут с тобой спорили: выходить рабочим на демонстрацию или не выходить...

— Рано, Степан, на улицу выходить.

— Нет, Виктор, не рано! Царь думает: арестовал, выловил несколько сот человек — и покончил с рабочим движением. А мы ему покажем: «Смотри, царь-батюшка, какая у нас сила, и вся она на тебя идет!»

Обнорский промолчал, он не хотел спорить. Лежал с закрытыми глазами и прислушивался к глухим шумам проснувшегося города. По мостовой дребезжали извозчичьи пролетки, звеня и погромыхивая, проехала конка, где-то близко стучали молотки каменщиков... Но голос Халтурина отгонял эти шумы, властно врывался в сознание Обнорского, звал на простор, к солнцу...

Виктору Павловичу приходилось туго. Вечно ощущать себя в кольце полицейских ищеек, вечно конспирировать, убеждать, спорить, а по ночам работать в небольших мастерских, где хозяева не особенно церемонятся с «бродягами» (так звали рабочих, которых не принимали на большие заводы), — все это подтачивало его здоровье.

Работать становилось с каждым днем все труднее и труднее. Шпики следовали по пятам, и Обнорскому приходилось затрачивать много душевных сил на то, чтобы сбивать шпиков со следа, чтобы оберегать не только себя, но и товарищей, которых собирал для бесед.

Последнее собрание представителей секторов проходило на квартире Иванайнена. Едва приступили к работе — стук в дверь: «Уходите! Полиция!»

На этом собрании был и Николай Рейнштейн.

Странное чувство охватывало Виктора Павловича каждый раз, когда случай сталкивал его с Рейнштейном. Давнишний разговор оставил в душе Обнорского неприятный осадок. Ему тогда показалось, что в глазах Рейнштейна мелькнуло что-то враждебное, ехидное. Обнорский прекратил разговор, ушел и, хотя впоследствии часто сталкивался с Рейнштейном, видел его на революционной работе — а Рейнштейн работал хорошо, — смутное чувство тревоги не покидало Обнорского.

И на этот раз Виктор Павлович был неприятно поражен, когда Рейнштейн, уходивший вместе с ним из квартиры Иванайнена, неожиданно спросил:

— Где ты будешь завтра в восемь часов?

— А тебе зачем это знать?

— Я достану надежную квартиру для собраний.

И он достал.

В Лиговском полицейском участке испортилось водяное отопление. Рейнштейн взял подряд на починку котла. Все делегаты секторов были либо слесарями, либо механиками. Из ночи в ночь являлись они в полицейский участок, спускались в подвал — и ремонтировали котел, обсуждая попутно свои дела.

И этот случай убедил Виктора Павловича, что он зря подозревал Рейнштейна. Такой не предаст!

Вот сейчас, слушая Халтурина, Обнорский вдруг подумал: «Какие трудности, какие опасности преграждают путь к созданию союза!»

Не раскрывая глаз, Виктор Павлович сказал:

— Побереги себя, Степан. Очень прошу, береги себя! Есть еще подлецы среди нас. И кто из них предатель, на лбу не написано. А нам с тобой жить надо. Мы должны довести дело до конца... А теперь, — закончил он решительно, — давай обсуждать программу.

7

Демонстрация, о которой Степан Николаевич говорил Обнорскому, состоялась. День 6 декабря 1876 года был морозный и ясный. Рабочие собрались на Невском проспекте, перед Казанским собором.

— Вы что за народ и зачем собрались возле храма? — спросил осипшим голосом бородатый купец со ступенек собора.

Рабочие смешались, не знали, что ответить бородачу.

— Отслужить панихиду желаем, — нашелся белокурый студент Плеханов, стоявший рядом с Халтуриным.

— Панихиду?.. — удивился бородач. — В праздник?..

Подходят рабочие с Васильевского острова, от Нарвской заставы, из-за Черной речки.

— Тогда мы молебен закажем! — весело проговорил Петр Моисеенко, рабочий с завода Шау.

Когда перед собором скопилось много народу, прозвучал страстный голос студента Плеханова:

— Мы явились сюда, чтобы сказать нашим угнетателям: жив рабочий класс!

Слова Плеханова призывно звенели в ясном морозном воздухе; развернулось красное знамя, сквозь гул, сквозь ликованье слышались выкрики: «Да здравствует социальная революция!»

Налетела полиция, дворники, в воздухе замелькали дубинки, кулаки, обнаженные шашки.

Полицейский чиновник Васильев бросился в толпу, желая сорвать с палки красный флаг, но был сбит с ног сильным ударом в голову. Околоточный Успенский, поспешивший на помощь Васильеву, также упал окровавленный.

— Братцы! Плотнее! — звал Петр Моисеенко.

— Не выдавай! Не допускай фараонов! — слышался повсюду звонкий голос Халтурина.

Толпа двинулась к ступенькам собора. Впереди девушка с распустившимися косами:

— За мной! Вперед!

К полицейским подошло подкрепление. Демонстранты повернули к Невскому проспекту, отбиваясь кулаками и палками от наседавшей на них черной своры.

Рабочие дрались с ожесточением.

На этот раз победила полиция, но победа далась ей нелегко.

...Разразилась русско-турецкая война.

Петербург провожал на войну гвардию. По Невскому проспекту, по направлению к вокзалу, проходил полк за полком. Вдоль тротуаров выстроились тысячные толпы; они забрасывали солдат цветами, выкрикивали напутствия:

— Освободите братьев-славян!

— Пропишите турецким башибузукам!

— Свобода сияет на ваших штыках!

События на Балканах волновали русское общество. Народ сочувствовал стремлению болгар освободиться от турецкого ига. Прогрессивные слои населения вспоминали слова Добролюбова, сказанные им в связи с Крымской войной: «Нас расшевелила война... Мы как будто после сна очнулись, раскрыли глаза на свой домашний и общественный быт и догадались, что нам кое-чего недостает».

«Может, и эта война, — думали многие, — раскроет народу глаза на «свой домашний и общественный быт».

А полиция Александра II втихомолку делала свое подлое дело: арестовывала, ссылала. Но рабочие кружки множились, и крепла воля к борьбе, к объединению. Когда 7 декабря 1877 года произошел взрыв на Патронном заводе, Халтурин смог уже использовать этот взрыв для широкой агитации. Он тотчас же отправился на Патронный, вместе с кружковцами завода написал воззвание, в котором объяснялось, что случай на Патронном заводе связан с общим положением рабочего класса в России. Халтурину удалось без особого труда убедить кружковцев завода придать предстоящим похоронам характер политической демонстрации.

Тысячной толпой отправились рабочие на Смоленское кладбище. Перед открытой могилой один из них сказал:

— Мы хороним сегодня шесть жертв, убитых не на войне, не турками, а русским попечительным начальством...

Послышались свистки полицейских. Околоточный надзиратель положил руку на плечо оратору:

— Я вас арестую!

Рабочие кинулись на полицию, окружили ее плотным кольцом и держали в плену до тех пор, пока не кончились речи перед открытыми могилами.

Самым активным участником этой демонстрации был Степан Халтурин.

8

Степан Николаевич работал за двоих: за себя и за уехавшего в Швейцарию Обнорского. Союз еще не был оформлен, но его программа уже обсуждалась на многочисленных собраниях.

Обнорский вернулся из-за границы в начале 1878 года. В Петербурге было тревожно. Едва утихли октябрьско-ноябрьские волнения на Путиловском заводе, как забастовала Екатерингофская мануфактура, а вслед за ней — Новая бумагопрядильная фабрика. Отзвучала смелая речь Петра Алексеева на «процессе 50-ти»; десятки рабочих, осужденных за участие в казанской демонстрации, томились еще в пересыльных тюрьмах, ожидая отправки в Сибирь; еще не был вынесен приговор по «процессу 193-х» — по этому грандиозному политическому процессу, на котором сто девяносто три человека обвинялись в борьбе с правительством, в борьбе с царскими порядками.

Весь Петербург говорил об этом процессе, из уст в уста передавались слова обвиняемого Мышкина:

«Это не суд, а простая комедия или нечто худшее... Здесь сенаторы из-за подлости, из-за холопства, из-за чинов и крупных окладов торгуют всем, что есть наиболее дорогого для человечества!»

В стране было тревожно. Повсюду говорили о новом всеобщем переделе земли. То тут, то там вспыхивали крестьянские бунты.

На нервное состояние общества очень повлияла война. За первым возбуждением и поспешными восторгами по поводу Ардагана и переправы через Дунай последовали тяжелые месяцы ожидания падения Плевны.

С Балкан возвращались десятки тысяч раненых. Они разносили по стране весть: русские войска освободят братьев-болгар от турецкого ига; в Болгарии будет обнародована конституция. «А почему нет конституции в России?» — спрашивал народ. В городах возникали стихийные демонстрации.

В мартовской книжке «Вестника Европы» появился рассказ Луканиной «Любушка», рассказ старой няни о том, как ее дитятко, ее Любушка, ушла в пропаганду и погибла «так, за ничто, за слова...» Журнал читался на-

расхват и вызывал симпатию к «благородным жертвам жестокосердных судей».

Этот революционный подъем решили использовать Халтурин и Обнорский.

Восемь месяцев они работали вместе, чувствуя потребность ежедневно встречаться, поверять друг другу самое сокровенное.

Подвижной, страстный Халтурин был всегда на виду, в кружках и на сходках он выступал по нескольку раз в день, писал листовки. Его кипучая энергия подкупала, увлекала.

Союз еще не был оформлен, но уже действовал: агитаторы выступали от имени союза, появилась даже листовка за подписью «Союз».

Однажды вечером, направляясь с Халтуриным на сходку, Виктор Павлович сказал:

— А не подумал ли ты, Степан, что нашему союзу нужна будет своя газета?

Халтурин сам об этом неоднократно думал, даже коекакие шаги предпринимал, но без успеха.

— Не по плечу нам. Печатного станка не добудем.

— Рабочему все по плечу! — уверенно заявил Обнорский.

— Неужели мы с тобой свою газету выпустим? — загорелся Степан Николаевич. — Назовем ее «Рабочая заря»! Ведь наше рабочее солнце только-только пробивается!

— Придумать название — дело нехитрое. Давай сначала соберем деньги на типографский станок.

— Виктор, по гривеннику, по пятаку, но деньги соберем! Рабочие последнюю копейку отдадут. Шутка ли — своя рабочая газета!

— Давай собирать, — просто сказал Обнорский. — А я типографский станок добуду.

— Добудешь? — И тут же, смутившись, Халтурин добавил: — Ты добудешь.

После сходки Обнорский направился к Рейнштейну.

— Я к тебе, Николай, на несколько минут всего, — проговорил он сухо, чтобы дать понять хозяевам, что зашел по делу.

— Помешаю? — спросила Татьяна Алексеевна. И, зная, что Обнорский при ней не станет говорить о делах, вышла из комнаты.

Обнорский приступил к своему делу:

— Ты бы переехал в Москву?

— Если мне там выгодную работу предложат — перееду.

Обнорского смутил ответ товарища: опять всплыло неприятное воспоминание.

— Тут дело не в выгоде, — сказал он жестко. — Дело касается нашего рабочего союза. Тут все уже налажено. Пора организовать отделение союза в Москве. Товарищи предлагают тебя послать.

Николай Рейнштейн всполошился:

— Вы предлагаете мне организовать московское отделение «Северного союза»?

— Да, Николай. Ты осторожный человек, ты умеешь жить и работать, не привлекая к себе внимания. Но помни, Николай: в Москве будет нелегко. Там много рабочих живут еще интересами деревни. Они норовят ближе к пригородам, чтобы жить артельным хозяйством. Ты все это должен знать. На сходках говори о крестьянской проблеме...

— Берусь! — решительно заявил Рейнштейн. — С кем мне там связаться?

— Поеду с тобой, познакомлю, — уклончиво промолвил Виктор Павлович.

Когда Татьяна Алексеевна вернулась, она Обнорского уже не застала.

— Опять ушел!

Рейнштейн усадил жену рядом с собой и веселым голосом, без обычной своей скованности, сказал:

— Союз оформлен. Виктор меня в Москву посылает. Отделение союза организовать.

— Связи дал?

— Даст. Куда он денется! Надо же будет работать с людьми. Втянем народу побольше. А вот тебе, Таня, придется у Витеньки выведать, кто в петербургском руководстве. Пора головку захватить. Это уже по твоей части... — Взглянув на стенные часы, заторопился: — Пошли, Таня! А то опоздаем!

Через час супруги Рейнштейн подходили к дому на Лиговке. У Татьяны Алексеевны была повязана щека платком. На стене дома, рядом с зеркальной дверью, висела медная дощечка: «Зубной врач. Прием больных с 10 до 4».

Супруги поднялись на второй этаж, позвонили к зубному врачу. Открыл дверь усатый верзила, больше смахивающий на кавалерийского вахмистра, чем на лакея.

— Принимает господин доктор? — вежливо справился Николай.

— Если вы постоянный больной, — ответил усач условленным паролем.

Николай Рейнштейн мгновенно преобразился.

— Скидывай повязку! — обратился он к жене. — А ты, кавалер, доложи генералу, что явились номера четырнадцать и пятнадцать.

Татьяна Алексеевна сняла платок со щеки, потом взбила волосы и, перехватив восхищенный взгляд усача, кокетливо спросила:

— Чего рот разинул?

Усач, ничего не ответив, скрылся за портьерой.

Вскоре он опять появился:

— Пожалуйте за мной.

Он ввел их в комнатку, крохотную и к тому же еще затемненную тяжелыми шторами. На диване лежал генерал Кириллов, начальник агентуры III отделения.

Супруги одновременно выпалили:

— Здравия желаю, ваше превосходительство!

Кириллов сел.

— Удачно? — спросил он.

— У нее, ваше превосходительство, всегда клюет! — хвастливо сказал Рейнштейн.

...— Но-но! — пробасил Кириллов. — Сердюкова промазала.

— У него была невеста, — оправдывалась Татьяна Алексеевна. — А влюбленные на мой мед не идут.

— Что принесли? — оборвал ее генерал.

— Наклевывается большое дело, — с готовностью откликнулся Рейнштейн. — Союз уже оформлен. А меня, ваше превосходительство, Обнорский посылает в Москву, отделение организовать!

Кириллов достал со столика заранее приготовленную двадцатипятирублевую бумажку, протянул ее Рейнштейну:

— Это тебе задаток. Следи за обществом. А ты, номер пятнадцатый, так прилепись к Обнорскому, чтобы он без тебя шагу не ступил.

— Уж будьте спокойны, ваше превосходительство!

Но и в Москве Татьяне Алексеевне не удалось ничего выведать.

Прибыв туда, Виктор Павлович предложил Рейнштейну:

— Поступай завтра на завод и примись за организацию московского отделения.

— Ты ведь хотел познакомить меня с нужными людьми!

— Сам находи нужных людей.

И после этого разговора исчез Виктор Павлович: уехал ли он из Москвы или где-то на стороне делами занимался — Рейнштейны не знали.

9

На одной из узеньких улиц Парижа, сохранивших от средневековья лепные балкончики и плиточные мостовые, помещалась типография старика Тибо. Не повезло господину Тибо: заказчики обходят темную улицу, и, если бы не долголетняя привычка считать себя хозяином, старик Тибо давно бы бросил убыточное дело.

В последние числа августа 1878 года, по утрам, почти вслед за хозяином, являлся в типографию молодой человек лет двадцати шести. Костюм сидел на нем мешковато. Молодой человек говорил по-французски не очень бегло.

Но господину Тибо нравился этот посетитель — серьезный, немногословный. Четыре дня он присматривался к работе наборщиков, иногда сам становился на их место. Старику Тибо показалось, что молодой человек, назвавшийся Зейдером, намеревался обзавестись собственной типографией.

Так оно и было. Однажды утром молодой человек сказал:

— Господин Черкезов, которого вы знаете, передал мне, что вы продаете типографский станок.

В этот день лил дождь, и в темном помещении типографии было так безрадостно, что господин Тибо почувствовал тяжесть своих семидесяти лет.

— Купите, — предложил он.

Они договорились о цене. Господин Зейдер вместе с рабочими упаковал оборудование, написал на ящиках адреса — правда, господин Тибо, помогавший при упаковке, удивился, что адреса пишутся на славянском

языке, но какое ему дело до адреса, если господин Зейдер полностью выплатил ему условленную сумму!

Зейдер, он же Обнорский, отправив в Россию типографский станок, сам поехал в Москву через Краков.

Было начало 1879 года. Обнорский прибыл в Москву, и там его встретили друзья радостной вестью: в Петербурге окончательно утвержден устав «Северного союза русских рабочих». Это известие взволновало Виктора Павловича. Рабочий союз оформлен! Союз, в программе которого сказано, что по своим задачам он примыкает к социал-демократическим партиям Запада.

«Союз создан! — радовался Обнорский. — На будущей неделе прибудет из-за границы типография, и русский пролетариат впервые будет иметь свою собственную газету. Занялась наконец «Рабочая заря»! Скорее в Питер, к Степану! И за работу!»

Даже нытье Николая Рейнштейна не омрачило радости Обнорского.

— У нас тут возникли большие трудности, — жаловался Рейнштейн. — Почему, говорят товарищи, в члены союза принимают одних только рабочих? А если хороший интеллигент желает к нам примкнуть? Многие возражают и против системы рекомендации. По уставу требуется, чтобы два члена рекомендовали. А если я знаю парня? Почему недостаточно одной хорошей рекомендации? Как видишь, Виктор Павлович, вопросов много, а я руководства не знаю. Некого спросить, не с кем посоветоваться.

— Не это теперь важно! — оборвал его Обнорский. — Не это! Надо тебе развернуть широкую агитацию, широкую пропаганду. У нас будет своя газета. Газета на все ответит!

Николай Рейнштейн окончательно убедился, что Обнорский не назовет своих товарищей по руководству союзом.

— Хватит с нас! — объявил он Татьяне Алексеевне. — От Витеньки мы ничего не добьемся. Он тут с кем-то совещается, дела делает, а с кем — мы с тобой не знаем. Поживы от него не будет. Пора его Кириллову передать.

— Не рано ли?

— Чего ждать? Московские списки я уже сдал. Скоро начнутся аресты. Так зачем нам в Москве сидеть? Мы с

тобой вот что сделаем. Виктор собирается на этой неделе в Питер. Ты поедешь с ним, а остальное я устрою.

— Типографию нам бы не проворонить.

— Не уйдет от нас!

Рейнштейн достал для Обнорского паспорт на имя Аргентова, сам усадил его в поезд и прямо с вокзала отправился в жандармское управление. В Петебург пошла шифровка:

«На случай ареста Обнорского агент просил сообщить, что личность эта требует особенной зоркости за ней и строгого караула, иначе убежит — он отличный гимнаст, прыгает из окна, через заборы, как белка».

Полицейское кольцо сомкнулось вокруг Виктора Павловича Обнорского. В одном вагоне с ним ехали два полицейских агента, в одном вагоне с ним ехала Татьяна Алексеевна — самый коварный выкормыш жандармов.

В Петербурге она подыскала «безопасную» квартиру у провокатора Петра Николаева, в течение нескольких дней неотступно следовала за Обнорским, надеясь увеличить свой подлый список новыми жертвами.

Но Виктор Павлович был, как всегда, сугубо осторожен: встречался с людьми, которые не представляли интереса для жандармов. И генерал Кириллов отдал распоряжение: арестовать!

28 января 1879 года, днем, на улице, арестовали Обнорского.

— Что, Танька, без работы осталась? — спросил вечером, за чаем, хозяин квартиры — провокатор Петр Николаев.

Татьяна Алексеевна отодвинула свою кружку на середину стола и зло проговорила:

— Дурень мой Колька!

— Это почему же так? — рассмеялся Николаев.

— Рано Обнорского жандармам отдал.

— Тебе его жалко? — издевательски спросил Николаев.

— Не так понимаешь, Петро. Поторопился Николай! Кого мы в Москве загребли? Мелюзгу. По десять целковых нам с головы заплатили. Главари тут, в Питере. А как мы до них доберемся, если без ниточки остались?

Николаев искоса взглянул на собеседницу и неожиданно заговорил шепотом:

— Степана-краснодеревца ведь знаешь? Вот найди

его. За него Кириллов и пятисот не пожалеет. Халтурин важнее твоего Обнорского. Послушайся меня: вызови из Москвы Николая, и обкладывайте дичь...

Татьяна Алексеевна, может быть, и нашла бы Халтурина, выдала бы его полиции, если бы не...

В октябрьское утро 1878 года приехал из Пензы человек лет сорока, бывший студент Медико-хирургической академии. Он прибыл в столицу не затем, чтобы карьеру делать. Террористу Александру Михайлову он сказал:

— Я хотел бы принять участие в каком-нибудь опасном предприятии.

Михайлову понравился приезжий: глубокие складки бороздили его высокий лоб, в темно-каштановую бороду были вплетены серебристые нити, в глазах была усталость, как у людей, много выстрадавших. Еще раз прочитав рекомендательное письмо: «Подателю сего, Клеточникову Николаю Васильевичу, можно полностью довериться», Михайлов сказал замедленно, как говорят все заики:

— Вот что, Николай Васильевич. Сейчас у нас ничего не предвидится. Надо ждать. А вот окажите пока нам услугу. Здесь есть одна дама, Кутузова. Содержит она меблированные комнаты на Невском проспекте. Всегда говорит об идеалах, а между тем поселившиеся у нее студенты и курсистки редко не бывают арестованы. Дама очень подозрительная, и хочется узнать, не служит ли она в полиции. Попробуйте за это взяться.

Клеточников снял комнату у Кутузовой, сказав ей, что приехал служить «царю и отечеству». В первый же вечер, за общим чаем, он заговорил восторженно об «обожаемом монархе» и о его «великих реформах». Молодежь молча разошлась по своим комнатам, не дожидаясь конца чаепития, — все сразу возненавидели «благонадежного пензенца» .

Одна только хозяйка не отшатнулась от нового жильца, а когда она узнала, что Клеточников не прочь и в картишки перекинуться, ее радости не было предела.

Молодежь из пансиона избегала пензенца, не отвечала ему, когда он заговаривал, отказывалась за столом от его услуг, но Клеточников смиренно сносил обиды и попрежнему пользовался каждым удобным случаем, чтобы проявить свою любовь к монарху и династии. Вечера он проводил с хозяйкой за картами, неизменно проигрывая.

Однажды, проиграв хозяйке десять рублей, он поднялся с места и сказал сокрушенно:

— Уезжаю, Анна Петровна. Такие, как я, не нужны в Петербурге.

Кутузова всполошилась:

— А если я вас к хорошему месту пристрою?

Клеточников печально улыбнулся:

— Вы? Анна Петровна!.. У вас, кроме стриженых курсисток да лохматых студентов, и знакомых-то нет.

— А если есть? — спросила она таинственно. — Вот вы не любите этих нигилистов, и я их не люблю. У меня есть племянник, генерал. В сыскном отделе служит. Хотите, я вас порекомендую ему?

Клеточников задумался. Поручение Михайлова выполнено, Кутузова связана с полицией... Но почему бы ему, Клеточникову, не проникнуть в берлогу к медведю? Узнавать, кто доносит, вылавливать предателей...

— Милая Анна Петровна! Как это чудесно! И царю службу сослужу и с вами не расстанусь!

Генералу Кириллову, начальнику агентуры III отделения, нужны были сотрудники, особенно такие — интеллигентные, рассудительные и благонадежные. К тому же Клеточников обладал артистическим почерком. Его письмом можно было любоваться: буквы четкие, ровные, точно печатные. И Кириллов принял на работу любимца своей тетки.

Клеточников сначала имел доступ только к незначительным делам. Ему еще не доверяли секретных материалов, но все же иногда он слышал разговоры, которые оказывались для него небезынтересными. К тому же он умело пользовался ленью некоторых своих сослуживцев. Часто кто-нибудь из них бросал перо и, позевывая, жаловался:

— Выпить хочется, а ты корпи над бумагами.

— Идите, — предлагал Клеточников коллеге. — Я кончу за вас.

Тот охотно передавал ему свои дела.

Усердие Клеточникова было замечено. Этот скромный и исполнительный чиновник привлек к себе внимание начальства. Ему начали давать более сложные работы, и он выполнял их всегда образцово.

Производится, например, какой-нибудь арест. Нужно вместе с рапортом об аресте представить начальству и

суть всего дела. Эту трудную работу нужно сделать чрезвычайно быстро. Клеточников, обладая для этой работы каллиграфическим почерком, был к тому же и умен, и грамотен, и усидчив. Никто не умел так скоро ознакомиться с огромным делом, чтобы сделать из него краткий и убедительный доклад. Эти работы уже давали Клеточникову доступ к важным документам.

Поведение Клеточникова не возбуждало решительно никаких подозрений. Он имел вид ревностного чиновника, который думает только о своей службе.

Мало-помалу ему стали доверять самые секретные дела. Некоторое время он составлял ежедневные рапорты о политических событиях в провинции по депешам и донесениям жандармских управлений. После нескольких месяцев на него возложена была еще более ответственная задача: составлять рапорты о событиях в Петербурге. При этом, разумеется, все сведения, которыми владело III отделение, были к его услугам.

Обладая феноменальной памятью, Клеточников никогда ничего не записывал в учреждении, ежедневно унося домой в своей памяти множество цифр, имен, адресов. Во время своих свиданий с Михайловым он диктовал ему десятки фамилий, улиц, кличек — и редко ошибался.

Наконец Кириллов поручил Клеточникову переписку «крайне» секретных документов.

Двадцать восьмого января, в день ареста Обнорского, Кириллов, передавая Клеточникову докладную записку, торопливо сказал:

— Поскорее перебелите! Начальник вызывает!

Клеточников старательно переписал записку.

— Как, Николай Васильевич, — обратился к нему Кириллов, — не переборщили мы с вами? Сто целковых — деньги большие!

— Большие, — сдержанно ответил Клеточников, — но за Обнорского не жалко ста рублей.

Кириллов сложил докладную записку, перекрестился:

— Пойду! А вы, голубчик, напишите в Москву, пусть там не задерживают Рейнштейна.

Клеточников в этот день не написал в Москву: он торопился. Как только дверь закрылась за генералом, он оделся и пустился в далекий путь — на Пески. Прибыл туда только к вечеру. Улица лежала в снегу. Редкие огоньки светили в низеньких окнах. На одном из заборов

висела записка: «Сдается домишко с большим каретным сараем. Справиться у Евлампии Никитичны».

Это был условный сигнал, что Михайлов дома.

...Через семь дней выехал в Москву боевик Попов — сам Александр Михайлов отвез его на санях в Любань, — а еще через двадцать дней был убит Николай Рейнштейн: его убил Попов по приговору «Земли и воли». У землевольцев с Рейнштейном были свои счеты: многих из них выдал этот матерый провокатор.

10

В один из июльских дней 1879 года землеволец Александр Михайлов разыскал больного Степана Халтурина, увез его на дачу, уложил в постель и ухаживал за ним, как опытная нянька.

Халтурин давно дружил с Михайловым, хотя вечно, на людях и наедине, укорял его за террор.

Спустя неделю, когда острый приступ болезни миновал и Степана Николаевича уже перестал мучить изнуряющий кашель, Михайлов присел к нему на кровать и, поглаживая горячие руки больного, заговорил:

— Ну что, Степан, помогли рабочим твои проповеди? Ты думал человеческими словами зверя унять. Благородный мечтатель! Царь тебя пулей да веревкой, а ты его — словом. Не прошибешь царизм снизу — сверху его надо брать...

Александр Михайлов заикался, и, может, поэтому его слова звучали с необычайной отчетливостью.

Прожитые годы проходят перед глазами Степана. Во время болезни он вторично переживал свою короткую жизнь. Наступает конец — он это чувствует по клокотанью в груди, по липкой испарине, которая, как вечерняя роса, охлаждает его кожу.

Несколько лет он, Степан Халтурин, звал рабочих на борьбу с царем. Оружием в этой борьбе он признавал не динамит, не бомбу, а ту взрывную силу, что кроется в рабочей правде. Он, Степан Халтурин, свято верит в силу рабочего сословия, в его революционность. Променять эту силу на выстрел, на динамитную бомбу? Никогда! Он, Степан Халтурин, пропагандист по всем своим склонностям, противник террора, противник борьбы одиночек, а ему предлагают бороться с царем динамитом! Не он ли

всего несколько месяцев назад укорял землевольцев: «От вашей пальбы страдает рабочее дело!» А вечером 2 апреля 1879 года, когда Соловьев неудачно стрелял в царя, не он ли крикнул на сходке землевольцам: «Интеллигенции вашей не терпится, а мы, рабочие, за то отдувайся! Чего вы добиваетесь? Прикончите одного Александра — посадят нам на шею другого. Надо трон разрушать, а не по отдельным людям стрелять! Массы поднимать надо!»

— Слушай, Александр, — сказал он после долгого раздумья. — Я говорил тебе и повторяю сейчас: террор — не рабочее дело. Он вредит делу революции.

Михайлов вскочил с места.

— Степан! — крикнул он, заикаясь больше обычного. — Выстрел Веры Засулич всколыхнул Россию больше, чем сотни демонстраций. Знай, Степан: царь пальбы боится, а не слов! Пойми, пропаганда — дело долгих лет! Наших товарищей вешают, расстреливают, а мы будем мирно проповедовать революционное слово и наблюдать, как царь делает свое подлое дело?..

Халтурин усадил своего взволнованного собеседника.

— Александр, — проговорил он задушевно, — тебе и твоим друзьям тесно в каторжной России, вы смело идете в бой с царем. Но, дорогой мой, без народа вы ничего не добьетесь. Народ — вот кто победит царя!

— Народ поймет нас.

— Нет, Александр... — Грустная улыбка оживила лицо Халтурина. — Нет, Александр, — повторил он. — Рабочий, он мудрый. Он присмотрелся к народникам и начинает понимать, что они ему мешают, отвлекают его от борьбы с классом угнетателей... Что вы пишете в своей программе?

— Позволь! — опять вспылил Михайлов. — Наша новая программа предусматривает политическую борьбу!

Халтурин качнул головой и, не повышая голоса, спросил:

— А программа «Северного союза русских рабочих» не включает политической борьбы? Включает! Но вы рассчитываете победить царизм стрельбой, а наш союз считал, что с царизмом должны бороться не одиночки, а все рабочее сословие. Ваша ставка на активных героев, а наша — на массу. Вы не замечаете, сколько стало у нас фабрик и заводов. Растет и крепнет русский рабочий класс! Мужик еще за свою полоску цепляется. А рабочий?

Что ему терять, кроме своих цепей? И задача революционеров — организовать рабочих, помочь им создать свою рабочую партию. — Халтурин притянул к себе Михайлова, обнял. — Не сердись на меня, Александр! Я у гроба стою, на меня грех сердиться. Но поверь мне: русский рабочий своим путем пойдет... Он создаст свою, рабочую партию. И социализма добьется... этой высшей справедливости... Тоска по справедливой жизни извечно живет в нашем народе, и наш народ осуществит свою мечту...

...Три недели подряд, изо дня в день, навещали землевольцы Степана Халтурина: он уже выздоровел, хотя по совету врача еще не выходил из дому. Землевольцы убеждали, уговаривали. Приходил тихий, ясноглазый Клеменц, и речь его лилась солидно, как у профессора. Приходила Софья Перовская, и после каждого ее посещения Степан Николаевич чувствовал себя подавленным, точно он был виноват во всех тех ужасах, о которых она рассказывала. Приходила Вера Фигнер. Она была похожа на девочку: гладко зачесанные волосы, застенчивый взгляд, угловатые плечи, но говорила с какой-то не женской суровостью...

Стояли тихие, повитые паутиной августовские дни. Однажды утром, за завтраком, Александр Михайлов сказал:

— Некогда заниматься мирной пропагандой социалистических идей. Некогда, Степан! И чего ты добился мирной пропагандой? Объединил в союзе двести рабочих! А надолго? Где твой союз? Где твои активисты? Как только союз стал принимать участие в стачках, жандармы поторопились разгромить его. Выловили всех руководителей, по тюрьмам их рассовали. Года не просуществовал твой рабочий союз! И неужели ты, революционер, можешь спокойно смотреть, как царь торжествует победу?

В последние дни Михайлов был особенно настойчив. Общество «Земля и воля» раскололось. Михайлов, уже как народоволец, замыслил убить Александра II. Халтурин — ценнейшая находка: убить царя руками рабочего, руками создателя «Северного союза русских рабочих»!

Халтурин отодвинулся от стола, прикрыл глаза. Всплывало прошлое: споры... споры... Русского рабочего-революционера уже давно не удовлетворяло учение народников, то учение, по которому рабочему отводилась вспомогательная роль в революции. Рабочие искали свои

собственные пути борьбы... и нашли. Они создали самостоятельную организацию — рабочий союз. Но этот союз разгромлен. Что делать ему, Халтурину? К кому примкнуть? Вот недавно раскололась «Земля и воля» Часть народников осталась на старых позициях: они отрицают борьбу за политическую свободу. Что они проповедуют? Передел всей земли между крестьянами. И свою новую организацию они назвали «Черный передел». Нет, без политической борьбы не добьешься свободы! С ними, с чернопередельцами, ему, Халтурину, не по пути! Большинство землевольцев создали организацию «Народная воля». Они переходят к политической борьбе. Но политическую борьбу они понимают не как борьбу масс, а как заговор одиночек. Средство борьбы с царем — индивидуальный террор. А рабочая масса? Что она? Будет стоять в стороне от борьбы?

«В какую пропасть тянет меня Александр, — подумал он. — Но мне, Халтурину, что делать? Ждать, пока новые люди соберутся в кружки и можно будет их объединить в единую рабочую организацию, — для этого не отпущено мне времени...»

— Слушай, Александр. Рабочий союз разгромлен. Те, что его строили, — в тюрьмах. Я болен. Нет у меня сил начинать все сначала. Но воевать с царем надо. Обязательно надо! Мне на горло наступили. Задушили мое слово... Ты предлагаешь мне драться руками. Хорошо. Пойду с вами... чтобы сорвать царскую лапу со своего горла... — Он приложил платок к губам, кашлянул и протянул его Михайлову: на платке алело пятно свежей крови. — Видишь, Александр? Пусть это мне будет оправданием...

Михайлов понял, что Халтурин идет на цареубийство, но продолжает осуждать террор. Он прекратил теоретический спор: даже полууступчивость Халтурина показалась ему большой победой. «С ними Халтурин», — скажут рабочие, а привлечь к своему делу рабочих было давней мечтой Михайлова.

...Летом 1879 года Халтурин получил работу на царской яхте. Для пробы ему поручили отполировать столик. В столярном искусстве самое трудное — составление лаков. Как раз этим умением отличался Степан Николаевич.

— Ну, парень, покажи, что ты за мастер, — обратился к Халтурину через несколько дней старший столяр.

Степан Николаевич показал свою работу. Мастер опытным глазом взглянул на столик, подул на него и наблюдал, как испаряется дыхание. Потом обратился к своим помощникам:

— Посмотрите: деревенский паренек, а какой работник! Посади блоху на столик — не прыгнет: ноги разъедутся. Дыхни на столик — пар не держится... Откуда ты, парень? И как звать?

— Батышковым звать, ваше превосходительство. Степкой Батышковым. А из губернии я Олонецкой, ваше превосходительство.

Старший мастер и за ним его помощники захохотали.

Халтурин стоял растерянный, с открытым ртом.

Вытирая слезы большим клетчатым платком, старший мастер сказал:

— Столяр ты хороший, Степка, но дурак. Ой, какой дурак! Рабочего человека от превосходительства отличить не умеешь. Хочешь работать у царя-батюшки во дворце?

— А харчи там как, подходящие?

Опять хохот.

Халтурин так искусно разыграл деревенского простачка, что умилил всех. Столяры его сразу полюбили — и за простоту и за мастерство. К этому, может быть, присоединилась еще и жалость, которая всегда теплится в сердцах людей, живущих тяжелой трудовой жизнью. Они видели перед собой худого парня со впалой грудью, с лицом, обтянутым кожей, и огненными, чахоточными глазами.

...Сентябрь 1879 года. Степан Халтурин живет со столярами в полуподвале Зимнего дворца. Вместе с ними живет и жандарм: для наблюдения. Роль простачка помогла Халтурину освоиться с дворцовыми порядками. Он всему удивлялся, обо всем расспрашивал, и это казалось естественным. Придворная челядь потешалась над ним и охотно отвечала на его вопросы, подчеркивая этим свое превосходство над «деревенщиной».

Он узнал все, что ему надо было. Комната в полуподвале, где он жил, находилась как раз под царской столовой. Между подвалом и столовой размещена кордегардия — караульное помещение. Халтурин рассчитал: если он у себя в подвале взорвет достаточное количество динамита, то столовая, рухнув, похоронит обедающего в ней царя.

Он нарисовал подробный план, отметив черным крестом столовую, и сдал этот план народовольцу Квятковскому, через которого был связан с комитетом. Предложение Халтурина было одобрено.

В ноябре арестовали Квятковского, и полиция нашла у него при обыске план Зимнего дворца. Столовая на этом плане была отмечена крестом.

III отделение и дворцовая полиция взволновались: «Что означает этот крест?» Штаты дворцовой охраны были увеличены, производились неожиданные обыски, тщательно обыскивали рабочих при входе и выходе из дворца.

Как при этих обстоятельствах пронести и хранить динамит?

Но проносить динамит было необходимо, и Халтурин проносил! Арестованного Квятковского заменил Желябов, и он торопил: «Скорее... Скорее...»

Однако работа подвигалась черепашьими шагами. При всем желании как можно скорее окончить это невыносимое существование Халтурин все же очень медленно мог начинить свою мину. Динамит можно было переносить небольшими кусочками, каждый раз изобретая новый способ, — чаще всего в белье. Сначала, когда динамита было еще мало, Халтурин хранил его у себя под подушкой. Когда динамита набралось достаточно, он прятал его в свой сундук.

Положение Халтурина становилось опаснее день ото дня и требовало колоссального напряжения сил. Он должен был внимательно следить за всем, что происходило вокруг него, и в то же время сохранять беззаботный вид человека, которому нечего скрывать.

Степан Николаевич был человеком крайне впечатлительным. Чахотка, быстро развивавшаяся у него, усиливала нервозность, а постоянные переходы от подозрений к надежде еще более расшатывали и без того легко ранимую нервную систему. Он как бы ходил на острие ножа и к тому еще вынужден был постоянно думать о том, как бы чем-нибудь не выдать волнения и своей внутренней борьбы.

Подготавливая взрыв, он все же сомневался в целесообразности своего поступка.

Сначала он пытался убедить себя, что «смерть Александра II принесет с собой политическую свободу», но

чем больше он думал об этом, тем меньше верил в правильность своих рассуждений. Царизм, знал он, — целая система, и можно ли уничтожить систему, устранив из нее одного или даже десяток людей! Надо разрушить всю систему, а это под силу лишь революционному рабочему классу, но отнюдь не одному человеку, пусть вооруженному сотнями пудов динамита.

В конце декабря 1879 года, когда до взрыва остались считанные дни, Халтурин отправился к своему давнишнему другу Мурашкинцеву. Он уважал этого спокойного и рассудительного человека.

— Поругай хоть ты меня! — сказал он с болью в голосе. — Я знаю силу рабочего класса, я верю, что мы победим, и все же иду на такое нерабочее дело. Один. Понимаешь, друг, один! И что же получится? Убью царя, но царизм ведь останется!

Мурашкинцев не был террористом. Это был типичный лаврист, которому чуждо любое активное действие, но, выслушав Халтурина, он взволнованно проговорил:

— Благословляю тебя, Степан Николаевич!

Халтурин был ошеломлен.

— Александр Андреич!.. — сказал он в смятении. — Ты благословляешь меня на цареубийство?

— Да, Степан Николаевич. Я против террора. Но времена теперь такие тяжелые, что когда видишь перед собой энергичного и глубоко честного человека, задумавшего пойти даже на самый рискованный шаг, то язык не поворачивается остановить его.

Халтурин ушел от Мурашкинцева подавленный: доводы друга его не убедили. И ночью, лежа на своей койке в полуподвале Зимнего дворца, он продолжал в уме свой нескончаемый спор с самим собой.

Степан Николаевич как-то сказал, что он чувствует себя хорошо только в рабочей среде, что вне ее он «точно рыба без воды». И это чувство «рыбы без воды», чувство смертной тоски давило на мозг, путало мысли...

Дорого доставалась Халтурину эта борьба! Но он выполнял свою роль превосходно. Охрана зорко наблюдала за всеми работающими во дворце мастеровыми, однако никто из охранников не сомневался в безобидности именно Халтурина. Он умел внушить к себе симпатию и доверие.

Столяры из подвала иногда беседовали о социалистах.

Эти таинственные «социалисты» их очень интересовали: ведь не зря боится их сам царь!

— Как бы я хотел увидеть хоть одного из них, — говорит пожилой столяр, обращаясь к живущему вместе с ними жандарму. — Хоть бы на улице встретить такого!

— А как ты его узнаешь? — спрашивает Халтурин. — Ведь у них на лбу ничего не написано.

— Эх, мужик ты, не понимаешь, что социалиста можно сразу признать! Взглянешь на такого и узнаешь! Он голову держит высоко, вот так!

...Подготовительные работы подходили к концу. В сундуке тридцать два килограмма динамита. Народовольцы полагали, что именно это количество необходимо для того, чтобы взорвать столовую, не причинив ненужного вреда в остальной части дворца.

И вдруг ночью нагрянули жандармы с обыском. Столяров выстроили возле коек.

— Показывай свой сундук! — приказал офицер, когда очередь дошла до Халтурина.

Надо было обладать нечеловеческой выдержкой, чтобы спокойно вытащить сундук из-под койки, зная, что на дне его, под бельем, лежит динамит!

— Бельишком обзавелся, ваше превосходительство, — промолвил Халтурин с виноватой улыбкой. — Постирать не успел.

Офицер сунул руку в ворох белья и поморщился:

— Грязь какую развел, деревенщина! — ударил ногой по сундуку и задвинул его обратно под койку.

— Чтой-то они искали? — спросил Халтурин, когда полицейские ушли. — Нешто покража какая во дворце?

— «По-кра-жа»! — передразнил его старший столяр. — Тут, брат, не покража, тут дело поважнее. Покушение на его величество. Вот что!

Халтурин уставился на говорящего.

— Социалиста поймали! — продолжал старший. — А у него вишь план нашли, а на том плане черный крестик аккурат на столовой его величества. Понял, дубина стоеросовая?

«Дубина стоеросовая» понял — торопиться надо со взрывом!

...Царь обедал в шесть часов, и ежедневно, в час, назначенный для императорского обеда, Халтурин виделся с Желябовым, уведомляя его о ходе дела, а в случае

взрыва Желябов должен был его увести в надежное убежище. Они встречались на площади, против Александровской колонны, и притворялись незнакомыми. Мрачный и злой Халтурин большими шагами проходил мимо Желябова.

— Невозможно сегодня, — бросал он на ходу.

Много дней подряд слышал Желябов только эту украдкой брошенную фразу.

В морозное воскресенье 5 февраля Петербург окутал белый туман. С Невы дул пронизывающий ветер. В подвале было неуютно. Столяры разбрелись кто куда. И жандарм ушел к своей семье.

Приближалось время царского обеда. Халтурин поставил сундук с динамитом в угол, пристроил трубку с фитилем, и, когда часы на Петропавловке пробили шесть, он поджег фитиль и направился к выходу из дворца: мимо караульных, которым надо было предъявлять пропуск, мимо знакомых лакеев, с которыми надо было перекинуться дружеским словом. Он вышел за ворота. Площадь — в тумане. Сгорбившись и чутко прислушиваясь, Халтурин направился к колонне — к месту встречи с Желябовым. Одной рукой он держал полу длинного пальто, другой — потертую меховую шапку. Ветер набегал порывами, звенел в решетке Александровского сада. Внезапно из тумана вынырнул Желябов. Он стоял возле колонны. Не поворачивая головы в сторону Халтурина, Желябов задал свой обычный вопрос:

— Как?

— Готово, — спокойно ответил Степан Николаевич.

Желябов, человек очень мужественный, пришел в восторг от хладнокровия Халтурина. В эту секунду раздался оглушительный взрыв. Задрожала земля. Во дворце погасли огни. Багровое пламя вспыхнуло в окнах второго этажа. Из подвального помещения бил черный дым, пронизанный огненными языками...

Желябов взял Халтурина под руку. Они поднялись на четвертый этаж дома номер 37 по Большой Подьяческой, в динамитную мастерскую «Народной воли». Хозяйка квартиры — Вера Николаевна Фигнер — тонкая, изящная, вся в черном, похожая на монашку, подхватила ослабевшего вдруг Халтурина, уложила его на кушетку и влила ему в рот капли, пахнущие полевыми цветами. Халтурин лежал бледный, сразу похудевший.

...Все муки, все труды Халтурина пропали даром: столовая была разрушена, но Александр II не пострадал. В этот день он встречал какого-то немецкого принца и опоздал к обеду.

11

В Петропавловской крепости Виктор Павлович Обнорский просидел до суда полтора года. На допросах он не отрицал очевидных фактов, но новых нитей жандармам не давал. Ему было тяжело, но он скрывал свои переживания. В аресте он винил только себя: его система конспирации дала где-то трещину, и через эту трещину проник враг. И он искал эту трещину. Кто? Кто предал?

Прочитав обвинительное заключение, Виктор Павлович облегченно вздохнул — он не раскрыт до конца, жандармы не знают всех его дел. Союз даже не упомянут! Его обвиняют в распространении письменных и печатных сочинений, в приобретении за границей печатного станка и в проживании в деревне Фехтольме под чужим паспортом. На любом из подсудимых по процессу «50-ти» тяготело более тяжкое обвинение.

Обнорский не подумал о том, что царские судьи не только жестоки и подлы, но еще и коварны. Он не знал, что жандармы настолько взбешены его действиями, что боятся вслух говорить о них. Он не знал, что его детище — «Северный союз» создавался под пристальным оком жандармов!

Обнорский успокоился: раз союз не упомянут в обвинительном заключении — значит, он живет и будет жить! Случай дал врагам одну только ниточку. Осудят на год, на два...

Обнорского приговорили к десяти годам каторги.

После суда к нему обратился адвокат:

— Будете подавать на помилование?

Виктор Павлович качнул головой: «Нет, нет!»

Адвокат подвел Обнорского к окну, стал убеждать:

— Получите смягчение приговора, сможете вернуться к своей работе...

Виктор Павлович отвел глаза от настойчивого адвоката. Тогда последний достал из кармана листовку, протянул ее своему подзащитному. Красным карандашом были подчеркнуты начальные строки:

«26 февраля 1879 года в московской гостинице «Палас»... нами убит провокатор Н. Р., который выдал жандармам известного революционера В. П. О. и все московское отделение «Северного союза».

Дрогнуло что-то в лице Обнорского, глаза сузились — адвокат это ясно видел, и поэтому его удивил спокойный голос:

— Надо было предвидеть и этакую возможность.

— О чем вы, Виктор Павлович?

— Так, посторонние мысли... Давайте о деле поговорим.

Обнорский прошел в кандалах от Петербурга до Кары, отбыл каторгу, суровую царскую каторгу, вышел на поселение и умер в Кузнецке, в больнице, в апреле 1920 года.

Оторванный от друзей, живя в ужасных условиях царской ссылки, Обнорский с живейшим интересом следил за борьбой рабочих, восхищался героической схваткой пролетариата с самодержавием в 1905 году, видел, с какой мудрой настойчивостью большевистская партия накапливает силы для решительного наступления.

И Обнорский заплакал от радости, когда до него дошла весть о Великой Октябрьской социалистической революции. Осуществилась мечта трудовой России!

— И мы не напрасно в мире жили! — промолвил он, найдя в этих скупых словах оправдание всем мучениям, выпавшим на долю борцов за свободу и социализм.

12

Более короток был жизненный путь Степана Николаевича Халтурина. За временную слабость, побудившую его согласиться на уговоры Михайлова, он заплатил не только жизнью, но и нечеловеческими муками.

После взрыва в Зимнем дворце Халтурин благополучно ушел от жандармов. Летом и осенью 1881 года он скрывался в Москве, на Пресне. Прикованный к постели, он дни и ночи лежал с открытыми глазами, и чахоточный блеск придавал его взгляду былую живость. Он почти не говорил: стоило ему произнести несколько слов, как удушающий кашель потрясал больную грудь и сгустки крови

рвались из горла. Хозяин квартиры, Егорыч, поил Халтурина холодным квасом и рассказывал небылицы, желая отвлечь больного от его мрачных мыслей.

Плох, очень плох постоялец! За четыре месяца Егорыч привязался к Халтурину, к этому душевному и ласковому человеку, прятавшему под улыбкой свои страдания. Егорыч знал, что скрывает у себя революционера, за которым охотятся жандармы, но это его не пугало. Сыну своему он сказал:

— Спасибо тебе, что отцу такого человека доверил. Выхожу... Сберегу...

Егорыч жил не один — в комнате рядом доживала свой век его старшая сестра Агафья Петровна. Она болела и все лето не выходила из своей комнаты. Выздоровев, старушка подошла к кровати Халтурина. Больной ей понравился: приветливый взгляд, высокий гладкий лоб, бородка — мягкая, с золотыми отливами. Густая шевелюра оттеняла яркость чахоточного лица.

Егорыч заволновался, хотел выпроводить сестру:

— Чего глазеешь? Видишь, больной.

Она оттолкнула брата плечом и принялась хозяйничать: взбила подушку, поправила простыню под больным, обтерла его влажным полотенцем. Все это она проделала ловко, и Халтурин блаженно улыбался.

— Вылечу, — заявила Агафья Петровна.

Нетрудно было определить болезнь: чахотка в то время была частым явлением в рабочих семьях. Старушка перетопила нутряное сало с медом, заварила сушеный горицвет.

— Мне уже не поможет, бабушка.

Агафья Петровна рассердилась:

— Что ты в этом понимаешь! Дуплястое дерево скрипит да стоит, а крепкое валится.

И через две недели больной уже делал первые шаги по комнате.

Агафья Петровна заметила: чем здоровее становится ее Степанушка, тем более грустными делаются его добрые глаза. Как-то вечером старушка положила свою сухую ладошку на руку Степана и сказала с материнской лаской в голосе:

— Выкинь из головы раздумьице. Коли за гриву не удержался, за хвост тем более не удержишься. Дай времени отстояться.

Агафья Петровна не знала тоски Халтурина. Он выздоравливает, недалек день, когда старики проводят его за ворота... Там жизнь, там работа, там товарищи... Что он им скажет? Как он оправдается перед ними? Агитатор, пропагандист и — променял слово на бомбу!

...В один из сентябрьских дней Агафья Петровна привела в квартиру молодого рабочего. Егорыч не хотел его пускать к Степану Николаевичу. Он загородил спиной дверь и неласково сказал:

— Мы никого не приглашали.

— Пусти! — строго промолвила старушка. — По делу он.

Егорыч уступил, распахнул дверь. Рабочий остановился на пороге, поклонился Халтурину и, не зная, что дальше делать, кашлянул, закрывая рот ладонью.

Степан Николаевич посмотрел на гостя: незнакомый.

— Что скажешь?

— К вам, Степан Николаевич, — мягко ответил гость. Голос у него был высокий и звонкий, как у мальчика.

— Что скажешь? — повторил Степан Николаевич.

Рабочий подошел к кровати. Егорыч остановился за его спиной.

— Садись, молодец, — предложила Агафья Петровна. — И не стесняйся: свои тут.

— Вы меня не знаете, — начал рабочий. — Меня звать Шеляпов. Карп Шеляпов. Жил в Петербурге, а теперь работаю в Орехове.

— А ко мне зачем явился?

Шеляпов смутился.

— Было дело, — ответил он после длительной паузы, — да вот оно, так случилось, что его почти нет.

— Ты что-то загадки загадываешь, — вмешался Егорыч.

Чем больше Халтурин вглядывался в простое, открытое лицо гостя, тем больше оно ему нравилось.

— Ты меня знаешь?

— Как вас не знать, Степан Николаевич! Три года назад я был на собрании у Моисеенко на Глазовской, когда принимали устав союза. Я был и в декабре. И даже выступал со своими сомнениями.

— А что тебе тогда не понравилось? — живо заинтересовался Халтурин.

— В союз принимались только рабочие. Это верно,

Союз — рабочий, значит, только рабочие в нем и должны состоять. А вот чтобы в тайный союз набирались люди по двум только рекомендациям — вот это, по-моему, было неверно. Опасно это было. Уж очень широко мы ворота распахнули. Проник через ворота подлец — и сотня честных голов полетела.

Степан Николаевич разволновался, закашлялся и, не дожидаясь конца приступа, запальчиво сказал:

— Не прав ты, Карп! И две рекомендации хороши, если они даны верными людьми. Каждый, кто давал эти рекомендации, должен был помнить, какую большую ответственность он берет на себя перед рабочим классом. А если товарищи об этом забыли, то и десять рекомендаций нас не спасли бы, только задержали бы рождение союза. А он должен был стать массовым! Задачи у нас были большие! Рабочий союз ставил своей целью ниспровержение политического и экономического строя, как строя крайне несправедливого. Завоевание политических свобод и политических прав для народа! Вот почему царь всех своих холопов поставил на ноги. Он боится нашей силы! Он боится нашей сплоченности!

Халтурин вдруг улыбнулся. Улыбка получилась беспомощная, скорбная. «О чем я говорю? — подумал он. — В чем пытаюсь убедить человека? Ведь союз погиб, нет уже союза!» Тут он вспомнил слова из программы — эти слова он, Халтурин, сам написал: «Доведете ли вы свое дело до конца или сила злобы раздавит вас на полпути— все равно: ваше дело, ваши жертвы не пропадут...»

И Степан Николаевич облегченно вздохнул: наши жертвы не пропали даром. Придут другие, вот такие, как Карп Шеляпов, который смотрит на него грустными глазами, и они построят новый союз, рабочий, массовый, и они добьются свободы для трудового люда...

— Ты говорил про какое-то дело? — обратился он к Шеляпову.

Карп снял с ноги сапог, порылся в подкладке и вытащил письмо. Подавая его Халтурину, он сказал виновато:

— Уж не взыщите, Степан Николаевич. Письмецо, почитай, два года взад-вперед ходило. Так уж вышло. Из Москвы оно пришло в Питер, из Питера, видишь, опять в Москву вернулось. Должен был письмо вам передать Женя Иванов — его арестовали. Мне поручили, уже было направился к вам — меня арестовали...

Халтурин сорвал наклейку: коротенькая записка: «Митрофанов предатель. Предупреди всех».

Халтурин узнал острый почерк Обнорского... «Виктор, товарищ, друг... Нет нашего союза, нет тебя... И я на исходе. А ты все еще оберегаешь наше детище, наших людей...»

— Женя Иванов на свободе? — спросил неожиданно Халтурин.

— На каторге

...Шесть месяцев прожил Халтурин с Женей Ивановым, с этим чудесным парнем, желавшим во что бы то ни стало проникнуть в тайны мироздания. Ночи напролет корпел он над «Основными началами» Спенсера, пытаясь найти в них ответ на вопрос: есть ли бог?

«Повремени, Женька, с этим богом, — издевался тогда над ним Халтурин. — Сбросим царя, освободимся мы с тобой на денек, сбегаем на небо и сами поглядим, что там делается. А пока учи историю, экономику. Больше проку будет».

На одеяле лежит записка человека, который сейчас, в эту минуту, роется, как крот, в каторжных рудниках суровой Сибири, и только звон кандалов напоминает ему о шумах далекой жизни. Но он не угомонился, не сдался — из холода мертвого подземелья он как бы предостерегает, зовет к работе...

Халтурин притянул к себе руку Шеляпова, пожал ее и тихо сказал:

— Карп, скажи от меня рабочим, пусть объединяются, пусть борются за свое счастье... — И резко оборвал. Приступ кашля потрясал его тело.

Халтурин долго лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Приступ уже прошел, а он все не возобновлял разговора.

Степан Николаевич внезапно понял, что в его устах призыв к объединению звучит фальшиво: ведь он сам пошел по иному пути.

Шеляпов на цыпочках вышел из комнаты. За ним последовала Агафья Петровна.

— Эх, бабушка, какой это был орел!

— Рано оплакиваешь, — ворчливо оборвала его Агафья Петровна.

Шеляпов передал старушке две крупные кредитки:

— Ты ему про эти деньги не говори. Строгий он, не

привык на артельный счет жить. Всегда своим ремеслом кормился. А какой мастер был!

— Зайдешь еще?

— Не надо, бабушка. Волнуется Степан Николаевич. В случае чего, сообщи, куда я тебе говорил.

Прошел еще месяц, и мирная жизнь оборвалась. Они — Агафья Петровна, Егорыч и Степан Николаевич — сидели в кухне, картошку к ужину чистили. Егорыч пел вполголоса:

Во пехотном я полку
Точно снопик на току...

Вдруг Степан Николаевич сказал:

— Хватит лодыря гонять!

— Рано тебе, Степушка, — всполошились старики.

— Нет, мои хорошие, не рано. Ноги держат, голова работает, пора и руки к делу пристроить.

Уговаривали, просили, но Степан Николаевич стоял на своем.

На следующий день он отправился в мастерские Курской дороги. В первые же дни, присмотревшись к своим соседям, Степан Николаевич отметил несколько человек. Пригласил их в чайную. За столиком завязалась беседа: о порядках в мастерской, о жизни рабочих, о прибылях фабрикантов. Рабочие слушали нового слесаря с необычайным вниманием, стараясь не греметь посудой, и неохотно поднялись с места, когда Степан Николаевич неожиданно заявил:

— Хватит на сегодня.

Новый слесарь сразу стал заметной фигурой: к нему обращались за советом по работе, обиженные искали у него защиты, даже сам мастер приглашал его в свою конторку, чтобы «по-семейному» улаживать конфликты в цехе.

И постепенно организовался революционный кружок: сначала было в нем пять человек, потом десять, а к зиме уже около тридцати.

Но в один из декабрьских вечеров 1881 года, когда Халтурин вернулся из мастерских, он застал у себя на квартире Веру Николаевну Фигнер. На ней был белый тулуп; голова была повязана пуховым платком; на ногах — жесткие, домашней валки катанки. Всем своим об-

ликом она напоминала деревенскую молодуху, приехавшую в Москву «на побывку» к мужу.

— Вот и заявился твой красавец! — объявила квартирная хозяйка, когда в дверях показался Степан Николаевич.

У Халтурина подкосились ноги: его поразил нежданный визит. Сдержанным жестом пригласил он гостью к себе в комнату и сдавленным голосом проговорил:

— Чем я обязан этой чести?

Фигнер поняла настроение Халтурина. Она прикоснулась к его руке, посмотрела на него немного исподлобья и заботливо спросила:

— Как ваше здоровье, Степан?

— Плохо, очень плохо.

На лице Веры Николаевны появилась горькая усмешка.

— Степан, — промолвила она еле слышно, — и вы еще жалуетесь? — Она достала из-за пазухи письмо. — Прочитайте.

— От кого письмо?

— От Александра Михайлова.

— Где он? Еще в крепости?

— Нет, Степан. Наш Александр Михайлов уже повешен или его повесят завтра-послезавтра. Это письмо он написал давно, и только сегодня мне его вручили.

Халтурину бросились в глаза последние строчки: «Прошу вас навестить и приободрить нашего друга Степана Никол.». Халтурин опустился на стул, рука с зажатым в ней письмом дрожала.

— Зачем вы меня разыскали? — спросил он глухо.

Спокойно, подавляя в себе боль и отвращение, рассказала Фигнер о подлых делах военного прокурора Стрельникова.

— Если бы вы только знали, какой зверь этот генерал Стрельников! Наглый, самоуверенный. Пытает политических, плодит провокаторов, рядовых кружковцев на каторгу гонит. — Фигнер вдруг побелела. — Степан, это он заставил оркестр играть «Камаринского», когда вешали в Киеве трех наших товарищей!

Халтурин мысленно увидел виселицу... с перекладины свисают три веревочные петли... палач, засучив рукава красной рубахи, прислонился к перекладине в ожидании жертв... Выводят осужденных — трех товарищей. Генерал

Стрельников взмахнул рукой, и оркестр, который появился вдруг откуда-то, грянул «Камаринского»...

— Где этот подлец? — крикнул Халтурин.

Вера Николаевна рассказала, что подлец этот, прокурор Стрельников, работает сейчас в Одессе, и там он свирепствует точно так же, как свирепствовал в Киеве.

Фигнер ушла.

Долго не ложился спать Степан Николаевич. Он сидел у печурки. Невеселы были его думы.

«Что проку в пальбе? Убью Стрельникова — назначат на его место другого мерзавца. Много их у царя, есть из кого выбирать... А другого царя не нашли бы, убей я Александра в Зимнем дворце?» Но тут же родилась новая мысль: «Кто помешает мне поработать в Одессе? Там Иванайнен — с ним вместе я строил «Северный союз», так почему нам не попытаться организовать одесскую группу? Почему не попытаться возродить «Южно-российский союз рабочих»?

Степан Николаевич поехал в Одессу.

В вагоне было холодно. Первые два дня пути Халтурин крепился, подсаживался к соседям, пил с ними горячий чай, говорил о жизненных мелочах, но 31 декабря он уже не мог оторвать голову от подушки: его бросало то в жар, и он лежал с раскрытым ртом, глотая воздух, то в такой холод, что коченели ноги.

В ночь под 1 января 1882 года Степан Халтурин, больной, разбитый, приехал в Одессу. Извозчика брать опасался: несмотря на позднее время, было на улицах людно. Превозмогая боль, то снимая шапку, чтобы подставить холодному ветру горячий лоб, то ежась от стужи, добрел Степан Николаевич до конспиративной квартиры...

Почти месяц Халтурин проболел. Выздоровев, он занялся делами. Вдруг его вызывает Вера Фигнер. Он стоит перед нею, сутулый, с ввалившимися глазами.

— Познакомьтесь, Степан Николаевич, со своим напарником. Это Николай Желваков, — указала она на светловолосого студента с нежным, девичьим лицом.

Желваков широко улыбнулся, показывая два ряда белых зубов. Он тепло пожимал руку Халтурина и, не скрывая своего восхищения, говорил:

— Неужели это вы? Мне казалось, что вам лет, по крайней мере, сто двадцать. Халтурин союз организовал,

Халтурин стачками руководил, Халтурин взорвал Зимний дворец. А вам всего...

— Двадцать пять! — весело подхватил Степан Николаевич. Откровенная восторженность и детская чистота, сквозившие во взгляде студента, сразу расположили Халтурина в его пользу. Он обнял Желвакова за плечи. — А вам говорила Вера Николаевна, что расправиться с негодяем должен я?

— Наоборот, дорогой. Стрелять буду я. И потому, что я стреляю не хуже Вильгельма Телля, и потому, что после выстрела придется бежать, а я бегаю, как римский бог Меркурий.

Халтурин резко повернулся к Фигнер:

— Это нечестно! Мы с вами договорились!

Вере Николаевне шел тридцать первый год, но в ней было много от девочки-подростка: и гладко зачесанные волосы, и застенчивый взгляд, и угловатые движения, и ярко-красные припухлые губы. Халтурин сконфузился, словно обидел ребенка:

— Простите, Вера Николаевна. Я погорячился.

Фигнер взяла руки Халтурина в свои и, приветливо глядя ему в глаза, ласково сказала:

— Наоборот, Степан, вы недостаточно меня выругали. Вы тысячу раз правы. У вас слава, вам и честь. Но вы больны, поймите, Степан, вы больны.

— Именно поэтому я и должен стрелять! — опять взволновался Степан Николаевич. — Дайте мне напоследок делу послужить. На другое я уже не гожусь. А у Желвакова все впереди. Ему незачем за револьвер хвататься!

Фигнер погладила влажную восковую руку Халтурина и тихо, как бы только для него одного, сказала:

— Такая рука может дрогнуть, и подлец уйдет от нас.

Что мог на это ответить Халтурин?

На долю Халтурина выпала роль кучера. Он подвезет Желвакова к месту встречи со Стрельниковым и увезет его после выстрела. Для этой цели Фигнер приобрела белого резвого рысака и легкую, нарядную пролетку.

...Весна наступила сразу. На Садовой зазеленела акация. Солнце, пробиваясь сквозь молодую листву, играло на тротуарах. Халтурин с Желваковым ездили почти ежедневно в порт или по главным улицам, а чаще всего по

Приморскому бульвару: мимо французского ресторана, мимо генерал-губернаторского дворца.

Стрельникова было трудно захватить врасплох: он знал, что за ним охотятся. Он часто менял маршруты, редко показывался в общественных местах.

Вера Николаевна требовала, чтобы «группа» была ежеминутно готова к действию. Но бывало, что Халтурин отлучался с постоялого двора и посланцы Веры Николаевны не могли его разыскать.

Фигнер, возмущенная, вызвала к себе Халтурина:

— Степан Николаевич, что вы делаете? Тут решает минута, а вы где-то пропадаете, с рабочими встречаетесь! Долго ли до провала? И опять уйдет от нас этот подлец!

— Что Стрельников? — грустно сказал Степан Николаевич. — Тля. Мы ее раздавим... А вот к вам, Вера Николаевна, у меня большая просьба.

— Какая?

— Помогите мне в одном нужном деле. У вас большие знакомства, у вас большой опыт.

— Не понимаю, — быстро промолвила Фигнер.

— Я собираю сведения о социальном происхождении народовольцев.

— Степан Николаевич! В такое время? — изумилась Фигнер. — В такое время заниматься собиранием сведений?

— Мне время скупо отмерено, — тихо произнес Халтурин, — а работа эта нужная. Для истории...

В глазах Халтурина было столько детской наивности, его лицо светилось такой ясной улыбкой, что Вера Николаевна забыла начало разговора.

— Помогу вам, Степан, — ответила она, пожимая влажную руку Халтурина.

Вера Николаевна при всей своей женственности была жестким человеком, когда дело касалось конспирации, но ее обезоружил Халтурин своей целомудренной чистотой.

Если бы Фигнер знала, чем живет Степан Николаевич! Если бы знала, что он уже объединил несколько кружков, что он выработал «Устав одесской группы» (этот устав нашли у него при аресте), если бы она знала, что сегодня обсуждался этот устав на Жеваховой горе, и что тут же, после свидания с нею, он отправится на завод жатвенных машин, чтобы рассказать товарищам о методах работы

«Северного союза русских рабочих», — если бы она все это знала, не было бы мягких нот в ее голосе!

...18 марта, в полдень, пришел Желваков на постоялый двор. Он был одет в парадную студенческую форму.

— Как здоровье, старина?

— Прекрасно.

— До прекрасного далеко, Степан Николаевич. В двадцать пять лет можно выглядеть лучше.

Халтурину был неприятен этот разговор: он чувствовал себя прескверно. И синее море, и синее небо, и весенний воздух, пахнущий ванилью, действовали раздражающе. Он опять лишился сна, и приступы кашля участились. Ему стало трудно дышать, точно пряный воздух был не в силах пробиваться в легкие..

— Ты прав, друг, — ответил Халтурин. — Мне пора на отдых.

Желваков подвел товарища к окну:

— Посмотрите, Степан Николаевич: на небе ни единого облачка. Между небом и землей висит тоненькая сетка, и солнце бросает в нее красные пучки. Вон там, далеко, синий простор моря. Даже отсюда видно, что вода теплая-теплая...

— Какой ты теплый человек!

— Люблю природу...—мечтательно откликнулся Желваков. — Особенно весной. Весна — начало жизни. А что прекраснее начала!.. Все впереди. Из земли трава поднимается, набухают почки, распускаются цветы. Все рвется к солнцу, все поет о жизни... Эх, Степан Николаевич, какая прекрасная штука жизнь!

Халтурин прижал голову Желвакова к своей груди:

— Коля, слышишь шум? Это клокочет в больных легких. Я — конченый человек. Но ты, зачем ты на такое дело идешь? Уезжай отсюда. Расскажи рабочим, как прекрасна жизнь. Пусть объединяются, тогда ничто не устоит под их напором. Со Стрельниковым я один справлюсь, а ты уезжай, уезжай, мой хороший...

Не послушался Желваков Степана Николаевича.

Через несколько часов они выехали с постоялого двора. Халтурин — на козлах, за кучера; нарядный Желваков — в пролетке, за барина. Белый рысак был вычищен до снежного блеска. Лак на пролетке отливал теплым сиянием.

К шести они приехали на Приморский бульвар. Обе-

дающие на открытой террасе французского ресторана мужчины любовались прекрасной лошадью, а дамы — красивым студентом, сидевшим в пролетке небрежно, с видом человека, привыкшего, чтобы им восхищались.

Перед генерал-губернаторским дворцом Желваков сошел с пролетки.

— Через час приедешь за мной! — приказал он громко.

Пролетка тронулась с места. Студент — нарядный, улыбающийся — направился в боковую аллею.

Когда часы на Городской думе показали четверть седьмого, вышел из ресторана грузный генерал Стрельников. В одной руке он держал фуражку, обнажив свою круглую и гладкую, как арбуз, голову, а другой расправлял пышные усы. После обильного обеда трудно двигаться. Стрельников присел на скамью, закурил сигару.

Желваков, посмотрев на часы, вдруг заторопился — быстрым шагом вышел он на главную аллею, ведущую к Городской думе. Скамью, на которой сидел Стрельников, он обошел слева и, прежде чем Стрельников успел повернуть голову, Желваков выхватил револьвер и выпустил три пули в жирный генеральский затылок.

Стрельников качнулся и рухнул. Выпавшая из его рук сигара дымилась в песке синей струйкой.

Все это произошло так неожиданно, что обедающие на террасе вскочили с мест только тогда, когда студент, стрелявший в Стрельникова, побежал в сторону Карантинного спуска.

Взвились свистки городовых; стало шумно в аллеях бульвара: одни окликали своих близких, другие орали: «Держи»! Смельчаки бросились вдогон студенту.

Несется белый рысак. Халтурин, стоя, направляет лошадь наперерез толпе, чтобы с ходу подхватить товарища.

Вдруг Желваков упал: человек в фуражке с красным дворянским околышем кинул ему палку под ноги. Халтурин спрыгнул с пролетки и, задыхаясь, побежал на помощь другу. Стреляя на ходу в воздух, он кричал:

— Стойте! За вас он! Это революционер!

От Желвакова отступились. Он вскочил на ноги и опять побежал, но силы его покидали: бежал все медленнее и медленнее, наконец остановился, прислонился спи-

ной к стене и стоял с раскрытым ртом, прижимая рукой рвущееся из груди сердце.

Степан Николаевич побежал к Желвакову, чтобы своим телом прикрыть его, но из-за угла, поджидая, видно, Халтурина, вынырнул здоровенный лабазник и ударом в голову сбил его с ног...

Халтурина и Желвакова задержали.

Степана Николаевича бросили в подвал. Его били, топтали ногами — требовали от него имен, фамилий, связей. Но он молчал — ничего не сказал своим мучителям, даже собственной фамилии не назвал.

Одесский генерал-губернатор Гурко получил от царя Александра III телеграмму: «Повесить в двадцать четыре часа без всяких отговорок».

Царь боялся террористов, боялся покушений на свою «священную особу», и этот животный страх был так велик, что он самолично застрелил в дворцовом коридоре своего адъютанта графа Бобринского, спрятавшего от него за спину закуренную папиросу: напуганному самодержцу померещилось, что Бобринский прячет от него бомбу!

Генерал-губернатор Гурко, получив царскую телеграмму, немного растерялся: как обойти формальности, без которых даже в России не вешают людей? Следствие, прокурор — ерунда: он, Гурко, сам будет и следователем и прокурором. Но как быть с судьями? Оформление суда займет несколько дней, судилище — несколько часов, а тут приказ — повесить в двадцать четыре часа!

— Сам буду и судом! — решил Гурко.

Утро 22 марта 1882 года. Предрассветный ветерок отгонял ночные тени. Халтурина вывели из подвала. Он глубоко вдохнул пряный воздух и закашлялся.

К нему подошел Желваков, обнял, крепко прижал к груди, поцеловал в губы.

— Спасибо, старина, что довелось мне вместе с тобой умереть.

Халтурин вздрогнул, вырвался на мгновение из оцепенения.

— Коля... Коленька...

Он вдруг увидел людей, эшафот, янтарные разводы на небе. Он хотел что-то сказать, что-то очень важное, но это важное сразу показалось ему мелочным, ненужным.

Желваков остановился перед эшафотом.

— О, как высоко! — воскликнул он, сосчитав ступеньки. — Четырнадцать!

— Четырнадцать, — машинально повторил Халтурин.

Желваков быстро поднялся на помост. Он оттолкнул палача, сам накинул себе на шею веревку и сильным ударом ноги отшвырнул табуретку, на которой стоял.

Поволокли к эшафоту Халтурина. Он кашлял, обагрял кровью каждую ступеньку.

Из-за моря выплыло багровое облако.

— Солнце, — промолвил Степан Николаевич, и лицо его осветилось радостной улыбкой.





„ДЯДЕНЬКА АНИСЫЧ“

1

Тимофей Морозов унаследовал от отца Никольскую мануфактуру, постный лик старообрядца и волчью жадность. Когда династия Морозовых праздновала шестидесятилетие своего главы — Тимофея Саввича (это было весной 1884 года), юбиляр сидел нерадостный.

— Вседержитель в великой своей милости поставил наш род на крепкий корень, а мы по своему скудоумию не бережем дедовского наследия, — сказал он, подведя, видимо, итог своим мыслям.

— Мы приумножили наследие! — откликнулся Иван Захарович Морозов, владелец Глуховской мануфактуры, человек шумной и веселой жизни.

Тимофей Саввич брезгливо скривил бескровные губы.

— Ты, Иван Захарыч, в глубь вещей не вникаешь. В торговле застой. А нам не выгодно на склад работать. Мы должны со своими ситцами и полубархатами в Туретчину шагнуть, к персюкам податься. Выбить надо оттуда англичанина! А чем его осилишь, если не ценой? Он аршин ситца за двадцать копеек продает, а мы с вами должны его за гривенник отдавать.

— Самим дороже! — разволновались остальные Морозовы.

— А вы рабочим не потворствуйте. — Тимофей Саввич повернулся к сидевшему в конце стола Дианову. — Скажи, Михаил Иванович, как мы свой товар удешевляем?

Дианов, директор Никольской мануфактуры — длиннолицый, с золотым пенсне на мясистом носу, — достал из кармана записную книжку, нашел нужную страницу и почтительным голосом прочитал:

— «В восемьдесят первом году среднемесячный заработок нашего рабочего был одиннадцать рублей и одна копейка, в восемьдесят втором — десять рублей и одна копейка, в восемьдесят третьем — девять рублей пятьдесят три копейки».

— Слышите? — обратился Тимофей Саввич к своим многочисленным родичам. — По рублику всего сбавляем, а посчитайте, сколько я выгадываю, если у меня рабочих свыше восьми тысяч!

— Оттого-то и воют они, — не то в укор Тимофею Саввичу, не то себе в оправдание произнес Иван Захарович.

— И ты испугался? — насмешливо откликнулся Тимофей Саввич. — Родителя вспомни. Как он миллионы наживал? Он брал с рабочих за воздух и за воду, штрафовал за новые сапоги и за худые лапти, взимал за свадьбу и за родины. Когда рабочего уже не за что было штрафовать, то штрафовал его за то, что он от штрафа очистился. Мы с тобой, Иван Захарович, новшества вводить не должны — нам это не по чину и не по уму.

— Не те времена, братец, — попытался поддержать Ивана Захаровича один из братьев — Елисей.

— А ты от времени не отставай, — уже спокойно возразил Тимофей Саввич. — Сбавь на полчаса рабочее время, но дай ткачу пряжу похуже. Тебе — прибыток, а ткач лишних два часа с куском провозится. — Тимофей

Саввич неожиданно стукнул кулаком по столу: — О каком времени-то говоришь? Может, стачки испугался? Не будет стачки! Не семьдесят девятый год! Не в гору идем, а под гору катимся. Ярцевская мануфактура закрылась, Морозов и Берг в Туле фабрику закрыли, в Петербурге Голенищев свою ткацкую закрыл, Воронин и Алексеев свою ткацкую закрыли. Новая бумагопрядильная три дня в неделю работает. Куда денутся ткачи? И так в городах нет проходу от нищих. Не будет стачки!

Иван Захарович был осторожнее Тимофея Саввича: перегнешь палку — сломается. А кто не знает, что на их фабриках самая нищенская оплата труда! Как тут будешь еще снижать?

Иван Захарович почтительно взглянул на главу династии:

— Ты прав, Тимофей Саввич. С рождества объявляю сбавку. Нам с тобой в ногу надо.

2

Петр Анисимов Моисеенок, переименованный малограмотным сельским писарем, выдававшим ему паспорт, в Петра Анисимовича Моисеенко, возвращался из Орехова. Невысокого роста, коренастый; из-под бараньей шапки смотрят насмешливые серые глаза, придающие рябому лицу юношеский задор.

Сидя в трактире, Петр Анисимович подвел итог делам и дням, и он поверил, что подошел наконец к осуществлению своей мечты. Путь к мечте был нелегкий — через тюрьмы, через ссылку. Но Петр Анисимович неуклонно шел вперед. Назревает забастовка — та забастовка, ради которой он приехал сюда, в царство Морозовых.

Было трудно. После сибирской ссылки Моисеенко всего двадцать шесть дней прожил в деревне: торопился, спешил в Орехово-Зуево, к ткачам, чтобы открыть им глаза на порядки в морозовской вотчине.

Почти весь 1884 год проработал он на Никольской мануфактуре, но поднять ткачей против хозяина ему не удалось: они боялись Тимофея Саввича. Одни говорили, что Тимофей — колдун, что фабрика заколдована от бунтов. В пять утра уходили ткачи на работу, кончали в восемь вечера, а то и позже. Главный мастер ткацкой Александр Иванович Шорин — черный с проседью, всегда в

летнем пиджаке — расхаживал по цехам. Ткачи из кожи лезли, а при расчете за пятнадцать дней каторги получали четыре рубля тридцать шесть копеек.

Рядом с Моисеенко, за соседними станками, работали трое: старик, старуха и девушка лет восемнадцати. Девушка была как две капли воды похожа на мать: такая же сморщенная, такая же поразительно худая. Она налаживала основу длинными костлявыми пальцами. Лицо, обтянутое прозрачной кожей, было страшно; на шее при повороте напрягались сухожилия.

В далеком Канске, где у Моисеенко возникла мысль отправиться после ссылки в Орехово, он уже знал, что в вотчине Морозовых «трудно дышится и горе слышится». Но то, что он увидел собственными глазами, поразило его.

Восемь тысяч рабочих у Морозова! Все тощие, волосы всклокочены, взгляд усталый. Дети — маленькие, худые, с тонкими голосами и задумчивыми глазами. Даже у грудных — старческие морщины и впавшие глаза.

«И все же они, — думал Моисеенко, — эти живые скелеты, которые работают за соседними станками, еще не самые несчастные. Они втроем вытягивают в месяц до пятнадцати рублей. А как живут семьи, где голод свалил кормильца?»

«Фабрика моя — государство мое», — твердит Морозов. У него свой кодекс, он сам определяет преступления, сам же определяет и наказания.

Моисеенко видел расчетные книжки, где на первой странице рядом с фамилией ткача стояла пометка: «грубиян», «буйный», «крайне вредный», «опасный негодяй».

Кабала. Рабство. За последние два года пять раз снижались расценки; рабочих переводят со станка на станок, из дневной смены в ночную.

Хитрее паука плетет Морозов свою паутину. С вымученного рубля полтинник удерживает, с последнего пятака хоть копейку, да сорвет. Все штрафами. И таксу выработал. Поздно вышел на работу — штраф пятьдесят копеек, нагрубил мастеру — один рубль, оделся на пять минут раньше гудка — пятьдесят копеек, жаловался фабричному инспектору — один рубль, громко разговаривал — сорок копеек, участвовал в драке — один рубль, не был в церкви — пятьдесят копеек.

Одолели штрафы, а Морозов все кричит: «Мало —

прогорю!» И, чтобы Морозов не «прогорел», у рабочих отнимают последний грош.

От штрафов набирались огромные суммы — сотни тысяч рублей, и все они шли в карман Морозову.

«Неужели, — думал Моисеенко, — не удастся поднять ткачей против колдуна Морозова?»

В уборной и в казармах, на улице и в трактирах беседовал Петр Анисимович с ткачами. Ткачи поддакивали, вздыхали и, охая, отвечали:

— Что поделаешь! С Морозовым нам не тягаться, мы его крепостные.

Петр Анисимович обращался к самым обиженным:

— Но ты как сам по себе думаешь?

— Я-то готов, а другие вот...

В 1884 году Моисеенко не смог поднять ткачей. С досады он ушел с Никольской и нанялся в Ликино, к фабриканту Смирнову. Тут было еще труднее агитировать: начинаешь говорить о рабочей каторге — ткачи вовсе отворачиваются или сердито отвечают:

— Ты вот посмотри, что у Тимофея делается. Смирнов нас грабит, но хоть с голоду подыхать не дает.

В сентябре 1884 года Петр Анисимович поступил на Глуховскую мануфактуру, но и там не смог ничего добиться. Тогда он решил: раз обходом нельзя, то надо лезть волку в пасть, и в ноябре перешел обратно на Никольскую.

В первый же день Моисеенко сработал товар на славу, даже старший мастер Шорин похвалил. Назавтра вызвали Моисеенко в контору. Перед столом браковщика — большая очередь.

— Зачем вызывали? — весело спрашивает Петр Анисимович.

— Узнаешь, когда до тебя очередь дойдет.

— А работать когда? — так же весело откликается Петр Анисимович, поглядывая задорно на ткачей. — От стояния в хвосте мне прибытку не будет.

— Поговори! — цыкает на него браковщик.

— Поговорю! — в тон ему отвечает Петр Анисимович. — Ты меня не пугай, уже пуганый.

В конторе было человек двадцать ткачей и ткачих, и все они с восхищением глядели на смелого новичка.

— Подходи,—уступали они Петру Анисимовичу свою очередь к столу.

— Ваша книжка? — сердито буркнул браковщик.

— Для чего? — широко улыбаясь, справился Петр Анисимович.

— Штраф записать. Кромка нехороша.

— Покажите товар! — потребовал Петр Анисимович.

— Товара нет. Дайте книжку!

Петр Анисимович не обратил внимания на сердитый тон браковщика, достал из кармана кисет, скрутил козью ножку и, повернувшись, спокойно сказал:

— Ну раз товара нет, то и книжки нет. А кромка у меня хороша, она мастером подписана.

Браковщик подскочил к Моисеенко и, размахивая руками, закричал:

— Подписана или не подписана, я не знаю и знать не хочу, а штраф должен быть за порчу!

Петр Анисимович повернулся к ткачам.

— Слышали, товарищи? — сказал он насмешливо. — За плохой товар штраф пишут, а за хороший должны премию записать, так я говорю?

— Так, — охотно, хотя и тихо, подтвердили ткачи.

— Так и в правилах вывешено. Раз премии не пишете, то штраф мне за что писать? Не признаю... До свиданья!

Моисеенко вернулся в ткацкую, но слух о его дерзости опередил его. К станку подходили ткачи и ткачихи.

Они молча стояли, присматриваясь к работе новичка.

Петр Анисимович работал с обычной для него живой горячностью. Он то налаживал основу, то на лету подхватывал увертливый челнок, то гайку подвинчивал, то нитку перевязывал. И как-то неожиданно, повернувшись к ткачам, сказал певучей скороговоркой:

— А вы что, маленькие? Или дожидаетесь, пока с неба манна упадет? Те времена уже прошли, когда с неба манна падала.

Пожилой ткач, стоявший ближе всех к Моисеенко, угрюмо ответил:

— С таким народом ничего не поделаешь.

С этого дня каждая беседа с Моисеенко освещала ткачам все новые закоулки в морозовской каторге.

Ткачи обычно отдыхали в уборной — пусть в смраде, но подальше от грохочущих машин, к которым ткач чувствовал себя прикованным, как каторжник к своей тачке, подальше от злых глаз Шорина.

Петр Анисимович в эти минуты доставал из кармана полицейскую газету «Московский листок» и принимался читать:

— «Доколе же вы будете терпеть эту каторгу? Ведь хозяин опился вашей кровью, он лопнет скоро...»

— Как здорово стали нынче в газетах писать! — радовались ткачи, не догадываясь, что Петр Анисимович вовсе не по газете читает.

— Вот времена пришли!

— И как это ты, Анисыч, в темноте такой разбираешь буковки? Кошачьи у тебя глаза...

Моисеенко упорно шел к своей цели. Вечерами он появлялся в библиотеке, к нему подсаживались ткачи. Он читал им рассказы или стихи, зовущие к борьбе.

В прошлую субботу, когда за окном синел ноябрьский пухлый снег, Петр Анисимович достал «Вестник Европы» за 1871 год и приступил к чтению хроники Навроцкого «Степан Разин».

Моисеенко хорошо пел, неплохо рисовал, писал стихи, прекрасно декламировал. На его чтения (он часто читал вслух в фабричной библиотеке) приходили даже инженеры со своими женами.

Все, что делал Петр Анисимович, он делал живо, с увлечением и с какой-то внутренней радостью. Пел ли он, читал ли вслух — он весь преображался: руки дорисовывали образы, недостаточно ярко выраженные в словах или звуках, и лицо Петра Анисимовича, то печальное, то оживленное, то искаженное болью или ненавистью, то озаренное ликующей радостью, говорило подчас слушателям больше, чем слова автора.

На чтение «Степана Разина» собралось около сотни человек.

Разин в станице. Разин гуляет с молодыми казаками. Петр Анисимович передает жестами и мимикой буйную радость, охватившую казаков, когда они вырвались в вольную степь.

Против Моисеенко сидел статный, красивый ткач — Василий Сергеевич Волков. На его высокий лоб падала непокорная прядь волос, карие умные глаза были устремлены на Петра Анисимовича. Он искал в живом, поминутно меняющемся лице чтеца ответ на давно мучивший его вопрос: «Что он, этот новичок, дело делает или, как актер в театре, загорается от чужих слов?»

Что-то несолидное чудилось Волкову в повадках маленького, быстрого Моисеенко: то он сыплет прибаутками, то разливается, как кенар в клетке, то вдруг стыдит всех и зовет к борьбе.

Уже чувствуется, как что-то изменилось в сознании ткачей, что еще несколько толчков — и они пойдут против «колдуна». Но поведет ли их в бой Моисеенко? Не отступится ли, не испугается?

А Петр Анисимович, оглядев своих слушателей, стукнул по столу и сказал горячо, как человек, собирающийся раскрыть свои самые сокровенные мысли:

Не на грабеж иду я. Я — другсе,
Я дело славное задумал совершить.
Решился я народу возвратить
Ту волю самую, которую бояре
Оставили лишь только для себя,
А от свободного спокон веков народа
Отнять успели и простых людей
Скотом рабочим умудрились сделать.
Но волю-мать искоренить нельзя!

Последнюю строку — о воле — Петр Анисимович произнес почти шепотом, и его слова прозвучали в тишине притаившегося зала, как клятва.

Опять преобразившись и переменив тон, Петр Анисимович продолжал:

— На это пустынник ответил Разину:

— Незваный гость, оставь мечты пустые!
Кто звал тебя и кто тебя просил
Смущать народ, едва лишь усмиренный?

Моисеенко вскочил с места, выдвинулся немного вперед, оглядел всех возбужденным взглядом:

— Кто звал, монах? Да звал нас стон народный,
Что с ветром ежедневно доносился
До наших тихих вольных берегов!
Да звал народ, кровавыми слезами
Питавший землю, где он изнывал
От тяжких мук и бесконечных казней!
Да звали все, кому житья не стало
И в ком терпеть — терпенья недостало!
А ведь таких немало на Руси!
Не бог холопей сделал, но бояре,
А перед богом люди все равны.
Все одинаково родятся! Все умрут!

Все есть хотят! И все, пока живут,
Должны быть одинаково свободны!
Боярам любо: ведь на них суда
Не полагается, они других лишь судят!
Им хорошо, а о простом народе
Не думают — и вспомнить не хотят.
Не хотят добром — напомним кровью,
Припомним всё и разом порешим!
Когда бояр я изведу повсюду,
Когда они исчезнут без следа,
Тогда замрет их низкое коварство,
И от Москвы до всех окраин царства
Свободной станет русская земля!

Ткачи повскакали с мест: они хотели сказать чтецу, что и им житья не стало, что и им терпенья недостало.

Инженер Назаров подбежал к Моисеенко и, вырвав книгу из его рук, взглянул на титульный лист. Увидев печать «дозволено цензурой», он растерянно посмотрел кругом и неожиданно раскричался:

— Расходись! Театр вздумали устраивать!

На улице подошел к Моисеенко Волков.

— Хорошо читаешь, — сказал он, решив во что бы то ни стало добиться от Моисеенко ответа на волнующие его мысли.

— Спасибо на добром слове, — уклонился Петр Анисимович от разговора.

Он был взволнован: наблюдая во время чтения за ткачами, он видел, как от его слов расцветают усталые лица и в печальных глазах зажигаются беспокойные огоньки.

— Не за себя благодарю, — настаивал Волков.

— А за кого?

Волков отвел Петра Анисимовича в сторону:

— Скажи, кто ты?

Петр Анисимович рассмеялся:

— Фамилию сказать тебе?

— Фамилию твою знаю. А вот что у тебя на душе, не знаю.

— Тебе очень хочется знать?

— Да. Давно к тебе присматриваюсь. То мне кажется, что ты тайную тропу знаешь, то мне кажется, что все у тебя от веселости.

— Какую это ты тайную тропу ищешь?

— К лучшей жизни!

В это время к Моисеенко подошла группа ткачей:

— Анисыч, будь друг, зайди к нам в казарму.

— Отчего не зайти! Пойду, если приглашаете.

Вместе с Моисеенко отправился и Волков.

«Спальня» помещалась во втором этаже большого каменного дома, расположенного посреди фабричного двора, против корпуса ткацкой. В нижнем этаже находилась кухня для рабочих; в ней стояли длинные столы и скамьи. Столы были грязные, пол давно не мытый. «Спальня» — огромная комната, по шесть окон с двух сторон. У стен и посредине комнаты стояли деревянные нары, на которых валялись лохмотья старой одежды. Ни столов, ни скамеек в «спальне» не было.

Когда Моисеенко вошел в комнату, там стоял переливчатый шум. В одном углу играл кто-то на гармонике, в другом кучка рабочих — любителей чтения — слушала парня-грамотея, читавшего «Прекрасную кабардинку, умирающую на гробе своего мужа». Возле окна, напротив двери, белый как лунь старик, собрав вокруг себя женщин и детей, читал им «Жития святых».

Ткачи, пригласившие Моисеенко, увидели, что в «спальне» не удастся поговорить.

— Анисыч, — предложил один из них, — будь друг, поднимись с нами к Лариону.

Они поднялись на третий этаж, к семейным. Комната маленькая, в ней размещались четыре семьи: две — на двух кроватях, две — на полу. Стены выкрашены мрачной коричневой краской, лампа висит чуть не под самым потолком — комната напоминает тюремную камеру.

В коридоре поднялась суета: одни тащили табуретки, другие — чашки, третьи — хлеб.

Моисеенко усадили, хозяйка накрыла часть стола.

— Так не выйдет! — весело запротестовал Петр Анисимович. — Если жить, то всем! Если пить, то тоже всем! Что такое человек? Маленькая величина. А если людей много, то это уже сила. Так я говорю, Волков?

— А ты и фамилию мою знаешь? — удивился Волков.

— Только ли фамилию! — не то насмешливо, не то подзадоривая, ответил Петр Анисимович.

В эту минуту подошел к Моисеенко сгорбленный старичок с небольшой белой бородкой, в очках, связанных бечевкой. На нем были бумажные штаны и ситцевая рубаха, поверх которой была надета жилетка; на босых ногах — опорки. Он торжественно протянул морщинистую

руку и суровым голосом, который вовсе не соответствовал его жалкому обличью, проговорил:

— Присмотрелись мы к тебе, Анисыч, и промеж себя решили: правильный ты человек. Научи нас. Невмоготу стало, скрутил нас окаянный Тимофей. Вот я семейство кормить должен. Старуха больна, два внука на моем горбу. А какой я кормилец? Двенадцать дней широкий молескин работал, а расценок на него нету. Сегодня книжку получаю, читаю — рубль двадцать пять копеек. За двенадцать дней каторги! Научи, Анисыч, как жить. Ты читал, что перед богом все люди равны, а какая я Морозову ровня?

Моисеенко понял, что сейчас он еще на шаг приблизился к своей цели.

— Садитесь, а то что получается? Меня, как архиерея, усадили, а сами по углам жметесь.

Кое-как расселись.

Петр Анисимович, глядя на Волкова, сказал:

— Читал я когда-то в одной древней книге — жил человек в земле Уц, звали его Иов.

— Слышали! — шумно отозвались ткачи.

Моисеенко продолжал:

— Терпеливый был человек Иов. И за терпение бог все у него отнял. Сначала всех детей, потом скот и поля. Обнищал Иов, отощал вот так, как мы у Морозова. Под конец Иов такой болезнью заболел, что жена на гноище его бросила: лежи, мол, терпи. И вошел тут в душу Иова гнев. Стал он с богом спорить: «Несправедливо ты, господь, миром управляешь...»

Ткачи внимательно слушали, а когда Петр Анисимович замолчал, они недоуменно посмотрели друг на друга. Наконец старый ткач сказал:

— То бог, а то Морозов. С ним не поспоришь.

— А почему нельзя? — весело откликнулся Моисеенко. — Думаете, сильнее Морозова зверя нет? Вот в Петербурге, может, слышали, есть фабрика — Новая бумагопрядильная. У нее шесть хозяев, а там что ни хозяин — либо генерал, либо придворный чин. Акционеры, значит. А рабочим хоть бы что: будь ты генерал, будь ты камергер, но раз ты рабочих жмешь, то с тобой надо по-рабочему поступать. И случилось однажды... — Моисеенко внезапно поднялся, взял со стола свою шапку. — И чего это я с вами заболтался...

Ткачи молчали.

— Нехорошо получается, — с укором проговорил Волков. — Начал рассказывать и бросил. Не веришь ты нам.

— Не верит, — сурово подтвердил старый ткач.

— Почему не верю? Верю. Только ни к чему вам мой рассказ. Вы Морозова боитесь, околдовал он вас.

— А ты все же расскажи, — настаивал старый ткач, — авось не навеки его колдовство.

Моисеенко опять сел, не спеша скрутил цигарку, закурил.

— Расскажу, только уж вы на меня не обижайтесь. В Петербурге народ настоящий, не лежит в ногах у фабриканта. Когда с липы лыко дерут, она слезами плачет, а с вас Морозов семь шкур дерет, а вы бесчувственные, хуже липы. За свою кровную копейку надо в драку лезть! Фабриканту если спускать, он из нас всю кровушку высосет. В Петербурге рабочие это понимают. Вот так и было на Новой бумагопрядильной. В михайлов день народ не вышел на работу.

— Когда это было?

— Лет шесть назад. Зачем, думают, и в праздник на хозяев спину ломать? А генералы и камергеры своей прибыли упустить не хотели. «Раз, говорят они, вы в праздник не работали, то отработайте нам за прогульный день четверть часа лишку». И выходило, что пятьдесят два дня надо было работать не по тринадцать часов, а по тринадцати с четвертью. Рабочим это не понравилось. Пока товар сдашь, пока станок почистишь, пока отметку тебе сделают, — к ночи только домой и попадешь.

Сговорились рабочие и стачку устроили. Известное дело, фабриканты сейчас к министру, тот казаков прислал. А рабочие на своем крепко стоят: не будем работать!

И про остальные обиды рабочие вспомнили: заработная плата низка, на прожитье не хватает; рабочий день тянется без конца, света божьего никогда не видишь; штрафуют зазря, браковщики придираются, а нет того, чтобы при приемке присутствовал выборный от рабочих; вспомнили и аспидов-мастеров, которых неплохо было бы погнать с фабрики. Одним словом, все свои горести вспомнили и заявили хозяевам: «Вот наши требования. Удовлетворите — станем на работу, не удовлетворите —

своих дочек ставьте к станкам, пусть заместо нас хребты ломают».

— И удовлетворили? — послышалось с разных сторон.

— Удовлетворили! — торжествующе ответил Моисеенко. — А почему? Потому что все крепко на своем стояли. Человек полсотни арестовали — рабочие на работу не вышли. Закрылись хозяйские лавки, народ голодает — опять же на работу не вышли. Царскому наследнику бумагу написали: не пойдем, мол, на работу, пока не будут уважены все наши требования, и товарищей наших, что полиция арестовала, вели, мол, царевич, освободить...

— А наследник что? — быстро спросил лохматый, в рваной рубахе ткач, переминаясь с ноги на ногу.

Моисеенко добродушно взглянул на лохматого, покачал головой:

— Ты от царского отпрыска помощи ждешь? Не дождешься. Не любит он таких, как мы с тобою.

Петр Анисимович отрезал себе кусок хлеба, но, прежде чем поднести его ко рту, спросил:

— Про веселого мужичка слышали? Так вот, сказал раз этот веселый мужичок: «Будет вам по завалинкам сидеть да на дорогу глядеть, не бежит ли посол с гостинцами. Обувайся, честной народ, во что попало, гуди по земле, топочи по дорогам — пора самому себе гостинцы добывать».

Хозяйка, дородная женщина с красным лицом и красными руками, стала перед старым ткачом и зло сказала:

— Вас притесняют, жмут, что же вы смотрите? Ждете, чтобы бабы бунтовали?

— Расценок бы увеличили, — мечтательно откликнулся старый ткач, снимая очки с носа, — а она, баба, — неожиданно рассердился старик, отвернувшись от дородной ткачихи, — про бунт толкует! — И сейчас же потеплел его голос: — Анисыч, будь друг, растолкуй ты нам, почему это у Морозова летом один расценок — хоть и плохой расценок, но с голодухи не подыхаем, а как солнце к зиме клонится, выкидывает нам Морозов другой расценок — на воскресные щи не выработаешь. Летом платит он нам тридцать копеек за кусок, а зимой за ту же каторгу — двадцать одну копейку. Неужели черная душа колдуна летнего солнышка боится?

— Слышишь, Волков? — промолвил Петр Анисимо-

вич. — Как он ловко про расценок рассуждает! — Он веселым глазом обвел слушателей. — Объяснить просите — объясню. Как нанимает вас Морозов? На два срока в году. С пасхи до покрова и с покрова до пасхи...

— Так, — подтвердили ткачи.

— А почему Морозов так делает? — спросил Петр Анисимович, лукаво поглядывая на ткачей.

Никто не откликнулся.

— Объясню вам почему. Летом происходят большие ярмарки в Нижнем Новгороде, в Ирбите, и Морозову для этих ярмарок нужен товар. А откуда Морозову товар достать, если летом полфабрики пустует, потому что народ в деревню подался, на полевые работы? Нехватка получается в рабочих. Тогда что делает Морозов? Он увеличивает расценок, он приманивает рабочих копейкой, как птицелов приманивает свистом глупого щегла. А в октябре, когда нужда вас гонит обратно в город, получается избыток рабочих. Этим и пользуется Морозов — расценок снижает, штрафы усиливает, хорошую работу бракует. «Ты недоволен, говорит он нашему брату, так убирайся с моей фабрики!» Он не дорожит нашим братом: сотни безработных в ворота стучатся, и каждый из них не то что за двадцать одну копейку кусок сработает, а за гривенник. Чтобы хоть хлебушком семейство обеспечить! Вот как оно дело обстоит, а ты, дед, о морозовской душе толкуешь! Не в душе тут дело. Ты, старина, подумай, как бы Морозова к стенке припереть, чтобы он с тобой и летом и зимой по-божески рассчитывался!

— Припрешь его, колдуна!

— Можно, старина, его припереть, ой, как еще можно! Кто создает Морозову богатство? Рабочие. А если рабочие не захотят работать за двадцать одну копейку, если они сговорятся между собой и уйдут с фабрики, на ком Морозов наживаться станет? Вот тогда подобреет Морозов. Не то что тридцать копеек за кусок, но и целую полтину выбросит... В сговоре дело — смекни, дед! — в сговоре... — Петр Анисимович неожиданно поднялся и весело закончил: — За угощение спасибо, на том свете угольками разочтемся! А теперь пойду — старуха заругает.

И Петр Анисимович присматривался к красавцу ткачу. Когда Волков разговаривал с Шориным, было в его лице столько злобы, что мастер часто отводил глаза в сторону; в уборной Волков первым подхватывал реплики Моисеенко и нередко сам начинал разговоры о стачках, о борьбе за рабочее право, и ткачи его уважали: за спокойный нрав, за уменье понятно говорить.

Моисеенко вышел из казармы не оглядываясь, хотя знал, что за ним следует Волков.

Было уже поздно. Фабричные корпуса таяли в морозном тумане.

— Пойдем ко мне, — обернулся неожиданно к Волкову Петр Анисимович.

Екатерина Созонтовна встретила их в кухне. Ловкими руками она переставляла чугунок в печи.

— Трудишься? — обратился Петр Анисимович к жене.

Екатерина Созонтовна ничего не ответила.

Петр Анисимович скинул тулуп, снял шапку и шагнул в комнату. За столом, разглядывая картинки, сидели и стояли: брат Григорий, сестренка Наталья, воспитанница Татьяна Яковлевна, которая жила у брата Григория, и бородатый желтолицый Лука Иванович Абраменков — товарищ Петра Анисимовича по сибирской ссылке. На сундуке, уткнувшись лицом в подушку, спал старик — отец Моисеенко.

— Гостя привел. Принимайте в компанию.

В дверях показалась Екатерина Созонтовна, держа в руках большой черный чугун.

— Хозяин явился, и картошка поспела! — заявила она.

Как только хозяйка сняла крышку с чугуна и вкусный пар распространился по комнате, старик проснулся, поднялся со своего сундука и, ничего не сказав, подсел к столу. Во время ужина Петр Анисимович подтрунивал над девушками. Старик, тощий, с реденькой сивой бороденкой, был сосредоточенно молчалив. Екатерина Созонтовна ела медленно, и улыбка не сходила с ее лица.

Все в этой семье показалось Волкову необычным: и добродушное подтрунивание друг над другом, в котором слышалась ласковая привязанность, и разговоры, в которых сквозили намеки на какую-то иную, большую и

трудную жизнь, и даже молчаливый старик — он нет-нет да и вскинет на детей озабоченный взгляд, точно проверяя, все ли тут.

Кроме хозяев и Волкова, все работали в Ликине, у Смирнова, и разговоры велись о фабричных порядках, о мастерах, о расценках и штрафах, но в словах не было безнадежности, а в речи желтолицего Луки Ивановича сквозило даже злорадство, точно ткачи сами были виноваты в своей злой доле.

Когда картошка была съедена, Петр Анисимович обратился к Волкову:

— Пойдем. Рядом пустая каморка. — Он поднялся.— И ты, Лука, пошел бы с нами. Спать тебе еще рано, завтра воскресенье.

В каморке были свалены доски.

— Сядем и побеседуем, — предложил Петр Анисимович, усаживаясь на досках. — Скажи нам, чего ты достигнуть желаешь?

Волков понял: теперь начинается то большое, о чем он сам не решался заговорить.

— Ткачей поднять хочу. Накипело у всех против Морозова, а нет у нас человека, который собрал бы эту злобу.

— А если такой человек найдется, пойдешь ты с ним?

— Пойду, Петр Анисимович!

— А много тут таких, как ты?

— Много! Ты нам дорогу покажи, и мы до самого Морозова доберемся.

— Трудная эта дорога, Василий Сергеич. И через тюрьмы она идет и через сибирские ссылки. Устоите ли?

— Устоим.

Петр Анисимович приподнял фитиль в лампочке, чтобы яснее видеть лицо Волкова, и повел свой рассказ:

— Я меченый. Понимаешь, Василий Сергеич, меченый я человек. За мною хвост тянется. Выдвинусь вперед — жандармы меня сейчас за хвост. Дела не сделаю и себя погублю. Что тут обо мне знают? Ничего. И не надо, чтобы знали. А тебе скажу.

Ты говорил — веселой жизни я человек. Нет, Василий Сергеич, трудная у меня жизнь. Мне сейчас тридцать два года, а видел я счастливый день? Не видел. Как померла мать, когда мне пять лет было, так с того времени дня светлого не видел. До тринадцати лет на помещика рабо-

тал. Потом отдали меня в Москву, к Гучкову на фабрику, и опять же вместо хлеба колотушками угощали. Сбежал с фабрики. Подался на родину. Женился — ни кола ни двора, а земли — три горшка. А знаешь, какая земля в Сычевском уезде? Да еще у нас, в деревне Обыденной на Смоленщине, — песок.

Пришли мы с Созонтовной в Москву.

Город большой, домов много, а для нас с Созонтовной угла не нашлось. Поехали мы в Орехово, к Зимину, на Дубровскую мануфактуру.

Туго пришлось нам у Зимина. Работали мы с Созонтовной по шестнадцати и по восемнадцати часов, а кроме пустых щей, ничего не видели.

«Давай, — говорю я жене, — перекочуем в столицу. Рабочий там в цене». Поехали. Определились мы на фабрику к французу Шау. И что же оказалось? Столица, а порядки в ней такие же, как в Орехове. Рабочему хода нет. Работай и голодай. Стал я к ткачам с разговорами обращаться. Побеседуешь с одним, с другим — все недовольны. Говорят — несправедливо устроена жизнь, изменить ее надо. А вот что нужно сделать, чтобы изменить жизнь, я узнал в кружке.

Вот люди были там, в кружке этом! Было у кого ума перенять. Взять столяра Халтурина. Парень такой, как ты, из себя видный, красивый, а когда говорил, так у меня сердце замирало. Скажет — и светло становится в голове, сразу понимаешь, что к чему. Потом довелось встречаться со слесарем Обнорским. Он учил, как мы должны за свои права бороться, и рассказывал про западный рабочий класс. И там, на Западе, «горя реченька бездонная». И там гнет капиталист рабочего...

В семьдесят седьмом году пришлось мне уйти от Шау: жандармы на заметку взяли. Сам, может, виноват был. Про ткача Петра Алексеева слышал?

— Слышал.

— Вот его речь я и переписывал. То приклею в коридоре, то в уборной, а раз даже мастеру на спину наклеил. И кто-то донес на меня. Походил я немного без дела и устроился за Обводным, на Новую бумагопрядильную. И тут мы работали по четырнадцати часов, и тут мы с голоду пухли. Одним словом, так, как сказал в своей речи Петр Алексеев. Забастовали. Я давеча про эту стачку ткачам рассказывал. Так вот, пустил кто-то слух, что на-

до отправиться с прошением к наследнику: он добрый, он за рабочих. Я и так и этак — объясняю народу, что раз царь за фабриканта, то наследник не может быть за рабочих, что на кислой яблоне сладка груша не растет. А народ все на своем стоит: прошение да прошение.

Раз так, думаю, напишем прошение. Отправились в Аничков дворец — не пускают. Наследник в окне стоит, а полицмейстер Козлов говорит: «Нет его».

«Ваше превосходительство, — говорю я полицмейстеру, — народ желает говорить с цесаревичем, просить его улучшить положение рабочих».

А генерал вежливо отвечает:

«Если вы недовольны условиями на этой фабрике, то идите на другую, где вам лучше будет».

«Ваше превосходительство, — отвечаю я ему, — на других фабриках нас так же притесняют, так же жмут, как и на этой. Мы пришли просить не за одну фабрику, а за всех рабочих».

А генерал не сердится.

«Что ж, — говорит он, — если вам на фабриках плохо, поезжайте в деревню, откуда приехали».

«Мы оттуда не приехали, а пришли, — отвечаю я ему. — Нас из деревни нужда выгнала, нам нужно работать и кормить семьи, да еще и подати платить».

Как услышал генерал про подати, рассвирепел:

«Взять его!»

Посадили меня в пожарный сарай при дворце.

Вечером входит ко мне Козлов, опять вежливый.

«Вот что, голубчик, — говорит он мне, — цесаревич сделать ничего не может. Можете идти, вы свободны».

И, как водится, обманул генерал. Меня в тюрьму поволокли. Тюрьма, сам знаешь: худо там нашему брату. Продержали меня в клоповнике несколько недель и отправили под надзор полиции в Сычевку. А в деревне что мне делать? Сбежал обратно в Питер.

На фабрику не брали. Пристроился я к артели посыльных: то письмо снесешь, то цветы. И от кровного своего дела не отбился: на сходки ходил, прокламации разносил. Жена держала конспиративную квартиру. Дворник доносил куда следует, что постояльцы тихие, а у нас кто проживал? Халтурин скрывался, Обнорский, и у меня же на квартире принимался устав «Северного союза».

В январе 1879 года снизили расценок на Бумагопрядильной. Я там не работал, но как тут в стороне держаться? Забастовала Бумагопрядильная. Остановилась фабрика Шау, забастовала и Екатерингофская. Того гляди, все фабрики замрут. Наскочили раз конные жандармы на бастующих, в свалке и я попался. Посадили под замок. Вот с ним, с Лукой Ивановичем.

Сидим мы месяц, другой, третий. Чисто ад! Как, думаю, можно бороться в тюрьме? Одним только — голодовкой. Постучал я в стенку одному соседу, другому — договорились, объявили голодовку.

Пять дней голодали и своего добились. Его вот, Луку Ивановича, в больницу отправили, а нас всех — в предварилку. Там пища лучше была, в баню раз в две недели водили.

В тюрьме я песню сочинил:

Я хочу вам рассказать,
Как нас стали обирать
Дармоеды-кулаки,
Полицейские крючки.
А министры да цари
На нас смотрят издали.
Указ новый написали,
Чтобы чище обирали,
Попы пьяные орали,
Народ бедный надували.
Царь наш, батюшка-спаситель,
Нашей шайки предводитель,
Хорошо ты управляешь:
Честных в каторгу ссылаешь,
Суд военный утвердил,
Полны тюрьмы понабил,
Запретил всему народу
Говорить ты про свободу.
Кто осмелится сказать —
Велит вешать и стрелять.

Только летом 1880 года вспомнили про нас и в Сибирь погнали. Приехала Созонтовна, и вот нас да Луку Ивановича начали возить по матушке России. Тюрьма, еще тюрьма и опять тюрьма. Порядки всюду одинаковые: и клопы, и вонь, и грубость. В каких тюрьмах не перебывали, с какой жандармской сволочью не встречались!

Наконец-то, к началу зимы, попали мы в село Янцырь, за Канском. Летом батрачили, зимой на охоту ходили.

Луке Ивановичу хуже было: в нем веселости нет, а в

Сибири зачахнешь, если не перешибешь песней думушку печальную. Царь ведь нарочно нашу жизнь так устроил, чтобы мы или от болезни, или от голодухи дохли. А нам, рабочим, силы беречь надо: кончится Сибирь — опять за работу. Для того-то мы все вечера за книгами и просиживали.

Освободились мы из ссылки в 1883 году и решили податься сюда, к Морозову...

Волков был взволнован. Он вскочил, хотел что-то сказать.

— Ты посмотри на Луку, — охладил его Петр Анисимович. — Желтый он и кровью харкает. У Морозова плохо, а в Сибири еще хуже. Жестоко расправляется царь с нашим братом, не дает голову поднять. Тропа наша узенькая, ступишь на нее — подумай раньше, куда она заведет тебя. Назад пути не будет.

Волков просто ответил:

— Давай начинать.

4

В лютых морозах отходил 1884 год. В рабочих казармах было холодно: топили редко. От каменных полов тянуло подвальной плесенью. Вокруг лампы клубился сизый пар, сквозь него с трудом пробивался мглистый огонек.

Ткачи и ткачихи не ходили домой в обеденный перерыв — они устраивались в коридорах, на лестницах или тут же возле станков; сидя на корточках, молча поедали холодную картошку. В казармах оставались дети и больные; накрытые ветошью, они зябли в сырых и вымороженных каморках, и только редкому счастливцу, и то уже перед самой кончиной, удавалось попасть на теплую больничную койку.

С осени ткачи и ткачихи мечтали о рождестве, которое обычно яркой нитью вплетается в грустную серость фабричной жизни, но в 1884 году был омрачен и этот праздник.

Дианов, директор Никольской мануфактуры, распорядился, чтобы в лавке в долг не давали, а браковщики и мастера штрафовали чуть ли не за пылинку, которая ложилась на товар во время осмотра. Заработки, и без того грошовые, были еще снижены: ткачи обычно зара-

батывали до десяти рублей в месяц, а в эту зиму едва вытягивали по пять-шесть рублей.

Рабочие ходили в праздник злые, ругались с женами, а если удавалось кому напиться допьяна, то он искал ссоры, жестокой драки.

Некоторые ходили под окна к главному мастеру Шорину и неистово кляли этого «хозяйского пса», видя в нем начало той тяжелой цепи, что висит на них:

— Убью его, пса паршивого! И куда погонят? На каторгу. А там разве хуже будет?

Кончилось и рождество. Посмотришь на фабрику — ничто не изменилось. Так же черными витками вырывается дым из высоких труб, у ворот в широких волчьих шубах сидят сторожа и подозрительно осматривают проходящих.

А внимательно присмотришься — тревожно и неспокойно на фабрике. То и дело останавливаются станки, бегут вхолостую ремни. Ткачи и ткачихи собираются в проходах; мастера разгоняют их, записывают в книжку каждого, кто обмолвится смелым словом. Но рвение мастеров не достигает цели: разгонят в одном месте—глядь, уже собрались в десяти других. И всюду шепчутся, подмигивают друг другу. Особенно много народу собирается в уборных. Накурено — не продохнешь.

В глазах ткачей, в их повадках появилось что-то новое. Прежде робкие и покорные, ткачи стали ходить прямо, как хозяева, — того и гляди, толкнут нарочно мастера или на ногу наступят. Пели обычно печальные песни — про березоньку да про полюшко, а теперь какие озорные! Затянет Моисеенко:

Быстро вертится станок,
Ткачу отдых не дает...

— Молчать, черти! — сердится Шорин.

— В правилах не сказано, что во время работы петь нельзя.

Как ужаленный бросается Шорин к Моисеенко:

— Ты кто здесь, чтобы мне указывать?!

Петр Анисимович, широко улыбаясь, отвечает спокойно:

— Я никто, я ткач. А вам, Александр Иванович, грешно нас за песни укорять.

Шорин взбешен. Он не раз заканчивал спор ударом

кулака, но сегодня... Что-то тревожное реяло в воздухе, и он, верный хозяйский пес, в этом новом еще не разобрался.

— Всем запишу штраф! — кричит он, меняясь в лице.

Моисеенко поворачивается к старшему мастеру:

— Александр Иванович, с голодухи поем, а вы еще со штрафами! Наши заработки, сами знаете, блохи и той меньше. Скоро нам придется конторе доплачивать. Уж вы, Александр Иванович, будьте отцом родным, заступитесь за нас.

Эти слова, хотя и произнесенные добродушным, даже просительным тоном, возмутили Шорина: он почувствовал издевку. Но, переборов злобу, которая чуть ли не до удушья сжимала горло, Шорин откликнулся шепотом:

— Вредный ты человек. А штраф всем запишу.

Шелухин, сухопарый ткач со светлой бородой, и Волков вышли из цеха, как только старший мастер скрылся.

Через час Шелухин вернулся, но к своему станку не подошел. Он зашагал по узким проходам между станками и трем ткачам, в том числе Моисеенко, тихо сказал:

— Ступайте вниз.

В пустой кладовке их ждал Волков.

— Читайте! — Он протянул листовку.

Моисеенко стал читать вслух:

— «Морозов хочет превратить нас в животных. Сегодня петь запрещает, а завтра он запретит нам говорить...»

Потом, когда в кладовке остались только Волков да Шелухин, Петр Анисимович исправил листовку. Он написал, что все фабриканты высасывают кровь из рабочих, что таков уж закон у капиталистов и что за рабочее дело должны бороться сами рабочие.

Во второй части листовки Моисеенко перечислил и пятнадцатичасовой рабочий день, и лютость мастеров, и дороговизну в хозяйской лавке, и штрафы, и плохую пряжу, и тесноту в казармах...

— Хорошо, — сказал он Волкову и Шелухину, передавая им исправленную листовку. — Вы действуйте по-питерски: на безобразный поступок мастера сейчас же отвечайте — обращайтесь к народу с листовкой. Когда тлеет, надо раздувать — огонь будет!

Шелухин вернулся в цех, к станку, но ткачи приметили: то Тимофей Яковлев, то Чугунов, то пожилой Федор

Козлов часто исчезают, и после каждого их исчезновения появляется новая листовка — на стене, где-нибудь в проходе, либо на лестнице. У листовок толпился народ. Читали вытянув шеи и возвращались к станкам, унося в сердце радость.

5

Дымятся трубы, стучат станки, гудят корпуса; напряженно следят за мелькающей ниткой ткачи; бледно-зелены их лица, в черных ямах померкшие глаза — все как обычно, но радость, что плещется в сердцах ткачей, уже сверкает у одних улыбкой, у других выливается в тихую песню — товарищи бережно подхватывают ее и передают с этажа на этаж, словно весточку о том, что час расплаты близок.

5 января ткачи работали точно в угаре. Скоро, очень скоро! Это их и пугало и ободряло.

А день тянулся. Шорин шагал надменный, злой. Мастера налетали хищными птицами. Вцепятся колючими глазами и ругают, ругают...

До работы ли ткачам! Они видят, как много станков бежит вхолостую, как Волков появляется в цехе лишь для того, чтобы вызвать то Яковлева, то Козлова, то Чугунова, и они уходят с ним в кладовую, туда, где готовится то новое, что войдет в их трудную жизнь, словно вешнее солнце: и осветит и согреет.

Наконец гудок. В полчаса ткачи почистили станки, вытерли их, подмели вокруг и с нетерпением ожидали мастеров.

— Принимай! Чего возишься?

— Успеете напиться! — огрызались мастера.

— На морозовские заработки! — рассмеялся кто-то.

Шорин налетел коршуном:

— Что тут происходит?

— Ничего, Александр Иванович, — откликнулся Моисеенко. — Ткачи свободу чуют.

— Какая еще свобода?

Петр Анисимович улыбнулся:

— Запамятовали, Александр Иванович? Завтра крещение, послезавтра престольный праздник — Ивана-крестителя.

— Никаких крестителей! — раскричался Шорин. — Работать будем!

— Святых не уважаете, Александр Иванович?

Мастер рванул на себя Петра Анисимовича:

— Ты что народ бунтуешь?

Резким движением Моисеенко освободился, спокойно взял со станка свою шубенку, оделся и, пренебрежительно взглянув на Шорина, проговорил:

— Смотри, Александр Иванович, доиграешься!

Мастер ушам своим не поверил.

— Пошли, ткачи! — повернулся Петр Анисимович к товарищам.

Прямо с фабрики, как было условлено, человек двадцать ткачей направились в Орехово. В трактире Конфеева уже ждал народ. Заспанный хозяин удивился такому многолюдью.

Ткачи тесно уселись, голова к голове, заказали чаю, бубликов; подсчитав свои капиталы, взяли и по стопке водки, чтобы задобрить волостного Конфеева, и повели медлительный, скучный разговор о деревенских делах, о болезнях.

Трактирщик послушал-послушал и ушел за прилавок. Прислонившись головой к стене, он скоро захрапел.

Петр Анисимович только этого и ждал.

— Собрались мы не для чая и не для водки, — сказал он. — Седьмое января — престольный праздник, а Шорин заставляет нас работать. Морозов получил большой заказ и торопится. За заказ он сотни тысяч в карман положит, а нам что будет? Если лишнюю копейку заработаем, Шорин ее штрафом заберет. Так за что же нам в праздник спину гнуть? За что нам такая доля? Как легли Морозову под ноги, так и лежим. Топчи нас, фабрикант, это нам не вредит!

— Вредит! — крикнул Шелухин.

— Тебе вредит, а им вот нет.

— И нам вредно, — отозвалось несколько ткачей.

Моисеенко сказал сурово:

— Раз вредно, так чего молчите? Знаете, сколько на каждом из нас наживает Морозов? Тысячу семьсот сорок рублей в год! В библиотеке книга имеется, можете сами прочитать. А сколько зарабатывает в год каждый из нас? От силы сто восемьдесят — сто девяносто рублей. Что же получается? Мы своей кровью поливаем каждый аршин ситца, а подлец Морозов эту нашу кровь в золото перегоняет. Не хотим мы лучшей жизни или мы слабо-

сильны ее добыть? На других фабриках стачки устраивают, а мы что, не люди? Семьи голодают, сами мы — как духи, мясо сошло с костей, а Морозов все еще нашу кровь сосет. Если у нас будет дружная стачка, если вся фабрика станет — повертится Морозов на одной ножке! Заказ ему выполнять надо? А с кем он его выполнит? Сам, что ли, за станок станет?

— Верно!

— Правильно!

— Анисыч дело говорит!

— Не станет колдун сам работать! Ему только капиталы считать!

Моисеенко охладил ткачей:

— И тут и в казармах вы все кричите: «Правильно!» — а когда до дела дойдет, будете держаться? Вас сюда народ послал, вы, так сказать, выборные от народа. Ручаетесь вы за свои цехи?

— Ручаемся!

Трактирщик проснулся.

— Чего вам? — спросил он оторопело.

— Чайку еще, Конфеич, — ответил Петр Анисимович.

— Вот я в Серпухове работал, — начал Волков, когда трактирщик опять ушел за прилавок, — фабрика хоть и меньше морозовской, но порядки в ней были такие же. Сдирали с ткача последнюю шкуру. Судили мы, рядили, наконец стачку устроили. Два дня крепко держались ткачи, дружно держались. И что же вышло? Хозяин двадцать процентов на расценки накинул. А у Морозова разве этого добиться нельзя?

— Можно!

— То-то что можно, — подтвердил Волков. — Только для этого надо держаться дружно. Как говорят, один за всех и все за одного.

Моисеенко поднялся суровый, таким ткачи его никогда не видели.

— Товарищи, — сказал он, — на серьезное дело идете. Морозов до министра доберется. Они друг друга поддерживают. Пришлют к нам из Владимира солдат. На одних своих «желтяков»[1] Морозов полагаться не станет. Но если мы будем крепко на своем стоять — победим. Всюду,

---

[1] «Желтяки» — казаки, постоянно охраняющие фабрику; они носили брюки с желтыми лампасами.

где рабочие дружно стояли, фабрикант сдавался. Ему прибыль нужна, а когда трубы не дымят, прибыли не бывает. И еще помните, товарищи: чтобы никаких безобразий не делать! Рабочему надо чистоту соблюсти. Мы не хулиганы, а рабочие. И не грабить идем, а идем в бой за правду. И если будем крепко держаться, то мы эту правду добудем!

Ткачи поняли Моисеенко. Многие жали ему руку и, волнуясь, благодарили, точно то новое, к чему звал Моисеенко, уже наступило.

Моисеенко, Волков и еще человек десять отправились в Зуево, чтобы пункт за пунктом обсудить свои требования.

— Шорина надо выгнать! Дианова к черту!

— Спокойно, товарищи, — уговаривал Петр Анисимович. — И до них доберемся. Сначала надо про штрафы сказать, про частые снижения расценок, про наших выборных, про тяжелую нашу жизнь. Видите, сколько набирается!

Писали долго, обсуждали фразу за фразой. Ткачи хотели втиснуть в требования всю горечь, накопившуюся за долгие годы работы у Морозова, но Петр Анисимович отбирал из всех выступлений главное, самое существенное...

...В воскресенье из Ликина пришел Лука Иванович Абраменков, товарищ по канской ссылке. Он принес московскую прокламацию. Не успели ее прочитать, как в комнату вбежал запыхавшийся Волков.

— Анисыч, — сказал он с порога, — народ в Пески пошел, к Трофимову в трактир! И вас туда требует.

— Много народу собралось?

— Больше полсотни.

— Пошли, Лука! — предложил Петр Анисимович. — И листовку захвати, народу прочитаешь.

Но возле двери выдал он свое волнение: обнял Волкова, заглянул ему в глаза и восторженно сказал:

— Золотой ты человек, Василий Сергеич! Я знаю, что ты всю ночь с народом говорил, что ты даже старика Васенкова уломал, что сегодня еще спать не ложился. Все знаю, Василий Сергеич!..

Ткачи, собравшиеся в трактире Трофимова, встретили Петра Анисимовича, как встречают почетного гостя. Каждый норовил быть поближе к этому необыкновенному

ткачу, который зажег в их душе искорку надежды на человеческую жизнь.

— Послушаем сначала приехавшего из Ликина человека, — предложил Моисеенко, когда установилась тишина.

Лука Иванович прочитал прокламацию, потом рассказал, как в Петербурге и в Москве рабочие борются за свои интересы, рассказал и о «Северном союзе русских рабочих».

— Выросло наше рабочее сословие, — сказал Лука Иванович, — раскинулось по фабрикам и заводам, а жизнь всюду одинаковая — собачья. Вот и задумали тогда Халтурин с Обнорским собрать рабочих в один союз, чтобы была поддержка друг другу, чтобы всех рабочих на большую дорогу вывести. Морозов в Орехове или, скажем, Торнтон в Питере — они у себя на фабриках как царь и бог: становись на колени перед ними. А почему? Против своих рабочих каждый фабрикант в любую минуту от царя сотню казаков получит. А если рабочие со всей России соберутся в один союз и станут сообща свои рабочие дела вершить, то у какого царя казаков хватит?

Луку Ивановича слушали внимательно. Морозовские ткачи впервые осознали себя членами большой рабочей семьи, и это сознание волновало, побуждало к борьбе.

Моисеенко использовал возбуждение ткачей.

— Без воли, — сказал он, когда Лука Иванович закончил, — без свободы мы — как скоты, и даже хуже. Волю-мать искоренить нельзя: гонимая, забитая, повсюду она в душах таится и дожидается кровавого расчета за былое.

Моисеенко выразил то, что сейчас зрело в умах ткачей. Они чувствовали, что идут в бой с Морозовым не только для того, чтобы уничтожить штрафы, но и еще за что-то большое, великое, чего они назвать не могли. После слов Моисеенко им стало ясно: это неназванное и есть воля, человеческое достоинство...

Домой возвращались втроем: Петр Анисимович, Лука Иванович и Волков. Лука Иванович был чем-то расстроен. Моисеенко шагал с развальцей и пристально всматривался в высокие фабричные корпуса, которые неясно вырисовывались в серой дымке мороза.

Волков был возбужден: он хотел говорить о завтрашнем дне, о далеком будущем, но шагающие рядом с ним

товарищи так ушли в свои думы, что Волков не решился их отвлечь.

На полях лежал снег; кое-где он розовел под лучами зимнего солнца, и отдельные снежинки, гонимые ветром, носились в воздухе, словно белые мухи.

— Слишком забитый народ. Не устоит, — произнес неожиданно Лука Иванович.

Не поворачивая головы в сторону товарища, Моисеенко откликнулся:

— Когда почувствуют волю, то из кротких овечек превратятся в тигров.

— Трудно поверить.

Петр Анисимович резко повернулся:

— Трудно поверить, говоришь? А на Бумагопрядильной легко было? Сколько пришлось нам вокруг да около топтаться! Но поднялся народ. А тут почему ему не подняться? Ты сам видел, Лука: народ в бой рвется, не боится уже колдуна! Как, Василий Сергеич, правильно говорю?

— Правильно.

— Смотрите... — начал Лука Иванович.

Моисеенко тепло взглянул на товарища:

— Эх, Лука, ты болен, оттого и люди кажутся тебе жидкими, неустойчивыми. — И неожиданно закончил: — Давай «Утес» споем!

И бодрая песня покатилась по снежным полям, прорвалась сквозь морозную дымку и проникла в фабричные корпуса, в замороженные каморки, где ткачи, не чувствуя холода, возбужденно спорили о завтрашнем дне.

6

План стачечников был сорван в самом начале. В понедельник, задолго до гудка, активисты должны были занять все входы на фабрику, но кто-то сообщил об этом конторе, и уже с ночи возле ворот и калиток обосновались сторожа, вооруженные дубинками, ломами и оглоблями.

— Проходи! — гнали они активистов. — Шляться тут нельзя!

К пяти часам, к гудку, стал подходить народ. Моисеенко, Шелухин, Яковлев, Козлов, Чугунов и Иван Ники-

форов останавливали ткачей и прядильщиков, отсылали домой, но сторожа налетали на агитаторов.

— Проходи! — кричали они, угрожая дубинками. — Проходи на фабрику!

Прядильщики потоптались на месте, поворчали и пошли в свой корпус. Ткачи крепились. Они были готовы к стачке, нужен был только незначительный толчок, последнее смелое слово, чтобы окончательно прогнать страх из их сердец.

Но этого слова никто не произнес: разъяренными собаками налетали сторожа на активистов, пытавшихся собрать вокруг себя несколько человек.

Подошел Волков. Петр Анисимович заметил, что Волков поминутно меняется в лице, недобро загораются его глаза и что он, подобрав где-то железную трубу, готов кинуться на сторожей.

Петр Анисимович увел Волкова в сторону.

— Ты, парень, не огорчайся, — успокаивал он его. — Если сегодня не удалось — удастся завтра. Народ теперь от правды не отступится. Думаешь, в Питере никогда сроки не срывались? И там срывались. Только голову терять не следует. На нас с тобой ответственность лежит. Если ты с дубинкой полезешь, то народ по квартирам стекла бить начнет. А разве это нам надо?

— Что ж, за станок становиться?

— И за станок станем и с ткачами поговорим. Ты не сомневайся, Василий Сергеич: раз народ хочет, то стачка будет.

Волкову передалась уверенность Моисеенко.

...Грохочут станки, бегут ремни. Пыль кружит вокруг газовых рожков. Ткачи стоят злые, настороженно следят они за белым пиджаком Шорина.

Стучит и станок Петра Анисимовича: его запустила Екатерина Созонтовна, работавшая поблизости, но Петра Анисимовича у станка не было.

В уборной собралось человек тридцать. Волков стыдил ткачей, укорял.

— Не вышло по-нашему, — оправдывались они. — Давай по-новому.

За тонкой дощатой перегородкой работали ткачихи. Петр Анисимович постучал к ним:

— Бабоньки, как вы? Мужики хотят работу бросить.

Из-за перегородки ответил звонкий голос:

— Вы хуже баб! Вы бараны! Ничего вы не можете!

К Моисеенко подошел подросток. Лицо в веснушках, глаза маленькие, насмешливые. Одет в длинный, отцовский, пиджак, перехваченный веревкой. На голове — картуз, изношенный и засаленный.

— Дяденька Анисыч, я знаю, как погасить газ! Зараз во всем корпусе! Надо большой кран закрыть!

Петр Анисимович обнял подростка:

— Верно, сынок, все дело в большом кране. Но как его достанешь? Лестница нужна. А потянешь лестницу — мастер заметит.

— Нам лестницы не надо, — с пренебрежением в голосе, растягивая слова, ответил мальчик, — мы сами лестница. Дозволь только. Мигом кран закроем!

Дрогнуло что-то в лице Петра Анисимовича, глаза оживились. Потрепав мальчика по плечу, он деловито спросил:

— Сколько вас?

— Трое. Друг на дружку станем и закроем.

Моисеенко, крепко держа мальчика, точно боясь, что тот убежит, вопросительно взглянул на ткачей.

— Давай, — согласились они.

— Тогда идите к станкам. Как только станет темно, бросайте работу — и во двор.

Ткачи вернулись в цех. Шепот побежал от станка к станку. Нитка вырывалась из дрожащих пальцев, глаз не различал рисунка.

Моисеенко пошел за подростком:

— Иди делай, а я покараулю.

Петр Анисимович остановился в проходе, готовый удержать мастера, если он направится в угол, где три подростка, образуя живую лестницу, тянулись к центральному крану.

Внезапно стало темно. Зимние сумерки расползлись по цеху. Ленты ситца синей рекой текли к потолку.

Отовсюду доносились выкрики:

— Бросай работу!

Ткачи кинулись к выходу, перегоняя друг друга, точно опасаясь, что их остановят. Моисеенко побежал в другой цех. И там ткачи уже одевались.

Не узнать ткацкую: темно, тихо. Где-то далеко слышится сочный голос Чугунова:

— Во двор, ребята! Во двор!

В прядильной, на подоконнике, стоит Волков:

— А вы что? Не морозовские рабы? Ткачи работу бросили, а вам до этого дела нет? Или морозовскими порядками довольны?

По прядильному цеху пронеслись мальчики. Впереди тот — с насмешливыми глазами. Они вмиг соорудили живую лестницу. Корпус погрузился в пыльную темноту. Темнота и тут помогла покончить с нерешительностью — прядильщики выбежали из цеха.

Тысячи ног топают по железным лестницам. Во дворе стоит гул. Женщины, дети, старики, молодежь — все говорят, смеются. Они радуются и ясному зимнему дню и неожиданной свободе.

Прибыл директор Дианов. Лицо его было злобно перекошено. Он затопал ногами, хотел раскричаться, но толпа, почувствовав свою силу, с ревом надвинулась на него. Дианов сразу присмирел. Он заговорил с собачьей ласковостью:

— Братья...

Поднялся шум, понеслись выкрики:

— Кровосос!

— Уходи, пока цел!

— Штрафы верни!

Дианов сбежал.

Появились сторожа. Они двигались осторожно, рассекая воздух кайлами и оглоблями, ругая рабочих грязными словами. Толпа рванулась с места; сторожа струсили, скрылись. Моисеенко, остановив работу в механическом цехе, бросился на красильный двор. Но красильщиков уже увел Волков.

Во всех фабричных дворах и на улицах стеной стоит народ. То тут, то там появляются ораторы, возникают митинги, и радостно возбужденная толпа подхватывает каждое смелое слово.

Возле главных ворот, взгромоздившись на тюк пряжи, стоит старый ткач Васенков. Он говорит благоговейно, точно молится:

— Такого светлого праздника у меня в жизни не было! Замучил меня колдун. Не чаял дожить до такой радости...

Моисеенко ног под собой не чувствовал. Теперь не так уж важно, казалось ему, чем закончится забастовка: эти люди, впервые глотнувшие вольный воздух, перероди-

лись! Их уже не запугает окрик браковщика! Они уже будут бороться за лучшую жизнь!

Возле фабрики гудело, и ветер относил человеческий гул к Орехову, Зуеву, Ликину...

Приплелся хромой Балясин.

— Анисыч! — крикнул он. — Морозовских щенят не видно — попрятались. Разговаривать не с кем. Надо к царю ходоков снарядить!

— К царю? — ответил Моисеенко. — Да кто такой царь? Он и есть первый защитник фабрикантов!

Подошли и другие ткачи, окружили Моисеенко.

— Слыхали, — обратился он к ним, — такую песню: «За прошение мужиков его милость плательщик сподобился кандалов»? Не слыхали? Так слушайте. Балясин хочет царя в наше дело впутать. Никакой царь нам не поможет! Питерские рабочие ходили к царю, к наследнику ходили, а их всех арестовали да в Сибирь сослали. На фабрики, где народ бастовал, нагнали жандармов и казаков с нагайками. Вот что царь делает! Не зря говорится: «До бога высоко, до царя далеко, а кто дойдет, тот в Сибирь уйдет». Хотите ходоков погубить? Мы лучше напишем министру внутренних дел и укажем, что местные власти продажные и что их Морозов подкупил, а поэтому народ им не верит.

Предложение Моисеенко пришлось всем по душе.

— А кто писать будет? — спросил Балясин.

— Хотя бы и ты...

Ткачи рассмеялись:

— Он ложку левой рукой держит.

Моисеенко свел все к шутке, хотя ему вовсе не было смешно. Что, если ткачи и прядильщики в отместку кровопийце Морозову учинят погром на фабрике? Надо сейчас же, немедленно успокоить разбушевавшееся море.

— Вот что. Прошение я сам напишу и прочитаю вам. Если одобрите, пошлем его в Петербург. Но это еще не все. Не сегодня-завтра пришлют сюда солдат. К этому мы должны подготовиться. Надо сидеть смирно и никуда не выходить. Собираться только на квартирах. А главное, не допускать до безобразий: не давать повода к насилию со стороны солдат или жандармов. Нужно всем следить, чтоб молодежь зря не болталась. Если кто не послушается, тот всем народом будет наказан. Как думаете, правильно я говорю?

— Правильно! — стройным хором ответили ткачи.

— И я думаю, что правильно. А теперь по домам! Каждый из вас должен собрать в своей казарме народ и объяснить все то, о чем мы тут говорили. Только толпой не ходите, а по двое, по трое. И не безобразничать. Чем меньше будет безобразий, тем вернее будет наше дело.

К вечеру на улицах и дворах установилась тишина. Зато в казармах гудело, как в пчелином улье. Спорили в коридорах, в комнатах, ходили в гости друг к другу, ужинали компаниями, и всё делали шумно, беспорядочно, не в силах сосредоточиться на чем-нибудь. Рабочие еще не могли найти нужные слова, нужный тон — так необычны были события этого дня.

О возобновлении работы никто и не заикался, хотя тревожило исчезновение фабричного начальства; даже сторожа точно сквозь землю провалились.

Моисеенко и Волков ходили из корпуса в корпус, беседовали, разъясняли, уговаривали. Они готовили рабочих к отпору.

...Тимофей Морозов был взбешен. Приехавшего к нему в Москву директора Дианова он прогнал и назвал лжецом: Морозов не мог поверить, что его рабы осмелились бунтовать. Но весть о стачке на Никольской мануфактуре уже взбудоражила торговый Китай-город, и к Морозову явились встревоженные московские купцы.

— Слетелись, точно на похороны! — сердился Тимофей Морозов и поверил в забастовку.

Он тут же послал две телеграммы: первую — во Владимир, губернатору Судиенко: «Рабочие громят мануфактуру, а администрация ниоткуда помощи не получает». Вторую — в Петербург, министру внутренних дел графу Толстому: «На фабрике рабочие волнуются, производят беспорядки, бьют стекла. Почтительнейше прошу ваше сиятельство не оставить приказать принять меры к прекращению беспорядков».

Морозов не счел нужным отправиться на фабрику, он и думать не хотел о том, что рабочие не просто «бунтуют», а предъявляют какие-то требования. Через шесть часов он отправил министру вторую телеграмму: «Беспорядки увеличиваются, разбиты окна училищ, конторы, дома директоров. Администрация и фабрика находятся в крайней опасности».

7

Вторник. Тихий и ясный день. Выпавший за ночь снег лежит искристыми пластами. Четко вырисовываются фабричные трубы; небо чистое. Красные стены корпусов застыли в морозе.

Волков собрал у себя товарищей. Пришел и Моисеенко. Кто-то сказал, что в Дубровке фабрикант вывесил объявление:

«Штрафы прощаются, заработок повышается на 10 процентов на все работы».

Петр Анисимович предложил созвать активистов. Собралось много народу. Ткач, который был в Дубровке, повторил свое сообщение.

— Видите, — обратился Петр Анисимович к собравшимся, — мы помогли даже тем рабочим, которые не надеялись на прибавку. А если б и они забастовали, тогда не то было бы — не десять процентов, а пятьдесят набавили бы. Но наше дело еще впереди. Давайте, товарищи, обсудим требования.

— А кому же подавать? — высказали ткачи свои сомнения. — Сбежала контора.

— Морозов вернется, — сказал Петр Анисимович. — Вы хозяйской повадки еще не знаете. Все они такие. Сначала прячутся, на измор берут, потом появляются с казаками. Мы должны крепко держаться. Помните, как сказал Волков? Все за одного и один за всех. Тогда мы своего добьемся.

Ткачи, прядильщики, мюльщики и красковары приступили к обсуждению своих требований к фабриканту. Говорили наперебой, волнуясь, и каждый выступавший хотел внести в требования свою боль, свою обиду — все, что в сердце накопилось против «колдуна» Морозова.

Пока Волков переписывал начисто все семнадцать пунктов требования, Моисеенко зачитал письмо к министру. Ткачи и прядильщики вносили в него исправления, иногда смягчая, иногда усиливая отдельные слова.

С улицы ворвался необычный шум. Морозовцы кинулись к окнам. Они хотели отогреть «глазки» на заиндевевших стеклах, чтобы выглянуть на улицу, но тут влетел в комнату веснушчатый паренек.



Бегут рабочие, а за ними, гикая, несутся казаки.

К стр. 386

— Дяденька Анисыч! Губернатор приехал! — выпалил он одним дыханием, глядя на Моисеенко из-под большого картуза.

Петр Анисимович почувствовал облегчение: случилось наконец то, что должно было случиться. Он потрепал паренька по плечу:

— Сбегай, милок, в казарму, передай народу наш наказ: всем дома сидеть, никому на улицу не выходить! Понял, милок?

Мальчик ничего не ответил. Он подтянул веревочный пояс, понимающе улыбнулся и выбежал из комнаты.

...В среду утром ткачей разбудил барабанный бой: в Никольское входил батальон Великолуцкого пехотного полка.

Не усидели дома морозовцы! По двое, по трое выходили они на улицу. Сначала спокойно следили за тем, как разбивают солдат на мелкие группы, как появляются часовые перед фабричными калитками; потом народ насторожился, видя, что солдаты окружают рабочие казармы; и совсем уж забеспокоились морозовцы, когда заметили, что солдаты проникают во двор казармы. Но ткачи и прядильщики и виду не показывали, что это их тревожит.

Моисеенко боялся, что народ, впервые очутившийся лицом к лицу с врагом, не сумеет побороть свою злобу.

Он зашел в «казачий двор», уселся на лесенке. Справа, небольшой группой, стояли казаки — свои, желтяки. Немного поодаль — ткачи, прядильщики.

— Садитесь, — обратился к казакам Петр Анисимович. — Ноги-то у вас не казенные, устанете.

Казаки не садились.

— Ишь какие гордые! — съехидничал веснушчатый мальчик, неизменный спутник Моисеенко.

— Где уж там гордые! — презрительно откликнулся Петр Анисимович. — Разве это казаки!

Нет, не тот казаком называется!
Тот казак, кто с избою не знается
И с конем, пока жив, не расстанется!
Казаку изба — поле чистое!
Казаку жена — сабля острая!

А они вот нищих рабочих стерегут.

Казаки ухмылялись, но молчали.

Моисеенко, сплюнув с досады, ушел. За ним последовал и Волков.

В Орехове — тишина. На главной улице, где проживают директора и инженеры, чуть ли не в каждом окне видны офицерские мундиры. По мостовой маршируют солдаты.

Моисеенко и Волков направились в сторону конторы. Вдруг они услышали за собой топот. Обернувшись, увидели: бегут рабочие, а за ними, гикая, несутся казаки. Часть рабочих кинулась в переулок и начала собирать камни.

— Уговор помните! — крикнул Моисеенко, бросившись в переулок. — Они, ироды, того только и ждут, чтобы мы первые драку начали!

В эту минуту вышел из конторы штатский генерал. Старенький чиновник заботливо усадил его в морозовские санки.

— Видите, товарищи! — громко, на всю улицу, крикнул Петр Анисимович. — Это губернатор! Бери, Василий Сергеич, наши требования и беги к нему!

Народ рванулся с места.

Губернатор в сопровождении свиты поехал к железнодорожному переезду, туда, где были размещены жилые корпуса.

— Почему не работаете? — спросил губернатор.

Волков был окружен кольцом активистов. Он выдвинулся немного вперед, но не успел еще слова произнести, как Шелухин его опередил:

— Житья не стало. Каждые два-три месяца расценок снижают.

Говорить с губернатором ткачи поручили Волкову, а горячий Шелухин нарушил заранее выработанный порядок. Волков отстранил Шелухина:

— Нас замучили штрафами; пища плохая. По приказу хозяина мы работаем по многу дней без роздыха. Хотели бы уйти, но Морозов не отпускает. Извольте посмотреть у хозяина расчетные книжки. Браковщики придираются к каждой штуке товара. Нитка оборвется — и то штраф, а без этого нельзя в нашем деле. В течение месяца что выработаем с семьей, получим меньше половины: делают вычет за баню, больницу, отопление, освещение — за все платить приходится. — Волков торопился, комкал слова.

— Ограбил! — поддержали товарища десятки голосов.

Волков повернулся, строго посмотрел на ткачей — установилась тишина.

— Мы требования свои написали. Разрешите, господин губернатор, я прочитаю, — предложил Волков.

— Дайте мне, я сам прочту.

Губернатор взял требования и поехал к Морозову: тот только что прибыл в Орехово.

— Копейки не прибавлю! Не стану награждать бунтовщиков, их надо заставить работать!

— Вы непоследовательны, господин Морозов. Раньше надо успокоить рабочих, а потом уж заставить их работать.

— Хорошо, — проговорил Морозов, придав своему постному лицу выражение бесконечной покорности. — Штрафы верну за три месяца, Шорина уволю.

— Прикажите написать об этом объявление.

Уступки Морозова не удовлетворили рабочих. Они сорвали объявление администрации и вместо него наклеили свое:

«Объявляется Савве Морозову[1], что за эту сбавку ткачи и прядильщики никак не соглашаются работать. А если ты нам не прибавишь расценок, то дай нам всем расчет и разочти нас по пасху, а то если не разочтешь нас по пасху, то мы будем бунтоваться до самой пасхи. Ну, будь согласен на эту табель, а то ежели не согласишься, то и фабрики вам не водить».

Когда губернатору доложили, что рабочие сорвали морозовское объявление, он вторично направился к переезду. Еще издали он увидел возбужденную толпу и сотни рук, угрожающе протянутых в сторону конторы.

— Фабрикант удовлетворил ваши требования, — сказал губернатор. — Хотите — становитесь на работу, не хотите — получайте расчет и уходите с фабрики.

— Не желаем на этих условиях! — крикнул Волков. — А за расчетом ходить нечего, потому что получать нечего.

— Мы полуголодные ходим!

— Хотим работать и будем работать, но дайте нам возможность кормить семейство!..

Крики неслись со всех сторон.

---

[1] Официальное название фирмы.

И в ответ на жалобы измученных людей губернатор спокойно кивнул головой казачьему офицеру. Казаки врезались в толпу и плотным кольцом окружили полсотни человек; среди них были Волков, Шелухин и многие активисты.

— Как здесь говорить! — крикнул Волков, пытаясь вырваться из рук казака. — Ткачи! Пропадать—так всем пропадать!

Народ кинулся к губернатору:

— Всех! Всех бери!

Но казаки оттеснили толпу.

— Василия! — наседая на казаков, требовали ткачи. — Выпустите нашего человека, Василия! Волкова Василия!

Поступок губернатора потряс рабочих своей чудовищной несправедливостью и вызвал желание крушить, громить все на своем пути, лишь бы не отдать свободы, которой даже насладиться не успели.

Моисеенко понял настроение морозовцев.

— Спокойствие! — крикнул он. — Вызволим товарищей!

...Весть об аресте рабочих разнеслась по квартирам. Из всех корпусов высыпал народ.

— Дяденька Анисыч! — прибежал, запыхавшись, веснушчатый паренек. — Арестованных заперли в мальчиковой казарме. Айда за мной!

Народ кинулся за подростком. Корпус, в котором содержались арестованные, охранялся только снаружи. Мальчик провел ткачей потайными, ему одному известными ходами. Сотни ног застучали по длинному коридору, ведущему в столовую.

— Здесь! — объявил подросток.

Дверь в столовую была заперта. Моисеенко принес скамью и несколькими ударами вышиб дверь.

Всех освободили, но... среди освобожденных не было ни Волкова, ни Шелухина.

Спустились во двор, а там — свалка.

— Солдаты! — крикнул Петр Анисимович. — Кого бьете? Своих братьев и отцов!

Солдат с раскосыми глазами, скривив губы, ткнул штыком в грудь Моисеенко. Петр Анисимович вырвал ружье из рук солдата.

Прискакал губернатор со своей свитой:

— Зачем порядок нарушаете?

Моисеенко почувствовал боль около сердца. Пощупал больное место — на руке кровь. Он наспех вытер руку и, выдвинувшись вперед, раздраженно бросил губернатору:

— Порядок нарушен не нами! Вы арестовали рабочих, которые мирным путем подавали вам наши требования. Вы вынудили нас сделать то, что произошло сейчас! — Он показал на раненых рабочих. — Вот рабочая кровь! Невинная кровь пролилась! А не лучше ли было прежде всего арестовать Морозова и всех тех, кто безнаказанно грабит нас, рабочих?

В свите губернатора гарцевал на вороном коне полковник.

— Арестовать! — бросил он, указывая рукой на Моисеенко.

Толпа угрожающе рванулась вперед.

— Всех арестуй! И жен наших! И детей!

— Всех нас не пересажаешь, ваше благородие! — зло выкрикнул молодой ткач, стоявший рядом с Моисеенко. — Тюрем у тебя не хватит!

Веснушчатый мальчик подошел вплотную к полковнику и, закинув голову, озорно спросил его:

— Морозов тебе новые штаны посулил?

Как ни бесновался полковник, казакам не удалось приблизиться к разъяренной толпе. Рабочие отбивались ломами, оглоблями, вырывали у казаков карабины и швыряли их под ноги губернатору, а женщины и подростки закидывали казаков снежками — ими командовал веснушчатый паренек.

— К чугунке! — бросил кто-то клич. — Волков там!

Толпа ринулась к вокзалу, но и там не нашли своих товарищей: Волкова и Шелухина уже успели переправить во Владимир.

— Товарищи!—обратился Моисеенко к трехтысячной толпе. — Рабочим неоткуда ждать защиты, рабочий должен сам себя защищать! Для этого надо дружно стоять за общее дело. Морозов пошел уже на одну сбавку, но если мы будем крепко стоять на своем, то он и расценок повысит...

На галопе подъехал офицер.

— Губернатор требует к себе уполномоченных!

Толпа заволновалась.

Моисеенко движением руки успокоил рабочих.

— Передайте губернатору, — обратился он к офицеру, — что мы с ним разговаривать не желаем, пока он не вернет нам наших братьев. Мы все бастуем! Пусть всех арестует!

Офицер ускакал.

Рабочие потребовали направить прошение министру.

— Прошение написано, — успокоил Моисеенко товарищей, — но кто его отвезет?

— Доделай, Анисыч! Пострадай за народ! — предложил старик Васенков.

Моисеенко задумался. Впервые рабочие сбросили с себя колдовство Морозова. Они не испугались угроз, не отступили перед солдатскими штыками. Но хватит ли у них смелости дойти до конца, до победы?

— Хорошо, — согласился Моисеенко, — я доделаю. Только продержитесь ли вы до тех пор, как я вернусь?

— Клянемся!

В этом единственном слове было столько благородной решимости, что Петр Анисимович от волнения не мог слова произнести. Да и о чем говорить? Люди клятву дали — значит, доведут до конца.

Зайти домой переодеться нельзя было — все входы и выходы охранялись казаками. Кто-то сунул в руки Моисеенко несколько медяков, кто-то высыпал ему в карман осьмушку махорки.

— Только помните: клятву дали! — И, поклонившись народу, он ушел напрямик, заснеженным полем, в сторону Ликина.

Тысячи возбужденных глаз смотрели ему вслед.

...Не успел Моисеенко дойти до Ликина, как его нагнал веснушчатый паренек. За его спиной болталась холщовая котомка.

— Дяденька Анисыч, я с тобой пойду!

— Куда, милок?

— К министру.

Насмешливые глаза мальчика были на этот раз суровы.

Петр Анисимович прижал к себе голову мальчика, провел рукой по его огромной и нелепой шапке и печальным голосом промолвил:

— До министра далеко, не дойдешь до него в легком пиджачишке.

Мальчик не стал спорить: его убедил голос Петра Анисимовича. Серьезно, по-взрослому, снял он с плеча котомку, где лежала краюха черствого хлеба, и молча протянул ее Моисеенко.

Петр Анисимович принял котомку и быстро удалился, чтобы не показать мальчику своих глаз.

Царь торопил своего министра, министр нажимал на губернатора. Полиция вылавливала всех мало-мальски активных рабочих и высылала их на родину, а морозовские псы — некоторые инженеры и мастера — разбивали рабочее единство посулами и угрозами.

Первыми сдались красильщики: напугали их каторгой. Ткачи врывались в красильный цех, прекращали работу. Дирекция выпросила две роты солдат для охраны красильщиков.

По приказу Морозова перестали отапливать казармы. Казаки не пропускали на фабрику продовольствие из окружающих деревень. Больница закрылась «по поводу имеющих место беспорядков». Аресты среди рабочих продолжались.

И в эти дни пустил кто-то слух, что Морозов «сдается», что вместо хозяйских браковщиков в контору приглашают опытных ткачей, что Шорина уволили с фабрики, что контора возвращает штрафы за три месяца.

Тогда отступились и прядильщики.

За ними — ткачи.

— Все же чего-то добились, — оправдывались они.

И 20 января министр внутренних дел мог обрадовать царя:

«На Никольской мануфактуре в субботу, 19 января, работало уже 4508 человек. Порядок восстановлен».

...А Моисеенко в это время шагал полем, лесом, обходя сторонкой железнодорожные станции, где, как он был уверен, его поджидали жандармские заставы, — он держал путь на Москву.

...В поле, недалеко от города Павлово, Петра Анисимовича захватил буран. На косогоре, правда, раскинулась деревенька, в ней можно было бы укрыться от непогоды, но вдруг и там поджидает полицейская засада?

Моисеенко залег в снежный сугроб.

Буран отбушевал. Петр Анисимович вылез из сугроба, почистился и зашагал дальше. Но уйти далеко от Пав-

лова ему не удалось. Ноги подкашивались, в висках ломило, бросало то в жар, то в холод.

«Еще свалюсь», — подумал он.

И Моисеенко решил вернуться в Павлово, чтобы продолжать путь поездом.

— Опасно, — сказал он себе, — но надобно рискнуть.

Как он и предполагал, полиция караулила его на Павловском вокзале. Жандарм, обвязанный желтым башлыком, стоял у двери и острыми глазами буравил каждого входящего.

Моисеенко, одетый по-крестьянски, с котомкой за плечами, подошел прямо к жандарму.

— Будьте ласковы, скажите мне, сколько стоит билет до Серпухова?

— Три рубля, — ответил жандарм.

— А дешевле нельзя?

— Дурак!

Жандарм отвернулся, искоса следя за мужичком. Тот, почесываясь, растерянно улыбался и шептал что-то про себя.

— Сколько у тебя денег? — спросил жандарм.

— Рубль и два пятака, ваше благородие.

— Давай рубль!

Жандарм, спрятав в карман серебряный рубль, вывел Моисеенко на платформу и там, подозвав к себе кондуктора, сказал ему, показывая на Петра Анисимовича:

— Отвези этого дурака в Серпухов!

Кондуктор довез Моисеенко до Москвы.

Многое изменилось с того вечера, когда в Петербурге, на квартире Моисеенко, был утвержден устав «Северного союза русских рабочих». Союз разгромлен; среди народников — идейный разброд. Одни ищут ответа на вопрос: почему после убийства царя не произошла в России революция? Другие спрашивают: каковы дальнейшие перспективы революционного движения и где та реальная сила, которая сможет осуществить социализм? Разочарование в учении народников толкало многих на поиски новой революционной теории.

Небольшая группа революционных народников выступила 25 сентября 1883 года с заявлением о своем разрыве с народничеством и о необходимости организации особой партии русского рабочего класса. Своими основными

задачами группа объявила распространение марксизма, критику народничества и разработку важнейших вопросов русской общественной жизни с точки зрения марксизма и интересов трудящихся России. Это была первая русская марксистская организация — группа «Освобождение труда»: ее основал и ею руководил талантливый теоретик и пропагандист марксизма Георгий Валентинович Плеханов.

Петр Анисимович Моисеенко был одним из тех революционных народников, который не только сердцем, подобно Петру Алексееву, но и разумом, то есть вооруженный учением первых русских марксистов, уверовал в могучую революционную силу пролетариата, и эту силу он хотел повернуть против царя и против морозовых...

В Москве Моисеенко надеялся разыскать Гурвича — своего товарища по революционному кружку в Петербурге и по канской ссылке. С ним хотел Моисеенко посоветоваться, как дальше быть со стачкой, и через него надеялся связаться с революционной организацией.

Гурвич отходил уже от народничества, шел к марксизму. В одном из своих писем к Моисеенко (это письмо нашли у Петра Анисимовича при обыске) он писал: «Вы находитесь в самом интересном центре жизни». Для Гурвича, как и для Моисеенко, фабрика была уже «центром жизни», и притом «самым интересным центром».

Что Гурвич был политически образованным человеком и действительно мог помочь Моисеенко ценным советом, видно из того, что Владимир Ильич Ленин похвалил одну из его работ. Владимир Ильич писал: «...связь переселений с разложением крестьянства вполне доказана *И. Гурвичем* в его превосходном исследовании: «Переселения крестьян в Сибирь».

Но Гурвича в Москве не оказалось, а других революционных связей у Петра Анисимовича не было. Он вернулся в Никольское, и его тут же арестовали.

Всю вину за забастовку Моисеенко взял на себя. В письменных показаниях он умно и просто рассказал свою жизнь — безрадостную жизнь русского рабочего. Не сгущая красок, вскрыл он волчью систему Морозова. После прочтения его показаний каждый должен был задать себе недоуменный вопрос, почему рабочие раньше не бастовали, — так ужасны были условия, созданные Морозовым на своих фабриках.

Чтобы окончательно отвести подозрения от Волкова, Шелухина и других, Петр Анисимович несколько раз подчеркивал в своих показаниях, что он давно занимается революционной деятельностью.

«Убедившись в справедливости политических идей, я уже не мог равнодушно смотреть на страдания людей, с которыми обращаются иногда хуже, чем с вьючным животным... К необходимости стачки меня привело то, что все единичные протесты ни к чему не приводили и не облегчали участи рабочих...»

Надо было обладать смелым сердцем и мужеством революционера, чтобы в 1885 году говорить царским жандармам о «справедливости политических идей».

Петра Анисимовича Моисеенко отправили во Владимирскую тюрьму. Его отвез сам жандармский полковник — на морозовских нарядных санках! В последний раз Моисеенко пронесся мимо красных фабричных корпусов, мимо жилых казарм. Ни на улице, ни в окнах не было людей.

Только один участник стачки провожал Моисеенко — веснушчатый мальчик. Он настойчиво бежал за санками и что-то кричал на бегу. Когда санки скрылись за поворотом дороги, мальчик остановился и, сложив ладони рупором, крикнул:

— Дяденька Анисыч! Прощай!

8

Морозовцев судили два раза. Первый раз — в феврале 1886 года. Второй раз — в мае. В феврале судили девятнадцать человек за участие в стачке «к возвышению заработных платежей и отмене денежных вычетов».

Моисеенко и Волков пытались на этом процессе разоблачить хитрую систему Морозова, но председатель суда не дал им высказаться.

Это судилище вынесло «милостивый» приговор: Моисеенко и Волков были приговорены к аресту на три месяца. Но судьи намеревались на процессе тридцати трех участников стачки, в мае, разделаться и с непокорством рядовых рабочих и с дерзостью их вожаков — Моисеенко и Волкова.

...Май. Зал владимирского окружного суда переполнен. Дамы из общества разочарованы: у самого главного

бунтовщика веселые глаза, да и весь он какой-то обжитой, уютный — совсем не похож на разбойника.

Судебный пристав суетится около барьера, за которым размещены обвиняемые. Прокурор сидит суровый, важный. Московский адвокат Шубинский, задумавшись, шагает вдоль стены, мимо высоких окон. Корреспонденты столичных газет беседуют между собой.

Во втором ряду сидит Тимофей Саввич Морозов, высокий, прямой; он смотрит в одну точку немигающими глазами. Рядом с ним, откинувшись к спинке стула, — Дианов, красный, потный, злой.

В последних рядах примостился на краешке стула, съежившись, со втянутой в плечи головой, Шорин.

То тут, то там алеют красные косынки ткачих, белеют рубахи ткачей и прядильщиков.

Суд тянулся шесть дней. Морозовцы, выступавшие на суде, придерживались вопросника, заготовленного для них Петром Анисимовичем. Даже московский адвокат Шубинский, который относился к своим клиентам-рабочим с пренебрежением, и тот был вынужден руководствоваться в своих выступлениях на суде тем же моисеенковским вопросником.

Чаще всех выступал сам Моисеенко.

— Господа судьи! Сосчитайте по этим книжкам, сколько зарабатывал рабочий у Морозова, и подумайте, мог ли жить на эти заработки даже бессемейный. И знайте, господа судьи, что перед вами лежат самые невинные книжки, потому что тех рабочих, в книжках которых штрафы достигли половины заработка, дирекция заставляет брать расчет. Книжка уничтожается, а рабочий может в тот же день поступить обратно на фабрику. Посмотрите книжки. Там проставлены две буквы: «Б» и «К». «Б» — близна, когда нитки не хватает. Ну, за это можно штрафовать. Раз нитки не хватило, значит товар плохой. Но вы заметили, что буквы «Б» очень мало, а больше всего попадается «К»? Когда не за что ткача штрафовать — пишут «К», будто кромка нехороша. Разрешите проверить, вправду ли я говорю.

— Потом проверим!

— Зачем потом, господин председатель. Господа заседатели могут подумать, что я напраслину возвожу на господина Морозова. Разрешите задать вопрос кому-нибудь из служащих фабрики.

— Спрашивайте!

— Вот в этом зале находится старший мастер ткацкой господин Шорин... Вот, господин Шорин, скажите коронному суду, так я говорю или напраслину возвожу на господина Морозова? Штрафовали вы нас за хороший товар?

Шорин подошел к столу:

— Да, я штрафовал за хороший товар.

— Почему вы это делали? — неприязненно спросил председатель суда.

Шорин повернулся и пальцем указал на Морозова:

— Хозяин требовал.

В зале поднялся шум. Председателю еле удалось установить тишину. Один только Морозов молча смотрел в одну точку.

— Господин Морозов, — поспешил председатель суда на помощь владельцу Никольской мануфактуры, — мастер Шорин, кажется, имеет основание быть недовольным вами. Вы его уволили за неправильные действия?

— Да, — спокойно ответил Морозов.

— Вы ведь сами в эти мелочи не вмешивались? — задал председатель следующий вопрос. — Вы доверяли мастеру Шорину? Подойдите, пожалуйста, к столу. Отсюда вам будет удобнее отвечать.

Морозов подошел к судейскому столу и сухо промолвил:

— Да. Я ему доверял.

— Тогда скажите, господин Морозов, — подхватил Петр Анисимович, — был ли такой случай, когда ткач Шелухин, который сидит сейчас рядом со мной, подал лично вам кусок полубархата и вы ему сказали: «Хорошо сработал», а мастеру вы тут же сказали: «Запишите ему пятьдесят копеек штрафу»? Тогда спросил вас Шелухин: «За что штрафуете?» Что вы ему ответили?

— Не помню.

— А я вам напомню, господин Морозов. Вы сказали: «Я тебя штрафую за то, чтобы ты еще лучше работал».

В зале опять поднялся шум:

— Изверг! Кровосос!

Морозов засуетился, пошел на свое место, запнулся на гладком паркете и упал, и, как нарочно, перед самой скамьей подсудимых! Такой в зале поднялся шум, что председателю пришлось прервать заседание.

Трудно пришлось председателю и после возобновления заседания. Моисеенко задавал свои вопросы вежливым тоном, и все его вопросы были чисто деловыми. Председатель понимал, что эти «безобидные» вопросы преследуют единую цель: вскрыть перед народом хищные методы фабриканта. Но запретить неугомонному Моисеенко задавать свои вопросы нельзя — его могут обвинить в пристрастии. Рабочие, находившиеся в зале, бурно выражали одобрение своему вожаку, а Морозова и его подручных встречали свистом, а то и просто криком «долой». Даже «чистая публика» — интеллигенты и мещане — все чаще и чаще аплодировала Моисеенко и вместе с рабочими возмущалась каторжным режимом на Никольской мануфактуре.

Но у председателя большой опыт: он знает, что не публика в зале решает исход процесса. Присяжные заседатели — вот кто скажет последнее слово! А присяжных заседателей подобрали умело: два домовладельца, учитель рисования, управляющий графским имением, соборный староста, фельдшер земской больницы и несколько мастеровых, которых прислала ремесленная управа. Добропорядочные обыватели, презирают нищих рабочих!

Суд приготовил для присяжных заседателей сто один вопрос — мелкие и крупные обвинения, и, стоит присяжным заседателям ответить «да, виновны» хотя бы по нескольким пунктам из огромного списка, суд найдет тогда обоснования для расправы с бунтовщиками.

Сказал свое слово прокурор: бунт, вооруженное сопротивление войскам, разгром фабрики... Он требовал если не смертной казни, то хотя бы каторги для большинства подсудимых.

Сказал свое слово и защитник. Да, рабочие бунтовали, но почему бунтовали? Горячо говорил защитник: о штрафах, расценках, о гнусных порядках на Никольской мануфактуре. Защитник обвинял Морозова, и только его. Он доказывал, что не капиталистический строй плох, а плох Морозов, чрезмерная жадность одолела его. И защитник требовал у суда снисхождения: погорячились, мол, рабочие, набезобразничали, но довел их до этого жадюга Морозов.

Председателя суда не особенно огорчила речь защитника. Он считал, что «красоты стиля» улетучатся из памяти присяжных заседателей, а вот сто один вопрос

останется у них на руках, а вопросики так сформулированы, что хочешь не хочешь, но «благонамеренные обыватели» должны будут ответить: «Да, виновны!» — хотя бы в том, что морозовцы били стекла, что закидали снежками казаков...

Председатель обратился к присяжным заседателям с прочувствованной речью. Он говорил о долге благонамеренных граждан, которым царь и его министры доверили вершить судебные дела, он говорил об ответственности присяжных заседателей перед обожаемым монархом...

— Вчитайтесь, вдумайтесь, — закончил он дрогнувшим голосом, — вникайте в каждый из предложенных вашему патриотическому вниманию сто один вопрос, и пусть подскажет вам ваша совесть, в каком из перечисленных преступлений виновны люди, сидящие сейчас на скамье подсудимых!

Суд удалился. Увели подсудимых. Но публика осталась в зале. Собирались группами, спорили, гадали.

Весенний день угасал. Зажгли лампы.

— Суд идет! — торжественно объявил пристав.

Первым вошел председатель; его правая щека была багрово-красная и хранила след от складки на подушке. Прокурор застегивал на ходу сюртук.

Ввели подсудимых. Моисеенко, усаживаясь, сказал, видимо, что-то смешное — его соседи рассмеялись.

Заняли свои места присяжные заседатели.

— Господа, — обратился к ним председатель, — вы пришли к единодушному решению?

Поднялся человек в коротеньком черном пиджаке. Из рукавов выступали большие красные руки — руки мастерового. Он положил руки на барьер и, глядя прямо в глаза председателю, твердо ответил:

— Да, мы пришли к единодушному решению.

У старшины заседателей было бледное, сухое лицо, но когда он произнес первое слово — «да», его лицо вдруг порозовело и покрылось испариной.

Моисеенко шепнул что-то на ухо Волкову. Тот недоверчиво качнул головой.

— Тогда, господа присяжные, — продолжал председатель, — признаете вы виновными людей, сидящих на скамье подсудимых?

В зале водворилась тишина.

— Нет, не виновны, — внятно ответил старшина.

— Ни по одному пункту? — гневно, раздраженно спросил председатель.

— Не виновны ни по одному пункту, — чуть повысив голос, произнес старшина.

По залу пробежал негромкий вздох и вслед за ним крик радости, гром рукоплесканий. Рабочие вскочили с мест, многие из них плакали, судорожно кричали «ура».

— Что это, Анисыч! — разволновался похудевший, с чахоточным румянцем на лице Волков. — За что нас год восемь месяцев по тюрьмам таскали?

Моисеенко хотел подготовить своего друга к худшему: он знал, что царь не выпускает на свободу своих пленников.

— А ты радуйся, Василий Сергеич. То, что нам на февральском суде три месяца отсидки дали, это ничего. Царь испугался — вот что важно. Фабричный закон выпускает. Это мы, морозовцы, этот закон у него вырвали. Что скажут рабочие? Боролись морозовцы и кое-чего добились. И поймут — за лучшую жизнь надо драться.

Морозовцев оправдали не потому, что на этот раз царские судьи хотели быть справедливыми, а потому, что судьи, при всем их холопьем рвении, не смогли скрыть от страны страшную правду о морозовской каторге.

Процесс взбудоражил прогрессивные слои. Присяжные заседатели, ознакомившись с нравами, которые царили в морозовской вотчине, ужаснулись. Они видели: когда вводят в зал обвиняемых, рабочие благоговейно поднимаются со своих мест и в пояс кланяются Моисеенко и Волкову. Присяжные заседатели слышали: рабочие враждебно встречают Морозова:

— Грабитель! Кровопийца!

Даже владимирский губернатор написал в своем докладе царю, что рабочие бросили работу от голода.

Следователь Боскарев вынужден был заявить суду, что удивляться надо не тому, что морозовцы забастовали, а тому, как они могли столько лет работать и терпеть морозовские порядки.

Эти слова были напечатаны во всех прогрессивных газетах, и на всю страну разнесся смрад от морозовской «штрафной кухни».

Оправдательный приговор суда привел в бешенство капиталистов: они воочию убедились, какой грозной силой может стать рабочий класс, руководимый крепкой

организацией; они, капиталисты, почуяли угрозу своему богатству, своему могуществу. Уходит из-под ног почва, если уж генералы в судейских мантиях не справляются с забастовщиками! И буржуазия выдвинула вперед Каткова — «ученую голову» российской реакции.

«Вчера в старом богоспасаемом граде Владимире раздался сто один салютационный выстрел в честь показавшегося на Руси рабочего вопроса, — желчно начал он свою статью в «Московских ведомостях». — Итак, да здравствует рабочий вопрос и право на труд!»

И Катков, этот матерый страж капитала, продолжает свою статью в том же едко ироническом тоне:

«Стало быть, и буйство, и поломанные станки, и разгромленные лавки, и побитые люди, и нападение с угрозой убийства на мирных товарищей-рабочих, и сопротивление властям и войскам — все это признано делом законным и справедливым...»

Катков и его хозяева били тревогу. Процесс показал, что морозовская стачка была и подготовлена и осуществлена организованно. Она не вспыхнула стихийно, как большинство стачек того времени, — ее задумал и организовал передовой рабочий, имевший уже революционный опыт. Морозовцы выработали письменные требования, обсудили эти требования на тайных совещаниях, определили день стачки. До этого только в Петербурге, и то лишь в стачках 1878—1879 годов, рабочие проявляли такую организованность и стойкость.

Катков увидел еще и другое: если уж ткачи из какой-то ореховской глухомани так отважно идут за своим вожаком, если они требуют его освобождения и даже готовы отбить его силой — это значит, что нарастают новые настроения в самой рабочей массе.

И правительство уловило что-то новое в стачке на Никольской мануфактуре: морозовцы требовали улучшения условий труда не только для себя, но и для рабочих на других фабриках.

Чтобы не дать разрастись рабочему непокорству, правительство обнародовало 8 июня, спустя всего неделю после суда, новый закон: штрафовать только за неисправную работу, за прогулы и за нарушение порядка, а штрафные деньги использовать на нужды самих рабочих.

А Моисеенко и Волкова отправили в ссылку — на три года, несмотря на то что они были судом оправданы.

9

Вот он, город ссылки — Мезень. Одна улица, два переулка и густо поросшая травой площадь, деревянные почерневшие крыши, почерневшие срубы домов, корявые дощатые тротуары, темненькая церковка с бревенчатой колокольней, деревянный острог. Не город, а обомшелый черный гроб.

За городом река несет к холодному Северному морю свои воды. От моря идут метели, от моря иногда и летом налетают морозы — и осыпается тогда листва, никнет побелевшая трава. По ту сторону реки — угрюмые леса.

Петр Анисимович оборудовал столярную мастерскую. В ней, кроме него, работали ссыльные студенты: Попов (впоследствии известный писатель Серафимович), Кравченко и Щепицын.

Вечерами, после чая, усаживались они за чтение Маркса, Чернышевского, Некрасова, Короленко. Петр Анисимович слушал с упорным вниманием, смотря в лицо читающему широко раскрытыми глазами. Из-под низко опущенного абажура падал на стол желтый свет, оставляя в тени угол комнаты, где, подперев голову руками, сидела Екатерина Созонтовна.

1889 год.

У Моисеенко родилась дочь. С утра до ночи звенели в столярной мастерской песни Петра Анисимовича. Его тенору вторил бас Попова и тоненький голосок ребенка.

Прошел еще год. Свобода!

Лодка, в которой разместилась семья Моисеенко, от-
10 чалила. Петр Анисимович поднял ребенка высоко над головой и крикнул оставшимся на берегу товарищам:

— Поживем еще! И как вольные люди! А если не мы, то наши дети!

Долго стояли люди на берегу. Лодка еле видна, но всем кажется, что на корме все еще стоит неугомонный Моисеенко, тот, что весело спорит с жизнью и даже сейчас, издали, посылает товарищам частицу своей бодрости.

...Моисеенко, чтобы скрыться на время от полиции, принял предложение товарища по канской ссылке и отправился на заимку в челябинскую глушь.

Небольшое артельное хозяйство было запущено. Из двух веялок работала одна. Молотилка гремела, как воз с пустыми бочками. Зима на носу, а дом без окон.

Нашлась работа для ловких рук Моисеенко.

— Пусть она придет, зима-зимушка! — сказал он Екатерине Созонтовне, прилаживая последнюю оконную раму.

По утрам уходили в туман высокие сосны, травы покрывались паутиной. Уже отлетели последние птицы. Моисеенко радовался скорой зиме:

— За зиму мы с тобой, Созонтовна, все хозяйство перечиним. Дочурка наша окрепнет, и двинемся весной в путь-дорогу.

— Тебе уж не сидится!

— Как усидишь, Созонтовна! Страна-то вперед двинулась, а правды в ней все еще не видать. Мы тут с тобой будем в сытости да в тепле сидеть, а вспомни, как рабочий люд мучается...

Но все случилось не так, как задумал Моисеенко.

Умерла дочка. Петра Анисимовича точно подменили: ни песни, ни прибаутки, ни веселого слова от него не услышишь. Он работал больше, чем всегда, но молча, в раздумье, и из глаз его не уходила тоска. Куда ни пойдет, куда ни поедет — все дороги лежат мимо кладбища, мимо холмика, под которым покоится дочурка.

В один из таких тоскливых дней Петра Анисимовича потребовали в Челябинск к исправнику.

— Высылают вас, — объявил ему исправник.

— Куда еще? — с необычной для него раздражительностью откликнулся Моисеенко.

— На родину, в Сычевку, — разъяснил исправник. — Если хотите, — добавил он, лукаво скашивая глаза, — выпишем вам проходное свидетельство.

Моисеенко недобро взглянул на полицейское начальство.

«Знаю, подлец, твое проходное свидетельство! — подумал он, еле сдерживая гнев. — Предлагаешь волчий билет, написанный на волчьем языке: «С этим свидетельством нигде не проживать и не останавливаться». Законный вид на бродяжничество, волчий паспорт, с которым каждый имеет право гнать обладателя его из-под своей крыши, из селения, из города... Иди, не останавливайся, работать не смей! Если у тебя нет капиталов — воруй, грабь или подыхай с голоду...»

— Нечего мне географию за свой счет изучать! — ответил он возмущенно. — Раз высылаете, так везите!

...Пошли этапы, тюрьмы — Самара, Пенза, Москва... Во всех тюрьмах могильная тишина, полная странного шепота, точно невидимые мыши грызут толстые стены.

Во дворе московской пересыльной тюрьмы строился этап на Вязьму. В первом ряду стоял Петр Анисимович. Начальник этапа десятки раз пересчитывал людей и каждый раз сбивался со счета. Он ругал арестантов, честил своих подручных.

Во время очередной переклички раскрылись кованые ворота, и во двор тюрьмы въехала карета. Из нее сначала выскочили два жандарма, а потом не спеша вышел высокий парень. Заметив этап, жандармы засуетились: они выхватили шашки из ножен и истуканами стали по обеим сторонам высокого юноши. Один из жандармов истошно заорал:

— Прочь с дороги!

«Раз жандармы — значит, арестант политический», — подумал Петр Анисимович. Он посмотрел в лицо молодому человеку. Почудилось что-то знакомое.

Моисеенко выдвинулся вперед.

— Дяденька Анисыч! — услышал он вдруг.

Жандармы заспешили; один из них, подхватив молодого человека под руку, потащил его в сторону.

Замерло сердце в груди Моисеенко, до удушья сжалось горло, и, пока он, перебарывая волнение, собирался с силами, чтобы произнести первое слово, молодой человек уже скрылся за дверью конторы.

Этап вышел из ворот тюрьмы. Моисеенко шагал легко, закинув голову. Москва еще спала. Дворники широкими взмахами метлы подметали улицы.

Но сквозь тишину древнего города явственно пробивался гул новой — вольной и неугомонной — жизни.

Поет душа Петра Анисимовича:

«Нас много! Нас очень много! Мы победим! Непременно победим!»

...Недолго прожил Моисеенко в родном селе: он уехал в Ростов-Дон, не дав знать полиции.

Началась скитальческая жизнь. Петр Анисимович снова стал неугомонным агитатором, и у людей, среди которых он работал, делалось радостно на сердце от его ясных глаз, от его уверенности в победе рабочего дела.

Долгую жизнь прожил Петр Анисимович. В Донбассе он вел политическую агитацию среди шахтеров и желез-

нодорожников: на своем крохотном участке осуществлял он соединение социализма с рабочим движением.

Моисеенко был участником революционного подъема пятого года, того героического года, когда впервые в России рабочий класс поднялся на вооруженную борьбу против царизма.

Моисеенко был свидетелем величайшего в истории человечества события — победы Великой Октябрьской социалистической революции.

10

В январе 1923 года праздновали текстильщики Орехово-Зуева тридцать восьмую годовщину морозовской стачки. Театр в Орехове был переполнен.

В первых рядах сидели принаряженные и торжественные старики и старухи. Это были участники стачки, соратники Петра Анисимовича Моисеенко. Они явились на свой праздник — кто из дома, а кто и из больницы, — чтобы вместе с детьми и внуками порадоваться счастливому настоящему и недобрым словом помянуть проклятое прошлое.

Раскрывается занавес. На сцену выходит всероссийский староста Михаил Иванович Калинин. Бережно, как сын престарелого отца, ведет он под руку иссушенного годами и тюрьмами Петра Анисимовича Моисеенко. Из-под очков выглядывают больные глаза; он ступает нетвердо, хотя и в такт с широким шагом Михаила Ивановича.

Все — и стар и млад — вскакивают с мест. Рукоплескания. Выкрики...

Наконец-то Михаил Иванович Калинин получает возможность произнести свое приветствие:

— Я являюсь старым революционером, но по сравнению с товарищем Моисеенко я еще мальчик. Когда мы пришли в революцию, мы имели уже расчищенную дорогу, определенный метод работы. Товарищ Моисеенко, приступая к организации орехово-зуевских рабочих, этого метода не имел; но он его нашел.

Все взоры обращены на Петра Анисимовича: сухонький, белоголовый, с раскрасневшимся лицом.

И когда он встал, когда звонким голосом бросил в зал: «Да здравствует социальная революция всего мира»! — старики и старухи, его соратники, опять почувст-

вовали себя в строю и торжественно ответили своему вожаку:

— Да здравствует!

...Этим же летом Петр Анисимович выступал в Москве на собрании текстильщиков. Он говорил о советской власти, которую надо беречь как зеницу ока, ибо она, и только она, даст счастье рабочему человеку.

Петр Анисимович ушел с собрания взволнованный и счастливый. Его сопровождал писатель Серафимович — друг по мезенской и пинегской ссылкам.

Они вышли на оживленную Тверскую. Недавно прошел дождь. На тротуарах еще стояли лужи. Говорить было трудно: мешал людской поток. Петр Анисимович всматривался в лица, ловил на ходу слова прохожих.

Проехала открытая машина. Рядом с шофером сидел военный. Моисеенко, взглянув в лицо этому военному, вдруг бросился на мостовую, поднял руку и закричал:

— Стой! Стой!

Шофер не расслышал окрика; машина скрылась из виду.

— Что с тобой, Петро? — заинтересовался Серафимович. — Кого ты увидел?

— Он! Мальчик из Никольского! Тот, с веснушками!..

Так на московской улице почти накануне своей смерти Петр Анисимович вновь встретился с товарищем по славной стачке.





КАМЕННЫЙ БОЙ

Часть первая

В АЛЕКСАНДРОВСКОЕ

1

В июльское утро 1894 года, когда петербургское небо отливало горячим блеском и пешеходы жались к стенам домов, шел по Невскому проспекту слесарь Василий Андреевич Шелгунов. Он шел по самому солнцепеку.

Василию Андреевичу всего двадцать семь лет, но он кажется значительно старше. Борода во всю грудь, богатырский размах плеч, широкий шаг, пристальный, требовательный взгляд.

В этот ранний час на Невском было мало народу, и городовые с особым усердием следили за каждым пеше-

ходом. Но степенный рабочий, слегка позванивающий инструментом в мешочке, не вызывал у них подозрений.

А слесарь Шелгунов спешил на конспиративную квартиру. Он смело прошел мимо дворника, важно восседавшего на чугунной тумбе, и зашел во двор, чтобы по черной лестнице подняться на пятый этаж, в фотолабораторию.

Приключилась беда: арестованы два товарища по кружку, и Шелгунов торопится поскорее сообщить эту недобрую весть руководителю кружка.

Дверь открыл сам Старков, в туфлях на босу ногу, с полотенцем через плечо. Его широкое лицо было красное, распаренное: видимо, мылся горячей водой.

— Василь Васильевич... — начал Шелгунов взволнованно.

— Знаю, — остановил его Старков, вскинув на гостя маленькие умные глаза. — Норинский и Фишер арестованы. Чего вы дверь подпираете? Идемте в комнату.

Старков повел Шелгунова в просторную и светлую комнату. На подоконнике горела спиртовка под никелированным кофейником.

— Садитесь, Василий Андреич! Кофе сейчас поспеет, и мы с вами позавтракаем! — У Старкова был приятный грудной голос. Он отчетливо выговаривал слова, певуче округляя букву «о».

Спокойствие Старкова раздражало Шелгунова. Он положил на пол мешочек с инструментом, сам опустился на стул и сказал требовательно:

— Надо было бы дать знать Владимиру Ильичу.

Вода в кофейнике забулькала. Старков задул спиртовку. Сначала он поставил на стол тарелку с хлебом, потом сахарницу, наконец налил в стаканы черного кофе.

— Пейте, Василий Андреич, — предложил он, усаживаясь рядом с гостем, и, сделав несколько глотков, неожиданно закончил: — А я, тезка, к вам собрался. По поручению Владимира Ильича.

— А он знает об арестах?

Старков испытующе взглянул на гостя.

— Вы в цирке бывали?

— При чем тут цирк?

Резкий тон Шелгунова не смутил Василия Васильевича. Он спокойно спросил:

— Вы видели там артистов, одетых в странные костюмы? Одна половина костюма у них белая, другая черная.

— Видел.

— Вот в такой наряд обряжена наша Россия-матушка. Одна половина — полуфеодальный строй, другая — колониальная держава, и об этом нам с вами нельзя забывать. Надвигается кризис, Василий Андреич. Всякие там фабрики, изготовляющие ситчик или бархат, закроются, а вот заводы, что работают на колониальный разбой, те будут круглые сутки колесо вертеть.

— Какие такие заводы?

— Военные. Те, что пушки льют. Обуховский, к примеру. — Он сделал несколько глотков подряд и продолжал:—А ведется революционная работа на Обуховском? Поди, лет сорок работает завод — и ни одного кружка, ни одной забастовки. Что там — рай для рабочих?

— На Обуховский не проникнешь, — грустно откликнулся Василий Андреевич. — Сколько раз пытались, да все осечка получалась.

— Не проникнешь, — повторил хозяин. — А знаете, что сказал Владимир Ильич? Надо завоевать Обуховский. И сделать это может Шелгунов. Только он.

Шелгунов посмотрел в окно. Небо голубое, затканное солнечными лучами. Вдали, поверх крыш, сияет золотая игла Адмиралтейства. Еще дальше, в сизой дымке, высятся фабричные трубы.

— Ведь на Обуховском есть у меня дружок!

— Вот видите, Василий Андреич, даже дружок нашелся! Не Василий ли Яковлев?

— А вы откуда знаете?

— Я и не знал, — добродушно сознался Старков. — Это Владимир Ильич вспомнил, когда мы про Обуховский говорили.

Шелгунов взял из сахарницы кусок сахару и, разглядывая белый кубик, сказал:

— Ну и память у человека. — Он бросил кубик в сахарницу. — Значит, Владимир Ильич надеется на меня?

2

Солнце уже закатывалось, и на полях, мимо которых проезжал Василий Андреевич, лежали синие тени. Вдоль Шлиссельбургского проспекта — главной улицы Невской

заставы — тянулись сточные канавы с деревянными мостками; за канавами — цепочка жалких лачуг. Из окна вагона эти лачуги казались путниками, устало бредущими в затылок друг другу.

— Село Александровское! — объявил кондуктор.

Шелгунов вышел из вагона. Прямо перед ним — трактир «Аркадия». Из открытых окон вырывается на улицу нестройный говор. Чуть левее второй трактир — «Надежда». Там орган играл песенку про Марусю, которая отравилась, а пьяная компания, стараясь перекричать визгливые звуки органа, тянула вразброд «Стеньку Разина».

На улице было пустынно. Домики притаились за заборами. Скудный свет еле пробивался сквозь занавески.

Шелгунов посмотрел вправо. Горделиво тянулись к небу трубы Обуховского завода. Вокруг труб мрачные корпуса с зарешеченными окнами. Решетки придавали заводским корпусам тюремный вид.

Очутившись на Ново-Александровской, Шелгунов зашел в домик, который с виду показался ему немного приветливее других.

Лампа, висевшая под потолком, скудно освещала небольшую и пустую, как сарай, комнату. Старушка месила тесто; белесая девочка лет десяти-одиннадцати, в одной рубашонке, мыла пол.

— Не скажете, где живет Яковлев Василий?

— Василий, — повторила старушка. — Есть на нашей улице Васька-ревун, он в сторожах у Берда служит. Есть еще у нас Васька-косой, он в трактире у Митрича подручным работает. Тебе какого Ваську надо?

— Мой Василий на Обуховском работает.

— Не знаю, милый, не знаю. Мы на Карточной трудимся. Обуховцев не знаем.

— Баушка, — позвала девочка. — Не Марфуткин ли брат? Он, кажись, из обуховцев. Такой видный из себя, с черной бородой.

— А где живет эта Марфутка? — спросил Шелгунов, узнав по описанию Василия Яковлева.

— Рядом! — Девочка бросила мокрую тряпку и с готовностью предложила: — Идемте! Я вам покажу!

— Не надо, — запротестовал Шелгунов, — сам найду. Ты мне только номер дома назови.

— Совсем рядом. Во дворе. Крышу увидите зеленую. Там Марфутка и проживает!

Яковлевы действительно жили «совсем рядом». За столом, покрытым чистенькой скатеркой, сидела пожилая женщина с крупными чертами лица; из-под белой косынки выбивались седые волосы. Это была мать Василия — ткачиха Марфа Тимофеевна. По правую ее руку — Марфутка, девочка лет одиннадцати, по левую — Василий, в белой рубахе с расстегнутым воротом. В тарелках дымились щи. Василий Яковлев, узнав гостя, поднялся ему навстречу.

— Андреич! Какими судьбами?

— За советом к тебе, браток.

Марфа Тимофеевна указала Шелгунову на стул.

— О делах потом. — Она тут же налила щей в тарелку и поставила ее рядом с тарелкой сына.

Шелгунов сел и, беря в руку ложку, сказал смеясь:

— Зашел я в домик по соседству с вами. Спрашиваю, где живет Василий Яковлев. Не знаем, отвечают.

— Вы не так спрашивали, — с горечью откликнулась Марфа Тимофеевна. — Василия Яковлева никто не знает. Знают его в Александровском как Ваську-рыжего. И почему его «рыжим» зовут, когда у него волос черный, бог ведает. На заводе, в поселке — всюду он Васька-рыжий. А у вас в Петербурге как? — закончила она неожиданным вопросом. — Неужели рабочих уже по фамилиям величают?

— И по фамилиям, и даже бывает, что по имени-отчеству!

— Как это вам удалось?

— А так, Марфа Тимофеевна. Поговорили мы между собой. Человеки мы или не человеки? Человеки. А раз человеки, то у нас должно быть человеческое достоинство. Мастер ли ты, инженер или сам господин фабрикант, но наше человеческое достоинство должен ты уважать. Кликнет мастер: «Ванька-конопатый, подь ко мне!» Никто не бежит. Мастер глотку надрывает. А мы молчок. Мастер сам бежит к рабочему: «Тебя, ирода, кличу! Оглох, что ли?» — «А разве меня звали? — отвечает рабочий. — Вы какого-то Ваньку-конопатого звали». — «А ты кто?!» — давится мастер от злости. Рабочий спокойненько отвечает: «Я Сытников Иван Гаврилыч». Мастер кулаки заносит, в драку лезет. Тогда мы все к нему да с молоточками. Вот так и отстояли свое рабочее достоинство.

Марфутка внимательно разглядывала гостя. Ей нравились его светлые лучистые глаза, борода с золотым отливом. Он говорил весело, хотя ей чудилось, что он говорит совсем не о смешных вещах.

Василию не сиделось. Он понимал, что Шелгунов приехал не в гости: не такие уж они друзья-приятели, чтобы в гости друг к дружке ездить.

— Выйдем, Андреич, во двор, покурим, пока Марфутка самовар раздует.

Шелгунова обрадовало предложение. Тонкая, можно даже сказать, очень тоненькая ниточка связывала Шелгунова с Василием Яковлевым.

Было то время, когда первые русские марксисты наносили удар за ударом по народнической идеологии, когда марксизм становился течением русской общественной и революционной мысли. Вслед за группой «Освобождение труда» (1883—1884) возникла в Петербурге марксистская организация Д. Благоева; годом позже организовалось «Товарищество Санкт-петербургских мастеровых». После разгрома этих двух организаций развернула в 1888 году свою деятельность новая марксистская организация — группа М. И. Бруснева.

Василий Андреевич Шелгунов был участником «Товарищества» и членом группы Бруснева. В кружке «брусневцев» он и познакомился с Яковлевым.

Новая организация была также разгромлена полицией в 1892 году, но уцелевшие от разгрома «брусневцы» сохранили связи с рабочими кружками. А вот Василий Яковлев исчез, не примкнул ни к одному из работавших тогда кружков. «Что с Василием Яковлевым? — не раз спрашивал себя Шелгунов. — Отошел в сторонку, как многие «робкие души» отходили в то время от революционной работы, или в тиши и безвестности «дело делает» на своем Обуховском заводе?»

Василий Андреевич и хотел выяснить: можно рассчитывать на помощь товарища по революционному кружку или работу на Обуховском заводе придется начать с него, с бывшего «брусневца»?

Приятели вышли во двор, сели на бревна, что навалом лежали у забора. Ночь была светлая. Слева проступали зубчатые громады Петербурга — волчьими глазами горели тысячи огоньков. Над болотами курился туман; гигантскими пальцами чернели заводские трубы.

Шелгунов закурил и после первой затяжки спросил:
— Как, браточек, работается тебе?
— По-обыкновенному.
— А ты как хотел? — рассмеялся Шелгунов. — Чтобы по-необыкновенному? Так не бывает. Помнишь, Василий, студента, который читал нам у Бруснева «Что делать?» Чернышевского?
— Помню. Вадимом его звали.
— Вот именно, Вадимом звали. А помнишь, как ты с этим Вадимом спорил? Он убеждал нас, что революцию сделают интеллигенты, такие, как Рахметов, а ты говорил, что революцию сделают рабочие, такие, как мы с тобой.
— И это помню.
— А теперь что? Разуверился в рабочих? На Рахметовых надеешься?
Василий бросил окурок. Прочертив в воздухе огненную дугу, окурок упал в лужу и мгновенно погас.
— Слушай, Андреич, если ты приехал затем, чтобы обуховцев расшевелить, то давай говорить без обиняков. Ты в солдатах служил, поймешь меня с полуслова. Обуховский завод не просто казарма, а штрафная рота. Слово скажешь — за ворота, протестовать вздумаешь — в тюрьму.
— И народ терпит?
— А как народу-то организоваться? На заводе—знай работай да помалкивай. Домой позовешь — Паук в гости пожалует.
— Это еще что за паук?
— Жандарм наш. Сидит в своем гнезде, а чуть только зашевелятся рабочие, он сейчас — хлоп!
— В Питере, думаешь, лучше?
— Лучше, Андреич! Много лучше! Обуховский — особый завод. Военный. На твоем Балтийском, скажем, директор Иван Иваныч, инженер Петр Петрович. А у нас директор — ваше превосходительство, инженеры — ваше высокоблагородие...
— А рабочий такой же, как на Балтийском, — оборвал его Шелгунов. — Всюду рабочий человеческой жизни жаждет. Но ты ему дорогу к этой жизни не показал!
— За этим, значит, прибыл?
— За этим. Хочу на твой завод поступить. Одному тебе было не под силу, авось вдвоем осилим, а?

— Добро́! — решительно заявил Василий. — В станочной нужен слесарь. — Он поднялся, застегнул ворот рубахи и строго закончил: — Только, Андреич, тяжело будет.

Шелгунов знал, что «расшевелить» обуховцев будет нелегко, но ответил он бодро:

— Ничего, Василий, вытянем!

3

На Урале, на небольшом Княже-Михайловском заводе, работал инженер Обухов Павел Матвеевич. Было это в 50-х годах прошлого столетия. Только что окончилась Крымская война. Эту войну Россия проиграла. У французов и англичан были скорострельные орудия, делавшие по три тысячи выстрелов, а русские пушки с медными или бронзовыми дулами выходили из строя после пятисотого выстрела.

Инженер Обухов задался целью дать стране новую пушку, и его труды увенчались успехом. Павел Матвеевич изобрел способ массового производства артиллерийских орудий из литой стали. «Обуховская пушка» была бы значительно лучше европейских орудий и почти в три раза дешевле.

Отправился инженер Обухов с чертежами и расчетами в Петербург. Генералы из артиллерийского комитета внимательно выслушали изобретателя и постановили: «Предложение Обухова отклонить как сомнительное».

Павел Матвеевич вернулся на Урал. Он изготовил на свои средства опытный образец новой пушки и отослал его в Лондон, на выставку.

«Пушка Обухова» получила первую премию.

Слухи об успехе «русской пушки» на Лондонской выставке дошли до Петербурга, и этой пушкой заинтересовался один из крупнейших дельцов того времени, Путилов. Путилов разыскал изобретателя, соблазнил его своими связями в придворных сферах и возможностью немедленно приступить к литью новых пушек. Они учредили общество «Путилов, Кудрявцев и Обухов».

«Общество» быстро договорилось с генералами из артиллерийского комитета. Уже 8 марта 1861 года Обухов демонстрировал свою пушку на центральном полигоне. Сам Александр II «соизволил» присутствовать.

Было условлено: если пушка даст четыре тысячи выстрелов и не разорвется, то считать ее лучшей в мире.

После пятисотого выстрела царь предусмотрительно ушел подальше от пушки — как бы ее не разорвало.

Стрелял сам Обухов. Он дал четыре тысячи двадцать пять выстрелов, и пушка не разорвалась!

На общество «Путилов, Кудрявцев и Обухов» посыпались высочайшие милости. Правительство отвело «обществу» большой участок земли в селе Александровском и выдало пятьсот тысяч рублей на «обзаведение».

Павел Матвеевич Обухов весь ушел в работу. Он монтировал цех за цехом, лил опытные образцы, совершенствовал производство.

В дождливый осенний день, находясь в постели из-за жестокого приступа ревматизма, Павел Матвеевич узнал от своего врача, что делец Путилов продал завод вместе с чертежами новой пушки морскому министерству, а его, инженера Обухова, обязался оставить «при деле».

Шли годы. Обуховский завод разрастался, и все выше поднимался забор. Крестьянские и рабочие волнения 60-х и 70-х годов не докатывались до Обуховского завода, словно его высокий забор служил для этого непреодолимой преградой.

...Когда Шелгунов с Василием Яковлевым подходили к заводу, было еще рано. День обещал быть знойным. Крыши на заводских корпусах сияли.

Недалеко от завода стояла причудливая церковь; в Александровском ее звали: «Кулич и пасха». Маленькие оконца — круглые и черные — были похожи на изюминки, а серебристая крыша — на засахаренную корку.

На нижней ступеньке этой церкви дежурил околоточный надзиратель, небольшого роста худенький человечек с жиденькой бородкой.

Смешной был у него вид. Фуражка блином, белый китель до колен, широченные штаны, заправленные в лакированные сапоги. И стоял этот полицейский чин горделиво, красуясь, как петух на заборе. Народ, идущий мимо церкви, кланялся сначала полицейскому и лишь после этого обращался к богу с торопливой молитвой.

— Кто?! — спросил околоточный сурово, указывая пальцем на Шелгунова.

— Брательник мой, — ответил Яковлев. — Из Питера прибыл, ваше благородие.

— Зачем?!

— Имеет намерение поступить на завод. Господин Келейников берет его в станочную.

— Паспорт!

Шелгунов протянул свой паспорт.

Полицейский долго его рассматривал, изучал каждую запись, проверял печати и, возвращая паспорт, строго сказал:

— Смотри!

— Как звать эту пигалицу? — спросил Шелгунов, когда они отошли от церкви.

— Костюшко.

4

Шелгунова не пропустили на завод: пришлось Яковлеву бежать к мастеру Келейникову. Записку Келейникова сначала прочитал сторож, потом он показал ее городовому, стоявшему тут же, затем, посоветовавшись с табельщиком, милостиво промолвил:

— Проходи.

Огромный, вымощенный булыжником двор был залит солнцем. Справа, ближе к забору, помещалась контора — двухэтажное здание с белыми колоннами. Слева — сизые от копоти заводские корпуса с большими окнами.

— Ступай в контору, — предложил Яковлев. — Спроси там отдел найма. Только подполковнику Иванову на глаза не попадайся. А я побегу.

Не успел Шелгунов ступить на широкую лестницу конторы, окликнул его сверху щеголеватый унтер из матросов:

— Куда прешь?

— К офицеру из отдела найма.

— В гости тебя приглашал?

К конторе подъехала коляска. Из нее вышел генерал. Матрос кубарем слетел с лестницы и замер перед коляской. Генерал, заметив Шелгунова, вежливо спросил:

— Почему вы, дружок, не на работе? К гудку опоздаете.

Шелгунов был стройный, подтянутый. Он стоял перед генералом с той молодцеватой подобранностью, которая была присуща только гвардейцам.

— Ваше превосходительство! Прошу принять меня на работу! — отчеканил он, смело глядя в глаза генерала.

— На флоте служили или в армии?

— Ефрейтор лейб-гвардии Семеновского полка!

— Для гвардейца у меня всегда работа найдется. Заставный! — повернул он голову к унтеру. — Проводи ефрейтора к подполковнику Иванову.

«С такой рекомендацией можно и к подполковнику Иванову», — думал Шелгунов, следуя за унтером.

Иванова на месте не оказалось. Его пришлось долго ждать. Наконец он явился. Невзрачный, хилый, с землистым лицом, с редкими волосами на шишкообразном черепе. Рабочие в издевку звали его «Маргаритка».

— Зачем пришел? — спросил он, пренебрежительно оглядывая Шелгунова.

— Его превосходительство генерал Власьев направил меня к вам. Я слесарь. Прошусь в станочную мастерскую.

— Почему в станочную?

— Господину Келейникову нужен слесарь.

— Пойдешь конюхом?

Шелгунов опешил.

— Я не умею обращаться с лошадьми.

— Тогда убирайся! Мне слесарь не нужен! И какой из тебя слесарь! — добавил он злобно. — Морда не рабочая! Проваливай!

Иванов говорил быстро, напористо, и Василий Андреевич, не найдясь, что ответить, вышел из комнаты.

Очутившись в коридоре, он остановился в нерешительности: куда теперь? О возвращении в Питер не может быть и речи!

Шелгунов сгоряча уже хотел вернуться к Иванову, но в последнюю минуту удержался: «Не пойду конюхом! Не уроню своего рабочего достоинства! Зачем я сюда явился? Воевать. Вот и начну с Маргаритки!»

Ободренный этими мыслями, Василий Андреевич вышел из конторы. Генеральская коляска все еще стояла у крыльца. Унтер Заставный беседовал с кучером.

— Господин унтер, как мне найти старшего мастера Келейникова?

На этот раз матрос ответил по-человечески:

— Видишь красное здание? Там его и найдешь.

Келейников оказался хмурым, неприветливым.

— Где пропадал? — спросил он ворчливо, когда Шелгунов назвался.

— Не пропускает подполковник, — смеясь ответил Василий Андреевич. — И странно получается, господин старший мастер. Вам нужен слесарь, а подполковник не считается с вами. Келейникову, говорит, слесарь не нужен.

Слова Шелгунова больно задели самолюбивого мастера.

— Обожди, — бросил он и, застегивая на ходу пиджак, направился в контору.

Пробыл он там недолго.

— Идем, дам пробу, — заявил он, раскрывая дверь в мастерскую.

Василия Андреевича встретил гул станков, сухой треск передаточных ремней и мелодичный перезвон молотков. Людей в мастерской было много, все они были заняты делом, только несколько подростков бегали из конца в конец.

Келейников подвел Василия Андреевича к свободному верстаку.

— Куцый! Тащи, что я давеча отложил.

Мальчонка принес чугунный диск и две пластинки, положил все на верстак и любопытными глазами уставился на Шелгунова.

— Вот чертеж... Делай.

Сказав это, Келейников ушел.

Василий Андреевич снял рубаху, аккуратно сложил ее и, подбирая инструмент, спросил, не глядя на мальчика:

— Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— Взрослый парень... И рост у тебя приличный. А он тебя куцым зовет. Собачья кличка! Сказал бы ему.

— Скажешь, — серьезно промолвил мальчик, — без ушей останешься.

— Здорово дерется?

— А то нет?

— Плохо твое дело, — сказал Шелгунов, зажимая деталь в тиски. — Меня тоже драли, но я кусался. А ты пробовал кусаться?

— Пробовал... только ни к чему. Еще больнее доставалось.

Мальчик произнес это раздраженным тоном, точно

хотел сказать: «Ничего не поделаешь, приходится с этим мириться».

— Звать-то тебя как?

— Иустин... Чудно́е имя, правда? Старшего брата, того, что утонул, Васей звали. Второго брата, что в гусарах служит, Федей зовут. Третьего брата, что с батей в пушечной работает, Ваней звать. А вот меня Иустином... Выдумал батя. Почуднее имя, видать, не нашел.

Иустин говорил ровным голосом, не спеша, а глаза его неотрывно следили за работой нового слесаря и как бы подбадривали его доброжелательной улыбкой. Ему понравилось, как тот ловко, кончиком пальца, сблизил щечки тисков, как, зажав деталь, ловко просверлил две дырки и быстро сработал сложное фигурное ребро.

Заревел гудок. Рабочие бросились к дверям, вытирая руки на ходу. Некоторые останавливались у верстака Шелгунова, молча присматривались к его работе, другие, не обращая внимания на новичка, бежали к выходу.

— А ты, Иустин, почему не идешь обедать?

— Я тут обедаю.

Он достал из кармана кусок хлеба, репку и принялся есть.

Василий Андреевич знал, что обуховцы «небогато» живут, но завтрак мальца все же показался ему чересчур скромным.

— Отец-то твой кем работает?

— Слесарем, — гордо вскинув голову, ответил Иустин. — Он такой слесарь, что даже мастера с ним советуются. Один раз даже инженер с Семянниковского к нам домой пришел с чертежом.

— Тоже посоветоваться?

— А то нет? За советом пришел. Батя на чертеж посмотрел и сразу сказал: «Ничего у вас не выйдет».

— Обрадовал, значит, инженера?

— А то нет! — восторженно подхватил Иустин. — Батя другой чертеж сделал...

Рассказ Иустина еще больше озадачил Василия Андреевича. Хороший слесарь должен прилично зарабатывать.

— Шибко пьет твой батя?

— Что вы? Пьет, но чтобы шибко, того не бывает. Вот у нас сосед есть, батя моего товарища Сережи Тетина, так тот да, действительно, шибко пьет. Получку,

если Сережка не успеет ее отнять, вчистую пропивает. Может, вам что купить? Я мигом сбегаю.

— Не стоит, Иустин.

Паренек отломил кусок хлеба, отгрыз половину репки и, протягивая Шелгунову, застенчиво попросил:

— Возьмите. Мне мамка много дала.

Василий Андреевич принял угощение и этим обрадовал Иустина.

— Я вам хороший инструмент достану. — И шепотом добавил: — Знакомый дяденька в кладовке работает.

— Вот это, браточек, никуда не годится, — сказал Шелгунов укоризненно. — Я буду работать хорошим инструментом, а остальные плохим? Честно это будет?

— Всем я не могу добыть, — оправдывался Иустин.

— А хороший инструмент есть в кладовке?

— Есть! И очень много! Только запрещено выдавать.

— Рабочие требовали?

— А то нет! Десятки раз требовали. Сам Келейников ходил к Иванову. Ничего, сказал Иванов, и плохим поработаете.

Парнишка ушел в глубь мастерской. Там он стоял молча, обдумывая что-то.

— Иустин! Посмотри, кажется, неплохо у меня получается?

Иустин подошел к верстаку, придирчиво осмотрел работу Шелгунова.

— Хорошо, — промолвил он серьезно. — Только... только фаску вы мало сняли. Мастер любит широкую фаску.

— Сделаем широкую.

Шелгунов зажал деталь и принялся за обработку фаски. Лицо Иустина залилось румянцем.

— Небось грамотен, — сказал неожиданно Василий Андреевич. — Книжки читаешь?

— А кто мне книжки даст?

— Дружков у тебя нет?

— Дружков много. Коля Юников, Толя Ермаков, Сережа Тетин, Кармазов Фомка... Дружков много, только книг у них нету.

Протяжный гудок оборвал их беседу. Рабочие ввалились в мастерскую скопом, и не успел еще растаять в воздухе ноющий вой гудка, как зашелестели передаточные ремни и молотки уже отстукивали бойкую трель.

Явился Келейников — все такой же хмурый, неприветливый. Он постоял несколько минут возле верстака, присматриваясь к работе Шелгунова, и буркнул:

— Иди оформляйся.

Шелгунов вытер руки, оделся.

Возле двери поджидал его Иустин.

— Вот это Толя Ермаков, — показал он на беленького паренька с короткой верхней губой.

— А у вас книжки имеются? — спросил Толя.

— Есть у меня книжки.

— А почитать дадите?

— Дам. — Шелгунов провел рукой по Толиному хохолку, кивнул головой Иустину и направился в контору.

С оформлением вышла заминка. Написав прошение и отдав его вместе с паспортом, Шелгунов ждал в коридоре вызова к офицеру, ведающему наймом рабочих. Но его долго не вызывали. Василий Андреевич видел, как помощница офицера, девушка с узкими косенькими глазами, дважды куда-то ходила с его прошением и каждый раз, возвращаясь, избегала взгляда Шелгунова.

— Долго еще, барышня?

— Не знаю.

Наконец-то вызвали Шелгунова к офицеру.

— Смотри!.. — сказал он, вручая Шелгунову железный номер.

— Куда смотреть? — добродушно спросил Василий Андреевич. — Вы говорите мне «смотри», господин околоточный надзиратель давеча сказал мне «смотри», а куда смотреть — никто не указывает.

Девушка удивленно взглянула на Шелгунова. Офицер покраснел. Он был молодой и не злой, но его учили, что с рабочими надо обращаться круто.

— Еще разговаривать тут вздумал! — закричал он. — Я тебя в порошок сотру!

— А зачем вам этот порошок? — беззаботно спросил Шелгунов. — К больному зубу его приложите?

Офицера озадачил этот необычный рабочий: остер на язык, а придраться не к чему! Не найдясь, что ответить на шутку Шелгунова, он рассмеялся.

— Вот так-то лучше, — весело сказал Василий Андреевич. — Все мы люди-человеки. — Он надел на шею, поверх рубахи, бляху с номером, погладил ее. — Буду, как собака, с номером бегать.

— А вы ее под рубаху, — посоветовала девушка. — Как все.

— Нельзя под рубаху, — серьезно возразил Василий Андреевич. — Это рабочая медаль, а медаль носят на виду, чтобы все любовались ею.

И в этих словах офицеру послышалась насмешка.

— Так уж у нас заведено, — сказал он смущенно. — Не мы выдумали.

Из коридора донесся визгливый голос Иванова: «Берсеневу ко мне!»

Девушка с косенькими глазами поспешила на зов.

5

Уже смеркалось, когда Василий Андреевич вернулся к Яковлевым. Марфа Тимофеевна готовила ужин. Марфутка, закутавшись в теплый платок, сидела у окна.

— Устроились ваши дела? — спросила Марфа Тимофеевна.

Шелгунов рассказал — живо, на разные голоса,—как он подделался под елейный тон генерала Власьева, как он сыграл на самолюбии Келейникова.

Появился Василий. Он скинул пиджак, прошел на кухню умываться, и оттуда послышался его раздраженный голос:

— Ты почему удрал? Не знал, что ли, что Келейников угощения ждет?

— Подождет.

— Келейников не из тех, которые ждут. Пришлось мне с ним в трактир пойти. — Василий зашел в комнату и, вытирая полотенцем лицо, ворчливо продолжал: — Иванову твоя рожа не понравилась.

Сели ужинать.

— Как вам у нас? Нравится? — спросила Марфа Тимофеевна. — Если у вас других видов нет, живите с нами. Каморка у Василия просторная. На двоих вам места хватит.

Шелгунов вопросительно взглянул на товарища. Этот взгляд перехватила Марфа Тимофеевна. Лицо ее посуровело.

— Думаешь, Андреич, не знаю, зачем пожаловал? Знаю. Оттого и говорю: живи с нами. Сидим мы на отшибе. Никому до нас дела нет. А тебе это на руку.

Только ты, Андреич, сначала хорошенько осмотрись. Народ у нас пуганый. И подлецов немало. Дашь такому улику против себя и все погубишь. Дела не сделаешь, а товарищей подведешь. Так я говорю, Василий?

— Так-то так, — ответил Шелгунов вместо Василия. — Только вы, Марфа Тимофеевна, уж больно мрачно на все смотрите.

— А где мы светлое видели? Знаешь, как в нашей песне ткацкой поется:

Грохот машин, духота нестерпимая,
В воздухе клочья хлопка́,
Маслом прогорклым воняет удушливо...
Да, жизнь ткача не легка!

— Значит, народ перемены жаждет! — живо сказал Шелгунов.

— Жаждет, — подтвердила Марфа Тимофеевна. — Только боится. Хлеб у народа соленый, на слезах замешенный, но он и этому хлебу рад. Когда за ворота выкинут — вовсе смерть.

Шелгунову понравились суровые слова старой ткачихи. В ее словах слышалась боль, но не отчаяние. Он понял, что Марфа Тимофеевна, чувствуя себя членом огромной рабочей семьи, призывает его, Шелгунова, к осторожности: как бы не обездолить кого-нибудь из этой семьи.

Марфутка растерянно переводила взгляд с Шелгунова на мать: ее волновал этот разговор. Ей казалось, что мать говорит о ней, о маленькой упаковщице с Карточной фабрики, которой мастер то и дело угрожает: «За ворота выкину!»

6

Шелгунов пытался сблизиться с соседями по верстаку. Одному он хотел объяснить чертеж, другому предложил свой напильник. Но оба они отказались от услуг новичка.

В один из вечеров он отправился в трактир. Толчея. Душно. Галдеж. Керосиновая лампа задыхается, пламя еле мерцает. Под потолком кружит сизый махорочный дым.

За одним из столиков Шелгунов приметил двух рабочих — тех самых, про которых Василий сказал: «С них и начинай». Один — молодой, с густой шевелюрой. Он го-

ворил настойчиво, постукивая кулаком по столу. Другой, пожилой, с волнистой бородой, как бы выкованной из меди, — этот спокойно и коротко возражал.

— Примите в компанию! — обратился к ним Шелгунов.

Рабочие насторожились и, точно по команде, потянулись к своим кружкам. Наконец сказал пожилой:

— Устраивайтесь, коли охота.

Василий Андреевич сел, потребовал себе пива и сказал будто про себя:

— Духота. В мастерской семь потов с тебя сходит. Придешь в трактир, чтобы отдохнуть душой, и тут дышать нечем. Деваться некуда рабочему человеку. Свежего воздуха и то для него не хватает.

— А все остальное у тебя имеется? — спросил молодой. — Только свежего воздуха тебе не хватает?

— Это смотря что считать остальным, — размеренно ответил Шелгунов и, помедлив, добавил: — Хотя какое значение имеет это остальное, если главного нет!

Рыжебородый настороженно взглянул на Шелгунова.

— А что ты считаешь главным?

— Человеческую жизнь.

— Ишь чего захотел! — рассмеялся молодой.

— А ты думаешь, что человеческая жизнь недоступна рабочему человеку?

В тон Шелгунову, так же серьезно, ответил молодой:

— Твой локоть тебе доступен, а поди укуси его. — И неожиданно закончил:—А ты, собственно, кто будешь?

— Слесарь с Обуховского.

— Что-то не примечал тебя раньше... — В словах рыжебородого слышалось недоверие.

— Трудно было меня приметить. Только на днях к месту определился.

— А допрежь где работал?

— На Балтийском.

— А там как обстоит насчет этой... человеческой жизни? — насмешливо спросил молодой.

Шелгунов сделал несколько глотков и, вытирая губы, не спеша ответил:

— Вы тут, видать, ждете, чтобы кто-нибудь добыл эту самую человеческую жизнь и вам ее на блюдечке преподнес. А так, браточки, не бывает. Самому добывать ее надо.

Рыжебородый исподлобья взглянул на Шелгунова и, улыбаясь какой-то своей мысли, деловито спросил:

— Ты у кого квартируешь?

— У Василия Яковлева.

— Это у Рыжего-то? — оживился рабочий. — Друзья вы с ним? Или случайно к нему определился?

— Старые друзья-приятели.

— Вон оно что! — серьезно промолвил пожилой рабочий. — Легко догадаться, кто ты. — Он протянул огромную, жилистую, красную руку. — Давай знакомиться. Я Василий Шурупов, кузнец с Обуховского. Он Антушевский. И тоже Василий. Яковлев нас хорошо знает.

— А я Шелгунов. И тоже Василий.

Антушевский рассмеялся.

— Василий на Василии едет и Василием погоняет. — И сразу перешел на серьезный тон. — Ты нам тут загадки загадывал. Дай и я тебе загадку загадаю. Чтобы бегать, надо сперва научиться ходить, а народ в Александровском еще на карачках ползает. Понятна тебе эта загадка?

— Но вы-то, два Василия, уже научились ходить?

— Как будто научились, да толк-то какой? Одни шагать будем?

Шелгунов достал из кармана кошелек и, прежде чем подозвать полового, чтобы расплатиться за свое пиво, предложил:

— Давайте встретимся в воскресенье на косогоре. Поговорим на свежем воздухе. Авось до чего-нибудь и договоримся.

Антушевский и Шурупов переглянулись, и оба, словно прочитав мысли друг друга, одновременно сказали:

— Хорошо.

Шурупов добавил:

— Встретиться можно. Но поговорить — поговорим, если нам не помешают.

7

Василий Андреевич решил сделать так, чтобы им не помешали.

На следующий день он подозвал к себе Иустина и деловито спросил:

— Ты читал «Конька-Горбунка»?

— Это про что?

— Про то, как парнишка один добыл Жар-птицу.

Глаза Иустина заблестели.

— А у вас есть эта книжка?

— Есть.

— Дайте мне ее! Василий Андреич, дайте, пожалуйста! На одну только ночь!

— Плохой ты, как вижу, товарищ.

— Это я-то?

— Ты. Вот я тебе книжку дам, ты ее прочитаешь, а твои дружки что?

— Я им расскажу!

— Много они поймут из твоего рассказа.

Погрустнело лицо у Иустина. В словах Василия Андреевича ему послышался справедливый упрек.

— А как же быть? — спросил он безнадежно.

— Соберемся все вместе и вслух почитаем.

— Когда?

— Хотя бы в воскресенье. Приходите на косогор, — скажем... в десять часов.

Косогором назывался песчаный холм, который полого спускался к Неве. У самой воды стояли ивы с обвислыми ветвями. К косогору с одной стороны подступали сосны Мурзинского леса, с другой — огороды Александровской окраины. Выставишь дозорных, и никакой Паук не помешает беседе!

...Шелгунов явился на свидание первым; прилег на землю. По Неве плыли баржи, груженные кирпичом, камнем и лесом. Хлопая плицами, шел со стороны Петербурга белый пароход. На носу — тучный поп с золотым крестом на груди.

Шелгунов смотрел вдаль и думал: не прав Яковлев, на Обуховском найдутся люди, готовые к борьбе...

Прибежали подростки. По их возбужденным лицам и радостно искрящимся глазам Шелгунов понял, что они ждут от встречи с ним чего-то необыкновенного.

Все пять мальчиков — погодки, лет четырнадцати-пятнадцати. Все — босиком, но четверо в ситцевых рубахах и чистых холщовых штанах, а пятый — в пиджачишке на голом теле и в длинных, рваных штанах. Этот парнишка отличался от своих товарищей не только одеждой. Четверо были тонкие, рослые, с приятными живыми лицами, он же — приземистый, скуластый, с хмурым взглядом,

Иустин познакомил Шелгунова со своими дружками.

— Его вы знаете, — показал он на Толю Ермакова.— А это Коля Юников, он работает в минной вместе вон с ним, с Фомкой Кармазовым. А этот, — тут он показал пальцем на скуластого парнишку, — мой лучший друг Сережка Тетин. Он работает в кузнице.

У Толи Ермакова взгляд смелый, озорной, но полураскрытый рот — из-за верхней короткой губы — придает его лицу детскую мягкость.

Лицо Коли Юникова яркое, девичье. Из-за длинных ресниц, словно из-за ширмы, выглядывают восторженные глаза.

Фома Кармазов — смуглый, с черными глазами.

— Устраивайтесь, — предложил Шелгунов. — Иустин сказал мне, что вы любите книжки. Это хорошо, браточки. Только знаете ли вы, что книжки, как и люди, разные бывают? С одним человеком говоришь и никак не наговоришься. С другим — перекинешься словцом и отвернешься. Скажем, с Маргариткой. Кому из вас охота говорить с ним?

— Мне хочется поговорить с Маргариткой, — вполголоса и не глядя на Шелгунова, откликнулся Фома Кармазов.

— О чем ты с ним говорить будешь?

— Скажу ему «получай» и дам ему по морде,—скрипнув зубами, ответил Кармазов.

— А вы как? — обратился Шелгунов к остальным.— Тоже хотите Маргаритку по морде бить?

— А то нет? — воскликнул Иустин.

Остальные промолчали, но по их улыбкам Шелгунов понял, что и они не прочь это сделать.

— Эх вы, медведи, — рассмеялся Шелгунов.

— Почему медведи? — вспыхнул Фома Кармазов.

— Есть такая сказка про медведя, который полез на дерево, чтобы полакомиться медом.

— Знаю эту сказку, — скучно промолвил Сережа Тетин.

— Знаешь, а хочешь поступать, как тот медведь: лапой действовать. Не годится, браточки. Человек силен умом, а не лапой. И, кроме того, есть такие слова, которые бьют хлестче, чем рука. И больнее... надо только знать эти слова.

Установилось молчание.

— Давайте читать сказку про Конька-Горбунка, — предложил Шелгунов.

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе...

Иустин смотрел в глаза Шелгунову — смотрел с тревогой, словно опасался, что Шелгунов оборвет чтение на полуслове. Коля Юников слушал с закрытыми глазами, беззвучно шевеля губами, как бы проверяя про себя особо удачные строчки. Толя Ермаков ковырял веткой землю и при каждом подвиге Иванушки бросал на Шелгунова благодарный взгляд, точно подвиг совершал не Иванушка, а сам Шелгунов. С лица Сережи Тетина не сходила улыбка. Один только Фома Кармазов смотрел на Неву и, видимо, думал о чем-то постороннем.

— Слышите, как наш Иванушка отвечает царю, — сказал Шелгунов. — «Только, чур, со мной не драться». Смело говорит наш Иванушка с царем! А знаете почему? Потому что Иванушка силу свою чувствует.

Неожиданно Шелгунов оборвал чтение. Он протянул книжку Иустину.

— Бери. Сами дочитаете. А теперь, браточки, вот что. Скоро народ сюда подойдет. Нам надо поговорить, но так, чтобы никто не помешал. Покараулите? Если Паук или другая гадюка двинется к косогору, вы сейчас ко мне.

Парнишки отошли в сторону. Иустин раскрыл книгу и начал читать вслух. Но на первых же словах оборвал его Толя Ермаков:

— Брось! Сначала дело, потом книжка!

Шелгунов не разобрал его дальнейших слов, только видел, что Ермаков распоряжался, как командир, и что парнишки ему охотно подчинялись.

Они разбежались и побежали туда, куда указывал Толя Ермаков. Иустин со своим дружком — на огороды, Коля Юников с Кармазовым — в лес, Толя Ермаков спустился к реке.

Подошли рабочие: Василий Шурупов, Антушевский и четверо незнакомцев. Один из них назвался Дюжаковым, второй — Иваньковым, третий — Громовым, четвертый — Гавриловым. Дюжаков был громадного роста, с

сивой бородой лопатой и красными слезящимися глазами. Иваньков — длинный, тощий и, видимо, больной: он весь дергался и поминутно хватался за свои очки. Громов — крепыш, с широким скуластым лицом. Слесарь Гаврилов — тучноватый, с острой бороденкой и лихо подкручёнными усами. Одет был Гаврилов по-рабочему, но широкий ремень да по-солдатски обтянутая косоворотка придавали ему военный вид.

— Вот и собрались, — сказал Шурупов.

В сегодняшнем Шурупове трудно было узнать собеседника из трактира. В черном сюртуке, в тонких сапогах гармошкой Шурупов больше похож был на преуспевающего лабазника, чем на кузнеца.

— Собрались для склонения к одному знаменателю различных мнений, — важно заявил Антушевский.

— Антушевский прав, — степенно начал Шурупов, когда все уселись. — Мы собрались для серьезного разговора. А получится ли у нас серьезный разговор?

— Почему не получится? — запальчиво спросил Антушевский. — Если наше сознание доросло до понятия исторического момента...

«Загибает», — подумал Шелгунов, с любопытством оглядывая молодого токаря.

Гаврилов сказал недружелюбно:

— Ты свои исторические моменты припрячь для другого раза.

— Товарищи! — воскликнул Иваньков, держась обеими руками за очки. — Мы представители народа, а народ ждет от нас решительных действий.

— Что вы предлагаете? — спросил его Шелгунов.

— Действовать! Мы должны найти смелого человека, готового отдать свою жизнь за народ. Мы должны найти смелого человека, который подошел бы к Маргаритке и сказал бы ему: «Именем народа я тебя казню!» — и бац ему в голову!

— А дальше что? — спокойно спросил Шелгунов.

Иваньков, весь дергаясь, закашлялся и, уняв кашель, ответил хриплым голосом:

— Это внесет луч света в темное царство. Это, как молния, осветит темную ночь.

Антушевский откинул со лба длинную прядь волос и, скосив глаза в сторону Иванькова, укоризненно сказал:

— Исторический прогресс прошел мимо тебя. Ты не...

Но Шурупов не дал ему закончить:

— Я так и знал, что серьезного разговора у нас не получится. Иваньков, как всегда, со своим «бац в голову», а Антушевский со своим «историческим прогрессом». А поговорить надо было бы. Невмоготу стало рабочему человеку. Расценки снижают, штрафы растут. И что получается? Выхода нет?

— Есть выход, — не спеша ответил Шелгунов. — У рабочего класса имеется острое оружие, а вы тут этим оружием ни разу не воспользовались.

— Какое такое оружие?

— Стачка.

Гаврилов поднялся на ноги и, оправляя косоворотку, сказал пренебрежительно:

— Не знаешь ты, Шелгунов, наших порядков. На Обуховском стачки не устроишь. Маргаритка следит за нами в тысячу глаз.

— А на других заводах нет этих Маргариток? — улыбнулся Шелгунов. — Всюду они есть, а рабочие все же стачки устраивают.

Поднялся и Дюжаков. Он взял с земли свою удочку, проверил, хорошо ли закреплен крючок, и, не глядя ни на кого, сказал добродушно, по-стариковски:

— Сегодня солнышко сияет, потому что лето, а наступит осень — польют дожди. — Взял удочку на плечо и ушел.

— Что вы хотели сказать? — полюбопытствовал Шелгунов.

Дюжаков повернулся вполоборота и с горечью ответил:

— Так было, так будет. Плетью обуха не перешибешь.

Гаврилов сдвинул картуз к правому уху.

— Глупо, Дюжаков: так было, но так не должно быть. И Иваньков глупости говорит: стреляли уж в царей, в министров, а рабочему какая была от этого польза? Никакая! Мы должны наступать целой армией. Рабочей армией. Вот тогда будет толк. А пока одни разговоры. Прощайте, товарищи: я на разговоры не мастер.

Иваньков задергался, закашлялся и сказал с ехидной улыбочкой:

— Тоже... революционеры называются.

— А вы? — обратился Шелгунов к остальным.

— Мы, — помедлив, ответил Шурупов, — с тобой со-

гласны. Авось удастся растормошить народ. Верно я говорю? — спросил он Антушевского и Громова.

Ответа на свой вопрос он не получил: прибежал Толя Ермаков. Тяжело дыша, он выпалил:

— Паук идет!

Вскоре явился жандарм. На косогоре никого не было. Громов и Шурупов купались; под ивой сидели три рыболова. Дело обычное для воскресного дня.

8

В среду, через два дня после совещания на косогоре, зашел в станочную Маргаритка в снежно-белом кителе, в белых туфлях. Он шел не спеша, оглядываясь по сторонам. У верстака Шелгунова он остановился. Василий Андреевич, не обращая внимания на подполковника, занимался своим делом. Маргаритка исподлобья взглянул на Шелгунова:

— Здравствуйте, господин Шелгунов.

— Здравия желаю, господин подполковник, —ответил Василий Андреевич, не отвлекаясь от работы.

— А вам не кажется, что вы должны были меня приветствовать первым?

— Нет, ваше высокоблагородие, не кажется. В императорской гвардии меня учили, что солдат в строю не должен никого приветствовать, даже его величество. А рабочий у станка — это то же, что солдат в строю!

Маргаритка не нашелся, что ответить: прав, подлец! И, дернув плечом, ушел.

Смелый ответ новичка вызвал такое оживление в станочной, что за разговорами не слыхать стало треска передаточных ремней.

На следующий день Шелгунова перевели в модельную. Там работали всего двое: пузатый, с красным одутловатым лицом фрезеровщик Панченко и лекальщик Александр Калинкин, худой, очень подвижной человек с рыжеватой бороденкой.

В первый же день Панченко устроил Шелгунову допрос: кто, откуда. Калинкин не принимал участия в разговоре, лишь изредка вскидывал он кверху свою козлиную бородку и незлобиво говорил: «Язви твою душу».

...Как-то зашел в модельную генерал Власьев. Панченко и Калинкин стремительно вскочили на ноги.

Поднялся и Шелгунов. Позванивая шпорами, генерал подошел к Панченко, протянул ему чертеж:

— Выручайте, дружок. До зарезу нужно завтра к трем часам.

Панченко долго разглядывал чертеж, наконец, уставясь на генерала маленькими глазками, робко ответил:

— Не справлюсь, ваше превосходительство. Замо́к больно сложный.

— Один не справитесь, — с наигранным добродушием сказал Власьев, — втроем будете работать. И по пятерке на брата заработаете. За один день работы — пять рублей, — пояснил он, словно рабочие не понимали, какое богатство их ждет.

Панченко прикинул что-то в уме.

— Сделаем, ваше превосходительство!

Генерал ушел. Панченко подозвал к своему станку Калинкина и Шелгунова.

— Очень сложный замо́к, — пояснил он, показывая на чертеж. — Особенно этот узел.

— Работенка, язви твою душу!

Панченко, не обращая внимания на Калинкина, продолжал:

— Я выточу валик. Ты, Калинкин, футляр. А ты, Шелгунов, сделай сцепление.

Василий Андреевич, склонившись, проверил циркулем какие-то детали на чертеже, потом выпрямился и заявил:

— Не успею к сроку. Работа тонкая, нужна большая точность, а инструмент у нас никудышный. Пока добьешься точности, десять деталей запорешь. Отказываюсь.

— А я говорю, будешь делать! — вспылил Панченко.

— Ты чего, Микола, распетушился? Не хочет Андреич, ну и бог с ним. Вдвоем с тобой справимся.

— Молчи! — отмахнулся от Калинкина Панченко. — Будешь, Шелгунов, делать?

— Не буду.

— Микола! Чего ты к человеку пристал? Нам же лишняя пятерка достанется.

— Молчи! Не с тобой разговор!

— Почему не со мной? Я что? Язви твою душу! Не человек?

— Молчи, козел!

— Не хочу молчать! Будет! Получай свой чертеж!

И я отказываюсь! Язви твою душу! — Он схватил со стола несколько инструментов. — Посмотри! Это напильник? А где нога у циркуля? — Он повернулся к Шелгунову.— Ты прав, Андреич, барахло это, а не инструмент! Вместо часа пять проработаешь! — И, становясь в позу, ловко передразнивая генерала, сказал: — «За один день работы пять рублей». Язви твою душу! Кровью достанется мне твоя пятерка! Сегодняшний день на ногах простою, ночь простою, завтрашний день простою, а там еще бабушка надвое гадала, управлюсь ли к сроку!

Панченко бросился вон из мастерской.

— К Маргаритке побежал, — мрачно промолвил Калинкин.

— Боишься?

— А если за ворота выкинет? — В голосе звучала тревога. — При теперешней безработице где место найдешь?

Василий Андреевич знал, что у Калинкина большая семья, лишись он работы — беда.

— Слушай, Калинкин. Придет Маргаритка, ты молчи, будто тебя не касается. Я буду с ним разговаривать.

Калинкин подошел к своему станку, и спустя мгновение уже слышался дробный клекот маленького молотка.

Вернулся Панченко; вслед за ним генерал Власьев.

— Что, дружок, — обратился он к Шелгунову, — вы как будто чем-то недовольны?

— Всем доволен, ваше превосходительство, и поэтому не хочу подвести вас. Заказ вы нам дали сложный и делать его надо к сроку. — Он показал генералу несколько инструментов. — Посудите, ваше превосходительство, можно таким инструментом добиться точности?

Генерал перевел взгляд с инструмента на Шелгунова. Смотрел долго, пристально. Наконец спросил:

— Почему вы мне сразу об этом не заявили?

— Ваше превосходительство беседовали с мастером, и я не смел вмешаться в ваш разговор. Так меня в императорской гвардии учили.

Спокойное лицо, спокойный голос.

— Панченко, пожалуй, он прав. Я прикажу выдать вам новый инструмент.

Весть об этом быстро разнеслась по заводу. Во всех мастерских плохой инструмент, а администрация требовала большой точности. За неточность браковали, штрафовали. Значит, подумали обуховцы, если взяться за де-

ло с умом, как это сделали в модельной, то можно кое-чего добиться!

Первыми выступили кузнецы, по предложению Шурупова. Срочную работу они задержали на три дня. Когда Маргаритка, дрожа точно в лихорадке, набросился на Шурупова, тот деловито ответил:

— Хорошо, ваше высокоблагородие, что только на три дня запоздали. С таким-то инструментом...

Через несколько дней все мастерские потребовали новый инструмент. Тогда генерал сказал Маргаритке:

— Разыграно как по нотам. А дирижирует тот... из модельной.

Маргаритка воспринял эти слова, как выговор.

— Выкину его!

Генерал, несколько минут спустя, сказал:

— Только без шума.

В ближайшую получку Шелгунова обсчитали на два рубля. За неделю он заработал шесть рублей, а выплатили ему четыре. Кассир, старик с бельмом на глазу, передавая ему деньги, сказал с издевкой:

— Не густо зарабатываешь.

— Видать, больше не стою.

Тут же возле окошка стоял Панченко.

— Ты чего лазаря поешь! — накинулся он на Шелгунова. — Загляни в свою книжку! Я тебе шесть рублей подписал! Обсчитали тебя, болван! Требуй свои деньги!

Шелгунов улыбнулся и отошел от окошка.

Когда подполковник Иванов хотел разделаться со строптивым рабочим, он отдавал приказание обсчитать его при выдаче получки. Кассир делал это охотно: недоданные рабочему деньги шли в его карман. Рабочий, конечно, протестовал, требовал заработанное. Являлся унтер Заставный, брал «скандалиста» под руку да в проходную. Бляху долой, пинок в спину и за ворота. Просто, чинно, без шума.

Шелгунов не скандалил, не требовал заработанных денег. Его не удалось вышвырнуть «без шума».

9

В эту же субботу, когда Шелгунов отошел от кассы, его остановил Василий Шурупов:

— Еще двое к нам пристали. Давай соберемся завтра.

Давно ждал Василий Андреевич этих слов, но ему все же пришлось отодвинуть первое собрание.

— Соберемся в понедельник.

— Зачем откладывать?

— Завтра не могу, занят.

После совещания на косогоре Шелгунов сдружился с Иустином и его дружками. Почти ежевечерне он отправлялся с ними на Неву, читал им или рассказывал кое-что из своей жизни. На коротком своем веку Шелгунов встречался со многими интересными людьми и был участником многих трагических и смешных происшествий. Об этом он умел рассказывать увлекательно.

Завтра, в воскресенье, они должны собраться в Мурзинском лесу. Василий Андреевич хотел им рассказать эпизод из французской революции: как парижский мальчонка вскарабкался на одну из башен Бастилии и под пулями королевских солдат водрузил там трехцветное знамя свободы. Этот рассказ должен был многое разъяснить. Василий Андреевич не знал, чего парнишки ждут от него: просто занимательных рассказов или рассказов о революционных событиях. Он не знал, чем сплотить этих разных по характеру подростков: серьезного Толю Ермакова, восторженного Колю Юникова, рассудительного Иустина Шнитовского, диковатого Фому Кармазова и хмурого Сережу Тетина. Василий Андреевич не задавался целью готовить из них революционеров, но просто ублажать их сказками он тоже не собирался.

В воскресенье он пошел в лес. Стояла поздняя осень. Сквозь кроны вековых сосен пробивались лучи нежаркого солнца.

Вот они, его мальцы. Коля Юников стоит растерянный: голова поникла, руки свисают как плети. В одной руке — свернутая в трубочку тетрадь. Толя Ермаков говорит что-то быстрым, захлебывающимся голосом. Остальные лежат на земле и молчат.

— О чем спор? — спросил, подойдя, Василий Андреевич.

Толя Ермаков вопросительно взглянул на Юникова, как бы спрашивая: «Сказать?»

— Видно, браточки, дело у вас серьезное.

— Очень серьезное! — откликнулся Ермаков. — Коля! Прочитай свое стихотворение Василию Андреичу!

Юников прочитал. Стихи были наивные, беспомощные. Коля волновался, проглатывал слова:

Скажи-ка, дядя,
Почему рабочий класс
Холодает, голодает,
А паука-фабриканта
От жратвы распирает?

Василий Андреевич знал, что Юников пишет плохие стихи. Но, подумал он, почему сегодняшнее стихотворение так взволновало Толю Ермакова? Во время чтения Шелгунов не сводил глаз с Толи: паренек поминутно менялся в лице.

— Что скажете, Василий Андреич? — спросил Толя.

— Что сказать, — начал Шелгунов осторожно. — Хорошо, что Коля пишет о рабочем классе, а не, скажем, об ангелах. Но, видите ли, браточки, о рабочем классе надо писать не хуже, чем, скажем, Лермонтов написал об ангелах. Помнишь, Коля? «По небу полуночи ангел летел». Какая легкость, какая звучность, какая глубокая мысль. А у тебя? Не мысль, а мыслишка, а слова — тяжелые, грубые. И знаешь, Коля, почему у тебя так получается? Потому что ты мало видел, мало думал и очень мало читал. Согласны со мной, браточки?

Ермаков рванул Колю за руку:

— Понятно тебе? А ты мне что сказал? «Брошу завод! В Питер подамся! В поэты выйду!» Теперь ты слышал, что сказал Василий Андреич? Надо много и много учиться, чтобы выйти в поэты!

Фома Кармазов презрительно фыркнул:

— На черта ему Лермонтов, он и без Лермонтова проживет.

Иустин сказал примирительно:

— Все же хорошо, что Коля поэт.

Сережа Тетин отвернул голову.

— А ты, Коля? — спросил Шелгунов.

Коля разорвал тетрадку, отряхнул руки, словно к ним что-то пристало, и, глядя на Шелгунова смеющимися глазами, восторженно сказал:

— Буду много читать и много писать!

— Вот это серьезный ответ, — похвалил Шелгунов.

— Прекрасный ответ! — воскликнул Толя Ермаков. — А то в самом деле: «Брошу Обуховский!»

— Захочет бросить, тебя не спросит, — буркнул Фома Кармазов.

— Товарищ называется! — рассердился Ермаков. — Что, у Коли капитал имеется, чтобы сидеть дома и стихи писать? Босяком станет! Вот что! Погибнет парень! А ты, товарищ называется, толкаешь его в босяки.

Тут только понял Василий Андреевич, что взволновало Толю Ермакова: его беспокоила судьба товарища.

Собрались у Яковлевых. Мужчин было семеро — и все Василии: те двое, которых привел с собой Шурупов, тоже оказались Василиями. Женщин — одна: хозяйка, Марфа Тимофеевна. Собрались разные люди. Василий Яковлев — бывший «Брусневец». Василий Антушевский — юноша лет двадцати — двадцати одного — еще в Питере, работая подручным в железнодорожных мастерских, посещал марксистский кружок. Марфа Тимофеевна сама вела кружок на фабрике Торнтона. Она не читала ткачихам умных книжек, речей не произносила. Она беседовала с ними о том, что работа нездоровая, что жизнь собачья. Остальные, как и Шурупов, новички.

Все сознавали — в их жизнь входит что-то тайное и опасное. И это тайное волновало.

Марфутка, прижавшись головой к плечу матери, дремала: разговоры казались ей неинтересными.

Шелгунов понимал настроение своих товарищей и не торопился. Он дал им возможность присмотреться друг к другу.

Громов спросил Василия Яковлева:

— Правда — нет, что ваш генерал раздает рабочим саженцы какой-то особенной яблони?

— Кажись, да, — ответил Яковлев уклончиво.

— Вот бы мне несколько корней добыть! — загорелся Громов.

Этот незначительный разговор о саженцах показался Шелгунову приличным поводом для серьезной беседы.

— Выходит, благодетель наш генерал, — сказал он, глядя в возбужденные глаза Громова. — Саженцы раздает рабочим...

Шелгунов достал из кармана записную книжку, перелистал ее и, найдя нужную страницу, обвел всех быстрым взглядом.

— Давайте, браточки, посмотрим, кто кому благоде-

тельствует: генерал Власьев рабочим или рабочие благодетельствуют генералу Власьеву. Вот сообщу я вам, сколько миллионов рублей получает Обуховский завод за пушки и катера, которые мы с вами, браточки, делаем, и сколько рубликов мы с вами получаем за эти пушки и за эти катера.

Вступление заинтересовало всех. Антушевский, причесав пятерней волосы, придвинулся к столу. Василий Шурупов уселся боком и, зажав бороду в кулак, впился глазами в Шелгунова. Василий Яковлев прикрыл глаза ладонью. Марфа Тимофеевна спрятала под косынку выбившиеся волосы, вытерла губы и застыла, готовая слушать большую речь...

Распахнулась дверь, и в комнату вбежал Иустин Шнитовский: он с мальцами дежурил на улице.

— Паук идет сюда!

Все вскочили с мест. Марфутка встала впереди Шелгунова, словно решила защищать его своим хрупким тельцем.

Хозяйка спровадила кружковцев на чердак, а своих— по спаленкам. Комната опустела. Марфа Тимофеевна оправила скатерть на столе, уселась и принялась за вязание.

Появился Паук — жандармский унтер: высокий, худощавый, с сивыми усами и густыми подусниками, которые придавали ему сходство с Александром II. Он снял круглую барашковую шапку и, не дожидаясь приглашения, уселся.

— Шел мимо и подумал: дай-кась зайду к Яковлевым... У вас как будто табачком попахивает? — спросил он неожиданно, принюхиваясь и подозрительно оглядывая комнату.

— Нахлебник на мою голову свалился, — улыбнулась Марфа Тимофеевна. — Дымит, что твоя фабричная труба.

— А где он, ваш нахлебник?

— Где ему быть? Наелся, стаканов пять чаю выдул и спать завалился. Хорошо еще, что гармонь ему под руку не подвернулась. А то, как начнет песни играть, до полуночи не угомонится.

Жандарм придвинулся со своим стулом к Марфе Тимофеевне и заговорил шепотом:

— Постоялец ваш — сумнительный человек. Ветром

его нанесло, ветром и унесет. Смотрите, хозяюшка, как бы еще чего вашего не прихватил.

— Какие наши богатства, — вздохнув, ответила Марфа Тимофеевна. — Липовы два котла, да и те сгорели дотла. Пусть берет, если совести в нем нет.

Паук, поглаживая лежавшую на столе барашковую шапку, говорил добродушно, ненавязчиво:

— Хозяюшка, поверьте моему слову. Постоялец ваш в случае чего сбежит, а вам с семейством тут оставаться. И страдать-то вам из-за кого? Кажись, не брат он вам и не сват. Прогнали бы его, а? От греха бы подальше. Спокойнее вам будет без него.

— Спасибо, милый, за заботу. Непременно поговорю с ним.

Жандарм ушел; отгремели его тяжелые шаги.

— Спускайтесь, товарищи! — крикнула Марфа Тимофеевна.

Через несколько минут Шелгунов уже продолжал свой рассказ о том, как обкрадывают рабочих на Обуховском заводе.

Его слова причиняли боль, и эта боль отражалась в глазах кружковцев.

10

Долго не налаживалась работа кружка «Семи Васильев». В речах Яковлева слышались отзвуки учения народников об «идеальном царстве всеобщей правды и справедливости». Он уговаривал кружковцев не торопиться, не «гнаться за журавлями в небе».

С Антушевским было еще сложнее. Он частенько вежливо прерывал Шелгунова:

— Мы намереваемся вести пропаганду, придерживаясь экономической теории Маркса, и поэтому я полагаю, что в начале всех начал нам самим надлежит обновить свой идейный багаж.

Выступления Яковлева настораживали кружковцев, а пространные «ученые» тирады Василия Антушевского отвлекали.

Решил тогда Шелгунов перестроить работу кружка, переключить кружковцев на конкретные дела. Он предложил готовиться к стачке. В стране, пояснил он, назревает кризис, и фабриканты уже начали снижать расценки.

Собрались на квартире Шурупова.

Еще тогда, на косогоре, Василий Андреевич обратил внимание на необычный для кузнеца облик Шурупова. Длинный сюртук, белая рубаха с черным шелковым шнурком. И квартира Шурупова была обставлена не по-рабочему: коврики, фарфоровая посуда, плюшевые диванчики. Понял Шелгунов: кузнеца интересуют «материальные» лозунги революции, «экономические» блага, и для достижения этих благ он трудов не пожалеет.

На предложение Василия Андреевича первым откликнулся именно Шурупов. Обычно степенный, сдержанный, он заговорил горячо и сам же взял на себя самую опасную долю работы: он взялся организовать стачечный фонд.

Быстро договорились и об остальном: кассу взаимопомощи поручили организовать Антушевскому, библиотеку — Василию Яковлеву.

Занятия с подростками увлекали Шелгунова. Он вспоминал себя в их возрасте. Работал он тогда в переплетной мастерской: варил клей. Весь день его тошнило. Зато ночью блаженствовал. Выбирал из кучи книг какую-нибудь потолще и читал до рассвета: о неграх, об акулах, о звездах. В пятнадцать лет он уже много знал, но был куда наивнее своих теперешних учеников. В пятнадцать лет, живя в столице, читая умные книги, он оставался деревенским парнем, которого все удивляло. Они же, его теперешние ученики, ничему не удивляются. Правда, они не знают, где добывается слоновая кость и куда ездил Марко Поло, зато прекрасно разбираются в вопросах, о которых он, Шелгунов, в пятнадцать лет и не думал. Они знают, что капиталист и рабочий смертельные враги и что капиталиста охраняет царь со своими жандармами и войском. От Шелгунова они требовали рассказов о Пугачеве, о декабристах, о народовольцах — обо всех, которые боролись с царем.

Шелгунов рассказывал не только о прошлом, но и о сегодняшнем дне: о марксистах, о Ленине и его кружке «стариков».

...Собираться под открытым небом стало невозможно: осень была дождливая и холодная.

— Пойдем ко мне, — предложил Иустин Шнитовский. — У нас большая квартира.

У Шнитовских действительно была «большая» квартира: две клетушки в покосившемся домике.

В первой комнате сидела на корточках Аграфена Власьевна, мать Иустина, — растапливала печку. Подняв глаза на Шелгунова, она сказала приветливо:

— Входите, входите, — и, увидев за спиной гостя ватагу молодежи, рассмеялась: — Да за вами целый хвост.

— А мы вам не помешаем?

Из-под черного платка блеснул укоризненный взгляд.

— Нам никогда никто не мешает! — Аграфена Власьевна поднялась. — Вася! Посмотри, кто к нам пришел!

Из второй комнаты вышел мужчина гигантского роста, длинноволосый, как поп, с крупными чертами лица, с бородой лопатой. Окинув Шелгунова быстрым взглядом и увидев кучу подростков, он досадливо поморщился, но тут же улыбнулся и, протянув руку Шелгунову, дружелюбно сказал:

— Это вы-то с огольцами возитесь? Значит, вы и есть Василий Андреевич? Груня, ты бы нам чаек изготовила.

— Не надо! — запротестовал Шелгунов. — На такую ораву десяти самоваров не хватит.

— Это уж дозвольте мне знать, надо или не надо,— добродушно сказала Аграфена Власьевна. — Воды в Неве хватает, а время как раз чаевное. И самовар уже закипает.

— Может, чего-нибудь покрепче потребляете?

— Не грешен, Василий Федорович.

— Вот за это хвалю, — обрадовалась Аграфена Власьевна. — И мой-то не пьет, и мальчики мои не пьют.

— Расхвасталась, — буркнул Василий Федорович и, видимо, для того, чтобы объяснить свою резкость, прибавил: — Ее хлебом не корми, а дай поговорить о мальчиках.

— А ты будто не любишь своих мальчиков?

— А ты будто хотела нас чаем попотчевать, — в тон жене ответил Василий Федорович.

— Бегу!

И выбежала из комнаты. За ней последовал Иустин с товарищами.

— Садитесь, — предложил Василий Федорович, когда они с Шелгуновым остались вдвоем. — Привыкли уже к нашим порядкам?

— Нет, Василий Федорович. Не могу привыкнуть, да и не хочу.

— Как вас понять?

— В скотинку хотят меня превратить, а я не даюсь.

— А кто считается с тем, что вы хотите?

Шелгунов положил руку на плечо Шнитовскому:

— Василий Федорович, честно скажите, вам нравятся эти порядки?

— А я о них не думаю. Не этим голова занята.

— Я знаю, что вы заняты замком для мортиры. Говорят, вы двадцать моделей уже сделали. А платят вам за эти модели? Не платят. Заплатят вам за одну, за последнюю, и то только тогда, когда ее утвердят. А семья в это время как живет? Иустин обедает хлебом с репой.

Шнитовский поднялся и, приглашая Василия Андреевича кивком головы, направился во вторую комнату.

Комната в два окна. В простенке между окнами стоял верстак. В углу — кровать, на которой громоздились подушки одна другой меньше.

Василий Федорович взял чертеж с верстака.

— Видите замо́к? Ученый инженер сработал. Все верно, все правильно. Ни к чему не придерешься. А замо́к, если его сделать по этому чертежу, будет плохо работать. Видите ложбинку? При нагреве край расширится и точного попадания не получится. Не могу, понимаете, Василий Андреич, не терплю плохой работы. Совесть не позволяет. Поработаю год, два, а сделаю. Надо уважать свое ремесло. Не лишь бы сделать, а делать с душой.

— Иванов за эту душу вам даже спасибо не скажет.

— А на черта мне ивановское спасибо! — сердито откликнулся Шнитовский. — Россия мне спасибо скажет!

— Скажет, Вася!

Шелгунов оглянулся на голос: на пороге стояла Аграфена Власьевна. Сияющими глазами смотрела она на мужа. У нее был вид человека, который, не скрывая, гордится своим счастьем. Оно светилось в ее глазах, играло в ее улыбке, в задорном наклоне головы, оно преображало Аграфену Власьевну: ее сухое, с желтыми отливами лицо показалось Шелгунову красивым, обаятельным.

Но, как бы вдруг застеснявшись, Аграфена Власьевна сдержанно добавила:

— Сынки поддержат... Феденька вскорости с военной вернется. Тоже ведь золотые руки...

— Как у тебя с чаем?

— Самовар готов. Я и пришла вас звать.

Шелгунов внутренне радовался, что разговор с Василием Федоровичем остался незаконченным. Живет человек впроголодь, чтобы дать России хорошую пушку, а ему вместо спасибо еще туже затянут цепи на руках.

— Василий Федорович, вам не попадалась книжка про тульского умельца? Он, видите, подковал английскую блоху, но благодарности от России что-то не получил.

— Не читал и читать не хочу! — сердито ответил Василий Федорович и шагнул через порог.

На столе уже была расставлена посуда. Аграфена Власьевна заваривала чай.

— А где мальцы?

— С Сережкиным отцом возятся.

Шелгунов вышел во двор. В большой и глубокой луже барахтался пьяный. Шелгунов узнал в нем Сережкиного отца: то же скуластое лицо.

— Паром идет! — вопил он хриплым голосом. — Паром идет! — и бил руками по воде, взметая густые фонтаны.

Недалеко от лужи боролись Толя Ермаков с Фомой Кармазовым. Толя рвался к луже, а Фома его удерживал. Иустин Шнитовский — немного поодаль — грустными глазами смотрел на пьяного. Вот пьяный поднялся и неуклюже, по-медвежьи, стал выбираться из лужи. Он уже поставил одну ногу на сухое. Фома Кармазов рывком освободился от Толи и толкнул Сережиного отца обратно в воду.

— Дурак! Болван! — раскричался Толя Ермаков. — Ведь он простуду схватит!

— Пусть!

Шелгунов взял пьяного за шиворот и вывел его из лужи. Потом подошел к Фоме Кармазову:

— Зачем ты это сделал?

— Зачем? — сверкнул глазами Кармазов. — Идемте!

Он привел Шелгунова в пустую комнату: ни мебели, ни посуды, ни даже кровати. На охапке соломы сидели, прижавшись друг к дружке, две девочки: лет шести и пяти, тоже похожие на Сережу Тетина. Печальными глазенками смотрели они на Колю Юникова и на братца Сережу, которые кувыркались, гримасничали и строили

смешные рожи, — все для того, чтобы рассмешить несчастных детей.

— Видите? — зло спросил Кармазов. — Все из дому пропил! Дети голодают!

Ворвался в комнату Ермаков.

— Василий Андреич! Скажите ему, что он болван! Пьяного вздумал учить!

Василий Андреевич ничего не сказал: ему было трудно сразу решить, кто из них двоих прав. Да и важно ли это? Возможно, оба правы. А вот поведение Иустина не понравилось Шелгунову: ни за, ни против.

Об этом надо еще сегодня поговорить с ним!

11

Антушевский и Шурупов рьяно принялись за организацию фонда и кассы. Они агитировали в мастерских, в кубовой, в трактирах. Антушевский говорил кудревато, вроде: «Мы с вами представители нового поколения, и на наши плечи ложится ответственность за ход истории»... Шурупов же говорил просто:

— За хорошую жизнь надо бороться. Вот так, как борются рабочие на других заводах. Скажем, стачка. Прежде чем пойти на стачку, надо к ней хорошенько подготовиться. О семействе надо подумать. Кто будет семейство кормить во время стачки? Вот для этого устраиваются стачечный фонд и касса взаимопомощи. Это вроде копилки. Есть сегодня свободная копейка, давай ее в копилку. Будет стачка, получай из копилки...

Обуховцев не пришлось особенно агитировать: они охотно предлагали свои гривенники. Но как под носом у Иванова и его шпионов собирать эти гривенники?

Шелгунов наладил на это дело мальцов. Парнишки работали в разных мастерских; им сообщили, кто из их мастерских состоит членом кассы. В дни получки пареньки усаживались на ступеньках конторы, как бы поджидая отцов, а идущие мимо них члены кассы отдавали им свои гривенники. Но вскоре число членов перевалило за две сотни: потребовались списки, отметки. Антушевский предложил смелый, пожалуй, даже дерзкий план. По субботам, когда бесконечной лентой наматывалась очередь к кассе, Антушевский взбирался на скамью и, постукивая карандашом по тетради, зазывал:

— Подходите, православные! Сделайте божеское дело! Жертвуйте по силе возможности на пропитание солдатской женки!

А стоявший у его ног Шурупов подхватывал:

— Сама она больна, третий месяц в постели мается, а дети голодные бегают!

Бывало, что какой-нибудь мастер, расчувствовавшись, просил и его «записать» на четвертак. Антушевский в таких случаях благодарил с ехидцей:

— Всегда бы так поступали, уважаемый. Тогда и голодных было бы меньше.

...Василий Яковлев собирал библиотеку с юношеским увлечением: выменивал, выпрашивал, покупал. Прошел всего месяц после решения кружка, а в шкафу уже пятьдесят книг. Яковлев не ждет читателей, сам разносит книги по мастерским, по домам.

В рапортах жандарма Паука появилась новая графа: «пропаганда революционных идей путем распространения вредных книг».

В последнюю субботу 1894 года во время обеденного перерыва стояла густая очередь к окошку кассира. Шелгунов, прислонившись плечом к стене, читал газету. К нему подошел Гаврилов: как всегда, подтянутый, с подкрученными усами.

— Что-то перестали на солдаток да на погорельцев собирать, — сказал он.

Уже вторую субботу не собирали членские взносы в кассу: Антушевский переехал в Питер, а нового человека вместо него кружок еще не выделил.

— Никто, видать, не горит, — хотел Василий Андреевич отделаться шуткой.

— Человека нет или кассу решили прикрыть? — не отставал Гаврилов.

Шелгунов насторожился: кто он, этот рабочий с выправкой фельдфебеля?

— А тебе какое до этого дело?

— Есть, если спрашиваю.

— Помочь хочешь?

— Именно.

— Так почему ты в сторонке стоишь?

— Уже говорил тебе: я военный человек. Придет время — повоюю. А пока не вмешиваюсь.

— И не вмешивайся.

— Глупо рассуждаешь, Шелгунов. Одно дело — кружок, другое дело — касса. Кружок, по моим понятиям, пустая болтовня. А вот касса, по моим понятиям, дело нужное. Вроде как бы цехгауз для военного припаса.

— Что ты предлагаешь?

— Ставь меня вместо Антушевского.

Солидный слесарь с солдатской выправкой внушал доверие.

— Зайди ко мне, поговорим.

...В эту же субботу, минут за десять до гудка, вбежал в модельную унтер Заставный.

— Шелгунов! Генерал тебя требует!

Панченко выпалил со злорадством:

— Допрыгался!

Калинкин суматошливо достал из кармана пачку махорки:

— Бери, Андреич, и не поминай лихом.

Василий Андреевич также не ждал хорошего от визита к генералу: или выгонят, или арестуют.

Генерал Власьев был один в кабинете. Он стоял спиной к черной круглой печи и приветливо смотрел на вошедшего Шелгунова.

— Знаете, дружок, зачем я вас пригласил?

— Не могу знать, ваше превосходительство!

Власьев отошел от печи, взял с письменного стола линейку, тут же ее положил обратно на место и, повернувшись к Шелгунову, сказал:

— Мне доложили, что вы собираете книги для рабочей библиотеки. Сколько вы, дружок, наскребете? Двести, триста книг. Для шеститысячной массы это капля в море. Не лучше ли будет, господин Шелгунов, если мы библиотеку при воскресной школе превратим в общезаводскую? Вы дадите мне список книг, какие вы считаете полезными для рабочих...

Шелгунов стоял навытяжку, руки по швам. Он почтительно смотрел на генерала и думал: здорово перепугался, старый хрыч, если вынужден хитрить со своим рабочим.

— Что скажете, дружок?

— Мне лестно, ваше превосходительство, что вы вызвали меня для совета. Но, к сожалению, ваше превосходительство, я этой чести не заслужил. К рабочей библиотеке я никакого касательства не имею.

— А кто имеет?

— Не знаю, ваше превосходительство. Я библиотекой не пользуюсь. — И, чтобы придать своим словам оттенок чистосердечия, он добавил: — Мне предложили «Конька-Горбунка». «Посерьезнее книги нет в вашей библиотеке?» — спросил я. Дали мне баллады Жуковского.

— Кто дал?

— Мальчонка какой-то забежал в модельную.

Генерал Власьев понял, что разговор не удался.

12

Мела февральская вьюга. Ветер гнал колючий снег в сторону Петербурга.

Панченко и Калинкин ушли обедать. В модельной остался один Шелгунов.

Вбежал Сережа Тетин — разгоряченный, в распахнутом полушубке.

— Василий Андреич! У вас будут обыск делать!

— А ты откуда знаешь?

— Матрос говорил с Маловым. Я все слышал. Я за горном стоял. Они меня не видели. Если есть у вас запретное, дайте мне... Спрячу...

— Нет у меня ничего запретного. Пусть приходят, пусть ищут.

Сережа был разочарован: он был уверен, что своим сообщением оказывает услугу Шелгунову, а тот — «пусть приходят, пусть ищут»!

Василий Андреевич понял настроение паренька.

— Ты хорошо сделал, что сюда прибежал, — сказал он серьезно. — Нашему брату надо всегда быть начеку.— И пожал ему руку, как взрослому.

Выпроводив Сережу, Василий Андреевич зашел в кузницу — хотел предупредить об обыске Шурупова. Его оглушил удушливый запах перегорелого в коксе металла. Несколько человек сидело вокруг горна. На горне лежал лист кровельного железа, и в буром, пенящемся, как мыло, техническом масле жарилась картошка.

Шелгунов всматривался в огненные лица кузнецов. Шурупова среди них не было.

— Садись, сосед, — пригласил один из кузнецов. — Похарчись с нами.

От неприятного запаха могло стошнить самого непри-

хотливого едока, но Шелгунов и виду не показал, что его мутит. Он взял с листа картофелину, остудил ее, перекидывая с ладони на ладонь, и отправил в рот.

— Как думаешь, сосед, — спросил кузнец, — приходилось царю-батюшке такую вкусную картошку едать?

— Если не приходилось, — ответил Шелгунов, — то придется. Когда мы с ним местами поменяемся.

Ответ Шелгунова рассмешил кузнецов.

— А скоро предвидится такая перемена? — весело спросил один из них.

— Это уж, браточки, от нас зависит, — в тон ему ответил Шелгунов, но тут же добавил строгим голосом: — Не захоти мы есть вонючую картошку, вот и перемена состоится. Понял, кузнец? — И, не дожидаясь ответа, быстро ушел.

Шелгунов вернулся в модельную. Гудок еще не прогудел. Панченко уже сидел за своим станком.

— Успел пообедать? — спросил его Василий Андреевич.

Панченко промолчал.

«Подозрительно, — подумал Василий Андреевич. — Панченко явился до гудка, Панченко не ответил грубостью».

Шелгунов подошел к своему столу. Уходя из модельной, он оставил чертеж развернутым, а сейчас он свернут в трубку. «Чьи-то лапы тут побывали», — мелькнула мысль. Василий Андреевич присел, развернул чертеж и затянул:

Ах ты, доля, моя доля,
Доля горькая моя!

Незаметно выдвинул он ящик стола, пошарил в нем рукой и... нащупал пачку листовок. «Подкинули, гады!»

Ах, зачем ты, доля злая,
До Сибири довела?
Не за пьянство и буянство..

— Замолчи! — прикрикнул Панченко.

— До гудка моя воля, — беззаботно откликнулся Шелгунов. — Хочу пою, хочу пляшу. — Он повернулся к Панченко. — Но, если я тебе мешаю, уйду!

— Убирайся к черту!

Шелгунов ушел. Свистел ветер, кружил снег. За углом, в дощатой пристройке, помещалась кубовая. Туда и забежал Василий Андреевич. Несколько рабочих, сидя на корточках, пили горячую воду. Шелгунов также опустился на корточки, помешал кочергой дрова в топке и, выждав удобную минуту, бросил листовки в огонь.

Прогудел гудок. Он звучал отрывисто.

Рабочие направились в свои мастерские. Шелгунова нагнал Александр Калинкин.

— Замерз, язви твою душу!

Зашли в модельную.

— Смотри, — удивился Калинкин. — Микола уже тут!

— Убирайся к черту!

Калинкин рассмеялся.

— Хоть бы раз к своей жинке послал! А то все к черту да к черту!

— Не пошлет он тебя к своей жинке, — подзадорил Шелгунов товарища. — Знает, что она обрадуется веселому человеку. — Василий Андреевич, таясь, залез рукой в ящик стола: не подбросили ли еще чего? — Скажи, Панченко, почему ты такой злой? Уродился таким? Или тебя таким сделали?

— Молчи, арестантская душа!

— Собака ты, Панченко, — жестко ответил ему Шелгунов, — потому и на людей кидаешься.

В модельную гуськом вошли унтер Заставный, жандарм Паук и три матроса. Замыкал шествие подполковник Иванов. На дворе вьюга, а Маргаритка был в одном кителе: спешил ли он или удаль свою хотел показать? Модельщики встретили начальство стоя. Шелгунов перехватил взгляды, которыми обменялись Иванов и Панченко: в глазах Панченко злорадство, глаза Маргаритки искрились, словно к ним поднесли яркую лампу.

Иванов бросил, ни к кому не обращаясь:

— Начинай!

Паук и унтер Заставный подошли к столу Панченко. Они выдвинули ящик, пошарили в нем, хотя видно было, что, кроме напильника, в нем ничего не лежало.

— Личный обыск прикажете? — спросил Паук.

— Не надо.

Так же тщательно принялись они за стол Калинкина. Паук перебирал инструмент за инструментом, несколько

минут он разглядывал кусок карандаша, а чертеж рассматривал на свет, словно искал водяные знаки.

Наконец подошел Паук к столу Шелгунова. На чертеж, лежавший сверху, на бумагу и карандаши он внимания не обратил. Бережно, с кошачьей плавностью жандарм выдвинул ящик и, не заглянув даже внутрь, выпрямился и четко отрапортовал:

— Есть, ваше высокоблагородие!

Маргаритка одним прыжком очутился возле стола, оттолкнул плечом жандарма и засунул руку в ящик.

Ящик был пустой.

Маргаритка оторопел.

— Где?! — рявкнул он, метнув злой взгляд на Паука, и, не дожидаясь ответа жандарма, повернул голову в сторону Панченко. — Где?!

Панченко пошарил рукой в пустом ящике и разъяренно уставился на Шелгунова.

— Обыскать!

Хотя Иванов не сказал, кого именно обыскать, но Паук сразу подошел к Шелгунову. Минут десять шарил он по карманам и ничего не нашел.

— Дурак! — бросил Иванов и направился к двери.

Шелгунов, Калинкин и Панченко провожали его глазами. Шелгунов — улыбаясь, Калинкин — недоуменно, а Панченко — обалдело.

Вдруг Иванов повернулся, злобным взглядом окинул рабочих и медленным шагом подошел к Калинкину.

— И ты, козел, — прошипел он.

— Это вы к чему? — добродушно спросил Калинкин, не понимая, что произошло.

Иванов съежился, у́же стал в плечах, по его лицу прошла судорога.

Василий Андреевич шагнул вперед, чтобы защитить товарища. Но, прежде чем он успел вмешаться, Маргаритка ударом в живот отшвырнул Калинкина и, оправляя на ходу вылезшие из рукавов жесткие манжеты, вышел из модельной. За ним последовали унтер Заставный, Паук и матросы.

Калинкин, падая, ударился головой о чугунную станину. Вскочив на ноги, он схватил молоток и кинулся вслед за Ивановым. Василий Андреевич его перехватил:

— Брось, Александр. Молоточком его не осилишь.

Закудрявились березы, нежной зеленью налились сосновые иглы. Дым из фабричных труб не таял, а растекался паутиной и медленно уходил в поднебесье.

В апрельский вечер получил Шелгунов открытку. Она была написана детскими каракулями:

«Дядя Вася, приезжай к нам во вторник. Маму скоро заберут в больницу. Пишет тебе твой племянник Ванюша».

Открытка была от Ивана Бабушкина: зовет на совещание. Слова «маму скоро заберут в больницу» означали, что Владимир Ильич собирается за границу.

Шелгунов поехал в Питер. В комнате Бабушкина ярко горела лампа. На подоконнике, между стеклами и занавеской, стояла бутыль с розовой жидкостью. Это был условный знак: все благополучно.

— Трудишься, Иван?

Бабушкин захлопнул книгу, поднялся навстречу гостю.

— Попробуй не трудиться! Мне теперь приходится с интеллигентами спорить. — Он усадил Шелгунова на диван, устроился рядом с ним. — Владимиру Ильичу легко: он все знает. В какой губернии сколько безлошадных, сколько какая шахта угля дает, во сколько фабриканту обходится пуд чугуна и сколько веретен работает, скажем, в Иванове. А мне-то каково? Затесался в компанию интеллигентов, изволь цифири знать. А у тебя как дела?

— Дел много, а пользы на грош. Совестно перед Владимиром Ильичем...

Бабушкин посмотрел на часы и заторопился:

— Андреич! Без двадцати десять! Бежать надо! Знаешь Владимира Ильича: назначил на полчаса одиннадцатого, изволь прибыть в полчаса одиннадцатого.

Они шли тихим переулком. В небе сияли звезды. На деревянных столбиках неярко горели масляные фонари. Два извозчика в приземистых шляпах шли в обнимку и пьяно горланили:

Не слышно шума городского,
За Невской башней тишина...

Шелгунов и Бабушкин шли размеренным шагом. У них был вид людей, прогуливающихся перед сном.

На совещание они явились с десятиминутным опозда-

нием, но и этого было достаточно, чтобы Владимир Ильич встретил их укоризненным взглядом.

Собрались представители самых крупных марксистских рабочих кружков, тех кружков, которые Владимир Ильич Ленин хотел объединить в единую социал-демократическую организацию. Собрались они в лаборатории. Все сидели за длинным столом, уставленным пробирками, склянками и цилиндрами. Горела одна лампа под синим абажуром.

Владимир Ильич сидел у конца стола, там, где стояла лампа. По одну сторону — Кржижановский. Тонкий, с огромным лбом и мягкими чертами лица, с крохотной бородкой и большими, чуть навыкате, глазами, Кржижановский сидел со скрещенными на груди руками и пристально смотрел в темный угол. По другую сторону Владимира Ильича — Старков, крупный, широкоплечий, с большим скуластым лицом. Он неотрывно следил за Шелгуновым и Бабушкиным и отвел взгляд только тогда, когда они устроились за столом.

Послышался громкий, приятно высокий голос Ленина:

— Расскажите нам, Иван Васильевич, как обстоят дела на Семянниковском.

Бабушкин рассказывал кратко, сжато.

Василий Андреевич Шелгунов знал, какая упорная, кропотливая работа кроется за скупыми словами Бабушкина. Марксисты руководят, по зову марксистов семянниковцы поднимутся на стачку! А на Обуховском?

— А у вас, Василий Андреевич? — порывисто повернулся к Шелгунову Владимир Ильич.

Шелгунов приступил к рассказу.

Собравшиеся товарищи слушали внимательно, но без того живого огонька, который обычно вспыхивал в их глазах, когда докладчик говорил о чем-то новом, интересном.

Шелгунов сам понимал, что нового, интересного не много в Александровском. Он замялся, хотел закончить. Тут он увидел мягкую, подбадривающую улыбку Владимира Ильича.

И как бы в ответ на улыбку Ильича родился у Шелгунова рассказ о пяти подростках с Обуховского. Он стал говорить взволнованно, с увлечением.

...Шелгунов ушел с совещания один. Он хотел остаться наедине со своими мыслями. Выступление Владимира

Ильича его поразило. Шелгунов был уверен, что в ответ на его сообщение Владимир Ильич скажет: «Вы, Василий Андреич, топчетесь на одном месте». А Владимир Ильич...

Зыбкое марево висит над ночным Петербургом. Дома кажутся призрачными. Но перед глазами Шелгунова стоит живая, подвижная фигура Ильича. Он говорит быстро, напористо, и все, что он говорит, ново, смело... Когда рабочие отдельной фабрики вступают в борьбу со своим хозяином, есть ли это классовая борьба? Нет, это только слабые зачатки ее. Борьба рабочих становится классовой борьбой лишь тогда, разъяснил Владимир Ильич, когда все передовые представители всего рабочего класса всей страны сознают себя единым рабочим классом и начинают вести борьбу не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов и против правительства, которое поддерживает класс капиталистов. Только тогда его борьба становится классовой борьбой...

Сложная теоретическая проблема, и с какой легкостью разрешил ее Владимир Ильич! Надо готовиться к борьбе не против отдельных хозяев, а против всего класса капиталистов, против царского правительства...

И рассказ Шелгунова о пяти подростках преобразился в партийную проблему, в программу. Владимир Ильич положил часы на стол и сказал, как бы специально для него, для Шелгунова:

— Вопрос о преемственности! Вопрос поднят весьма своевременно!

И речь Владимира Ильича лилась ясной, широкой струей. Он сказал, что надо прямо и открыто признаться — в этом отношении мы отстали от старых деятелей русского революционного движения. Мы должны широко привлекать рабочую молодежь, вести среди них пропаганду принципов и техники партийной организации, дисциплины и конспиративной техники. Такая пропаганда должна привести к выработке из молодых рабочих умелых руководителей революционного движения. Наша задача помочь массам находить руководителей в своей среде...

После этих ленинских слов учащенно забилось сердце Шелгунова, и не оттого, что Владимир Ильич одобрил его работу с подростками, а потому, что вдруг усомнился: оправдают ли подростки надежды Владимира Ильича?

14

Кузнечный мастер Малов подозвал к себе подручного Сережу Тетина и, показав пальцем на толстую стальную плиту, сказал:

— Бей в центр.

Плита лежала ниже уровня наковальни, и удары требовали точного расчета и большой сноровки. Опыта у Сережи еще не было. Он «смалил» со всего плеча, подражая солидному кузнецу, и, конечно, мазал. Он бил старательно, обливаясь пóтом, пока к нему не подошел Малов. Ничего не говоря, мастер двумя неожиданными оплеухами свалил паренька с ног.

Вечером собрались мальцы у Шнитовских. Был там и Шелгунов. Аграфена Власьевна сидела возле печи и накладывала заплату на юбку.

— Что делать? — спросил Иустин.

Фома Кармазов ответил со свойственной ему резкостью:

— Убить Малова!

У Сережи Тетина щека обвязана красным платком. Видны только глаза да широкий нос.

— Убить, — повторил он шепотом.

Коля Юников вскочил: его пшеничный хохолок разлетелся веером.

— Какой Пугачев выискался! — сказал он издевательски. — Убить! Просто это, Фома! Это больше чем просто: это глупо!

— Это глупо, — повторил Толя Ермаков последние слова Юникова. — Василий Андреич учил нас, учил, а тебе, Фома, наука впрок не пошла. Не по-рабочему ты рассуждаешь. Малов побил меня, я убью Малова! А ты, Фома, подумал, сколько у нас Маловых? Всех их перебьешь?

Фома Кармазов поднял воротник пиджака, словно ему стало холодно, и, прикрыв воротником пол-лица, глухо сказал:

— Цацкаться с ними...

Иустин покачал головой:

— Несерьезно это, Фома.

— Верно, сынок, — похвалила Аграфена Власьевна. — Нехорошо рассуждает Фома.

— Но так дело оставить тоже нельзя, — продолжал

Иустин. — Как по-вашему, Василий Андреич? Что вы нам посоветуете?

— Послушаю сначала, что вы сами предложите.

— Стачку устроить! — торжественно предложил Толя Ермаков.

— Чушь! — заявил Фома Кармазов. — Станут рабочие бастовать из-за Сережи!

— При чем тут рабочие? Я предлагаю устроить стачку подростков! Не одного Сережу бьют. Бьют всех подростков. Вот мы им и скажем: «Сегодня чуть не убили Сережу Тетина, а завтра могут тебя убить. Давайте потребуем, чтобы убрали Малова за то, что он мальчика покалечил». Как по-твоему, Фома, пойдут на это дело ученики? По-моему, пойдут.

Шелгунову не пришлось вмешаться: мальцы сами нашли достойный выход.

...Парнишки хорошо поработали. Они говорили с учениками в мастерских, на улице, на дому, и их доводы были убедительны. На пятый день после случая в кузнице только небольшая горсточка учеников вышла на работу.

Сначала это позабавило обуховцев: «Вот огольцы! Стачку устроили!» Потом возмутило. Рабочие привыкли: «Ванька, подай! Толька, сбегай! Витька, тащи!» И вдруг — ни Ваньки, ни Тольки, ни Витьки! Сам подавай, сам сбегай, сам тащи. Маргаритка принял «от ворот» десятка три подростков, но толку от них было мало.

Время было горячее, на Обуховском работали в две смены, а без опытных подручных не обойтись. Вызвал Власьев нескольких учеников. Парнишки так простодушно высказывались и с такой ребячьей искренностью смотрели на генерала, что он поверил: мальчишек обуял страх.

И Малова уволили. Правда, не совсем, его перевели на заводской катер. Но уж одно то, что «огольцы» добились изгнания из кузницы старого мастера, всколыхнуло все Александровское. Мастера осуждали поступок Власьева: «Из-за какого-то сопляка выгоняют семейного человека!» Рабочие торжествовали: «Свежим ветром подуло».

Этот «свежий ветер» встревожил Паука. Он положил перед Ивановым список с восемьюдесятью четырьмя фамилиями и коротко сказал:

— Их бы, ваше высокородие, выгнать.

Иванов просмотрел список:

— А кто будет пушки лить? Ты?

— Ваше высокородие, неспокойно на петербургских заводах.

Иванов нажал на кнопку звонка. Появилась Берсенева. Она была во всем белом, а на шее — черная бархатная ленточка, отчего ее шея казалась перерезанной пополам.

— Отобрать бляху у Шелгунова!

— Ваше высокородие, — вступился Паук, — с Шелгуновым повременили бы.

— Почему?

— Есть соображения.

Берсенева недоуменно взглянула на жандарма.

— Его и в списке нет, — продолжал жандарм. — Соображения, — закончил он многозначительно.

— Идите! — бросил Иванов девушке.

— А бляху отобрать?

— Не надо!

...После вечернего гудка Берсенева чуть ли не бегом заспешила к воротам. Там поджидал ее отец, морской офицер, — седая борода расчесана на два крыла.

Взяв отца под руку, она взволнованно сказала:

— С Шелгуновым затевают что-то нехорошее. Надо дать знать Мите.

— Во-первых, Сашенька, успокойся, а во-вторых, расскажи толком, что случилось.

Капитан Берсенев преподавал механику на воскресных курсах. В свободное время он обучал пению щеглов. В Александровском его считали чудаком. По субботам наезжал из Питера сын Митя — студент: весельчак, балагур. В последний свой приезд Митя уговорил отца показать своих певунов рабочим с Обуховского завода. Рабочие являлись небольшими группами. Птицы свистели, щелкали, перекликались, а один старый щегол с желтым набрюшником, забившись в дальний угол своей клетки, курлыкал по-журавлиному.

Однажды вечером звякнул в коридоре колокольчик. Сашенька пошла открывать дверь и удивленно взглянула на позднего гостя: Шелгунов!

— Мне бы Дмитрия Ивановича повидать.

Сашенька озадаченно:

— Дмитрия Ивановича? А вы его знаете?

Шелгунов не успел ответить: появился Митя. Он поздоровался за руку с Шелгуновым и увел его в комнату.

Сашенька, еле дождавшись ухода гостя, бросилась к брату:

— Митя? Ты его знаешь?

И Митя рассказал сестре, кто такой Шелгунов. Больше того, Сашенька поняла, что всю возню с птахами ее брат затеял только затем, чтобы иметь возможность встречаться с Шелгуновым на виду у полиции.

15

Сентябрь. Ленин вернулся из-за границы. С новыми силами принялся он за слияние петербургских марксистских кружков в единую социал-демократическую нелегальную организацию, принявшую впоследствии название «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Союз строился на принципах централизма, строгой дисциплины и тесной связи с массами. Основой Союза являлись рабочие кружки на заводах и фабриках.

Усилия Владимира Ильича увенчались успехом: «Союз борьбы» создан! Впервые в России стало осуществляться соединение социализма с рабочим движением! Смелее, упорнее стали работать бывшие кружковцы. Они выступали на заводах, писали листовки, стремились не отстать от неугомонного, стремительного Владимира Ильича.

...Прямо с завода пошел Шелгунов на фабрику Торнтона. Текстильщики готовились к забастовке, и «Союз борьбы» поручил Василию Андреевичу помочь им выработать требования к хозяину. На фабрике ждала Шелгунова Марфа Тимофеевна.

Проходя мимо шлагбаума, Шелгунов обратил внимание на странного босяка.

Босяков в Александровском было много, и все они были грязные, лохматые, с отечными лицами. Этот же — бритый, с усиками стрелкой, а из-под воротника рваной чуйки проглядывала полоска чистой рубахи. Ясно: шпик, изображающий босяка.

Шелгунов, не останавливаясь, шел по Шлиссельбургскому проспекту, украдкой следя за шпиком.

Тот шел следом.

Пришлось Василию Андреевичу отправиться домой.

В квартире была одна Марфенька. Она обрадовалась Василию Андреевичу:

— Мама наказала покормить вас.

— Не хочется, девочка. Мне надо письмо написать.

Он писал быстро, размашистым почерком. Через полчаса были готовы двенадцать пунктов требований для торнтоновцев. Спрятав листок, он вышел на улицу. За углом дежурил босяк. Шелгунов вернулся на квартиру.

— Марфенька, хочу дать тебе серьезное поручение.

Он достал листок из шапки.

— Вот это письмо надо отнести маме на фабрику.

— Отнесу!

— Но знай, Марфенька, на улице дежурит босяк в рваной чуйке. Он захочет отнять у тебя письмо.

— Так я ему и дала!

— Тогда отправляйся. Возьми с собой корзинку, положи в нее кусок хлеба, огурцы. Будто обед для мамы. Если босяк подойдет к тебе и спросит...

— Знаю. Не маленькая.

Она собрала еду, накинула на голову теплый платок, перевязала концы его за спиной и с лицом озабоченным, почти сердитым, вышла из комнаты.

На улице увязался за ней босяк. Наступили уже сумерки, осенние, хмурые.

— Куда идешь, девочка?

— Тебе какое дело?

— Есть дело! — прикрикнул он. — Если не будешь отвечать, то в участок тебя сведу!

— Так я тебя и испугалась! — Честно говоря, ей было страшновато на пустынной улице.

— Ух, какая ты храбрая, — перешел босяк на шутливый тон. — Что у тебя в корзинке?

Марфенька показала.

— Мамане несу. — И, тряхнув головой, зашагала в сторону шлагбаума.

...Василий Андреевич понял, что жандармы на этом не успокоятся. Но именно сейчас, в эти горячие дни, Шелгунов должен быть на свободе! На заводах и фабриках бурлит. А со шпиком за спиной никуда не пойдешь, никуда не поедешь!

Шелгунов перешел на завод Берда; свои пожитки он перенес к Косте Иванову, самому молодому в Александровском члену «Союза борьбы».

16

8 декабря возвращался Василий Андреевич из Питера. Он спешил: к девяти часам приедет в Александровское Владимир Ильич на заседание местной группы «Союза борьбы». Он бросит все дела и непременно приедет. Так и сказал Владимир Ильич: «Непременно приеду».

Паровичок, точно назло, плелся медленнее, чем обычно.

В вагоне было мало людей. Все они — закутанные, обвязанные платками и шарфами — оживленно беседовали. Только один пассажир истово храпел, и этот храп — с присвистом, с бульканьем — показался Шелгунову подозрительным.

Шелгунов прошелся по вагону; он хотел заглянуть в лицо спящему, но это ему не удалось: заячья шапка была низко надвинута. Тогда Шелгунов открыл дверь и обернулся: из-под заячьей шапки блеснул темный глаз.

Мгновение — и Шелгунов спрыгнул с поезда. Он бросился в сторону Александровского. Бежать пришлось полем. Ноги увязали в рыхлом снегу. Запыхавшись, Шелгунов остановился. Шпик, подобрав полы длинного пальто, бежал следом.

В несколько минут Шелгунов очутился перед шлагбаумом. Брус опущен. Со стороны Петербурга, беспрерывно гудя, приближается поезд. Василий Андреич с ходу нырнул под брус и проскочил перед самым паровозом.

Состав был длинный, товарный. Он задержал шпика, и это дало возможность Шелгунову скрыться. Он юркнул в какой-то лаз и заснеженным садом вышел в переулок. Там перебежал через дорогу и проходным двором вышел на Шлиссельбургский проспект.

На проспекте людно. Шелгунов шел размеренным шагом, беззаботно оглядывая встречных. На Ново-Александровской, за деревом, дежурил знакомый босяк.

Шелгунов, словно ничего не произошло, спокойно вошел во двор Яковлевых, но в свою прежнюю квартиру не поднялся. Он обогнул флигель и задами опять выбрался на проспект, выше того места, где дежурил босяк. Из-за угла вынырнула конка. Василий Андреевич на ходу вскочил в нее и уселся рядом с кондуктором. С улицы не могли его приметить: стекла в вагоне были затенены густым слоем инея.

В Петербурге, не доехав до конечной остановки, Шелгунов сошел с конки и пешком направился в Казачий переулок. До дома, в котором жил Ленин, осталось всего несколько десятков шагов, но Василию Андреевичу показалось, что сегодня он не осилит этого расстояния. Ноги подкашивались, его в жар бросало: а вдруг Владимир Ильич уже поехал в Александровское?

По лестнице Шелгунов поднялся бегом и, очутившись перед квартирой Владимира Ильича, замер. «Поздно... Поздно...» — выстукивало сердце. Наконец он решился, позвонил.

Дверь открыл Владимир Ильич!

...К восьми часам вернулся Шелгунов в Александровское. Босяка на месте не оказалось. Возможно, он притаился в какой-нибудь подворотне. Василий Андреевич поднялся к Яковлевым.

— Опять тебе серьезное задание, — обратился он к Марфеньке.

— Куда сбегать? — по-деловому спросила девочка.

— К Шурупову. Скажи ему, что сегодня собрания не будет.

Марфенька быстро обвязалась платком и ушла.

— Хорошая смена растет, — сказал Шелгунов, присаживаясь к столу, где Марфа Тимофеевна перебирала горох. — Им легче будет. Мы с вами для них дорожку протоптали.

— И им еще достанется, — грустно откликнулась Марфа Тимофеевна.

— Я не пророк, Марфа Тимофеевна, но поверьте моему слову: они дождутся победы. Непременно дождутся! — закончил он горячо.

Ткачиху взволновали слова Шелгунова, но, чтобы не выдать своего волнения, она сказала просто, буднично:

— Остался бы, Андреич, поужинал бы с нами.

— Спасибо, Марфа Тимофеевна. Домой поплетусь. Устал. Денек был уж больно хлопотный.

Но до «дома» Шелгунов не дошел. На проспекте нагнал его Толя Ермаков:

— Яковлева арестовали!

— Когда?

— Только что. У самых ворот завода. Паук показал на него каким-то приезжим жандармам, и они его увели.

— Беги ко мне домой. Косте Иванову скажи, чтобы

он немедленно уехал в Питер. Ты с улицы последи за моей квартирой. Если жандармы не явятся туда до десяти часов, дай мне знать. Буду ждать на косогоре. Остальные пусть наблюдают за Пауком. Дайте мне знать, куда он поведет приезжих жандармов. Иустина пошли к Шурупову, пусть ему скажет про Яковлева.

...Долго сидел Шелгунов на косогоре. Вокруг — тихо, мертво. Александровское ушло в сугробы. Петербург закрылся ржавой дымкой.

«Что означает арест Яковлева? — думал Василий Андреевич. — Чистка на Обуховском? Или чистка во всем Александровском? К кому пойдут жандармы: к Шурупову или к Косте Иванову?»

Прибежал Толя Ермаков; вслед за ним Иустин. Они сообщили: жандармы не явились на квартиру к Косте Иванову, Шурупов знает об аресте Яковлева и ушел из дома. Паук и приехавшие жандармы не выходят из полицейского участка.

Шелгунов отправился на завод в ночную смену. В проходной он сдал свой «номер» и прошел в гильзевую.

Взревел гудок. Василий Андреевич, закрепив деталь, взял в руки напильник. В цех вошло несколько человек. Впереди — шпик в заячьей шапке, за ним — жандармский офицер с двумя жандармами. Все они подошли к Шелгунову. Офицер, выдвинувшись вперед, показал Василию Андреевичу ордер на арест.

В цехе стояла тишина: никто не работал. Все головы были обращены к офицеру.

— Браточки, — повернулся Шелгунов к рабочим. — Что это происходит? Уже от станка тащат нашего брата в кутузку!

— Ведите! — прикрикнул офицер.

Жандармы взяли Шелгунова под руки и повели к двери.

— Прощайте, товарищи!

— До свидания, Андреич! До скорого!

Под эти дружеские приветствия ушел Шелгунов с завода.

У ворот ждали извозчичьи санки.

— Вы бы, господин Шелгунов, тулупчик застегнули, — вежливо предложил шпик, усаживаясь рядом с Василием Андреевичем. — Ехать-то нам далече. Еще простуду схватите.

— Какой ты сердобольный!

— Зря надсмехаетесь, господин Шелгунов. Мне надо в аккурате представить вас по начальству.

Шелгунов не слушал болтовни шпика. Он думал о том, что вовремя предупредил Владимира Ильича об опасности.

Не знал тогда Шелгунов, что в этот же час другие жандармы повезли в тюрьму и Владимира Ильича Ленина,—повезли в тюрьму около сорока деятелей «Союза борьбы».

...В эту ночь собрался народ у Александра Калинкина и у Иустина Шнитовского. У Калинкина собрались члены «Союза борьбы» Александровской группы. У Шнитовского — мальцы. У Калинкина и у Шнитовского говорили об одном и том же: как быть без Шелгунова. У взрослых было все ясно: к ним приехал из Питера Иван Васильевич Бабушкин и своим приездом тут же скрепил нить, оборванную арестом Шелгунова. Подросткам же нужен был учитель, и они искали среди знакомых им взрослых человека, который мог бы заменить Василия Андреевича.

На рассвете уехал Иван Васильевич Бабушкин. На рассвете разошлись мальцы. Бабушкин уехал, зная, что не сегодня-завтра его арестуют. Мальцы разошлись с уверенностью, что найдется человек, который скажет любовно, по-шелгуновски: «Давайте, браточки, продолжать».

Действительно: Бабушкина вскоре арестовали, а к Толе Ермакову явился человек, который просто, по-товарищески сказал: «Давайте продолжать».

Этим человеком оказался член «Союза борьбы» студент Дмитрий Берсенев.

Часть вторая

ПРОШЛО ПЯТЬ ЛЕТ

1

Полковник Палибин — начальник петербургской полиции — был тучный и громадного роста, но длинные стройные ноги придавали его громоздкой фигуре ту гвардейскую величавость, которую так ценил тщедушный Николай II.

Все на Палибине блестело: сапоги, пуговицы мундира, ножны гусарского палаша и нафабренные усы, пушистые, как лисьи хвосты.

Двигаясь, полковник издавал мелодичный звон — звенели медали, шпоры, наконечники аксельбантов. Но в ночь на 4 марта 1901 года Палибин вошел в приемную министра внутренних дел беззвучно и вкрадчиво.

— Опять неприятность, — шепотом сказал генерал Щербиновский, хотя в просторной приемной, где горели одни только настенные двурогие подсвечники, не было никого, кто мог бы подслушать разговор.

Круглое лицо Палибина, немного померкшее в полутьме, озарилось улыбкой.

— Ваше превосходительство имеет в виду случай на Обуховском заводе?

— Именно. Министр недоволен. Завтра эта... демонстрация... студентов... Господа ораторы на весь мир завопят. — Щербиновский сел на диван, прижался щекой к подушке и усталым голосом добавил: — Министр приказал ликвидировать.

— Что?

— Инцидент... на Обуховском... Чтоб шума не было.

Полковник удивленно взглянул на своего начальника.

— Почему шум? Орудие взорвалось при испытании. Только всего, ваше превосходительство.

— А люди?

— Один всего! И то рабочий! И то не насмерть, а так, немножко... руки...

— Именно... рабочий, — вяло, словно спросонья, пробормотал Щербиновский. — Газеты... и завтра... эта демонстрация.

Палибин торжествующе взглянул на генерала. Он подтянулся, откинул голову и лихо отрапортовал:

— Не будет завтра студенческой демонстрации!

Генерал Щербиновский приподнялся. Долгим и пристальным взглядом окинул полковника. Щербиновский был озадачен: вместо «неприятности», из-за которой он вызвал к себе Палибина, тот сообщил «приятную» новость. Студенческая демонстрация беспокоит министра, да и не только министра: сегодня звонили из Зимнего дворца... И вдруг — не будет демонстрации! Палибину можно верить: не зря его прозвали «маленький Фуше»... На всякий случай Щербиновский сухо спросил:

— Валерьяновые капли?

— Ничуть, ваше превосходительство! Все главари под замком. Полчаса назад арестована последняя пятерка.

Щербиновский зашагал по комнате. Лампасы на его брюках сливались с пунцовой сочностью ковра. Он подошел вплотную к Палибину, притронулся тонкими пальцами к золотым наконечникам аксельбантов.

— Можно доложить министру?

— Прошу, ваше превосходительство.

Щербиновский не спеша вернулся к письменному столу, снял с вилки телефонного аппарата белую трубку и, прикрыв рот ладонью, тихо сказал:

— У меня Палибин... Да... Узнал... Рабочий... один... руки поцарапал... Да-да... Приятная новость... Демонстрации завтра не будет... Все главари арестованы... Слушаюсь, передам. — Водворив трубку на место, Щербиновский, не поворачивая головы к Палибину, хмуро промолвил: — Министр приказал все оставить в силе.

— Но...

— Без «но». Полиции быть на месте, войска прибудут в положенный срок... — И добавил чуть-чуть раздраженно: — Поезжайте немедленно на Обуховский! Ликвидируйте... Заплатить рабочему, чтобы шума не было...

Был тот час, когда сквозь черноту мартовской ночи начали пробиваться светлые островки — еще редкие и не очень ясные, но и при их робком блеске уже можно было отличить верстовой столб от придорожного деревца. Чем ближе к Обуховскому заводу, тем явственнее стали выступать домики, сараи, заборы, а перед самым Александровском Палибин уже видел снег на полях, фабричные трубы и стремительные струи, которые вырывались из ноздрей его вороного рысака.

— В контору, — приказал Палибин кучеру, когда тот на крупной рыси свернул к ограде Обуховского.

Вороной жеребец оборвал свой бег перед воротами. К пролетке подбежал городовой, Увидев полковника, сидевшего нахохлившись, с зажатым между ног палашом, городовой на всякий случай отрапортовал:

— Завод закрыт по случаю ночи. Происшествий не произошло.

Палибин, не глядя на городового, приказал:

— Раскрой ворота и беги за подполковником Ивановым. Скажи, полковник Палибин вызывает.

Городовой бросился в проходную. Оттуда выбежало несколько человек. Один распахнул ворота, другие подошли к пролетке. Рысак тронул с места.

Пролетка въехала во двор и остановилась перед домом с колоннами. Полковник сошел на землю и, постояв немного, стал медленно подниматься по каменной лестнице, при этом он считал ступеньки: раз, два... На пятой ступеньке он остановился, почувствовав неловкость, словно за воротник мундира попала соломинка. Вспомнились арестованные студенты... последняя пятерка. Он не успел с ними побеседовать: надо было спешить на вызов Щербиновского. «Хотя, — тут же успокоил себя полковник, — и эта пятерка ничего бы не сообщила. У всех у них один ответ: «Я не я и лошадь не моя». Догадайся, кто из них главный».

Полковник знает эту повадку «бунтовщиков», и для верности он глубоко запустил свой невод: полицейские агенты назвали сорок две фамилии, а под замком теперь девяносто шесть человек! Среди мелкой рыбешки должны же оказаться и «киты»! А без «китов» какая демонстрация! Палибин провел рукой по шее и решительно двинулся вперед.

— Здравия желаю, господин полковник!

Палибин повернулся: бегом поднимался по лестнице подполковник Иванов, щупленький, юркий, улыбающийся.

— Как рабочий?

— В порядке!

— А руки?

— Оттяпали.

— Обе?

— Какая разница, господин полковник? Одна, две.

— Время неподходящее, подполковник. Министр опасается забастовки.

Иванов рассмеялся:

— На Обуховском? Забастовка? Скорее рак свистнет!

Поведение Иванова, особенно его беззаботный смех убедили полковника Палибина, что министр беспокоится зря, но все же Палибин счел нужным передать слова Щербиновского:

— Ликвидировать надо, подполковник, чтобы шума

не было. Газеты только ждут случая, чтобы досадить министру.

— Для спокойствия его высокопревосходительства...

— Вот именно, подполковник, для спокойствия. А насчет «рака» у вас хорошо получилось. Доложу министру. — Он достал из кармана большие золотые часы, нажал на рычажок, и часы мелодично отбили пять с четвертью. — Рановато, а то я навестил бы вашего про-ле-та-рия.

Иванов внутренне смеялся и над министром и над важным Палибиным: нервничают столичные сановники, забастовки боятся. Им невдомек, что обуховцы не то что бастовать, но и рта раскрыть не посмеют. Не такое случалось на заводе — молчали.

— Если находите нужным, господин полковник, — услужливо предложил Иванов, — могу я сходить в больницу.

— Прошу вас, подполковник. Пусть народ видит, что начальство заботится. И с женой поговорите. Выкиньте ей сотню. Заткните рот господам про-ле-та-ри-ям, чтобы визга не подняли. Не до них теперь.

Он спрятал часы в карман и не спеша спустился с лестницы.

...В приемном покое было тихо. За беленьким столиком сидела медицинская сестра. Она читала книгу Вплотную к книге был придвинут бронзовый шахтер, державший в руке неяркую лампочку. Рядом с дверью, на скамье — женщина и юноша. В комнате жарко, а они в полушубках, валенках. Голова женщины обмотана серым платком, из-под которого выглядывает сухое лицо с большими грустными глазами. Юноша сидит, откинувшись назад, прислонившись головой к стене.

— Кто? — пролаял Иванов, метнув строгий взгляд в сторону скамьи.

Сестра пролепетала:

— Жена Шнитовского и сын. Я им говорила, что тут нельзя... Но они не уходят. Хотят дождаться доктора.

Сестра волновалась, она ждала выговора от подполковника: по инструкции родственники больных обязаны дожидаться на улице, возле окошка. Но подполковник, как бы забыв про инструкцию, повернулся к Аграфене Власьевне:

— Доктора довольны твоим мужем.

— Руки? — спросила она тихо. — Руки будут целы?

— Не совсем, — мягко ответил Иванов. — Пострадали немного. Тут уж он сам виноват. Погорячился.

— Отец предупредил, что заряд велик! — воскликнул Иустин, нахлобучив зачем-то шапку на голову. — Отец говорил, что пушку взорвет!

Слетело добродушие с лица Иванова, глаза стали колючими, голос визгливый:

— Ври, да не завирайся!—Но тут же, спохватившись, достав из кармана бумажник, полураскрыл его, вытянул новенькую десятирублевую бумажку. — Возьми.

— Пенсию ему надо, а не подаяние! — выкрикнул Иустин, отталкивая руку Иванова.

— Иуста, — взмолилась Аграфена Власьевна, закрывая ладонью рот сыну. — Опомнись! — И, склонившись перед Ивановым, униженно попросила: — Вы не слушайте его.

Иванов сунул десятку в руку Аграфене Власьевне и, улыбнувшись, участливо сказал:

— Беда с этой молодежью.

— Идем, Иуста, идем, — заторопилась Аграфена Власьевна и, еще раз поклонившись Иванову, двинулась к выходу.

Когда дверь закрылась за Шнитовскими, подполковник отчеканил:

— Никого не пускать к Шнитовскому. Никого, понимаете? Говорите — карантин.

День еще не наступил, все вокруг было зыбко, хмуро. Аграфена Власьевна с сыном шли молча. Под их ногами похрустывал снег. Вокруг стояла тишина. На улицах ни души. В домиках темно.

Шнитовская остановилась и с горечью спросила:

— Он правду сказал, что руки только немного пострадали?

— Надо было не уходить. Надо было доктора дождаться.

Аграфена Власьевна окинула сына грустным взглядом: девятнадцать лет парню, а лицо в морщинах, глаза усталые. Качнула головой и сказала в раздумье:

— И в драку не надо лезть. Кормимся пока от Иванова.

— Кормит он нас, как скотину в голодный год: только бы не сдохла.

— Где ты лучше найдешь? Отец с попорченной рукой когда еще к работе приспособится... А я, сам знаешь, еле ноги волочу... Один ты кормилец...

Иустин ответил уверенно:

— Выхлопочем пенсию отцу!

— Не дадут, — сказала она безнадежно.

— Дадут. Не в трактире, а на работе покалечился. Закон такой есть.

Они дошли до своего дома. В комнате холодно. Иустин хотел печку растопить, но мать, присев на корточки, отодвинула его плечом:

— Сама справлюсь, а ты поспи. — Потом добавила: — Ты бы притих на время с собраниями. Худо будет, Иуста, худо будет, если Иванов дознается. Заклюет тебя ворон.

2

Иустин разделся, но лечь ему не пришлось: звякнула в сенях щеколда, и в комнату вошел Анатолий Ермаков. День рабочий, а Ермаков одет по-праздничному: в длинном черном пальто, в тонких сапогах, а на голове новый картуз с синим бархатным околышем. Он подошел вплотную к Иустину:

— Как отец?

— Не знаю. К доктору не пускают.

Ермаков потрогал пальцами усы и, не глядя на товарища, кратко сказал:

— Плохо.

Иустин понимал, что не для того, чтобы справиться об отце, Ермаков вырядился по-праздничному.

— Что случилось, Толя?

Ермаков ответил не сразу. Он закурил папироску, сделал несколько затяжек.

— Посоветоваться с народом надо.

— По поводу чего?

— Видишь ли, дело необычное. Собираю народ на демонстрацию.

— Какая демонстрация? Когда?

Пришел Фома Кармазов; вслед за ним — Сергей Тетин. Оба небритые, в рабочих костюмах.

— Пожар? Горит где? — недовольно спросил Кармазов. — Чего ты нас ночью с кровати поднимаешь?

Сергей Тетин присел к столу, положил голову на кулак и закрыл глаза.

— Перестань ворчать, — одернул Фому Ермаков. — И в каком виде ты явился? Тебе Коля говорил, что ты должен ехать в Питер?

— Мало ли о чем он говорил!

Ермаков бросил окурок в блюдечко и, подняв глаза на Фому, спокойно спросил:

— Коля говорил с тобой от себя или партийное поручение тебе передавал? — И закончил окрепшим голосом: — Отправляйся немедленно домой! Переоденься!

Сергей Тетин поднялся с места и, втянув голову в плечи, ушел.

— На свадьбу меня посылаешь? — не сдавался Кармазов.

Друг за другом вошло несколько рабочих; среди них Юников, Шурупов, Гаврилов, Калинкин.

Фома Кармазов незаметно выскользнул за дверь.

Николай Юников снял шапку, вытер платком пот с головы и лица, потом подошел к Ермакову:

— Всем сказал.

Пришло еще человек шесть.

— Товарищи, — начал Ермаков просто, — сегодня в Питере соберутся студенты на демонстрацию.

— По какому такому поводу? — заинтересовался Шурупов.

— В Киеве отдали в солдаты сто восемьдесят три студента. И знаете, товарищи, за что? За то, что они осмелились потребовать, чтобы их товарищей-студентов не наказывали карцером. Можем мы равнодушно смотреть, как царь расправляется с интеллигенцией? Наш Обуховский социал-демократический комитет предлагает послать на демонстрацию двадцать пять рабочих для солидарности со студентами. Студенты помогают рабочему — рабочий должен прийти на помощь студентам. Как, товарищи? Я задаю этот вопрос непартийным товарищам.

— Зачем нам впутываться в чужое дело? — сдержанно спросил Шурупов, хотя к нему, партийному, вопрос Ермакова не относился.

— Язви твою душу! Какие это чужие дела? — рассердился Александр Калинкин.

— Если до драки с полицией дойдет? — тем же тоном спросил Шурупов.

Гаврилов окинул Шурупова презрительным взглядом.

— Сто лет собираешься прожить?

— Проживу сколько мне положено, а за киевских студентов не собираюсь голову класть.

Выдвинулся вперед рабочий с разлохмаченной бородой:

— Правильно решил ваш комитет. Над студентами и над рабочими одна палка. Впиши меня в список, я поеду.

— А вы, Гаврилов? — спросил Ермаков.

— Безоговорочно!

— Тогда давайте, товарищи, голосовать. Кто «за» — пусть поднимет руку.

Не поднялась одна лишь рука кузнеца Шурупова.

— Значит, решили, — сказал Ермаков. — Сбор на Казанской площади к двенадцати часам.

Народ уходил, соблюдая заранее обусловленную очередность.

— Как ты, Иуста? Сможешь поехать?

— Еду!

— Мать одна справится?

— С чем? Отец ведь в больнице.

— Ты зачем ругался с Ивановым? — неожиданно спросил Ермаков. — Зачем ты кулаки показываешь, если не можешь ударить?

— Не сдержался.

— По стопам Фомы пошел. Нехорошо, Иуста. Один ты с Ивановым не справишься, так нечего его раздражать. Теперь насчет Питера. Тебе и мне поручили присутствовать сегодня на заседании окружного комитета. Так что на Казанской площади держись возле меня. Вместе отправимся.

Ермаков направился к двери, но на полпути повернулся:

— Дело на Казанской может дойти до драки. Ты того, поосторожнее.

...И Аграфена Власьевна не спала. Она затопила печку, прошла в свою комнату и села на кровать. В квартире сумрачно: не то вечер, не то утро. Дрова в печке вяло потрескивают. И спать не хочется Аграфене Власьевне и подняться нет сил. Тошно, нудно... Звякнула щеколда. Кто бы в такую рань?

«Как отец?» — услышала она.

Голос Толи Ермакова.

Перегородка легкая, со щелями: каждое слово доходит до Аграфены Власьевны. Порой чудится ей, что вместо Толи говорит Василий Андреевич Шелгунов: та же уверенность в голосе... «Народу, народу сколько...» Вот что Толя затеял! Аграфена Власьевна хотела крикнуть: «Не ездите! Иванов дознается!» Но тошно, нудно... Рта не хочется раскрыть.

Полковник Палибин взбешен: площадь перед Казанским собором запружена народом. То тут, то там взвивается к небу красное полотнище, то тут, то там вспыхивает дерзкая революционная песня.

Огромный, тучный Палибин сам повел в бой пеших городовых. Когда студенты и рабочие отразили первый натиск, Палибин ринулся в атаку во главе казачьей сотни. Казаки охватили площадь кольцом и, продвигаясь вперед с нагаечным посвистом, настойчиво теснили демонстрантов к ступенькам собора. Мелькала в воздухе сталь клинков, заплетались и расплетались нагайки.

Студенты и рабочие построились на два фронта: одни отбивались от казаков, другие вели бой с городовыми.

Обуховцы держались вместе. Они разобрали деревянный настил и, вооружившись кто колом, кто тесиной, били по казакам, по их коням, прорубая среди них дорожку к Невскому проспекту. Это давалось им с большим трудом. У Анатолия Ермакова казак сбил картуз и прочертил голову кровавым шрамом; пшеничные его волосы порозовели от свежей крови. У Иустина вспухло лицо и среди синевы еле виднелись глаза. Николай Юников хромал, но, и хромая, он не отставал от своих товарищей. Солидный Гаврилов, вооруженный слегой, работал ею, точно косой. По его лицу текла кровь, в крови были и руки, но Гаврилов, не обращая внимания на кровь, шел размеренным шагом и косил. Фома Кармазов, тонкий, верткий, наносил внезапные удары и, словно пружина, тут же отскакивал. Он бил по ногам лошадей...

Только к двум часам удалось обуховцам выбраться на Невский проспект. Среди них было много раненых, но ни один из них не попал в полицейские лапы.

Иустин Шнитовский и Анатолий Ермаков отправились на Лиговку к знакомому рабочему. Там они привели себя в порядок, отдохнули и к девяти часам побрели на заседание.

Тихими переулками они вышли к Трем Углам. В последнем переулке — глухом и слабо освещенном — им почудилось, что за ними увязался шпик.

На углу Загородного проспекта они остановились, как бы раздумывая, в какую сторону направиться, и украдкой огляделись. Людей на проспекте было много, и никто из них не показался им особо подозрительным.

— Свернем в ближайший переулок, — предложил Ермаков.

Переулок был прямой и узкий. По обеим сторонам — невысокие дома. На тротуарах розово искрится снег.

Пройдя полсотни шагов, Иустин и Анатолий убедились, что за ними действительно кто-то увязался. Этот «кто-то» следовал неотступно, как тень, и влажный хруст талого снега под его ногами в точности повторял ритм их собственных шагов. Они ускоряли шаг — он ускорял, они замедляли — он замедлял.

— Проверим, кого он выслеживает, — опять предложил Ермаков. — Дойдем до угла и попрощаемся. Ты ступай обратно, к Загородному, а я пойду дальше. Шаги делай небольшие и считай до ста. Сотню шагов отсчитаешь — возвращайся. И я вернусь.

Они так и сделали. Шпик последовал за Иустином.

Ермаков сделал ровно сто шагов и повернул обратно. Вот уже и Иустин идет ему навстречу. Между ними оказался шпик — человек в барашковой шапке. Когда расстояние между Шнитовским и Ермаковым сократилось до восьмидесяти шагов, шпик неожиданно перешел на другую сторону переулка и исчез в подворотне.

— Мой, значит, — сказал Иустин. — Я его и уведу. Вернусь на Загородный, и он последует за мной. А ты, Толя, найми извозчика и кати на заседание.

Шпик, оказывается, был стреляный воробей. Он выслеживал Ермакова, но, зная уловки революционеров, обманул их, последовав за Иустином. Он знал, что они сначала разойдутся, потом зажмут его в клещи, а затем направятся в разные стороны. Вот тогда-то он последует за «своим». Но Ермаков тоже не был новичком в этом деле. Иустин направился в сторону Загородного, а Ермаков, дойдя до угла, остановился, поджидая извозчика и украдкой следя за шпиком. Тот все еще не выходил из подворотни. И это его разоблачило. Если он действительно шел по следу Шнитовского, то обязан был уже по-

гнаться за ним — ведь на многолюдном проспекте Иустин может легко затеряться.

Смекнув, в чем дело, Ермаков бросил «игру». Он пошел навстречу товарищу:

— Дошлый попался! Пошли на Загородный. Выманим его из норы.

На шпика они не обращали внимания. У лоточника на Загородном купили папирос, закурили и не спеша направились к остановке трамвая. Два вагона они пропустили, сели в третий. Проехав остановок десять, они вышли. На этой же остановке сошло с трамвая несколько пассажиров, но среди них не было человека в барашковой шапке.

Громко разговаривая, Ермаков и Шнитовский свернули в Сергиевский тупик. Сейчас же за углом, у первого дома, они притаились, прижавшись к воротам.

Через несколько минут появился шпик: на голове картуз вместо барашковой шапки. Он остановился, огляделся, потом решительно двинулся с места. Когда он поравнялся с воротами, Ермаков и Шнитовский одновременно набросились на него и втащили в подворотню.

— Отстанешь? — спросил его Ермаков.

Суровый голос не предвещал ничего хорошего — шпик это понял, да и парни — рослые, здоровые.

— Отстанешь, спрашиваю?! — еще строже повторил Ермаков. Он схватил шпика за отвороты пальто, тряхнул и отшвырнул от себя. — Убью, если еще раз попадешься мне на глаза!

...На заседание они явились вовремя. Товарищ в пенсне на черной тесемке только приступил к проверке: какие организации прислали своих представителей.

3

В приемный покой не пустили: семья, явившаяся в больницу за выздоровевшим Шнитовским, вынуждена была стоять на улице. День был погожий, солнечный, но с Невы дул свежий ветер, и Марфенька Яковлева зябла.

Для Марфеньки был это особый день: они с Иустином решили именно сегодня, при радостной встрече, заявить старикам о своей любви, о своем желании рука об руку строить свое будущее.

У Марфеньки было всего одно хорошее платье — все

из кружев собственного плетения. Надевать легкое платье в ветреный день было легкомысленно, даже опасно для такой хрупкой девушки. Но Марфенька хотела понравиться своему будущему свекру.

Марфенька не была красавицей. Нос с вмятинкой на кончике, рот неяркий. Зато глаза чудесные: серебристо-зеленые, с большим темным зрачком. Да и волосы — обильные, легкие, того нежно-золотистого, почти янтарного оттенка, каким окрашиваются края облаков на закате.

Аграфена Власьевна первая заметила, что Марфенька зябнет.

— Накинь, — сказала она ласково и хотела набросить на плечи девушки пальто, которое принесла для мужа.

Раскрылась дверь приемного покоя, и показался Василий Федорович Шнитовский. Аграфена Власьевна сделала шаг назад. Мужа не узнать: убогий старец с виноватым взглядом. Пустые рукава, заткнутые за поясок, делали его беспомощным, жалким.

Василий Федорович видел, какое впечатление он произвел на жену. Это его рассердило.

— Чего уставилась? Думаешь, плясать буду?

— Отец... — начал Иустин.

Но Василий Федорович не стал его слушать.

— Накинь мне пальто, — обратился он к жене. — По делу пойду.

— Отец...

— Потом поговорим. Теперь мне по делу надо.

Аграфена Власьевна, накидывая пальто на плечи мужа, попросила:

— Домой пошли бы. Дело подождет.

— Будет! — прикрикнул он, двинувшись вперед. — И не провожайте!

Марфенька подошла к Шнитовскому.

— Василий Федорович, милый, не надо сердиться. И дел никаких сегодня не надо делать. Мы пойдем домой...

Василий Федорович удивленно взглянул на девушку и, видимо пересилив что-то в себе, спокойно спросил:

— Уже сладились?

— К тому идет, — подсказала Аграфена Власьевна, обрадованная, что разговор принимает иной оборот.

— Дай вам бог. А в мои дела не встревайте.

— Отец, — весело сказал Иустин, — ты чего ершишься? Марфенька подумает, что ты всегда такой колючий.

Василий Федорович, взглянув приветливо на Марфеньку и как бы оправдываясь, сказал:

— Мне к Иванову надо. Велел зайти насчет работы.

...Подполковник Иванов не скоро принял Шнитовского. То он уезжал, то его вызывали в мастерские. Только под вечер позвали старого рабочего в кабинет к Иванову.

— Что скажешь?

Долгое сидение в коридоре не ожесточило Василия Федоровича, наоборот, настроило его на мирный лад.

— Я с покорнейшей просьбой. Заступитесь, ваше высокородие. Суд отказал мне в пенсии.

— А за что ты хотел пенсию получить? — с издевкой спросил Иванов. — Офицер ты или государственный чиновник?

Василий Федорович тряхнул пустыми рукавами:

— Это-то я на государевой службе заслужил.

— По собственной неосторожности, голубчик. Суд так и определил: по собственной неосторожности.

Василий Федорович так резко рванулся вперед, словно его подтолкнул кто-то сзади. Тяжестью своего огромного тела он хотел смять плюгавенького Иванова. Какой подлец! Ведь это он велел добавить в заряд пороха! Ему, именно ему, Иванову, Василий Федорович сказал: «Дуло не выдержит», — и он же, подлец, говорит: «По собственной неосторожности!» Но Василий Федорович нашел в себе силы сдержаться.

Иванов никогда не интересовался переживаниями своих рабочих. Он знал, чего он добивается, и любыми мерами заставлял рабочих делать то, что он хочет. С Шнитовским дело обстояло сложнее. Тридцать два года проработал человек на заводе, без его остроумной выдумки не справился бы завод с прицельным узлом на мортире для канонерок. Но именно из-за этого, чтобы вытравить в сознании рабочего память о его былых заслугах, хотел Иванов унизить Василия Федоровича, довести его до того состояния, когда самая нищенская работа покажется ему благодеянием.

— Сынок у тебя строптивый.

— Молод, ваше высокородие. Подрастет — поостынет. Горе выучит.

— Один он у тебя остался?

— Единственный.

— То-то. Вышвырнешь его, где он работу найдет? Вот как мы рассуждаем. Скажем, с тобой. Суд отказал тебе в пенсии. Суд как судит? По книгам. А мы? Шнитовский — пользу заводу приносил, надо помочь ему в беде, надо заработком его обеспечить. Вот как мы рассуждаем. Растолкуй ты своему крикуну. — Он поднялся, раскрыл дверь.— Ступай в отдел найма. Скажи, я направил.

Офицер из отдела найма, увидев перед собой калеку, спросил оторопело:

— Как же ты с работой справишься?

— С какой работой?

— Тебя подполковник назначил ламповщиком.

— Кем?

— Ламповщиком. Калильные лампы вокруг завода зажигать и тушить. Это надо делать шестом.

Назначение ламповщиком показалось Василию Федоровичу таким нелепым, что он не нашел слов для ответа. Офицер понял, что переживает стоявший перед ним калека. Захватив личное дело Шнитовского, офицер выбежал из комнаты.

Вскоре он вернулся и растерянно сказал:

— Подполковник говорит, что у тебя есть жена. Она тебе поможет.

Первая мысль — ворваться к Иванову, бить, крушить. Но и на этот раз Василий Федорович поборол злобу: рук-то нет, чем он будет крушить?

— Какой заработок?

— Шесть рублей двадцать копеек в месяц.

Злобы уже не было — она растаяла. Вместо злобы появилась жалость к себе.

Слезы текли по морщинистому лицу.

4

Анатолий Ермаков возвращался с заседания Александровского комитета социал-демократической партии. Заседание было бурное, и, хотя товарищи приняли предложение Ермакова, он, автор предложения, все же был недоволен собой.

Ленинская «Искра» писала: «...над нами все время занесен самодержавный кулак, и он обрушивается на

наши спины, как только мы пробуем словом или делом заявить, что нам живется не сладко... В день 1 Мая мы... зовем под наши знамена всех, кто не хочет быть бесправным рабом...»

Вопрос ясный, а сколько споров он вызвал! Праздновать или не праздновать? Ермаков придирчиво слушал каждого выступавшего. «Мы, пролетарии, должны...» Так начинал почти каждый: «Обязаны праздновать!» Потом — груды оговорок. Одна из этих оговорок смущала Ермакова. За празднование 1 Мая выкинут рабочего с завода, а в России — кризис, безработица. Имеют ли социал-демократы моральное право обречь пролетариат на голод?

Если бы один Шурупов или его единомышленники «экономисты» прятались за этой оговоркой! О кризисе и безработице говорили и ленинцы!

Получил слово Ермаков. Он рассказал товарищам, как пять лет назад Василий Андреевич Шелгунов предложил своим молодым кружковцам самим решать вопрос «бастовать или не бастовать».

— Поступим, товарищи, по-шелгуновски. Предоставим самим рабочим решить этот трудный вопрос.

Собрание приняло предложение Ермакова, и вот идет он сейчас и думает: «На Обуховском много несознательных, не заразят ли они «страхом голода» передовых рабочих? И день 1 Мая станет обычным тусклым рабочим днем!»

Нехорошо на душе, тревожно.

На проспекте встретился Гаврилов: шагает, размахивая руками, словно в строю.

— Будем? — спросил он.

Ермаков понял.

— Сознательные будут, а несознательные, как всегда, в сторонке постоят.

— Сигнал будет дан?

— Зачем сигнал? Сознательного и без сигнала потянет на свежий воздух.

— Глупо! Народ к сигналу приучен.

Гаврилов ушел. Еще тяжелее стало на душе Ермакова. «Не прав ли Гаврилов? Сигнал объединяет, сигнал подталкивает. Но кто даст сигнал, раз решили, что праздник необязательный?»

Ермаков зашел к Фоме Кармазову. Тот мастерил скво-

речницу, а братишка Фомы, такой же смуглый и чернявый, подавал ему гвозди.

— Это у тебя очень срочно?

— Видишь, заказчик над душой стоит.

Мальчонка взглянул на Ермакова печальными глазами: он догадывался, что его скворечнице угрожает опасность.

Ермаков направился к двери.

— И это все, что ты хотел сказать? — насмешливо спросил Фома.

— Не все, но ты ведь занят.

— Руки заняты, а уши свободны.

— Видишь ли, Фома, комитет считает, что на нашем заводе чересчур много несознательных. Они сорвут первомайскую демонстрацию. А как по-твоему? Бросят обуховцы работу без призыва?

Фома с такой силой ударил молотком по гвоздю, что со скворечницы слетела покатая крыша.

— За экономистами поплелись! В тонкую политику ударились! Народ фокусов не любит! Позовешь его на демонстрацию — пойдет, не позовешь — он у станка простоит.

— А если поговорить с народом, растолковать ему?

— Попытайся!

— Об этом я и хотел поговорить с тобой. Кончай со своей скворечницей, и пойдем к Коле.

...Последняя апрельская ночь была по-осеннему неприветлива. Ветер гнал черные тучи, сосны шумели, Нева стонала.

В эту ночь патрулировал по Александровскому околоточный Костюшко с усиленным нарядом полицейских. На несколько часов раньше официального срока надел Костюшко фуражку с белым верхом. По этому белому пятну Анатолий Ермаков и его четверо друзей издали примечали полицейских и сворачивали с их пути.

И они, Ермаков со своими дружками, всю ночь патрулировали по Александровскому — подходили к домам, стучали в стекла и высунувшемуся в окно хозяину напоминали: «Завтра... Завтра...»

...Наступил Первомай. В шесть утра, как обычно, прогудел гудок. Девять тысяч обуховцев явились на завод. Но станочники не запускали станков, литейщики не подходили к вагранкам, клепальщики, сидя в котлах и ба-

ках, не приступали к клепке. Они бродили по цехам, курили, собирались кучками. Мастера угрожали штрафами, но рабочие отмахивались от них, как от назойливых мух.

Так продолжалось до полудня. Лишь только послышался первый взвизг гудка «на обед», рабочие кинулись к воротам и многими потоками разбрелись по Александровскому.

После обеденного перерыва не вернулись на завод тысяча двести рабочих. Они гуляли по проспекту, ходили в Мурзинский лес, на берег Невы, распевали революционные песни.

Подполковник Иванов, узнав об этом, вызвал к себе жандарма Паука.

— Что это такое?! Забастовка? На Обуховском?!

— Ваше высокородие, — осмелился Паук, — это не забастовка. Завод работает.

— И ты доволен! — взвыл Иванов.— Полторы тысячи мерзавцев бросили работу, а ты говоришь «не забастовка»!

Постарел Маргаритка! Череп гладкий, как колено, лицо сухое, желтое, в мелких складках. Усы и те поредели, хотя все еще топорщатся, как у кота.

— Арестовать! — стукнул он кулаком по столу.

— Полторы тысячи? — спросил Паук.

— Всех!

— Невозможно, ваше высокородие.

Иванов нажал на кнопку звонка. Явилась Берсенева. Она за эти годы подобрела, округлилась лицом, и под глазами появилась жемчужная тень. Потемнела ли ее кожа или потому что она была в синем платье, но неизменная черная бархотка на шее уже не так бросалась в глаза.

— Список готов?

— Готов.

— Выгнать! По частям!

...Второго мая, с первым гудком, обуховцы валом повалили в проходную. Там, рядом с табельщиком, стоял офицер из отдела найма.

— Фамилия? — спрашивал он каждого входящего.

Получив ответ, он заглядывал в список и, найдя фамилию в списке, отбирал бляху с номером:

— Можешь отправляться домой. Уволен. Завтра явишься за расчетом.

Уволили многих. В замочно-прицельной бездействовали станки, в кузнице не хватало молотобойцев, в пушечной не оказалось ни одного токаря.

После обеденного перерыва зашел Иванов в пушечную. Эта мастерская особенно беспокоила Маргаритку: пушки нужны!

В мастерской стояла необычная тишина.

— Почему не работаете? — подделываясь под вежливый тон генерала Власьева, спросил Маргаритка.

— Почему токарей уволили? — бросил ему в лицо рабочий с взлохмаченной бородой.

Наигранная вежливость сразу слетела с Иванова:

— Как смеешь со мной так разговаривать?!

— А ты что за цаца? — спокойно ответил бородач. — И не таких видали. — Он повернулся к товарищам. — Пойдем. Гуляли все, пусть он всех и рассчитывает.

— Идем! — послышались отовсюду негодующие голоса.

Таких речей Иванов еще не слышал на Обуховском! Первая мысль — избить бородатого наглеца, в кандалы его заковать, а остальных выгнать, арестовать... Но нужны пушки!

— Обуховцы! Вы ли это? — спросил он чуть ли не униженно. — Я вас не узнаю! Что вы делаете?

— Принимай тех, кого уволил! — крикнул подросток из-за спины рабочих. — Или все уходим!

Иванов, потоптавшись немного на месте, выбежал из мастерской.

...Вечером собрались «искровцы» в лесу. На это тайное совещание явились и представители мастерских. Все они понимали, что наглый приказ Иванова возмутил рабочих. Но пойдут ли обуховцы до конца? О мастерах нечего говорить: они, как псы, не отстанут от своего хозяина. Но и среди рабочей массы много таких, которые побоятся очутиться за воротами. Безработица: деваться некуда!

«Искровцы» понимали, что надо использовать рабочую ярость, и все же опасались, как бы не сорвать, не скомкать, не закончить пустяком первое революционное выступление на Обуховском заводе!

На этот раз ни до чего не договорились. Все были согласны, что нужно ударом ответить на удар, что надо завтра же объявить забастовку, но как организовать забастовку, чтобы она непременно завершилась победой?

До женитьбы был Александр Калинкин веселый, беспечный, говорил с прибауткой, работал с песней, в свободное время к книге тянулся. И вот он женился. Пошли дети, здоровые, ладные, только их было чересчур много для его небольших заработков. Пришлось Калинкину приспособить сарайчик под мастерскую, и весь Церковный переулок носил к нему чинить и паять свои кастрюли, утюги и иной домашний хлам. Две дороги знал Александр Калинкин — из дому на завод, с завода домой. К тридцати годам вспахали морщины его лицо, к сорока — заснежились виски.

Вдруг взбунтовался Александр Калинкин: против кастрюль и утюгов, против Панченко, против нищенской жизни. В этом виноват был Василий Андреевич Шелгунов. Из разговоров с ним понял Калинкин, что счастье само не приходит, его нужно добиваться. И стал Калинкин добиваться счастья. Записался в кружок к Николаю Юникову, ходил в Мурзинский лес на тайные собрания...

Третьего мая, ночью, у него на квартире собрались «искровцы». Может быть, потому, что говорить приходилось шепотом, так как за перегородкой спали дети, дело обошлось без больших прений. Решили объявить забастовку, только на какое число ее назначить — об этом не могли договориться. Назначишь на близкое число — не успеют подготовиться, назначишь на дальнее — поостынут обуховцы.

Ворвался в комнату Сергей Тетин.

— Выборгская сторона забастовала! Рабочие пошли в город с красными флагами!

Калинкин, забыв про спящих за перегородкой детей, крикнул во весь голос:

— Язви твою душу! А мы на месте топчемся!

— Не топчемся, — сказал Юников. — Решили бастовать.

— Когда?!

Юников взглянул на Анатолия Ермакова.

— Седьмого, — спокойно ответил Ермаков.

Это число было названо впервые, но всем показалось, что именно седьмое самое удачное число. Опасения как-то сами собой рассеялись, наступила ясность, и вместе с ясностью проникла во все сердца уверенность в победе. Возможно, что сообщение Сергея Тетина было тому причиной: обуховцы увидели себя в строю, плечом к плечу



Казаки теснили демонстрантов к ступенькам собора.

К стр. 470

с многотысячным отрядом выборжцев. Но возможно и другое: 5 мая уходит в отпуск генерал Власьев и полновластным хозяином на заводе останется Маргаритка. Его ненавидят все: и стар и млад. Поднять обуховцев против Маргаритки будет легче, чем против хитрого и лукавого Власьева.

— Давайте листовку составлять, — предложил Ермаков. — Он протянул Юникову тетрадку и карандаш. — Ты, Коля, у нас поэт, ты и пиши листовку. А мы, — обратился он к остальным, — требования выработаем.

Юников устроился у окна. Первые фразы как-то сами собой складывались в стихотворные строчки:

Пожаром восстанья объята страна!
Могучая всюду борьба закипела!

Но тут же, спохватившись, он зачеркнул написанное и принялся своими словами пересказывать призыв «Искры». Юников писал долго, исписал несколько страниц и опять остался недоволен. Ведь Первомай уже прошел! Не в этом смысл забастовки — первой забастовки на Обуховском! Надо напомнить товарищам о двадцатичасовом рабочем дне, о низких расценках, о грубости мастеров, о зверствах Иванова...

Юников был озадачен: он не находил нужных слов! На собраниях он говорил горячо, вдохновенно, его слова трогали слушателей, а вот написать о рабочей нужде не может. На бумагу ложатся трескучие фразы!

Юников поднялся. Стройный, тонкий, с красивой головой, увенчанной густой шевелюрой, он шагал по комнате, пытаясь доискаться до причины своей беспомощности.

За столом составляли требования. Писал Анатолий Ермаков, остальные пристально следили за тем, что он пишет: ввести восьмичасовой рабочий день, узаконить Первомай, отменить ночные работы, повысить расценки, вежливое обращение с рабочими, отмена штрафов... Ермаков писал не задумываясь, как переписывают хорошо выученное стихотворение. Эти требования не являлись его творчеством, они были выработаны уже давно: в кружках, на собраниях. Но если посторонний человек увидел бы возбужденное лицо Ермакова, его озорно поблескивающие глаза и вздрагивающие ноздри, то был бы

уверен, что автором этих дерзких требований является именно он, Анатолий Ермаков...

...В эту ночь бодрствовала и Марфенька Яковлева. Она сидела на кровати и смотрела в окно. В зыбкой серости неясно проступали очертания заводов, берег Невы с редкими лесами и перелесками... На востоке зарделись верхушки деревьев и вслед за этим выплыл на небо багровый диск солнца, по-зимнему яркий и холодный.

Марфенька услышала шорох за своей спиной. Она повернулась. Марфа Тимофеевна, спавшая на второй кровати, торопливо одевалась, приговаривая:

— Иду... Иду...

— Что с вами, мама?

— А ты не слышишь? Василий стучит!

Марфа Тимофеевна — полуодетая, в одном валенке — направилась к двери.

— Мама, вам почудилось. Никто не стучит.

Марфа Тимофеевна прислушалась и убедилась: да, почудилось. Она видела сон: сын вернулся из тюрьмы. Она слышала его шаги по лестнице, слышала стук в дверь...

Марфа Тимофеевна опять легла и вдруг сказала укоризненно:

— А ты все в окошко глядишь!

— Посмотрите, мама, какое холодное солнце...

— Пустое!— оборвала ее Марфа Тимофеевна.— Тебе выспаться надо. Скоро на работу. Спи! — закончила она строго, повернувшись лицом к стене.

В квартире Калинкина сначала проснулся один ребенок, потом второй, и вот уже поднялась за перегородкой обычная утренняя возня.

Ермаков глянул в окно: голубое небо. Он потушил лампу, передал Иустину Шнитовскому листовку и коротко сказал:

— Отпечатай.

Деловой тон Ермакова разочаровал всех: они ждали каких-то значительных слов. Ведь сейчас решается их будущее!

Ермаков это понял.

— Сегодня вечером, — сказал он, — соберемся в лесу. Там и поговорим. А сейчас по домам.

«Искровцы» разошлись: кто домой, чтобы успеть по-

завтракать до гудка, кто к товарищу, чтобы поговорить о забастовке, кто в Питер ходоком к выборжцам, а Иустин — к Марфеньке.

У Яковлевых уже не спали. Марфа Тимофеевна готовила завтрак, Марфенька прибирала в комнате.

— Что так рано заявился? — неласково встретила его Марфа Тимофеевна.

— Прямо с заседания.

— Что решили? — спросила она, не отрываясь от стряпни.

На кухню пришла Марфенька. Она была в светлом платьице. Тонкая, гибкая, она потянулась к Иустину.

— Седьмого начинаем, — сказал он, зардевшись, не зная, как держать себя с Марфенькой в присутствии ее матери. — Вчера остановились заводы на Выборгской!

— То Выборгская сторона, а мы Невская застава! — строго промолвила Марфа Тимофеевна. — Почему с семянниковцами не договорились? Почему с нашими торнтоновцами не сговорились? Скопом надо выступать. Одних вас одолеют.

— Пусть только начнут обуховцы! — горячо воскликнула Марфенька. — Пристанут к ним и семянниковцы, и ваши торнтоновцы, и наша Карточная!

— И мы так думаем! Мы начнем, а за нами двинутся остальные!

— Идем завтракать, — закончила Марфа Тимофеевна спор. — Раз решили, то говорить больше не о чем.

С завтраком торопились: время приближалось к гудку.

Из дома они вышли втроем. Иустин и Марфенька проводили мать до переезда, постояли немного у шлагбаума, наблюдая, как Марфа Тимофеевна взбирается на пригорок, и, послав ей вдогонку «до свидания», направились к Карточной фабрике.

Оба — и Марфенька и Иустин — были смущены, и это случалось с ними каждый раз, когда они оставались с глазу на глаз.

— Как, по-твоему, Иуста, в Севастополе есть искровская партия?

— Конечно, есть!

— Иуста, милый, переедем в Севастополь. Я там поступлю в партию. Иуста, милый, я хочу к солнцу!

Иустину и в голову не приходило, чтобы из-за солнца

бросать завод, товарищей, но отказать Марфеньке он не мог.

— Марфенька, поговорим об этом после забастовки. А теперь побегу, — добавил он решительно. — Мне поручили листовку отпечатать.

— Я тебе помогу! Иуста, милый, ведь и мне для Карточной нужны листовки. Знаешь, что девушки говорят? «Будем бунтовать вместе с обуховцами!»

5

На первый взгляд все шло в Александровском так, как всегда. Заводы работали, лавочники торговали, в трактирах играли «оркестрионы», ребятишки возились во дворах. Тысячные толпы шли навстречу утренним гудкам, растекались по заводам — и городок замирал до обеда. На ступеньках нарядной церкви, на своем обычном месте, дежурил околоточный надзиратель Костюшко, и его полицейский глаз не подмечал ничего подозрительного.

Прошло четвертое мая, прошло пятое, прошел и воскресный день шестого. Было уже отпечатано четыреста листовок, был уже выработан подробный план забастовки, но огромная масса обуховцев ничего еще не знала. «Искровцы» умели хранить тайну. Они собирались по нескольку раз на дню: то в лесу, то в уборной кирпичной мастерской, то в поле за полигоном, то на кладбище. Десятки раз они обсуждали требования, разрабатывали тактику. Из девяти тысяч обуховцев едва лишь двести были посвящены в тайну, а они — проверенные и верные люди — не выдадут ее Иванову!

Наступил понедельник. За полчаса до утреннего гудка собрались активисты у пробной ямы.

— Начинаем, — сказал Анатолий Ермаков.

Он был взволнован, он хотел произнести речь, но, видя суровые лица товарищей, понял, что не до речей им теперь.

— Получайте листовки, — предложил Иустин.

В несколько минут были разобраны листовки.

— Скоро гудок, — заторопился Юников. — Пойдем.

Тут собрались лучшие: представители кружков, выборные от мастерских. Все они понимали, что сегодняшний день — начало революционной биографии Обуховского завода. Они еще не знали, как разовьется забастовка и

чем она закончится, но верили, что обуховцы готовы к борьбе. Возбужденные и решительные, как солдаты перед боем, двинулись активисты к заводу.

Прогудел первый гудок. Ночная смена уходила домой. Народ шел натруженным шагом. Навстречу спешил поток дневной смены.

Станочник Фома Кармазов задерживал рабочих, направляющихся домой.

— Не уходите, товарищи! — уговаривал он, раздавая листовки. — Сегодня у нас будет разговор с Маргариткой!

— Какой такой разговор?

— А ты листовку прочитай!

— Чего тут читать! Своими словами расскажи!

— Можно и своими словами. Вызовем Маргаритку и заявим ему: «Не желаем работать по двадцать часов! На каторге и то меньше работают!»

— А про расценки? — спросил кто-то.

— А про мордобой?

— Обо всем заявим! — крикнул Кармазов. — Вы, товарищи, возвращайтесь на завод! Всем миром нажмем! Вернее получится! Не отвертится тогда Маргаритка!

— Так он тебя и послушает, — хмуро промолвил старик Дюжаков. — Дождешься от Маргаритки ответа.

— А ты, папаша, требовал от него ответа? — весело спросил Кармазов. — Ведь не требовал, а? Сознайся, папаша. Стучишь молоточком двадцать часов, к гудку еле ноги волочишь, а рта не раскрываешь, боишься. А все мы — сила. Пойдем к нему и спросим: «Почему это ты, вонючая Маргаритка, мучаешь нашего папашу Дюжакова?»

Дюжаков — рослый, широкоплечий, с всклокоченной сивой бородой — сначала окинул Кармазова осуждающим взглядом, потом, улыбнувшись чему-то, неожиданно сказал:

— Авось на этот раз одолеем.

Вынырнул откуда-то городовой:

— Разойдись!

И одного этого слова было достаточно, чтобы вызвать гнев у рабочих.

— В канаву его, фараона!

И бросили бы городового в канаву, если бы не Дюжаков. Он сорвал с головы картуз, помахал им в воздухе и гаркнул:

— Пошли к Маргаритке!

Сотни рабочих кинулись к воротам завода.

У Петропавловской церкви Николай Юников собирал вокруг себя тех, что шли на работу. Как только рявкнул второй гудок, рабочие отбросили сторожей, распахнули ворота и стремительным потоком ворвались во двор.

— Товарищи! — послышался звонкий голос Николая Юникова. — Вы знаете, что начальство собирается уволить тысячи человек?

Вокруг загудели:

— Не дадим своих в обиду!

— Не дадим!

— Иванова сюда!

— Маргаритку!

Поднялся такой шум, что воробьиная стая, отдыхавшая на крыше модельной, в тревоге унеслась за Неву.

— Товарищи! — надрывался Юников. — Давайте выберем делегатов к Иванову!

На мгновение замолкла толпа, и сразу понеслось со всех сторон:

— Ермакова!

— Юникова!

— Кармазова!

— Гаврилова!

— Шурупова!

Делегатов отрядили в контору.

Явился Иванов в белом кителе с сияющими на солнце золотыми погонами.

— Чего вам? — спросил он вызывающе.

Один вид Иванова привел рабочих в неистовство. Его мгновенно окружили, десятки кулаков угрожающе потянулись к нему. Раздались выкрики:

— Иванов подлец!

— Мерзавец Иванов!

Иванов стоял, как затравленный зверь, озираясь вокруг и усиленно дыша. В том месте, где сходился воротник кителя, подрагивала синяя жилка.

— Чего вы хотите? — выжал он из себя.

С перекошенным от ненависти лицом подскочил к Иванову модельщик Александр Калинкин. Его куцая бороденка была загнута рожком. Он замахнулся на Иванова зубилом:

— Убью! Язви твою душу!

Рабочие оттеснили Калинкина:

— Не для драки собрались!

К Иванову подошел кузнец Шурупов. Сегодня он явился на работу в праздничном сюртуке, надетом поверх белой рубахи, в высоких, хорошо начищенных сапогах. Даже борода — рыжая, густая — была подстрижена и аккуратно причесана. Он протянул Иванову исписанную короткими строчками страничку из школьной тетради:

— Вот наши требования.

Дрожащими пальцами принял Иванов листок. Он достал из кармана пенсне, протер стекла носовым платком и, водрузив пенсне на спинку горбатого носа, принялся читать. Дойдя до пункта, где рабочие требовали его увольнения с завода, Иванов уже настолько успокоился, что смог даже улыбнуться.

— Этак вы скоро и министров потребуете уволить.

— Не только министров, но и самого царя! — крикнули из толпы.

В эту минуту показался Власьев. Он не уехал в отпуск. Его генеральское сердце чуяло недоброе. Власьев был в полной парадной форме: с красной лентой через плечо, при всех орденах, в густых эполетах, в лакированных ботфортах.

— Разойдись, — сказал он негромко, но внушительно.

В ответ послышались выкрики, угрозы.

Этот неожиданный отпор поразил Власьева. Он был уверен, что один его вид приведет рабочих в трепет.

Иванов, воспользовавшись замешательством, удрал, но не в контору — туда было далеко, а в конюшню: его тошнило.

Власьев мгновенно изменил тон. Перед рабочими опять возник вежливый, благожелательный начальник.

— Братцы, — сказал он, — я ли для вас не старался? Я ли для вас не хлопотал? Чем вы еще недовольны? Чего желаете?

Со всех сторон понеслось:

— Принять обратно уволенных!

— Иванова выгнать!

— Рабочий день сбавить!

— Не могу я, господа, со всеми говорить. Выберите кого-нибудь из своей среды, пусть объяснит, в чем дело.

— Знаем эти выборы! Арестуете его!

— Ручаюсь вам...

— Чего там ручаться! — оборвали его рабочие. — Читай наши требования!

Власьев читал долго. Наконец он сказал:

— Хорошо, братцы. Прикажу мастерам, чтобы они обращались с вами более вежливо. Ну еще кое-что, что в моей власти, сделаю. Но уволить подполковника Иванова, дать восьмичасовой рабочий день или узаконить празднование Первого мая, это, увы, не в моей власти. Вы знаете, господа, что я болею за вас душой, что я делаю больше, чем в моих силах. Вот я дома построил...

— Для мастеров!

— Сразу всего не сделаешь! Потерпите, господа, дайте срок...

— Мы подохнем до твоего срока!

— И бог в один день не создал мира...

— Ты бога оставь! Не об нем речь!

— Братцы, — мягко проговорил Власьев. — Вы сегодня возбуждены. Отправляйтесь в мастерские, а я поеду в министерство и передам ваши требования. От себя буду просить, чтобы облегчили вашу участь...

— Мы требуем, а не просим!

— Не будем работать!

— Братцы, ведь русские мы с вами люди. Все мы работаем на оборону дорогого нам отечества.

— Каторга, а не отечество!

Из толпы понеслись выкрики:

— Хватит этой каторги!

— Да здравствует свобода!

— Долой самодержавие!

Власьев заткнул уши руками и петушиным скоком выбрался из толпы.

Рабочие хотели его остановить, вернуть, но тут послышался детский крик. Мальчонка какой-то, привлеченный шумом, просунул голову в полураскрытые ворота. Дежурный сторож схватил его цепкой лапой, втянул во двор. Мальчонка отбивался, кричал во всю силу своих легких.

Рабочие бросились к сторожу. Один дал ему оплеуху, другой сбил с ног.

Раздражение рабочих возрастало. Одни кричали, что зря упустили начальство, другие предлагали стекла бить...

Послышался высокий голос Анатолия Ермакова:

— Пошли, товарищи, останавливать завод!

Ермаков — раскрасневшийся, с горячими глазами — побежал в сторону минной. За ним последовали человек сто. По пути они вооружались палками, железными прутьями.

— Кончай работу! — приказал Анатолий Ермаков, остановившись в дверях минной. — Забастовка!

— Чего бунтуете! — раскричался мастер Бреве, петухом наскакивая на Ермакова. — На каторгу захотел?!

— Чего с драконом-мастером разговаривать! — взъярился вдруг один из рабочих. — Кидай его в окно!

Над заводом взвился тревожный гудок: это Иустин Шнитовский, пробравшись в кочегарку, включил пожарную сирену.

Завод замер. Остановились станки, потухло электричество. Рабочие бросились к выходу.

У ворот преградил им дорогу Костюшко с десятком городовых.

— Назад! — крикнул он, доставая из ножен шашку.

Рабочие были возбуждены. Они впервые почувствовали свою силу: от них бежал Маргаритка, от них бежал генерал, они завод остановили — и вдруг какой-то недоносок на кривых ногах кричит им «назад!».

— Ах ты, Илья Муромец, — добродушно промолвил старик Дюжаков. — Не видишь? Озлился народ. Ступай с богом. — И, подняв руку, хотел отстранить околоточного.

Но Костюшко замахнулся клинком на старика.

Вырвался вперед парень в яркой рубахе. Он сначала ударом в скулу повалил кривоногого Костюшко, потом брезгливо, как дохлого котенка, приподнял его с земли и бросил в канаву.

Городовые трусливо наблюдали, как парень в яркой рубахе отделывает их начальника.

Шумным потоком ринулись обуховцы на Шлиссельбургский проспект. Подошли к Карточной фабрике. Работницы стояли во всех окнах.

— Бросай работу! Выходи!

Раскрылись ворота, и сотни девушек присоединились к обуховцам.

Взвился красный флаг. Ветер трепал легкое полотнище, майское солнце золотило лица, яркие блики играли на цветных косынках.

С песнями шли рабочие по проспекту. Впереди — Николай Юников, Марфенька Яковлева и Иустин Шнитовский. Знамя несла Марфенька. Легкая, воздушная, шла она четким шагом и сияющими глазами смотрела на народ, что шпалерами выстроился вдоль тротуара.

6

Иванов скоро справился со своим страхом. Он выбрался из конюшни и, воровато озираясь, побежал в контору. Там он вызвал к себе Берсеневу.

— Александра Ивановна!

Она вскинула на подполковника удивленные глаза: впервые Иванов назвал ее по имени-отчеству.

— Звоните немедленно в Петербург!

Иванов выскочил в коридор.

— Боцмана Заставного ко мне! — крикнул он в пустоту коридора и, не дожидаясь отклика, вернулся в кабинет.

— Чего вы стоите?! — накинулся он на Александру Ивановну. — Полковнику Палибину позвоните! Чтобы немедленно прибыл! С казаками! — Он кричал, гримасничал, как при зубной боли, и, сам того не замечая, все время расстегивал и застегивал верхнюю пуговицу кителя.

Александра Ивановна прошла в свою комнату, постояла недолго у своего столика, к телефонному аппарату не притронулась и вернулась в кабинет Иванова.

— Телефон не работает, — доложила она.

— Повешу! Всех повешу! — Иванов распахнул дверь и крикнул в коридор. — Боцман!

Вместо боцмана явился кассир. На красном его лице ледяной тусклостью отсвечивал мертвый глаз.

— Ваше высокородие! Полковник Палибин не может до вас дозвониться!

— Откуда знаешь?

— Сообщили по телефону.

— А он работает?

— У меня работает.

В коридоре послышался топот многих ног; вскоре остановился в дверях боцман Заставный.

— По вашему приказанию!

Иванов бросился к вешалке, где обычно висела его фуражка, и растерянно остановился.

— Что вы ищете? — спросил кассир.

— Фуражку!

Кассир угодливо хихикнул:

— Она у вас на голове.

Иванов подошел к кассиру, шепнул ему на ухо:

— Доложи градоначальнику от моего имени, что на Обуховском бунт. — Сказав это, он выбежал из кабинета.

В коридоре, вдоль стены, стояли, выстроившись, тридцать матросов из заводской охраны.

— Братцы, — обратился к ним Иванов. — Рабочие хотят поджечь завод! За мной!

Матросы последовали за Ивановым. Вприпрыжку они спустились с лестницы и беглым шагом направились к воротам. На улице они построились. Впереди — боцман, позади — Иванов.

На тротуарах сотни людей. В окнах — женщины, дети. Со стороны завода Берда приближается шествие. Небо голубое, воздух прозрачный, и в этой весенней ясности рдеет рабочее знамя. Слышен четкий шаг тысяч ног, и эта четкость придает бодрый, уверенный ритм надвигающейся песне:

Беснуйтесь, тираны, глумитесь над нами,
Грозитесь свирепо тюрьмой, кандалами!

Вот уже ясно видны три фигуры: посреди — девушка в белой кофточке с красным знаменем в руке.

7

На квартире Шнитовского шло совещание с товарищем Алексеем, присланным из Питера «искровским» комитетом. Обстановка создалась сложная: видно было, что Иванов хочет довести до вооруженного столкновения. На это совещание пригласили непартийного Гаврилова: хотели посоветоваться с ним — как-никак, а бывший строевой старший унтер-офицер.

Совещание только началось, когда в окно постучали:

— Казаки!

Все выскочили на улицу. Со стороны Петербурга надвигалась конная лава. Пыль кружилась под ногами всадников.

— Что ж, товарищ Алексей, — сурово промолвил Гаврилов, — примем гостей если не с хлебом-солью, то с каменной болью.

Около завода были установлены два шлагбаума: один перекрывал железнодорожный путь, другой — проспект. Тут же лежали груды булыжника и кирпича — для ремонта дороги.

Перехватив недоуменный взгляд товарища Алексея, Гаврилов пояснил:

— Стреляют не только пулями, можно стрелять и камнями. Только действовать надо по-военному: организованно, дисциплинированно.

Товарищ Алексей и Анатолий Ермаков одобрили план Гаврилова. С ним согласились и остальные — все, за исключением Шурупова.

— Какие мы вояки? — сказал он. — Наше дело — листовка, стачка, а не в драку лезть.

— Язви твою душу! Как ты без драки царя сшибешь?

— С царем-то погоди, — спокойно ответил кузнец. — До него еще очередь не дошла. Давай раньше уладим дела с Власьевым. Расценки поднимем, рабочий день сбавим. Вот за это народ нам спасибо скажет. А чтобы камешками кидаться — ни к чему. Несерьезное это дело. И, кроме того, товарищи, на такое дело можно идти, если на это имеется согласие народа. А нам разве народ дал согласие на войну?

«Искровцы» хорошо знали Шурупова: экономист, ему бы только копеечку выторговать у хозяина!

Ермаков быстрым взглядом окинул своих товарищей: в их глазах он увидел гнев, решимость.

— Пошли воевать!

Все побежали к шлагбауму и в спешке не заметили, что Шурупов остался на месте; постояв немного, он вороватым шагом пустился к своему дому.

Обуховцы, сгрудившись на проспекте, молча смотрели в сторону Невской заставы, откуда надвигалась конная лава.

Появились «искровцы». Впереди Ермаков с товарищем Алексеем.

— Становитесь у шлагбаумов! — сказал Ермаков. — Казаки идут! Встретим их каменным дождем!

Мгновенно оживились обуховцы. Они перебегали с места на место, искали друзей по кружку, по мастерской.

Слышны были выкрики Ермакова, Юникова, Шнитовского.

— Стройтесь в десятки!

Казаки приближались. Лавочники торопливо запирали свои лабазы. Седые головы мастеров, только что торчавшие в окнах «Власьевки», исчезли.

Всадники осадили коней у шлагбаума. Это были не казаки. Во главе эскадрона конной полиции гарцевал полковник Палибин. Его лицо — красное и круглое — было как бы пересечено пополам густыми усами. Грудь в орденах. Гнедой конь приплясывал под ним, игриво перебирал тонкими ногами. С удил срывались хлопья снежной пены.

Сотни глаз — пристальных и враждебных — следили за каждым движением тучного полковника. Ему не удавалось развернуть эскадрон: мешал закрытый шлагбаум.

Выдвинулся вперед Гаврилов. День был солнечный, но не знойный, а Гаврилов напялил на голову огромную соломенную шляпу.

— Пожалуйте, ваше высокородие, — услужливо предложил Гаврилов и, вынув шкворень из гнезда, вскинул вверх брус шлагбаума.

Городовые тронули с места. Шлагбаум мгновенно опустился и сбил с коней ехавших впереди всадников.

Рабочие захохотали.

— Вот так проехали!

— Давай следующий!

Палибин поднял коня на дыбы.

— Шашки вон! — скомандовал он.

Городовые, выхватив шашки из ножен, бросились к Гаврилову. Он юркнул за чью-то спину, успев все же опять поднять брус.

Всадники ринулись в свободный проход. Но стоявший тут же Анатолий Ермаков опустил шлагбаум, и двое городовых упали на землю. Их кони, перемахнув через брус, помчались в поле.

— Бей фараонов! — послышалась зычная команда Ермакова.

В полицейских полетели камни.

Народ, до этого стоявший на тротуарах, присоединился к обуховцам. Особенно усердствовали мальчишки. Они наполняли свои шапки камнями, сами кидали в городовых и снабжали камнями взрослых.

Городовые еле удерживали бесившихся коней. У полковника Палибина лицо в крови. Его гнедой мотает головой и ржет растерянно. Парнишка один — босой, в рваной рубахе — все время целился в грудь полковнику, и каждый раз после удачного попадания звякали палибинские медали.

Каменный град был такой сильный, что камни, сталкиваясь в воздухе, чертили огненные зигзаги.

Это произошло так неожиданно, что городовые в панике повернули коней и ускакали, стремясь поскорее уйти от каменного ливня.

Тут показались матросы: впереди — боцман Заставный, позади — Маргаритка.

Обуховцы не успели перестроиться, как раздалась команда:

— Шеренга, пли!

И, прежде чем рабочие осознали, что произошло, грянул залп.

Литейщик Осипов, запасавшийся в эту минуту камнями, рухнул на кучу с распростертыми руками. Марфеньке Яковлевой, стоявшей рядом с Осиповым, почудилось, что литейщик почему-то решил своим телом прикрыть каменную кучу. Чертежник Сулимов, целившийся в Маргаритку, выронил камень и, охнув, запрыгал на одной ноге. Двенадцатилетний Павка Евдокимов только что прибежал из школы. Он выбросил книги из холщовой сумки и набивал ее камнями. Пуля настигла его в то мгновение, когда сумка была уже почти полна. Павка упал на кучу и застыл, уставясь мертвыми глазами в голубое небо.

Женщины и дети побежали. Обуховцы попятились.

Неожиданно крик:

— Мерзавцы! Что вы делаете?!

Расталкивая толпу, бежал капитан Берсенев, без фуражки, в расстегнутом кителе.

Между рабочими и матросами было шагов тридцать мертвого пространства. Берсенев, очутившись в пустоте, остановился, рывком обнажил волосатую грудь:

— Стреляйте, мерзавцы! — Но тут же, увидев Иванова, подбежал к нему, схватил его за погоны и, топая ногами, закричал: — Не смеете людей убивать! Не смеете!

Иванов грубо оттолкнул от себя капитана.

— Бунтовщик! Сволочь! Я тебя проучу! Боцман! Залп!

Эти слова, вместо того чтобы напугать обуховцев, их подхлестнули.

— Бей Маргаритку! — крикнул Ермаков.

— Девушки! Камни! — подхватила Марфенька.

На матросов обрушился каменный шквал.

— Стреляйте! — надрывался Иванов.

Хлопнули винтовочные выстрелы, но ни одна пуля не задела рабочих. Пули, словно градинки, зацокали по железным крышам.

Лицо Иванова перекосилось.

— Целься, мерзавцы!

Боцман Заставный схватился за ногу. Ковыляя, он отбежал в сторону, но его перехватил Иванов.

— В небо стреляешь, сволочь! На каторге сгною! — Он повернулся к матросам. — Еще одна пуля в небо — и я вас перестреляю!

Из Церковного переулка выскочил обуховец Панко. Он работал в ночной смене и забежал домой переодеться. Теперь Панко был в чистой рубахе, перетянутой красным шнурком, в новых сапогах, которые отмечали сухим скрипом каждый его шаг. Вслед за Панко бежала молодуха с голым ребенком на руках.

— Панко! Панко!

Панко повернулся к жене:

— Куда ты с ребенком?

— Воротись, Панко! Воротись!

— Там товарищи погибают, — сказал он зло и, махнув рукой, побежал дальше.

— Шеренга, пли! — рявкнул Заставный.

Залп получился ломкий, нестройный. Но на этот раз были жертвы. Пуля боцмана Заставного угодила в Панко: он упал замертво в нескольких шагах от жены, а две пули, пущенные матросами вверх, залетели в окна второго этажа и ранили двух детей.

Каменный дождь все усиливался. Обуховцы целились в Иванова, в боцмана, выбивали винтовки из рук матросов. Мелькала белая кофточка Марфеньки Яковлевой, красная рубаха Ермакова, то тут, то там появлялась высокая, сутулая фигура товарища Алексея. Всюду слышалась бодрая команда:

— Чаще кидай!

— Посылай, посылай! Не жалко для Маргаритки!

Никогда еще выступление рабочих не дышало такой

смелостью, такой уверенностью в своей правоте, как действия обуховцев в этот день. Камни летели со всех сторон. В воздухе стоял гул, как в горах во время обвала. Кирпичи, сталкиваясь на лету, рассыпались и обдавали матросов красной пылью...

Не выдержал Иванов: втянув голову в плечи, он побежал. За ним, прихрамывая, побежал и боцман.

Каменный дождь мгновенно прекратился. Матросы, очутившись без начальства, закинули винговки за плечи и без строя, врассыпную, побрели на завод.

Но это еще не победа!

Со стороны Питера приближалась новая конная часть.

— За мной! — крикнул Гаврилов.

Он хотел сбить конников на марше, но в эту минуту подъехала к шлагбаумам конка, битком набитая городовыми.

Положение создалось грозное: с тыла — Палибин, с фронта — конка, с фланга — свежая конная часть.

Гаврилов хотел сказать об этом Ермакову, товарищу Алексею, посоветоваться с ними, но народ уже действовал. Без команды обуховцы сами принялись камнями обстреливать конку. Городовые, успевшие выйти из вагонов, заметались, бросались из стороны в сторону. Всюду настигали их камни обуховцев. Горбясь, защищая головы руками, ринулись городовые обратно в вагоны. И это их не спасло: в окна полетели кирпичи, железные брусья, камни.

Видел это и командир приближающейся конной части. Он пустил вскачь своего коня, и вот уже вся часть, рассыпавшись, несется, обхватывая дугой площадь перед шлагбаумом.

Обуховцы отступили.

8

Дома 48—50 имели общий забор и крепкие ворота. Туда и ринулись обуховцы.

— Баррикаду строить! — распорядился Ермаков.

Закипела работа. Перед воротами выросла баррикада из бочек, телег, телеграфных столбов. Марфенька Яковлева и девушки с Карточной таскали кирпичи, камни.

Первым появился перед баррикадой полковник Палибин со своими конными городовыми.

— Выходите! Не то перестреляю!

В Палибина полетели кирпичи. Гнедой конь под ним сначала подпрыгнул, потом упал на передние ноги. Палибин не удержался в седле: рухнул на землю.

— Это тебе за Казанскую площадь! — крикнул Фома Кармазов.

Грузный полковник ловко вскочил на ноги и побежал к церкви, что высилась против баррикады. Там он спе́шил городовых и открыл по рабочим стрельбу из револьверов.

Во дворе поднялась суматоха. Женщины сзывали детей, силой уводили своих мужей.

— Остановитесь! — послышался возмущенный голос Марфеньки Яковлевой. — Мы не должны оставить в беде своих братьев!

Марфенька взобралась на баррикаду и, швырнув в городовых несколько камней, не уходила. Она стояла — тонкая, стройная — с поднятой рукой, с откинутой назад головой, как бы любуясь сверкающей голубизной весеннего неба. Со стороны церкви засвистели пули, но ни одна из них не задела храброй девушки.

Геройский поступок Марфеньки приободрил женщин. С окон и крыш полетели в городовых бутылки, цветочные горшки.

...В воздухе, еще светлом, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда донеслась с улицы барабанная дробь. Не обращая внимания на городовых, вышли «искровцы» из-за баррикады, и то, что они увидели, наполнило их сердца тревогой.

Со стороны проспекта приближались две роты пехотинцев. Впереди — офицер с обнаженной шашкой в руке, за ним — три барабанщика и лес сверкающих штыков.

— Против солдат не устоим, — мрачно промолвил Гаврилов.

Все глянули на товарища Алексея: ведь Гаврилов бывший унтер-офицер, он, единственный среди них, знает военное дело.

— Да, — подтвердил Юников. — Не устоим.

— Целая армия, — как бы удивился Ермаков.

— Народ пожалеть надо, — вставил свое слово Иустин.

— Неужели и они будут в нас стрелять? — спросила Марфенька.

Никто на этот вопрос не ответил.

— По домам, — коротко сказал товарищ Алексей. Помедлив, он добавил: — Воевали неплохо. В другой раз повоюем еще лучше.

Эти слова немного развеяли горечь. «Воевали неплохо!» С непривычки и без подготовки! А когда подготовятся?

Об этом сказал Ермаков рабочим.

— А теперь разойдемся, — закончил он.

Двор опустел ненадолго. Солдаты растащили баррикаду, и в раскрытые ворота хлынули городовые. Вынырнул откуда-то Паук и с ним жандармский ротмистр. Первым делом они стали обыскивать квартиры.

В сущности, никакого обыска они не делали. Входили в квартиру.

— Руки вверх!

Всех, у кого были грязные руки, выталкивали во двор, а если у какого-нибудь рабочего оказывались чистые руки, ротмистр обращался к Пауку:

— Обуховец?

— Так точно, ваше благородие, наш.

— Во двор его!

Дежуривший у дверей солдат хватал рабочего за шиворот и выводил во двор, где под охраной городовых уже ждали десятки арестованных.

Иногда Паук отвечал:

— Никак нет, ваше благородие. Не наш.

— Ничего. Во двор его. По роже видать, что бунтовщик.

Покончив с домами 48—50, жандармы отправились в «корабли» — в общежитие Обуховского завода...

Наступила ночь. Дома как бы отодвинулись от проспекта, ушли в глубь огородов. Ни одного огонька в окнах. Все живое замерло, притаилось. Даже собаки и те примолкли. И в этой зловещей тишине орудовали жандармы. Целой бандой врывались они в дома активистов и уводили с собой всех, кого находили на месте.

9

Лишь только забрезжило на востоке, вышел из дома старик Шнитовский. Чем ближе к заводу, тем чаще попадались ему полицейские патрули.

— Ламповщик, — кратко, словно пароль, бросал Василий Федорович, и его пропускали дальше.

Старик, и к тому же безрукий, не вызывал у городовых подозрений.

Двадцать фонарей обслуживал Василий Федорович. От фонаря к фонарю — двести шагов. Работа пустяковая. На коротком коромысле висели два кольца. Вечером надо было тянуть вниз одно кольцо, и под асбестовым колпачком вспыхивало белое пламя. Утром потянешь за второе кольцо — свет меркнет. Фонари были укреплены на столбах, и дотянуться до колец можно было только длинным шестом с крючком на конце. Но как же безрукому управиться даже с таким пустяковым делом? Помогала жена; собственно, она и делала всю работу. И это угнетало Василия Федоровича. Груня еле ноги волочила, а ходьбы много. Сна лишился старик: он искал замену своим рукам. И нашел. Аграфена Власьевна привязывала шест к его плечу, и Василию Федоровичу оставалось только двигать этим плечом, чтобы зацепить крючком колечко.

В первые дни сопровождали странного ламповщика чуть ли не все мальчишки из Александровского. Правда, они не приближались к Василию Федоровичу: у него был чересчур грозный вид, зато издали потешались над калекой, который точно сослепу тыкался своим шестом, и лишь случайно ему удавалось поймать на крючок малюсенькое колечко. Когда же Василий Федорович наловчился и стал управляться шестом, как заправский ламповщик, отстала от него детвора, да и взрослые перестали обращать на него внимание.

Сегодня вышел на работу Василий Федорович раньше положенного часа. Александровское еще окутано предрассветной мглой. Он шел от фонаря к фонарю, и по мере того, как продвигался вперед, гасли яркие точки и вокруг завода сгущались тени.

Уже потушено 17 фонарей. Василий Федорович идет к следующему, но, сделав несколько шагов по направлению к восемнадцатому, он резко повернул влево, к кладбищу, которое неясно маячило на пригорке. Хорошо видна была только низенькая ограда: красным поясом она охватывала серые, словно пеплом осыпанные, деревья.

Ламповщика, видимо, ждали. Из часовенки выбежало несколько человек.

— Как там? — спросили они одновременно.

Василий Федорович не ответил на вопрос. Он сказал угрюмо:

— Уходите. Сейчас же уходите. Сюда придут.

И, не ожидая дальнейших расспросов, калека пустился обратно, к восемнадцатому фонарю.

...В часовенке — человек пятнадцать. Они сидят на полу, тесно прижавшись друг к другу. Дверь распахнута. Из серости рассвета проступают фабричные трубы, верхушки деревьев.

— Уйти отсюда всегда успеем, — сказал Анатолий Ермаков.

— А чего здесь сидеть? — спросил Гаврилов.

— По-твоему, бой кончился?

— Кончился, товарищ Ермаков.

— Нет, Гаврилов! Вчера нас побили, сегодня должны мы их побить!

— А где наша сила?

Поднялся на ноги товарищ Алексей. Он снял картуз, отряхнул его и опять надел, достал из кармана папиросу, закурил и, глядя на догорающую спичку, спросил:

— Думаешь, одни лишь обуховцы в бой рвутся? Если мы пошлем к семянниковцам? «Товарищи, — скажем мы им, — подсобите. Обуховцы держались целый день, колошматили полицию в хвост и в гриву, а все же осилил нас царь. Количеством одолел. Давайте, товарищи, вместе нажмем? А если к нам еще примкнут балтийцы, путиловцы? Хватит тогда у царя солдат?»

Наступила тишина. Все ждали, что ответит Гаврилов. Наконец он сказал:

— Никого ты к семянниковцам не пошлешь. Никто не выберется из Александровского. Солдаты стерегут все входы и выходы.

Вскочила на ноги Марфенька Яковлева:

— Я пойду к семянниковцам!

Товарищ Алексей взглянул на девушку: белая кофточка в пятнах, черная юбка смята, рука в кровоподтеках. Сама она тонкая, хрупкая. Только глаза — чистые, радостно-возбужденные.

— Не дойдешь, Яковлева, — сказал он, качнув головой. — В особенности ты. Тебя знают. Первый же караул тебя задержит.

— Меня не задержат! Никто меня не задержит!

Я дойду до семянниковцев! Там у меня дядя работает. Он в забастовочном комитете.

Товарищ Алексей испытующе посмотрел на девушку, обменялся быстрым взглядом с Ермаковым и кратко сказал:

— Иди, Яковлева.

Марфенька рванулась к двери.

Поднялся Иустин Шнитовский.

— Я пойду с ней, — обратился он к Ермакову.

— Не надо! Я одна дойду! — Слова Марфеньки звучали резко, чувствовалась обида в голосе.

— Садись, Иустин, — предложил Ермаков. — И для тебя дело есть.

Марфенька не слышала последних слов Ермакова. Быстрым и легким шагом она уже шла в сторону леса, чтобы знакомыми с детства тропинками выйти к семянниковскому заводу.

Из часовенки следили за ней десятки глаз. Тонкая девичья фигурка все удалялась. Предрассветный ветерок шевелил ее волосы.

Вскоре она как бы растворилась в тумане.

10

Утро. Голубое небо накрыло городок сияющим куполом. В воздухе резвились птицы. Их было так много, точно слетелись со всей округи: такого чистого воздуха давно не было в Александровском. Ни одна труба не дымила! Заводы Невской заставы бастовали в солидарность с обуховцами.

На улицах стали появляться женщины. Кто шел за провизией, кто за новостями, а кто и на розыски близких. Женщины жались к заборам. Повсюду солдаты! Вокруг завода, биваком, расположились роты Енисейского полка. На площади перед трактиром «Зеленая роща» патрулировали городовые; эскадроны конных жандармов охраняли завод со стороны Невы, а солдаты Омского полка замыкали въезд в Александровское со стороны Мурзинки и села Рыбацкого.

Около десяти послышались призывные звуки военных рожков. Из ворот завода вынесся полковник Палибин. С припудренным лицом, на котором все же заметны были синяки, он скакал от одной воинской части к другой.

— Построиться! — командовал он лающим голосом и поворачивал коня.

Уже построились городовые, за ними — енисейцы; длинной цепочкой вытянулись оба эскадрона жандармов.

Команды ушли из Александровского.

Городок мгновенно ожил. В домах раскрылись окна, на улицы высыпали рабочие. Первым делом бросились они в трактиры: не для того, чтобы отвести душу за рюмкой, а для того, чтобы проверить, на свободе ли товарищ по кружку. Каждый рабочий в отдельности не знал, что предпринять, хотя каждый понимал, что вчерашний бой, при кажущемся поражении, все же закончился их победой. Неспроста убрали полицию и солдат! Но как использовать эту победу? Повлияет она на забастовку? И рабочие искали в трактирах руководителей, чтобы спросить: что дальше?

В трактирах полно. Махорочный дым ест глаза. За столиками, где обычно умещалось человек шесть-семь, сидит десяток, а то и больше. Все хотят говорить, все хотят заглянуть в будущее. И странное дело: никого не пугает это будущее. Вчерашний бой как бы развеял страх перед голодом.

Жандармы арестовали много рабочих, но до руководителей им все же не удалось добраться. После ухода войск активисты выбрались из своих тайников и разбрелись по трактирам, чтобы побеседовать с народом. В «Аркадии», в самой гуще, сидел Юников, в «Надежде» — Анатолий Ермаков, в «Вене» — Иустин с Сергеем Тетиным, в «Зеленой роще» — Гаврилов с Фомой Кармазовым. Они говорили о том, что все заводы Невской заставы присоединились к забастовке, что утром шли к ним на выручку сотни рабочих с Семянниковского завода, но им не удалось прорваться: Александровское было окружено плотным кольцом солдатских штыков... Они говорили о том, что царь был вынужден бросить против обуховцев шесть рот Омского полка, восемь рот Енисейского, два эскадрона жандармов, эскадрон городовых и триста пеших полицейских...

— Целую армию против одного завода! — воскликнул Анатолий Ермаков.—А заводов сколько у нас? Хватит ли у царя войск, если все заводы восстанут?

Такие же собрания происходили на квартирах. Все Александровское митинговало.

К обеду разнесся слух — генерал приглашает рабочих.

Народ бросился к заводу. На воротах, на дверях проходной, на стенах, на телеграфных столбах — всюду белели объявления.

— Язви твою душу! — сказал Калинкин, первый прочитавший объявление. — Каким языком заговорил генерал! «Прошу господ рабочих». Испугался, ваше превосходительство? Парадные штаны изгадил?

— Чего он там просит?

— А о чем может просить генерал? — насмешливо откликнулся Юников. — Чтобы господа рабочие опять в хомут влезли.

— А Маргаритку он выгонит?

— Рабочий день сбавит?

— Товарищи! — оборвал Ермаков поток выкриков. — Он просит господ рабочих явиться на завод и выбрать по два представителя из каждой мастерской. Поняли, товарищи? Генерал разрешает нам устроить народное собрание! Вот чего мы добились каменным дождем! Вот чего мы добились при поддержке пролетариата одной только Невской заставы!

Раскатистое «ура» пронеслось от группы к группе, от забора к телеграфным столбам; «ура» неслось отовсюду, где обуховцы читали объявление.

«Искровцы» решили воспользоваться генеральским предложением: они хотели провести во дворе завода первый легальный митинг.

Явились все обуховцы. Народ стоял, как в церкви, — с обнаженными головами, и весенний ветер озорно трепал волосы. Повернуться или двинуться с места невозможно, лишь глаза видят оратора, лишь слух ловит его горячие слова. И слова ораторов проникали в тот уголок сердца, где жила обида, где притаилась боль за тяжелую жизнь...

Без долгих прений выбрали двадцать шесть представителей. Обуховцы не посчитались с требованием генерала «по два представителя от мастерской», они выбрали тех, кого считали полезным для общего дела.

Генерал Власьев принял делегатов в своем кабинете.

— Садитесь, господа, — сказал он просто.

Делегаты заняли места за длинным столом.

Перед генералом лежал серебряный портсигар. Он склонил голову к портсигару и тихо, как бы борясь с охватившим его волнением, начал:

— Братцы, тяжелые события произошли на нашем заводе. — Он поднял глаза к потолку и шепотом закончил: — Видит бог, я в них неповинен.

Делегаты знали своего генерала. Он заговорит сейчас о своем сердце, которое обливается кровью, о любимой родине, о том, что «мы с вами русские люди»... Он будет говорить о чем угодно, лишь бы увильнуть от дела!

Анатолий Ермаков оборвал генерала резко, на полуслове:

— Мы вам представили наши требования. Удовлетворите — приступим к работе. Не удовлетворите — будем бастовать!

Власьева покоробила эта резкость. Дернулось его правое плечо, под столом звякнули шпоры — видимо, ноги дрожали, но лицо оставалось спокойным. Он раскрыл портсигар, примял папиросы и не торопясь сказал:

— Я был в морском министерстве. Слезно просил облегчить вашу участь. Меня называли там бунтовщиком, меня оскорбляли, смеялись надо мной! — Резким движением он защелкнул портсигар и быстрым взглядом окинул рабочих. — Я все это вытерпел ради вас. Я добился хороших результатов! Из четырнадцати требований удовлетворены восемь.

— Какие требования не удовлетворены? — спросил Ермаков.

— Они пока не удовлетворены, — мягко ответил генерал. — Пока, — подчеркнул он многозначительно. — Морское министерство передаст эти требования министру внутренних дел. Это он решает такие вопросы.

— Какие все же?

— Вот, скажем, восьмичасовой рабочий день... Или введение в табель празднования Первого мая... Это вопросы государственные. Их не может решить морское министерство.

Делегаты переглянулись. Из четырнадцати требований удовлетворены восемь. Это несомненная победа. Но могут ли они отступиться от политических требований?

Анатолий Ермаков тряхнул головой, сжал руку в кулак.

— Не будем работать!

Шурупова передернуло: Ермаков опять кулак показывает! Разве испугаешь генерала кулаком? Договаривать-

ся надо, а не кулаком помахивать... Он поднялся и, повернувшись к Власьеву, начал умильным голосом:

— Ваше превосходительство, вы на нас не должны обижаться: с нас народ требует. Но, товарищи, — обратился он к делегатам, — и мы не можем обижаться на их превосходительство: они неправомочны дать нам, скажем, восьмичасовой рабочий день...

В открытое окно ворвались выкрики:

— Где наши делегаты?!

— Где делегаты?!

Власьев подошел к окну:

— Братцы, успокойтесь.

— Делегаты где?!

— Тут они. Успокойтесь, братцы. Мы беседуем.

— Ермаков! Юников! Покажись!

Генерал вернулся на свое место:

— Пожалуйста, господа, успокойте своих товарищей. Мне они не верят.

Ермаков подошел к окну:

— Товарищи! Генерал удовлетворил восемь пунктов из четырнадцати. Сейчас идет у нас спор о последних пунктах!

По двору прокатилось победное «ура».

Когда улегся шум за окном, Шурупов продолжал:

— Я думаю, товарищи, что мы должны принять такое решение. Уговорим народ приступить к работе, а их превосходительство попросим поскорее выяснить в министерстве...

Ермаков хотел тут же отчитать Шурупова: опять этот экономист на поклон идет, но вдруг кольнула мысль: «А долго ли продержатся обуховцы?» Когда детишки попросят хлеба, отцы-кормильцы к заводу потянутся. Стачечный фонд исчерпан, в кассе взаимопомощи пусто. Голод — извечный враг рабочего единства, с этим надо считаться.

— Благоразумное решение, — проговорил генерал. — Весьма благоразумное.

Ни Ермаков, ни другие «искровцы» не сочли нужным продолжать переговоры: с такими, как Шурупов, нельзя садиться за стол. Они, эти Шуруповы, отдадут все политические требования за один грош прибавки.

Ермаков примял волосы обеими руками и, глядя Власьеву в глаза, спросил раздраженно:

— Как будет с арестованными?

— Поеду в Петербург и надеюсь, что мне удастся кое-что сделать.

— Не кое-что, — вспылил Юников, — а освободить их надо!

Генерал поставил портсигар на ребро и заинтересованно следил, на какую сторону он повалится. Портсигар упал на левую сторону. Власьев улыбнулся и добродушно сказал:

— Попытаюсь освободить ваших товарищей.

11

Все вошло в свою колею. Арестованные вернулись на завод; Власьев отменил ивановский приказ об увольнениях; расценки были увеличены; ночные работы прекратились. Маргаритка исчез с завода. Исчез и боцман Заставный. Александровское опять жило по гудку. Тысячные толпы шли утром к воротам Обуховского — мимо трактира «Зеленая роща», мимо нарядной церкви, где уже не было полицейского поста. Табельщики, отбирая номера у рабочих, справлялись, «как жена, детишки», а делегатам отдавали честь, словно начальству. Мастера, правда, все еще ругались, но про себя, а с рабочими они были преувеличенно вежливы:

— Запорол, сукин... прости, пожалуйста, запорол, голубчик. Придется тебе, голубчик, переделать.

Один месяц, второй. В мастерских, на квартирах, в трактирах только и разговору, как вольготно стало жить: заработок увеличился, свободного времени стало больше, а главное — не слышно визгливого голоса Маргаритки, перед носом не мелькает его волосатый кулак!

Воскресенье было хмурое, душное. Марфенька и Иустин Шнитовский сидели у раскрытого окна. Сблизившись головами, смотрели они вдаль. Курились торфяники; над Невой стлался туман; Петербург то раскрывался, то затягивался свинцовой сеткой.

— Пошли бы на воздух! — послышалось внезапно из кухни.

— Не хочется, — откликнулась Марфенька.

На пороге появилась Марфа Тимофеевна.

— Ступайте на воздух, — промолвила она строго. — Нечего в духоте сидеть!

Иустин вопросительно взглянул на невесту. Она улыбалась.

— Пойдем, Марфенька.

Они спустились к реке. Нева — серая, неприветливая. Марфенька склонилась, сорвала травинку; травинка распалась в руке. Вдруг Марфенька обеими руками обхватила голову Иустина, пристально посмотрела ему в глаза и тревожным шепотом сказала:

— Я получила письмо от тетки из Севастополя. Она пишет, что завод там большой, что народ там хороший, тебе уже место приискали. А я буду в Арсенале на упаковке работать.

— Ведь мы с тобой уже решили, — растерянно начал Иустин, не понимая, что так внезапно встревожило Марфеньку. — Но надо спроситься у Марфы Тимофеевны. Она может тебя и не отпустить. Вдруг скажет: «Молода еще по свету разъезжать». Что тогда?

— К тетке отпустит. Строгая она, и мама ее любит. К ней отпустит... Иуста, милый, вернемся домой и поговорим сейчас с мамой!

Марфы Тимофеевны дома не оказалось, и они отложили разговор на завтра.

А «завтра», в понедельник, появился на заводе Иванов, в белом кителе, в белых штанах, в лаковых ботинках. На плечах новенькие полковничьи погоны.

В кузнице, проходя мимо Шурупова, он сказал издевательски:

— Небось, господин делегат, скучно было без Иванова.

— А вы что, ваше высокородие, на завод вернулись? — сдержанно спросил Шурупов.

— Вернулся, господин делегат. И, представьте себе, без вашего разрешения.

Из кузницы Маргаритка направился в ремонтную. Возле двери он столкнулся с Иустином Шнитовским.

— И польская морда еще здесь? — удивился он. — А я думал, тебя уже повесили.

— Некому вешать было,—серьезно ответил Иустин.— Вас ждали.

Маргаритка приосанился, повел плечами:

— Позабочусь. За мной дело не станет.

Слова прозвучали нагло, вызывающе. Рабочие кинулись к Иванову: кто с молотком, кто с напильником. Но Иванов не испугался. Подбоченясь, он спросил:

— Не нравится, голубчики? — И вдруг показал он пальцем на свои лаковые ботинки. — В ногах, подлецы, будете валяться!

Напоследок зашел Маргаритка в кубовую во время обеденного перерыва.

— Где тут мой дружок Калинкин? — спросил он ве село.

Стрельнула вверх бороденка Александра Калинкина Иванов подошел к нему, вежливо поклонился и добродушно сказал:

— Ты хотел меня убить. Пожалуйста, убивай.

Рабочие окружили Иванова:

— Убийца!

— Подлец!

— Смирно, бродяги! — скомандовал Иванов и медленным шагом вышел из кубовой.

Бывает: гроза улеглась, смолкли раскаты, уже небо поголубело, влажной ясностью зазеленели дали. Вдруг блеснет молния и вслед за ней завихрит, загрохочет, и, словно торопясь за горизонт, по воздуху проносится косой парус ливня.

Так случилось и на Обуховском. Стоило вновь появиться Маргаритке—и с прежней силой вскипела в сердцах рабочих ненависть к Иванову, Власьеву, к извечным царским порядкам.

Ночью собрались уполномоченные. Ясно — появление Иванова означает возврат к старому: в первый же день он заставил пушечную и минную работать сверхурочно. «Забастовку!» — предлагали многие. «Послать делегацию», — уговаривал Шурупов.

Написали генералу Власьеву: «Уполномоченные Обуховского сталелитейного завода от имени мастеровых и рабочих заявляют вашему превосходительству о неудовольствии и беспокойстве их ввиду появления подполковника Иванова в заводе и желают знать цель появления его в заводе...»

Власьев отправился с заявлением уполномоченных в морское министерство. Принял его один из помощников министра. Пробежав глазами заявление, он сказал торопливо:

— Поезжайте к генералу Щербиновскому.

Власьев был озадачен.

— В департамент полиции? — спросил он. — Зачем, ваше превосходительство?

— За компа́сом. — Помощник министра произнес это слово по морскому обычаю с ударением на букве «а».

«Зачем мне этот компа́с», — подумал Власьев. Но дисциплина не допускает праздных вопросов: он поехал.

Едва Власьев переступил порог приемной Щербиновского, к нему подошел щеголеватый адъютант и, не здороваясь, сухо справился:

— С Обуховского?

— Так точно.

Кабинет Щербиновского был огромный, как танцевальный зал, и, как в танцевальном зале, мебель была сдвинута к стенам. Пол был покрыт багровым ковром, и по этому ковру шагал высокий и тонкий генерал Щербиновский. У письменного стола высился полковник Палибин.

Ни Щербиновский, ни Палибин не обратили внимания на вошедшего Власьева, даже голову не повернули в его сторону. Щербиновский, шагая, продолжал говорить, а Палибин слушал с поникшей головой.

— ...и шашкой помахали и невод закидывали, а что получилось? Вы шашкой, а они вас камнем. Конфуз... Уже не говоря о том, что ваше лицо пострадало... А невод? Вы его в омут забросили, где рыба не водится... И демонстрация состоялась... Два просчета... Многовато для полицейского полковника... Но министр не злопамятен... Дает вам возможность грехи замолить... На Обуховском вам помогут... Начальство доведет рабочих до взрыва, а вы этим взрывом воспользуйтесь... Только не шашками... Опять ответят камнями... И камни могут стать дурной традицией на заводах... Невод... невод, господин полковник... И не в омут забрасывайте... Главных выловите... Во что бы то ни стало главных... Министру могут надоесть просчеты... — Щербиновский неожиданно подошел к Власьеву и вежливо спросил его: — Понятно, ваше превосходительство?

Тут только сообразил генерал Власьев, что Щербиновский говорил не только для Палибина, но и для него и что именно ему, Власьеву, министр поручает произвести «взрыв».

— Понятно, ваше превосходительство!

— Тогда с богом... — И кивком головы Щербиновский дал понять, что разговор окончен.

12

Во вторник около четырех часов собрались обуховцы во дворе завода.

Лица мрачные и решительные. Рабочие понимали, что сейчас решается, «быть или не быть» Иванову, и все понимали, что это «быть или не быть» зависит от них самих, от их стойкости.

Выкатили бочку, на нее взобрался Николай Юников.

— Товарищи! Нас обманули! — начал он взволнованно. — Мы с вами честно выполнили все свои обязательства, но наше начальство...

Вдруг появилась команда матросов. Они наступали в боевом порядке, с ружьями наперевес. И вел эту команду генерал Власьев.

Гаврилов бросился к нему.

— Опять нашей крови захотели! — крикнул Гаврилов, задыхаясь от гнева.

Власьев окинул Гаврилова холодным взглядом, повернулся к матросам и напевным голосом отдал команду:

— Ше-рен-га...

Матросы взяли ружья на изготовку.

Матросов было около полусотни; штыки их винтовок почти упирались в рабочих.

И обуховцы попятились.

Власьев достал из кармана серебряный портсигар, закурил папиросу и, как бы нехотя, промолвил:

— Отставить! Господа бунтовщики струсили.

Матросы закинули винтовки за плечи.

Но генерала Власьева не удовлетворила эта бескровная победа. «Взрыва» не получилось.

К Гаврилову между тем подошли и остальные уполномоченные.

— Когти показываете, господин генерал! — воскликнул Ермаков.

— С вами иначе нельзя, — ответил Власьев, пренебрежительно скривив губы. — Вы человеческого языка не понимаете.

И этой издевки было достаточно, чтобы вызвать

«взрыв». Двор огласился «Марсельезой», и обуховцы, наспех построившись, направились к воротам.

Все произошло так неожиданно, что Власьев, ошеломленный, забыл про вооруженных матросов. Торжественные звуки вольной песни, ритмичный грохот сотен ног — все это поразило Власьева своей смелостью и мощью... Команды «пли» он не успел отдать.

Так 7 июля, после двух месяцев «вольготной» жизни, опять забастовали обуховцы.

Но на этот раз все пошло по-иному, все пошло так, как замыслил генерал Щербиновский. В Александровское не пришли войска. В эту ночь Палибин тишком выловил двести пятьдесят человек. В ночь на девятое повторился полицейский налет...

Полковник Палибин глубоко запустил свой невод. Он арестовал свыше девятисот рабочих; среди них — почти все руководители.

Обуховцы остались без вожаков, и случилось то, чего опасался Ермаков: голод погнал рабочих к станкам.

А правительство не удовлетворилось этим. Впервые в истории России рабочие вступили в бой с войсками. И правительство решило наказать обуховцев, жестоко наказать, чтобы «каменные бои» не стали традицией.

13

Тюремная камера была большая и шумная. Рассеяться, отвлечься от грустных мыслей можно было только у окна: видно небо, облака, крыши домов. Но к окну не подступиться: воровки устроили там торговлю продуктами и там же с утра до вечера играли в карты. Пришлось Марфеньке довольствоваться дверью—железной, решетчатой, как в звериной клетке. Дверь выходила в коридор, в мрачный коридор, где словно тени маячили фигуры часовых.

На полу, сжавшись в комочек, с подбородком на коленях, просиживала Марфенька дни напролет, смотрела в мрачную пустоту. И думала. Она не могла понять, почему ее посадили в клетку с воровками: ведь ее место среди политических! Неужели жандармы не дознались, что она участница политического кружка на Карточной? Неужели жандармы не дознались, что она печатала листовки? Что именно она вызвала семянниковцев? Если жандармы это-

го не знают, так за что посадили ее под замок? Свиданий ей не разрешали, продуктовых передач для нее не принимали. Одна, одна среди непутевых девок, у которых все грязно: тело, мысли, язык...

В тяжелых думах проходили недели, месяцы.

Вечером вызвали Марфеньку в контору.

— За что я в тюрьме? — спросила она, узнав, что пожилой господин в золотых очках, сидевший за столом, будет защищать ее на суде. — Скажите мне, за что я в тюрьме? — повторила она.—Обуховцев арестовали за забастовку, а я на Обуховском не работала! Меня посадили с воровками, не дают свиданий, не дают передач! Объясните мне, почему мне такое отличие?! — закончила она возмущенно.

Адвокат шел на свидание с девочкой, и, судя по фотографии, хрупкой, робкой, и вдруг оказалась перед ним суровая, уверенная в себе девушка, которая не плачет, не жалуется, а требует, возмущается. Когда Марфенька замолкла на мгновение, он взял ее за руку, усадил и мягко сказал:

— Я вам все объясню. Обуховцев арестовали вовсе не за то, что они устроили забастовку. Их арестовали за то, что они в мае вступили в бой с полицией. А вы, девочка, в этом бою участвовали.

— Тогда пусть меня переведут к политическим!

— Вот этого как раз и не нужно.

— Почему?! — возмутилась Марфенька. — Я как все! Они камни кидали, я кидала. Они за это в ответе, я в ответе.

Адвокат протер платком стекла очков и тихо, в раздумье, сказал:

— Вы, девочка, в особом положении. Вы несовершеннолетняя. Понимаете, что это значит?

— Понимаю, но какое это имеет отношение к делу?

— Имеет, и к счастью для вас. Раз вы несовершеннолетняя, то вас защищает закон. При всем желании вас засудить судьи будут вынуждены отпустить вас домой прямо из зала суда. За вас закон. Потому-то они и мучают вас до суда. Потому-то и поместили вас с воровками, потому-то и передач для вас не принимают. Чтобы хоть немножко, да наказать вас. А теперь, девочка, давайте условимся. Судьи имеют обыкновение придираться к словам. На суде лучше не договорить, чем сказать лиш-

нее. Спросит суд про камни, отвечайте: «Все кидали, и я кидала». И только. Помните, девочка, ни единого слова больше. Закон законом, а если судья к слову придерется, тогда никакой закон не спасет. Вы поняли меня? Как ответите, если про камни спросят?

— Все кидали, и я кидала.

— Именно так, и только так. Ни слова больше. Суду не к чему будет придраться. Хочет судья или не хочет, а вынужден будет отпустить вас домой.

— А как Шнитовский? — спросила она резко, но тут же мягко добавила: — Как остальные обуховцы?

Адвокат собрал свои бумаги, спрятал их в портфель.

— Не знаю, девочка. Их защищают другие адвокаты. — Поднялся, протянул руку. — Думаю, что добьюсь для вас передачи. Завтра увижу вашу матушку, скажу ей. — И, пожимая тонкую руку Марфеньки, заботливо спросил: — Что вы бы хотели получить?

— Коржиков пусть мама принесет... солененьких. — И, зардевшись, добавила немного тише: — И для Иусты тоже.

Эта наивная просьба растрогала старого адвоката: он провел рукой по волосам Марфеньки.

— Солененького захотелось... — И, чувствуя, как ком подкатывает к горлу, неожиданно закончил сердито: — Передам... Передам.

14

Аграфена Власьевна Шнитовская уже больше двух лет неважно себя чувствовала, но к фельдшеру обратилась всего один раз. Фельдшер попался старый, опытный, только чуть резковатый. Он долго выстукивал больную, выслушивал и, велев ей одеться, жестко спросил:

— Под левой грудью покалывает?

— Что-то не примечала.

— А мертвых детей рожала? — спросил он уже раздраженно.

— Бог миловал, — с прежним спокойствием ответила Аграфена Власьевна. — Четырех родила, и всех живых. Старший утонул. Второй в солдатах служил и с коня упал, убился. Третий тут у нас, на Обуховском, когда шестой цех строили, в яму с известью попал...

— А четвертый костью подавился! — едко подсказал

фельдшер: он был уверен, что старуха хочет его разжалобить выдуманными несчастьями.

— Зачем?—ласково спросила Аграфена Власьевна.— Младшенький жив остался. На Обуховском трудится.

Фельдшер примолк. Он еще раз обследовал больную, еще раз послушал сердце: вялое, едва теплится в груди.

Фельдшер прописал капли. Они не помогли, и Аграфена Власьевна перестала обращаться к «докторам».

Здоровье все ухудшалось. Если спросить Аграфену Власьевну, что у нее болит, она не могла бы ответить. Нигде ничего не болело. Была слабость, неимоверная слабость. Пять шагов пройдет — задыхается, пол в комнате подметет — вся в поту, одеваться по утрам и то надо было в несколько приемов.

По четвергам Аграфена Власьевна вставала до петухов. В эти дни она готовила передачу в тюрьму для Иустина. При нищенских доходах Шнитовских передачи получались более чем скромными. Из недели в неделю она передавала сыну одно и то же: два десятка пирогов с картофельной начинкой. Но для Аграфены был это труд, превышающий ее силы. Готовить тесто, чистить картофель, лепить пироги, колоть дрова и растапливать печь, поездка в Питер, стояние в очереди перед тюремным окошком...

И в этот четверг Аграфена Власьевна справилась к сроку. Пироги она положила в черный чугунок, завернула его в чистенький платочек и, накрыв чугунок ветошью, чтобы сохранить тепло, поставила его в запечье.

Вернулся с «работы» Василий Федорович. Аграфена Власьевна отвязала шест с его плеча, сняла с него пиджак и принялась за его утренний туалет. Она помыла мужу лицо, расчесала бороду и усы. Не легко ей это давалось. Василий Федорович был нетерпеливый, злой, не хотел мириться с тем, что его обхаживают, как ребенка. «Хватит, хватит», — ворчал он, зная, что жена тратит на него последние силы.

Аграфену Власьевну не смущала воркотня мужа: она делала свое дело старательно, любовно, хотя и медленно. Потом сама умылась, привела себя в порядок и поставила на стол вареную картошку. С этим блюдом Василий Федорович прекрасно справлялся: он захватывал картофелины губами и, закинув голову, отправлял их в рот. Но чаем пришлось Аграфене его поить.

Кончили завтракать. Аграфена Власьевна убрала со стола и, доставая чугунок из запечья, сказала стеснительно:

— Я поеду, Вася.

Она чувствовала себя виноватой перед мужем: опять оставляет его, беспомощного, на целый день!

— Я бы поехал, Груня, а? Привязала бы мне чугунок к поясу.

— Хлопотно, Вася, особенно в тюрьме. В окошко подавай, из окошка посуду принимай. Уж я, Вася, поеду. А ты полежи. Проголодаешься, картошечки поешь. Если задержусь в Питере, сходи к Мукосеевым. Наталья тебе шест приладит.

Аграфена Власьевна поехала в Питер, в тюрьму, чтобы после нескольких часов стояния в очереди подать в окошко свой чугунок с двадцатью пирогами.

В вагоне, лишь только уселась возле открытого окошка, она вдруг почувствовала себя необычно легко, как чувствует себя человек, сбросивший с плеча тяжелую ношу. Тело как бы потеряло вес, в глазах прояснилось, и мир показался ей уютным и теплым. Еще стояло лето, но кроны деревьев уже были опалены желтизной — яркой и нарядной. По небу были разбросаны кудрявые облака, и сквозь них, словно сквозь кружево, просвечивала сияющая голубизна. А вокруг тишина.

Аграфена Власьевна чувствовала, как в нее входит эта блаженная тишина. Все тяготы развеялись, на душе покойно. Мысли поплыли вспять, к прошлому. Аграфена Власьевна увидела себя на Карточной фабрике. Вокруг шумно, грязно, а она, Груня, комплектуя колоды карт, думает о своем Васе — о веселом парне с черным чубом, который так озорно вылезает из-под картуза... Прогудел гудок. Груня наспех моет руки, приглаживает волосы перед маленьким зеркальцем — и шмыг за ворота. Вася уже ждет ее... Они живут в комнатке с покатым потолком. Лампа отбрасывает на стол красный круг. Вася что-то мастерит. Она сидит против него. На коленях у нее — горячий голый комочек, их первенец Васютка. Ей хочется петь, громко, на весь мир, но нельзя, нельзя: Васютка проснется...

Неожиданно понеслись, завертелись мысли Аграфены Власьевны. Одна картина наплывала на другую. Вынырнул из глубины Невы синюшный труп первенца Васютки,

проскакал на диком коне кудрявый Федя, вот лежит черный, обугленный Ваня...

Короткая и острая боль пронзила Аграфену Власьевну. Она хотела крикнуть — сил не хватило, она хотела сжать сердце — руки не поднялись. В ушах нарастал шум — сначала тонкий, на одной ноте, потом гулкий, колокольный. В глазах заплясало: люди, сидевшие против Аграфены Власьевны, как бы подхваченные вихрем, уносились ввысь, а там они мгновенно воспламенялись и превращались в огненную пыль... И померкло все, затихло. Сразу. Ни света, ни звука. Ничего. Решительно ничего.

Когда поезд прибыл в Петербург и из вагона ушли пассажиры, проводник, принимаясь за уборку, увидел: возле окошка дремлет женщина. На скамье стоит чугунок, завернутый в чистенький платочек.

— Тетка! Приехали!

Женщина не откликнулась.

Проводник подошел к ней:

— Проснись, тетка, приехали!

И тут только он заметил, что лицо у «тетки» напряженное, страдальческое. Глаза неподвижные, мертвые.

Проводник бросился за кондуктором, тот еще за кем-то, и вскоре подъехал к вагону крытый фургон. «Труп неизвестной женщины» отвезли в морг для «опознания».

Два человека могли бы «опознать» «труп неизвестной женщины», но один из них находился в тюрьме, другой сидел дома, не подозревая о несчастье с женой.

Аграфену Власьевну Шнитовскую похоронили неопознанной.

15

Двадцать седьмого сентября судили обуховцев. Подсудимых было тридцать семь человек. За решеткой на первой скамье между Иустином Шнитовским и хмурым Гавриловым, выдвинувшись немного вперед, сидела Марфенька Яковлева. Осеннее солнце с необычайной щедростью заливало высокий зал, но Марфеньке было холодно. Она куталась в теплый платок. Из платка проступало бледное лицо и горящие, как в лихорадке, глаза. Грустно смотрела Марфенька на судей, на этих господ в шитых золотом мундирах, — они, словно идолы, неподвижно и строго сидели в глубоких креслах. Перед каждым из них

лежала синяя папка... За себя Марфенька спокойна: ее защищает закон. Но что сказано в синих папках об Иусте и его товарищах?

В зале много народу. Сами ли они так расселись или их так рассадили: впереди — враги. Они сидят плечом к плечу — стена, через которую не прорваться. За их спинами, словно за забором, свои, близкие, родные...

Генерал Власьев — в эполетах, с красной лентой через плечо. В солнечных лучах рябит лента, точно струйка свежей крови. Он сидит прямо и неподвижно, с окаменевшим лицом. Рядом с ним — полковник Палибин. На эфесе шашки — кулак, на кулаке — круглое, как колобок, лицо. Глаза сощурены, и Палибин похож на мурлыкающего кота. Тут же полковник Иванов. Он смотрит в потолок, и из прореза воротника выступает рогатый кадык. За их спинами — Паук, чисто выбритый, с расчесанными усами. На шее большая серебряная медаль. Боцман Заставный сидит согнувшись и смотрит исподлобья. Встретившись со взглядом Марфеньки, он отворачивается... Таясь, как бы боясь попасться на глаза, примостился в уголке околоточный надзиратель Костюшко, растерянный, с белой повязкой на голове. А дальше — жандармы, шпики, офицеры, городовые, чиновники...

Вот обуховцы. Их много. Опаленные лица, пристальные взгляды. Мать... По ее лицу текут слезы. Она их не чувствует, не вытирает: слезы текут, текут... По одну руку матери — Василий Федорович Шнитовский. Побелел, осунулся, стал еще более жалким. Глаз совсем не видно из-за мохнатых бровей. По другую сторону — старик Дюжаков. Он сидит с раскрытым ртом, словно воздуха ему не хватает или крикнуть хочет.

Начался опрос свидетелей. Один за другим выступают городовые, жандармы, шпики. В зале тихо, вопросы судьи звучат приглушенно, словно из-за стенки, а ответы свидетелей — резко, грубо, но до тошноты однообразно: «Так точно, ваше превосходительство! Этот кидал камни!», «Так точно, ваше превосходительство! Этот тоже кидал камни!»

Марфеньку знобит. Зачем, думает она, судья людей мучает? Кидали камни, разве кто отрицает? И такой ли уж это грех? Ведь мы никого не убили! А вот те, что стреляли в нас, те, что убили мальчика Павку Евдокимова или рабочего Панко, — они вон развалившись сидят на

стульях, а не за решеткой! И судья их даже вопросами не беспокоит!

Вспомнился Марфеньке Василий Андреевич Шелгунов. Эх, будь он здесь! Встал бы, стукнул бы по барьеру и громовым голосом крикнул бы: «Подлое дело делаете, господа судьи! Преступники — вот они, сидят перед вами в зале! Они в мундирах, в орденах и лентах! Они убивали безвинных людей, их и судите!»

И от одного этого воспоминания повеяло бодростью. На душе у девушки стало покойно. Она повернулась к Шнитовскому и тихо спросила:

— Иуста, где теперь Андреич?

— В екатеринославской тюрьме.

Марфенька отвернулась: холодом потянуло от слов Иустина. Тюрьма — страшное слово: грязное, липкое.

Она вновь склонилась к Иустину:

— А вас могут осудить?

— Тебя, Марфенька, не осудят.

— Я спрашиваю — вас. И за что бы осудили? За то, что вы камни кидали? Ты должен сказать им, когда тебя спросят. Если на них собака накинется, они что? Не будут отбиваться? А в вас стреляли... Иуста, милый, скажи им это...

— Яковлева, — позвал председатель суда.

Марфенька поднялась на ноги, вопросительно взглянула на старца в золотом мундире.

— Вы кидали камни в матросов?

Марфенька не могла слова произнести. Горло словно веревкой перехватило, во рту одеревенело. Вдруг она сорвала с себя платок. Перед судьями оказалась хрупкая девушка в белой кофточке. Золотистые волосы обрамляли узенькое бледное лицо; на нем горели большие глаза. На длинной шее алел шрам, и, по мере того как Марфенька успокаивалась, шрам все больше бледнел.

Марфенька лишилась дара речи не потому, что она испугалась вопроса председателя. Наоборот, от радости, что именно к ней судья обратился с первым словом. Крикнуть на весь зал: «За что вы людей мучаете?!» — она не могла. На такую смелость она была неспособна. Но она, Марфенька, должна сделать другое. Она должна объяснить суду, что ее товарищи были вынуждены кидать камни.

— Да, я кидала камни в матросов. Да, я помогала

беззащитным рабочим отбиваться от вооруженных матросов. Я стояла за братьев...

Адвокат, сидевший у самого барьера, поднялся, сорвал очки с носа, посмотрел в упор на Марфеньку и принялся стучать очками по деревянной решетке.

Марфенька вскинула на адвоката виноватый взгляд и, волнуясь, спросила его:

— Разве это преступление? Ведь матросы стреляли в нас. Так что же нам было делать?

Слова Марфеньки звучали мягко, наивно, с детской горечью.

Адвокат отвернулся от Марфеньки.

— Садитесь, — вежливо предложил старик в золотом мундире.

Марфенька ликовала: она сказала то, что должна была сказать. Теперь судьи поймут, что ее товарищи поступить иначе не могли. Не из озорства они кидали камни, они оборонялись. Правда, Марфенька не поняла, почему вдруг Дюжаков, взмахнув рукой, закрыл наконец рот, словно надышался вволю или решил, что не стоит крикнуть. Она не понимала и не хотела понять. Она думала только о том, что своим словом облегчила судьбу товарищам. Марфенька вся была во власти этой мысли, и все дальнейшее судопроизводство подтвердило, что ее слово повлияло на судей: они стали меньше расспрашивать о каменном бое!

Наивная Марфенька! Она не подозревала, что приговор был заготовлен задолго до суда!

Секретарь читал приговор: «Каторга... Арестантские роты... Каторга... Арестантские роты...»

Ее, Марфеньку, благородную защитницу обуховцев, ее, хрупкую девушку, несовершеннолетнюю, суд приговорил к трем годам каторжных работ.

16

В дождливое утро стояла толпа у пересыльной тюрьмы, стояла, мокла и с тоской смотрела на закрытые ворота. В толпе было много детей, они также смотрели на ворота, по которым текли ручейки. В детских глазах виден испуг, словно дети ждали: вот-вот распахнутся ворота и оттуда выскочит что-то страшное.

Толпа была однородная; с первого взгляда можно бы-

ло определить — рабочие, их жены, их дети. Опаленные лица кузнецов, беспокойные, как у глухих, взгляды клепальщиков, порезы на руках слесарей; на всех следы их многолетнего труда.

Чужими в этой толпе могли показаться только двое: молодая женщина и старик, которого она держала под руку. У старика было крупное, барственное лицо и белая, ухоженная борода, расчесанная на два крыла. Носил он черную шинель, правда без погон, но шинель так ловко облегала его ладную фигуру, что и без погон угадывался в нем морской офицер. У его спутницы было сосредоточенное лицо, глаза с едва уловимой косинкой. Но и эта пара «чужих» как бы слилась с рабочей толпой: по их лицам видно было, что их волнуют те же чувства, что и остальных.

Выдвинувшись немного вперед, стоял безрукий калека. Он неотрывно смотрел на ворота, и по его лицу текли слезы. Все прижимали к груди принесенные с собой свертки, кульки, пакетики, только безрукий явился к воротам без всего — он принес сюда только свое горе.

Позади калеки, как бы охраняя его от чего-то, стояла седая женщина с суровым лицом и серыми, пристально смотрящими глазами. Головной платок сполз на затылок.

Ворота не раскрывались, хотя должны были раскрыться уже давно. Люди безмолвно ждали.

По мостовой зацокали копыта. Несется вороной рысак. В пролетке, закутавшись в плащ, сидит полковник—кругломордый, усатый. Ворота, словно сами увидели приближающегося к ним рысака, распахнулись и, пропустив пролетку, тут же захлопнулись. По толпе пронесся шепот: «Он... Тот...»

Через несколько минут вышел к толпе тюремщик.

— Можете расходиться! — выкликнул он. — Сегодня отправки не будет!

— Почему же?

— А когда, когда?!

Вопросы сыпались со всех сторон.

— Получен приказ не отправлять сегодня, — спокойно объяснял тюремщик.

Тут выступил вперед старик в черной шинели:

— Это что же? Полковник Палибин отдал приказ?

— Он, — подтвердил тюремщик. — Мы уже было па-

ек роздали, шеренги построили, тут и подоспел господин полковник с приказом — отставить.

Тюремщик говорил попросту, непринужденно и, видимо, без обмана.

— Ну, а когда же, когда отправят партию?—твердил, наступая, старик в черной шинели.

— Да кто ж его знает когда. Может, завтра, а может, и через месяц. В конторе вам, может быть, скажут.

— Тэк-с, — пробормотал старик и взял свою спутницу под руку: — Пошли, Сашенька!

Люди двинулись за ними. Только безрукий остался на своем месте.

— Пойдем и мы, сват, — обратилась к нему седовласая женщина. — Не будут сегодня отправлять, и нечего нам тут под дождем мокнуть.

— Отстань!

— Я-то отстану, да горе не отстанет.

— Что ты в горе понимаешь! — с неожиданной злобой воскликнул калека.

— Эх, Василий Федорович, — промолвила она с тоской в голосе. — Горе, что море: аршином его не измеришь.

Калека понял, о чем говорит старая ткачиха: сын — в тюрьме, теперь гонят на каторгу дочь, хрупкую, слабенькую...

— Ты права, Марфа Тимофеевна, — сказал он виновато. — У каждого свое... Но ты все же сама подносишь ко рту кусок хлеба... по нужде сама ходишь... А я?

Что ответить? Марфа Тимофеевна молча обняла Шнитовского и повела его, как ребенка, прочь от ворот.

Когда ушли и эти двое, распахнулись ворота, и на крупной рыси вынесся из тюрьмы вороной рысак. А вслед за ним, за полковником Палибиным, вывели партию каторжников. Среди них и обуховцы.

На улице пусто. Накрапывает нудный дождь. Ни родного лица, ни слезинки в детских глазах, ни припаса, пахнущего домом, и ни теплых вещей, которых они просили, — ведь без них пропадешь в суровой Сибири...

Пошли обуховцы, звеня кандалами, по каторжному пути, и вместе с ними шла несовершеннолетняя Марфенька Яковлева. С одной стороны — жених, Иуста, с другой — Анатолий Ермаков. Он побрил усы, и полурас-

крытый рот — из-за верхней короткой губы — придает его лицу детскую мягкость.

До Сибири далеко. Они шли сначала под дождем, потом — по снегу. Менялись этапные офицеры, менялись команды, но неизменными оставались звон кандалов, боль в ногах и любовь Марфеньки.

В арестантской партии она была самой молодой, но самой деятельной. На этапах она стирала белье товарищам, ухаживала за больными, а в пути, беря под руку Иусту и Ермакова, говорила о ярком севастопольском солнце. Пусть через три-четыре года, но оно будет им сиять.

Уверенность Марфеньки подбадривала обуховцев, даже самые хмурые из них поверили: и они увидят солнце!





СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ

1

В землянке было жарко натоплено.

Пятилетний Ванюшка, лежавший с отцом на полатях, следил за игрой красных зайчиков: то они яркой стаей собирались в углу землянки, то золотыми кружками разбегались по полу, то, выстроившись в затылок друг другу, уходили к двери.

Мать приподнялась от печурки и направилась к полатям. Она поправила подушку под головой мужа и, тяжело вздохнув, сказала:

— Спи, Василий.

Василий Бабушкин глухо ответил:

— В могиле отосплюсь.

Мать присела и тихо сказала:

— Много ты о смерти думаешь, Василий.

На это отец ответил:

— Екатерина Платоновна, с артели причитается мне получить четыре рубля с четвертаком. Полтину на похороны потратишь и уходи с детьми.

В эту ночь отец умер.

Это было в декабре 1878 года.

Наутро приехал хозяин солеварни. Он спустился в землянку к Бабушкиным, достал из кожаного кошеля два пятака, протянул Екатерине Платоновне:

— Закрой ему глаза!— Огляделся в землянке и строго добавил: — Что делать будешь?

Екатерина Платоновна ничего не ответила. На корточках в углу сидели два мальчика: Ванюшка и девятилетний Николай. Годовалая Мария лежала на полатях. Мальчики следили любопытными глазами за волосатым купцом, который продолжал рыться в кошельке.

— Я не гоню тебя, — тихо говорил купец, — но сама понимаешь... другой работник придет, не под снегом же ему жить. Похоронишь хозяина и отправляйся с богом.

Купец наконец нашел то, что искал. Выложил на стол новый двугривенный, подошел еще раз к мертвецу, перекрестил его широким, неторопливым крестом, земно поклонился и степенно направился к выходу.

Работы в лесу не приостановились. В глубоких ямах висели котлы — в них вываривалась соль. Бабы заливали котлы солодом, дети подносили топливо, а мужики, которых звали «подземными духами», поддерживали огонь. Мужики были грязные, прокопченные и все болели чахоткой. В яме жарко, пот в три ручья льет, а выйдешь из ямы — охватит тебя зимней стужей.

Василий Бабушкин от чахотки и умер.

...Похоронив «хозяина», двинулась семья Бабушкиных в путь. До ближайшей деревни было недалеко, но они плелись целый день. Виноват был Ванюша: под каждым деревом ему мерещился зверь, и он упирался, отказывался «ходить ножками». Матери пришлось взять его на руки. Коля тащил на спине сестренку.

Прибыли в свое село — Леденгское. Домик был маленький. Вернее, не домик — сараюшко с одним маленьким оконцем. В комнате было так холодно, что Ванюшка и Мария редко вылезали из-под тулупа. Коля куда-то бегал, возвращался разгоряченный, радостный, иногда с куском хлеба под мышкой.

...В первый весенний солнечный день Екатерина Платоновна обрядила своих мальчиков в чистые рубахи, повесила им на шею холщовые торбы и вывела на дорогу.

— Идите, — сказала она и тут же вернулась в избу.

Ванюшка испугался: думал почему-то, что мать посылает его обратно в лес; но Колька дал ему тумака, потом взял за руку и потянул за собой.

Мальчики ходили от избы к избе, останавливались под окнами. Колька пел:

Солнышко, солнышко,
Выгляни в окошечко!
Твои детки плачут,
Смолу покупают,
Нам не дают,
Черному медведю — по ложке,
Нам — ни крошки.

Ванюшка завидовал брату: как складно у него получается!

Вскоре присоединилась к ним и сестренка. Получилась целая артель.

Крестьяне опускали в детские торбы сухую корку, горсть пшена, а иногда и яичко. Тем и кормилась семья Бабушкиных.

Однажды повела Екатерина Платоновна Ванюшку на ямскую станцию. В орешнике, среди птичьего гомона, стоял шалаш.

— Привела, — сказала Екатерина Платоновна брату своему Ивану Платоновичу, когда тот показался из шалаша. — Приспособь его к делу.

— Едешь, значит?

— Не погибать же тут с голоду.

Ваня впервые услышал, что мать куда-то уезжает. Он заплакал.

Екатерина Платоновна уехала в Петербург, забрав с собой Николая и Марию. Ваня остался у дяди-ямщика. Он и в хозяйстве помогал, и с ямщиками подручным ездил, и подпаском служил у деда Матвея. Старик был неплохой человек, но больно драчливый. За все наказывал он своего помощника: корова в господском клевере — подзатыльник, трава от жары выгорела — подзатыльник, собака не так быстро стадо обежит — тоже подзатыльник...

Лето на севере короткое: не успеешь надышаться вольным воздухом — уже замирает природа и наступает долгая зима-зимушка с высокими снегами, частыми буранами. Неприютно вокруг, страшно из избы выходить. Но Ванюшка и зимой не сидел дома: метет ли пурга, завы-

вает ли буран — ему все нипочем, утром, к звонку, он являлся в школу.

Три года прожил Ваня на ямской станции. И как-то внезапно кончилось привольное житье.

Лежал он однажды под ракитой, читал книжку.

— Ванька! — услышал он окрик деда Матвея.

Вскочил, оглядел стадо — все на своих местах. «За что, думает, подзатыльник заработаю?»

Рядом с дедом стоял парень с заячьей губой.

— Сдай кнут, и пошли! — сказал парень строго.

— Куда? — забеспокоился Ваня.

— За судьбой идешь, Ванюшка, — проговорил дед.— Мать тебя требует. В Петербург поедешь. Смотри, Ванюша, не озоруй, старших слушайся, прилежность покажи. Даст бог, до городового дослужишься аль до купеческого звания возвысишься...

Парню с заячьей губой наскучили наставления.

— Пошли-пошли, — сказал он угрюмо. — Нечего...

И молча удалился.

Ванюшке было и страшно и радостно. Забыв поцеловать деда Матвея, он кинулся вдогонку за парнем.

2

В Петербурге Екатерина Платоновна повела своего Ванюшку к знакомому купцу.

В лавке пахло острым, пряным. За прилавком хозяин пил чай. Черная окладистая борода, черный картуз и черный жилет поверх черной рубахи.

— Да он еще совсем сосунок! — сказал наконец купчина.

Мать выхваливала своего Ванюшку: и шустрый, и умный, и грамотный, а главное — старших почитает.

Купец выпил еще один стакан чаю, поставил стакан кверху дном и вышел из-за прилавка. Он был маленький-маленький, как карлик, только руки у него были длинные и волосатые. Он взял Ваню за ухо:

— Воровать горазд?

— Что вы! — всполошилась Екатерина Платоновна.— Дитё честное.

— Ты в наши дела не путайся! — окрысился купец.— С ним мне жить, с ним и сговор.

Что Ваня мог ответить купцу? Сколько раз он лазил

за яблоками в господский сад! Ваня понял, что нельзя признаться, а сказать неправду он не мог. Но купец не стал дожидаться ответа.

— Слушай, сосунок! — сказал он торжественно. — Будешь товар разносить по домам. Ног не жалей, гори на хозяйской службе. На первых порах положу тебе гривенник в день. Нашкодишь — не взыщи: три шкуры спущу.

...Четыре года работал Ваня у этого купца. Разносил мыло, сушеные фрукты, морошку, сахар. Лоток носил на голове.

Бывало, купец хвалил его за шустрость; бывало, что и «шкуру спускал». Особенно досталось ему, когда однажды у него закружилась голова и лоток свалился на мостовую.

На пятый год Ваня ослеп. Даже солнца не видел. Его поместили в больницу. Доктора сказали, что лоток виноват: на «мозги» давил.

В больнице мальчика продержали четыре месяца. Выздоровев, Ваня прямо из больницы, не заходя домой, направился в лавку — из любопытства: он уже давно решил распрощаться с купцом. Но купец встретил его насмешливо, повернул лицом к двери, щелкнул по затылку и сказал:

— Шагай отсюда, сосунок! Анвалиды нам не требуются.

...Екатерина Платоновна боролась с нуждой. Она и белье стирала, и в магазинах окна мыла, и кухарила в плотничьей артели, и навоз возила на Черную речку, и пуховые платки вязала, а дома было холодно и голодно.

В майское утро, в воскресенье, она остригла Ваню, вымыла его в корыте, сама приоделась и отправилась с сыном в Кронштадт, к тетке.

Кронштадт — город мрачный. Дома — невысокие, канал посреди города, а вдоль канала — казармы, склады. Всюду, куда ни сунешься, все казенное, военное, солдатское.

Вечером к тетке пришли матросы. Чай пили с калачами, песни пели.

Один матрос, черный, как цыган, уходя, сказал Ване:

— Гляди веселее, боцман! Завтра на работу тебя устрою.

И он устроил Ваню учеником в торпедную мастерскую.

Низкое помещение со стеклянной крышей. По стенам стоят станки, к ним тянутся ремни. Под ногами стружка. Здесь отливали бронзовые части торпед. Люди пилили, строгали, долбили.

Начальник цеха Петр Васильевич был похож на медведя, ставшего на задние лапы. И голос у него был медвежий, рыкающий. Мастеру Михееву он сказал, указывая на Ваню:

— Бери его к себе и гляди, чтобы не воровал.

Работал Ваня на совесть: полы подметал, верстаки убирал, инструмент подавал, водку с закуской носил, с поручениями бегал. А Петр Васильевич каждый раз, когда мальчик проходил мимо, останавливал его, хватал за ухо и рыкающим голосом спрашивал:

— Не воруешь, сопляк?

— Не ворую, дяденька, — отвечал мальчик и, получив подзатыльник, убегал.

Ваня работал двенадцать часов в день и получал за это двадцать копеек.

Слесарное дело нравилось Ване. Он быстро научился правильно держать в руке пилу-ножовку, работать на тисках, овладел циркулем, напильником, зубилом и молотком.

Как-то раз оставили Ваню сверхурочно — дуло сверлить. Работал он с жаром: обещали полтинник заплатить. В стороне сидел старик матрос Синюшкин. Сидел нахохлившись, как филин, и молча следил за юношей. В мастерской больше никого не было.

— Чего ты домой не идешь? — спросил Ваня.

— Погожу, — ответил матрос. — Посмотрю, как ты на нашей крови полтиннички зарабатываешь.

— На какой крови? — удивился Ваня.

— На рабочей, — пояснил Синюшкин. — Что ты делаешь?

— Пушку.

— То-то, что пушку. Не захотят рабочие работать за гроши, стачку устроят, на улицу выйдут, а солдаты эту твою пушку выкатят и давай из нее в рабочих стрелять!

Задумался мальчик над словами старого матроса.

...Прошло четыре года. Кончился срок ученичества. Ивана Васильевича Бабушкина произвели в «мастеровые».

Синюшкин посоветовал:

— Уезжай, Ванюша, в Питер. Друзей-приятелей найдешь. С жизнью лбами сшибетесь.

Бабушкин много слышал про петербургские чудеса: там, говорили, до ста целковых мастера в месяц зарабатывают...

Он поехал в Питер, поступил на Семянниковский механический завод.

Прежде чем приступить к работе, надо было устроить «спрыски», угощение — таков был тогда обычай, а денег у Бабушкина не оказалось. Старший по бригаде взял в долг четверть ведра водки, пять селедок, хлеба, и вся бригада — восемнадцать человек да пятеро гостей — устроившись на земле в одном из заводских дворов, приступила к пиршеству. Выпили, закусили и торжественно обещали «новичку»: «Поможем! Не дадим в обиду!»

Иван Васильевич начал работать. Бригада была большая, и заработок всей бригады шел в «общий котел». Более ловкие и более здоровые члены бригады, желая побольше заработать, подгоняли своих товарищей, в седьмой пот их вгоняли и заставляли трудиться по четырнадцати-пятнадцати часов в сутки.

Ломило тело, в ушах стоял звон, но не часто удавалось Бабушкину уходить домой даже после такого каторжного дня. Незадолго до гудка зажигался над дверью фонарь. Это был сигнал: сегодня «экстра»[1]. На плакате под фонарем надпись: «Сегодня *полночь,* работать от семи часов вечера до десяти часов вечера». Или: «Сегодня *ночь,* работать от семи с половиной часов вечера до двух с половиной часов ночи». Отработал Иван Васильевич свои четырнадцать-пятнадцать часов, и опять становись за станок! А отказываться от «экстры» нельзя было: за отказ увольняли с завода. С этими «экстрами» у каждого рабочего выходило по сорок пять дней в месяц. На заводе говорили: «У бога месяц тридцать дней, а у нашего фабриканта — сорок пять!» Администрация этими «экстрами» доводила рабочих до полного отупения. Сплошь и рядом рабочие заболевали от переутомления; даже существовал особый медицинский термин: «Зарвался на работе». Врачи так и писали в скорбных листках...

Бабушкину случалось работать подряд шестьдесят часов. Он так уставал, что, идя иногда с завода на квар-

[1] Экстра — сверхурочная работа.

тиру, засыпал дорогой и просыпался только от удара о фонарный столб. Откроет глаза и опять идет, и опять засыпает, и видит сон вроде того, что плывет на лодке по Неве и ударяется носом о берег...

В том же цехе, но в другой партии, работал молодой слесарь Илья Костин. Однажды в субботу, когда станки уже были прибраны, Костин обратился к Ивану Васильевичу:

— Что ты делаешь в свободное время?

— Ничего особенного.

— А у тебя книги какие-нибудь есть?

Иван Васильевич смутился: у него был десяток книг, но приобрел он эти книги чуть ли не для украшения своей комнаты — ведь читать-то ему некогда!

— Зайди ко мне, — ответил наконец Бабушкин. — Может, понравится тебе кое-что из моих книг.

— Ты лучше приходи завтра ко мне, — предложил Костин.

Бабушкину нравился синеглазый Костин, он охотно принял его приглашение.

У Костина, когда к нему явился Иван Васильевич, сидели уже двое — рабочие с Семянниковского завода. Одному из них Илья протянул листок.

— Прочитай, — сказал он и напряженно следил за выражением лица читающего. — Может, и ты хочешь почитать? — обратился неожиданно Костин к Бабушкину.

Иван Васильевич взял листок. С первых же слов он понял, что такого никогда еще не читал. Он взволновался, буквы запрыгали, перед глазами замаячили цветные круги. В листке говорилось о подлостях царя и царского правительства, и так едко, так убедительно, что как-то сам собой возникал вопрос: «А почему мы это терпим?»

Дважды прочитав листок, Иван Васильевич вернул его Костину. В эту минуту Бабушкин готов был отдать жизнь за то дело, к которому звала прокламация.

В это воскресенье Бабушкин долго гулял по петербургским улицам: ему не хотелось возвращаться домой. Он присматривался к встречным, заглядывал в окна чужих квартир. Жизнь по-новому раскрылась перед ним, она как бы раскололась на две половинки: с одной стороны — богачи, живущие в нарядных квартирах

под охраной солдат и городовых; с другой — беднота, ютящаяся на задворках, без солнца, без радости.

«На какой половине я?» — спрашивал он себя.

Если вот сейчас посмотреть на него — барин: в шляпе, в крахмальной сорочке. Зарабатывает Бабушкин хорошо — до пятидесяти рублей в месяц. Правда, этот заработок достается ему нелегко: шесть дней работает он, как каторжник. Зато чисто живет, чисто одевается и из каждой получки выкраивает пятнадцать рублей для посылки в Кронштадт: матери и сестренке. Живет Иван Васильевич в светлой, просторной комнате. На окнах — занавески. На столе — самовар. Этажерка с книгами. Полосатая дорожка на полу. Всё как у богачей. Но барин ли он? А если завтра прогонят с завода? Придется продать и занавески, и скатерть, и книги... А ведь именно об этом было написано в листке. Капиталист высасывает у рабочего всю кровь, а потом вышвыривает его на мостовую, как ветошь...

Иван Васильевич жил в одноэтажном домике, у старушки домовладелицы. Подойдя к домику, он остановился: его удивил свет в окнах. В его отсутствие старушка никогда не зажигала огня в его комнате.

Он раскрыл дверь. За столом сидела мать, Екатерина Платоновна, и хозяйка; они пили чай. Обе женщины поднялись при его появлении: Екатерина Платоновна — суматошливо, но с гордой улыбкой на лице; хозяйка — степенно, отодвинув предварительно свою чашку.

Много месяцев не видела Екатерина Платоновна своего сына, и она была ошеломлена переменой, происшедшей с ее Ванюшей. Из юноши, угловатого и нескладного, он вдруг превратился в красивого мужчину. Не очень высокий, не слишком широкий в плечах, но стройный, ладный, с тонким лицом и серьезными, умными глазами, с густыми усами, прикрывавшими большой рот.

— Ванюшка... Сыночек...

Екатерина Платоновна была не стара годами, но тяжелая жизнь избороздила ее лицо глубокими морщинами, рот запал, шея сделалась длинной и тонкой. Увидев сына, Екатерина Платоновна помолодела, похорошела. Она кинулась к нему, целовала и, целуя, хотела поведать сыну, что там, в Кронштадте, любят его, что сестренка Мария наказала ей «крепко поблагодарить» за деньги, за ежемесячное «пособие», и что сегодня она,

Екатерина Платоновна, приехала лишь для того, чтобы «заглянуть в его ясные глазоньки», — стосковалось материнское сердце по своему Ванюшке... Но Екатерина Платоновна не могла слова промолвить: припала к груди сына и заплакала.

— Мама... будет... — успокаивал ее Иван Васильевич.

...Костин познакомил Ивана Васильевича с руководителем одного из революционных кружков Фунтиковым — человеком рослым, с большой окладистой бородой. За эту бороду звали его рабочие «Патриархом».

— Дайте какую-нибудь умную книжку, — попросил Иван Васильевич у Патриарха. — Хочу до правды доискаться.

— А что ты будешь делать, если правду узнаешь? — строго спросил Фунтиков.

Этот разговор происходил в цехе. Бабушкин, обиженный, отошел к своим тискам. В словах Фунтикова ему послышалось недоверие. Но тут же Иван Васильевич понял: не каждого ведь приблизишь к себе — сначала надо испытать, проверить человека.

Фунтиков, присмотревшись к Ивану Васильевичу, принял его в свой кружок.

Бабушкин с головой ушел в пропагандистскую работу. Пользуясь каждой свободной минутой, он беседовал с рабочими, ходил ко многим на дом, читал им вслух или носил книги, рекомендованные Фунтиковым, сам много занимался, привлекал в кружок новых членов, и жизнь, ранее казавшаяся скучной, вдруг потекла шумно и ярко, как река весной.

По собственному опыту знал Иван Васильевич, как разрушающе действуют на здоровье все эти «ночи» и «полуночи». Вместе с Костиным начали они агитировать против всякой «экстры», и, несмотря на то что рабочие из нужды гнались за лишним рублем, Бабушкину и Костину удалось убедить многих товарищей отказаться от «экстры».

И чем больше Бабушкин вовлекал людей в кружок, тем острее чувствовал, как мало знает он сам. Ему еще трудно было разбираться во многих вопросах теории. Взять хотя бы народовольцев. И они агитировали на заводе, и они увлекали некоторых рабочих своими фантастическими планами убийства царя. Бабушкину не

нравились ни мечты народовольцев, ни они сами: он видел, что эти ярые агитаторы за убийство царя не интересуются повседневной жизнью рабочей массы, не вникают в заводские дела. И он, Бабушкин, пришел к убеждению, что народовольцы своими фантазиями отвлекают рабочих от социальной борьбы. Но теоретически обосновать свою неприязнь к народовольцам он еще не мог...

Арестовали Фунтикова — чуткого товарища и неутомимого организатора. Кружок осиротел, но не распался: Бабушкин и Костин продолжали дело своего учителя. Но могли ли они, юноши, делающие первые шаги в рабочем движении, заменить опытного пропагандиста Фунтикова?

Приближалась осень 1894 года. За Невской заставой начались занятия в воскресной школе. Бабушкин узнал, что там преподают «политики» — люди, преданные рабочему делу. С одной из учительниц — Надеждой Константиновной Крупской — Иван Васильевич был знаком. Рабочим из-за сменной работы трудно было выкраивать время для учебы, но Бабушкин уговаривал товарищей поступить в школу, разъясняя им, что там, в воскресной школе, кроме обычных предметов, преподают еще и такое, чего из книг не узнаешь.

Шестнадцать семянниковцев записались в школу. Усатые, бородатые слесари и токари усаживались за парты и с замиранием сердца ждали появления учительницы.

Все в этой школе было ново для них: и дружеская обстановка, и живое преподавание, и умение учительниц закончить любой урок, и всегда кстати, эпизодом из французской революции или сообщением о забастовке на каком-нибудь заводе...

3

В Петербурге, в рабочих районах, шла революционная работа. Но к зиме 1893 года наметилось в этой работе что-то новое: марксизм, который до недавнего времени считался только идейным течением, стал практически увязываться с рабочим движением. Перелом этот был вызван успешной работой В. И. Ленина по сколачиванию «Союза борьбы».

В дождливый осенний день 1894 года собрался кружок, организованный слесарем Василием Андреевичем

Шелгуновым. В него входили металлисты, работавшие на заводах за Невской заставой.

Чисто подметенная комната, освещенная керосиновой лампой. Посередине комнаты — круглый столик, накрытый белой скатертью. На нем — несколько тетрадей. Рядом с окном — самодельная этажерка, на которой расставлены томики Пушкина, Лермонтова и Некрасова, учебники для самообразования, толстые книги Дарвина. Окно плотно занавешено. Хозяин комнаты, Иван Васильевич Бабушкин, примостился на табурете. Он устал после трехчасовой уборки, зато комната приняла праздничный вид. Немного поодаль сидит Василий Андреевич Шелгунов, широкоплечий, ясноглазый. Он листает книгу. Против него на скамье, прижавшись друг к другу, устроились Никита Меркулов, из кружка Фунтикова, и Петя Грибакин, рабочий с Александровского завода.

Точно в три часа раздался стук в дверь. Василий Андреевич вышел в коридор.

— Лектор явился, — сказал Грибакин шепотом.

— Вот и Николай Петрович к нам пришел, — сказал Шелгунов, пропуская вперед невысокого человека. — Он будет с нами заниматься.

Это был Владимир Ильич Ленин. Он начал первое занятие с изложения основ марксизма. С первых же слов увлек Владимир Ильич слушателей силой и убедительностью своих доводов. Он не читал лекцию, а вел с участниками кружка живую, горячую беседу, которая часто переходила в спор, когда Ленин вдруг предлагал одному из кружковцев опровергнуть мнение, только что высказанное другим кружковцем.

В конце занятия Владимир Ильич задал участникам кружка своеобразную домашнюю работу: они должны были в течение недели изучить условия труда на своем заводе, а так как в кружке занимались рабочие разных заводов, то для следующего занятия был обеспечен интересный деловой разговор о формах капиталистической эксплуатации.

Ленин указывал кружковцам на связь между их положением и всей структурой капиталистического общества, воодушевлял их на борьбу с капитализмом, заставлял членов кружка — будущих пропагандистов — устанавливать более широкие и более живые связи с рабочей массой. Кружковец переставал быть только слушателем

и превращался сам в агитатора, живущего в гуще заводской жизни, улавливающего настроения рядовых рабочих, знающего не только нужды рабочих, но и их чаяния.

Кружок слесаря Шелгунова собирался регулярно. Выступления Владимира Ильича произвели на слушателей большое впечатление несокрушимой логикой, глубоким знанием Маркса, умением применять марксизм к своеобразным условиям России, своей преданностью интересам трудящихся и уверенностью в их победе. Ленин знал свой народ и с гениальной прозорливостью предугадал его исторические судьбы.

Владимир Ильич выдвинул перед своими соратниками задачу — создать самостоятельную марксистскую рабочую партию. Но для этого надо было сначала идейно разгромить народничество.

И это сделал Владимир Ильич!

В 1894 году появилась его работа «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» В этой книге Ленин до конца разоблачил истинное лицо народников, как фальшивых «друзей народа», идущих на деле против народа. Ленин доказал, что настоящими друзьями народа, желающими уничтожить капиталистический и помещичий гнет, уничтожить царизм, являются не народники, а марксисты. В этой книге Ленин впервые указал, что именно «...русский **РАБОЧИЙ,** поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет **РУССКИЙ ПРОЛЕТАРИАТ** (рядом с пролетариатом **ВСЕХ СТРАН)** *прямой дорогой открытой политической борьбы к* **ПОБЕДОНОСНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ».**

В этой книге Ленин наметил исторический путь рабочего класса России как политического вождя народа и поставил вопрос о союзниках пролетариата в революционной борьбе. Ленин первый из русских марксистов выдвинул идею революционного союза рабочего класса и крестьянства как главного средства свержения царизма, помещиков и буржуазии.

...Бабушкин получил наконец острое оружие для борьбы с народниками! Ленинская книга помогла ему побеждать народников в спорах на заводе.

...Однажды утром, когда солнце только начинало пробиваться сквозь толщу осенних туч, Бабушкина разбудил резкий стук.

«Жандармы!» — подумал он, направляясь к двери: он знал, что полиция не найдет у него ничего предосудительного. После ареста Фунтикова они с Илюшей Костиным обещали друг другу не хранить дома нелегальщины и быть всегда готовым к «визиту» полиции.

Иван Васильевич успокоил старушку домовладелицу, которая, всхлипывая и охая, встретила его в коридоре. Он открыл дверь.

Явилась квартирная хозяйка Костина. Плача, она еле промолвила:

— Илюшу арестовали.

«Значит, за мной сейчас придут», — подумал Бабушкин.

Он отослал домой плачущую женщину, чтобы жандармы ее не застали у него, а сам принялся наводить порядок в комнате, желая работой подавить свое горе. Лишь изредка останавливался и тихо ронял:

— Илья... Илья...

Прошел час, два — жандармы не явились.

Иван Васильевич отправился на завод.

С этого дня пришлось ему одному заботиться о кружке.

...Канун рождества. Рабочие с нетерпением ждут гудка, чтобы побежать в контору, получить там деньги, заработанные каторжным трудом, купить на эти деньги провизии — и домой: отдохнуть, выспаться, на детей порадоваться.

Прозвучал гудок. Остановились машины. Рабочие бегом кинулись к воротам. Там образовалась пробка: сторожа обыскивали каждого выходящего с такой тщательностью, точно искали пропавшую иголку.

Перед конторой, когда туда подошел Иван Васильевич, уже стояла густая очередь. Двери конторы были закрыты. Рабочие стояли на улице. Кто шарфом обвязал голову, кто притопывал на месте, но это не спасало: мороз был крепкий, декабрьский.

Ждали час, другой, третий... Уже темнеет, а двери конторы все не раскрываются.

— Ироды! Когда платить будете?

Повалил снег. Побелело все кругом. Побелели шапки и спины рабочих.

— Когда платить будете? — доносилось со всех сторон. — Лавки закроют! Без хлеба останемся!

Стали нервничать и мастера. Кто-то пустил слух, что фабрикант прогорел, что «контора» сбежала.

Тревога охватила людей.

Наконец-то около семи часов вышел к очереди служащий и объявил, что платить будут завтра, в сочельник, в десять часов утра. Усталые, озябшие и голодные, разбрелись рабочие.

На следующий день явились рабочие задолго до десяти часов. Перед конторой выстроилась тысячная очередь. Но контора, как и накануне, была закрыта.

Полдень, сумерки... На улице зажглись фонари, зазвонили церковные колокола, в окнах директорской квартиры переливалась разноцветными огнями большая елка, а рабочие, пришедшие с утра к дверям конторы, все еще стоят в очереди, ждут денег.

Как тут не прорваться отчаянию! Люди с болезненной остротой вдруг почувствовали свою беспомощность, все свое бесправие, зависимость от произвола фабриканта, который оградил себя крепким забором...

И родилось у многих желание разрушить забор, проникнуть в крепость фабриканта! Полетели камни, палки, куски угля, кирпичи... Зазвенели стекла, потухли фонари... В щепы разлетелся двуглавый орел, висевший на воротах... Из окон хозяйской лавки падали в снег, в грязь банки с вареньем...

Бабушкин с несколькими кружковцами успокаивали толпу. Они понимали настроение своих товарищей, в душе даже оправдывали их действия — нельзя так издеваться над народом, — но все же призывали к порядку, к организованным действиям, убеждая семянниковцев, что битье стекол — не рабочее дело, что за свои права надо бороться иными средствами.

Прибыли казаки, прибыла пожарная команда.

Наконец-то приступили к выплате денег...

Вскоре появилась на заводе листовка — обращение к семянниковским рабочим. Она была составлена В. И. Лениным при участии Бабушкина. И Бабушкин же распространил эту листовку на заводе. Он клал листовку в ящики с инструментами, на вальцы, где часто отдыхали рабочие, на паровозные рамы, запихивал в котлы.

...Наступил 1895 год. В этом году В. И. Ленин объединил около двадцати марксистских кружков в организа-

цию «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Под руководством Ленина «Союз борьбы» впервые в России стал осуществлять соединение социализма с рабочим движением.

Осенью 1895 года забастовали ткачи фабрики Торнтона. Забастовка возникла в ответ на объявление хозяина-англичанина о новом снижении расценок. «Союз борьбы» обратился к торнтоновским рабочим с листовкой, в которой вскрывалась тактика предпринимателей. Эту листовку также написал Ленин.

Вслед за ткачами забастовали рабочие обувной фабрики и табачники фабрики Лаферм. И опять «Союз борьбы» откликнулся специальной листовкой.

Эти листовки, написанные вначале от руки, отпечатанные потом на гектографе или мимеографе, разными путями проникали на фабрики и заводы.

Бабушкин подметил, что в рабочей среде что-то изменилось, повеяло чем-то новым. Первый листок не произвел большого впечатления, рабочая масса отнеслась к нему настороженно, зато следующие листки, выпущенные «Союзом борьбы», уже читались рабочими с огромным интересом. И Иван Васильевич решил использовать это новое настроение: он стал класть в места, где обычно собирался народ, брошюрки, книжки. И по разговорам, которые возникали в цехе, он безошибочно узнавал, в чьи руки попадала его литература. С теми рабочими, которые проявляли интерес к прочитанному, Бабушкин беседовал отдельно, приглашал к себе домой и, познакомившись, проверив товарищей, одних вовлекал в работу, в агитационную работу среди рабочих, других, ненадежных, отваживал.

Выпустив до семидесяти листовок, «Союз борьбы» начал подготовлять выпуск газеты «Рабочее дело».

Деятельность «Союза борьбы» вызвала усиленную слежку со стороны царских жандармов. В декабре 1895 года Ленин был арестован вместе со своими ближайшими соратниками, но «Союз борьбы» не прекратил своей работы. Ученики Ленина, оставшиеся на свободе, продолжали великое дело своего гениального учителя.

По поводу ареста Ленина «Союз борьбы» выпустил листовку «Что такое социалист и политический преступник?» Эту листовку написал Иван Васильевич Бабуш-

кин. Она заканчивалась бодрыми и уверенными словами: «Силы наши велики, ничто не устоит перед нами, если мы будем идти рука об руку все вместе».

Но недолго оставался на свободе и Иван Васильевич Бабушкин. Начальник охранного отделения, требуя его ареста, писал в своем докладе:

«Рабочий Иван Васильев Бабушкин является деятельным сотрудником в преступной кружковой деятельности... содействовал вступлению Ульянова в руководители этого кружка, посещал сходки, происходившие у Шелгунова...»

В январе 1896 года жандармы арестовали Ивана Васильевича и после тринадцатимесячного заключения выслали в Екатеринослав. Но и там Бабушкин не сидел сложа руки. Власти сразу почувствовали, что в их город прибыл опытный революционер-подпольщик, и пустили по его следу лучших своих ищеек. В феврале 1900 года пришлось Ивану Васильевичу покинуть Екатеринослав.

...Это было в то время, когда из ссылки возвращался Ленин. Еще в Сибири поднял он вопрос о создании нелегальной общерусской марксистской газеты. Без такой газеты, считал Ленин, «невозможно то систематическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней пропаганды и агитации, которое составляет постоянную и главную задачу социал-демократии вообще и особенно насущную задачу настоящего момента, когда интерес к политике, к вопросам социализма пробужден в наиболее широких слоях населения».

Для обсуждения плана издания этой газеты съехались сторонники Владимира Ильича в Псков, где Ленин тогда проживал. Бабушкин в Псков не мог приехать, но Владимир Ильич перед отъездом за границу встретился со своим учеником и рассказал ему о псковском совещании.

11 декабря 1900 года вышел первый номер «Искры». Под заголовком газеты был напечатан эпиграф: «Из искры возгорится пламя».

Вокруг «Искры» сложилась крепкая организация профессиональных революционеров, самоотверженных, принципиально выдержанных и преданных делу пролетариата. Они проводили огромную и трудную работу по распространению «Искры», по укреплению связи с массами, по завоеванию местных социал-демократических комите-

тов на сторону искровцев. Распространяя «Искру», внедряя в массы ленинские идеи, они, агенты «Искры», вели в суровых условиях подполья борьбу за создание боевой партии, направленную против всякого экономического, политического, социального и национального гнета; они, агенты «Искры», пользуясь ленинским словом, воспитывали рабочий класс как руководителя общенародной борьбы против царизма.

Одним из выдающихся агентов «Искры» стал и Иван Васильевич Бабушкин. По предложению Ленина он обосновался в Смоленске, в городе, который стоял на перекрестке важных магистралей: по Рижско-Орловской железной дороге «Искра» доставлялась из-за границы, по Московско-Брянской железной дороге и по Днепру она переправлялась в глубь страны.

Ивану Васильевичу повезло: в Смоленске в то время прокладывался электрический трамвай, и общество «Уньон» ощущало нужду в рабочей силе. Бабушкин попросился в кладовщики: он знал, что екатеринославские жандармы разошлют его фотографию по всей России и что смоленские шпики будут рыскать и на новых стройках. Но какому шпику придет на ум искать слесаря в кладовке?

Расчет Бабушкина оправдался. Смоленские жандармы рыскали по городу, а Иван Васильевич сумел превратить свою кладовку в искровский штаб. Там он хранил литературу, там он встречался с нужными людьми, там совещания проводил.

Живя в Смоленске с июня по август, Иван Васильевич оборудовал подпольную типографию, подготовил людей для транспортировки «Искры», организовал на нескольких предприятиях искровские кружки. В городе появились революционные листовки; землекопы, плотники, слесари уже готовились к забастовке.

Забеспокоились фабриканты; всполошились жандармы.

И выследили Ивана Васильевича!

В кладовку явился городовой: в руках — фотография Бабушкина.

Ивана Васильевича было трудно захватить врасплох: услышав приближающиеся к двери грузные шаги, он на всякий случай напялил на нос свои большие, в стальной оправе очки.

На городового он посмотрел прищуренным взглядом близорукого человека:

— Что скажете, служба?

Городовой всмотрелся в лицо Бабушкина, потом долго изучал фотографию, наконец сказал:

— Видать, обознались.

Действительно, сутулый, стариковатый кладовщик с близоруким беспомощным взглядом не был похож на молодого, энергичного Бабушкина, смело смотрящего с фотографии.

Городовой ушел. Но Иван Васильевич знал, что жандармы не оставят его в покое.

Бабушкин уехал из Смоленска: сначала в Полоцк, а оттуда, опять же по предложению Владимира Ильича, в «русский Манчестер» — в Иваново и Орехово.

4

Неяркое зимнее солнце уже клонилось к закату, когда московский поезд подходил к дебаркадеру станции Орехово-Зуево. Поезд опоздал на девять часов из-за снежных заносов, и это опоздание расстроило все планы Ивана Васильевича Бабушкина. Три часа назад должно было начаться заседание Орехово-Богородского комитета искровской организации.

Бабушкин, подхватив свой чемодан, двинулся к выходу из вагона. Он торопился: ведь до заседания комитета надо еще разыскать «зеленый домик», где Бабушкин должен был передать неизвестному товарищу Филиппу двадцать номеров «Искры» для железнодорожников.

Под вокзальным навесом клубился сизый пар. Кое-где уже горели станционные фонари. Выход в город только один — через узкую калитку в длинном деревянном заборе. Медленно, затираемый толпой, приближался Бабушкин к выходу. Два жандарма, усатые, в круглых барашковых шапках, стояли по обеим сторонам калитки и пристально оглядывали спешащих в город пассажиров.

Иван Васильевич, пятясь, выбрался из толпы. Он направился в противоположный конец станции, обогнул товарную контору и вышел в город через угольный двор.

Дорога предстояла дальняя — на восточную окраину, а оттуда — сосновым лесом в рабочий поселок.

В самом конце Песочного переулка стоял домик, вы-

крашенный в веселый зеленый цвет. Бабушкин огляделся вокруг: ни души. Он поднялся на крыльцо, толкнул чемоданом дверь, перешагнул через порог и очутился в крошечной комнатушке. Направо в стене бледным пятном вырисовывалось оконце; скупой свет освещал убогую обстановку.

— Кто там? — послышалось из-за дощатой перегородки.

Бабушкин вошел в узкую дверцу. Она отворилась скрипнув.

Небольшая керосиновая лампа тусклым светом освещала стол, две белые чашки и пожилую женщину, вяжущую чулок. Она посмотрела на вошедшего, слегка повернув лицо, и твердо, отчетливо спросила:

— Вам что угодно?

Бабушкин немного замешкался с ответом.

— На вашей улице есть еще зеленые дома? — спросил он наконец, поставив чемодан у ног.

Хозяйка прибавила огонь в лампе. Бабушкин увидел смуглое старушечье лицо со строгими серыми глазами.

— Нет, — ответила она. — Один наш зеленый, на всю округу один. А вы чего стоите? Чай, устали, с чемоданом-то шагая.

Бабушкин снял шапку, присел к столу и, вытирая вспотевший лоб, промолвил:

— Кем Филипп-то вам доводится? Простите, мамаша, не знаю вашего имени-отчества.

Женщина энергичным движением провела ладонью по сухим губам:

— Люди зовут меня Анной Максимовной, а в родство мое с Филиппом вам нечего встревать. Если дверью обознались — посидите, передохните и ступайте с богом. Если за делом пожаловали — скажите, за каким.

Иван Васильевич подумал: «Хитрая старуха!» Глядя в глаза хозяйке, он отчетливо произнес:

— Мне мех нужен.

Это был пароль.

Анна Максимовна поднялась с табуретки, степенно подошла к Бабушкину и, отвесив ему поклон, деловито, но с ноткой горечи в голосе промолвила:

— Запоздали вы, товарищ Богдан[1]. Ждал вас мой Филипп, да не дождался, уехал. А мне наказал получить

[1] Один из партийных псевдонимов И. В. Бабушкина.

у вас листовки. — Увидев удивленное лицо гостя, строго закончила: — Вы не беспокойтесь, товарищ Богдан. Я старая ткачиха. Знаю, что наша литература чужого глаза не любит.

Иван Васильевич раскрыл свой чемодан, достал из поддонного тайника номера «Искры», свернутые трубочкой, и, передавая сверток хозяйке, сказал:

— Вот вы какая, Анна Максимовна!

Анна Максимовна бережно приняла сверток.

Иван Васильевич вышел на улицу.

Ветер распахивает полы полушубка, за ворот закрадывается мороз и холодит спину, рука ноет от тяжести чемодана, но ему, Бабушкину, радостно. Он идет бодрой походкой, сворачивает из переулка в переулок...

Сколько глухих и темных переулков видел Бабушкин за свою нелегальную жизнь! И в зимнюю стужу, и в летний зной, и в осеннюю слякоть разыскивал он безвестные домики и дома, входил к незнакомым людям, произносил пароль, и незнакомые люди, услышав пароль, протягивали к Бабушкину руки, счастливо улыбались, тепло приветствуя явившегося к ним посланца партии, посланца Ленина. Рабочие жаждут правды — великой революционной правды. Слова Ленина, мысли Ленина так близки рабочему люду, что во всех этих безвестных домах и домиках слушают ленинского посланца с замиранием сердца, как сам он, Иван Васильевич Бабушкин, всегда слушает Владимира Ильича...

Темная улица скатывается вниз, будто в яму. Не обращая внимания на ветер, Бабушкин распахивает полушубок: тепло на душе...

Ближайшая дорога к дому Лапина пролегала через центр города, но Бабушкин, несмотря на позднее время и темноту безлунной ночи, предпочел добираться до места кружным путем.

Двухэтажный дом — длинный, несуразный — стоял на пустыре. Окна были закрыты ставнями, и сквозь сердечки, вырезанные в ставнях, пробивался свет.

Бабушкин три раза постучал в дверь, спустя минуту стукнул кулаком один раз и вслед за этим — опять три сдержанных удара. Раскрылась щелка в двери, и звонкий голос спросил:

— Кто стучится?

Иван Васильевич ответил, как полагалось по уговору:

— Время раннее, а вы уже сидите за семью замками!

Звякнула цепочка, дверь раскрылась. При свете каганца блеснули веселые глаза Ивана Ерошина.

— Заждались вас! — сказал он взволнованно, не пытаясь скрыть свою радость. — Всякая чертовщина уже в голову лезла.

— Больше выдержки, товарищ Ерошин! — приветливо ответил Иван Васильевич, любуясь красивым парнем. — В нашем деле спокойствие на первом месте... Все в сборе?

— Все! — откликнулся Ерошин и, подхватив чемодан Ивана Васильевича, двинулся вперед.

По скрипучей лестнице поднялись они на второй этаж.

Большая комната. С потолка свисает яркая керосиновая лампа. Посередине комнаты стоит круглый стол, накрытый белой в красную клетку скатертью. На столе шумит самовар, по тарелкам разложены пироги. Возле стены — широкая кровать со множеством подушек в цветистых наволочках.

Все в комнате «декорировано» под семейное торжество, под дружескую пирушку. Даже гармонь припасена — она лежит, растянувшись, на табуретке.

За столом — человек десять: ткачи, красковары, мюльщики, прядильщики. Вот прямой и тощий ткач Федор Скворцов: яйцевидное лицо и белая шелковистая борода, заканчивающаяся книзу тоненькой змейкой. Боевой старик, участник морозовской стачки. Это он, стоя рядом с Петром Моисеенко, бросил в лицо владимирскому губернатору Судиенко: «Всех нас не пересажаешь, ваше благородие, тюрем у тебя не хватит!» Скворцов долго искал «правильную» партию; ни тюрьмы, ни ссылка не охладили его поисков, и он нашел наконец то, что искал. Каждый номер «Искры» говорил ему о том, что Ленин со своими соратниками создают эту партию нового типа.

Рядом со Скворцовым сидит ткач Макеев — толстенький, с раскосыми глазами человек. Иван Васильевич знает, что Макеев — «экономист», хотя он и прикидывается преданным искровцем. Виновато ли было гадливое чувство, которое Бабушкин питал к «экономистам» вообще, или по другой причине, но лицо ткача показалось ему отвратительным.

Дальше, плечом к плечу, сидят Сергей Сельдяков, Андрей Воробьев, Алексей Захаров и сам хозяин кварти-

ры — ткач Климентий Лапин, тщедушный, с реденькой бородкой.

Орехово-Богородский искровский комитет!

Все поднялись навстречу гостю.

Иван Васильевич разделся, расчесал усы стальным гребешком и Скворцову первому протянул руку.

— Как ваше здоровье? — тепло спросил Иван Васильевич.

Ткач Макеев следовал за Бабушкиным по пятам. Когда Иван Васильевич поздоровался со всеми, ткач взял гостя под руку и подвел к свободному стулу.

— На хозяйское место, товарищ Богдан! — сказал он слащаво.

Лапин поставил перед Иваном Васильевичем кружку с горячим чаем и придвинул тарелку с пирогами.

Бабушкин с удовольствием принялся за еду.

— Что пишет товарищ Ленин? — начал Скворцов, которому не терпелось взять в руки свежий номер «Искры».

Иван Васильевич отодвинул от себя кружку.

— Начнем, товарищи! — Он достал из чемодана пачку газет.—Я привез три последних номера: десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Кроме того, нам прислали седьмой, августовский, номер, который до нас не дошел.

— Вот за это спасибо! — воскликнул Ерошин.

— Ленинских статей много?

— Много, товарищ Скворцов! — Иван Васильевич принялся листать газеты. — «Уроки кризиса» — одна статья. «Каторжные правила и каторжный приговор» — вторая статья. «Протест финляндского народа» — третья статья. «Беседа с защитниками экономизма» — четвертая статья. Как видите, товарищи, Ленин на своем боевом посту! В двенадцатом номере имеется приятная приписка...

— Какая?

— А вот какая: «Искра» будет теперь выходить два раза в месяц. Это значит, что мы с вами, товарищи руководители, должны будем усерднее помогать Ленину. Ведь мы с вами как бы именинники. Что ни номер — о наших делах пишет «Искра». Вот поглядите. В двенадцатом номере большая статья из Орехово-Зуева, в десятом номере Ленин приветствует нашу новую орехово-богородскую организацию и выражает надежду, что справимся со своими задачами...

В эту минуту донесся снизу резкий стук. Климентий Лапин поднял руку. Все застыли на своих местах.

— Наливайте себе чай в кружки, — сказал Лапин. — Ваня, бери гармонь. — Он быстро пододвинул чемодан Бабушкина к печке, раскрыл топку, разворошил кочергой тлеющие угли. — Если крикну «гости» — значит, полиция пожаловала.

Лапин ушел, оставив дверь раскрытой. Слышно было, как сдержанно заскрипела лестница.

Бабушкин раскрыл свой чемодан, в котором под платьем, за двойным дном, лежали номера «Искры», и остался сидеть на корточках перед печью.

Внизу звякнула цепочка. В комнату ворвалась струя холодного воздуха, пламя в лампе поднялось.

— Гости! — послышался голос Лапина.

Рядом с Бабушкиным опустился на корточки Ваня Ерошин. Несколько раз брались они за тонкие листы «Искры», но каждый раз клали их обратно в чемодан — авось удастся еще спасти литературу!

Шаги сначала заглохли, потом вновь прозвучали: направляются к лестнице.

— Ничего не поделаешь, — вздохнув, сказал Бабушкин.

И родная «Искра», с таким трудом доставляемая в Россию, была сожжена.

Все сидели за столом, слушая Ивана Ерошина: он пел вполголоса, задушевно и жалостливо.

— А это друзья-приятели, день рождения справляем, — объяснил Климентий Лапин, вводя жандармского ротмистра в комнату.

— Знаем мы этих «друзей-приятелей»! — передразнил его офицер.

Вслед за ротмистром, громыхая сапогами, ввалились в комнату шесть жандармов.

Жандармский ротмистр обошел вокруг стола, нагло заглядывая в глаза всем по очереди.

— А ты кто? — спросил он Бабушкина.

Иван Васильевич, не обращая внимания на жандарма, говорил Ерошину:

— Голос у тебя мягкий, сочный...

— Тебя спрашиваю! — крикнул офицер, кладя руку на плечо Бабушкину.

Иван Васильевич, тряхнув плечом, сбросил руку жан-

дарма и, глядя ему в глаза, сказал громко, отчеканивая каждое слово:

— Я с вами на брудершафт не пил!

— Вот оно что! — опешил жандарм. — Ин-тел-ли-гент! Рабочим вопросом ин-те-ре-суе-тесь? — прибавил он, дерзко оглядывая Бабушкина. — Обыскать!

Жандармы бросились к Бабушкину. Он стоял спокойно, с поднятыми руками. Они шарили по карманам, заставили снять сапоги, но ничего запретного не нашли. Тогда жандармы рассыпались по комнате: искали, выстукивали стены и пол, отодвигали мебель, разворошили кровать. Все молча следили за жандармами.

И в комнате ничего не нашли. Ротмистр был взбешен.

Жандармы толчками построили присутствующих.

— Подожди уводить! — распорядился ротмистр и уселся писать протокол.

Все, стоя посреди комнаты, следили за офицером. Он писал медленно, обдумывая каждую фразу.

— Ты... там... приезжий, как твоя фамилия?

Бабушкин повернулся спиной к офицеру.

— Не хочешь назваться... Так и напишем: «В комнате оказался какой-то приезжий неизвестный человек, не пожелавший назвать своей фамилии».

Иван Васильевич случайно перехватил взгляд «экономиста» Макеева. Что-то подленькое почудилось ему в этом взгляде. Но сказать об этом своим товарищам Бабушкин не успел. Офицер предложил всем подписаться под протоколом.

Иван Васильевич подписался: «Неизвестный».

В эту же ночь жандармы явились и в зеленый домик. Анна Максимовна засветила каганец, накинула на плечи платок и молча наблюдала, как «ироды» перетряхивают все в комнате.

Под утро, закрыв дверь за непрошеными гостями, Анна Максимовна оделась, достала из-под пола номера «Искры», оставленные Бабушкиным, и отправилась в Покров-город, к сыну Филиппу.

— Пусть раздувает искру! — сказала она вслух.

5

В покровской уездной тюрьме было душно, грязно и тесно. Арестованные сидели на нарах, а кому места на нарах не хватило, те устраивались на полу.

Говорил Бабушкин:

— Прошло немного времени, и какая перемена! Шесть лет назад, когда арестовали Владимира Ильича, петербургский «Союз борьбы» выпустил листовку, в которой разъяснял рабочим, что такое социалист и политический преступник. А теперь нужно ли кому-нибудь объяснять такие вещи?

— Не надо! — откликнулся Ерошин.

— Не надо, — подтвердил Иван Васильевич. — Зато теперь перед нами стоят другие задачи: вот мы с вами, политические преступники, очутились за решеткой. Можем ли мы позволить себе в тюрьме баклуши бить? Нет, товарищи. Знаете, что Ленин делал в тюрьме? Помогал нам, находящимся на свободе, руководил нами, листовки писал. Из хлеба он делал маленькую чернильницу-чашечку. Вместо чернил наливал в нее молоко и писал молоком в книгах между строк. Эти книги как прочитанные передавались им на волю. Товарищи подогревали листы над лампой, и на них выступали рукописные строки. Нужно было быть очень осторожным, чтобы надзиратели не застали его за письмом. При малейшем шорохе за дверью Владимир Ильич проглатывал свою чернильницу. Бывали такие тревожные дни, когда Ленину приходилось съедать до шести чернильниц! И в таких условиях Ленин писал свои воззвания и прокламации. Послушайте, товарищи, как Ленин, сидя за решеткой, издевался над царскими министрами. В листовке «Царскому правительству» Ленин писал: «Смотрите же, господин Витте, учитесь хорошенько! Учитесь разбирать вперед, из-за чего вышла стачка, учитесь смотреть на требования рабочих, а не на донесения ваших полицейских крыс, которым вы сами ведь ни на грош не верите».

— Наизусть помните, товарищ Богдан! — воскликнул Ерошин.

— Да, товарищи, я помню наизусть почти все, что написал Владимир Ильич. И вам советую выучить! Статьи Ленина, как микроскоп, делают невидимое видимым. Жизненные взаимоотношения очень сложны, и наш брат, рабочий, подчас за словесной шелухой упускает самую сущность. А прочитаешь статью Ленина, и все становится ясным, как под увеличительным стеклом. Скажем, Струве и другие «легальные марксисты». На всех перекрестках они славят Маркса, а Ленин, как дважды два четыре,

доказывает, что эти «легальные марксисты» только болтают о Марксе, что они сильнее смерти боятся того, как бы русские рабочие не стали революционными марксистами. Все эти господа Струве попросту защищают интересы буржуазии. Или вспомните, сколько туману напускают «экономисты». И стихийность, и рабочее законодательство, и свобода критики, и постепенность. А прочитайте статьи Ленина и тогда поймете, что вся болтовня «экономистов» — от лакейского усердия: они хотят выслужиться перед капиталистами, хотят подчинить им рабочее движение...

Если бы не нары да решетки на окнах, могло казаться, что идет очередной урок в школе.

Беседа была прервана: потребовали Скворцова к начальнику тюрьмы.

В кабинете за письменным столом сидел тучный человек с багровым лицом и злыми глазами.

— Ты что это, старик, — спросил он строго, когда дверь закрылась за конвойными, — лбом стенку прошибать вздумал?

— Я, господин начальник, — начал Скворцов, понимая, куда клонит этот разжиревший на казенных хлебах чиновник, — никакой стенки прошибать не собираюсь... А тем более лбом, — добавил он несколько обиженно.

— А почему ты путаешься вот с такими залетными птицами? — уже более сердито проговорил начальник, наступая на тощего старика.

— С какими такими залетными птицами? — удивился Скворцов. — Сидели мы у Лапина, рождение справляли. Народ был все свой, зуевский — ткачи да красковары...

— А этот, усатый, тоже, скажешь, свой, зуевский?

— Нет, господин начальник, он из Орехова.

— Ткач? Или, может, красковар?

— Кажись, торговец, — с напускной искренностью ответил Скворцов. — Говорили, что скобяным товаром торгует. Человек он степенный. И, видать, не без пользы торгует. Одет чисто, бельишко на нем глаженое...

— Фамилия?

— Вот этого не знаю. Мы народ не любопытный. Сидит человек за столом, ну и пусть сидит. Лапин и то его не знает. Ночевать попросился — Лапин и пустил. А Иванов ли он или Сидоров — в паспорт не посмотрели...

Жандармы не знали, кто скрывается под кличкой «Неизвестный», и они поручили начальнику тюрьмы «разведать». Тучный начальник понял, что Скворцов хитрит с ним. Задыхаясь, он прорычал:

— Врешь, сволочь!

Ни один мускул не дрогнул на сухом лице Скворцова. Он спокойно смотрел в совиные глаза начальника, мерно поглаживая свою длинную иссиня-белую бороду. И это спокойствие привело в замешательство тучного начальника. Он опустился в кресло, отдышался.

— Не первый год я тебя знаю, — сказал он после длительного молчания. — Бунтовал в молодости. Знаю. Но теперь ты человек степенный. Да и годы твои не те. Был конь, да изъездился... Твое дело теперь с внучатами возиться, уму-разуму их учить, а ты в тюрьме околачиваешься.

— Не своей волей сюда пожаловал, — вздохнув, ответил Скворцов.

— Так скажи, кто эта залетная птица, и я всех местных отпущу.

Опять послышался спокойный, кроткий ответ:

— Из Орехова он. Там и дознавайтесь. А мы не знаем. Но человек он степенный...

И на этом кончилась беседа. Скворцова увели обратно в камеру. Там он отозвал в угол Ивана Васильевича и Климентия Лапина и рассказал им, чем интересуется начальник тюрьмы.

— Так и помните, — закончил старик сурово, — чтобы было единомыслие.

Но начальство их больше не беспокоило, даже на допросы не вызывало.

В душной камере молодо звучал голос Ивана Васильевича: продолжалась учеба.

Через неделю перевезли Бабушкина в губернскую тюрьму, во Владимир.

6

Бабушкин был арестован 23 декабря 1901 года, а утром 5 января прибыл в Москву подпольщик Багаев. Его вызвал из Владимира Бауман, работавший вместе с Бабушкиным по сплочению московских социал-демократов вокруг «Искры».

Поезд подкатил к платформе. Багаев последним вы-

шел из вагона и остановился, будто только затем, чтобы поднять барашковый воротник на пальто. Убедившись. что болтливый попутчик, смахивавший на шпика, двигается к выходу вместе с остальными пассажирами, Багаев подхватил свой маленький чемоданчик и вышел на вокзальную площадь.

Снег валил крупными хлопьями, и все вокруг — и дома и люди — было занавешено снежной пеленой, только звон конки да окрики извозчиков напоминали, что на площади бурлит обычная привокзальная жизнь. Было около шести часов, к Грачу[1] идти рановато, и Багаев решил отправиться пешком в Марьину рощу, в слесарную мастерскую, где дней двадцать назад получал нелегальную литературу. Всего один час провел тогда Багаев с «хозяином» слесарной мастерской — с Иваном Васильевичем Бабушкиным, но и этого короткого времени было достаточно, чтобы полюбить и привязаться к умному и обаятельному человеку.

На Александровской улице, не доходя шагов тридцать до мастерской, Багаев остановился. Магазины уже были открыты, редкие пешеходы спешили по своим делам; на углу, похожий на снежную бабу, стоял городовой. Ничего подозрительного! Багаев смело двинулся к Бабушкину, но... двери слесарной мастерской были закрыты и с железной полосы свисал большой замок.

«Задержался где-то Иван Васильевич», — решил Багаев.

Отправляться на явку было все еще рано. Багаев зашел в ближайшую чайную, уселся за столик, потребовал порцию кипятку, добыл из своего чемоданчика краюху черного хлеба и расположился завтракать.

В чайную зашел постовой городовой. В дверях он остановился, вытер ладонью мокрое лицо, рукавицей стряхнул снег с полушубка и, подмигивая хозяину, вышедшему из-за стойки, промолвил:

— Собачья погодка!

При виде городового Багаева вдруг осенило: «А не арестован ли Иван Васильевич?»

— Садитесь, служба, — пригласил Багаев городового, указывая ему на стул рядом с собой.

Городовой охотно принял приглашение. Багаев про-

---

[1] Грач — Н. Э. Бауман.

полоскал свой стакан, наполнил его кипятком и, придвинув стакан гостю, предложил:

— Пейте, служба, отогрейтесь. И хлебушка, если угодно, пожалуйста.

Городовой взял стакан в руки, подержал его несколько секунд на весу и решительно поставил обратно на стол.

— Вода — она водою и останется. Только сырость в брюхе заводить. Угостите лучше папироской.

Багаев протянул городовому всю пачку:

— Верно вы сказали: вода только сырость в брюхе разводит. Но что поделаешь? На спиртное капиталов не хватает. Без места оказался. Вот говорили, что на вашей улице, в седьмом номере, слесарь требуется. Приперся сюда, а мастерская на замке. А я спешил, еще затемно из дому вышел, и вот тебе: замок поцеловал! Как, служба, посоветуете: восвояси отправляться или дожидаться — откроет мастер свою мастерскую?

— Эх, мил человек, — сказал городовой, беря из пачки вторую папироску, — не вовремя ты заявился!

— А что?

— А то, что усач этот, хозяин мастерской, дён десять как уехал куда-то.

Багаев узнал то, что его интересовало: Ивана Васильевича в Москве нет. Он выложил на стол три копейки за кипяток, взял чемоданишко в руки и, поднявшись с места, проговорил огорченно:

— В другое место подамся! Авось подвернется работенка.

Заснеженными бульварами спустился Багаев к Екатерининской больнице. Желтое здание с белыми колоннами высилось горделиво среди низеньких домиков. Багаев вошел в больницу, поднялся боковым ходом на второй этаж и, как ему объяснили во Владимире, свернул направо, в сторону винтовой лестницы. Перед ним дверь с черной табличкой: «Дежурная фельдшерица».

«Тут, значит», — подумал Багаев.

Он раскрыл дверь и очутился в круглой, как фонарь, комнате. За столиком сидела немолодая женщина.

— Кто вам нужен? — спросила она, пристально всматриваясь в лицо Багаева.

— Мне нужно Лосеву, Александру Николаевну.

— Это я.

Багаев подошел к Александре Николаевне:

— Есть у вас «Воскресение» Толстого?

— Нет, — быстро откликнулась она, протягивая Багаеву руку, — но есть «Дурные пастыри» Мирбо. А вот теперь, товарищ Медведь, когда мы с паролем закончили, скажите, почему вы запоздали? Товарищ Грач ждал вас третьего дня.

— Не мог выехать — дела задержали.

— Готовьтесь к головомойке. А теперь садитесь завтракать.

— Я уже завтракал.

— Небось воду хлебали?

Багаев рассмеялся:

— Откуда вы знаете?

— А разве это не так? Все вы, подпольщики, одинаковы. Пятак на еду тратите, а рубли на книги да театры!

Увы, это была правда, но, к сожалению, только наполовину: у Багаева в кармане не было рублей, которые он мог бы тратить на книги и театры. Ему дали на дорогу всего шесть рублей, и из них пришлось уплатить за железнодорожный билет четыре рубля восемьдесят две копейки. Средства владимирской партийной организации были до крайности скудны — жили исключительно на партийные взносы, а у рабочих нищенские заработки. Сам он, профессионал-революционер, жил буквально впроголодь, получая от комитета десять рублей в месяц.

Александра Николаевна достала из шкафчика тарелку с котлетами, два печеных яблока, кусок сыра, несколько белых булочек.

— Беритесь скорее за еду. В двенадцать часов я вам устрою свидание с Грачом.

Багаев не притронулся к завтраку. Он смотрел в окно, мохнатые брови на его широком лице были сдвинуты к переносью.

— О чем вы задумались?

Багаев тихо сказал:

— Вспомнил первую встречу с Грачом. Он меня тогда поразил. Понимаете, Александра Николаевна: поразил! Какая ясность мысли, какая железная воля, какая принципиальность и в то же время какое доброе сердце! — И, помолчав немного, добавил: — Каких людей подбирает Владимир Ильич! Грач, Богдан...

— Вы знакомы и с Богданом?

— Я у него литературу получаю. Вот сегодня прямо с вокзала направился к нему... Какой человек! А когда заговорит о Ленине, весь преображается, даже голос становится другим.

Лосева окинула гостя быстрым взглядом и неожиданно поднялась с места:

— Я вам чай принесу.

Аппетит у Багаева был хороший, и он к тому же изрядно проголодался: в несколько минут покончил он с обильным завтраком.

— А теперь, Александра Николаевна, давайте явку и пароль к Грачу.

— Чернышев тупик знаете?

— Знаю.

— Там находятся семейные бани.

— И бани эти знаю.

— Рядом с банями помещается дровяной склад. Зайдите в контору. Там будет сидеть белобрысый парень в очках. Пароль: «Здравствуй, Никита!» Он должен ответить: «Отколь бредешь, умная голова?» Вот этот товарищ даст вам адрес Грача.

— А если его там не будет или он не ответит?

— Тогда приходите сюда в шесть часов.

Ровно в полдень зашел Багаев в контору дровяного склада. За столиком, лицом к двери, сидел юноша в очках. Ответив на пароль, юноша вывел Багаева из конторы и шепотом назвал ему новый адрес.

Грач был один в комнате. Он поднялся навстречу Багаеву, протянул руку:

— Почему опоздали, товарищ Медведь?

— Дела задержали.

Этот ответ вызвал суровую отповедь:

— Когда вызывают по партийному делу, надо все бросать! Пора это знать, вы не новичок в партии... Знаете, что Бабушкин арестован?

— Иван Васильевич?

— Да, Иван Васильевич! И он находится у вас, во владимирской тюрьме. Товарищ Ленин приказал во что бы то ни стало вызволить его оттуда. И вам, товарищ Багаев, партия поручает это ответственнейшее дело. Справитесь?

— Приложу все силы, товарищ Бауман!

Бауман потянул гостя к кушетке, усадил его рядом с собой:

— Вы должны вызволить Ивана Васильевича. Понимаете, Багаев, должны! Я вас знаю, я за вас поручился. Не подведете?

— Сделаю все возможное.

— Мало, товарищ Багаев, — надо сделать невозможное!

Багаев поднялся: для него был закончен разговор. Иван Васильевич, этот дорогой и близкий ему человек, нужен партии, нужен Ленину!

...В этот же день Багаев выехал из Москвы.

Прибыв во Владимир, он поселился возле тюрьмы, в деревянном домике, где квартировал один из тюремных надзирателей.

В первый же вечер Багаев пригласил соседа на новоселье. Сидели за столом долго — ели, пили, беседовали. Багаев узнал, что надзиратель тяготится своей службой, что он мечтает о собственном магазине и чтобы над магазином красовалась длинная вывеска: «Торговля Кузьмы Яковлевича Черкасова». Уходя, надзиратель клялся в вечной дружбе.

— Все для меня сделаешь?

— Все! — решительно заявил Черкасов.

Багаев набросал несколько слов, самых невинных, чтобы в случае провокации не пострадал Иван Васильевич.

— Вот, Кузьма, в твоем заведении отдыхает мой дружок. Передай ему эту записку, пусть обрадуется весточке с воли.

Надзиратель передал письмо и принес ответ от Бабушкина. Тогда Багаев пошел в решительное наступление. Он вытащил из кармана пачку денег:

— Видишь, Кузьма Яковлевич? Все будет твое! Устрой мне одно дельце.

— Приятеля вызволить? — догадался Черкасов. — Трудное дело. Очень трудное!

— Деньги-то какие, Кузьма!

— Трудное дело, — повторил надзиратель.

— Сам знаю, что нелегкое. Но давай подумаем, авось уж не такое оно трудное... Знаешь, Кузьма, что мы с тобой сделаем? Дружок мой — умнейшая личность. Ты повидайся с ним завтра и расскажи, что мы с тобой зате-

ваем. Кто-кто, а уж он такое придумает, что комар носа не подточит.

Надзиратель согласился.

...Все было готово к побегу: уже был изготовлен ключ для камеры Бабушкина, уже были подкуплены коридорный надзиратель и привратник от наружных ворот, уже был назначен день побега — в этот день Черкасов был дежурным по всему корпусу, уже были наняты лошади, на которых Багаев должен был отвезти Ивана Васильевича в Боголюбово, и вдруг все рухнуло: за два дня до назначенного срока по приказу жандармского управления Бабушкина неожиданно отправили в город Екатеринослав.

7

16 февраля Иван Васильевич подъезжал к Екатеринославу. В арестантском вагоне было холодно, на окнах — ледяные узоры. Теплым дыханием отогрел Иван Васильевич глазок на стекле и в бегущих навстречу поезду заводах искал знакомые очертания. Вот высокая труба листопрокатного завода Шодуар — на этом заводе он встречался с Петром Морозовым. Где он?.. А вот и проволочно-гвоздильный Гантке. Низкие, приземистые трубы, перехваченные железными обручами...

— Приехали! — объявил начальник караула.

С вокзала Бабушкина направили в городскую тюрьму. Там его уже поджидал сухопарый жандармский ротмистр Кременецкий.

— Вот вы и вернулись к нам, господин Бабушкин, — ехидно промолвил жандарм. — Соскучились по Екатеринославу?

Иван Васильевич ничего не ответил.

Жандарм сел — следил за процедурой приема арестованного. Неожиданно швырнул он недокуренную папиросу, подошел к Бабушкину и, не скрывая больше злобы, зашипел, показывая при этом два ряда желтых от табака зубов:

— Теперь ты уже не сбежишь! — И, сощурив левый глаз, добавил: — Я сам тебя отвезу на каторгу!

Бабушкина поместили в большую угловую камеру — там находилось восемнадцать человек. И какая радость: среди восемнадцати — учитель и друг по ленинскому кружку в Питере Василий Андреевич Шелгунов!

Друзья обнялись, расцеловались.

— Василий Андреич, мы с тобой преступники.

— Государевы! — весело подхватил Шелгунов.

— Не государевы, Василий Андреич, а перед партией. В такое время сидеть на жандармских хлебах...

В камере были одни политические. Они уже давно наладили связь с городом, регулярно получали «Искру».

В первый же день прибытия Бабушкина возник спор. В камере нашлись и защитники «экономистов». Некий зубной врач, считавший себя революционером, хотя непосредственного участия в революционном движении не принимал, упрекал «искровцев»:

— Вы своей политикой только забиваете головы сознательным рабочим, а рабочую массу отталкиваете от себя. Разве может русский рабочий, в большинстве своем безграмотный и забитый, понять вашу политическую борьбу? Ему нужен хлеб насущный, и ради него он будет вести борьбу с буржуазией. Борьба с царским самодержавием ему не только непонятна, но к ней русский рабочий относится даже враждебно. Он не выдвигает политических задач!

— Эх вы, горе-теоретики! — издевательски ответил Иван Васильевич. — Для вас политика что-то вроде собачонки, что бегает за экономикой. Вы мещане, а не революционеры! Вам подавай сегодня кусок хлеба с маслом, а на будущее вам наплевать! Вы защищаете «экономистов». А кто они, эти «экономисты»? Агенты буржуазии в рабочем классе! Они проповедуют «борьбу за экономическое положение, борьбу с капиталом на поле ежедневных насущных интересов». Они уговаривают рабочих довольствоваться объедками с хозяйского стола! И, кроме того, вы, господин революционер, русского рабочего не знаете! Петр Алексеев — рабочий. Степан Халтурин — рабочий. Виктор Обнорский — рабочий. Петр Моисеенко — рабочий. И вы смеете утверждать, что русский рабочий враждебно относится к борьбе с царским самодержавием! А насчет политических задач послушайте, что говорит товарищ Ленин: «Утверждение, что русский рабочий класс «еще не выдвинул политических задач», свидетельствует лишь о незнакомстве с русским революционным движением. Еще «Северно-русский рабочий союз», основанный в 1878 году, и «Южно-русский рабочий

союз», основанный в 1875 году, выставили в своей программе требование политической свободы».

«Экономисты» разбрелись по нарам.

Вечером Бабушкин стоял перед оконной решеткой. В подкладке его сапога была спрятана стальная пилка. Но в камере много народу — и разного.

Синие сумерки. На потолке дрожит цветная полоска. Слышно, как течет вода по трубам.

Шелгунов взял Ивана Васильевича за обе руки, притянул к себе на нары:

— Расскажи, Ваня, о своих делах!

— Каких?

— Екатеринославских. Ведь ты был здесь несколько лет назад... Вот и расскажи, что ты тут делал.

— Расскажу, что я тут делал, — просто произнес Бабушкин. — В январе девяносто шестого года, как ты помнишь, меня арестовали. Потом выслали из Питера. Почему я поехал именно в Екатеринослав? Город, подумал я, фабричный, есть пролетариат. Раз есть пролетариат — значит, должна быть и революционная организация. А если нет ее, надо создать. Приехал. Денег не было, а когда огляделся, походил по заводам — понял, что надежд найти работу никаких. Таких, как я, безработных, была тогда целая армия. На один завод пойдешь, на другой сунешься — нигде не берут. Стоишь в толпе у ворот и слышишь: у того кум, у этого сват. Вот их, с протекциями, брали... Но мне как-то повезло. Однажды говорит мне приятель: «Пойдешь пробу сдавать».

— Кончился, значит, голод?

— Куда там, Василий Андреевич! Отправился я с приятелем на завод. Дают мне «пробу». Мастер — итальянец, ни слова по-русски. Сосет сигару и смотрит на меня ястребиными глазами. Я работаю, волнуюсь — ведь от этой пробы зависит, возьмут меня или прогонят. И вот два часа поработал, пропотел и понял, что пробы не сдам...

— Почему? — удивился Шелгунов, знавший, что Иван Васильевич — прекрасный слесарь.

— Да потому, что я долго не держал в руках напильника.

— Руки стали нежные?

— Именно, Василий Андреич, барские, без рабочих мозолей...

Бабушкин поднялся, сделал несколько шагов по камере и, когда вернулся на свое место, продолжал:

— Устроился наконец на Брянском. Осмотрелся: хорошие, дельные ребята. Поговорил с ними. Стал кружок налаживаться. Какое было тогда благодатное время! Ночью улицы пусты: ни тебе городового, ни дворника, ни провокатора — все мирно спят. Идем с Гришей Петровским по поселку. В карманах — листовки. Понимаешь, Василий Андреич, первые в Екатеринославе прокламации! В кру́жке — клей. Забор. Приклеили первый листок.

Переходим дорогу — хата. Бросаем листовки во двор. Мы их складывали «ласточкой» — удобнее бросать: разлетаются, как птички. Несколько листков запихиваем в щели забора. Направляемся в другой квартал и его украшаем листками. Утром — переполох. Народ листки читает, а полиция с ног сбивается: ищет, рыщет, срывает с заборов все, даже театральные афиши...

— А по заводам разбрасывали?

— Разбрасывали. У нас даже что-то вроде системы выработалось.

— Какая?

— А вот какая! — живо сказал Бабушкин. — Электричество часто потухало на несколько минут. Рабочие сидели на верстаках — ждали. В это время кто-нибудь пускает по цеху «ласточку». Появляется свет, все хватают листки и тут же читают или в карман прячут. Листовки делали свое дело. С февраля девяносто восьмого стали вспыхивать забастовки, одна за другой. Где только намечалось брожение, мы сейчас же туда. Созывали собрания уполномоченных, сообща вырабатывали требования, листки писали. Когда выделилось руководящее ядро, организовали екатеринославский «Союз борьбы». Работы, сам понимаешь, было столько, что люди с ног валились. Мне, например, пришлось руководить тремя кружками... Вот тогда-то спохватилась полиция. Пошли аресты...

Бабушкин подошел к окошку, дотянулся руками до железных прутьев и застыл в неудобной позе.

Василий Андреевич спустился с нар, подошел к Бабушкину, обнял его за плечи.

— Ваня, — сказал он, — многих товарищей мы потеряли...

— За Петра Морозова больно. Старый, только из тюрьмы — опять за решетку угодил.

— За всех больно.

Бабушкин оторвался от решетки:

— Ты прав, Василий Андреевич: за всех больно. — И решительно добавил: — Но ты бы тогда на жандармов посмотрел! Носились по городу, как бешеные псы. Листовки — повсюду: на улицах, в закоулках, на заводах и в мастерских, даже в епархиальном училище...

Шелгунов усадил Ивана Васильевича на нары.

— Вот, Ванюша, наша действительность. Каждую свою победу мы добываем кровью, жизнью дорогих нам людей... Помнишь ледоход на Неве? — закончил он вдруг.

Бабушкин не ответил.

Василий Андреевич смотрел вдаль. В его глазах отражался багровый закат, и огненные отсветы делали его кроткие глаза беспокойными:

— Лед сначала потрескивает, шуршит, хрустит. И вдруг просыпается в нем какая-то силища. Он рвет все вокруг себя, хочет поскорее обнажить чистую воду, чтобы залить землю, чтобы смыть с нее грязь... Мы с тобой, Ванюша, стоим на берегу жизни. Мы уже слышим, как просыпается народная сила, и недалек тот день, когда рабочая правда зальет землю и смоет с нее капиталистическую грязь...

В этот день они больше не возобновляли разговора о прошлом: оба они думали о том желанном и близком времени, когда рабочий станет хозяином на своей земле.

Долго стоял Бабушкин у окна. В камере уже спали. а он, Иван Васильевич, вглядывался в темноту, искал среди екатеринославских домов маленький, беленький, памятный домик. Почти ежедневно, возвращаясь с работы или с совещания, видел он в окне этого домика бледную девушку. Склонившись, она шила. Каждый раз, заслышав его шаги по дощатому тротуару, она поднимала голову, и утомленное лицо ее покрывалось румянцем... Удивительные были у нее глаза: большие, блестящие.

Он однажды решился, подошел к ее окну:

«Дали бы отдых своим глазам».

«А вы даете себе отдых? — спросила она, не отрывая

глаз от шитья; лицо ее пылало. — Целый день работаете, а ночью огня не тушите... Тоже работаете».

«Не всегда! — ответил он весело. — Бывает, что и сплю».

«Редко, — улыбнулась она. — Я-то вижу. Ваше окно как раз против моего... — И вдруг закончила серьезно: — А я на вашем месте переменила бы комнату».

Иван Васильевич инстинктивно огляделся. На улице — ни души. Тополя выстроились двумя шеренгами вдоль тротуаров, желтая пыль курится по мостовой, легкие занавески колышутся в окнах.

«Я своей комнатой доволен», — сказал он.

Девушка взглянула на него, и лицо ее сделалось детски беспомощным.

«Переезжайте, — промолвила она взволнованно. — Прошу вас!»

«Надоел вам такой сосед, как я?»

«Полицейские тут шныряют, — ответила она шепотом. — И с каждым днем все больше».

Бабушкин переехал в другой район, на Кайдаки. И с этого дня стал Иван Васильевич часто встречаться с бледной девушкой. Он полюбил Прасковью Никитичну за чуткое сердце, за трудную жизнь, за ее мечты, которые были схожи с его мечтами. Они поженились. Трудно быть женой подпольщика, но Прасковья Никитична и в этой трудности находила радость...

«И где она сейчас? В Москве осталась? А может быть, в эту минуту сидит моя Прасковья в одном из екатеринославских домиков и, склонившись над шитьем, думает о своем муже, о своем Иване, которого революционная работа так часто бросает в тюрьмы?»

На следующий день, вернувшись с прогулки, Василий Андреевич, укладываясь на нары, подозвал Бабушкина и торопливо, будто был убежден, что их скоро разлучат, предложил:

— Ты бы, Иван Васильевич, закончил свой рассказ.

— Рассказывать, пожалуй, больше нечего.

— А почему ты скрылся из Екатеринослава?

— Почему скрылся? — повторил Бабушкин. — Полиция к горлу подступала. Куда ни кинусь — шпик.

— А переждать нельзя было?

— Чем дальше, тем хуже было. Жандармы первое

время шли по ложному следу: в Екатеринославе они искали «Трамвайного», а в Нижнеднепровске — «Николая Николаевича». Но в рабочем комитете предатель оказался, Вьюшин, он и раскрыл жандармам, что обе эти клички мои. Пришлось скрыться.

— Где ты жил после побега?

— В разных местах... Работал в Смоленске, в Полоцке. Был и в Пскове. После того совещания... Какую гигантскую задачу решал тогда Владимир Ильич! Создать партию, партию нового типа...

— Вот это и есть та сила, о которой мы с тобой вчера говорили!

— Верно, Василий Андреич! Когда товарищ Ленин направил меня к текстильщикам в Орехово-Зуево, я воочию убедился, какая это благородная, живительная сила — наша партия!

Шелгунов приподнялся, посмотрел в глаза Бабушкину:

— Так это ты писал оттуда корреспонденции в «Искру»?

— Разве обо всем успеешь написать? — ответил Иван Васильевич вопросом. — Времени не было. Надо было не только писать для «Искры», но и распространять ее. В августе девятьсот первого года оформился Орехово-Зуевский комитет. Еще работы прибавилось. Приходилось связывать комитет с «Искрой», с Московским комитетом. А когда попадал в Москву, надо было и с зубатовцами «поспорить». Как они, прохвосты, ловко вели свою агитацию!

Шелгунов только теперь понял, какое огромное значение имел Бабушкин как агент «Искры». Он описывал быт текстильщиков и их борьбу с хозяйским произволом; он писал о безобразиях в морозовской больнице и о развратнике-фабриканте Павлове; через «Искру» он предостерегал от провокаторов Мазуркина и Колычева; ставил большие, принципиальные вопросы, связанные с редактированием и писанием листовок.

Шелгунов читал в девятом номере «Искры» пространную и гневную статью «В защиту иваново-вознесенских рабочих». Она была подписана необычным псевдонимом: «Рабочий за рабочих». И сейчас, слушая рассказ Бабушкина, Василий Андреевич вдруг подумал: «Не он ли написал эту замечательную статью?»

— Ты когда-нибудь подписывался «Рабочий за рабочих»?

Бабушкин сдержанно ответил:

— Я однажды подписал статью «Рабочий за рабочих». Владимир Ильич хотел, чтобы на статью господина Дадонова ответил рабочий. Вот я и ответил... И понимаешь, Василий Андреевич, как можно было не ответить! Ведь господин этот, Дадонов, в своей статье «Русский Манчестер» оклеветал рабочий класс! И где? На страницах журнала либеральных народников «Русское богатство»! Русский-де рабочий плохо живет — верно, пишет он. Но знаете, почему рабочие плохо живут? Потому-де, что они пропивают свои заработки! Вот до чего договариваются господа либералы!

Тянутся дни, недели — в беседах, спорах, чтении, учебе. В камере знойно, уныло жужжат мухи, но обитатели камеры внимательно слушают Бабушкина: он читает вслух переданную с воли книгу Ленина «Что делать?».

— Теперь «экономистам» смерть! — Этим восклицанием закончил Бабушкин чтение.

— Только ли это? — спросил Василий Андреевич и сам же ответил: — Нет, товарищи, не только в этом ценность работы Владимира Ильича. Всю книгу пронизывает идея о партии, о партии, которая руководит и организует рабочее движение. Вдумайтесь в слова Владимира Ильича: «...роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией...»

Бабушкин отошел к окну; грустью подернулось его лицо.

— Что с тобой? — забеспокоился Василий Андреевич.

— Бежать!

Шелгунова было трудно рассердить, но Бабушкин в последние дни так часто говорил о побеге, что даже спокойный Василий Андреевич не стерпел:

— На рожон лезешь!

— Василий Андреич! Идет борьба и внутри партии и между партиями, а мы, ученики Ленина, не помогаем ему в этой борьбе...

— Бабушкин! Выходи с вещами! — раздался неожиданно окрик надзирателя.

Ивана Васильевича перевели в четвертый полицейский участок. В камере за столом сидел студент — русая борода всклокочена, белая рубаха топорщится. На нарах лежала его синяя тужурка. В камере не прибрано, не подметено.

Бабушкин поставил в угол свою тощую корзинку, снял пиджак и принялся наводить порядок в камере.

Студент сначала не обратил внимания на Бабушкина, но потом, заинтересовавшись, стал следить за ним.

— Уют наводите в царских тюрьмах? — ехидно спросил он, видя, что вновь прибывший собирается мыть пол.

— При чем тут царские тюрьмы! Вы тут живете. — И после паузы, точно вспомнив что-то, прибавил: — Вы, интеллигенты, сами за собой прибрать не умеете, вам прислуга нужна!

— Не модно! — буркнул студент. — Кстати, как вас звать? Не Бачин ли?

— Нет, не Бачин, а Бабушкин.

Студент, сощурив глаза, поднялся:

— Бабушкин? Сестра мне рассказывала про одного питерца Бабушкина. Не вы ли это?

— А кто ваша сестра?

Студент, пробормотав что-то невнятное, вернулся к столу и углубился в чтение, не обращая больше внимания на своего сожителя.

Бабушкин был доволен, что дело так обернулось: а черт его знает, кто он, этот бородатый студент!

Несколько дней они присматривались друг к другу, по очереди убирали камеру, говорили о всякой всячине, но разговора о себе не возобновляли.

На пятый день Бабушкин, вернувшись с прогулки, подсел к студенту. За эти дни он успел связаться с городским комитетом и кое-что узнать о своем соседе.

— Вас зовут Исаем, а вашу сестру — Густа?

— Да.

— Хотите бежать?

Этот вопрос своей неожиданностью озадачил Исая.

— Побег немыслим в наших условиях, — ответил он.

— Мыслим или немыслим — это зависит от городской организации. Вы мне прямо ответьте: хотите бежать?

— Хочу.

Бабушкин подошел к двери, прислушался, вернулся на свое место:

— Просите у начальства разрешения на получение передачи.

— И это все? — весело спросил студент.

— Пока — да. Об остальном позаботятся другие.

Исай тут же написал прошение на имя начальника полицейского участка, а через два дня ему вернули прошение с резолюцией: «Дозволяется получение питательных предметов, как-то: колбасы, хлеба, а также подушки, штанов и исподнего белья».

Через несколько дней после проверки надзиратель принес в камеру большой сверток: съестное и белье. Бабушкин разреза́л продукты на мелкие кусочки. Исай дежурил возле двери и оттуда внимательно следил за результатом «вскрытия». В колбасе была спрятана стальная пилка. Об этом Бабушкин договорился с товарищами из городского комитета.

В этот вечер они с удовольствием поужинали и легли на чистые простыни. Сквозь решетку проникала вечерняя прохлада.

— Иван Васильевич, — неожиданно спросил Исай, — не тот ли вы Бабушкин... из питерского «Союза борьбы»?

Иван Васильевич молчал несколько времени, потом как-то сбоку взглянул на студента и неторопливо ответил:

— Да. Я тот самый Бабушкин. Из питерского «Союза борьбы».

Исай подсел к Бабушкину, взял его руки и с волнением промолвил:

— Иван Васильевич, это не пустое любопытство! Меня, революционера, интересует, каким образом вы за такое короткое время стали руководителем и организатором рабочего движения. Или я, пропагандист, не знаю рабочих, или такие, как вы, редчайшее исключение в рабочей среде?

Бабушкин рассмеялся.

— Боюсь, Исай, что мы друг друга не поймем.

— Почему?

— Потому что вы действительно не знаете рабочих. Для вас все они на одно лицо: бедненькие, несчастенькие, косноязычные. А поговорили бы вы с таким рабочим, как «патриарх», с таким рабочим, как Шелгунов, с

таким рабочим, как Петр Морозов! Поговорили бы с любым рабочим из ленинского «Союза борьбы»!

— А вы расскажите о них! — попросил студент. — И в первую очередь расскажите о «Союзе борьбы».

Бабушкин соскочил с нар, прошелся по камере, несколько раз останавливаясь у окна.

— Сыграем партию, — предложил он неожиданно.

Они расставили вылепленные из хлеба шахматные фигуры. Не стесненные временем, узники долго и обстоятельно обдумывали каждый свой ход.

Прошло около часа, Бабушкин придвинул своего ферзя к королю противника, но, вместо того чтобы объявить «шах», вдруг поднялся и зашагал по камере.

И так, шагая, Бабушкин приступил к рассказу.

Воспоминания взволновали Ивана Васильевича — это видно было по его лицу. Исай понял душевное состояние Бабушкина: после кипучей деятельности оказаться в мертвой тюрьме...

Послышались шаги в коридоре — тяжелые, гулкие. Звякнул ключ в замке, раскрылась дверь, и вошел надзиратель с городовыми. Молча произвели они обыск в камере и ушли.

Бабушкин и Исай посмотрели друг на друга.

— А вы бы сняли сапог? — нарушил наконец Исай тягостное молчание. — Тот, в котором пилки спрятаны?

— Если бы приказали — снял.

— А пилки?

— Не беспокойтесь, Исай, — улыбнулся Иван Васильевич, — наши пилки в надежном месте.

...Пятнадцатого июля им передали еще одну пилку — в хлебе.

— Начнем, — предложил вечером Иван Васильевич.

Они работали по ночам: Бабушкин пилил оконную решетку, Исай дежурил у глазка́. При малейшем шуме в коридоре Исай кашлял, и они оба бросались на нары.

У Бабушкина кровоточили пальцы на обеих руках. Масло поглощало звук; тоненькая пилка с трудом вгрызалась в железные прутья решетки. Кроме сноровки, нужна была еще и сила. Пилки, присланные с воли, не выдержали и двух ночей — лопнули. Выручила третья пилка, та, которую Бабушкин принес в тюрьму с собой.

...Двадцать третье июля. Решетка подпилена. Все

готово, а с воли не подают сигнала! Дни и ночи тянулись бесконечно долго, и ничем их нельзя было заполнить. И Бабушкин и Исай были хорошими рассказчиками, но в эти дни беседа не клеилась. Узники ходили на цыпочках, прислушиваясь к шороху в коридоре, а товарищи из городского комитета все не подавали сигнала.

Двадцать восьмого июля, после утреннего чая, в камеру вошел новый начальник участка. Он был похож на хлопотливую мышь. Глаза бусинками, тонкие нити усов на острой мордочке, а шашка вылезает сзади, как хвост. Он по-мышиному, суетливо, шнырял по камере.

— Кто Бабушкин? — спросил он неожиданно.

— Я.

— Откуда родом?

— Из Вологодской губернии.

— Не наш, — пропищал начальник. — Я тоже Бабушкин. Только из Чугуева.

— Или сегодня, или никогда! — решительно заявил Исай, когда они остались вдвоем. — Этого гада я знаю. Он был помощником пристава во втором участке. Его фамилия Пивчик, а вовсе не Бабушкин.

После обеда в камеру принесли передачу. Еле дождавшись ухода надзирателя, они набросились на хлеб и колбасу, изрезали, искромсали, но записки не нашли.

— Бежим сегодня! — строго проговорил Исай. Он волновался. — Пивчик не зря приходил.

— Бросьте, Исай, — успокаивал его Бабушкин, присев к нему на нары. — Комитет дальше нашего видит. Раз сигнала не подали — значит, бежать нельзя.

Студент лег лицом к стене.

— Нервы надо беречь, товарищ Исай. Еще не одного Пивчика встретите в жизни.

— Вы Пивчика не знаете!

Бабушкин рассердился:

— Хватит! Товарищи с воли прикажут нам остаться, и мы с вами останемся.

Студент прекратил разговор: прикинулся спящим.

Внимание Бабушкина привлекла сальная бумага, в которую была завернута колбаса. Он взял со стола эту бумагу, подошел к окну и тщательно оглядел.

Через несколько минут он подсел к Исаю, толкнул его в бок:

— Посмотрите: записка.

Исай вскочил, взял бумагу. Бледным, серым карандашом на ней была сделана надпись, состоявшая из четырех цифр в два ряда:

29
12

— Нам? Иван Васильевич, нам! — крикнул Исай.

И тут же, испугавшись своего крика, подошел к глазку.

В коридоре тихо. Исай заговорил шепотом:

— Двадцать девятого в двенадцать часов. — И еще тише, почти беззвучно прибавил: — Завтра в полночь.

— Поверил? — спокойно спросил Иван Васильевич.

Исай опять лег на нары и повернулся лицом к стене.

— Не успеем. Пивчик не даст нам бежать.

Бабушкин тронул студента за плечо:

— Скажите, Исай, что, собственно, произошло? Записку вы читали. Кто пишет, вы знаете. Наши товарищи на воле поступают правильно. Если Пивчик проник в нашу тайну, товарищи уклонятся от боя. Проявит Пивчик неповоротливость — товарищи этим воспользуются.

Студент приподнялся, пристально взглянул на Ивана Васильевича:

— Нервы у вас железные.

Они не слышали, как щелкнул замок, как раскрылась дверь — опять вошел Пивчик. Он обежал камеру, заглянул во все углы, залез даже под нары.

— Трубку потерял, — сказал он наконец. — Не у вас ли оставил?

После ухода Пивчика они легли спать. Но уснуть не могли: ждали большого обыска.

Последняя ночь и весь день 29 июля прошли спокойно: ни большого обыска, ни налета Пивчика. Но Исай волновался. Он был уроженцем Екатеринослава, и то, что знал о Пивчике, наводило его на самые безрадостные размышления. Пивчик был одно время профессиональным палачом в Харькове, потом перешел в полицию. Его визиты в камеру не предвещали ничего хорошего.

Ивану Васильевичу стоило большого труда отвлечь своего сотоварища от мрачных мыслей. Весь день он рассказывал о жизни питерских рабочих. Исай слушал без-

участно, не пытаясь даже скрыть свое безразличие, лишь иногда вскидывал грустные глаза на Бабушкина и тихо, с укором повторял:

— Вы Пивчика не знаете.

Наконец спустились на город летние — синие и тихие — сумерки. На Кайдаках заполыхали домны Брянского завода. В небе заблестели яркие звезды. Военный оркестр в «Саду трезвости» грянул марш.

Студент, уставясь на дверь, сидел с раскрытым ртом и тяжело дышал. Часы тянулись.

— Давайте, Исай, напоследок! — весело сказал Бабушкин и расставил на доске шахматные фигуры.

Исай играл рассеянно, фигуры валились у него из рук.

— Шах! — объявил Бабушкин, переставляя коня.

Исай поднял с доски пешку, но тут же ее бросил: на виноочистительном заводе прогудел воющий гудок.

Полночь.

Бабушкин отогнул подпиленную решетку.

— Вылезай первый, — предложил Иван Васильевич. — Беги прямо к мусорному ящику.

Исай выскочил во двор. Заглохли его быстрые шаги. Тишина.

Выпрыгнул и Бабушкин. Ночная прохлада освежила его лицо. В «Саду трезвости» пела певица, и голос ее звучал приглушенно.

У забора их ждали два товарища. Исаю дали гимназическую тужурку, на плечи Бабушкина накинули чиновничью шинель...

В домике на Нагорной, у рабочего Бушуева, Иван Васильевич прожил три дня. Приходили товарищи с завода Эзау. Рассказывали — в городе переполох. Жандармский ротмистр Кременецкий принял чрезвычайные меры. Пивчик обещал губернатору привести бежавших на аркане. Ожидают опытных шпиков из Киева и Одессы.

За эти три дня Бабушкин написал несколько корреспонденций в «Искру».

Поздно вечером явился «партийный парикмахер». По специальности он был токарем. Русые волосы Бабушкина он превратил в черные — цвета свежей колесной мази.

— Жидкость, — заверял он Бабушкина, — у меня такая, что чернота с волос не слезет лет десять.

Бритому Бабушкину он приклеил черную бородку и тоже хвастал:

— Вот это клей! Скорее кожа слезет, чем ваша бородка!

Бабушкин, облачившись в новенький студенческий костюм, вышел на улицу. Подъехала пролетка. В ней сидел студент, настоящий.

Они отправились на дачу. Лил дождь. Бабушкин почувствовал, что его борода съезжает. Он сорвал ее и выбросил.

На даче уже ждали с ужином. Мать студента пригласила Бабушкина к столу:

— Митя мне говорил, что вы на юридическом учитесь.

Иван Васильевич подтвердил.

— Вот и прекрасно! — обрадовалась она. — На соседней даче живет мировой судья. Милейший человек, но ему скучно. Говорит: не с кем мыслями поделиться. Завтра утром непременно вас познакомлю. Степан Нилыч обрадуется ученому собрату.

— С удовольствием познакомлюсь, — ответил Бабушкин. Он провел рукой по вспотевшей шее и, случайно взглянув на свою ладонь, убедился, что краска, которая должна была «лет десять держаться», потекла в первый же вечер.

Ужин кончился. Разошлись по комнатам. Бабушкин выждал, пока в доме улеглась суета, выскочил в окно и направился в Павлоград. Очутился он там на рассвете, когда сады еще были в тумане. Местечко спало. По базарной площади прохаживался ночной сторож; лето — а он был одет в тулуп и валенки.

Тихими улицами вышел Иван Васильевич к вокзалу. Громыхая на стрелках, катил порожняк. У Ивана Васильевича был в кармане билет до Киева, но, не раздумывая, он вскочил на площадку последнего вагона. «Так будет вернее», — решил Иван Васильевич.

Подошел тормозной кондуктор. Иван Васильевич не курил, но на всякий случай запасся пачкой папирос.

— Закурим, — предложил он гостеприимно.

Кондуктор взял папиросу, повертел ее в руке:

— Что ж, можно и закурить... — Выпустив первые клубы дыма, добавил :— Особенно если угощают.

К вечеру прибыл порожняк на узловую станцию Ло-

зовая. На путях стояли десятки товарных составов, и все они были гружены углем.

— В любой садись, — посоветовал тормозной, — все они на Киев идут.

Иван Васильевич перебрался на угольщик, медленно проплывавший мимо порожняка.

...В Киеве, на Подоле, партия имела конспиративную квартиру. Попасть в квартиру можно было только через парикмахерскую «Жак». Улица была людная: сказывалась близость к базару. Непрерывным потоком текла толпа: тут и кухарки, направляющиеся на базар, тут и носильщики, следующие с тяжелой ношей за нарядными дамами, тут и крестьяне с визжащими в мешках поросятами.

Наблюдая издали за парикмахерской, Иван Васильевич увидел: наискосок против парикмахерской, на ступеньках деревянного дома, сидит молодой человек, одетый с той нарочитой небрежностью, по которой опытный подпольщик сейчас же узнает шпика. Желтые ботинки, полотняные брюки, красная рубаха. Он сидит, прислонившись головой к стене, будто дремлет, но стоит кому-нибудь войти или выйти из парикмахерской, как он тотчас настораживается.

В сторону парикмахерской шел студент — в тужурке и фуражке с синим околышем. Шпик мгновенно поднялся и кошачьим шагом последовал за студентом.

Тут понял Иван Васильевич, что киевские жандармы ищут именно студента, ибо шпик, убедившись, что студент прошел мимо парикмахерской, сейчас же вернулся на свое место и опять прикинулся спящим.

Боковыми улицами направился Иван Васильевич на базар. В одной из лавчонок он снял с себя студенческую форму, выменял ее на поношенный, но приличный штатский костюм и неторопливой походкой зашагал в сторону парикмахерской «Жак».

Шпик сидел на своем месте.

Перед окном парикмахерской Иван Васильевич остановился, достал из кармана горсть мелочи, долго считал ее на ладони и, махнув рукой, как человек, решившийся на непосильную трату, вошел в парикмахерскую.

— Как по-вашему, — спросил он, кладя шапку на вешалку, — будет сегодня дождь?

Это был пароль.

Парикмахер ответил:

— У нас, к сожалению, нет барометра.

Это был отзыв.

— Есть кто-нибудь на квартире?

— Какое там! — с сокрушением откликнулся парикмахер. — Пришлось свернуть квартиру. Садитесь, товарищ, я вас побрею — удобнее будет разговаривать.

— Вы знаете, что за вами следят? — спросил Иван Васильевич, усаживаясь в кресло.

— Вы про того, в красной рубахе?

— Да.

— Так это же Васька! — пренебрежительно промолвил парикмахер. — От него только хромой не уйдет. А вот в четыре часа Ваську сменит Корней — тот опасный, у него наметанный глаз на нашего брата. Многих он в лицо знает. На прошлой неделе был такой случай...

— Давно они у вас дежурят? — оборвал Иван Васильевич словоохотливого парикмахера.

— Три дня всего. Утром является Васька. Он круглый дурак. Из-за него мы не закрывали бы квартиры. А вот с Корнеем шутки плохи... Нюх у него собачий. А кроме того, — прибавил он почему-то шепотом, — Корней этот — провокатор. Многих революционеров в лицо знает... На прошлой неделе был такой случай...

— Вы снова про прошлую неделю! — опять оборвал его Иван Васильевич. — Вы лучше скажите, почему они тут дежурят?

— Про Богдана слыхали? — спросил парикмахер. — Про товарища Богдана, что в Екатеринославе работал?

— Слыхал про Богдана, — ответил Иван Васильевич.

— Так вот, Богдан этот бежал из екатеринославской тюрьмы. Вот жандармы его и поджидают... Что у вас, волосы как будто линяют? Может, голову помоем?

— Некогда, товарищ, в другой раз. — Бабушкин поднялся, бережно сложил салфетку. — И голову помоем и про волосы расскажу. А теперь давайте явку!

Парикмахер опять перешел на шепот, хотя в парикмахерской никого, кроме них, не было.

Васька даже головы не поднял, когда мимо него прошел свежевыбритый и надушенный Иван Васильевич Бабушкин.

Только через три дня вечером Иван Васильевич выехал в Шепетовку. Прибыл он туда ночью. Хлестал

дождь. Станционный жандарм порекомендовал ему «хорошую» гостиницу. Иван Васильевич отблагодарил жандарма несколькими папиросами, выругал кромешную тьму и направился в местечко, но не в гостиницу, а на явку, где его уже поджидал человек, которому было поручено переправить Бабушкина через границу.

В полночь они вышли из домика. Дождь все еще накрапывал.

Граница с Австрией проходила недалеко от местечка. Иван Васильевич следовал за проводником. Край неба начал светлеть. Вдруг послышалось сбоку конское ржание.

— Едет кто-то, — шепнул Иван Васильевич.

Проводник остановился, прислушался.

— Беда, — сказал он. — Офицер едет... Бегите! — закончил он требовательно.

Бабушкин побежал.

Ноги скользили по мокрой траве. С деревьев срывались капли дождя. Остро пахло свежим сеном.

8

Волосы, выкрашенные в черный цвет, постепенно превращались в зеленые с лиловыми полосами. Самым простым выходом было зайти в парикмахерскую и сбрить волосы, но, не имея паспорта, Бабушкин этого не делал: боялся попасться в лапы немецкой полиции.

Наконец-то добрался Иван Васильевич до Штутгарта, до города, о котором он мечтал в тюрьме, в поезде. Штутгарт для Бабушкина — дверь к Ленину. В каждом номере «Искры» на последней странице печаталось уведомление, что товарищам, попавшим за границу, сноситься с «Искрой» только через Дитца в Штутгарте.

Разыскать Дитца было несложно: его книжный магазин помещался на главной улице. Дитц был невысокого роста, на сухом лице топорщились седые усы. Он говорил по-русски, правда, плохо, но его можно было понять.

— Ви спрашивайт, где жительство имеет шеф-редактор газеты «Искра»? Он имеет жительство в Лондоне. Холфорд-сквер, станция Кинг-Кросс Род. Его фамилия есть мистер Рихтер. Ви запиши адрес...

Рядом с магазином Дитца помещался плохонький ресторан. Иван Васильевич зашел туда, и не столько затем,

чтобы пообедать, сколько для того, чтобы собраться с мыслями.

Две дороги ведут в Лондон: одна — на Кельн и Гамбург, вторая — через Париж и Дувр. Первая — более близкая, вторая — менее опасная. Какую дорогу выбрать?

Но он не успел решить задачу: к его столику подсел грузный красномордый верзила.

— Русский? — спросил он, заговорщицки подмигивая.

— Русский, — подтвердил Бабушкин.

Красномордый заказал две кружки пива.

— Хотите работу на плантациях? Могу предложить выгодные условия, — произнес он, разглядывая на свет пиво. Потом, осушив бокал, дерзко спросил: — Почему не пьешь, дружище?

Бабушкин понял, что без скандала ему не отделаться от этого наглеца, а идти на скандал Иван Васильевич не хотел: паспорта-то у него не было — арестуют и вышлют к Пивчику!

— Где эти плантации? — спросил он спокойно.

— В Аргентине.

— Это меня, пожалуй, устроит, — сказал Бабушкин после раздумья. — Какие условия?

Незнакомец достал из кармана печатный контракт, потребовал у официанта письменный прибор; все это он придвинул к Бабушкину:

— Подпиши. На три года всего. Кучу денег заработаешь

Иван Васильевич долго читал контракт, требовал разъяснений чуть ли не к каждому пункту — и подписал.

Прощаясь с Бабушкиным, вербовщик еще раз напомнил:

— Не вздумай бежать. В Германии тебя и под землей разыщут.

Штутгарт не понравился Ивану Васильевичу. Все чопорно, отчужденно и мертвенно красиво. Островерхие дома, крохотные площади, бюргеры с сухими лицами. Даже река Неккар показалась ему неживой — так гладко, без единой морщинки, текла она вдоль игрушечной набережной.

Со стороны могло казаться, что Бабушкин, закончив благополучно все свои дела, бесцельно шатается по городу, убивая время перед отходом ко сну. У него был вид

немного простоватого, но очень любознательного туриста, который интересуется всем, вплоть до расписания дачных поездов.

Но на самом деле было не так. Бабушкин мучительно думал, как выбраться из этого игрушечного города. Он знал, что агент вербовочной компании следит за каждым его шагом, что в нужную минуту вмешается немецкая полиция. А может ли он, Бабушкин, солдат революции, уклониться от своего прямого пути?

Рождались и тут же отмирали десятки планов бегства: одни были чересчур примитивны, другие — излишне сложны.

Иван Васильевич сидел на террасе небольшого кабачка, читал газету, то и дело поглядывая в сторону реки. На приколе стояло несколько барж, груженных скотом. Все они стояли носом к западу и были готовы к отплытию... Вот понесли документы... Чиновник с берега семафорит флажками... Свисток... Вздымая волну, спешит к баржам белый катер... Вот он уже выбрасывает трос...

Иван Васильевич вышел из кабачка, не спеша направился к реке, взобрался на последнюю баржу и, прежде чем кто-либо успел его приметить, залез в трюм и зарылся в сено.

9

Иван Васильевич добрался до Лондона.

В начале сентября 1902 года он остановился перед трехэтажным домом на тихой Холфорд-сквер. Несколько раз он брался за молоточек, чтобы постучать в высокую, обитую медными гвоздиками дверь, но каждый раз выпускал молоток из рук, ожидая, чтобы сердце хоть чуточку успокоилось. Наконец он решился: постучал.

Открыла дверь женщина с приветливыми глазами.

— Владимир Ильич... дома? — еле выговорил Бабушкин.

— Нет. Его дома нет. — Но, видя взволнованное и сразу погрустневшее лицо посетителя, женщина добавила: — Поднимитесь наверх. Владимир Ильич скоро вернется.

Просторная комната в два окна. В простенке между окнами — небольшой письменный стол, рядом с ним —

книжная полка. У окна — удобное кресло, овальный стол.

В эту маленькую квартиру стекались со всей России письма и доклады, сюда приезжали из России товарищи по партии, здесь сходились нити революционной работы, отсюда шли указания, советы, помощь, шифры. Все письма о «носовых платках» (паспорта), «теплом мехе» (нелегальная литература) посылались из этой квартиры. Здесь редактировалась «Искра», и отсюда шла она сложными, кружными путями к агентам в Россию: через Стокгольм, через порт Варде, через Марсель, даже через Александрию... Здесь работал Владимир Ильич!

...Однажды вечером Надежда Константиновна попросила Бабушкина рассказать о своем детстве.

Иван Васильевич сидел в кресле. Кресло было низкое, и поэтому Бабушкин, человек среднего роста, казался маленьким. Его гладкие, зачесанные назад волосы искрились при ярком свете лампы.

Против Бабушкина сидел Владимир Ильич. Он подметил, что на висках у Ивана Васильевича много седины.

— Про детство рассказать? — спросил Бабушкин.

Он почему-то посмотрел на свои руки, потом достал платок из кармана и повел свой рассказ:

— Я почти новогодний — родился третьего января семьдесят третьего года. В нашей Вологодской губернии, в лесах, варили соль...

Бабушкин говорил тихим, взволнованным голосом. Он вновь пережил свое трудное детство, опять увидел себя на улицах Петербурга с тяжелым лотком на голове, снова почувствовал обиду за оплеухи, которыми его щедро награждали мастера в Кронштадте...

Владимир Ильич предложил Бабушкину написать свои воспоминания. Ленин убедил Ивана Васильевича, что такая книга, книга революционера, будет лучшим чтением для молодых рабочих. По такой книге будут учиться, как надо жить и действовать сознательному рабочему.

Иван Васильевич приступил к работе над книгой; работал много и упорно: тщательно отбирал людей и события.

В один из октябрьских дней, когда лондонская осень растекается по улицам густыми туманами, Бабушкин понес свои тетради Надежде Константиновне:



У забора их ждали два товарища.

К стр. 569

— Можно мне вам начало прочитать?

— Читайте, — охотно согласилась она.

Бабушкин раскрыл первую тетрадку.

Надежда Константиновна, вслушиваясь в слова Ивана Васильевича, не могла отделаться от мысли: «Неужели это тот самый паренек, который всего семь лет назад сидел на первой парте в воскресной школе и восторженными глазами следил за каждым движением учительницы, боясь пропустить что-то очень важное?» Надежда Константиновна вспомнила зимние сумерки. Она зашла в один из классов. На первой скамье сидел Васильев, рабочий с табачной фабрики. Рядом с Васильевым — пожилой токарь от Торнтона, в очках, перевязанных белыми тесемками. Дальше — Михайлов, юноша с ярко-красным шарфом на шее, токарь с Александровского завода. Над всеми возвышался длинный как жердь Точилов, ткач. Лицо худое, бритое.

«Всю жизнь искал я бога, — сказал он однажды, — а вот теперь узнал, что бога вовсе нет. И так легко стало. Нет хуже, как быть рабом божьим...»

Бабушкин стоял возле доски: улыбаясь чему-то, он писал большими буквами: «У нас на заводе предвидится стачка»...

Как он изменился! Пышные усы придают лицу озабоченный вид. Глаза ушли вглубь, а густые брови нависают по-стариковски. И в его движениях нельзя узнать прежнего Бабушкина: тот был живой, порывистый, а этот, что сидит сейчас перед нею, — степенный, медлительный и какой-то торжественный...

...В последних числах октября Бабушкин пришел к Владимиру Ильичу, положил перед ним на стол тетрадь, исписанную мелким, ровным почерком.

— Передаю в собственность «Искры»! — сказал он взволнованно.

Это были «Воспоминания».

10

Иван Васильевич приехал в Петербург вечером, когда уличные фонари, убегающие двумя цепочками вниз по Невскому проспекту, горели вполнакала и мокрая от недавнего дождя торцовая мостовая была покрыта сизой пленкой. На ступеньках вокзала стояли несколько жан-

дармов — они пропускали мимо себя пассажиров, ощупывая колючими глазами их лица, карманы, ручной багаж.

Бабушкин смело прошел мимо жандармов, придерживая рукой широкополую шляпу. В другой руке он держал добротный чемодан, как подобает «страховому агенту Шубенко».

Ни одному жандарму не пришло в голову, что добротный чемодан имеет двойное дно, что в нем хранится нелегальная литература, заботливо уложенная в Лондоне Надеждой Константиновной Крупской.

Площадь перед вокзалом была запружена пролетками. Иван Васильевич, остановившись ступенькой ниже жандарма, крикнул:

— Ванька! На Загородный, двугривенный!

Несколько извозчиков, нахлестывая лошадей, примчались вскачь. Иван Васильевич сел в пролетку бородача, обликом напоминавшего ему отца.

На Загородном проспекте Бабушкин расплатился с извозчиком, взял чемодан, проходными дворами вышел к трамваю и поехал за Невскую заставу.

Дочурка спала на большой материнской кровати. Жена, видимо, была на ночной работе. Девочка спала одетая, с куклой в руке. Иван Васильевич раздел дочку, уложил ее в кроватку, вытер ей личико влажным полотенцем. Девочка раскрыла глаза, улыбнулась и тут же уснула.

Утром Бабушкин поднялся рано — к гудку Семянниковского завода. В Петербурге будет ему легче работать, чем многим другим пропагандистам: он хорошо знает и нужды и чаяния местных рабочих. Есть, правда, одно неудобство: его, Бабушкина, также знают многие питерцы. В таких условиях нелегко подпольщику. Но разве он, солдат революции, может думать о трудностях, когда решается судьба рабочего движения! Петербург — один из самых ответственных участков борьбы за партию, за массы. И на этот важнейший участок Ленин направил его, Бабушкина!

Иван Васильевич сразу окунулся в гущу рабочей жизни. Как страховой агент, он имел свободный доступ и в рабочие казармы, и в столовые, и в цехи. Ладную фигуру Бабушкина чаще всего можно было видеть на фабриках Паля и Максвелла. Помахивая желтым порт-

фелем, Иван Васильевич шел из цеха в цех, беседовал с рабочими в курилках, на лестничных площадках, в столовой во время обеденного перерыва. И сменные инженеры, сталкиваясь с ним, неизменно спрашивали:

— Что, господин Чичиков, много мертвых душ купили?

Через два месяца рабочие фабрик Паля и Максвелла уже голосовали против «экономистов». Сам главарь «экономистов» Токарев явился на собрание выборных.

— Товарищи! — выкрикивал он. — Не слушайте дурных советчиков! Перед нами стоит задача улучшить экономическое положение рабочего класса. Вот где проходит линия нашей политической борьбы!

Взял слово Бабушкин. Токарев не мог сразу определить, кто его противник: рабочий или интеллигент. Бабушкин был одет в хороший костюм, но под пиджаком носил черную косоворотку, перехваченную широким ременным поясом. В руке он держал мягкую шляпу.

Бабушкин, повернувшись к Токареву, вежливо спросил:

— Объясните мне, господин студент, как вы поступите, если вы во что бы то ни стало должны войти в квартиру, а на пороге лежит собака и вас в квартиру не пускает?

— Пинком ноги отброшу ее, — улыбаясь, ответил Токарев, поверив, что перед ним скороспелый интеллигент из фабричных.

— Слышали, товарищи? — обратился Иван Васильевич к выборным. — Когда дело касается личных дел, господин студент рассуждает, как толковый человек. Когда же дело касается рабочих интересов, он такой туман напускает, что сам черт в темноте хвост прищемит!

— Протестую! — воскликнул Токарев.

— Погодите протестовать, — спокойно отозвался Бабушкин.

Рабочим понравилось, что «свой» — они это почувствовали — отчитывает «студента».

— Протестую против формы. Требую к себе уважения!

— А вы уважаете рабочий класс? — резко бросил Иван Васильевич. — Вы хотите отвлечь рабочих от политической борьбы, вы хотите обмануть рабочих! Вы убеждаете их, что, торгуясь с фабрикантом за гроши, они

ведут политическую борьбу. Вы стремитесь сохранить господство капитала и поэтому отвлекаете рабочих экономическими вопросами... Товарищи рабочие! Царизм — это цепная собака капитализма! Если вы хотите уничтожить капитализм, отбросьте сначала пинком ноги собаку!

Скоро сказались первые крупные победы над «экономистами». Уже к концу года они были выброшены почти из всех петербургских революционных организаций.

Владимир Ильич был доволен работой Бабушкина. Он писал в Петербург:

«Приветствуем энергичное поведение Новицкой[1] и еще раз просим продолжать в том же боевом духе...»

Бабушкин продолжал «в том же боевом духе». Утром он уходил из дому, собирал материал по фабрикам и заводам, а вечером, на рабочих квартирах, обрабатывал собранный материал вместе с рабочими, обучая их по ленинскому методу готовить боевые листки на свои, заводские темы. Почти ежедневно он выступал то в какой-нибудь кружке, то на собрании, а по ночам, вернувшись домой, садился за книгу или за корреспонденцию в «Искру». Немало времени приходилось ему затрачивать на выполнение заданий питерского партийного комитета.

Рабочее движение ширилось. По стране прокатились политические стачки, демонстрации. Пришло в движение и крестьянство. С большой силой проявилась борьба крестьян: в Полтавской, Харьковской и Саратовской губерниях они жгли «дворянские гнезда», захватывали помещичьи земли, оказывали сопротивление полиции и войскам. Развернулось студенческое движение.

Приближение революции чувствовалось повсюду. В результате почти трехлетней работы искровцев было идейно и организационно подготовлено создание революционной марксистской партии. Русские социал-демократы готовились к своему второму съезду.

Напуганный ростом рабочего движения, царизм пытался всячески остановить его. Кроме старых испытанных средств — пуля, нагайка, тюрьма, ссылка, — царь пустил в ход новое средство: обман. «Охранка» создала лжерабочую организацию; создал ее жандармский полковник Зубатов. Он и его подручные внушали рабочим, что цар-

---

[1] Один из партийных псевдонимов И. В. Бабушкина.

ское правительство поддержит экономические требования рабочих, лишь бы они не занимались политикой, лишь бы не бунтовали. «Зачем вам заниматься политикой, зачем вам устраивать революцию, если сам царь печется о рабочих?» — говорили зубатовцы на своих собраниях.

Явился раз Бабушкин на собрание наборщиков. Созвали это собрание зубатовцы. Выступал длинноусый молодчик — переодетый полицейский. Он заливался соловьем:

— От сотворения мира уж так повелось, что человек в поте лица зарабатывает хлеб свой насущный. Один трудится в поле, другой — за станком, третий — в конторе. Каждый трудится на ниве, уготованной ему богом...

Иван Васильевич прервал оратора:

— Скажите, божий человек, почему это бог определил наборщикам стоять по двенадцати часов возле наборных касс и дышать вредной свинцовой пылью, от которой развивается чахотка? Посмотрите, божий человек: даже лица у них не желтые, а какие-то синие от свинцового яда. И почему это бог допускает, чтобы наборщикам за такой губительный труд платили гроши? Вы говорите, что каждый человек должен трудиться на какой-то ниве. Скажите, божий человек, на какой ниве вы трудитесь? Что-то не видно, чтобы вам приходилось в поте лица зарабатывать свой хлеб насущный. У вас вид человека, который собирается жить по крайней мере еще двести лет.

Длинноусый пытался что-то ответить, но наборщики не дали ему говорить и прогнали.

Лишь изредка удавалось Ивану Васильевичу уйти от дел на полдня, на день, и эти свободные часы он посвящал Лиде, своей двухлетней дочурке.

В один из январских дней 1903 года Иван Васильевич проводил собрание на квартире у рабочего торнтоновской мануфактуры. В небольшой комнате собралось больше тридцати человек. Сидели на подоконниках, на кровати и даже на комоде. Обсуждалась книга Ленина «Что делать?».

Бабушкин читал и пояснял каждую ленинскую фразу.

Поздно, около двенадцати часов ночи, он закончил чтение и, случайно взглянув в сторону двери, встретился

с раскосыми глазами ткача Макеева. И Бабушкина опять поразили эти глаза, как тогда, на квартире Климентия Лапина.

«Неужели провокатор?» — подумал Бабушкин и направился к двери, но Макеева уже не было в комнате.

Бабушкин отправился домой. Там ждал его дорогой гость — Шелгунов.

— Василий Андреич! — обрадовался Бабушкин. — Как ты вовремя приехал! Работы — непочатый край. А перемены какие! Не узнаешь питерского рабочего. Он в бой рвется! Из ленинской «Искры» возгорелось такое пламя, что уж никаким жандармам не удастся его потушить... Кстати, Василий Андреич, откуда ты приехал?

Разгладились морщинки на лице Шелгунова, в его глазах появились огненные искорки.

— С Кавказа приехал, вот откуда... — начал гость.

Бабушкин бросил в печку несколько поленьев, раздул огонь.

— Обожди минуточку, Василий Андреич, — сказал он скороговоркой, — надо все из наших тайников уничтожить... Прасковья! Доставай!

Прасковья Никитична сидела на кровати, прижавшись щекой к щечке ребенка. Девочка была больна ангиной, с трудом уснула и часто вздрагивала во сне. Прасковья Никитична поднялась и стала добывать из-под пола, из хорошо замаскированных щелей в стене, из-под дверных филенок газеты, брошюры, бланки и все складывала у ног мужа.

Когда огонь в печи разгорелся, поднялся Иван Васильевич.

— Готовишься? — спросил Василий Андреевич.

— Каждую ночь жду гостей, — шепотом откликнулся Иван Васильевич, подойдя к дочурке. — А сегодня особенно... Гада одного встретил...

Иван Васильевич постоял несколько минут, приложился губами к горячей головке ребенка.

— А теперь, — повернулся он к гостю, — рассказывай, Василий Андреич! Все, что ты знаешь о закавказской организации...

Шелгунов не успел ничего рассказать: в дверь постучали. Бабушкин не отозвался: он опустился на корточки и стал бросать в жерло печи газеты, листовки. Дочурка проснулась от резкого стука. Увидев отца, она, улыбаясь,

потянулась к нему. Он взял ее на руки; маленькое тельце пылало.

Стук усилился. Свободной рукой Бабушкин схватил со стола бутылку с жидкой краской для гектографа и бросил в помойное ведро.

Двери раскрылись от толчка. Ворвались в комнату жандармы. Офицер сначала огляделся, потом подошел вплотную к Бабушкину, заглянул в личико больной девочки и приказал жандармам начать обыск.

Иван Васильевич ходил по комнате, убаюкивая на руках плачущую дочурку. Его поразила необычайная догадливость жандармов: они в первую очередь залили огонь в печи.

Обыск окончен. Обугленные листовки лежат на столе. Офицер пишет протокол:

«По обыску отобрано: одиннадцать экземпляров различных нелегальных брошюр, шесть экземпляров листков «Рабочая мысль», воззвание «Царь в Курске», подушечка с краскою, пузырек с бесцветной жидкостью, вылитой Бабушкиным во время обыска, копировальная, чистая писчая, почтовая бумага с конвертами...»

Покончив с протоколом, жандарм обратился к Прасковье Никитичне:

— Принимай ребенка!

Иван Васильевич приложился губами к горячей ручке дочери, передал ребенка жене; поцеловал Прасковью в лоб и вместе с Шелгуновым и двумя жандармами вышел из комнаты.

В коридоре, возле выходной двери, Иван Васильевич вдруг остановился.

— А где офицер ?— спросил он у жандармов.

— Супруги вашей дожидаются.

— А дочка? — вырвалось у Ивана Васильевича. — Ведь девочка больна!

— Не сумлевайтесь. В тюрьме имеется фершал.

Жандармы приказали Прасковье Никитичне одеть ребенка и их обеих — мать и больную девочку — усадили в легкие санки и отвезли в тюрьму.

Был январский — сизый и снежный — рассвет.

Несколько дней спустя, еще не зная об аресте Бабушкина, Владимир Ильич писал из Лондона в Петербург:

«Очень советовали бы взамен выбывшего члена ОК от Питера выбрать Богдана: он этого вполне заслуживает».

Владимир Ильич считал, что Бабушкин достоин стать членом Окружного комитета многочисленной и влиятельной питерской организации, одним из ее руководителей.

11

Узкая камера. На окне решетка, которая как бы перечеркивает небо.

Боец, организатор, вечно занятый, всегда на людях, и внезапно — пустые, одинокие дни. А там, за решеткой, идет борьба.

Бабушкин прекрасно знает, что творится там, на воле. Второй съезд состоялся! На нем присутствовало сорок три делегата, представляющих двадцать шесть организаций! Накануне съезда и во время его работы прокатилась по России грозная волна стачек. На съезде ощущалось дыхание приближающейся революционной бури. По мысли Ленина главная задача съезда заключалась в создании действительной революционной рабочей партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты «Искрой».

Хотя большинство съезда принадлежало к сторонникам «Искры», но не все причислявшие себя к искровцам были настоящими искровцами-ленинцами. Оттого и пришлось Владимиру Ильичу и его ближайшим соратникам вести яростную борьбу не только с антиискровцами, но и с «мягкими» искровцами — этими будущими меньшевиками. И идеи Ленина победили! Все атаки антиискровцев были отбиты. Съезд утвердил ленинскую программу, состоявшую из двух частей: программы-максимум и программы-минимум. В программе-максимум говорилось о конечной цели партии: построении социалистического общества, о социалистической революции и об установлении диктатуры пролетариата. В программе-минимум говорилось о ближайших задачах партии: о свержении царизма, о буржуазно-демократической революции, об установлении демократической республики, о восьмичасовом рабочем дне, о полном равноправии всех наций и праве их на самоопределение, об уничтожении остатков крепостничества в деревне.

Принятая Вторым съездом программа была тогда единственной в мире программой рабочей партии, в которой сформулировалась идея диктатуры пролетариата.

Бабушкин, находясь в тюрьме, все это знал, но он знал еще и то, что антиискровцы и меньшевики изо всех сил стараются сорвать решения Второго съезда партии. Они пытаются захватить в свои руки «Искру», создают антипартийную фракционную организацию. И в такое время он, Бабушкин, опять выбыл из строя.

Из окна камеры видна игла Петропавловской крепости.

Как часто Бабушкин, проходя берегом Невы, останавливался против Петропавловки! Серая зловещая громада с крестом на золотой игле. Бабушкин слушал перезвон петропавловских курантов, торжественно вызванивающих звуки опостылевшего царского гимна, и думал, что вместе с ним, Бабушкиным, прислушиваются к перезвону и те, что томятся в каменных мешках крепости.

Тени витают вокруг этой зловещей громады — тени Радищева, Рылеева, Чернышевского, Писарева, Мышкина...

Иван Васильевич часто вспоминал ироническое четверостишие:

Что за странная нелепость:
От Петра до наших дней
В Петропавловскую крепость
Возят мертвых лишь царей...

И каждый раз обрывал он нить воспоминаний одной и той же фразой:

«Ничего, скоро повезут царей живых».

Часами, несмотря на окрики часовых, простаивал Иван Васильевич на табуретке.

Вон там, в дыму, скрываются корпуса Семянниковского завода, а влево от него тянется булыжная полоска Александровской улицы. Туда, на эту улицу, где когда-то жил Бабушкин, пришел Владимир Ильич...

Вечерняя проверка. Тюрьма затихла. Где-то вдруг поднялся и наполнил все здание мягкий голос:

Меж крутых бережков
Волга-речка течет...

И так изо дня в день. Полтора года.

Когда Бабушкину объявили в тюремной конторе, что его высылают за Полярный круг, в Верхоянск, он ра-

нулся к двери, словно решил немедленно убежать. Как может он выбыть из строя в такое время! Россия бурлит, оплетена сетью революционных ячеек. Недалек день, когда рабочие вступят в единоборство с самодержавием. И вдруг — Верхоянск!

— Не уберегся, — сказал Иван Васильевич вслух, когда вернулся к себе в камеру.

Подойдя к окну и увидев кусок серого неба, Бабушкин вспомнил Хайгейтское кладбище в Лондоне. Могила Маркса. Густые кроны деревьев. Они сплелись над могилой, образуя шатер. Неяркое солнце. Мраморная плита надгробья... Но Бабушкин не думал тогда о смерти. Он думал о том, что великое дело Маркса в надежных руках — в руках Ленина! Маркс и Ленин... Два человека, которые озарили его жизнь величайшей правдой...

Бабушкин прошелся по камере. На душе стало радостно, точно Ленин и сейчас рядом с ним. Но тут же закралась тревога в сердце. Ведь Владимир Ильич его предостерегал, как отец предостерегает сына, отправляющегося в первую далекую поездку: «Берегите себя, берегите...»

А он не уберегся.

Он почувствовал себя виноватым, как солдат, не выполнивший приказание своего командира. Ленин и в Петербург писал ему: «Смотрите, обязательно исчезайте при первом признаке шпионства за Вами». А ведь его опалили раскосые глаза Макеева, и он не исчез, не выполнил приказа...

От Прасковьи Никитичны пришло наконец письмо: ее выслали в Полтаву, но она будет проситься в Сибирь, к мужу.

«Растить ребенка в Верхоянске, в гиблой тундре? Нет, Прасковья! Нашей Лидочке нужно солнце!» — подумал Бабушкин.

Иван Васильевич не знал, что его дочурки, его Лидочки, нет уже в живых. Ее, больную, везли по январскому морозу — она умерла в тюрьме. Там же ее похоронили, и следа от детской могилы не осталось.

Пошли бесчисленные этапы, ночевки в тюрьмах, арестантские вагоны, грубость конвойных, подстрекаемых капитаном Петрушиным.

Доехали до Томска. Когда на вокзале Петрушин за-

махнулся на одного из политических, Бабушкин подбежал к офицеру.

— Не сметь драться! — крикнул он.

Забегали жандармы, караульные солдаты выстроились с ружьями наперевес. Собралась толпа. Ссыльные отказались садиться в вагон.

Слух о бунте политических проник в город. Прискакал вице-губернатор.

— Мы не арестанты, — сказал Бабушкин вице-губернатору, — мы пленные.

— Какие еще пленные? — недоумевал чиновник.

— Пленники царя. И мы требуем, чтобы немедленно сменили нашего караульного начальника. Если вы его не смените, то ответственность за последствия падет лично на вас.

Время было неспокойное; губернатор сменил караульного начальника, и партия ссыльных последовала дальше.

Проехали замерзшую Лену, поднялись на ее высокий правый берег.

Вот он, Верхоянск! Разбросанные, занесенные снегом юрты; черная, точно обгорелая, церковь; заваленная снегом площадь, где в одиноко стоявшем домике помещалось полицейское управление.

Царское правительство отомстило Бабушкину и за революционную работу и за побеги!

Зима в Верхоянске длится свыше восьми месяцев. Уже в августе начинаются холода, в сентябре выпадает снег и замерзают реки, в октябре солнце еще показывается на полтора-два часа, а потом — полярная ночь с вьюгами и метелями.

Лето наступает без переходов. Еще снег не везде стаял, а уже тянется утомительный, расшатывающий нервы «вечный день». Но и этот «вечный день» длится всего две-три недели.

Затем ужасная пора комаров. От них нельзя укрыться ни дома, ни на улице, ни в тайге. В избах приходится поддерживать неугасимый костер. От дыма першит в горле, слезятся глаза, ломит голову. На ночь люди ложатся под пологи, сделанные из марли.

Через месяц исчезают комары, и вместо них появляется мошкара. Она забирается в нос, уши и немилосердно жалит сквозь рубаху. Приходится носить густую

проволочную сетку или мазать лицо дегтем. В течение этого времени над городом держатся гнилые, болотные испарения.

Зимой на улицах вечная тишина. Ранним утром еще встретятся сани, в которые запряжен бык, а на нем верхом — возница, беспрестанно понукающий быка криком: «Хот-хот!» Кругом темнота. По временам небо расцвечивается то бледным золотом, то запорошенной снегом радугой.

Иван Васильевич не только не падал духом, но еще и поддерживал товарищей своей бодростью. Он получал книги и газеты, которые читали и обсуждали всей колонией. Зимой, когда мир погружался в морозную ночь, ссыльные под руководством Ивана Васильевича изучали Маркса, Энгельса, Ленина, читали Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Они верили, что недалек тот день, когда рухнет самодержавие и они, пленники царя, вернутся к свободной жизни.

В феврале 1904 года произошла в Якутске так называемая «романовская история». Пятьдесят политических ссыльных, во главе с Виктором Курнатовским и Антоном Костюшко-Валюжаничем, собрались в доме якута Романова. Они решили выразить свой протест против варварского произвола властей. Добыли оружие, укрепили дом на случай осады и направили губернатору протест:

«...нас били и бьют по тюрьмам и в дороге, нам создают обстановку, в которой жить нельзя...»

Три дня прошли в напряженном ожидании — губернатор не откликнулся на протест.

На четвертый день явились полицейские и казаки. Они окружили дом, составили ружья в козлы, добыли дрова, развели костры, и вся команда вместе с офицером устроилась на биваке.

Прошло шесть дней. «Романовцы» послали новое заявление:

«Мы видим в блокаде... заранее обдуманный план медленного и бескровного убийства... Предпочитая, во всяком случае, голодной смерти смерть в бою, мы заявляем, что не станем далее спокойно относиться к блокаде и требуем ее снятия».

Над домом взвился красный флаг.

1 марта из осажденного дома вышли для разведки и заготовки припасов трое ссыльных. Одного захватили тут

же, а двое других ушли от солдат и вернулись к товарищам с запасами провизии. Они закупили десять пудов хлеба и всяких других продуктов и нагрузили все это на две подводы. Во весь опор, с гиком и свистом, промчались они по улице и, прорвавшись через казачью цепь, въехали во двор Романова.

На следующий день офицер ввел во двор дома двадцать три солдата.

4 марта «романовцы» послали губернатору новое заявление — ответа не последовало.

Солдаты стали закладывать камнями и досками окна нижнего этажа.

— Не смейте закладывать окна! Стрелять будем!

Но солдаты, издеваясь над ссыльными, продолжали свое гнусное дело.

И полицейская провокация достигла цели. Нервы осажденных не выдержали напряжения: политические дали два выстрела.

Солдаты пошли на штурм дома.

Восемнадцать дней длилась «война». Комнаты были забиты ранеными. И царские солдаты одержали «победу» над горсточкой голодных и почти безоружных революционеров.

...Иван Васильевич собирает верхоянскую колонию, со страстностью ленинца клеймит он палачей и зовет своих товарищей к протесту, к письменному заявлению о своей солидарности с «романовцами»:

«Ввиду постоянно повторяющихся фактов насилия над нашими товарищами в тюрьмах, дороге и в местах ссылки мы, революционеры, сосланные в город Верхоянск, не имея фактической возможности присоединиться к нашим якутским товарищам в их открытой борьбе против диких фактов насилия администрации, особенно участившихся в последнее время, заявляем о своей полной солидарности с товарищами, смело выступившими за наши общие требования, и о своей готовности всегда дать должный отпор на всякое насилие над нами».

Под этим протестом, который они направили якутскому прокурору, подписались вместе с Бабушкиным двадцать политических ссыльных Верхоянска.

Протесты заставили царских судей смягчить участь «романовцев»: суд первой инстанции присудил сорок семь человек к каторге, на двенадцать лет каждого.

Иркутская судебная палата после протестов заменила всем двенадцать лет каторги двумя годами заключения в крепости.

...Революция в России назревала в течение многих лет. Сочетание помещичье-капиталистического и национального гнета с полицейским режимом самодержавия делало положение народных масс невыносимым и придавало классовым противоречиям особенно острый характер. Жизненные интересы трудового народа настоятельно требовали уничтожения господства помещиков, капиталистов и самого царского режима, который всем своим огромным аппаратом подавления стоял на страже эксплуататорских классов. А это могла сделать только революция!

Наступил 1905 год. Еще никогда до этого русский рабочий класс не проявлял такой сплоченности. Стачки и восстания пронеслись от Белого до Черного моря, от Балтийского моря до Тихого океана.

Своей революционной активностью рабочий класс показывал пример крестьянству. Все чаще крестьяне разных районов России поднимались на борьбу: они запахивали помещичьи земли, рубили казенные леса, оказывали сопротивление воинским командам.

И в Сибири назревало вооруженное восстание. К рабочим присоединилось ограбленное, вдвойне угнетенное якутское и бурятское крестьянство. В воинских частях вспыхивали бунты: солдаты хотели рассчитаться с царем за маньчжурскую бойню. Среди солдат вели работу большевики: Киров — в Томске, Куйбышев — в Омске, Урицкий — в Красноярске, Курнатовский — в Чите.

Якутские жандармы, хотя и ощущали приближение своего смертного часа, все же не хотели примириться с мыслью, что в далеком Верхоянске живут ссыльные — и первый среди них Бабушкин, — которых вечная ночь, морозы и болотные испарения не сломили, не поставили на колени.

А начальник якутского жандармского управления был к тому же и лично заинтересован в том, чтобы сжить со света неукротимого Бабушкина. Начальником был Кременецкий, тот самый жандармский офицер, которого Бабушкин дважды одурачил в Екатеринославе.

Верхоянцев арестовали и повезли в Якутск на суд — за посланный ими якутскому прокурору протест.

В Алдане ссыльные узнали о всеобщей забастовке, о манифесте 17 октября. Узнали, что в России революция.

Ссыльных собралось человек шестьдесят. Среди них было несколько юнцов, которые хотели сорвать на караульном офицере свою злобу.

— Не в кулаках сила, товарищи, — успокаивал Иван Васильевич молодежь.

— Накипело против этих иродов!

— А у меня, думаете, не накипело? Но действовать надо по-революционному. — И, водворив порядок, Бабушкин закончил: — Товарищи! От имени революции объявляю вас всех свободными! Едем в Якутск! Потребуем у губернатора, чтобы он оформил наше освобождение!

Ссыльные ответили троекратным «ура».

В Якутске произошло все так, как предполагал Бабушкин. Губернатор сначала угрожал, топал ногами, но времена уже были не те: поколеблены устои трехсотлетней романовской державы! Осознав свое бессилие, губернатор приказал оформить освобождение политических ссыльных.

12

В последних числах декабря этого же пятого года иркутский театр был набит до отказа. Солдаты, рабочие, мастеровые заполнили все места. К люстре поднимался сизый дым от махорки. Через весь зал протянут лозунг: «Да здравствует социализм!».

Высокий рыхлый человек с острой черной бородкой стоит у края рампы и говорит медленно, размеренно, подчеркивая ударные места в своей речи добродушным смешком:

— Вооруженное восстание, товарищи, — это самоубийство! Самоубийство, товарищи! У царского правительства еще достаточно верных войск, чтобы смести нас со своего пути...

В зале шум. За председательским столом переговариваются. Высокий рыхлый человек оживляется:

— И чего мы достигнем своим преждевременным вооруженным выступлением? А вот чего! — Он откидывает назад голову, точно ищет чего-то на потолке, потом отходит к другому концу рампы, и притихший зал слышит его добродушный смешок: — А вот чего, товарищи! Свободы, которые мы завоевали с такими большими

жертвами, будут отняты, и рабочий класс окажется у разбитого корыта! Да-да, товарищи, у разбитого корыта!

В зале раздались свистки.

Из-за стола президиума поднялся Иван Васильевич Бабушкин. Он подошел к рампе, остановился, заложил руки за широкий пояс и выжидающе взглянул на оратора.

— Что вам угодно?

— А вы разве еще не кончили? — серьезно спросил Иван Васильевич.

— Могу закончить! — обиженно произнес рыхлый человек и, обратившись к сидящим в зале, добавил: — Подумайте, товарищи: решается ваша судьба! — И медленно ушел за кулисы.

— Правильно, товарищи, — звонким голосом подхватил Бабушкин, — вы решаете свою судьбу!

В эту минуту показался в зале вышедший из-за кулис оратор. Бабушкин указал на него:

— Взгляните на этого гражданина. Напугал нас и спокойненько уходит.

В зале — аплодисменты, хохот.

— Позвольте... — обидевшись, сказал высокий рыхлый человек.

— Не позволю! — оборвал его Иван Васильевич, наклонившись вперед, но тут же, махнув рукой, обратился к залу: — Товарищи! Царское правительство еще никогда так открыто не сознавалось в своей слабости, как семнадцатого октября. Царь испугался мощи пролетарского движения и, насмерть перепуганный, выпустил манифест. Манифест семнадцатого октября. Мы вырвали у него этот манифест! Мы вырвали у него конституцию! И все же обманул царь народ! — Голос Бабушкина вдруг изменился, стал насмешливым: — Куда девался господин, который нам разбитое корыто пророчил?

— Сбежал! — подсказали из зала.

— Сбежал, — спокойно подтвердил Иван Васильевич. — Ваш смех ему, видно, не понравился. Товарищи, чем он нас хотел запугать? Свободы будут отняты, сказал он. А где они, эти свободы? Обещали свободу слова, а цензура осталась! Обещали неприкосновенность личности, а тюрьмы переполнены политическими! Получилась не конституция, а ловушка! — Иван Васильевич подошел к самому краю рампы, поднял сжатый кулак и, угрожая

кому-то, закончил: — Ни злодейские приказы «патронов не жалеть», ни лживый манифест семнадцатого октября не могут изменить тактики пролетариата! Одной мирной стачкой мы мало чего добьемся. Мы должны выйти на улицу с оружием в руках и в бою добыть восьмичасовой рабочий день, землю крестьянам и демократическую республику с ее настоящими свободами. За вооруженное восстание, товарищи!

Люди в зале вскочили со своих мест, что-то выкрикивали, аплодировали. В одной из лож затянули: «Вы жертвою пали...» Снизу кричали: «Не время концерты устраивать!»

— Товарищи!.. — воскликнул Бабушкин.

Люди в зале притихли.

— Еще Маркс писал, — продолжал Иван Васильевич спокойным голосом: — раз ступили на путь революции, действуйте с величайшей решимостью и как нападающая сторона!

На сцену взобрался солдат — большой, ловкий, папаха набекрень, борода подстрижена. Но, очутившись на сцене перед взволнованной аудиторией, он растерялся.

— Скажите свое солдатское слово, — подошел к нему Бабушкин. — Такие, как вы, составят ядро революционной армии!

Солдат положил папаху на пол, потом взял винтовку в обе руки и, протягивая ее залу, волнуясь, сказал:

— Вот чего нам нужно! — Подумав немного, добавил: — И мы победим!

Зрители рванулись со своих мест, двинулись к рампе:

— Оружие!

— Давай оружие!

— Оружие дайте нам!..

...Иван Васильевич стал одним из самых активных членов иркутской большевистской организации. Он бывал на рабочих собраниях, выступал на массовых митингах, руководил боевой подготовкой к восстанию и, несмотря на занятость, часто писал статьи для газеты.

В это время в Чите создалась сложная обстановка. В ноябре был организован Совет рабочих, солдатских и казачьих депутатов, и этот Совет стал хозяином города. Военный губернатор был вынужден мириться с захватом рабочими типографий, с изданием большевистской газеты «Читинский рабочий», даже вынужден был освободить из

акатуйской каторжной тюрьмы черноморских матросов. Читинскому комитету большевистской партии удалось добыть оружие, он вооружил им дружины в самой Чите — под командой храброго и преданного большевика Антона Костюшко-Валюжанича — и на станциях Борзя, Оловянная, Слюдянка.

Но военный губернатор втайне готовился к борьбе с революционерами. Под всяческими предлогами задерживал он в городе казачьи части, возвращающиеся из Маньчжурии, намереваясь использовать их против рабочих.

Иркутский большевистский комитет, учитывая нависшую над Читой опасность, направил туда Ивана Васильевича Бабушкина. В первый же день приезда в Читу он приступил к агитационно-пропагандистской работе среди железнодорожников и принялся за организацию эшелонов для отправки по домам демобилизованных из Маньчжурии солдат. Измученные военными невзгодами, неустойчивые и легко возбудимые, они могли стать добычей реакционного офицерства.

Первого января 1906 года жандармы арестовали Иркутский комитет РСДРП. Бабушкин, узнав об этом, решил немедленно вернуться в Иркутск.

Движения на запад в те дни не было: железные дороги бастовали, но для Бабушкина, везшего с собой оружие для иркутских рабочих, железнодорожники снарядили состав. Вместе с Бабушкиным, для охраны транспорта, ехало пятеро товарищей.

Двенадцатого января 1906 года царь Николай II писал своей матери:

«Николаше[1] пришла отличная мысль, которую он предложил: из России послан Меллер-Закомельский с войсками и жандармами в Сибирь до Иркутска, а из Харбина — Ренненкампф ему навстречу. Обоим поручено хватать всех бунтовщиков и наказать их, не стесняясь строгостью. Я думаю, что через две недели они съедутся, и тогда в Сибири сразу все успокоится».

Бабушкин спешил в Иркутск с транспортом оружия. Проехал Мозгон, Хилок, Верхнеудинск. Снегом были по-

[1] Имеется в виду дядя царя — великий князь Николай Николаевич.

крыты насыпи и пути Круго-Байкальской железной дороги. На станциях — мертвая тишина всеобщей забастовки.

18 января. Байкал скован льдом. Ветер бьет в окошко теплушки, застрявшей на перегоне между Верхнеудинском и Мысовой.

— Пойду на полустанок... За новостями, — сказал Иван Васильевич своим товарищам.

Он поднял воротник полушубка, надвинул папаху глубоко на глаза и по занесенным снегом шпалам отправился на полустанок.

Густой лес, сползая с гор, охранял безмолвие железнодорожного полотна. В тишине леса и в стальном холоде убегающих вдаль рельсов чувствовалась суровая настороженность.

Иван Васильевич добрел до одинокого домика. На вопрос Бабушкина: «Какие новости?» — начальник полустанка хмуро ответил:

— Телеграф не работает... И хорошо, что не работает! — закончил он зло. — Только и сообщали о расстрелах да о порках: лютуют генералы. Ренненкампф — со стороны Читы, Меллер — со стороны Слюдянки.

Бабушкин пошел обратно к своему составу. В мертвой полосе — между полустанком и составом — свистел ветер, унося в сторону Байкала снежную пыль. Высокие деревья, сплетаясь белыми руками, выстроились караулом по обеим сторонам полотна; в их студеной торжественности было что-то бодрое...

Вечерело. Бабушкин решил двигаться дальше. Осторожно, точно не доверяя рельсам, вел машинист состав. Вдали, в снежном кружеве, мигнули огни Слюдянки. Перед самой станцией закрылся семафор. Состав остановился.

Бабушкин вышел из своего вагона. Горят пристанционные фонари; солдаты в коротких полушубках бегают взад-вперед; слышны крики, плач, мелькают белые фигуры; то тут, то там раздаются винтовочные выстрелы.

Иван Васильевич понял: на Слюдянку налетели каратели! Он хотел вернуться в теплушку, к своим товарищам, но не успел: на него набросились солдаты, появившиеся неожиданно из-за железнодорожной будки.

— Товарищи! — крикнул Бабушкин, вырываясь из цепких солдатских лап. — Уходите в тайгу!

Но товарищи не услышали его; в вагоне уже хозяйничали каратели.

Бабушкина и его спутников связали одной веревкой и, грубо подталкивая, погнали на станцию Мысовую.

...На Мысовой, в салон-вагоне, помещался штаб карателей.

Генерал Меллер-Закомельский, большеголовый человек с тонкими и длинными, как крысиные хвосты, усами, тянул вино из высокого фужера и рачьими глазами следил за движениями пьяного подполковника Заботкина. Тот пытался налить водки в фаянсовую кружку; бутылка стучала по краю кружки, и водка, булькая, проливалась на скатерть.

В вагон вошел гусарский ротмистр князь Гагарин. Он бросил стек на столик, резким движением снял с головы барашковую шапку, обнажив высокий лоб и ровную ниточку пробора посреди каштановых волос.

— Забастовщиков выловил на Слюдянке, — сказал он глухо. — Оружие везли...

— Пулю в затылок! — ответил генерал, продолжая смотреть на Заботкина.

Из соседнего купе послышался сиплый, простуженный голос:

— И я задержал двух забастовщиков. Говорят, инженеры.

— И их расстрелять! — брезгливо бросил генерал.

Подполковник Заботкин подошел к вешалке, снял с нее медвежью доху, накинул ее на плечи.

— Куда? — уставился на него Меллер.

— Расстрелять забастовщиков.

— Моих не забудьте! — опять послышался простуженный голос из соседнего купе.

— Ну и черт с тобой! Расстреливай! — проговорил Меллер четким, строевым голосом, к которому он всегда прибегал, желая скрыть свой немецкий акцент.

К Заботкину присоединился князь Гагарин. Они выбрали место возле последнего станционного фонаря. С одной стороны подступали ледяные просторы Байкала, с другой — стена черного леса.

Привели арестованных. Их построили в одну шеренгу.

Первым в ряду стоял Иван Васильевич Бабушкин. Полушубок на нем был расстегнут. По левую руку Бабушкина — пять его товарищей-попутчиков. Даль-

ше, в сторону Байкала, — два железнодорожника, инженеры.

— Смирно! — скомандовал князь. — Ружья к бою!

Солдаты, стоявшие за спиной Бабушкина и его товарищей, взяли ружья на изготовку.

— Отставить! — пьяно рявкнул Заботкин. — Не по форме, князь. Полагается фамилии спросить.

Заботкин подошел к Бабушкину:

— Фамилия?

— Мерзавцы! — выкрикнул Иван Васильевич. — Без суда убиваете! Рабочей кровью хотите залить Россию! Не спасетесь, палачи! Гляди! — Бабушкин рванулся вперед и вытянул руку. (Заботкин и Гагарин повернули головы к серой полоске на горизонте, куда указывала вытянутая рука.) — Можете остановить восходящее солнце?

— Стрелять! — не по-военному, а каким-то разбойничьим посвистом скомандовал Гагарин.

Вместо залпа раздалось несколько одиночных выстрелов. Упали три человека. Князь Гагарин повторил команду несколько раз подряд, и, когда все восемь уже лежали на окрашенном кровью снегу, он сам, князь Гагарин, двигаясь вдоль распластанных тел, посылал каждому лежащему револьверную пулю в голову.





ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС

Министр внутренних дел Дурново собрал у себя в служебном кабинете высших сановников в необычный час и в необычный день: в семь часов утра 1 января нового, 1905 года.

По старому стилю, принятому тогда в России, это был обыкновенный рабочий день — 19 декабря, но высшие сановники Петербурга, обязанные присутствовать на раутах и новогодних балах в иностранных посольствах, праздновали этот день, не считаясь со своим, русским, календарем.

За столом разместились министры, утомленные, не успевшие еще отдохнуть после новогоднего бала в английском посольстве. Возле камина устроился московский обер-полицмейстер генерал Трепов — человек с восковым лицом и глубоко запавшими глазами, лысым бугристым черепом и черной, как смоль, бородой. Рядом с Треповым, скрывшись в мягком кресле, как за ширмой, сидел древний старик — граф Сольский, член Государственного совета.

В стороне, прижавшись спинами к сукну портьеры, стояли два жандармских генерала; небесная голубизна их мундиров не вязалась с мрачной торжественностью министерской залы.

— Господа, — начал Дурново тихим голосом, точно ему трудно было подавить волнение, — пал Порт-Артур. В стране назревает пугачевщина. Неспокойно в Петербурге, Москве, в Польше, на Кавказе. Стрелка на барометре уклоняется в сторону бури...

Странное впечатление произвела речь Дурново. Он говорил отрывистыми фразами, без обычной пышности, точно делился своими мыслями или зачитывал конспект своей будущей речи.

После Дурново говорил дряхлый граф Сольский. Он говорил сидя. Ему казалось, что он кричит, но его шамкающей речи никто не расслышал. Вслед за Сольским выступил шеф жандармов. Он заронил беспокойство во все сердца: министры убедились в том, что во всех губерниях, под боком у губернаторов и исправников, разрослись густой сетью революционные организации.

Князь Хилков, министр путей сообщения, сидевший рядом с Дурново, рисовал в своем блокноте. Сосны постепенно сливались, образуя густой лес, к лесу подошли рельсы, выросли пристанционные здания. Когда шеф жандармов произнес свою последнюю фразу: «Их больше, чем нам кажется, и объединение этих пока разрозненных сил доставит нам много хлопот», князь Хилков рукой опытного рисовальщика набросал силуэты мчавшихся к станции казаков с пиками наперевес и на водокачке установил три пулемета.

Очередь дошла до генерала Трепова. Все насторожились. Министры знали, что именно он, человек с восковым лицом, сообщит им царскую волю. Но Трепов речи не произнес, он сказал тихо, будто между прочим:

— Пугачевщина — не то слово. Мы должны готовиться к худшему. Пахнет революцией.

...А в рабочем Петербурге бурлило. Росла дороговизна; реальная заработная плата снизилась почти на одну четверть. Из деревень, от родни, шли грустные вести: военные мобилизации лишали крестьянские семьи работников, поля не засевались, впереди — голод. Бюллетени с фронтов русско-японской войны волновали, а сообщение о падении Порт-Артура потрясло всех.

Народ искал объяснений. И он нашел объяснение в революционной прокламации:

«Рабочие не желали войны. Народ русский не спросили, желает ли он воевать. Война начата ради выгод кучки капиталистов и придворных генералов...

Но довольно терпеть, товарищи! Довольно лжи, обмана и притеснений! Долой войну! Мы хотим сами распоряжаться своей судьбой!..

Да, пусть Порт-Артур будет могилой русскому самодержавию!»

Война явилась последней каплей, которая переполнила чашу народного терпения.

3 января забастовали рабочие Путиловского завода, и, точно огонь по бикфордову шнуру, пламя забастовки переносилось с завода на завод, с фабрики на фабрику и, охватив все промышленные предприятия столицы, перекинулось в фабрично-заводские центры империи.

«Товарищи! Рабочие Петербурга встали, поднялись для борьбы за право свое. Мы перестали работать, и жизнь должна остановиться, без нашего труда никто жить не может. За наш тяжкий, каторжный труд мы получаем крохи. Мы голодаем, терпим нужду, наши дети мрут, как мухи. Всякий издевается над рабочим человеком, как презренным рабом, света знания нам не дают, мы погибаем. Дальше так жить мы не можем», — писали большевики в своей прокламации.

Царь ответил на забастовку: он назначил Трепова петербургским генерал-губернатором, наделив его чрезвычайными полномочиями «для охраны государственного порядка», а для того чтобы обмануть рабочих, чтобы усыпить их, приспешники царя еще загодя, в 1904 году, создали среди рабочих Петербурга организацию наподобие зубатовской. Организация называлась «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», и возглавлял это «Собрание» поп Гапон.

Когда начались стачки, провокатор Гапон предложил членам этой организации двинуться в ближайшее воскресенье, то есть 9 января, к Зимнему дворцу с хоругвями, с царскими портретами, чтобы коленопреклоненно подать петицию царю. Гапон уверял рабочих, что царь-батюшка выслушает своих «детей» и внемлет их просьбе.

Когда на заводах заговорили о крестном ходе к царскому дворцу, многие рабочие поверили, что у царя они

найдут правду и защиту. Большевики выступали против предложения Гапона — они предупреждали малосознательных и обманутых попом-провокатором рабочих, что царь и разговаривать с ними не станет, что его войска будут стрелять в народ и иконы тут не помогут, а свободу, говорили большевики, не вымаливают на коленях — ее завоевывают с оружием в руках.

Выступления большевиков встречали дружный отпор. В наивной вере, в убеждении, что министры прячут от царя правду, сосредоточились все надежды отсталых рабочих на лучшую долю.

Прошение царю написали, и в субботу 8 января это прошение читалось в отделах гапоновского общества. Площади перед отделами были запружены народом.

— «Повели исполнить и ты сделаешь Россию счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в наших сердцах и наших потомков на вечные времена. А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу — мы умрем здесь на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...»

Небывалый энтузиазм охватил слушателей. Одни кричали: «Два пути!», другие — «Умрем!», третьи — еще что-то. Несознательные рабочие верили, что царь, узнав правду, сразу прогонит своих министров и после этого начнется у трудового люда новая, счастливая жизнь.

После долгих споров большевики настояли, чтобы в петицию был включен ряд требований: изменение государственного строя, прекращение войны, восьмичасовой рабочий день, передача земли крестьянам...

В воскресенье, в ясный и тихий морозный день 9 января, двинулись к Зимнему дворцу свыше ста сорока тысяч петербургских рабочих. Они несли церковные хоругви, иконы в тяжелых окладах, портреты царя. Народ шел с обнаженными головами. Из уст валил белый пар, тело стыло под плохонькой одеждой, но народ шел торжественной и неторопливой поступью, сотнями потоков вливаясь в общее русло, чтобы слиться в единое народное море перед царским дворцом.

Более сознательные рабочие агитировали:

— Товарищи, вы сами себя обманываете, под пули идете...

Но из рядов отвечали:

— Нет больше возможности терпеть!

Многие верили, а большинство хотело верить, что царь действительно им поможет, не даст в обиду.

И вдруг около Обводного канала — драгунская застава.

— Мы к царю! Мы к отцу-заступнику!

Драгунский офицер отказался пропустить народ.

Толпа свернула на Неву. Идти по льду было тяжело. Ноги скользили. Люди падали и поднимались. Когда вышли на середину реки, где дуло как в трубе, многие уже измучились, но никто не повернул обратно.

Первую попытку выбраться на берег народ сделал на Калашниковской набережной. Казаки, вооруженные пиками и нагайками, врезались в толпу, кололи пиками, секли нагайками, топтали лошадьми. Но разве удержишь народ? Одна часть прорвалась в город, другая — кинулась в обход, мимо Смольного.

Толпа увеличивалась, густела. На тротуарах — обыватели. Они смотрели на рабочих удивленно и с опаской.

Впереди уже краснел Зимний дворец. На его крыше развевался желтый императорский стяг. Площадь пустовала. У Александровской колонны несли караул солдаты-ветераны в высоких черных шапках. Около самого дворца стояли гвардейцы.

Первые ряды рабочих почти уперлись в цепь преображенцев.

Солдаты стояли угрюмые. Офицеры смотрели мрачно и надменно.

И внезапно, без предупреждения, грянул залп. За ним — второй, третий...

Народ шарахнулся, но задние ряды, как стальная пружина, выталкивали обратно отступающих. Люди падали, кричали, ругались, стонали, плакали, проклинали... В эти минуты даже у самых отсталых рабочих испарилась вера в царя!

— Убийца! — неслись выкрики в сторону Зимнего дворца.

На искрящемся снегу осталось больше тысячи убитых и около пяти тысяч раненых. На окровавленном снегу, словно выкинутая после уборки ветошь, валялись хоругви, простреленные иконы, порванные царские портреты.

Народ узнал царскую «ласку» и «милость». Он шел искать правды у царя — и получил от него пули.

— У нас нет больше царя! — кричали тысячи людей, потрясенные звериной расправой.

На фабричных заборах, на стенах домов запестрели надписи:

«Долой убийцу-царя!»

«Долой подлое самодержавие!»

«Да здравствует рабочее движение!»

На улицах появились баррикады.

Так в рабочем Петербурге начался 1905 год.

После 9 января события бурно нарастали. В стране началась революция.

1

Утром 20 февраля 1905 года в Москву, на следующий день после того, как кончилась забастовка на Казанской железной дороге, в управление дороги приехал ее владелец — фон Мекк. Он прошелся по комнатам управления, за руку поздоровался с инженерами, величая их по имени и отчеству, осмотрел новый сигнализационный аппарат и, бросая на ходу добродушные шутки, скрылся в кабинете управляющего.

Управляющий, несколько огорошенный неурочным визитом хозяина, взял со стола сводку и стал докладывать, как рассасываются двести вагонов с грузами, которые скопились на станции за тринадцать дней забастовки.

Фон Мекк, казалось, внимательно слушал. Вдруг он грубо оборвал управляющего:

— Через сорок пять минут приедет министр!

— К нам?

— В первую очередь к нам. Вы удивлены? Кто у нас начал забастовку? Телеграфисты! Надо было им ткнуть в морду по целковому и покончить с забастовкой. А вы что сделали?

— Помилуйте! — откликнулся управляющий.

Управляющий ненавидел рабочих, он был по-собачьи предан хозяину, и именно он умолял фон Мекка надбавить телеграфистам по десяти рублей и закончить забастовку в первый же день!

— За «помилуйте» жалованья не платят! — издевательски проговорил Мекк. — Дайте сюда Смирницкого!

Управляющий не позвонил, а сам выбежал из кабинета и через несколько минут вернулся с жандармским подполковником Смирницким.

Жандарм изогнулся в поклоне:

— С окончанием забастовки поздравляю!

— А с вас сто семнадцать тысяч, — подхватил фон Мекк, иронически оглядывая тучного Смирницкого. — Вы допустили забастовку, из-за вас я потерял сто семнадцать тысяч рублей!

Смирницкий склонился, точно хотел сказать: «Повинную голову меч не сечет», но это возмутило фон Мекка. Он подошел к подполковнику и бросил ему в лицо:

— Мой управляющий увлекается новыми паровозами, инженер Парфенов — сигнализацией, а вы чем?

— Поветрие, господин фон Мекк, — безнадежно выжал из себя жандарм. — Арестовываю, высылаю...

— Знаю... знаю... — неожиданно спокойно, точно вспомнив что-то, промолвил фон Мекк. Он повернулся к управляющему: — Оформите себе и подполковнику по три тысячи прибавки. Нелегкий будет год.

Красный, вспотевший управляющий что-то промычал в ответ.

— Не будет больше забастовок! — задыхаясь, крикнул Смирницкий.

Они поехали на вокзал. В царском павильоне уже ждал жандармский наряд. Буфетчики сервировали завтрак.

Подходит поезд. Фон Мекк, управляющий дорогой и подполковник Смирницкий спешат на дебаркадер. Со ступенек вагона спускается министр путей сообщения князь Хилков. Он спрашивает сухо, деловито:

— Как у вас? Больше сюрпризов не будет?

— Никогда, ваше сиятельство! — по-солдатски рапортует подполковник.

Князь удовлетворенно пожимает руку жандарму.

— Покажите хозяйство, — поворачивается министр к фон Мекку.

Отправились в депо. На рельсах, блестя медными накладками, стояли новые паровозы. Из-под первого паровоза вылез машинист, небольшого роста, приземистый, широкоплечий.

— Как он на подъемах? Кряхтит? — обратился к нему министр.

— Тянет, — флегматично отозвался машинист и после раздумья добавил: — Если без перегруза.

Министр поднялся на паровоз, осмотрел управление, заглянул в топку, потрогал рычаги.

Спускаясь с лесенки, он опять обратился к машинисту:

— Далеко нам до Америки! Там паровоз тридцать вагонов тянет.

В глубине карих глаз машиниста мелькнула лукавая усмешка.

Присмотревшись к машинисту, князь Хилков немного опешил: человек, стоявший рядом с ним, был похож на адвоката или земского деятеля. Чистое лицо, спокойные глаза, тщательно подстриженная борода.

— Как вас звать, дружок?

— Ухтомский.

— Вы машинист?

— Машинист.

— Вот и я был машинистом.

В глазах Ухтомского снова мелькнула неуловимая лукавая усмешка.

— Думаете, министр — белоручка? А я в Америке три года работал на паровозе.

Подошли машинисты с остальных паровозов. Ухтомский, услышав, что перед ним сам министр, хотел было снять шапку, но тут же, раздумав, принялся вытирать руки паклей, с любопытством глядя в сухое лицо князя.

— Большая у вас семья, господин Ухтомский?

— Как водится у рабочего человека, — просто сказал Ухтомский, — жена, дети.

— И заработка не хватает! — не спросил, а с досадой подтвердил министр, точно его уже давно огорчает малый заработок машиниста.

Ухтомский переглянулся со своими товарищами, и опять министру показалось, что неуловимая улыбка на мгновение озарила лицо собеседника.

— А что делать, господин министр?

— Надо нам облегчение дать, — вмешался Кувалдин, один из подошедших машинистов.

Это был грузный, неповоротливый человек с красным, обветренным лицом, со злыми маленькими глазками, с сивыми усами, щеткой нависшими над большим, точно каменным подбородком.

Министр повернулся к Смирницкому:

— Отойдите, пожалуйста, в сторону. Я побеседую со своими коллегами.

Когда жандарм отошел к ближайшему паровозу, князь Хилков снова обратился к машинистам:

— Знаю, прекрасно знаю, господа, ваши нужды. Вам зачитали мою телеграмму от восьмого февраля?

— Слышали, — сдержанно промолвил Ухтомский.

— Рабочий день я сократил до девяти часов, разрешил учредить институт выборных, в расценках работ принимают участие ваши же опытные товарищи.

— Что и говорить, — подтвердил Ухтомский, чувствуя на себе приветливый взгляд министра, — облегчения вы дали, только при военном положении они до нашего брата не доходят.

Министр посмотрел на фон Мекка — его глаза блеснули под стеклами очков.

— Монаршее благоволение под сукно прячете? — проговорил он раздраженно. — Для них я хлопотал, для моих друзей, а вы на какое-то военное положение ссылаетесь!

— Не успели еще, ваше сиятельство, — поспешил оправдаться управляющий дорогой.

— Нехорошо, господа! — уже спокойнее, но все же с укоризной в голосе продолжал Хилков. — Железнодорожники заслужили, чтобы о них заботились. — И, обратившись к Ухтомскому, еще мягче закончил: — Не торопите нас, дайте с японцами разделаться. Большие облегчения будут.

Когда министр ушел из депо, Ухтомский кивнул головой стоявшему невдалеке Кувалдину:

— Пошли, Василий Иваныч.

В дежурке было пусто и грязно. Холодом веяло от заснеженных окон, от большой чугунной печки, стоявшей посреди комнаты.

— Почему ты не ответил министру? — угрюмо начал Кувалдин. — Облегчения обещал.

— А ты и поверил? На обещания они щедры. Что ни день, то новая комиссия. А что проку в них, в этих комиссиях? И о страховке говорят и об укорочении рабочего дня. А нас с тобою кто страхует? Или меньше стал наш рабочий день?

— Министр обещал! — прокричал Кувалдин.

— «Обещал»! А знаешь, почему он обещал? Как от Баку пошла по России гулять забастовка, так ее остановить нельзя. Забастовки — вот чего испугался министр!

2

К Ухтомскому пришли гости: машинист Дмитриев, похожий на Чернышевского; ясноглазый машинист Николай Акулинин; Обливанцев из вагонных мастерских — молодой парень с тонкими усиками и тонкими, будто нарисованными, бровями; Кривошеин из Перовского депо; кругленький, уютный Татаринский и Кувалдин — насупленный, неприветливый.

Хозяйка — легкая, быстрая — пригласила гостей к столу. Обед прошел весело.

Только в самом конце обеда Акулинин сказал:

— Хорошо получилось! Ей-ей, хорошо!

— О чем ты, Николай? — приветливо спросил Ухтомский.

— Это я про семнадцатое февраля вспомнил, — охотно откликнулся Акулинин. — Собралось нас во дворе вокзала человек четыреста. Из депо, из сборочного цеха, из вагонных мастерских. Не даем солдатам отправлять поезда. И вот бежит Смирницкий со своей бандой. Прямо на нас. «Плохо дело», — думаю. Гляжу — а позади жандармов еще и солдаты. С ружьями наперевес. «Совсем плохо, — думаю. — Польется рабочая кровь». И пришло мне в голову... «Давай, — говорю я Алексееву, — «Боже, царя» запоем...» и запели. Смирницкий остановился. Пыхтит, глаза горят. Но фуражку все же снял. Жандармы фуражки сняли. Солдаты прибежали — и они фуражки сняли. Алексеев по рядам ходит, народ разгоняет, а мы, человек двадцать, поем. Противно, но поем. Пока все не разошлись...

И этот простой рассказ сразу изменил настроение.

— Вот что... — как-то неопределенно начал Ухтомский. — Может, поговорим о своих делах?

— Давно пора! — с укоризной произнес солидный Дмитриев.

— Мы, железнодорожники, какие-то особые люди, — продолжал Ухтомский. — Рабочие по всей стране забастовали после Девятого января, а мы работали, словно в Петербурге не наша кровь лилась, а царская.

— Была забастовка, — буркнул Кувалдин.

— Когда? — сразу вскипел Ухтомский. — Шестого февраля! И за что бастовали? За копейку! И кто начал забастовку? Мы, рабочие? Нет, Василий Иванович, забастовку начали телеграфисты!

— Десять лет борюсь, — проговорил Кувалдин.

— Как ты борешься? — спросил Кривошеин, не пытаясь даже скрыть презрительную улыбку. — Когда я после Кровавого воскресенья пришел к тебе с наказом от Перовского депо, что ты мне тогда сказал?

Этот вопрос не смутил Кувалдина. Он спокойно ответил:

— И теперь то же скажу. Заводские рабочие под одной крышей работают, через одну калитку ходят. А сосчитай, сколько калиток на нашей дороге.

— Калиток много на нашей дороге, — промолвил Акулинин, — а все же организовать железнодорожников можно...

— Важно, для какой цели организовать! — оборвал Ухтомский — Вот ты, Николай, большевик. Я знаю, к чему ты стремишься. Но Кувалдин чего добивается? Работаем в грязи, из штрафов не вылезаем, а сколько получаем за каторжный труд? Стрелочник — десять целковых! Барьерный — три рубля! А ты, Василий Иванович, что сделал, когда уже народ поднялся на забастовку? До хрипоты уговаривал: «Хватит бастовать, хозяин поддается, мы победили». Какая твоя победа? Разрешили вывесить расценочный табель да рабочих теперь обыскивают не у ворот, а во дворе мастерских. И это называется победой? А где восьмичасовой рабочий день? Где бюро выборных? Где отмена штрафных? Где политические свободы? Почему ты обманывал рабочих? Почему ты сорвал забастовку? Вот о чем наш разговор!

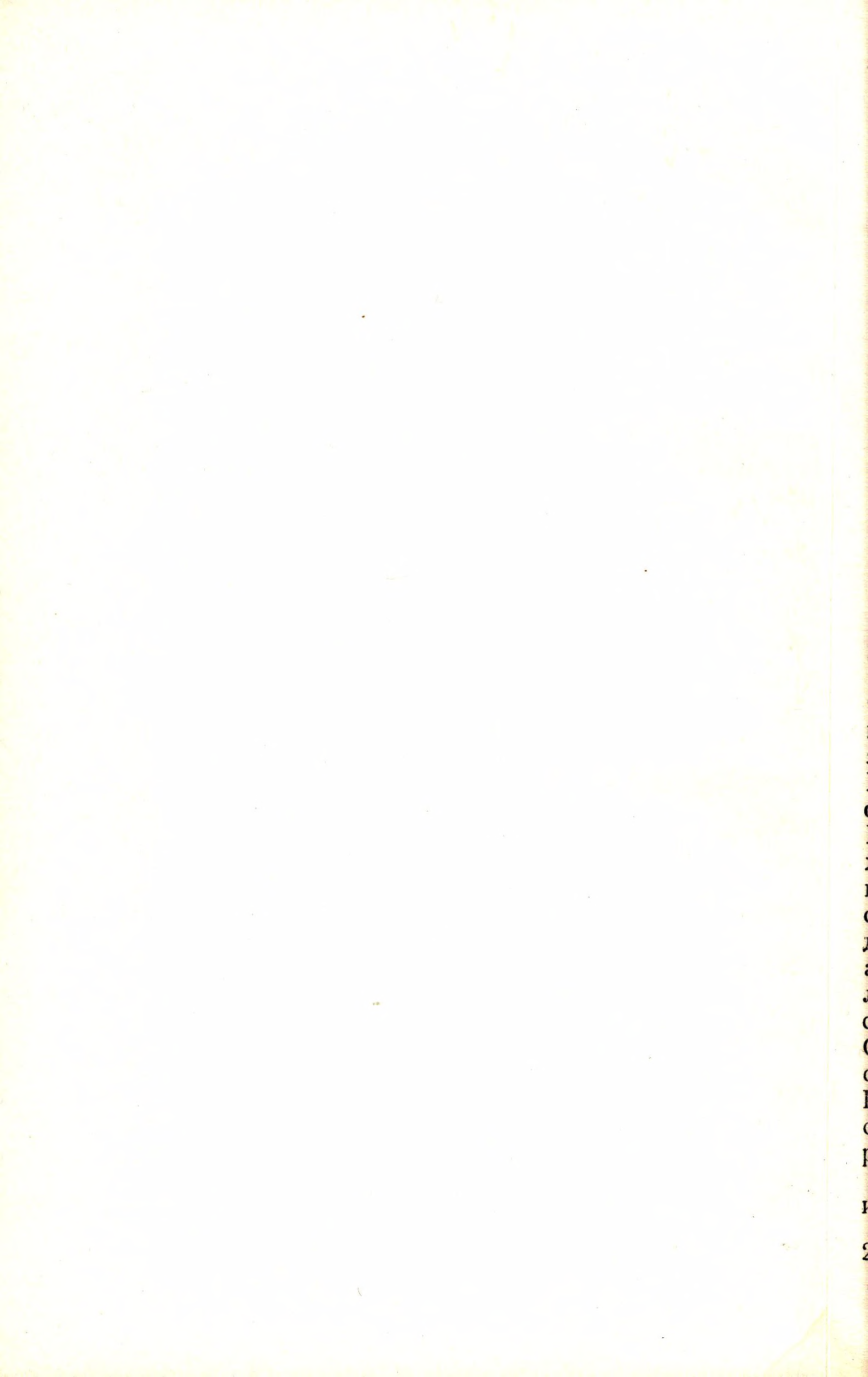
— Еще что скажешь? — строго проговорил Кувалдин. Он сидел насупившись, дергая себя за ус.

— Вот, Николай, — Ухтомский повернулся к Акулинину, — на прошлой неделе ты мне поручил поговорить с Василием Ивановичем. Я поговорил. Устроили мы с ним собрание в депо. На собрание явился товарищ Никодим из городского большевистского комитета. Он объяснил нам, чем отличается тактика большевиков от тактики меньшевиков. Объяснил хорошо, понятно, народ был очень доволен. Про диктатуру пролетариата просили



Раненые охватили кольцом Ухтомского и дружинников.

К стр. 627



рассказать. И вот тут берет слово Василий Иванович. «Большевики, — говорит он, — отпугивают от революции либеральную буржуазию, а без нее ослабнет революция, а от крестьян, мол, никакой пользы рабочему классу не может быть». — Ухтомский дернул Акулинина за рукав и зло проговорил: — И знаешь, Николай, чем Василий Иванович пугнул деповцев?

— Чем?

— Что, мол, большевики хотят буржуазную революцию превратить в крестьянскую. «Под мужика хотят нас поставить», — вот что он сказал! Это твои слова, Василий Иванович?

— Мои, — глухо подтвердил Кувалдин и после паузы добавил: — Но ты-то чего пары поднимаешь? Большевик ты?

— За большевистскую правду я! — с азартом ответил Ухтомский. — Моя она, эта правда, рабочая! А мужик — мой союзник: и у него царь да помещик на холке сидят!

Акулинин достал из кармана книжку, раскрыл ее, хотел уже приступить к чтению, но неожиданно спрятал книжку обратно в карман и, уставясь на Кувалдина, проговорил:

— Давай, Василий Иванович, начистоту. С рабочими ты или с хозяином? Если с рабочими, то гони от себя лохматого студента. За ниточку дергает тебя меньшевичок этот блудливый, и во вред народу. Посмотри, Василий Иванович, что в России творится! Царь выпускает манифест за манифестом. То комиссия Шидловского, то проект Булыгина. И все это уловки. Царю передышка нужна, он хочет время выгадать, чтобы силы собрать да по революции крепко ударить. Как он сладко поет: «Я вознамерился отныне, с божьей помощью, привлекать достойнейших, доверием народа облеченных избранных». Это на словах, а на деле? Чтобы удушить бакинских рабочих, он натравливает татар на армян. Арестовал выборных с Обуховского, Путиловского, Семянниковского и других заводов. Он же сам призвал выборщиков, а когда выборщики от своего рабочего дела не отступились, он их арестовал. Посмотри, Василий Иванович, какое волнение по всей стране! Кипит, как вода в котле. Того гляди, котел взорвется...

— То рабочие, а то мы — железнодорожники, — произнес Кувалдин.

— Василий Иваныч, — мягко сказал Акулинин, — ты давно на Казанке работаешь. Ты присмотрелся к нам, большевикам. И мы тебя неплохо знаем. Было время, когда ты с Мекком дрался, а вот, чтобы с царем подраться, у тебя уже смелости не хватает. И рабочих назад тянешь. Вот, Василий Иваныч, о чем наш с тобой разговор. Скажи, пойдешь ты с нами?

Кувалдин перестал дергать ус. Неуклюжий, огромный, он прошелся по комнате, вернулся на свое место и тихо произнес:

— Страшно, если котел взорвется... — Он повернулся к Ухтомскому и спросил резко: — А если виселица?

Ухтомский откинулся на стуле: не то его озадачил вопрос, не то поразил странный огонек, вспыхнувший в глазах Кувалдина. Однако, быстро овладев собой, он твердо ответил:

— Не мы первые, не мы последние.

Кувалдин оделся и молча ушел.

3

Много калиток на Казанке, но железнодорожники уже не разобщены. Каждый цех, каждая служба, каждая мастерская втянуты в борьбу. Крепнет связь с Окружным комитетом большевиков: часто является на Казанку товарищ Никодим, и после каждого его посещения борьба становится острее.

Большевики решили созвать народ на митинг. Поводов для митинга было много: и гибель эскадры Рожественского, и новая мобилизация, и восстание в Гурии, и забастовки на Урале. Но главная цель — еще раз напомнить рабочим, что буря близка.

Кувалдин, узнав о митинге, подсел в дежурке к Ухтомскому и, вскинув на него недобрые глаза, произнес раздраженно:

— Пустое затеяли! Нечего нам в драку лезть. С царем надо договариваться, а не кулаки показывать. Договариваться надо...

— С кем? С царем?

— А ты что думал, кончился царь?

— Нет, Василий Иваныч, не кончился! А может кончиться, если пролетариат за оружие возьмется. От нас с тобой это зависит!

Домой Ухтомский возвращался поздно ночью. Было душно. По всему Докучаеву переулку люди спали во дворах, сбежав из каморок. Алексей Владимирович думал о завтрашнем митинге:

«Хорошо поработали товарищи на Казанке! Особенно после апрельского съезда железнодорожников. Царский строй — вот наша беда! Железные дороги — это ноги правительства. Когда грянет революция, ноги у царя должны отняться в первую очередь... Но на Казанке много колеблющихся. На словах они в бой рвутся, а когда до дела доходит — остывают. «Как бы хуже не вышло!» — вот их постоянный припев. И все они, эти колеблющиеся, к Василию Ивановичу тянутся. Привыкли к нему, верят ему: «Кто-кто, а уж Василий Иванович сумеет вовремя остановиться: и управляющего не рассердит, и рабочим кое-что перепадет». Вот этих колеблющихся надо оторвать от Кувалдина...»

В эту минуту кто-то окликнул Ухтомского.

На скамье сидел жандармский подполковник Смирницкий.

— Садитесь, Ухтомский! — Полковник снял белую фуражку, вытер лысину носовым платком. — Удивляюсь вам, Ухтомский. Человек вы солидный, на хорошем счету у начальства, и с чего это вы вдруг стали за большевиков распинаться? Добро бы сторож какой-нибудь или барьерный, а то машинист — так сказать, аристократ железнодорожный — и к большевикам льнете... Хотите на пассажирский паровоз перейти? — закончил он неожиданно.

— А переведут?

— Если я попрошу — переведут.

— С чего бы вы вдруг стали хлопотать за меня?

— Жалко мне вас, Ухтомский. От души жалко. Пользуются вами большевики, под каторгу подводят. А может, и того... похуже... А жена и дети? Кстати, Ухтомский, кто этот студент, с которым вы утром в Перове беседовали?

— Какой студент?

— Ну, тот, который вам передал небольшой сверток.

— Что-то не припомню, господин подполковник.

Смирницкий резко поднялся:

— Идемте!

Ухтомскому было трудно сдвинуться с места: его аре-

стовывают на улице, а Саша, жена, проведет ночь без сна; завтра она будет рыскать по городу и не найдет своего Лешу...

Но жандарм повернул к дому Ухтомского.

Там за столом сидели жандармы. Постель развороченa, сундук раскрыт. Из-за ширмы смотрят две пары детских глаз. Прислонившись головой к шкафу, сидит Саша.

— Обыскать!

Жандармы кинулись к Ухтомскому, заставили его раздеться.

Не найдя ничего, жандармы разочарованно доложили подполковнику:

— Припрятал!

Смирницкий бросил недокуренную папиросу:

— Я ухожу, Ухтомский. Даю вам несколько дней на размышление.

Сашу душили слезы. Испуганными глазами следила она за уходящими жандармами и, когда дверь закрылась за ними, упала на развороченную постель и разрыдалась.

Алексей Владимирович долго успокаивал жену...

...Летнее солнце уже давно рассыпало свои лучи по Докучаеву переулку, когда Ухтомский шел на работу.

Ухтомский спешил. В его сердце уже улеглась тревога, вызванная ночным посещением жандармов; она уступила место сомнению: удастся ли пробная мобилизация?

Он сдал порожняк, расписался в ведомости и, поговорив с Кривошеиным, пустился в обратный путь.

В Москве, на вокзале, он подъехал к мозжухинской калитке и там остановил свой паровоз.

Дежуривший возле калитки хромой Иконников понимающе мигнул своему напарнику, сторожу Гречихину:

— Это он нарочно подогнал... паровоз-то свой... Для ораторов, значит.

Раздались свистки, звонки — обеденный перерыв. Группами и поодиночке рабочие двинулись к мозжухинской калитке. Толпа росла, волновалась. Задние напирали, протискивались вперед. Когда народу собралось много, послышался с паровоза взволнованный призыв:

— Товарищи!

Говорил молодой большевик из мастерских. Его звали Гренадер.

В своем гневном увлечении Гренадер не обратил вни-

мания на то, что со стороны вокзала крадется подполковник Смирницкий.

Ухтомский спрыгнул с паровоза и, мигнув нескольким товарищам, направился наперерез жандарму. Они остановились возле будки, мимо которой Смирницкий должен был проходить. В глазах Ухтомского было столько решимости, что Смирницкий, перехватив взгляд своего противника, понял: без крови не обойдется.

И жандарм повернул к мастерским.

4

Смирницкий изменил тактику. Царские манифесты он воспринял как сигнал к маневрированию, а участившиеся за последние недели убийства жандармов и полицейских его просто напугали. Смирницкий — военный человек: приходится иногда окапываться, даже отступать. Управляющий требует арестов — Смирницкий арестовывает, но — рядовых рабочих, а с руководителями заигрывает. При встречах руку пожимает, здоровьем интересуется.

Большевики еще шире развернули работу на дороге. Что ни день — митинг, беседа или доклад. То в депо, то у ремонтников. На собрания приходили уполномоченные от ближайших станций. Все чувствовали: недалек день, когда рабочий гнев, вырвавшись наружу, сметет со своего пути царя и всю его свору.

На митинге в Измайловском выступил товарищ Никодим.

— Что сейчас происходит? — обратился он к стоявшему рядом с ним Акулинину, будто от него одного ждал ответа на свой вопрос. — Что происходит в стране? — повторил он и, не дожидаясь отклика, сам пояснил: — Рабочие перешли к массовым политическим стачкам и демонстрациям, усилилось крестьянское движение, все чаще и чаще происходят столкновения народа с полицией и с войсками. Что это значит, товарищи? Это значит, что назревают условия для вооруженного восстания народа. Вот это испугало нашу буржуазию и всяких там меньшевиков, эсеров. Эти господа боятся революции не меньше, чем сам царь. Они хотят использовать теперешний революционный подъем в своих интересах. Они хотят на волнах народной крови приплыть к власти! Глотками своих лакеев, этих меньшевистских крикунов, пугает бур-

жуазия царя, и в то же время ищет она сделки с царем против народа...

После Никодима выступил меньшевик, приглашенный Кувалдиным. Но Ухтомский оборвал его на полуслове.

— Вы чего тут распелись?! — крикнул он и, повернувшись к собравшимся, с неподражаемым комизмом втянул голову в плечи, сжался и, пришепетывая, повторил последние слова меньшевика: — «Выходите на улицу с великой любовью к угнетенному народу, с великой ненавистью к самодержцу-царю. Завоюем улицу без крови».— Мгновенно преобразившись, Ухтомский повернулся к Кувалдину: — Знай, Василий Иваныч, что без крови рождаются только такие слизняки, как твой меньшевичок. Приближается час решительного и последнего боя! Не безоружной толпой выйдем мы на улицу, не царскими портретами будем защищаться от пуль! Не слушайте вы слизняков, которые крови боятся! Позади нас — цепи, нищета и рабство, впереди — целый мир свободы и счастья! От нас, железнодорожников, многое зависит. Железная дорога — ноги царя. И мы должны отсечь царю эти ноги! Мы должны забастовать, и не так, как в феврале, когда Казанка бастовала только до Рязани, — мы должны обеспечить забастовку по всей дороге!

На траве, за спиной Акулинина, сидел товарищ Никодим. Он сидел, прислонившись к дереву, и время от времени вскидывал усталые глаза на Ухтомского.

Уже несколько месяцев присматривается Никодим к Алексею Владимировичу Ухтомскому. Многое в этом человеке ему неясно. На Казанке его уважают, любят. На всех собраниях он выступает в защиту программы и тактики большевиков. Иногда прорывается в его поступках что-то бунтарское, но он тут же сам это замечает и себя одергивает... Вот сейчас он высказал дельную мысль: обеспечить забастовку на всей дороге. Задача сложная, под силу настоящему большевику...

Никодим склонился к Акулинину, шепнул ему на ухо:

— Предложите послать Ухтомского на линию. Дайте ему кого-нибудь в помощь.

Акулинин понимающе качнул головой.

Предложение Акулинина было одобрено: в Сызрань, Батраки и Рузаевку были направлены Ухтомский и чертежник Воробьев.

Ухтомский поехал. Места и люди были ему знакомы

по прошлой работе в Рузаевке. Но бывшие сослуживцы увидели нового Ухтомского: неукротимого борца за большевистскую правду.

Старый приятель, машинист Званцев, спросил его:

— Ты что, Алеша, большевиком стал?

— Я рабочий, — решительно заявил Ухтомский, — а для рабочего человека есть только одна партия — большевистская партия!

В Сызрани, в Батраках, в Рузаевке Ухтомский совещался с руководителями, собирал митинги, выступал по пять-шесть раз в день.

— К бою надо готовиться! — звал он. — Без боя царь не отдаст власти! Он нас обещаниями засыпает, а под шумок готовит новое Девятое января. Если хотите сбросить с шеи ярмо, беритесь за оружие! Никто не даст нам освобождения — мы должны добыть его сами! Спасение народа — в победоносном восстании самого народа — вот чему учит нас большевистская партия. Восстание самого народа принесет нам победу!

И всюду, где побывал Ухтомский, железнодорожники начали готовить оружие — ковать кинжалы, добывать винтовки, запасаться патронами, формовать оболочки для бомб.

...Было тревожно в стране. Два лагеря — трудовой народ и царское правительство — готовились к решительной схватке. Волна революционного движения поднималась все выше. Стачечная борьба приобрела более упорный, наступательный характер и отличалась большой организованностью. Забастовка в Иваново-Вознесенске длилась семьдесят два дня, для руководства забастовкой был избран Совет рабочих депутатов. Стачечную борьбу вели металлисты Перми и Екатеринбурга, Надеждинска и Нижнего Тагила, оружейники Златоуста, железнодорожники Челябинска и Уфы. В Николаеве, Екатеринославе, Харькове, Луганске, Мариуполе, Горловке и других местах политические забастовки переходили в столкновения с войсками. В Тифлисе, Кутаиси, Батуме вспыхивали упорные забастовки. Стачка в Баку сопровождалась уличными боями. Героически боролись латышские рабочие. Польские текстильщики Лодзи три дня вели баррикадные бои с войсками.

Вслед за рабочими поднялось на борьбу и крестьянство. В Прибалтике, на Украине, в Грузии и в Поволжье

прокатилась волна забастовок сельскохозяйственных рабочих.

Заколебалась армия — оплот царизма. Матросы подняли красное знамя на броненосце «Потемкин».

6 октября Московский комитет РСДРП принял решение о всеобщей политической стачке.

7 октября, как обычно, посвистывали маневровые паровозы, по-хозяйски поторапливая стрелочников. Мастера ворчливо и придирчиво делали замечания рабочим и важно возвращались к своим конторкам. Сцепщики и составители формировали составы. С черными от копоти лицами возились в котельных «глухари». Красная шапка дежурного мелькала на путях. Барьерные перетаскивали горы щебня. Суетились носильщики. В рабочей сутолоке шныряли жандармы.

Ровно в одиннадцать часов паровоз Ухтомского дал три пронзительных свистка: сигнал к забастовке!

Со всех сторон спешили железнодорожники. Только и слышно было:

— На Канаву! Выходи на Канаву!

Угрожающе ревели паровозы: это машинисты привязали гудки, чтобы выпустить пар из котлов.

Со стороны мозжухинской калитки спешил товарищ Никодим.

«Вот они, казанцы, — думал он с гордостью, — первые выпускают пар из котлов! В городе начали забастовку печатники, а на железных дорогах — они, казанцы!»

Никодим устал, предельно устал: нелегко дались партии последние месяцы; но сейчас, видя, как лозунг о массовой политической стачке претворяется в жизнь, ему стало радостно, точно над головой не хмурое осеннее небо, а глубокая майская синева.

5

Замерла Москва. На улицах не слышно грохота трамваев. Не дымятся трубы заводов. Погасло электричество. Перестали выходить газеты. Не стучит телеграф. Закрылись университет, школы, театры. В первые два дня магазины торговали при свечах, потом закрылись и магазины.

Голод пришел в нетопленные каморки железнодорожников. Представители стачечного комитета обходили голодных — кому деньги давали, кому дрова.

Кувалдин приходил по утрам к мозжухинской калитке и напряженным взглядом осматривал каждого входящего. Нюхом старого мастерового он угадывал мысли тех, кто, таясь, иногда с инструментом под тулупом, подходил к калитке. Было среди них немало людей, которых сломил голод, немало таких, что тяготились непривычным бездельем, или таких, которым казалось, что именно им, всегда покорным, мастера отомстят за дерзкую забастовку. Для всех них Кувалдин был олицетворением житейской умеренности. Они знали, что Кувалдин палки не перегнет. И, находя осторожного Василия Ивановича в проходной, эти люди возвращались домой успокоенные.

А Кувалдина сюда тянуло еще и другое: он делал смотр своей армии. Ведь именно эти неустойчивые, эти задерганные жизнью рабочие помогут ему прекратить забастовку в тот момент, когда фон Мекку будет нужно.

...Московская всеобщая стачка быстро перекинулась в другие промышленные центры и превратилась во всероссийскую. Остановились железные дороги, не действовали почта и телеграф. Силы правительства были парализованы. Октябрьская стачка вылилась в могучее политическое выступление пролетариата. Она проходила под лозунгом свержения самодержавия, бойкота Думы, созыва Учредительного собрания и установления демократической республики.

Царь испугался взрыва народного гнева и решил временно отступить: 17 октября он обнародовал манифест. В нем обещались «незыблемые основы гражданской свободы»: неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов.

Появление царского манифеста, как указывал В. И. Ленин, было вызвано тем, что установилось некоторое временное равновесие сил: рабочие и крестьяне, вырвавшие у царя манифест, еще не могли свергнуть царизм, а царь уже не мог управлять прежними средствами.

...18 октября собрались железнодорожники на Каланчевской площади. Первым выступил товарищ Никодим. Его голос с трудом пробивался сквозь гул многотысячной толпы:

— Это не конституция! Это очередной обман!..

В эту минуту Акулинин, склонившись к оратору, шепнул ему что-то на ухо. Никодим вздрогнул, рванулся с места.

— Товарищи! — обратился он к железнодорожникам, сорвав шапку с головы. — Мне только что сообщили, что вот сейчас, всего несколько минут назад, на Немецкой улице, на виду у тысячи людей царские приспешники убили Баумана, пламенного большевика, одного из руководителей московской организации, одного из тех, кто всю свою жизнь посвятил рабочему делу. Товарищи! Это не случайное убийство. На помощь царю поспешило все темное, все преступное, все отсталое в нашей стране. Вот они, царские свободы, в действии! Но царь просчитался, нас он не запугает! — Голос Никодима звучал, как набат — гулко, призывно и тревожно. — Царь убивал честных революционеров до манифеста, он убивает и после манифеста! Теперь он объявил военное положение. Приведем и мы наши ряды в боевую готовность! Рабочие в союзе с крестьянством непобедимы...

...В правление Казанки приехал князь Хилков. Он шагал по кабинету управляющего как затравленный зверь: озираясь, прислушиваясь, вздрагивая.

— Почему не идут?

— Трудно их разыскать, ваше сиятельство. Дома не бывают. Алексеев, Гречанинов, Лебединский и Кривошеин здесь уже. Не хватает Ухтомского. Эх, ваше сиятельство, повесить бы эту пятерку!

Парфенов, помощник управляющего, доложил о приходе Ухтомского.

— Попросите моих друзей! — нарочито громко произнес министр, поглядывая на открытую дверь.

Вошли представители стачечного комитета. Они были празднично одеты, чисто выбриты. Князь, приветливо склонив голову, указал на стулья.

Расселись.

— Вы разочаровали меня, господа, — начал министр. — Зачем было сразу в такую крайность ударяться? Разве я, бывший машинист, не пошел бы на уступки своим коллегам? А вы сразу забастовку объявили! Кому от нее польза? Вашим детям, которые, как я слышал, уже голодают?

Гречанинов не спеша сказал:

— Мы работаем — они голодают, не работаем — тоже голодают. Так уж лучше не будем работать.

— Господин Ухтомский, — воскликнул министр, — ваш товарищ чепуху несет, а вы молчите!

— Он, по-моему, дело говорит.

Это заявление еще больше возмутило министра:

— Нам с вами надо сообща искать выход из положения, а не мириться с тем, что наши дети голодают...

— Ваши дети тут ни при чем, — неласково перебил Кривошеин.

Князь Хилков поднялся, сухой, строгий. Он снял с носа пенсне.

— Господа, — вымолвил он со вздохом, — я пригласил вас, чтобы откровенно, дружески побеседовать, а вы сидите с закрытыми сердцами. Я вам говорил и сейчас повторяю: правительство готовит реформы, которые на веки вечные покончат со всеми нашими разногласиями. Проявите выдержку, господа!

Приподнялся и Ухтомский:

— Господин министр, позвольте мне на откровенность ответить откровенностью: мы не верим в реформы сверху. Будущее рабочих находится в руках самих рабочих.

— Мерзавец! — воскликнул управляющий. Он сорвал с рычага телефонную трубку, вызвал подполковника Смирницкого.

Ухтомский спокойно взял управляющего за плечи и повернул его к окну. На улице стояла тысячная толпа.

— Посмотрите! Вся Казанка! А вы нас Смирницким пугаете! Пошли, — закончил он, обратившись к своим товарищам. — Поблагодарим господина министра за дружескую беседу.

Делегаты ушли.

— Вы очень нервны, господин управляющий, — с горечью промолвил министр.

— Ваше сиятельство...

— Дайте мне паровоз! — жестко оборвал его Хилков. — Мне здесь больше нечего делать! Вы все испортили!

— Мерзавцы не дадут паровоза, они сейчас хозяева!

— Идемте на вокзал, поищем. А их всех сегодня же изолировать!

Ни на Казанке, ни на Ярославке министр не получил паровоза. На Николаевской стоял под парами паровоз стачечного комитета. Князь Хилков вскочил на него, отдал рычаг и один, без кочегара, помчался в Петербург.

Но он зря торопился: накануне ночью его сместили с поста министра путей сообщения за... либерализм.

Делегатов арестовали всех, за исключением Ухтомского — он был неуловим, хотя в этот же день и на следующий выступал и на Казанке и на Ярославке.

Только 21 октября удалось Смирницкому «изолировать», как образно выразился «либеральный» князь Хилков, машиниста Ухтомского, но долго держать его под замком жандарм побоялся: под напором рабочей ярости трещали трехсотлетние устои романовской державы.

Через десять дней Ухтомский был уже на свободе.

24 октября забастовка прекратилась. Задымили фабричные трубы. Загудели по линиям паровозы.

В стране как будто все улеглось, но сквозь гул ожившей суеты прорывался народный гнев.

В мастерских стучали молотки, ухали паровые молоты, но рабочие жили как бы двойной жизнью: при мастерах они работали на хозяина, без мастера — готовились к бою с хозяином. Рабочая Москва, как и рабочий люд во всей стране, готовилась к новой схватке с царем.

Ухтомского не узнать: глаза колючие, движения резкие; по ночам он часто просыпался, озабоченно оглядывал комнату и ежедневно, уходя на работу, прощался с женой и детьми с такой грустной нежностью, точно уходил навсегда...

4 ноября на Казанке был опубликован приказ о запрещении собраний. По линии немедленно пошла телеграмма за подписью Ухтомского: «Приказу не подчиняться».

В середине октября московский градоначальник барон Медем в совершенно секретной записке к барону Рауш фон Траубенбергу, начальнику штаба Московского военного округа, писал: «Милостивый государь, барон Евгений Александрович! События последнего времени, в связи с беспорядками, имевшими место в Кронштадте, Севастополе, Киеве и других местах империи, могут отразиться и на настроении низших чинов Московского гарнизона, среди которых, по имеющимся у меня сведениям, уже в настоящее время замечается некоторого рода брожение...»

Градоначальник сказал только часть правды: он не хотел волновать барона. Солдаты Ростовского полка прогнали своих офицеров и забаррикадировались в казарме. Пристав четвертой Мещанской части доносил по

начальству: «По негласно собранным сведениям, среди казаков идут разговоры и недовольства, зачем их заставляют нести полицейскую службу».

Брожение и волнение перекинулись и в другие полки гарнизона. Гренадеры Перновского полка писали своему командиру: «Если найдется такой офицер, который поведет нас расстреливать наших же братьев, земляков и товарищей, то пусть знает, что первая пуля будет пущена ему в голову».

...В дни бурного подъема революционной волны повсюду возникали Советы рабочих депутатов — для централизованного руководства стачками. Но те Советы, в которых большевики имели решающее влияние, постепенно превращались в боевые штабы для мобилизации революционных сил, для подготовки и проведения вооруженного восстания; они, эти Советы, стали зачатками органов новой власти, органами диктатуры народа.

И поэтому явились в Московский Совет представители Екатеринославского, Ростовского, Несвижского, Троицко-Сергиевского полков, третьего и пятого саперных батальонов. Солдаты говорили о своем решении присоединиться к народу.

— В наших руках оружие, — сказал ростовец Шабров. — Ведите нас на штурм самодержавия!

Правительство не дремало. Оно поспешило заключить мир с Японией, чтобы перейти в наступление против своего народа. Губернии, охваченные крестьянскими восстаниями, были объявлены на военном положении, отдан приказ арестовать руководителей революционного движения и разогнать Советы рабочих депутатов. В далекой пограничной крепости Кушка военно-полевой суд приговорил к смертной казни инженера Соколова и нескольких служащих за принадлежность к железнодорожному союзу.

В Москву направлен новый генерал-губернатор — адмирал Дубасов, тот самый, который только что «усмирил» голодающих крестьян Черниговской губернии. Уезжая из Петербурга, Дубасов заверил царя: «Через две недели в первопрестольной наступит тишь да гладь».

Прошли две недели — в Москве наступила «тишь да гладь», но не та, которую Дубасов сулил царю. Рабочая Москва, как и рабочие во всей стране, готовилась к новой схватке с царем.

...5 декабря в реальном училище Фидлера, в переулке у Чистых прудов, состоялась общегородская конференция большевистской организации. На конференции присутствовало свыше девятисот человек. Один за другим выходили на трибуну представители рабочих коллективов, и общий тон речей один: московский пролетариат рвется в бой! Ни один из делегатов не ссылался на «соседей», что мы, мол, забастуем, если сосед поддержит, — все говорили: «Будем бастовать и переведем забастовку в вооруженное восстание».

Московский Совет рабочих депутатов поддержал решение общегородской конференции, и в среду, 7 декабря, в двенадцать часов дня, началась всеобщая политическая забастовка, которая должна была перейти в вооруженное восстание.

Опять замерла Москва. Буржуазия спешно запасалась провизией. Обыватели наполняли ванны водой. Остановилась жизнь. Так замирает ветер перед грозой.

Зимняя вьюга замела железнодорожные пути. Только лязг на Николаевской дороге болью отдавался в рабочих сердцах — лязг, звучащий в тишине всеобщей забастовки, как похоронный звон. Николаевская железная дорога не присоединилась к всеобщей забастовке! Меньшевики из Петербургского Совета рабочих депутатов обманули железнодорожников Николаевки!

По рельсам Николаевки катились составы, и эта ниточка, соединяющая Петербург с Москвой, помогла царскому посланцу Дубасову залить Москву рабочей кровью.

Он телеграфировал в столицу: «Для подавления движения убедительно прошу немедленной присылки бригады пехоты из Петербурга, без чего признаю положение очень серьезным».

Царь послал в Москву лейб-гвардии Семеновский полк с наказом: «Арестованных не иметь и действовать беспощадно».

Николаевская дорога перевезла карателей.

6

Получив подкрепление, Дубасов решил перейти в наступление. В восемь часов вечера 9 декабря здание училища Фидлера было оцеплено войсками. Часть пехоты

разместилась вдоль Чистопрудного бульвара; со стороны Мыльникова переулка наступали драгуны; невдалеке расположились три роты Самогитского полка и отряды полиции; почти вплотную к училищу подошла полевая батарея. В училище находилось всего около двухсот дружинников; они были вооружены пиками, кинжалами и револьверами. Им предложили сдаться — они отказались. Открыла огонь артиллерия. В здании погасло электричество, осыпалась штукатурка, валились колонны в актовом зале. Появились раненые. Осажденным вторично предложили сдаться. И на этот раз они отказались. Возобновился обстрел из пушек и пулеметов. Около часа ночи дружинники, видя полную бесполезность сопротивления, решили сложить оружие...

Разгром училища Фидлера послужил сигналом к восстанию. На следующий день московские улицы покрылись баррикадами.

Москва бела от пушистого снега. Учреждения и магазины закрыты. Улицы безлюдны — ни пешеходов, ни извозчиков. Под низким небом стелется сизый туман. Грохочет орудийная канонада. То тут, то там стрекочет пулемет. Ружейные пули бьют в стены, пылят в снегу. В морозной тишине гулко раздается цокот конных разъездов.

Темнеет небо, наступает ночь и с нею — зловещая тишина. Над мрачными каменными громадами со слепыми окнами ярко сияют звезды, и к ним тянется чадный дым солдатских костров.

...На собрание казанцев явились все большевики, даже больной Акулинин. Единодушно высказались за вооруженное восстание, но Никодим, прислушиваясь к ораторам, уловил тревогу в словах некоторых ораторов: «Не предадут ли такие, как Кувалдин?»

Никодиму надо дотемна успеть и в комитет партии и в Совет рабочих депутатов. Дожидаться конца собрания, до того как будут решены все технические вопросы, он не может.

Он отводит в сторону Акулинина:

— Я спешу, Николай.

— Скоро кончим.

— А вы не торопитесь. Момент серьезный. Пусть все выскажутся, и пообстоятельнее.

— А вы, товарищ Никодим, уходите?

— Сами справитесь... Только одно вот: как будет с начальником боевых дружин?

Акулинин протянул листок из блокнота:

— Посмотрите, кого предлагают.

Никодим, просмотрев список кандидатов, ничего не ответил.

— Не одобряете, товарищ Никодим?

— Хорошие товарищи, ничего не скажешь. — Вдруг он поспешно спросил: — Как вы насчет Ухтомского?

— Алексея? — как бы удивился Акулинин, но тут же добавил: — Надо будет подумать.

Никодим попрощался. Его путь лежал через вокзал. Там в это время шел митинг. Был и Ухтомский. Заметив Никодима, Ухтомский крикнул издали:

— Ребята в бой рвутся!

— Это хорошо, Алексей Владимирович, — ответил Никодим сдержанно. — Но для боя надо их организовать, обучить.

— Об этом как раз и идет у нас разговор. Бывших солдат среди нас много. Умели воевать за царя, сумеют повоевать и против царя!

— А как с вооружением?

— Маловато, товарищ Никодим.

— Вот это плохо, Алексей Владимирович.

— Добудем, товарищ Никодим! — пылко сказал Ухтомский. — Кто готовил вооружение царю? Мы, рабочие! Так неужели не сумеем для себя заготовить? Сумеем, товарищ Никодим! Раскроем мастерские, поставим народ к станкам! — И, повернувшись к железнодорожникам, громко закончил: — Всех слесарей ко мне!

Десятки людей двинулись к Ухтомскому, среди них и грузный, насупленный Кувалдин.

— А он не подведет? — шепотом спросил Никодим.

— Кто?

— Кувалдин и его дружки.

— В оба надо глядеть за ними, — так же шепотом ответил Ухтомский.

— Смотрите, Алексей Владимирович...

Боевая дружина казанцев росла изо дня в день.

Рабочие приходили со своим оружием, самодельным или добытым, сами строились в пятерки, в десятки и выбирали командиров из своей среды.

Боевых задач было много, но все эти задачи подчинены главной: удержать район вокзала. Повсюду слышался натруженный голос Ухтомского:

— Загораживайте переулки! Занимайте чердаки! Стройте баррикады!

Бочки, ворота, ящики, железный лом — все, что попадалось на глаза, сваливалось на мостовую, засыпалось землей, камнями. Жильцы ближайших домов работали семьями, и баррикады быстро вырастали.

Со стороны Красных ворот наскакивали казаки. Они стреляли на ходу, быстро отступали к Домниковке или прорывались в ворота Николаевского вокзала.

Перед Казанским и Ярославским вокзалами лежали цепи дружинников. Беглым огнем они обстреливали казаков.

Собрались члены стачечного комитета. Среди них был и Кувалдин.

— Надо захватить Николаевский вокзал! — предложил Никодим.

— Как его захватишь? — угрюмо промолвил Кувалдин.

— А так и захватим! — ответил Ухтомский. — Раз надо! А то что получается? Москва воюет, Пресня покрылась баррикадами, прохоровцы и шмидтовцы полицию разоружили, а царь через Николаевку войска подбрасывает! В городе целый день бьют пушки, народ там дерется, а мы Каланчевку не можем очистить. Позор для железнодорожников!

Многие поднялись с мест, решительно заявляя:

— Вокзал надо взять!

Молодой слесарь, большевик Гренадер, посоветовал Ухтомскому:

— Алексей Владимирович, составьте поезд, вывезем дружину за город. Выспаться народу надо! На рассвете обратно сюда вернемся.

Ухтомский, молча кивнув головой, направился к выходу.

— Николай, ты не очень устал? — спросил он, поравнявшись с Акулининым. (Тот поднялся с места.) — Поможешь мне. — И, повернувшись к своим боевикам, закончил: — Оставьте на баррикадах по пятку да в резерве два-три десятка. Остальных боевиков ведите на вокзал. За город поедем.

И усталости точно не бывало. Ухтомский вскинул винтовку на плечо и двинулся следом за Акулининым.

Через час, когда на небе появились звезды, Ухтомский уже вез классный состав за Москву. На Сортировочной он поставил состав на запасный путь.

К шести утра Ухтомский привез боевиков обратно в Москву. Еще зимнее солнце не успело оживить главы церквей, как дружинники бросились на штурм Николаевского вокзала.

Задрожала Каланчевка.

В предутреннем тумане огненными хлопьями вспыхивали близкие залпы.

После двух перебежек дружинники залегли. Ухтомский повел часть людей со стороны пакгаузов, но и там их встретил пулеметный огонь.

Весь день Ухтомский искал подхода к вокзалу. Он направил Ваню Алфимова в обход, но дружинникам не удалось прорваться к Домниковке: пули накрывали всю вокзальную площадь.

Вечером Ухтомский опять повез дружину за город, в Перово. За окнами бушевала вьюга. Облака снега клубились над землей.

Не успели боевики поужинать, явился дежурный по станции:

— В Москву идет воинский состав!

Ухтомский выстроил дружинников перед вагонами. Люди стояли плечом к плечу, подставляя лица злым набегам ветра.

— Товарищи! — обратился Ухтомский к своим боевикам. — В Москву идет воинский поезд. Дубасову нужны солдаты. Он немедленно бросит их в бой против героических защитников Пресни, против нас, товарищи. Наш революционный долг — не допустить солдат в Москву!

Защелкали затворы: боевики, точно по команде, зарядили свои винтовки.

— Не все пойдут со мною! — крикнул Ухтомский. — Для того чтобы остановить поезд, достаточно шести десятков. Остальным ждать моего сигнала здесь. Услышите взрыв гранаты — бегом на станцию!

И сквозь метель, утопая в глубоком снегу, Ухтомский повел своих дружинников.

Возле станции он лег на рельсы, прислушался: поезд близко.

— Дайте ему путь в тупик! — приказал Ухтомский дежурному, а боевикам велел залечь по обеим сторонам полотна.

Подошел длинный состав. Из вагонов стали выходить солдаты: кто на костылях, кто с головой, замотанной бинтами.

Это был санитарный поезд с Дальнего Востока.

Ухтомский поднял своих боевиков. К ним присоединились и солдаты из санитарного поезда. Вот раненые уже охватили кольцом Ухтомского и дружинников.

— Товарищи, на митинг!

В вагонах остались те, кто не мог ходить, остальные собрались в пассажирском зале. Внимательно слушали Ухтомского.

Среди раненых была группа матросов. Один из них сорвал бескозырку, обнажив красный шрам на бритой голове, и стал рядом с Ухтомским:

— Товарищи! Что мы — палачи, против своих пойдем? Кто может держать винтовку в руках, пусть пристает к народу! Рассчитаемся с царем за чумизу!

Матрос нырнул в толпу, и через несколько минут он уже стоял перед Ухтомским, держа в руке маленький сундучок.

Потом подошли и остальные матросы — двадцать семь человек.

Опять, как накануне, вернувшись до рассвета в город, дружинники бросились на штурм Николаевского вокзала.

Орудия врага били с таким же ожесточением, как и вчера, но еще с большей точностью.

Кувалдин отвел Ухтомского в сторону и сказал строго:

— Не созрели для войны с царем.

— В войне и созреем, Кувалдин. Знаешь, что творится на Пресне? Орудия бьют прямой наводкой, а рабочие дружины стеной стоят! Не отдают свободы! Вот там, на Пресне, решается наша судьба.

— А мы?

— Только тыл их охраняем. Чтобы царь новые полки не слал из Петербурга.

— И пресненцам этим и нам хребет наломают.

— Другие на наше место станут.

Кувалдин искоса взглянул на Ухтомского, зло закончил:

— Не нужно было в драку лезть! — и двинулся к выходу.

— Уходишь? — забеспокоился Ухтомский.

— Довоюю. — И через минуту прибавил: — Недолго осталось.

С Красносельской и Краснопрудной выходили дружинники. Справа мелькнули матросские бескозырки.

Николаевский вокзал стал отвечать всеми своими орудиями и пулеметами. Со стороны пакгаузов ухнули гранатные взрывы: это боевики Акулинина ворвались на территорию Николаевки. Часть дружинников под командой молодого слесаря Гренадера пошла в глубокий обход через Алексеевский монастырь и лесной склад Свешникова. С ними отправился и матрос с красным шрамом на голове.

На рысях вынеслась с Домниковки конная батарея. Она не доехала до вокзала, остановилась, и через несколько минут все четыре орудия били прямой наводкой по дружинникам.

Дважды подходили дружинники к широким ступенькам Николаевского вокзала, но пробиться сквозь губительный артиллерийский огонь не смогли. Акулинин захватил со двора левое вокзальное крыло, уничтожил подъездные стрелки, но не мог двинуться дальше: хлестал огненный ливень.

Отряд, который пошел в далекий обход, также натолкнулся на сильный заслон, и при первом натиске казаков, чуть ли не от первой пули, погиб матрос с красным шрамом.

Начинало темнеть. Ухтомский оттянул дружину.

— Сегодня не возьмем, — сказал он Кувалдину.

— И завтра не возьмем! — зло проговорил Кувалдин.

— Возьмем, Василий Иваныч!

Они поползли обратно — через рельсы, мимо пакгаузов. Уже на Ярославском вокзале Кувалдин вместе с Ухтомским, пользуясь наступившей темнотой, вышли на Каланчевскую площадь.

Площадь в снегу. Ни единого выстрела. На углу Домниковки, поддуваемое ветром, мечется пламя костра. В красном отблеске вырисовывается группа солдат. Одни топчутся у костра, другие протягивают к огню руки. Опираясь на винтовку, озаренный и закатом и костром, стоит часовой.

Кувалдин молча передал Ухтомскому свою винтовку.

— Куда? — спросил Алексей Владимирович дрогнувшим голосом.

— Домой, — просто ответил Кувалдин.

Ухтомский вцепился свободной рукой в рукав Кувалдина, хотел его остановить, но меньшевик резким движением высвободился и не спеша пустился по площади вниз к Домниковке.

— Предатель! Трус!

Кувалдин не оглянулся: шагал прямо и тяжело. Вот его тень вошла уже в розовый круг костра.

Часовой выпрямился, что-то крикнул.

Кувалдин, подняв руки к небу, покорно подошел к солдату.

Ухтомский побежал на Казанский. Точно обухом по голове ударили слова:

— Ваня Алфимов убит!

Ухтомский, не глядя ни на кого, двинулся к выходу. Опять надо возить дружинников за город, охранять подступы к Москве, перехватывать воинские поезда и отбирать у офицеров оружие, рвать телеграфные провода, чтобы лишить Дубасова связи с внешним миром. Возле паровоза он сказал Акулинину:

— Николай, ты поведешь состав. Я устал... чертовски устал.

Всю дорогу до Перова Алексей Владимирович стоял, прижавшись лбом к холодному щитку. Бежали навстречу заснеженные деревья, по земле вихрилась белая пыльца, над Москвой полыхало яркое зарево. Приходили мысли о Саше, о детях, о Ване Алфимове, но Ухтомский был не в силах сосредоточиться ни на одной из этих мыслей: боль железным обручем сжимала голову.

Во всей Москве темно. Чернеют каменные громады многоэтажных зданий. Кое-где редко и робко, как светляки, мерцают далекие огоньки. Под горой, вокруг корпусов Прохоровской мануфактуры, стелется густой дым, и набегающие порывы ветра развевают дым, обнажают то догорающее здание, то костер, вокруг которого топчутся солдаты.

В воздухе носятся тысячные стаи воронья. Они то взмывают ввысь, к багровому небу, то опускаются — кружат, галдят и зловещей тучей нависают над Пресней.

За слободой пронзительно и пугливо залаяла собака.

Отозвалась вторая, третья... И жуткий собачий лай пошел, побежал полосой вдоль мертвого железнодорожного полотна.

7

Полковник Мин, командир лейб-гвардии Семеновского полка, повернулся к фон Брюмеру, адъютанту:

— Дайте мне приказ.

Он сказал это по-немецки, как говорил всегда, находясь наедине со своим адъютантом.

Адъютант вынул из папки исписанный ровным почерком лист бумаги, положил его перед полковником, но, прежде чем Мин взял приказ в руки, адъютант сверху написал: «№ 349».

Мин подписал приказ, вернул его адъютанту.

— Попроси ко мне Римана.

Явился коренастый рыжий полковник с синим, озябшим лицом. Мин встал, сдвинул ноги, придал лицу и всей своей фигуре деловую торжественность:

— Сколько вам надо дней, чтобы навести порядок на Казанской дороге?

— Два дня, господин флигель-адъютант! — ответил Риман.

— Прекрасно, полковник. Я даю вам шесть рот и много хороших офицеров. Даю вам фон Сиверса, фон Фохта, Шарнхорста, фон Тимрота, фон Крузенштерна, фон Миниха, Майера. И ставлю перед вами только две задачи. Первая — отыскать главарей: Ухтомского, Котляренко, Татаринского...

— Фамилии перечислены в приказе?

— Перечислены. К тому же с вами едет жандармский подполковник Смирницкий. Он вам укажет. Вторая задача — уничтожить боевую дружину и так действовать, чтобы нас с вами помнили по крайней мере лет триста.

В Перове на рассвете 12 декабря, когда Ухтомский уже взялся было за рычаг, чтобы дать ход паровозу, дежурный сообщил, что из Москвы идет поезд с семеновцами.

Железнодорожники, когда брались за оружие, не думали, что борьба будет легкой, они знали, что винтовки врага тоже несут смерть, но в Москве, на Каланчевской площади, чувствуя за собой родной Казанский вокзал,

они не думали ни о семеновцах, ни о смерти — они дрались. А тут, в зимнем рассвете, в тиши полустанка, весть о прибытии семеновцев их ошеломила, может быть, еще и потому, что уж очень перепуган был дежурный.

Ухтомский не успел собраться с мыслями — дружина уже сбежалась к паровозу.

— Алексей Владимирович! Делегат! Командир! — неслись со всех сторон возбужденные выкрики.

— Товарищи! — начал Ухтомский, высунувшись в окошко. — Товарищи! Восстание в Москве продолжается...

Смятение, охватившее дружинников, улеглось после спокойных слов Ухтомского. В его словах они опять почувствовали дыхание Казанки.

— В Москву! — потребовали они.

— В Москву мы сейчас не поедем, — обратился к дружинникам внезапно появившийся Никодим. — Поедем в другую сторону... Выждем немного. А в Москву пошлем разведку.

Ухтомский повел поезд в Раменское, оттуда—в Бронницы и в Фаустово. Дружинники резали телеграфные и телефонные провода, обыскивали воинские эшелоны, добыли много оружия. Они почувствовали себя опять в строю. Даже у самых осторожных ушло из сердца смятение.

Заночевали в Быкове.

На рассвете Ухтомский повел состав в Перово. Шли тихо, без огней, без сигналов.

Ночью вернулись туда разведчики, посланные в Москву. Вести были трагические: гибнут защитники Пресни. Восстание задушено...

Стачечный комитет решил пробиться в Москву, чтобы встать рядом с бойцами на последних баррикадах.

8

Утро было солнечное. Обледенелый снег свисал с деревьев, как хрустальные подвески. Из труб в поселке поднимались к небу прямые серебристые столбы дыма.

Ухтомский поднялся на паровоз. Там его уже ждали Акулинин и Сулемо-Самойлов.

— Толкай, Николай!

Эти слова, произнесенные уверенным тоном, успоко-

или и Акулинина и Самойлова: значит, есть надежда пробиться!

Состав тронулся. Паровоз был прицеплен сзади, трубой к Перову. Акулинину приходилось часто высовываться из окошка. С левой руки следил за линией Ухтомский.

Недалеко от Москвы, против вальцовой мельницы, стояло на путях пять вагонов. Впереди вагонов — платформа, покрытая брезентом.

Ухтомскому показался подозрительным состав без паровоза, но его внимание отвлек шагающий вдоль линии дежурный Казанского вокзала Иванов.

— Как путь? — спросил его Ухтомский.

— В порядке! До Москвы доедешь! — ответил Иванов, сделав приветственный жест рукой.

Акулинин дал короткий свисток и плавно тронул с места.

— Пару! — неожиданно вскрикнул Ухтомский: он увидел солдата, выползающего из-под брезента.

Акулинин резко прибавил пар. Поезд тряхнуло, толкнуло вперед, и вот состав с дружинниками уже мчится мимо предательских вагонов.

Из-под вагонов захлопали выстрелы. Точно ветром сдунуло брезент с платформы, и шесть пулеметов выпустили свинцовые очереди.

— Ложись! — крикнул Ухтомский, высунувшись из будки. И тут он заметил, что по второму пути навстречу мчится паровоз... вот он уже пронесся мимо. Алексей Владимирович понял: паровоз собирается отрезать путь к отступлению. Дружина обречена!

Оттолкнув плечом Акулинина, Алексей Владимирович дал полный назад. Состав остановился на мгновение и плавно покатил обратно, в сторону Перова. Ружейный и пулеметный огонь хлестал по вагонам. Давление пара в котле поднялось до пятнадцати атмосфер: давление взрыва. Зато скорость — восемьдесят верст. Вагоны стучали, скрежетали...

Одинокий паровоз остался позади.

Выстрелы затихли.

В Перове Ухтомский первый соскочил с паровоза, обошел состав: один убитый, шесть раненых.

— Удивительное дело! — разводил руками Акулинин. — Так стреляли! Я думал, все полегли. — И громко,

чтобы услышали боевики, прибавил: — А Иванов — помните, товарищи! — жандармам продался!

Ухтомский вместе с членами стачечного комитета еще раз обошел состав. Все видели, что Алексей Владимирович чем-то раздражен. Он смотрел на дружинников пристальным взглядом, точно припоминал что-то.

Подошли к паровозу. Тендерный бак с водой и бак с нефтью изрешечены. Уцелели одни только паровые трубки. Корпус паровоза покрыт паутиной трещин.

Ухтомский повернулся к товарищам:

— Ну как?

Никодим ткнул пальцем в паровоз:

— Вот.

Все поняли: конец!

Дружина выстроилась перед расстрелянными вагонами. Люди стояли понуря голову, в глубоком, тревожном молчании.

— Товарищи, — сдержанно начал Никодим, — восстание задушено. Почему? В первую очередь потому, что руководители восстания были арестованы в самом начале и общемосковское восстание превратилось в восстание отдельных районов. Во вторую очередь потому, что мы проводили тактику обороны, а не наступления. А самое главное, товарищи, потому, что меньшевикам и эсерам удалось расколоть рабочее единство. Они, эти предатели интересов рабочего класса, капитулировали перед Дубасовым еще до того, как в Москву прибыли семеновцы. Восстание задушено. Но, товарищи, революция не подавлена. Что не удалось сегодня, удастся завтра! Река не течет вспять! Раз народ поднялся на революцию, его уже нельзя удержать штыками!

Дружинники молча складывали в кучу оружие, пожимали руки членам стачечного комитета и уходили.

Все меньше и меньше становилось людей.

Когда за деревьями скрылся последний дружинник, Никодим присел на ступеньку паровоза, распахнул полушубок.

— Благодать-то какая! — сказал он, обращаясь к членам стачечного комитета. — Как легко дышится...

— А в Москве? — хмуро спросил кто-то.

В серых глазах Никодима блеснуло что-то острое, как лезвие ножа.

— Мы большевики! — промолвил он сурово. — Мы

умели наступать, и мы должны уметь отступать, когда обстановка сложилась против нас. Борьба продолжается! Новая жизнь рождается в муках. Можно отсрочить на короткое время рождение новой жизни, но не дать ей родиться вовсе никто не в силах! Сегодня мы спрячем, закопаем оружие, а когда наступит наш час, ринемся со свежими силами в решительный бой и из этого последнего боя выйдем победителями! На нашей стороне — правда, а там, где правда, там и победа!

Ухтомский прижался лбом к мертвому паровозу. Акулинину показалось, что в глазах Алексея Владимировича блеснули слезы. Видно, только показалось, потому что Ухтомский, стукнув кулаком по железной обшивке, сказал грубо, как говорят надоевшему собеседнику:

— Прощай!

И ушел.

— Алексей Владимирович! — окликнул его Никодим.

Ухтомский не остановился. Он шел с поникшей головой, неуверенным шагом.

— Товарищ Николай! — позвал Акулинина Никодим. — Догоните его и не оставляйте одного.

Акулинин последовал за Ухтомским.

Разыгралась метель. Снег слепил глаза.

— Отдохнем, Алексей Владимирович, — предложил Акулинин, когда они очутились на Перовском вокзале.— Знакомый тут живет, Устинов. Хороший человек.

— Хороший, говоришь? — будто спросонья промолвил Ухтомский. — Раз хороший, пошли к нему.

Устинов жил рядом с вокзалом. Он обрадовался гостям, раздул для них самовар.

Алексей Владимирович был рассеян, часто отвечал невпопад, смотрел куда-то вдаль.

Когда стемнело, Ухтомский поднялся:

— Пошли, Николай.

На улице лежал снег твердым настом. Через заиндевевшие стекла то тут, то там пробивался свет.

— В Рязань поеду, — неожиданно сказал Ухтомский. — Эх, Николай, увидимся ли мы с тобой еще? Пожалуй, едва ли. — Ухтомский подавил волнение, достал бумажник из кармана, передал деньги Акулинину: — Бери, Николай. Раненым поможешь, семьям убитых. — Крепко обнял его, поцеловал и ушел по твердому блестящему насту.

Акулинин долго смотрел вслед своему товарищу, своему командиру, своему другу.

Вдали раздался протяжный свисток паровоза. Акулинин понял: это Никодим и Гренадер вызывают его, машиниста, — надо ехать закапывать оружие.

Акулинин побежал на зов.

9

Всю ночь Алексей Владимирович боролся с собой, и чем дальше лошадь увозила его от железнодорожного полотна, тем труднее становилось ему совладать с тревогой. Впервые за много месяцев Ухтомский очутился наедине со своими мыслями.

Восстание подавлено. Дверь в новый мир не удалось распахнуть. И у него, Ухтомского, не хватило идейной выдержки, не хватило внутренней убежденности, для того чтобы, подобно Никодиму и другим большевикам, уйти в подполье и там, в трудных условиях, готовиться к новым схваткам...

Ухтомский не поехал в Рязань — повернул обратно, к Казанке.

В Люберцах, недалеко от станции, в одноэтажном здании с резным крыльцом помещалась чайная. Теплый пар клубился из раскрытой форточки. Ухтомский зашел туда отогреться. Заказав чай, он огляделся.

Рядом, за пустым столиком, сидела крестьянская чета. Он—круглолицый, с детским простодушием во взгляде: она — смуглая, быстроглазая: какое сходство с его женой Сашей! Оба они, чета эта крестьянская, сидели прямо и напряженно на краешках стульев, готовые подскочить при первом окрике хозяина. Немного поодаль, сблизившись головами, сидели рабочие. Они о чем-то говорили шепотом.

Ухтомский не мог оторвать глаз от крестьянской пары. Он перенес свой чайник на соседний столик, заказал булок и колбасы, сам пересел и дружески обратился к крестьянину:

— Сними ты мешок с горба — замучаешься.

Крестьянин сорвал шапку с головы:

— Мы и так посидим. Посидим и уйдем. Мы к поезду пришли, а поезда нету. Со свадьбы едем.

Когда официант поставил на стол стаканы и тарелки с едой, крестьянин приподнялся:

— Нам не надо... не надо... Посидим и уйдем.

— Брось ты!—добродушно оборвал его Ухтомский.— Снимай мешок и ешь.

Крестьянин заморгал глазами. Ухтомский разлил чай по стаканам.

— Пейте, — сказал он мягко, придвигая соседке стакан, — я заплачу. Платок развяжите. Жарко тут.

Крестьянка, опасливо поглядывая на мужа, взяла в руки стакан, подняла его к губам...

С шумом раскрылась дверь, и в комнату вошли солдаты.

Первой вскочила крестьянская чета.

— А ну, сволочь, покажи документы! — приказал офицер, медленно, с развальцей выходя из-за солдатских спин и направляясь к рабочим.

За ним следовал только один солдат, остальные стояли возле двери с ружьями наперевес.

Рабочие стали рыться в карманах.

— Забастовщики! — внезапно взвизгнул офицер и ударил наотмашь по лицу крайнего, немолодого рабочего. — Отвести!

Солдаты вытолкали рабочих из чайной.

— А ты, мужик, почему помещика жег? — набросился офицер на помертвевшего крестьянина и, прежде чем тот успел открыть рот, коротким ударом сбил его с ног.

Крестьянка заголосила, но, испугавшись, сразу замолчала.

— А вы? — обратился офицер к Ухтомскому, доставая из-за обшлага шинели фотографическую карточку.— Зачем вы бороду сбрили? Красивая у вас была борода... Кириленко, взгляни: похож он на себя без бороды?

— Похож, ваше высокоблагородие.

Офицер взмахом руки сбросил все со стола, уселся на него и, глядя в глаза Алексею Владимировичу, неожиданно резко сказал:

— Вы машинист Ухтомский. Вы будете расстреляны.

— Я так и думал, — спокойно промолвил Алексей Владимирович.

Его повели на вокзал.

В пассажирском зале было тесно, а народу все прибавлялось.

Ухтомский под

Спокойными ровозы стоял стали гудки

«Все э закрыв г маются ожививут. сквозь насту забас

У

·а нагайку и стал об-
пьяный. Ударами
еди них — кре-

зам вижу...
авным за-
он повер-
ать?

Ухтом-

миро-

а-
і

смотрел на офицера взглядом неподвижным, суровым, хотя уже немного омраченным страданием.

Капитан Майер, не выдержав взгляда Ухтомского, подбежал к нему и выстрелил в него из револьвера.

Гвардии-палач Майер захотел оболгать Ухтомского: в рапорте о казни он написал, что Ухтомский на коленях вымаливал себе прощение.

Но полковник Риман огорошил его:

— Дорогой Майер, солдаты видели другое. И то, что они видели, уже нельзя убить вашим рапортом. Перепишите.

...19 декабря, на следующий день после расстрела Ухтомского, царь Николай II торжествующе записал в свой дневник: «В Москве наступило, слава богу, затишье...»

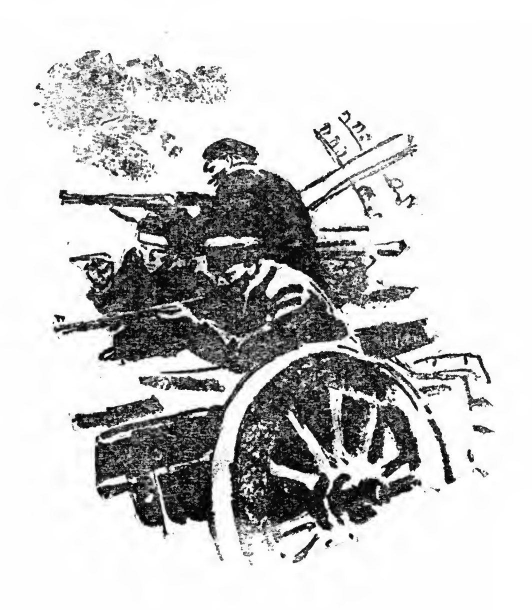
Но то, что царю казалось затишьем, на самом деле было тишиной перед надвигающейся бурей.

В этот же день большевики выпустили прокламацию:

«Собирайте снова свои силы. Поддерживайте друг друга, смыкайте свои ряды, крепкой цепью связывайте свои организации. Не отступайте перед врагом, не падайте духом от отдельных неудач, не смущайтесь наступившим затишьем — его сменит новая буря!»

И буря грянула.

Через двенадцать лет наступил Великий Октябрь.



СОДЕРЖАНИЕ

Рисунки П. Пинкисевича

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

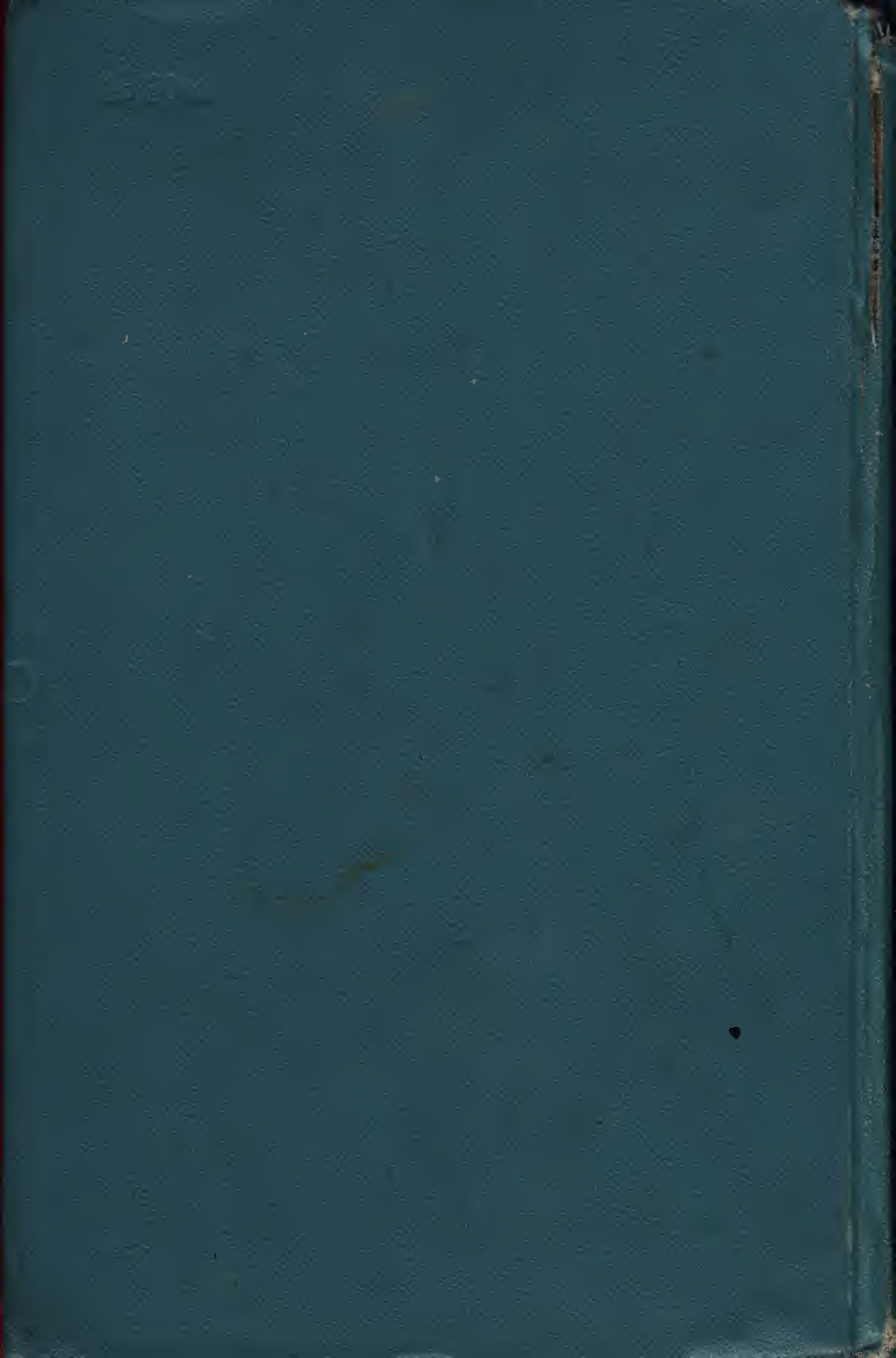
Островер Леон Исаакович
БУРЕВЕСТНИКИ

Ответственный редактор *И. И. Прусаков.* Художественный редактор *М. Д. Суховцева.* Технический редактор *В К. Егорова.* Корректора *Л. И. Гусева* и *А. Б. Стрельник.*
Сдано в набор 18/VIII 1961 г. Подписано к печати 25/XI 1961 г. Формат 84×108 1/32 — 20,38 печ. л. = 34,24 усл. печ. л. (34,08+6 вкл.=34,41 уч-.изд. л.).
Тираж 83 000 экз. А09743. Цена 1 р. 30 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 1315.








А. ОСТРОВЕР
БУРЕВЕСТНИКИ